

ЛЕОНИД СЕРГЕЕВ

САМАЯ  
СЧАСТЛИВАЯ,  
или  
ДОМ  
НА НЕБЕ

ПОВЕСТИ



Электронные версии книг на сайте

[www.prospekt.org](http://www.prospekt.org)



• ПРОСПЕКТ •

Москва  
2023

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
С32

Электронные версии книг  
на сайте [www.prospekt.org](http://www.prospekt.org)

*Автор:*

**Сергеев Л. А.**, заслуженный писатель России, лауреат всероссийских и международных премий (эл. адрес: [leonid.anat.sergeev@yandex.ru](mailto:leonid.anat.sergeev@yandex.ru)).

**Сергеев Л. А.**

С32 Самая счастливая, или Дом на небе : повести. – Москва : Проспект, 2023. – 760 с.

ISBN 978-5-392-39465-4

Сборник составлен из повестей о людях самых разных возрастов и профессий. Читателю предстоит познакомиться со многими героями, узнать необычные романтические и неромантические истории.

В рецензиях на повести известные писатели и критики отмечают проникновенное внимание автора к человеческим судьбам, самобытную интонацию, лирический тон и юмор.

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

*Изображение на обложке с ресурса [Photogenica.ru](http://Photogenica.ru)*

*Литературно-художественное издание*

**СЕРГЕЕВ ЛЕОНИД АНАТОЛЬЕВИЧ**

**САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ,  
ИЛИ ДОМ НА НЕБЕ**

**Повести**

Подписано в печать 23.06.2023. Формат 60×90<sup>1/16</sup>.

Печать цифровая. Печ. л. 47,5. Тираж 1000 (1-й завод 100) экз. Заказ №

ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

© Сергеев Л. А., 2023

© ООО «Проспект», 2023

ISBN 978-5-392-39465-4

# УТРЕННИЕ ТРАМВАИ

---

Воспоминания из детства

---

## *Наш городок*

Там, где прошло мое детство, все краски были ярче, а запахи сильнее обычных. Там даже небо было более глубоким и чистым, чем всюду. Убежать от тетки, влезть на дерево, пустить по воде голыш — вот отчего я был счастлив. Пропадет ножик, сломается велосипед — вот и все, что меня огорчало.

Мое детство прошло на окраине небольшого городка, на узкой улице с фонарями, которые мы постоянно разбивали, чтобы вечерами играть в прятки. Перед всеми домами росли тополя; когда они цвели, по улице плыл пух — он залеплял заборы, набивался в комнаты, сугробами наметался в канавы — взрослым доставлял массу хлопот, а у нас вызывал дикий восторг; мы бросали в канавы зажженные спички, пух вспыхивал, и пламя бежало по ложбине, как по бикфордову шнуру.

А около нашего дома росли березы. Одна была особенно огромной — ее ветви лежали на крыше и перекрывали улицу. По березе можно было забраться на крышу и оттуда запустить змея или стрелнуть из лука. А можно было просто устроиться на ветвях и смотреть на улицу. Сверху хорошо просматривались мощенная булыжником дорога, блестящая в дождь, точно чешуя, ветвистые тополя у обочины, двухэтажные дома с палисадниками и сараями. Как

на ладони стоял дом напротив, в котором на первом этаже жил шофер дядя Федя, а на чердаке — мой дядя, непризнанный художник, брат моей матери. Отчетливо был виден дом бабушки в конце улицы и окна Вовки Вермишелева — моего друга с соседней улицы.

Можно было подняться по березе еще выше, и тогда виднелись компрессорный завод, на котором работал отец, и школа, и качели в парке имени Горького, и флаги стадиона, и церковь на кладбище. А с самых верхних ветвей открывался весь наш городок: четырехэтажные дома в новом районе и трамвайная линия, тянувшаяся от хлебозавода до техникума на противоположной окраине, где скрывалась в дымке, но все же различалась дамба, а за ней угадывался спуск к реке.

Как-то я лазил по березе вверх-вниз. Просто так, от нечего делать. А наша соседка Кириллиха, крайне скандальная особа, ходила по саду и ворчала:

— Вот шалопай! Никому не дает житья! — и грозилась «открыть отцу глаза» на мои проделки.

В это время мимо проходил мужчина в гимнастерке.

— А по-моему, он хороший парень! Капитально! — незнакомец подмигнул мне, как бы благословляя на новые подвиги.

«Вот отличный человек», — подумал я. Это был дядя Федя; тогда он только демобилизовался и поселился на нашей улице, и с первых дней привлек к себе внимание тем, что постоянно был «навеселе», и тем, что любил спорить обо всем на свете и со всеми подряд, причем с детьми на фантики, с девушками на торт, с парнями на кружку пива, с моим дядей на бутылку портвейна, с моей бабушкой на двести граммов конфет. Только со мной дядя Федя не спорил, сразу обнаружил во мне единомышленника.

В доме рядом с дядей Федей жил врач профессор, высокообразованный, тонко воспитанный человек. У него были рыжие, в завитках, волосы и рыжие глаза. Он ходил

с огромным желтым портфелем. Каждое утро набивал портфель книгами и шел в клинику, и каждый раз, видя, что я не отрываю взгляда от его вместительного кожаного сокровища, кивал:

— Да, сюда помещается немало книг. Целая библиотека.

Он видел во мне пытливого книголюба, а я в этот момент думал, как много рогаток получилось бы из портфелевой кожи. Всех детей профессор называл «голубчиками», а взрослых — в зависимости от впечатления, которое на него производили. Поговорит с кем-нибудь и сразу «ставит диагноз»: «приятный человек», или «изящный человек», или «скользкий человек». Моего дядю профессор называл «взбалмошным человеком», дядю Федю — «грубым человеком», а моего отца — «замечательным человеком». По воскресеньям в палисаднике профессор с отцом играли в шахматы. Я обычно стоял рядом и подсказывал. После каждого моего совета профессор беззвучно смеялся:

— Интересная версия, — надувал щеки, собирая у глаз пучки морщин, и мягко добавлял: — Не подсказывай, голубчик, здесь и так все ясно, как в солнечный день!

Бывало, Кириллиха на улице затевала с какой-нибудь женщиной перепалку. Тогда профессор иронично вздыхал:

— Эх, поигрульки! Игры наши девичьи! — подходил к изгороди и просил разгоряченных женщин говорить по тише.

В конце улицы жил Домовладелец — высокий угрюмый старик-вдовец с презрительной гримасой на лице. Он обитал в подвальной комнате особняка, который, по слухам, до революции целиком принадлежал его родне, — с таким положением он не смирился и не упускал случая ругнуть советскую власть (поразительно, как при этом оставался на свободе). Походка у Домовладельца была стремительная — он шагал точно измерял улицу, и всегда ходил в темных очках, чтобы «не видеть этого безобразия»; от его облика веяло каким-то таинственным мраком. Мне

казалось, тот, кто скрывает глаза, имеет нечистую совесть, а то и криминальное прошлое.

Однажды, когда Домовладелец, точно циркуль, вышагивал мимо палисадника профессора, тот кивнул ему:

— Доброе утро!

— Чего там доброго! — буркнул Домовладелец. — После семнадцатого года не помню доброго дня! — и прошел мимо, чертыхаясь, — злость прямо сжигала его.

— Смелый человек, — вскинул голову профессор и, обращаясь ко мне, пояснил: — Не боится говорить то, что думает. Это, голубчик, редкость в наше время, да.

Эти слова я истолковал по-своему: в моем воображении Домовладелец окончательно превратился в монстра.

В саду Домовладельца росло полчище колючих кустов шиповника — они теснились, вылезали на улицу, а от цветов не было спасения: на запахи слетались жуки со всей окрестности; под осень ягоды с кустов так и сыпались. Как-то мы с Таней, девчонкой с соседней улицы, собирали ягоды перед забором, вдруг рядом возник Домовладелец.

— Ягоды не рви! — обратился к Тане, а мне погрозил пальцем. — А ты кусты не ломай! — и отошел от забора, бормоча: — Черти, а не дети! Новое советское поколение, называется!

Проходя по улице, Домовладелец успевал нагрубить сапожнику дяде Коле, учинить разнос дворнику, осыпать ругательствами мальчишек. Но бывали дни, когда из его подвала слышались звуки рояля — казалось, водопад звуков выливается из окон и, растекаясь по улице, замирает где-то в отдалении. Если мелодия была веселой, передо мной возникала ярмарка с шумными аттракционами, а если грустная — далекие таинственные страны. В такие минуты все неудачи казались ерундой, и я чувствовал: в жизни есть что-то другое, более важное, чем мои мальчишеские увлечения. Я слушал волшебные звуки и не мог

понять: как могут ужиться в одном человеке талант и злость? Я думал, так играть могут только хорошие люди, а получалось: хороший музыкант может быть и грубияном, и сумрачным деспотом.

Домовладелец совершенно не выносил, когда кто-нибудь пел и фальшивил; услышав такое пение, он морщился и затыкал уши, «чтобы не портить себе кровь». Зная об этом, мы нарочно перед его подвалом затягивали песню и с превеликим усердием, не щадя голосовых связок, коверкали мелодию.

У Домовладельца было немало старинных картин. Он считал себя знатоком «настоящей» живописи и работы моего дяди всерьез не принимал. На этой почве у них не раз происходили словесные перестрелки. Однажды я нарисовал нашу березу в палисаднике — скопировал ее до мельчайших подробностей, до каждого сучка — вложил в рисунок всю душу, но когда показал его дяде, он поморщился:

— Очень плохо. Замученный рисунок. Нет легкости и нет волнующего момента в твоей работе. В каждой работе этот момент должен быть, а в твоей его нет. Ну стоит береза, и что? А она должна взволновать тебя, взбудоражить. Ну сделать грустным, что ли, или развеселить. Не знаю, я на твоём месте занялся бы чем-нибудь другим. Вряд ли из тебя выйдет художник. Ты не вдохновенный человек, в твоих глазах нет внутреннего света, творческого голода, жажды открытий.

Резкая, точнее, убийственная оценка дяди меня не огорчила, я расценил ее как чуть прикрытую зависть и придумал, что он просто увидел во мне опасного конкурента. Взяв рисунок, я направился к Домовладельцу. Тот неожиданно встретил меня любезно: внимательно рассмотрел рисунок, подвел к картинам и подробно рассказал о старых мастерах. Рассказывал он легко, его голос звучал тепло, почти ласково. Проводив меня до калитки, он даже по-

ложил мне руку на плечо (в избытке сердечности чуть не обнял) и доверительно шепнул:

— Помни главное: ты художник! Ты должен все изображать лучше, чем есть на самом деле. То есть убирать все уродливое! — он сделал широкий жест, как бы обведя весь наш городок, скривился и плюнул.

Забегая вперед, скажу, что Домовладелец и Кириллица — только эти два человека — являлись в моем детстве носителями зла. Ругать плохое всегда легче, чем хвалить хорошее, — потому и не буду на этом особенно задерживаться, да и хороших людей на нашей улице было гораздо больше, чем плохих.

### *Дом за березами, или Комнаты, полные солнца*

Мы жили в двухэтажном срубе. На первом этаже в коридоре стояли подпорки-колонны с разошедшей резьбой. Здесь же была антресоль, при случае грозившая рухнуть, и винтовая лестница на второй этаж. Под лестницей начинались чуланы и застекленная терраса, заваленная разным хламом. Парадная дверь дома — плохо сколоченные доски — запиралась на щеколду, а черный ход красовался английскими замками и витражами. Весь нижний этаж представлял собой нагромождение нелепостей, но имел и достоинство — солнечные окна. В первой половине дня солнце затопляло комнаты, а после полудня освещало пыльную террасу, расцвечивало витражи, играло в посуде на кухне.

В детстве ум и талантливость взрослых я определял степенью участия в моих играх. Чем больший интерес они проявляли к игре, тем выше стояли в моей табели о рангах. По этой классификации самый высокий ранг имела бабушка: за особую активность я дал ей звание генералиссимуса. Дядя был генералом. Затем в ранге полковни-



ка шел шофер дядя Федя. Дальше стояли разные майоры и капитаны. Эти звания я раздавал щедро, как подарки. В моей армии любой солдат за удачную реплику мог моментально стать генералом, и наоборот: провинившийся генерал в одно мгновение быть разжалованным в рядовые. Например, звания моего отца менялись по несколько раз в день.

Как-то отец три часа возился с моим заводным грузовиком, но так и не смог его починить. И тут мать сунула в грузовик шпильку для волос, и машина поехала. Авторитет отца сразу упал в моих глазах, правда, на короткое время. Мать была слишком непогрешимой, чтобы я долго ею восхищался, — уже тогда я заметил, что положительные люди прекрасны, но с ними скучно. То ли дело отрицательные! Никогда не знаешь, что они выкинут в следующую минуту, — они не позволяют расслабляться, прозябать в спокойствии.

Так вот, долго своей святой матерью я не восхищался, да и отец скоро реабилитировал себя. Это произошло так. В школе я получил двойку. Двойку как двойку. Но ее я схватил накануне своего дня рождения. Обычно отец за двойки не ругал — ругала мать, а отец просто не давал денег на кино. Кстати, в школе я вообще особыми успехами не отличался. Нельзя сказать, что совсем ничего не знал, — кое-что, конечно, знал, но чаще всего поверхностно и понаслышке. Единственное, что меня спасало, — это какая-то отчаянная решимость. В нашем классе было немало способных учеников, но одни из них не верили в свои силы и, даже отвечая с места, говорили чересчур робко — эта неуверенность придавала им жалкий вид и наводила на мысль о скудных познаниях. Другие, выучив весь урок, сидели за партами как на иголках. Если их вызывали к доске, они, забыв всего-навсего какую-нибудь дату, от волнения начинали краснеть и заикаться, словно сомневались в правильности своих ответов.

Я всегда говорил громко и смело, правда, не всегда по теме, зато тараторил без передышки, и со стороны казалось, что я выучил урок, но многочисленные побочные знания мешают мне сосредоточиться, и от этого изложение теряет стройность. Я был настолько уверен в себе, что во время ответа еще успевал подумать, как красиво у меня все получается, а направляясь к парте, намечал отметку, какую должен был получить.

Известное дело — пока не полезешь на стену от зубной боли, к врачу не пойдешь. После того как в школу вызывали родителей, я готовился к урокам серьезно, отвечал блестяще и получал пять с минусом. Ни один учитель не ставил мне просто пять — обязательно пять с минусом. Этой отметкой они, видимо, хотели подчеркнуть, что я знаю материал, но мне не хватает как бы вдохновения, а попросту — вообще желания учиться. Вспоминая время учебы, я прихожу к выводу, что добиться можно многого, главное вовремя преодолеть лень.

В тот вечер, когда я получил двойку, отец, как всегда, после ужина читал газету. Не знаю, что он там вычитал, но неожиданно отложил газету и стал ходить взад-вперед по комнате и что-то напевать себе под нос. Потом остановился и предложил мне сыграть партию в шахматы.

— Давай расставляй фигуры, — сказал, потирая руки. — Вмажу тебе пару партий.

Мы с отцом часто устраивали шахматные баталии. Отец играл со мной без ладьи, но после такой форы мы уже сражались на равных. Отец играл рискованно, с жертвами. Я же стремился только к разменам, чтобы в конце партии остаться с лишней ладьей. Моя простая тактика часто приносила плоды, и отец проигрывал. Проигрывая, он всегда хвалил меня и подтрунивал над собой, в отличие от меня, который никогда не замечал, что противник сыграл хорошо, — всегда считал, что просто сам сыграл не-

важно. Все-таки однажды, после нескольких проигрышей подряд, отец вышел из равновесия:

— Ну кто так играет?! — усмехнулся. — Только и знаешь свои размены. Ни одной комбинации. Такую партию испортил!

Этими словами отец не столько подчеркивал мою твердолобость, сколько поддерживал свой престиж.

В тот вечер, когда я получил двойку, расставляя фигуры, отец все продолжал напевать. Я вижу — у него хорошее настроение, «ну, — думаю, — самое время сказать о двойке, все равно в субботу дневник показывать».

— Пап! — говорю. — Я двойку получил.

— Молодец! — сказал отец и сделал первый ход.

Всю партию он молчал, только морщил лоб и хмурился, и было непонятно — то ли рассчитывает ходы, то ли придумывает мне наказание. В конце концов отец выиграл партию, складки на его лбу разгладились, и он улыбнулся:

— Вот так мы вас, лентяев и двоечников!

У меня отлегло от сердца, и сразу мелькнула мысль: проиграть отцу еще партию, чтобы он окончательно развеселился, но на мое предложение «сыграть еще» отец заявил:

— Нет, хватит. Хорошего понемногу. Мне поработать надо.

Он стал убирать фигуры и снова что-то напевать. Я сообразил, что такой случай не скоро подвернется, и решил использовать отцовский настрой до конца: напомнил ему про день рождения и намекнул про подарок. Отец — ноль внимания, все продолжал убирать фигуры и напевать. Потом хмыкнул:

— Ты, братец, совсем обнаглел! Получаешь двойки да еще требуешь подарка. Ты уже преподнес себе подарочек, — он рассмеялся, а на другой день все же подарил мне марки.

Первый этаж кроме нашей семьи населяли супруги Кириллины и одинокая женщина с двумя кошками. Кириллиха, темноволосая толстуха, отличалась тем, что но-

сила яркие, цветастые платья, в которых была похожа на клумбу, и тем, что, когда говорила, притопывала и размахивала руками, а говорила она много, потому что была прирожденная общественница, в том смысле, что ни одно, даже самое ничтожное, событие не обходилось без ее участия. Она во все дела совала нос, всегда была в курсе всего происходящего и постоянно рвалась к власти над нашим домом, если не над всей улицей. С утра до вечера ее зычный голос слышался во всех комнатах.

По вечерам она вязала мужу свитер; вязала на кухне, чтобы опять-таки быть среди людей. Часто из-за нее на кухне между женщинами возникали раздоры. Все начиналось с замечаний по кулинарии, легких пикировок, потом следовали перебранки и оскорбления, которые перерастали в рукопашную битву, причем в ход пускалась вся кухонная утварь — от кружек и половников до чайников и кастрюль.

Каждый раз, заслышав, что Кириллиха начинает говорить в повышенном тоне, мужчины, точно от приближающегося землетрясения, убегали из дому. Но я в такие минуты всегда торчал на кухне, потому что после побоищ мне доставалось много поломанных вещей — их я складывал на террасе в надежде когда-нибудь использовать. Наша терраса в то время представляла собой целое кладбище помятой и разбитой посуды.

Для всех мужчин нашего дома кухня была чем-то вроде арены гладиаторов, и только муж воинственной Кириллихи не замечал кухонных склок. В редких случаях, когда грызня на кухне выливалась на улицу и ставила под угрозу мир в других домах, он появлялся на кухне и с виноватой улыбкой уводил свою распаленную супругу. При этом подмигивал мне:

— Коммунальная квартира — источник веселья.

Покинув поле сражения, Кириллиха еще долго не успокаивалась и продолжала что-то выкрикивать из комнаты. Разгромив своих непосредственных врагов — женщин,

соседка принималась обвинять в мягкотелости мужчин. И в первую очередь мужа, который, по ее понятиям, был воплощением трусости.

— Ты размазня — вот ты кто! — кричала она. — Муж, называется! Его жену заклевали, а он хоть бы хны! Ну погоди, ты у меня еще попляшешь! Схватишься за голову! — и, как прелюдию к будущей мести, она распускала наполовину связанный свитер и начинала вязать себе кофту.

Наша агрессивная Кириллиха ругалась со всеми жильцами, лишь мой отец долгое время избегал этой участи, но наступил и его черед.

Отец любил после обеда покурить где-нибудь в тени, чтобы обдувал ветерок. Первое время он отдыхал в коридоре у парадной двери. Развалится в плетеном кресле, читает газету и курит. Началось с того, что однажды Кириллиха заявила ему: табачный дым из-под двери тянет к ним в комнату, никотином у них пропитаны все обои, и она просит отца курить на крыльце, предварительно закрыв за собой дверь.

Несколько дней отец курил на крыльце, но потом от соседки поступила новая жалоба: дым просачивается через замочную скважину. Она потребовала, чтобы отец курил в палисаднике. Отец стал курить перед домом, но через неделю Кириллиха объявила: когда отец возвращается в квартиру, от него так пахнет табаком, что у нее болит сердце. После этого отцу ничего не оставалось, как после курения с полчаса отсиживаться в палисаднике.

У меня с Кириллихой шла настоящая война. Стоило мне только сбить на ее яблоне несколько яблок, как она кричала, что я все дерево обтряс. Стоило сорвать цветок — она голосила, что я весь куст оборвал, и вдобавок об этом оповещала родителей. Свои выступления она заканчивала театрально, всплеснув руками:

— Сколько его поступки будут оставаться безнаказанными?! И до каких пор он будет таким дуралеем?! Весь в своего дядю!

Иногда Кириллиха обвиняла меня в совершенно чудовищных вещах. Например, что у нее крыша сарая поржавела, потому что я по ней лазил. После одного из таких несправедливых обвинений я решил насолить ей по-настоящему. У них были какие-то невероятные часы: каждый час так громко били, что в доме дребезжали стекла. По ночам я не раз вскакивал от страшного грохота. Однажды, когда Кириллины были на работе, я через открытое окно пробрался в их комнату и оборвал у часов гири. После этого Кириллиха закатила скандал на всю улицу, а потом потихоньку сломала мои удочки. Эта война продолжалась долго, до тех пор, пока я не повзрослел и не понял, что лучшей мезтью является молчаливое презрение.

Со временем Кириллиха восстановила против себя всю улицу. Особенно ее не выносил дядя Федя — за то, что она называла его «горьким пьяницей». Как-то дядя Федя сказал:

— Убить ее мало!

Я не помню, в связи с чем он это сказал, но помню точно — тут же предложил свою помощь.

Больше всех от Кириллихи доставалось ее мужу — отставному офицеру, тучному мужчине с седыми усами. По слухам, он не раз собирался уйти от сварливой жены, но «не хватало духа». Он все время менял профессии, но не потому, что не мог найти работу по душе, а потому что был мастер на все руки — умел плотничать и столярничать, разбирался в технике. Как-то ему привезли старый мотоцикл, который даже в мастерской отказались чинить, а он посидел над ним два вечера и починил. Очевидно, со своими способностями он быстро достигал мастерства в любой работе, а достигнув, терял к ней всякий интерес, и ему не терпелось заняться чем-нибудь другим. Сам он объяснял это так:

— Это все трамплинчики. У меня чешутся руки по настоящей работе. Мужчина рожден для созидания. А неко-

торые думают, — он показал глазами на жену, — для того, чтобы развлекать женщин.

Одно время он работал дегустатором на чаеразвесочной фабрике. Устроился туда временно, «пока не подвернулось чего-либо подходящего».

— Поработаю с месячишко, — оповестил нас, — а там посмотрим. Я в юности жил на Кавказе и научился разбираться в чае. И подумал: «А почему не использовать свои знания?»

Но на фабрике он задержался, в него там вцепились, ведь в городе оказалось всего два специалиста в области чая: девица с выпученными глазами и наш небезызвестный Кириллин; их называли «совет носов» — они нюхали разные чаи, смотрели их на цвет, пробовали на вкус; «хороший букет» или «терпкий букет» — бормотали и ставили каждому чаю отметки — я не раз был свидетелем этого священнодействия.

Каждому из жильцов нашего дома Кириллин составил индивидуальный рецепт чая, соответствующий пристрастиям и возможностям организма того или иного жильца. По сути дела, Кириллин являлся домашним доктором, ведь давно подмечено: чай заменяет лекарства.

По утрам Кириллин долго булькал и кричал у рукомойника, потом выходил на кухню, потягивался и басил:

— Что-то сегодня хочется приключений! — подмигивал нашей соседке, у которой были кошки, и открыто делал жест, пытаясь ее обнять, начисто забыв свою заповедь «для чего рожден мужчина».

— Вы заходите слишком далеко! — бормотала женщина, отстраняясь и краснея.

— С ума можно сойти! — восклицала Кириллиха и, возмущенная, уходила в комнату.

Женщина, которая имела кошек, была красивой брюнеткой с гладкой прической. Ее звали Олимпиадой Васильевной, а мы, дети, просто — тетя Липа. Она работала учет-

чицей на хлебозаводе и отличалась крайней рассеянностью: все время что-то теряла. Например, перчатки — она не успевала их покупать. Как-то купила десять тарелок, но домой принесла только одну.

Тетя Липа держала двух кошек, которые, как ни следила за ними хозяйка, были редкостными грязнулями; под лестницей для них стояла коробка, которую женщина называла «ночная ваза», но кошки ни разу не использовали ее по назначению и гадили где попало (эта зоологическая аномалия выводила Кириллиху из себя — она визжала от ужаса).

Тетя Липа любила петь, и, надо сказать, пела прекрасно — Домовладелец, тонкий знаток музыки, заслышав ее голос, непременно останавливался около нашего дома и, запрокинув голову в небо, подолгу внимал руладам нашей талантливой соседки. Что показательно — репертуар тети Липы менялся в зависимости от окружения. Так, разговоры с моей матерью она перемежала романсами, в присутствии моего отца или мужа Кириллихи пела песню Паганеля о влюбленном капитане, после пререканий со мной — пиратскую песню «Йо-хо-хо! И бутылка рома!», после ругани с Кириллихой — песни про войну. По тому, что пела тетя Липа, всегда можно было точно определить, с кем она недавно общалась. Пела она негромко, спокойно и естественно. Но это-то мне и не нравилось. Я считал, что петь надо с горением. Когда я пел марш из «Веселых ребят», я вымучивал себя вконец: брал такие высокие ноты, что на шее вздувались вены. Чем громче и яростнее пел певец, тем значительней становился в моих глазах. И это касалось не только пения. Я считал, что во всем должна быть страсть, что ничего нельзя сделать значительного без горения и страсти.

Иногда тетя Липа казалась женщиной, решившей во что бы то ни стало выглядеть несчастной. Она ходила с загадочностью в глазах и следами невысохших слез. А иногда она говорила, что у нее есть возлюбленный, и множество под-



руг, и «очень интересная работа». Время от времени она получала цветы и письма, будто бы от возлюбленного, который, по ее словам, уже много лет добивался ее расположения. Только по вечерам я слышал всхлипывания из ее комнаты, а потом вдруг случайно узнал, что подарки и письма она посылает себе сама.

Кириллиха называла тетю Липу старой девой и постоянно насмеялась над ней, а однажды грубо пошутила, подкинув письмо о том, что ее возлюбленный женился на другой. После этого тетя Липа несколько дней не показывалась на кухне... Кстати, это было одно из первых анонимных писем Кириллихи. Через несколько лет, когда я подрос и у меня тоже появилась возлюбленная, Кириллиха ответила за меня на ее письмо. Не знаю, что она накатала, но девушка перестала со мной переписываться.

Однажды, когда тетя Липа пела на кухне, я как-то незаметно для себя стал ей подпевать. Забыл сказать — ее мелодии были какие-то прилипчивые: услышишь один раз и непроизвольно поешь все время. А если не поешь, то эта мелодия все равно звучит в тебе и не дает покоя до тех пор, пока не напоешь ее еще кому-нибудь, прямо-таки как вирусный грипп.

Услышав, что я подпеваю, тетя Липа повернулась ко мне:

— Вижу, ты воспитанный мальчик. Не какой-нибудь там безнравственный хулиган, — она нахмурилась и кивнула в сторону комнаты Кириллихи, затем взволнованно продолжила: — Я покажу тебе то, чего не показывала никому. Только пусть это будет между нами, договорились?

Я кивнул и сосредоточился, а тетя Липа позвала меня к себе в комнату, подвела к секретеру, открыла дверцу — и передо мной возник бумажный замок, и мужчины, и женщины вокруг него; на женщинах были старинные платья, на мужчинах — шляпы с перьями и накидки.

— Вот эта графиня очень властная и гордая... А эта — кроткая и застенчивая... А этот герцог ухаживает за этой леди...

Она почти забыла о моем присутствии и все дальше переносилась в прошлый век. Я поглядел на нее сбоку и вдруг понял, что она не в своем уме.

Вскоре нашу странную соседку увезли в больницу; спустя месяц она выписалась, и к ней прикрепили приходящую няню, а в комнате поставили телефон, чтобы она могла вызвать врача. Это был единственный телефон на нашей улице, и к тете Липе все ходили звонить. Зайдут, спросят для вежливости:

— Как здоровье? — и сразу: — Кстати, можно позвонить?

Больная добросердечная женщина думала, что всех тревожит ее здоровье, и только когда у нее сняли телефон, поняла цену этому вниманию.

Чаще всех звонила наша общественница. Она прибежала с утра сказать «пару слов» и начинала обзванивать всех родственников. А их у нее была целая туча. Кириллица разговаривала по несколько часов подряд. Где-то в середине разговора начинала прощаться, но вдруг вспоминала новую подробность и продолжала говорить. Иногда терпение ее мужа лопалось, и он стучал в дверь:

— Хватит звонить, звонарь!

Все заходили к тете Липе звонить, и только дядя Федя не приходил никогда. Зато, когда телефон сняли и всех «соболезнующих» как ветром сдуло, дядя Федя стал навешиваться; переминаясь с ноги на ногу, протягивал мне букет цветов и, отводя глаза в сторону, говорил:

— Пойди скажи, что заглянул по пути справиться о самочувствии.

Спустя некоторое время роман между дядей Федей и тетей Липой уже расцветал пышным цветом. Дядя Федя подкатывал к нашему дому на полуторке и на руках выносил нашу соседку из ее комнаты; тетя Липа заливалась

счастливым смехом, а Кириллиха кусала губы от злости. Влюбленные уезжали за город и возвращались поздно вечером, и снова дядя Федя нес тетю Липу на руках — от машины до крыльца, и она снова смеялась, но уже потише.

Верхний этаж нашего дома, непосредственно над Кириллиными, занимал легендарный Борис — крепкий, вечно улыбающийся парень. Борис работал официантом, а по воскресеньям помогал дворнику грузить уголь — так, для разминки. Борис был знаменит тем, что две свои комнатухи превратил в самую шикарную квартиру во всем районе. Прежде всего он сломал перегородки и сделал один большой зал с антресолюю, двумя фонтанами и камином, причем трубу от камина вывел в вентиляционную отдушину. Это было нерасчетливо: в первое же пробное разжигание камина мы чуть не задохнулись от дыма. После этого жильцы начали протестовать и каждый раз, когда Борис задумывал воздвигнуть новое сооружение и подносил материал, устраивали перед домом пикеты. Особенно усердствовала Кириллиха. Она была уверена, что наш дом вот-вот рухнет или сгорит и что причиной тому — безрассудство жильца наверху.

Но Борис только улыбался и продолжал совершенствовать свою квартиру. Закончив сооружение камина, установил на балконе какую-то американскую электропечь, но оказалось, ток для этой печи требовался трехфазный, и его пришлось вести от чаеразвесочной фабрики через две улицы. Правда, когда печь все-таки подключили, Борис показывал на ней чудеса кулинарии, все женщины сбегались смотреть.

В комнате Бориса все было необычно: и дверь невероятной толщины, которая одновременно служила и шкафом, и утюг, включавшийся автоматически, когда откидывалась гладильная доска; но самым необычным был радиопроигрыватель «Колокол». Каждый вечер, вернувшись с работы, Борис выставлял «Колокол» в окно и запускал

музыку; сам садился рядом с проигрывателем и осоловело счастливый смотрел на улицу. Заводил он одну и ту же джазовую пластинку Утесова. Борис считал, что своей музыкой осовременивает, учащает ритм жизни нашей улицы, будоражит сонливые умы, подгоняет тех, кто идет не в ногу со временем.

В те дни наш дом вообще напоминал музыкальную шкатулку или, вернее, расстроенный орган. Женщина с кошками пела, Кириллиха слушала радио, Борис запускал джаз. Трудно представить, каково было матери с ее привязанностью к классике, уж я не говорю об отце, который вообще любил тишину.

Надо отдать должное Борису — иногда он появлялся на кухне и спрашивал:

— Вам не мешает моя музыка?

— Мешает! — опережала всех Кириллиха. — И мешает дым! Когда вы курите, он так и идет сквозь щели в потолке.

Вот какие истории происходили у меня перед глазами. Что и говорить, веселый был у нас домик.

Каждый из наших соседей на все имел собственное мнение. Как-то мой отец простудился, и Кириллин посоветовал ему выпить чай с коньяком. Отец выпил, но тут же пришла тетя Липа и принесла ликер с молоком. Отец выпил и его. А потом зашел Борис с водкой, и они с отцом опорожнили целую бутылку. Отец был сильно пьян, но поразительная штука — на следующее утро выздоровел.

Прославленный Борис работал официантом в единственном ресторане нашего города «Встреча». Стоило кому-нибудь появиться во «Встрече», как Борис подскакивал с ослепительной улыбкой и, поигрывая мускулатурой, говорил:

— Добрый день! Вам опять то же самое? — и приносил блюдо, которое посетитель заказывал в прошлый раз.

У него была профессиональная память: он помнил любимые блюда абсолютно всех в нашем городе и даже при-

езжих из других городов, которые появлялись во «Встрече» хоть раз.

Борис был официантом-виртуозом. Он мог нести на подносе восемнадцать тарелок! И при этом, как слаломист, лавировал меж столов. Он нес тарелки «на зрителя» — легко, играючи. Наверно, можно научиться носить десяток тарелок, но это еще не будет артистизмом. Так же, как можно научиться стоять на проволоке, но это не будет искусством. А вот если ты стоя еще и улыбаешься! Циркач на турнике делает фигуры хуже спортсмена-гимнаста, но мы ахаем, потому что он еще и обыгрывает каждый трюк.

Кроме всего прочего, у Бориса было чутье: стоило взяться за бутылку, как он вырастал рядом; только подумаешь про жаркое — он тут как тут. Да еще рассказывает городские новости, советует, покупать ли брату велосипед, то есть сразу устанавливает атмосферу непосредственности. Под конец, если не было директора ресторана, он вообще садился за стол посетителя, выпивал с ним, закусывал.

В пристройке к особняку Домовладельца обитал с семьей дворник, бывший фронтовик. Это был многогранный человек: он писал стихи, ходил на выставки в краеведческий музей и спорил с художниками. По утрам перед работой он делал гимнастику и обливался водой по системе какого-то голландского врача, а на ночь пил чай, заваренный по способу Кириллина, «чтоб проснуться со свежей головой».

Часто наш дворник договаривался с дворником из соседнего квартала: они делили нашу улицу на две части и подметали мостовую наперегонки — тем самым одними из первых в стране ввели в практику метод соревнований.

Кроме чая наш дворник имел пристрастие к бодрящим напиткам; он делал наливки из ягод и фруктов и вообще из всего, что попадалось под руку. Выпьет стакан вина и ходит по улице, ищет собеседников. Под Новый год он подрабатывал в детских садах, наряжаясь Дедом Моро-

зом, а летом ходил по домам, ремонтировал «мелочевку»: оконные рамы, косяки дверей, почтовые ящики.

Дочь дворника, девчонка лет шести, меня ужасно мучила: то «пойдем в парк», то «давай поиграем в разбойников» — тоже нашла товарища! Кстати, в то время я не имел успеха у девчонок моего возраста, зато нравился детям, собакам и старушкам. Детям потому, что, став подростком, так и не повзрослел, собакам — за дикие игры и склонность к авантюрам, старушкам — потому что был невероятно болтлив — известное дело, все старушки любопытны, они выуживали из меня самую свежую информацию. И вот, стало быть, приставала ко мне дочь дворника, приставала, и однажды я решил ухлопать на нее полдня с тем, чтобы покончить с этим раз и навсегда. Я все утро играл с ней в разбойников, потом мы пошли в парк и там я укатал ее на каруселях, потом мы карабкались на дамбу, катались до одури на трамвае... Наконец она сказала:

— Пойдем домой, я устала.

К нашей улице мы добрались почти на карачках, зато с тех пор она оставила меня в покое.

Но из всех наших соседей самым интересным и загадочным был человек, который жил над нами. Помню, прошел целый месяц с момента нашего приезда, а я все его не видел. Говорили: он инвалид, столяр-надомник. Целыми днями из его комнаты доносились звуки строгającego рубанка и удары деревянного молотка. Я представлял его комнату заваленной стружкой, верстак с набором инструментов и новую пахучую мебель. Каждый вечер, засыпая под строгание, я отчетливо видел его склонившимся над верстаком, с папиросой за ухом, с каплями пота на лбу и очками, съехавшими на кончик носа... Утром, когда я просыпался, сверху уже слышался визг рубанка. Помню, в эти минуты мне всегда было стыдно, что так долго сплю — мастер тербил мою совесть, пробуждал желание тоже поработать, сделать что-то полезное. В конце концов, он добился сво-

его: я не выдержал, попросил у дяди Феди пилу, молоток, доски, гвозди и принялся мастерить полку на кухне. Полка получилась не ахти какой ровной, тем не менее меня похвалили все женщины и попросили сделать еще одну.

После полка я сделал табуретку, потом этажерку для книг, валявшихся в коридоре. Последние мои работы были вполне удачными. Слух о моем мастерстве прокатился по улице, и на меня посыпались заказы — кто ж не хотел получить полку или табуретку, да еще задаром?! Я не отказывался и старался вовсю. Мои руки покрылись волдырями и занозами, я сильно уставал, но это была приятная усталость — усталость, которую я не испытывал до сих пор. Впервые я делал полезные вещи и познавал счастье от работы. Самым неожиданным оказалось то, что это счастье было намного сильнее, чем всякое другое, — более полным и сияющим, что ли, — чем счастье, которым я упивался, когда убегал из дома, и когда бездельничал у бабушки, и когда мне купили велосипед, и даже когда разговаривал с девчонками, которые мне нравились.

После этого столяр стал для меня как бы напарником по работе, я все время хотел познакомиться с ним, но долго не решался, а когда решился, он неожиданно уехал.

### *Над протоками*

Смутно помню — было ли это на самом деле или я все выдумал. Иногда так отчетливо вижу многие детали этой истории, что готов клясться чем угодно: в ней нет ни капли вранья. А иногда мне кажется: рассказываю ее только для того, чтобы приукрасить свое детство.

Однажды летом меня отправили на дачу к тете Груне, сестре моей матери. Бездетная тетьа фанатично любила детей, а на меня, «родственничка», естественно, обрушивала такую зверскую любовь, что порой мне становилось

страшно. Она пыталась сделать из меня «хорошего мальчика во всех отношениях» и сильно переживала, что у нее ничего не получается. Тетя не могла на меня надышаться, даже никогда не звала по имени — только «мое сокровище» или «ангел». Со временем я уже воспринимал это как должное, то есть уверился, что являюсь посланцем неба, и впоследствии сильно удивлялся, что слово «сокровище» тетя употребляла все реже, а потом и перестала совсем.

Для тети я был парниковый цветок — она оберегала меня от простуды и солнечных ударов, от комаров, мух и слепней; от всех, кто хоть как-то отваживался посягнуть на мою особу; и на всякий случай до предела ограничила круг моего общения. Мы с ней жили в маленьком побеленном доме, окруженном подстриженным палисадником и ровными грядками со стрелками лука и пучками редиски. Весь этот аккуратный мирок был огорожен высоченным забором, в котором, к счастью, зияло несколько дыр.

Я всегда ощущал рядом дыхание тети, она постоянно стояла между мной и окружающим миром, как защитное облако, как непроницаемый колпак. Тетя не отступала от меня ни на шаг, и неудивительно, что через некоторое время я возненавидел ее и только и думал, как бы улизнуть с участка и делать то, что запрещено. Стоило тете на минуту забытья, как я пускался со всех ног к забору, пролезал через дыру и мчал, не оглядываясь, к реке. Но мой телохранитель неизменно меня настигал. Скоро от такой жизни меня стало выводить из себя каждое тетино слово. Не говоря уж о ее грядках. На них я просто не мог смотреть — их чрезмерная ровность приводила меня в неистовство. Будь тогда моя воля, я бы их затоптал. Зато все, что начиналось за забором, мне казалось чудом. В те дни я особенно симпатизировал разбойникам — они мне казались самыми независимыми.

Справедливости ради стоит отметить: все-таки иногда с тетей было более-менее интересно — когда она



принимала участие в моих играх. Например, охотилась с луком на ворон. Но, естественно, на охоте я отводил тете незначительную роль оруженосца, чтобы не умалять свой приоритет. Правда, несколько раз я давал тете возможность пустить стрелу и каждый раз смеялся над ее неловкостью, а позднее красочно описывал родителям тетино неумение. Ясное дело, унижая тетю, я возвеличивал себя.

С того времени прошло много лет, но жизнь у тети наложила на меня отпечаток: во мне осталась боязнь замкнутых пространств. Я задыхаюсь в маленьких комнатах, не выношу подземных переходов и тоннелей и даже в горах чувствую ущемление своей свободы.

Однажды я все-таки удрал от тети, и надолго. Тот день запомнился по двум причинам: во-первых, потому что я освободился от опеки в момент, когда меньше всего на это рассчитывал. Тетя уронила очки, и, пока их искала, я исчез. Именно тогда я понял, что прекрасное еще прекраснее, если оно неожиданно, а когда подготовлено — уже не совсем то. Во-вторых, в тот день я нашел ключ, которым открывают дверь в мир природы.

Очутившись за забором, я побежал к реке, но не напрямую, как обычно, а через низину, заросшую тальником. Этим хитрым маневром я сразу сбил тетю с толку. Она не могла поверить, что малолетний племянник способен до такого додуматься. Как и мои родители, она явно недооценивала меня. Я точно помню: в детстве понимал гораздо больше, чем предполагали мои родственники.

Так вот, пробежав низину и очутившись у реки, я смекнул, что тетя уже выскочила на поиски, и решил временно замаскироваться: лег под огромную корягу и прикрылся ветвями. Через несколько минут мимо пронеслась запыхавшаяся тетя; она, как танкетка, неслась сквозь кусты и вопила:

— Батюшки! Ангел мой пропал!

А я лежал под корягой и злорадно посмеивался — наконец-то отомстил тете за все. Момента приятней этого и не вспомнить. У меня даже мелькнула мысль насолить тете еще больше — утопиться, но, взвесив все за и против, пришел к заключению, что собственная жизнь все-таки дороже тетиных страданий, и передумал.

Так и лежал под корягой, пока обессилевшая тетя не засемила к дому глотать таблетки от сердца и звать соседей на поиски; тогда вылез из укрытия и пошел вдоль реки.

Настроение у меня было — лучше нельзя придумать. Я знал, что отделаюсь всего-навсего воспитательной взбучкой, а о тетиных переживаниях не думал вообще. Самым главным для меня была собственная судьба, а за нее особенно волноваться не приходилось — тетя постаралась распланировать ее на много лет вперед, предварительно застраховавав от неприятностей. Наверно, поэтому у меня отвращение ко всему слишком упорядоченному.

Я шел по берегу, пинал ракушки, бросал в воду гальку, ловил жуков. Тогда, кстати, я был убежден, что все насекомые существуют только для того, чтобы их ловили. Скоро я ушел довольно-таки далеко. Река разделилась на множество мелких протоков с маленькими островами; на них росли высокие растения, похожие на зонты и граммофоны, а у воды по плотному влажному песку бегали трясогузки — носились за мухами, быстро перебирали лапками и застывали, раскачивая хвостики, как маятники крошечных часов. Протоки были мелкие и прозрачные, каждый камешек просматривался на дне. Иногда в воде, точно серебристые молнии, мелькали пескари. Над протоками трепетали стрекозы.

Я шлепал по теплому мелководью, как первооткрыватель, обследовал каждый островок и ручей и всему давал названия. Чаще всего связанные с моим именем. Но в то же время я был не настолько глуп, чтобы в памяти потом-

ков остаться эгоистом. Несколько мелких островов назвал в честь близких и знакомых, причем размеры называемой площади не были в зависимости от родственных уз, а измерялись количеством подарков, подаренных мне тем или иным человеком. Вспомнил о всех знакомых, кроме тети, конечно, — я считал, что тираны не стоят того, чтобы о них оставалась хотя бы маленькая память.

Через час, порядочно поплутав, я вдруг увидел у одного протока загорелого мужчину, в майке, галифе и сапогах. Он сидел на корточках и строил через ручьи... игрушечные мосты. Подкравшись ближе, я раздвинул кусты и стал наблюдать.

Мужчина был высокий, светловолосый; он то сосредоточенно строгал прутья, то, как фокусник, перебирал разные чурки и бруски, и тогда уголки его губ подрагивали от улыбки. Мужчина непрестанно курил, но хлопья от папиросы не падали вниз, а каким-то странным образом вились вокруг «строительной площадки», словно рой мошкар у фонаря.

Но особенно странно выглядели мосты. Одни из них были легкими и зыбкими, державшимися на еле видимых бечевках; казалось, дунь на них — и они рассыпятся. Но время от времени, чтобы проверить прочность своих конструкций, мужчина наступал на них, и удивительная вещь — хрупкие сооружения его держали.

Другие мосты были очень длинные: тянулись с одного берега ручья на другой без всяких опор — и казалось просто невероятным, что они не рушились. Были мосты, напоминающие арки и виадуки, со множеством разных лепнин, украшенные галькой и ракушечником. И были мосты из разноцветных ветвей, как маленькие дождевые радуги.

«Кто этот дядька? — мелькнуло в голове. — Волшебник или чужак? И почему строит игрушечные мосты?» Я готов был кричать на всю окрестность, чтобы все бежали смо-

треть на это чудо, но онемел от восторга, а придя в себя, понесся сломя голову домой, чтобы привести к реке хотя бы тетю. Но, когда вбежал в дом, тетя сразу начала меня отчитывать за «безобразный поступок», потом долго взывала к совести, сетовала на мою неблагодарность. Потом еще некоторое время всхлипывала, приходила в себя, а когда наконец у нее появились проблески интереса к увиденному мною, неожиданно хлынул дождь.

После дождя тетя, кряхтя, надела боты и поплелась со мной на речку. Всю дорогу она бормотала о протекавшей крыше и размытых грядках, только когда мы подошли к реке, замолчала. И я подумал: она потрясена не меньше меня, ведь никаких мостов не было. На их месте шумели мутные пенистые потоки.

### *Утренние трамваи*

С самого раннего детства мне хотелось убежать из дома. Я все время мечтал пожить без родителей, без их нравов-учений и контроля, без постоянного ограничения моей свободы. Едва научившись ходить, я начал прятаться: в шкафы, под кровати, в сундуки, а года в три уже забирался в такие недоступные закутки, что в поиски включались жильцы всего дома, а иногда и милиция. В пять лет, когда мое воображение несколько расширилось, а свободолубивый дух окреп, я начал знакомство с соседними дворами и улицами. Что только со мной не делали! Запирали в квартире, отдавали в детские сады — ничего не помогало. Домой меня возвращал только голод, да и то поздно вечером, когда мать с отцом сбивались с ног от беготни по дворам.

Став постарше, я пришел к замечательному открытию — путешествию в трамвае. Как-то утром сквозь сон я услышал, что родители собираются на рынок. Когда они

ушли, я вскочил с постели и выбежал из дома. Было еще очень рано; по пустынным улицам бесшумно скользил ветер, где-то в домах звенели будильники. Я прошел все знакомые переулки и очутился на улице, по которой пролегали рельсы. На рельсах стоял трамвай. Первый утренний трамвай, умытый и сверкающий. Пошарив в карманах, я нашел несколько монет и шагнул в вагон. В то время кое-какую мелочь мне выдавали на мороженое и кино, правда, после долгих вымогательств и угрозы — убежать из дома навсегда. С деньгами я почему-то чувствовал себя намного свободнее, чем без них.

Войдя в то утро в трамвай, я взял у кондукторши билет и уселся на лучшем, переднем месте у открытого окна.

— Далеко направился в такую рань? — спросила кондукторша.

Я буркнул что-то неопределенное и отвернулся к окну. Через некоторое время в трамвай вошел вожатый, кивнул мне в знак приветствия, и вагон тронулся. Замелькали улочки, вывески, лотки. Трамвай катил по городу, но я не боялся заблудиться — знал: стоит только пересест в трамвай, идущий в обратную сторону, как он примчит меня назад.

А город за окном оживал, улицы заполнялись прохожими и машинами; из булочных тянуло горячим хлебом, звякали бидонами молочницы, дворники из шлангов поливали мостовые — чувствовалось приближение шумного и жаркого дня. Проехав остановок пять, я решил, что для первого дня впечатлений получил предостаточно, и вышел из вагона. Потом пересел в трамвай, идущий в обратную сторону, и вскоре как ни в чем не бывало вернулся домой.

Постепенно я удлинял маршруты путешествий, а потом вообще стал выходить из трамваев на разных остановках и более подробно знакомиться с окрестностями. К моменту поступления в школу в городе не осталось ни одной незнакомой для меня улицы, я успел на всех побывать. И это

к счастью, конечно, — представляю, как изнывал бы за партой, если б за окном оставалось хоть что-то загадочное. Впрочем, это все равно не мешало мне впоследствии сбегать с уроков.

Однажды, в классе пятом, обидевшись на учителя, на мой взгляд, явно занизившего мне оценку, я ушел с уроков и сел в первый попавшийся трамвай. Мне было все равно, куда он идет, ведь я никуда не спешил. Через несколько остановок я заметил, что дома за окнами стали ниже, а остановки реже. Потом дома пропали совсем, и трамвай загромыхал среди огородов с трещотками и чучелами и шалашами сторожей.

Трамвай остановился на далекой окраине; город чуть белел вдалеке. На окраине струилась речка в голубых шапках тальника и пролегала узкоколейка, по которой бегал маленький, точно игрушечный, паровозик-кукушка. Паровозик отчаянно пыхтел, свистел и таскал взад-вперед такие же игрушечные вагоны с глиной. Я уже однажды был на этой остановке. Вернее, смотрел на нее из окна трамвая. Но тогда трамвай быстро сделал круг и покатил назад. И вот теперь у меня появилась возможность обстоятельно исследовать местность. К тому же у меня было неважное настроение, и я решил как можно дольше не возвращаться домой. Наверно, именно тогда я пришел к выводу, что лучший способ поднять свое настроение — немного испортить его другим. Не знаю, так я думал или иначе, но, во всяком случае, когда прошел по пружинящим доскам через речку и очутился на необитаемом островке, твердо решил не возвращаться домой совсем.

Растянувшись на траве, я жевал чистую горьковатую зелень и наблюдал, как тянутся цепочки муравьев меж травинок и горок из пыли; потом перевернулся на спину и стал смотреть, как ветер шевелил верхушки деревьев и как среди ветвей, наполненных солнцем, мелькали птицы. Погода была замечательная, и мне стало легко. Я на-

чал лазить по деревьям, запускать в воздух голыши. Забыв о неприятностях в школе, я окончательно развеселился и решил обойти свои владения.

Через несколько шагов я понял, что на острове уже кто-то побывал: в одном месте тянулись ряды окученной картошки, в другом — лежала свежеспиленная сосна, тесаная и пахучая, с желто-розовыми разводами.

Я вдруг ужасно захотел есть, вспомнил про школьный завтрак, бросился к портфелю и съел бутерброд, но он только раздражил аппетит. Тогда я накопал молодой лиловой картошки, собрал сухие ветви и запалил костер. Спички у меня были всегда, и не потому, что тайком покуривал. Просто со спичек мы сдирали серу и набивали ее в ключи. Потом представляли к ключам гвозди и бахали об стену.

Побросав картошку в костер, я решил еще наловить рыбы и стал изготавливать удочку. Распустил часть носка и к нитке привязал булавку, которой скреплял отделение в портфеле; вместо поплавок пристроил огрызок карандаша, а под удилище сломал обыкновенный прут тальника. После этих манипуляций выкопал червяка, нацепил его на булавку, спустился к речке и закинул удочку в травы, развевающиеся по течению. Приманку быстро отнесло в сторону, и только я хотел ее перекинуть, как поплавок дернулся и запрыгал на воде. Я резко подсек. Какая-то рыбешка наполовину вылетела из воды, но сорвалась с булавки и шлепнулась обратно в воду.

Так повторилось еще несколько раз. Я уже отчаялся что-нибудь поймать и хотел с досады выкинуть удочку, но именно в этот момент поплавок замер, немного покрутился на одном месте и вдруг нырнул. Я схватил удилище обеими руками и дернул. И надо же! В траву плюхнулся окунь.

Потом я жарил рыбу на рогульке, переворачивал картошку в золе... Мне было радостно: я мог делать все, что хотел, никто не стеснял моей свободы. Наконец-то я из-

бавился от опеки и стал самым счастливым мальчишкой в мире.

Когда я пообедал, солнце уже почти село и на острове появились длинные тени. Эти ползущие и дрожащие тени несколько омрачили мое настроение, а тут еще, как назло, я вспомнил мамины оладьи, которые она пекла по утрам. После пресной картошки захотелось выпить сладкого чая с оладьями, но я взял себя в руки — отогнал мысли о лакомствах и принялся за сооружение шалаша: сделал остов из прутьев и закидал его травой. Вскоре я уже лежал в роскошном собственном доме и вдыхал запах разогретой за день листвы.

Проснулся от холода. Сквозь крышу шалаша виднелось звездное небо. Костер потух, под пеплом еле светились красноватые угольки. Вылезать из шалаша и разжигать костер было лень, да и собирать в темноте сушняк показалось страшновато. Чтобы согреться, я сел на корточки, обхватил колени и начал дышать на грудь. Но это не помогло: задрожали колени, по спине побежали мурашки, потом затрясло всего. А тут еще стала донимать какая-то щемящая тоска. Я вдруг почувствовал себя ужасно одиноким и никому не нужным. Ни одному человеку на всем белом свете! Разве только родителям. Я представил, как на другом конце города светится одно-единственное окно и там, за столом, сидят мать с отцом; представил, как мать вздыхает, убирая мой обед: прозрачный бульон с кружками моркови и кисточками укропа, пшеничную кашу с тающим куском масла и яркий пахучий кисель. Представил, как мать смахивает слезы и садится штопать мои брюки. Вспомнил, как отец приходит с работы и боксирует со мной на диване. Вспомнил его смеющееся лицо, когда он дарил мне марки, и вспомнил отца серьезным, когда он чинил мой самокат. Почему-то такими родителями я увидел впервые, и меня непреодолимо потянуло домой.



Мне повезло — в это время послышался лязг трамвая. Я выглянул из шалаша и, увидев цепочку огней, схватил портфель и со всех ног бросился к остановке.

Удивительная штука — родительский дом! Странно только, что я это понял, когда провел потрясающий день на свободе.

### *Моя милая старушенция*

Моей бабушке было много лет, но она никогда не казалась старой, и все потому, что имела веселый характер и редкое остроумие — качества, которые в детстве я ценил больше всякого таланта. Бабушка жила в конце нашей улицы в деревянном доме с расшатанным крыльцом. В коридоре дома была уйма всякого хлама: хромые стулья, подсвечники с огарками свечей, ветхие книги, торшер, прялка, разное тряпье. А бабушкину комнату заполняли растения: огромные фикусы и пальмы, как зеленые терема, круглые кактусы, похожие на спящих ежей, множество столетников и герани. Фикусы и пальмы помещались в кадках на полу и тянулись до самого потолка. Растения поменьше стояли на окнах в горшках. Комната была большая, светлая, с высоким потолком; мебель старинная, из темно-красного дерева, с окантовкой и резьбой. Особенно я любил огромный шкаф с львиными головами на дверцах. В этот шкаф я часто забирался, когда мы с приятелем играли в прятки. Раз залез и уснул среди одежды, пересыпанной нафталином. Меня искали по всему дому до вечера, пока я не проснулся и не вылез из укрытия.

Еще у бабушки стоял высоченный буфет с выдвигаемыми ящиками — от него пахло сладким, в нем стояли банки с вареньем. Буфетом, шкафом и растениями в кадках комната была перегороджена на несколько закутков: «спальню», «столовую» и «дедушкин кабинет». В «спальне» по-

мещалась только кровать, похожая на огромное слоеное пирожное из-за нескольких одеял, покрывал и кружевных накидок. «Столовую» занимали стол и три стула с круглыми спинками — над ними, точно голубая медуза, покачивался абажур. В углу, у окна, начинались владения дедушки: стол, обитый оцинкованным железом, настольная лампа, книги и ящик с набором столярных инструментов (дед умер, когда мне было два года, я только и помню — большую лысину с пушком и улыбку из-под пышных усов). Заходить в дедушкин угол мне было строго-настрого запрещено — разрешалось только смотреть на него издали, с расстояния не ближе четырех шагов. Зато всю бабушкину собственность я мог трогать сколько хотел: и швейную машинку, и катушки с нитками, и душистые коробки из-под мыла, и многое другое.

Из всего бабушкиного хозяйства только одна вещь была для меня неприкосновенной — сундук. Но именно к нему-то меня сильнее всего и тянуло. Он стоял около двери, под вешалкой, тяжелый, кованный медью, покрытый ковром с темно-зеленым орнаментом. Сундук притягивал меня своей таинственностью; почему-то мне казалось, что он набит драгоценностями, а ковер на нем — не что иное, как ковер-самолет, который только и ждет, чтобы перенести меня вместе с сундуком на необитаемый остров. Я уже представлял, как закапываю сокровища и время от времени наведываюсь к ним, чтобы пополнить карманы.

Много раз я спрашивал у бабушки, что лежит в сундуке, и каждый раз она загадочно улыбалась и отводила глаза в сторону:

— Так, ничего особенного!

Но я-то видел, что она хитрит, и продолжал к ней приставать с расспросами. Наконец бабушка не выдержала, вздохнула и пошла отпирать сундук. К моему удивлению, в нем лежали старые платья, блузы, юбки и дедушкин портрет, на котором он был совсем молодым. Во всем сунду-

ке только две вещи мне показались стоящими: железная брошь с изображением шмеля и дедушкина медаль.

— Этого шмеля сделал твой дедушка, — сказала бабушка. — Давно сделал, когда я была совсем девчонкой. Чуть старше тебя. Тогда я любила всяких жуков и стрекоз. Поймаю стрекозу, засушу и приколю на платье как брошку. А дедушка жил на нашей улице. Он тогда хоть и был мальчишкой, только уже работал подмастерьем. Увидел как-то мою засушенную стрекозу, взял и сделал мне шмеля в подарок... А медаль! Медаль он получил в царской армии за храбрость...

Бабушка поправила платок, закрыла сундук и заспешила на кухню. Через много лет, когда бабушка умерла, я как-то снова открыл сундук, и удивительная вещь! — шмель и медаль вдруг приобрели для меня огромную ценность; как память о моих стариках.

Когда я приходил к бабушке, она усаживала меня за стол и выдавала кучу салфеток: на грудь, на колени, под тарелки и стаканы. Она кормила меня пшенной кашей с тыквой, яичницей с помидорами и пирогами с опятами. А сладостей я ел сколько влезет. Наемся и побегу на бабушкин двор. Там росли высокие деревья, по ним можно было лазить вверх-вниз. И домой меня бабушка не отпускала без пакета ватрушек и пирогов. (Во время войны, когда наступил голод, я частенько вспоминал бабушкину стряпню и глотал слюни).

Цельными днями я околачивался у бабушки. Когда она отправлялась в керосинную лавку, я ходил с ней — нюхать керосин. Когда она гладила, я махал чугуном утюгом, раздувая угли. Иногда во время домашней работы бабушка просила меня почитать вслух сказки. Чаще всего нравоучительные. Если при чтении я ошибался, она поправляла меня по памяти. Частенько я говорил бабушке:

— Давай, баб, надевай перчатки, будем боксировать. Я покажу тебе приемчики.

Или:

— Давай становись вратарем. Буду тебе забивать голы.

Или:

— Нагнись-ка, бабушка, я сяду на тебя. Ты будешь лошадью.

И бабушка никогда не отказывалась от этих игр, в отличие от моих родителей, которые, кстати, вообще меня не понимали. Я, например, любил, когда к нам приходили гости. Думал, выкину пару шуточек, покажу гостям, на что способен, и тогда отец с матерью поймут, что явно меня недооценивали, и сразу изменят свое пренебрежительное отношение ко мне. Но как только гости являлись, родители совали мне конфеты и запирали на террасе. Тогда я пришел к выводу, что и отец и мать бездушные, черствые люди и все делают мне назло, и я начал пользоваться этим. Если мне чего-нибудь очень хотелось, говорил наоборот, что не хочу, и мне в наказание это покупали. Таким образом я умудрялся посещать бабушку по несколько раз в день. Стоило мне только заикнуться о том, как много бабушка заставляет трудиться, как меня сразу посылали к ней.

Но бабушка-то все понимала — всегда заступалась за меня и с серьезным видом кивала, когда я объяснял, почему набедокурил. Тайком от родителей бабушка давала мне деньги на сладости и даже приходила делать за меня работу по хозяйству. А потом мы с бабушкой гоняли в футбол, ходили на речку удить рыбу. Да что там говорить! — я считал бабушку самым близким другом. Она была очень молодой, моя шестидесятилетняя бабушка. Ее и бабушкой-то не стоило называть, ведь возраст измеряется не годами, а состоянием духа.

Правда, иногда бабушка все-таки поступала хитровански. Например, поиграем с ней в шашки час-другой, а потом я предложу еще погонять в футбол, но только выскажу свою захватывающую мысль, как бабушка прикидывается глуховатой, делает вид, что не слышит, хотя до этого все

прекрасно слышала. Я только начну повторять, а она вдруг вскочит, схватится за голову и забормочет:

— Господи, совсем забыла! Нам же надо с тобой постирать, в магазин сходить. Совсем из головы вылетело. Вот старая перечница!

Вспоминая эти ее притворства, я теперь думаю, что плохой слух не такой уж большой недостаток — всегда можно сделать вид, что не слышал того, чего не хочешь слышать. Или переспросишь и, пока тебе повторяют, тщательно обдумаешь ответ. А плохое зрение вообще, по-моему, не недостаток, а достоинство — близорукий всегда может не замечать того, чего не хочет видеть.

Как у каждой бабушки, у моей тоже имелось несколько причуд. Например, она верила в Бога, но, когда тот не выполнял ее просьб, начинала его ругать. Как-то бабушка купила билет лотереи Осоавиахим и стала просить Бога послать ей выигрыш.

— Чудотворец! Пошли мне рубликов так сто, — бормотала. — Дочке Груне надо послать. Пошли мне деньги, Всевышний!

Наверно, Бог услышал голос бабушки: на ее билет пал выигрыш. В следующую лотерею бабушка приобрела несколько билетов: очень ей хотелось закупить подарков родственникам. Снова бабушка начала молить Бога о помощи, но тот почему-то не расщедрился. Тогда бабушка рассердилась и стала обвинять Бога в бессердечии. Через некоторое время она забыла обиду, но с тех пор уже не просила Бога о чем-то конкретном — только о спокойствии для умерших. В основном для дедушки. Чтобы там, на небе, у него общество было интересным, чтобы он почаще виделся с родственниками и прочее. Еще бабушка настоятельно просила Бога присматривать за нравственностью дедушки. Мне думается, об этом бабушка просила, потому что при жизни ее супруг (по словам матери) был большой любитель поговорить о грехах молодости. Наверно, бабушка боялась, что

и в другом мире дедушка не оставит своих замашек, и Бог отправит его в ад, и тогда они с бабушкой не встретятся.

Каждый раз, когда я слышал бабушкины молитвы, потусторонний мир представлялся мне чем-то вроде нашего городка, где полно цветущих садов и веселой музыки, где не нужно думать ни о еде, ни о работе, ни об учебе. Короче, мне казалось, на том свете совсем не хуже, чем на земле, а кое в чем даже лучше.

Бабушка безмерно любила кошек и постоянно кормила всю кошачью братию во дворе. И кошки души не чаяли в бабушке. Другие старушки выходят во двор — кошки и ухом не поведут, а моя бабушка только появится — несутся к ней изо всех дыр. Любила бабушка и собак, но не каких-то там породистых, а обыкновенных дворняжек — их считала гораздо умнее и преданнее.

Бабушка всегда что-нибудь делала; даже когда отдыхала после стирки и работы на кухне — вязала или штопала носки на электрической лампе и при этом всегда пела. Негромко так, для себя. Бабушкины песни были протяжные и грустные; чаще всего о любви. А все, связанное с этим словом, тогда мне казалось не заслуживающим внимания. Потому я и не любил бабушкины песни. Я любил огненные марши. Они укрепляли мой дух и поддерживали бодрость. Закончит бабушка пение, спросит:

— Хорошая песня, правда?

— Угу! — промычу я, чтобы не обижать ее.

— Раньше все песни были хорошие, — скажет бабушка и улыбнется каким-то своим мыслям.

У нее всегда было хорошее настроение. За все детство я только один раз помню бабушку ворчащей. Как-то мы ехали в трамвае, а перед вагоном то и дело пробегали прохожие. Вожатый не переставая звонил ротовезям, а они хоть бы хны. Тут уж моя бабушка не вытерпела.

— Ох уж эти зеваки, — возмутилась она, — никогда не уступят, не остановятся, не пропустят транспорт. А неко-

торые нарочно медленней пойдут или вообще остановятся и начнут шнурки поправлять. Посидели бы хоть раз за рулем — перестали бы над водителями издеваться.

Все согласились с бабушкой, стали ей поддакивать. Но только мы сошли с трамвая, как мимо, точно бешеный, пронесся грузовик. Бабушка вспыхнула:

— Ох уж эти водители! Им бы только обдавать грязью!

Вот какая у меня была бабушка. Что и говорить, с ней скучать не приходилось. Когда я находился у родителей, радостные дни чередовались с печальными, а когда я жил у бабушки, дни были наполнены одной радостью, с утра до вечера.

Бабушка со всеми находила общий язык: с мальчишками была мальчишкой, с девчонками — девчонкой, с художниками — художником, с учеными — ученой. Так, врач профессор, который жил на нашей улице, любил поговорить с моей бабушкой. Он постоянно навещался к ней за советами, правда, чисто житейского характера, но это лишний раз говорит о немалом жизненном опыте бабушки. Как-то при мне профессор спросил у нее:

— Подскажите, пожалуйста, какое-нибудь средство, чтобы вовремя просыпаться. Я постоянно опаздываю на работу. Завел три будильника, но, когда они гремят, это какой-то ужас.

Моя бабушка спокойно выслушала профессора и ответила:

— Лучший будильник, дорогой профессор, — беспокойные мысли. Побольше думайте о своих больных, и никогда не будете просыпаться.

Некоторые не любили мою бабушку за ее непосредственность и остроумие, но половина этих недругов просто завидовала ее энергии, а вторая половина состояла из лентяев и глупцов. По одному этому можно догадаться, какая у меня была бабушка, ведь о человеке можно судить по его врагам точно так же, как и по его друзьям. Благодаря ба-

бушке это я усвоил с детства, и теперь мне заранее симпатичны незнакомые люди, которых чернят мои знакомые из числа завистливых и злых.

Иногда я оставался у бабушки ночевать. В такие вечера она рассказывала мне о том, как было раньше.

— Раньше все было не так, — вздыхала она. — Взять хотя бы мужчин. Сейчас они какие? Грубияны! Увидят пожилую женщину — дорогу не уступят. Толкнут — не извинятся. А раньше мужчины были внимательные, предупредительные. А какие отважные были! — бабушка махала руками и вздыхала.

После этого начинал говорить я. В основном о том, каким отважным буду, когда вырасту. И бабушка всегда внимательно слушала и гладила меня прохладной рукой. Она-то видела меня таким, каким я хотел быть. Под конец наших разговоров, когда у меня уже начинали слипаться глаза, бабушка сбивала подушки и стелила мне постель. Потом целовала в лоб и говорила «чтоб печали тебя миновали».

Я ложился спать, а бабушка вынимала из волос гребень и множество шпилек, расплетала седую косу, закрученную вокруг головы, и садилась писать тете Груне письмо, такое длинное, что оно выглядело уже не письмом, а целой повестью.

Сейчас мне стыдно: за все то замечательное время я ни разу не сказал бабушке, как сильно ее люблю. Может быть, потому что относился к ней как к приятелю, а скорее всего, потому что стеснялся проявлять нежность. Мне стыдно вдвойне еще и потому, что с годами я все больше пользовался бабушкиными слабостями. С утра до вечера гонял во дворе мяч или болтался по улицам в поисках приключений. Наблю бабушкиными пирогами карманы — и только меня и видели. И никогда палец о палец не ударил, чтобы бабушке в чем-то помочь. Частенько я совсем наглел. Зная бабушкины старомодные взгляды, на-



правлял ее как индикатор на фильмы, которые еще не видел. Если бабушка приходила вся в слезах, я знал, что картина — ерунда, какая-нибудь сентиментальная мелодрама. А если приходила сердитая и возмущенная — значит, то что надо. На дни рождения бабушки я дарил ей то, что сам хотел иметь. Как-то подарил перочинный ножик.

— Спасибо! — засмеялась бабушка. — Только зачем он мне?

— Как зачем?! Пироги резать!

А на следующий день объявил:

— Баб, я поиграю в твой ножик!

Потом и вовсе его присвоил.

Все это, если б было можно, я с удовольствием зачеркнул бы в своей памяти.

Самое удивительное, что моя необыкновенная бабушка для многих была обыкновенной старухой, а кое для кого — и вообще старой каргой. Известностью пользовались бабки, которые целыми днями сидели на лавках и, как в театре, наблюдали за происходящим на улице (их посиделки мой дядя удачно называл «курятником»). Эти пустомели только и сплетничали, кто с кем да кто в чем, да болтали о своих болезнях и близкой смерти, хотя потом все проскрипели до ста лет. И вот эти жалкие бабки были известны в городе как всезнающие и рассудительные старушки. Только, мне кажется, эта слава была незаслуженной, а вот моя неизвестная бабушка явно заслуживала славы. Впрочем, это часто бывает и не только среди бабушек.

## *Тайна*

Одно время я рассуждал: «Ох уж эти взрослые! Говорят одно, а делают другое. Их невозможно понять. Они все уши мне прожужжали, что врать нехорошо, а сами врут на каждом шагу». Например, отец всем объявил, что бросает

курить, но не прошло и трех дней, как начал тайком покуривать, а потом разошелся вовсю и стал курить больше прежнего. Каждый раз после ужина уходил в сарай, усаживался среди садового инструмента и начинал дымить. Однажды я заглянул в сарай и, увидев меня, отец не спрятал папиросу, а, наоборот, демонстративно затащился, подмигнул мне и сказал:

— Не говори матери, что я курю.

Мать поступала еще хуже: частенько шептала мне заговорщицким голосом:

— Не говори отцу, что я продала свое платье! — и целовала меня в щеку и прикладывала палец к губам.

Самым странным во всем этом было то, что стоило мне только указать им на разницу между их нравами и поступками, как они сразу выходили из себя.

— Не твое дело! — кричал отец.

— Какой ты стал грубиян! — возмущалась мать.

В то время я вообще считал взрослых никчемными; например, был уверен, что у них совершенно нет воображения. Как-то я поджег резину во дворе и представил себя на пиратском судне; только разыгрался — подбегает отец.

— Хватит дурака валять! — буркнул и потушил пламя.

Он был уверен, что я развел костер ради вони и копоти.

Каждый вечер мать говорила, что улица оказывает на меня плохое влияние, «развивает пагубные привычки, дурные наклонности». Если при этом присутствовала бабушка, она сразу вставала на мою сторону, выясняла, от кого же пошли эти дурные наклонности. В такие минуты я сжимал кулаки и про себя бормотал: «Молодец, бабуля! Так их, громи!». «Бабушка у нас ничего, — думал я. — Понимает меня. Не до конца, конечно, но все же».

Отец и мать явно меня недооценивали; чуть ли не до десяти лет рассказывали мне сказки про аиста и капусту. Я делал вид, что верил, и посмеивался про себя. Из взрослых я восхищался только своим дядей (здесь я припомни-

наю общение с ним в послевоенное время, а в войну его призвали в армию, но вскоре комиссовали из-за ранения и контузии). «Вот дядя — это да! — думал я. — Это человек что надо!». Мать называла дядю «горе луковое», а отец — «бестолковый». Дядя, в свою очередь, называл отца «шляпой», а мать — «булкой».

Дядя был непризнанным художником и жил на чердаке в доме напротив, жил разбросанно, неаккуратно (где снял одежду, там и бросил), зато свободно. Днем он рисовал, а с наступлением темноты отправлялся на другую половину чердака — в гости к друзьям, тоже художникам. Они много курили, пили портвейн и до хрипоты болтали о политике, что было небезопасно в те годы — даже в нашем патриархальном городке. Когда-то дядя учился в строительном институте, но на втором курсе бросил учебу, сказал, что каждый дом должен быть произведением искусства, а у нас строят « типовые бараки — не дома, а горшки».

Каждую пятницу прямо на улице дядя устраивал выставку картин. Разложит работы, и всех уговаривает купить их, и говорит, что он «самобытный талант, которого, к сожалению, никто не знает».

Дядя писал вычурные картины — в них была масса экспрессии, но еле прослеживался сюжет — одни сверхъяркие пятна. Интеллигентных, но неподготовленных зрителей это обескураживало; ярых приверженцев соцреализма выводило из себя. Странно, но и Домовладелец, ценитель «настоящей» живописи, непримиримый противник всего социалистического, ругал дядины картины за «бездушие, наплевательское отношение к натуре» и прочее, но все же заканчивал брань приободряющими словами:

— ...Но, конечно, это лучше, чем на официальных выставках. Там вообще черт-те что, сплошная макулатура.

Мне тоже не нравились дядины картины: в них было много непонятного, а я любил все конкретное и ясное.

Во время дядиных выставок-продаж кто-либо из прохожих непременно бросал:

— Не картины, а мазня.

Дядя хмурился:

— Невежды! Лопухи! Где им оценить мои творения! У них пустые души, нет духовного пространства.

Он собирал работы и, если в эти минуты я оказывался поблизости, срывал на мне раздражительность и злость, я был для него настоящим громоотводом, точнее — подручной мишенью.

— И ты хорош гусь! — набрасывался он на меня. — Стоишь рядом, ушами хлопаешь. Нет чтобы разъяснить невеждам, кто твой дядя. Ты знаешь, кто самый лучший художник в нашем Отечестве?

— Кто?

— Я! Ты должен гордиться, что у тебя такой дядя.

Мы приходили на чердак, и, развешивая картины среди балок, перекрытий и художнических атрибутов, дядя продолжал, уже несколько умеренным тоном:

— Да, я неизвестный, непризнанный, но запомни: скоро мои картины будут стоять целое состояние. За них будут драться лучшие музеи мира, — дядя взволнованно откирывал портсигар и закуривал папиросу.

Каждую субботу дядя седлал велосипед и катил на речку; там рисовал «обнаженные модели, положительное и отрицательное изумление», а потом ходил по берегу и бодро покрикивал:

— Кого научить плавать? — и тихо добавлял: — За кружку пива.

По воскресеньям дядя направлялся к нам. Как только он заходил, отец брал газету и уходил на крыльцо, а мы садились пить чай: мать, дядя и я. После чаепития, убирая посуду, мать начинала говорить, что, если бы дядя не увлекался спиртным, он уже давно стал бы строителем. На что дядя еле сдерживался, чтобы не расхохотаться:

— Строителем! Да когда я выпью, я чувствую себя Господом Богом! Вот так-то, глупая сестричка! А потом не забывай, я самобытный талант. Вот подожди, еще подсыплю перца в свои работы, и все ахнут. Впрочем, что тебе объяснять! Ты этого никогда не поймешь. Я пошел. Не позволю тебе испортить мне воскресенье, зарядить меня отрицательной энергией.

— Жениться тебе нужно, характер станет помягче, — вздыхала мать, а дядя шел на улицу петь песни.

«Вот это жизнь! А у меня что? Сплошная канитель! Но ничего, — рассуждал я, — скоро начну жить самостоятельно. Ведь у меня уже есть невеста — Таня, девчонка с соседней улицы. Самая красивая и самая добрая. Мы скоро с ней поженимся, и тогда я наконец уйду от родителей. Мы будем жить, как мой дядя, на чердаке». Мысленно я уже все решил, оставалась чепуха — найти подходящий чердак да сообщить Тане. Она ведь ничего не знала. Даже о том, что является моей невестой. «Но это неважно, — думал я. — Как только найду чердак, обо всем ей скажу» (мысли о женитьбе посещали меня недолго, с неделю).

Моя невеста оказалась более решительной. Но вначале небольшое отступление. В то время я постоянно ходил в синяках и ссадинах. Не потому, что любил драться, хотя, конечно, и без этого не обходилось, но в основном потому, что всюду лазил: на заборы, на лестницы, столбы, чердаки — на все, на чем бы ни останавливался взгляд. Случалось, когда слишком переоценивал свои возможности, срывался и летел вниз. Чаще всего мне везло. Так, с подоконника я свалился на кучу опилок, с чердака — в копну сена, с сарая — в бочку с водой. Но еще чаще плюхался на землю. Каждый раз, увидев у меня кровоподтек или лиловую отметину, отец говорил:

— В один прекрасный день ты сломаешь себе шею, так и знай!

Все взрослые меня не понимали. Только и слышалось:

— Этот сорвиголова плохо кончит.

Зато среди ребят я был героем. Каждый мой очередной синяк они рассматривали как новый орден. Особенно мной восхищалась Таня. Она всегда стояла в стороне и смотрела на меня тревожно и нежно. А однажды, когда я свалился с березы и, прихрамывая, побрел домой, она подошла и прошептала:

- Ты умеешь хранить тайны?
- Умею, — выдохнул я.
- Тогда дай слово, что никому не скажешь.
- Про что?
- Про то, что сейчас тебе скажу.
- Даю слово, — выдавил я и замер от любопытства.

А Таня опустила голову и тихо проговорила слова, от которых мне стало так приятно, что я покраснел.

Через несколько дней Таня с родителями уехала из нашего городка, и больше я никогда ее не видел. Первое время, пока о ней еще вспоминали во дворе, меня так и подмывало рассказать эту тайну, но каждый раз я вовремя пересиливал себя и сдерживался. До зрелого возраста я умудрился разболтать все свои тайны, только эту, самую маленькую, храню в себе до сих пор. Может быть, потому что с того времени уже никогда не добивался такого успеха, хотя и старался вовсю.

### *«Самые счастливые»*

Однажды осенью дядя в палисаднике своего дома поджег листву. Мы с Вовкой Вермишелевым прибежали на наш участок и тоже запалили небольшой костерчик, но наша листва быстро вспыхнула и прогорела. А дядин костер все полыхает, даже сильнее прежнего.

— Что у него так горит? — спросил Вовка. — Пойдем посмотрим!

Прибежали мы к дяде, а он забор ломает и рейки кидает в костер и, судя по улыбке, очень доволен собой.

— Ты, дядь, что делаешь?! — ужаснулся я.

— Что?

— Забор ломаешь!

— Ну и что? Ну скажите, зачем нужен забор?

— Как зачем? Отгораживаться.

— Отгораживаться! — передразнил дядя. — От кого?

Противно слушать! И серьезно ошибаетесь. Если вы хотите отгородиться от всего мира, то ничего у вас не получится... Я буду жить без забора. Мне не от кого отгораживаться.

Дядя отломал еще несколько реек и неким ритуальным жестом бросил в костер (даже в негодовании он был артистичен).

— Заборы просто дурь, сооружения исключительных бездарностей. К тому же — типичный пример бесполезного использования строительного материала. Ну пусть кто-то стащит у вас десяток яблок. Это же ерунда. Нельзя из-за одного плохого человека от всех отгораживаться.

Эту речь я воспринял как руководство к действию и вечером предложил отцу сломать и наше ограждение, слово в слово повторив дядины доводы. Хотя отец и недолюбливал дядю, но все же изгородь сломать разрешил. А потом и другие соседи поломали ограды, и на их месте вытоптались тропы. Только Домовладелец забор оставил.

— Так спокойнее, — сказал.

Иногда ни с того ни с сего дядя начинал писать картины в более-менее реалистическом духе, а потом, так же внезапно, раздаривал их, причем делал это с четкой направленностью: бабушке дарил кошек, матери — цветы, отцу — акварели про рыбалку, шоферу дяде Феде — индустриальные пейзажи, мне — автопортреты. Дядя подарил мне штук двадцать автопортретов. Несомненно, этими подарками он преследовал определенную цель — постоянно напоминал мне, чей образ жизни я должен перенять. Только зря он старался — я и так его боготворил: как-то даже, в порыве восхищения, брякнул:

— Ты, дядь, великий!

— Ну уж, не преувеличивай, — хмыкнул мой кумир несколько оторопело, но тут же приосанился:

— Хотя, должен сказать, мне нравится ход твоих мыслей. Склонность к преувеличениям — признак талантности. Ты это, рисование совсем-то не бросай, ведь художники, и вообще все творческие люди, самые счастливые. Они живут двойной жизнью: реальной и воображаемой... И запомни: ты мой настоящий друг.

Великим не великим, но необыкновенным человеком дядя был бесспорно. В шмеле он видел пчелиного медведя, в вечерних тенях — змей, в свисающих ивах — фонтаны, в нашей улице — целую страну, а в каждом человеке — художника. Например, дядю Федю, к которому испытывал особую симпатию — оба были большими любителями крепких напитков, — называл «художником по механизмам», сапожника дядю Игната — «художником по обуви», а старого водопроводчика — «художником по трубам». За необычные поступки многие называли дядю чудачком. Некоторые и вовсе считали его чокнутым, но так считали только слишком заземленные люди, ведь как ни посмотри, а в каждом необыкновенном человеке есть странность, иначе он и не был бы необыкновенным.

Одно время дядя работал оформителем витрин и за короткий срок переделал внешний вид всех магазинов в нашем городке. Вместо безвкусных стеллажей, заваленных в большинстве своем аляповатыми товарами, он сделал современные витрины с двумя-тремя красивыми вещами. Некоторые витрины дядя решил как декоративные витражи — они были похожи на калейдоскопы. На таких витринах дядя не выставлял вообще никаких вещей, давая понять, что в этом магазине товары в рекламе не нуждаются.

Дядины витрины имели большой успех. Мимо них нельзя было равнодушно пройти. Они гипнотизировали прохожих. Даже те, кто ни в чем не нуждался, заходили



в магазины и что-нибудь покупали. Магазины стали переполнять планы, а дядя, естественно, щедро вознаграждался. Первые его заработки ушли на погашение долгов, последние — на покупку машины.

— Деньги надо тратить на впечатления, — объявил дядя. — Машина мне нужна как воздух. Я буду везде ездить, наблюдать жизнь, рисовать положительные и отрицательные изумления. И вообще, когда уезжаешь, растягивается время: уехал на неделю, а кажется, отсутствовал год — всегда столько всего случается.

Дядя купил подержанную эмку — ободранную, исковерканную колымагу с раскоряченными колесами. Тем не менее, купив это «сокровище», дядя как бы перешел в высшее сословие людей — владельцев собственного транспорта.

Недели две дядя только и делал, что разбирал и смазывал разные части эмки. Ездил редко и никого не возил. Большую часть времени он только запускал двигатель и прислушивался, как тот работает, да со страхом посматривал на гараж-сарай, который от вибрации грозил развалиться. В те дни дядя по всем улицам собирал болты и гайки и постоянно носил их в карманах, как мальчишка, да еще посмеивался:

— У детей одни игрушки, у взрослых — другие.

Пожалуй, так оно и есть. Уж что-что, а владельцам автомобилей никогда не бывает скучно. Много раз из-за машины дядя забывал о друзьях и работе. Мне кажется, что и одной из основных причин дядиной холостяцкой жизни тоже была эта эмка. Она отбирала все дядино время, ему даже некогда было найти жену. Но здесь следует оговориться — дядя все-таки не терял надежду ее найти. Во всяком случае, на лобовом стекле эмки постоянно красовались портреты разных киноактрис: Любви Орловой, Дины Дурбин, Мэри Пикфорд. Причем они часто менялись, и не потому, что дядя был легкомысленным, просто его требования непрерывно повышались.

Со временем дядя стал ездить чаще, правда, постоянно забывал доливать в бензобак бензин, а в радиатор — воду, поэтому его эмка то и дело начинала чихать и отчаянно дымить, смотря по тому, что именно дядя забыл налить.

Дядина машина была очень капризна — могла на ходу свернуть в сторону, хотя дядя и не думал крутить руль, а иногда ни с того ни с сего вообще останавливалась, и тогда ее трудно было сдвинуть с места. Чего только не делал дядя в такие минуты: давил на кнопку стартера, крутил заводной ручкой — ничего не помогало. Машина стояла как вкопанная.

— Издержки частной собственности, — вздыхал дядя.

К счастью, в такие моменты рядом всегда оказывались знающие люди. Вначале эти любители техники стояли в стороне и с состраданием или усмешкой смотрели на дядины потуги. Затем подходили ближе и начинали давать советы; под конец, засучив рукава, лезли помогать. Постепенно помощников становилось больше, и каждый предлагал свой вариант ремонта, ссылаясь на многолетний опыт. Частенько между помощниками возникали нешуточные конфликты, которые продолжались и после того, как общими усилиями машину все же заводили. Дядя уезжал, а помощники, охваченные боевым пылом, долго еще доказывали друг другу свою правоту.

Замечательные люди эти незнакомые помощники! Забыв про все свои дела, они часами могут разбирать твою машину или смотреть, как ты удишь рыбу, и в ответственный момент помочь сачком. И главное, их помощь всегда бескорыстна.

Обкатав эмку, дядя начал возить на ней родных и знакомых и, разумеется, прежде всего меня. Я был главным дядиным пассажиром и могу достоверно засвидетельствовать, что первое время дядя водил машину совершенно безответственно. Во-первых, за рулем просматривал газету, снимал или надевал рубашку, причесывался и пел.

Причем, если пел веселую, зажигательную песню, мы неслись так, что прохожие шарахались в стороны, а если грустную — машина еле плелась.

Однажды во время дядиного переодевания за рулем я в испуге крикнул:

— Дядь, что ты делаешь?! Мы чуть не врезались в дерево!

— Вот в этом чуть-чуть и все дело, — ухмыльнулся дядя.

— Классный водитель все делает чуть-чуть лучше других. В жизни все держится на мелочах. И в искусстве тоже. В искусстве все дело в нюансах, деталях.

Во-вторых, дядя останавливался под всеми мостами — загадывал желания. Остановится и что-то бормочет (вероятно, хотел приблизить момент, когда из «непризнанного» художника превратится в художника, увенчанного славой, и встретит женщину, которая имела бы достоинства всех кинозвезд). Стало быть, стоит дядя под мостом и откровенно шевелит губами. Сзади сигналият, а он вроде и не слышит. Пока не загадает, ни за что не тронется.

В-третьих, дядя постоянно всех подвозил. Идет по шоссе какой-нибудь человек, дядя притормозит и спросит:

— Вас не подбросить?

Только незнакомец возьмется за ручку, а дядя добавляет:

— Но с условием — расскажете интересную историю.

Незнакомец замешкается, потом улыбнется и полезет в машину. А в пути обязательно что-нибудь расскажет. Оглядываясь назад, я теперь думаю, что это дядино условие было не что иное, как поиск сюжета для работы. Я даже убежден в этом, поскольку не раз замечал, как он подолгу дотошно расспрашивал обо всем того или иного попутчика. Правда, в то время находились люди, которые, зная дядину доброту, так и норовили использовать эмку в корыстных целях. Зайдут к дяде и прямо с порога — напористо, бестактно:

— У тебя машина на ходу?

И, если дядя кивал, канючили:

— Старина, выручай! Надо срочно отвезти то-то туда-то.

Через несколько месяцев после приобретения эмки дядя решил совершить путешествие по стране. С этой целью закупил маршрутные схемы и справочники, но никакого снаряжения не покупал.

— Так будет интереснее, — горячо сообщил мне. — В слишком подготовленных путешествиях нет самого главного — приключений.

Выбрав маршрут, дядя начал подыскивать напарника.

— Каждый живет по своим законам, — объявил мне, — но есть и общие, которым надо подчиняться. Один из них гласит: «Возьми в дорогу надежного товарища».

К будущему спутнику дядя предъявлял высокие требования: чтобы он разбирался в машине не хуже дяди, чтобы не был очень толстым, то есть не занимал слишком много места в машине, чтобы умел петь и знал толк в живописи, а главное, имел покладистый характер и чувство юмора. Посмотрев на себя со стороны, я пришел к заключению, что один к одному отвечаю всем дядиным требованиям. Больше того, по моим подсчетам выходило, что сверх нужных качеств у меня есть еще масса дополнительных. Явившись к дяде, я предложил себя в напарники.

Дядя внимательно меня выслушал. Он умел слушать. Нелишне заметить — немногие это умеют. Большинство умеет слушать себя, а дядя умел слушать других. Он никогда не перебивал, когда говорил его собеседник, и смотрел ему в глаза без всякой усмешки, внимательно и просто.

Долго дядя размышлял над моим предложением. Ходил, заложив руки за спину, хмыкал и морщил лоб, потом заявил, что для первой поездки его, пожалуй, устроил бы человек и с меньшим количеством достоинств, а меня он непременно пригласит в более далекое и опасное путешествие. В конце концов, так ни на ком и не остановив-

шись, дядя нарушил «общий закон» и отправился в поездку один. Целый месяц от него не было известий. И вдруг однажды он появляется на нашей улице... шагающий с рюкзаком.

— Это все, что осталось от эмки, — с горечью сказал мне, кивнув на рюкзак.

С дядей произошла нелепая история: где-то на Кавказе он вышел из машины сфотографировать горы при заходящем солнце и «необычные эффекты». Навел фотокамеру на вершины, установил выдержку и нажал на спуск. Потом обернулся, а эмки как не бывало. Оказалось, дядя забыл поставить машину на ручной тормоз, и, пока фотографировал, она преспокойно скатилась в пропасть. Спустя несколько лет дядя вообще стал противником всякого транспорта.

— Транспорт, — говорил он, — ненадежная штука. Самолет зависит от погоды. На поезд трудно достать билет. Пароход укачивает. Для машины нужны бензин и запчасти, с ней много возни — вот еще забивать этим голову! И вообще, в жизни всего не успеть, надо выбирать самое ценное и интересное. Так что я путешествую только пешком. Самый надежный способ передвижения. Сам себя никогда не подведешь. — После этого дядя непременно добавлял: — Я не навязываю свое мнение. Пожалуйста, покупайте машины и поддавайте жару. Скатертью дорога! Только не пожалейте потом!

### ***Чудесный парень***

Все детство я мечтал иметь две вещи: музыку и велосипед. Под музыкой я подразумевал хороший радиоприемник, на худой конец — патефон. Но в нашей семье не было даже радио. Мой отец больше всего на свете ценил тишину. Последние известия он узнавал из газет, а му-

зыка... Музыку ему заменяло заунывное бречание дяди Феди на домбре в доме напротив. Каждый вечер, предварительно выпив, дядя Федя затягивал свою тягомотину. От его музыки даже собаки уползали в сараи, а что говорить о людях! На них она нагоняла такую тоску, что многим становилось тошно. Только отец, заслышав дядю Федю, выносил стул на крыльцо и усаживался с блаженной улыбкой; иногда закрывал глаза и кивал головой в такт мелодии, а когда дядя Федя заканчивал дриньканье, глубоко вздыхал:

— Вот это музыка, я понимаю!

Но мне-то была нужна другая музыка. Шумная и бодрящая, которая поддерживала бы во мне тщеславный и самолюбивый дух, которая помогла бы осуществить многочисленные авантюрные планы. Больше всего моим требованиям отвечали марши из кинофильмов «Веселые ребята» и «Трактористы». Эти марши постоянно гремели во мне, и я напевал их с раннего утра, а днем, когда отец был на работе, вообще орал во все горло. Домашние не переставая сыпали угрозы, но я не обращал внимания. Во второй половине дня, немного устав, я пел вполголоса, а вечером, с приходом отца, про себя. Годы шли, но вкусы мои не менялись. Я и сейчас марши люблю, правда, из других фильмов.

С велосипедом все обстояло проще. Дело в том, что отец работал инженером на компрессорном заводе; работой он был завален — даже чертил дома по вечерам, выполнял заказы для хлебозавода и чаеразвесочной фабрики. У нас была большая семья (отец с матерью растили троих детей), и, сколько я помню, мы никогда не вылезали из долгов. Некоторые поговаривали, что отец «халтурит», на самом деле отец всю жизнь был честным, и страшно гордился своей честностью, и имел на это право, поскольку честность никогда не была нормой в нашем обществе — ни тогда, ни тем более сейчас, когда вообще забыли это

слово. И слово «порядочность», кстати. Так вот, разговоры о халтуре выводили отца из равновесия.

— Пусть мы бедные, зато честные и дружные, — хмуро заявлял он. — Важно не только, чего человек добился, но и каким путем этого достиг. И не слушай этой болтовни, — вразумлял меня. — Твой отец всегда был честным. В высшей степени. Запомни это! Я никогда не халтурил. Халтура — это работа так себе, спустя рукава, шалаяй-валяй, а не работа. А я все делаю на совесть.

По вечерам над чертежами корпели и мы с матерью — помогали отцу. Мать ставила форматки, а я стрелки. Я делал отличные стрелки. Немногие взрослые могли сделать такие. У дяди Феди, например, стрелки получались жирные, как галки, а у бабушки так и вовсе как вороны. Мои стрелки были острые, как индейские дротики. Я и сейчас могу сделать отличные стрелки. Чертеж тоже могу начертить, но так, средненько. А вот стрелки поставлю — хоть куда! Этими стрелками в то время я увековечил себя на многих отцовских чертежах. За это отец обещал купить мне велосипед — не новый, конечно, подержанный. Отец был человеком слова и никогда не забывал своих обещаний. И однажды в воскресенье хлопнул меня по плечу, и мы отправились на барахолку. Всю дорогу до рынка отец разрешил мне петь марши.

Во времена моего детства не было комиссионных магазинов; вещи продавали на барахолках. На этих стихийных толкучках можно было купить все — от кнопок до мотоциклов и мебели. Чаще всего эти рынки были завалены рухлядью: надбитой керамикой и статуэтками, выцветшими, облезлыми коврами, поломанными этажерками, саквояжами, полками... Но иногда попадались и ценные вещи: редкие книги, старинные картины в витиеватых рамах, китайская посуда и прочее.

Когда мы пришли на барахолку, торговля была в разгаре. Не прошло и пяти минут, как мы очутились в самом пекле. Только и слышалось:

— Кому пиджак? Новый, с иголки! Износа не будет!.. Уникальная вещь — чернильница Куприна! Купите, не пожалее!

Кричали про английские граммофоны, редчайшие электроплитки и бесценные шкатулки — реклама на барахолке была поставлена на широкую ногу. Нерасторопному продавцу без зычного голоса там делать было нечего. Обычно такие скромники нанимали какого-либо горлопана, а иногда и подставных покупателей, которые делали вид, что покупают, а на самом деле только взвинчивали цену.

Пройдя через всю барахолку, мы наконец увидели продавцов велосипедов. Они стояли особняком, около утрамбованной площадки для обкатки машин; здесь же на заборе сидели мальчишки — бескорыстные испытатели для не умеющих ездить — брюки у них были защемлены бельевыми прищепками.

В тот день продавалось пять велосипедов. Английский, сверкающий никелем, со множеством всякого снаряжения. От него мы отвернулись, чтобы не расстраиваться. Рядом с ним — допотопная машинешка, неизвестно какой марки, с сигналом-грушей. На эту колымагу мы тоже не стали смотреть. И, наконец, были три более-менее нормальные машины. К ним я и ринулся, но отец меня остановил.

— Не подходи, — шепнул мне. — В этом деле никогда не надо торопиться. Куда спешить? Времени у нас предостаточно. Походим, присмотримся, тогда и выберем.

Отец стал вышагивать около велосипедов. Вначале взад-вперед, заложив руки за спину, делая вид, что просто прогуливается, но я-то видел, как он косил глазами в сторону продавцов. Потом отец стал ходить кругами, с каждым разом сужая виток и напряженно вслушиваясь в разговоры продавцов с покупателями, при этом понимающе усмехался. Почему-то отец смотрел только на продавцов, а сами машины его не интересовали. Когда я отозвал его в сторону и сказал об этом, он скорчил недовольную мину:



— Ты не понимаешь! Эти три велосипеда абсолютно одинаковые. Что этот, что тот. Все дело в продавцах. Их надо раскусить, вот в чем дело! Здесь могут так надуть — у-у! — отец многозначительно поднял палец и закатил глаза. Потом вдруг засмеялся: — Но меня не проведешь! Я стреляный воробей. Я их всех насквозь вижу. Вон тот парень в кепке лучше всех. У него глаза добрые и улыбка открытая. Сразу видно — честный человек. Наверное, какой-нибудь студент. Постой здесь, я сейчас выясню.

Отец снова стал кружить вокруг продавцов, чуть задерживаясь около парня в кепке. Потом подошел ко мне:

— Ну что я тебе говорил?! Точно, студент. Пишет диплом. Если бы, говорит, не диплом, ни за что не продал бы. Пойдем, обкатаешь его велосипед.

Парень напоминал спортсмена на плакатах: его тело облегал тренировочный костюм, а кепка с длинным козырьком как нельзя лучше подчеркивала устремленность к рекордам; он был гладко выбрит и все время улыбался. Когда мы подошли, он меня обнял.

— А, так это тебе? — весело бросил. — Тебе не жалко. Другому ни за что не отдал бы, а тебе ладно, так и быть. Береги моего коня. Он мне пять лет служил без ремонта и тебе еще двадцать послужит. Эх, если бы не диплом! — парень подтолкнул ко мне велосипед и отвернулся, чтобы мы не видели его расстроенного лица.

Я разогнал машину и вскочил на сиденье. На маленьком пятаке машину трудно проверить, но я успел заметить, что колеса восьмерят, а задняя втулка скрипит, и, подъехав к отцу, сказал об этом.

— Вот чепуха — «восьмерят»! — засмеялся парень. — Да подтянуть-то их пара пустяков. Раз-два — и готово. Я думал, ты профессионал, а ты всего-навсего любитель.

— Да вы его не так поняли, — вступился за меня отец.

— А втулка! — продолжал парень. — Да треск я нарочно сделал. Убрал пару шариков. С треском-то веселее. Едешь,

а сзади точно моторчик, — парень подмигнул мне и рассмеялся еще громче.

— Давай посмотрим другие велосипеды, — шепнул я отцу, но он меня уже не слышал — тоже смеялся и жал парню руку. Я оттащил отца в сторону, но он не дал мне открыть рта:

— Чудак ты! Уж кто-кто, а я-то вижу, кто из них порядочный человек, а кто пройдоха. Посмотри на тех. Стоят, о чем-то шепчутся... И пробовать нечего. Наш парень лучше всех. Чудесный парень! И велосипед у него чудесный. Он мне сразу понравился.

Отец повернулся к парню и полез за деньгами.

Когда мы вышли с барахолки, отец торжественно заявил:

— Ну а теперь садись на раму, подкатим к дому вдвоем.

Только мы тронулись, как лопнула цепь.

— Вот досада! — отец поджал губы. — Но ничего, бывает.

Пока чинили цепь, спустили камеры.

— Странно, — отец нахмурился.

Накачали камеры — слетела педаль и лопнула пружина на сиденье. Отец смахнул пот, вздохнул и тихо буркнул:

— Ладно, поезжай один. Дома разберемся.

Но не успел я проехать и десяти метров, как случилось непоправимое: рама треснула, и велосипед разломился надвое. Я очутился на земле. Поднявшись, стряхнул с себя пыль и взял одну половину велосипеда; отец подошел и поднял другую. Так и зашагали мы к дому — я беззвучно ревел, а отец сконфуженно усмехался.

### *Каждый день*

Вскоре отец починил велосипед — отнес его на компрессорный завод, и там заварили раму, перетянули спицы и перебрали втулку. Вид у велосипеда оставлял желать лучшего, зато ход стал вполне приличный.

Долгое время я никак не мог накататься; с раннего утра вытаскивал свою машину и гнал по пустынным переулкам. Выхав на широкую улицу, по которой ходил трамвай, начинал вращать педали быстрее; серая асфальтированная лента все стремительней бежала на меня — запла-ты и пятна мазута так и мелькали.

Иногда ездил на стадион и там носился по гаревой дорожке, или уезжал на речку покататься по узким зыбким мосткам, или просто въезжал в перелесок и катил по изви-листым тропам. Это было настоящее чудо. Вместе с велоси-педом в меня вселились легкость и ощущение безгранич-ной свободы. Никто не мешал мне в любую минуту сесть на велосипед и уехать в какую угодно сторону. В те дни домой я заезжал только обедать, да и обедал-то на ходу; прогложу тарелку супа и снова вскакиваю на своего железного коня. На велосипеде я проводил все утро, весь день и вечер. Ча-сто катался и перед сном, в темноте, как бы про запас, на случай дождливой погоды на следующий день.

Моим любимым маршрутом был отрезок улицы между предпоследней и конечной остановками трамвая — там дорога пролегла через луг, по дамбе, по которой кроме трамвая ходил синебокий автобус. По краям дамбы рос-ли старые липы; их ветви над дорогой переплетались — я мчал как в зеленом тоннеле, под сплошным навесом, сквозь который еле просеивалось солнце.

Обычно я выезжал на дамбу рано утром, когда солнце было особенно ярким, а от лип особенно сильно пахло медом. Перед дамбой находилась трамвайная остановка, где в утренние часы дожидались транспорта одни и те же люди. Многих из них я знал в лицо, и они меня, разумеет-ся, заметили — как не заметить столь раннего оголтелого гонщика?! Помню трех полных говорливых мужчин. Зави-дев меня издали, один из толстяков локтями подталкивал приятелей, и все трое начинали жестами давать мне со-веты. Один принимался неистово крутить рукой — давай,

мол, парень, жми на педали! Другой приподнимал голову и выпячивал живот — не забывай, мол, про осанку! А третий нарочито широко улыбался, всячески показывая, что бодрость духа и уверенность в себе — главное в спорте.

Помню на остановке молчаливую пару — мужчину и женщину — красивых, печальных, замученных то ли работой, то ли сложными отношениями; они всегда задумчиво смотрели в разные стороны; только когда я проезжал мимо, вначале на ее лице, а потом и на его появлялись грустные полуулыбки.

Миновав остановку, я разворачивался на перекрестке и гнал по солнечной стороне улицы к дамбе. И в этот момент из переулка с сухим треском вылетал велосипед с самодельным моторчиком. За рулем восседал старичок в соломенной шляпе и круглых очках; на его пиджаке блестели медали. Старичок постоянно лукаво ухмылялся. К раме его машины были привязаны удочки и сачок. Мы со старичком одновременно въезжали на дамбу, и тут начиналось самое интересное: я бросал старичку вызов — приглашал к гонкам наперегонки и сразу вырывался вперед. Мопед старичка тарахтел на пределе, но все равно отставал. Оборачиваясь, я видел лицо старичка: он вроде старался не замечать своего поражения — по-прежнему ухмылялся.

К середине дамбы я немного уставал, но к этому времени разрыв между мной и старичком уже достигал полукилометра, и я позволял себе немного расслабиться. Уверенный в победе, я несколько раз вообще сходил с велосипеда и делал небольшую разминку, а когда мой великовозрастный, но «моторизованный» соперник подъезжал достаточно близко, снова разгонял велосипед и вскакивал на сиденье. После этого мне уже не удавалось намного вырваться вперед — сказывалась усталость от бешеной гонки в начале пути. Я напрягал все силы и, стиснув зубы, старался удерживать дистанцию, но старичок меня насти-

гал. Потрескивание моторчика за спиной слышалось все отчетливей, переходило в громкое тарахтенье, сбоку показывались концы удочек и переднее колесо... Старичок смотрел на меня поверх очков и беззлобно, но достаточно плутовски усмехался. Я жал на педали изо всей мочи, но он все равно меня обгонял. Это выглядело особенно унижительно, если рядом громыхал трамвай; тогда с площадки кто-нибудь обязательно кричал:

— Спрячь голову! Много ешь! Не жми, сзади уже никого нет!

Я не обращал внимания, но обидно было до чертиков.

Обогнав меня, старичок оборачивался и махал мне рукой, приглашая пристраиваться за ним, но тут уж я отворачивался, не скрывая презрения к роли гонщика за лидером.

Каждый день старичок выезжал из переулка именно в тот момент, когда я переезжал перекресток — ни раньше, ни позже. Тогда я объяснял это простой случайностью, а теперь думаю: это была четко продуманная стариковская хитрость.

Однажды утром я, как обычно, проехал остановку трамвая, но старичок из переулка не выехал. Прокатив несколько метров, я вернулся назад и еще раз пересек остановку, но старичок опять не появился. Решив его подождать, я сошел с велосипеда и долго, не меньше получаса, стоял на дамбе, но напрасно.

И на другой день старичок не выехал, и на третий. Позднее пронесся слух: будто бы какой-то старый рыболов на мопеде разбился — попал под колеса грузовика. Не знаю, так это или нет, только с того времени катание на дамбе для меня потеряло всякий смысл. Несколько раз я пробоval там ездить, но все уже было не то.

Лишь на следующее лето я возобновил поездки по дамбе: произошло исключительное событие — там появилась «принцесса». Тонкая и длинноногая, она была обладатель-

ницей бесценного синего спортивного велосипеда — он, как синяя молния, бесшумно разрезал воздух; я даже не мечтал догнать ее на моем тяжелом «коне» — это было совершенно невозможно.

А ездил девушка, как принцесса: сидела прямо, высоко подняв голову, и никогда не смотрела по сторонам. Сейчас с достаточной точностью я не могу сказать, что мне больше нравилось — девушка или ее велосипед, но тогда подолгу заглядывался на нее, прячась за липами. Каждое утро с книжками на багажнике она ездил в техникум на окраине города и к вечеру возвращалась назад. Не раз, увидев девушку, я собирался вскочить на свой велик и продемонстрировать разные трюки, ведь катался я отлично. Даже, чего там скромничать! — великолепно, потрясающе! Мог, например, ехать «без рук» и «без ног», мог лежать на сиденье и крутить педали руками, мог ехать задом наперед и с закрытыми глазами. Мог вообще не ехать, балансируя на одном месте. Все это я делал без усилий, запросто, шутя; оставалась чепуха — отличиться перед девушкой, и, казалось, это не составит особого труда, но... едва она подъезжала к месту моей засады, как я почему-то дрейфил и не двигался с места. А девушка пронесется мимо и даже не посмотрит в мою сторону.

И вот однажды я переборол себя. Заметив синий велосипед, выкатил на обочину и только хотел показать мастерство, как потерял равновесие и упал. До этого сотни раз проделывал все трюки и никогда не падал, и надо же! Именно при ней грохнулся, потерпел сокрушительное поражение. Я думал, девушка засмеется, но она только позвонила в звонок и, обогнув меня, исчезла.

На другой день я ехал на речку купаться. Вращая педали, смотрел на стрижей, пронесившихся перед колесами, на ехавшие навстречу повозки колхозников, набитые овощами. Вдруг сбоку вынырнул синий велосипед. «Принцесса» была в белом платье, с венком из ромашек. Обгоняет

меня и улыбается. Я поднажал на цепную передачу; велосипед заскрипел, затрещал, а «принцесса» легко так, играючи, обошла меня и стала удаляться. Немного отъехав, она замедлила ход. Я сразу пошел на обгон, но сзади отчаянно засигналил грузовик. Я резко свернул в сторону, выскочил с дамбы и шлепнулся в кювет, при этом порвал штанину и ободрал ногу. Велосипед не пострадал, только переднее колесо превратилось в «яйцо». Подняв велик, я стал взбираться на дамбу, вдруг слышу:

— Сильно ушибся?

Наверху стояла «принцесса». Белое платье полоскал ветер. Подошла, осмотрела мою ногу, достала из кармана платок и перетянула колено. Я покраснел и отвернулся.

— Как тебя зовут? — спросила «принцесса» и засмеялась. — Садись сзади, отвезу тебя домой, гонщик!

Я вскинул свой велосипед на плечо и сел за «принцессой» на багажник «синей молнии». И мы помчали назад. Меня подбрасывало, и упругий ветер срывал рубашку, и волосы «принцессы» хлестали по лицу — они пахли цветами.

— Держись крепче! — оборачиваясь, кричала «принцесса».

И от ее смеха, и от запаха ее волос было хорошо и весело.

### *Лето как лето*

По счастливому стечению обстоятельств «принцесса» вскоре стала жить на нашей улице. В один прекрасный день, по-настоящему прекрасный — в смысле погоды, мы с ней встретились на дамбе — она догнала меня на «синей молнии» и, вырываясь рядом, сказала:

— Послушай! Ты не мог бы завтра помочь нам с мамой погрузить вещи? (позднее я узнал: ее отец погиб на фронте).

— Ты уезжаешь?

— Нет! Мы обменялись и переезжаем на вашу улицу.

На другой день в условленное время я направился к ее дому, по пути зашел за Вовкой и взял его на подмогу, как рабочую силу. Когда мы подошли к дому «принцессы», там уже стоял грузовик, и около него виднелись мебель, тюки...

Давно подмечено, переезжать всегда интересно, а время от времени и необходимо. Во-первых, освобождаешься от многого привычного, но ненужного; во-вторых, волей-неволей начинаешь новую жизнь — появляются новые знакомые, новые заботы; в-третьих, и это самое важное, перемены, как правило, ведут к лучшему. Помнится, Ольга безудержно радовалась переезду.

Как только мы въехали на нашу улицу, из всех окон высунулись любопытные. Дядя Федя, а за ним отец и дядя помогли таскать вещи. Через час все было разгружено, перенесено в дом, и на нашей улице появились новые жильцы.

Ольга оказалась «принцессой» добрейшей души: уже в день переезда разрешила нам с Вовкой покататься на «синей молнии», а вечером подарила по приключенческой книге. Стояло лето, и у нас в школе, и у Ольги в техникуме были каникулы; мы стали проводить вместе все дни напролет. Все началось с рогаток. Как-то мы с Вовкой запустили змея, но, набрав высоту, он вдруг зацепился мочалом за провода и стал болтаться из стороны в сторону, точно заарканенный. В этот момент из дома вышла Ольга.

— Плакал ваш змей, — проронила. — Делайте новый.

— Дудки! — отчеканил я и достал рогатку, чтобы сбить мочало с проводов.

Только вложил голыш в кожу, как вдруг порыв ветра освободил пленника, и он, взвившись в высоту, застыл на одном месте. Но, так как рогатка все равно была у меня в руках, я выстрелил в неподвижный квадрат. Голыш пробил его насквозь.



— Здорово! — Ольга щелкнула языком. — Научите меня стрелять.

— Мы сейчас едем рыбачить, — важно провозгласил Вовка.

— Ой! И я с вами!

— А рыбу ты ловить умеешь?

— Вы меня научите. Я способная, вот увидите!

На рыбалку отправились на велосипедах. Ольга на своем спортивном, а мы с Вовкой на моем (Вовка пристроился на багажнике). До реки доехали без приключений и расположились под деревьями у нашей с Вовкой излюбленной заводи.

Солнце стояло в зените, и было жарко; сквозь седую, запыленную листву просачивались горячие струйки. Мы с Вовкой пыжились изо всех сил, чтобы выглядеть перед Ольгой искусными рыбаками; отталкивая друг друга, учили ее ловить рыбу нахлестом: забрасывать леску с наживкой как можно выше по течению и ждать, когда она проплывет мимо и ее начнет прибивать к берегу, — тогда леску перебрасывать. И так до тех пор, пока не клюнет. Показывая этот способ ловли, мы с Вовкой великодушно сносили Ольгины ошибки и не забывали вовремя поддержать ее за локоть, чтобы при взмахе удилица она не упала в воду. Мы относились к ней по-рыцарски, хотя она была уже девушкой, а мы еще мальчишками.

Что мне нравится в рыбаках, так это то, что среди них ценится умение, а не звание и возраст. Один раз Вовка удил рыбу рядом с врачом профессором и тихо ворчал:

— Вот дурак, как подсекает, лопнуть можно!

И профессор ничего — только улыбался смущенно, воспринимал Вовкино хамство как легкую бестактность.

Первую рыбу поймал Вовка. Он выудил плотву с ладонь. Вторую плотву неожиданно поймала Ольга, ее рыба была чуть меньше Вовкиной, но подсекла ее Ольга мастерски (вскоре она уже забрасывала удочку не хуже нас, а часто

и лучше, поскольку была выше ростом и легко перекидывала наживку через прибрежные травы). Потом Вовка поймал еще одну плотвичку, и наконец повезло мне, причем так, как никогда за все то лето. Я вытащил голавля на килограмм; когда тянул его к берегу, удилище изогнулось, как обруч от бочки. Я даже думал: ореховый прут не выдержит и обломится, но удилище не подвело.

После такого улова наше настроение поднялось до небывалых высот. Особенно у меня. Чтобы подчеркнуть свою радость, я даже затянул марш.

Домой мы не спешили — возвращались пешком, вырuling велосипеды по дороге; шлепали босиком по горячей, пышной, словно пудра, пыли. Перед нами шмели рисовали в воздухе узоры, мелькали разноцветные бабочки, и повсюду на тонких стеблях стояли ромашки, пахучие, словно флаконы с духами. Денек был потрясающий — из тех, которые запоминаются на всю жизнь.

На окраине города мы сели на велосипеды и через луг покатали к дамбе. Мы с Вовкой неслись напрямик, сбивая головки цветов; Ольга ехала медленно, объезжая чуть ли не каждый цветок — и в этом просматривалась разница между нашим бездумным варварством и ее бережным отношением ко всему живому.

С того дня мы регулярно (два-три раза в неделю) ездили на рыбалку, и каждая вылазка на природу была праздником — за лето набралась целая охапка праздников. Мы так привыкли удить рыбу с Ольгой, что когда однажды она не смогла с нами поехать, вся рыбалка пошла насмарку — уже через полчаса нам надоели и заводь, и удочки, и не радовала пойманная плотва...

Мы втроем ходили на стадион «Компрессор», в кинотеатр на любимых актеров Алейникова и Жарова, в читальню в парке имени Горького, в кафе-мороженое и просто гуляли по улицам. Мы бродили в незнакомых районах города, рассматривали дома, заглядывали в окна и угады-

вали, кто за ними живет. Прогуливались определенным образом: Ольга, словно королева, вышагивала в середине, а мы с Вовкой, как верные стражники, — по бокам. Кстати, узнав Ольгу поближе, я из «принцесс» произвел ее в «королевы». Повторюсь — в то время я не очень-то стеснялся в раздаче чинов и званий, но из всех, кому пожаловал высокий титул, одна только Ольга носила его с достоинством.

Когда мы шли по улицам, все прохожие оборачивались и, ясное дело, — не на нас с Вовкой. Нас не замечали — так красива была Ольга. Каждый раз, когда на нее засматривались прохожие, меня так и распирало от гордости. В такие минуты я казался выше и сильнее и уж, конечно, всерьез был уверен, что на земле только две королевы: в Англии — Елизавета да Ольга — на нашей улице. Несмотря на свой титул, Ольга была еще и преданным другом: кто бы ни позвал ее в кино или на танцы, она вежливо, но твердо отказывалась. Много раз мы с Вовкой замечали восхищенные взгляды парней, слышали возгласы:

— Вот красавица! А с ней-то кто это? Что за голодранцы?

Или:

— Ну и фея! И с такими шалопаями!

Услышав эти оскорбления, мы с Вовкой стискивали зубы, сжимали кулаки и уже готовы были броситься на обидчиков, но Ольга обнимала нас за плечи и, улыбаясь, спокойно говорила:

— Не обращайтесь внимания. Они просто завидуют нашей дружбе.

Однажды на рыбалке Ольга сказала:

— Скоро приедет мой друг. Я вас познакомлю, он вам понравится, и мы будем рыбачить вчетвером — он тоже заядлый рыболов.

— А где он сейчас? — поинтересовался Вовка.

— Служит в армии.

Ольга отложила удочку, присела на корточки и задумчиво уставилась на воду. Потом вскочила.

— Знаете что! Давайте приготовим ему удочку. Вот он обрадуется!

— А когда он приедет? — спросил я.

— Что-нибудь через неделю. А может, и раньше.

Вначале меня не очень обрадовал предстоящий приезд Ольгиного друга, но потом я подумал, что вчетвером рыбачить интереснее, чем втроем. «К тому же, — решил я, — Ольгин друг будет ходить с нами только на рыбалку, а в остальные места мы еще подумаем, брать его или нет. И вообще, — тут я сделал сомнительное заключение, — Ольга все равно не будет ему близким другом, ведь они дружили когда-то, а мы с ней дружим сейчас».

В тот же день мы приготовили снасть для Ольгиного друга. А на следующее утро меня разбудил свист Вовки. Выглянув в окно, я увидел рядом с ним Ольгу и высокого парня в солдатской форме; все трое были с удочками.

— Познакомьтесь! — сказала Ольга, когда я выскочил на улицу.

— Валерий! — назвалса парень и пожал мне руку.

У него был глуховатый голос и серьезное выражение лица.

— Ну а теперь мы покажем вам, Валера, нашу чудесную заводь. Хорошо, мальчики? — Ольга взяла парня за локоть.

«Мальчики!» — это меня сразу насторожило; она всегда называла нас «друзья». А тут вдруг — мальчики! Я почувствовал, что она умышленно подчеркивает дистанцию между нашим возрастом. И потом, она называла своего друга на вы. «Значит, он никакой не друг», — рассудил я. По моим понятиям настоящая дружба исключала условности.

На рыбалку поехали на велосипедах: мы с Вовкой на моем, а Ольга с Валерием — на «синей молнии». Валерий вез Ольгу на раме и что-то рассказывал ей в самое ухо, и она все время смеялась. Иногда вспоминала про нас с Вовкой. «Догоняйте!» — кричала и махала рукой, но тут же отворачивалась, слушала Валерия и смеялась.

Мы с Вовкой ехали молча. Настроение у меня было неважное, и причиной тому послужил Ольгин друг. Он мне не понравился. Я представлял его веселым и компанейским, но компанейским он был только с Ольгой, а нас как бы и не замечал.

В тот день погода соответствовала моему настроению: была пасмурная, ветреная. Не успели мы подъехать к нашей заводи, как речка покрылась кружками от дождя.

— Ничего, дождь — это к удаче, — с показной бодростью заявил Валерий и стал разматывать леску.

Мы тоже взяли удочки, только лучше б их не брали. В тот день ни у Ольги, ни у меня, ни у Вовки не клевало. Только Валерию везло. Вначале он поймал двух окуней, потом небольшую плотву, а затем вытащил красноперку. Это было какое-то колдовство. Мы ловили в трех шагах от него, и у нас совершенно не клевало, а он вытягивал рыбин одну за другой. И тут я узрел, что он ловит почти с поверхности. Передвинув свой поплавок, я сразу тоже поймал красноперку. Но даже эта пойманная рыба не подняла моего настроения. Наоборот, убедившись, что Валерий скрыл от нас свой способ ловли (наверняка, чтобы стать в глазах Ольги героем), я окончательно его невзлюбил. В то время я был убежден, что каждый хороший рыбак всегда и хороший товарищ.

Через некоторое время дождь усилился, и мы решили вернуться домой. Уже на нашей улице, обращаясь к Ольге, Валерий спросил:

— Вечером ходим в кино?

— Обязательно! Жаль только, мальчики не смогут пойти.

— Да, жаль, — согласился Валерий, и они с Ольгой обменялись многозначительными взглядами.

Это уже было не похоже на Ольгу. Это не делало чести «королеве». Зная, что на вечерние сеансы нас не пустят, она могла бы тоже не пойти. В последний момент она это поняла и спросила извиняющимся голосом:

— Вы не будете сердиться, если мы сходим вдвоем? Говорят, такой фильм интересный.

— Иди, — разрешил Вовка. — Мы не сердимся.

Я промолчал.

Следующее утро было солнечным. Часов в десять за мной зашла Ольга и поздоровалась приветливой обычного.

— Привет! — сказала. — Сегодня замечательная погода. Куда мы пойдем?

— Как фильм? — буркнул я и отвернулся.

— Фильм так себе, — Ольга изобразила кислую гримасу. — Я даже жалела, что пошла.

— Ты нам не друг, — проговорил я. — Ты пошла без нас.

— Нет, я друг, — защищалась Ольга. — Я вовсе не хотела идти на этот глупый фильм. Просто все говорили, что хороший, ну я и пошла, — она улыбнулась и положила руку мне на плечо.

— Я все время думала о вас. Вы даже мне во сне снились.

Я представил, как Ольга с Валерием гуляли после кино, и отдернул плечо:

— Не подлизывайся!

Она растерянно заморгала, потом тихо сказала:

— Наверное, я правда гадкая. Но я больше не буду, вот увидишь.

Эти слова не взбудрили меня. Если бы Ольга защищалась до конца, я подумал бы, что она и правда не так уж виновата, но, признав свою вину, она сразу подтвердила, что моя обида небезосновательна. И все-таки я не мог долго злиться на нее. Как только она замолчала, заговорил я — поведал, как мы с Вовкой бездарно провели вечер (слонялись по улице). А потом Ольга рассказала о какой-то смешной книге, и от моей обиды не осталось и следа. Мы зашли за Вовкой и втроем побежали запускать змея.

В полдень появился Валерий и пригласил всех в парк покататься на каруселях. Ольга с Вовкой тут же согласи-

лись. Находиться в обществе Валерия мне совершенно не хотелось, но, чтобы не противопоставлять себя большинству, я пошел.

День был жаркий, и, когда мы подходили к парку, всем ужасно захотелось пить.

— В парке отличные фонтанчики, — возвестил Вовка, хотя все и так об этом знали.

— Зачем в парке? Попьем сейчас, — Валерий направился к киоску с газировкой, а подойдя, небрежно бросил: — Четыре стакана с сиропом.

Меня мучила жажда, но не было денег, а пить воду, купленную Валерием, я считал унижительным. Но продавщица уже налила четыре стакана прохладительного напитка с красным сиропом.

— Я не хочу газированной, — сказал я как можно равнодушнее. — В парке вода лучше.

— Попей хотя бы немного, — Ольга протянула мне стакан.

Шипящий напиток приятно защекотал ноздри, но я пересилил себя и отвернулся.

— Хорошая водичка, — пропыхтел Вовка, смакуя сладкое питье.

Я грозно посмотрел на него, и, видимо, у меня было достаточно устрашающее выражение лица, потому что Вовка поперхнулся, оставил недопитый стакан и пробормотал:

— Плохая вода. Вот я пиво настоящее пил...

Он сказал это с таким дурацким видом, что Ольга рассмеялась, а Валерий чуть не захлебнулся. И даже я, как ни крепился, прыснул.

Угостив всех водой, Валерий, как мне показалось, решил еще больше удивить Ольгу своей щедростью.

— Пойдемте в тир, потом в комнату смеха? — предложил он.

— Нет, пойдемте, как решили, на карусели, — сказала Ольга.

Я посмотрел на нее с благодарностью и помчался к маленьким бесплатным каруселям.

Накатавшись на каруселях, мы двинули в зону отдыха играть в прятки. Первому водить выпало мне, но, когда я досчитал до десяти, ко мне подошел Вовка и сказал:

— Не считай! Они все равно убежали.

— Как убежали? — не понял я.

— А так. Убежали от нас, и все.

Я стал носиться от куста к кусту, но Ольги с Валерием и в самом деле нигде не было. Сели мы с Вовкой на скамейку, стали их ждать. Они появились спустя полчаса. Ольга подбежала первая.

— Ты где была? — грозно выдали мы с Вовкой одновременно.

— В беседке.

— Ты была с ним в беседке? — ужаснулся я.

— Да. Ну и что? — удивилась Ольга. — Мы там спрятались, а ты не идешь и не идешь.

В этот момент подошел Валерий.

— Здорово мы спрятались от тебя?

Не дожидаясь моего ответа, он посмотрел на заходящее солнце.

— Может, пора по домам?

Всю дорогу я кусал губы от злости.

Проводив Ольгу до дома, Валерий что-то ей шепнул.

— Договариваются идти в кино, — тихо подал голос Вовка.

— Ну уж дудки! — процедил я.

Мы с Вовкой решили их выследить: попрощались, для видимости разбежались по домам, но через несколько минут встретились снова, прокрались в сад за Ольгиным домом и притаились в кустах. Было тихо, и в саду стояла вечерняя стеклянная прозрачность.

Прошло полчаса, потом час, но Валерий все не приходил. У нас стали затекать ноги, как вдруг на крыльце



появилась Ольга. Она накинула темный платок и направилась в нашу сторону. Мы с Вовкой прижались друг к другу и замерли, но, не доходя до нас нескольких шагов, Ольга свернула в сторону и подошла к скамейке. На скамейке сидел... Валерий. Каким образом он бесшумно пробрался в сад, осталось для нас загадкой. Она села рядом с ним, и они зашептались. Темнело, их силуэты терялись на фоне листвы, но все же я отчетливо видел, как он подошел к ней. А потом вдруг она поцеловала его.

Они сидели до тех пор, пока откуда-то не донеслись позывные радио и диктор не объявил время: «Десять часов пятнадцать минут», — тогда она встала со скамейки и исчезла в доме.

На другой день мы с Вовкой сидели на углу нашей улицы и молча смотрели на работу сапожника дяди Коли. Вдруг подошла Ольга и совсем как обычно, без тени смущения сказала:

— Здравствуйте!

— Мы все о тебе знаем! — сразу ошарашил ее Вовка.

— Что? — с наигранной невинностью она вскинула глаза, но тут же покраснела. — Я ничего такого не сделала.

— Не ври! — почти крикнул я.

— Ты с ним целовалась! — бухнул Вовка и усмехнулся.

Ольга покраснела еще больше, и от волнения у нее задрожал подбородок.

— Не ругайте меня! — взмолилась она. — Я уже в десять была дома.

— В начале одиннадцатого! — внес я существенную поправку и посмотрел на нее с яростью; я был взвинчен до предела.

— Ну может, в начале одиннадцатого, — Ольга пожала плечами.

— Ты предательница! — сказал Вовка и, поднявшись, пошел по улице.

— Никакая я не предательница, — растерянно проговорила Ольга. — Не предательница я...

— Предательница! — твердо повторил я и пошел за Вовкой.

Я шел медленно и ни разу не обернулся до самого конца улицы, хотя все время чувствовал на спине ее взгляд.

### ***В то замечательное время***

Многим я увлекался в детстве, но все мои увлечения рано или поздно проходили, большинство даже до того, как я успевал по-настоящему ими увлечься. Чаще всего меня просто-напросто останавливали первые же трудности. И только поездки в трамвае я не бросал. Даже когда заимел велосипед и перестал нуждаться в транспорте, все равно продолжал кататься на трамвае. Я и сейчас трамвай люблю и, если никуда не спешу и замечу — красный вагон катит по рельсам, — обязательно проеду пару остановок.

Когда я просил у отца деньги на трамвай, он говорил:

— Не получишь. Почитай лучше, чем кататься без дела, — он начинал перечислять книги, которые мне необходимо было прочесть.

Как-то я послушался его и уселся за чтение. Причем читал запоем — за день три толстые книги осиливал. Читал я только самую суть. Разные описания пропускал, скучные монологи — тоже. Уж не говоря о сценах про любовь — те просто перелистывал. Слово «любовь» не было для меня загадочным, поскольку я любил Таню, девчонку с соседней улицы. Ничего хорошего мне эта любовь не давала. Наоборот, только вносила душевное беспокойство.

Вскоре я с полным правом стал доказывать отцу, что время, которое трачу на чтение, можно с большей пользой провести во дворе. На это отец говорил, что я просто не умею читать, что над написанным надо размышлять, де-

лать выводы и кое-что различать между строк. Эти туманные рассуждения еще больше убеждали меня в собственной правоте, и я продолжал уверять отца, что одна поездка в трамвае стоит десяти книг, что, когда едешь, у тебя перед глазами жизнь всего города, все новости. Короче — я доказывал отцу, что знания, почерпнутые из жизни, важнее знаний из книг.

Поняв, что отца не переубедить, я переключился на мать: пытался ей доказать, что поездки в трамвае мне нужны как воздух и что ограничение в деньгах может отразиться на моем умственном развитии. В те дни я жил в атмосфере постоянного доказывания. Даже бабушке приходилось доказывать, что родители относятся ко мне предвзято. Бабушка не соглашалась со мной, но, пытаясь успокоить, совала мне в руку медяки на трамвай. Я немедленно отправлялся на остановку, садился в трамвай, брал билет и, прислонившись к стеклу на задней площадке, смотрел на убегающие рельсы.

Я любил кататься на всем, что двигалось: на калитке, бочке, самокате и, конечно, на коньках, лыжах и санках, на плоту и лодке и, само собой, — на велосипеде, но больше всего на трамвае. А как я вскакивал на подножки и «колбасу»! Один раз только разбежался и хотел впрыгнуть, как какой-то бородач обхватил меня и не пускает. Я его ругаю и колочу, а он смеется:

— Ничего, вырастешь, спасибо скажешь!

Он до сих пор стоит передо мной — хороший такой бородач.

В другой раз мы с отцом спешили в баню. Подбегаем к остановке, а трамвай потихоньку отходит.

— Эх, была не была! — вздохнул отец (он впервые решался на такое). — Сможешь впрыгнуть? — и отец вдруг вскочил на подножку, да так легко, будто проделывал это не раз.

Я усмехнулся и, решив показать класс, небрежно разбежался и прыгнул на ступень, не касаясь руками вагона,

при этом еще посмотрел на отца — оценит ли он мое мастерство. Но надо же! Моя нога попала не на ступень, а гораздо ниже — на булыжники, да еще как-то нелепо подвернулась. Короче, я потерпел фиаско и, сконфуженный, хромая, заковылял в сторону. Отец соскочил ко мне:

— Ну ничего, ничего! Без навыка это, конечно, трудно-вато, но этому и учиться не нужно.

Что я мог сказать?! Мои слова выглядели бы жалким лепетом.

По нашему трамвайному маршруту ездило немало интересных людей. Часто я встречал рыбака, который всегда рассказывал попутчикам один и тот же случай, как он вылавливал рыбин в обхвате с самовар. Говорил он тихо, как-то заученно, все время замолкал на полуфразе, прислушиваясь к разговорам соседей; иногда встречал в чужие беседы, вносил поправки и уточнения. Вряд ли он был чересчур любопытен, скорее — просто хотел таким образом обратить на себя внимание, чтобы потом рассказать свою историю, а может быть, как каждый врун, требовал от других точности.

Нередко в трамвае ездила старушка, вся в кружевах, рюшках, со спиральками волос около ушей. Она постоянно вздыхала о прошлых временах и укоризненно посматривала на молодых девушек. Случалось, слишком расходилась и на весь вагон критиковала современную моду. Тогда кто-нибудь из пассажиров непременно заступался за молодежь, пытался оправдать стремление к смелым, открытым формам. Эти возражения еще больше распалили старушку: она вскакивала с места и, сердито бормоча, начинала проталкиваться к выходу. В такие минуты я боялся, что она выпрыгнет на ходу, но возбужденная старушка никогда не забывала подергать веревку звонка и только после полной остановки вагона победоносно выходила на улицу...

Существует предположение, что у некоторых женщин к старости появляется какой-то воинственный дух. Воз-

можно. С другой стороны — наша Кириллица находилась в «цветущем» возрасте, но вела себя словно генерал в юбке: ей было мало командовать своим мужем, она покрикивала и на чужих мужей, и на совсем незнакомых мужчин.

Однажды я ехал в трамвае в полдень, когда улицы пестрели от прямо-таки пульсирующего света. Вагон был совершенно пустой, только на передней площадке стояла «читательница» — так я прозвал светловолосую девушку с раскосыми глазами — она всегда читала Чехова. Я часто встречал ее — она входила на остановке «Дамба», брала билет, смотрела — счастливый ли номер, и проходила на переднюю площадку. И, как я сказал, всякий раз читала Чехова.

Как только трамвай подъезжал к остановке «Цепной мост», девушка закрывала книгу и подходила к двери. На этой остановке входил парень с добрым лицом — полный, круглолицый, похожий на комических персонажей в «Крокодиле»; он целовал девушку в щеку, протягивал ей горсть леденцов и начинал без умолку рассказывать о своей автобазе, где работал слесарем (это я знал точно, поскольку слушал парня разинув рот), о занятиях штангой в спортобществе «Трудовые резервы», расхваливал своих товарищей, с которыми строил буер, — он тарачил глаза, смешно надувался и пыхтел. Девушка смотрела на него не отрываясь, с безмерным восхищением. Да и как еще можно было смотреть на такого парня?!

Но иногда у этой парочки возникали размолвки, они спорили о каких-то «непонятных чувствах» и «затянувшихся отношениях» (я напряженно вслушивался, но мало что понимал в их разговоре, только догадывался — у них что-то не ладится). А иногда они оцепенело молчали, взявшись за руки и улыбаясь каким-то тайным мыслям. Если тогда и смотрели в мою сторону, то все равно меня не видели. Они выходили вместе на остановке «Перекресток».

Я так привык к этим влюбленным, что, если долго их не видел, мне прямо чего-то не хватало. Однажды осенью девушка вошла в вагон расстроенная; проскользнула на переднюю площадку и прислонилась щекой к стеклу. Чехова так и не раскрыла, держала под мышкой. Около «Цепного моста», как обычно, подошла к двери и стала всматриваться в остановку, но в вагон никто не вошел. После этого я долго ее не видел. И не видел того парня. Каждый раз, катаясь в трамвае, надеялся их встретить, но они не появлялись.

В дальнейшем, как-то само собой, я все реже вспоминал эту парочку, но вдруг, однажды весной, когда по всему городу текли ослепительные ручьи и от сохнувшего асфальта шел пар, «читательница» объявилась: вошла на «Дамбе» в трамвай с веткой вербы; улыбнулась мне как старому знакомому, взяла билет и прошла на переднюю площадку. У нее были счастливые глаза. Раскрыв Чехова, она принялась за чтение, но читала не так внимательно, как прежде: поминутно отрывалась от книги и улыбалась мне, как безмолвному соучастнику важного события. Приближался «Цепной мост», и я забеспокоился... А на остановке девушка выпрыгнула из вагона, обернулась, приветливо махнула мне рукой и исчезла в толпе.

Кстати, на той остановке никакого моста не было — так называлось место, где запланировали построить подвесной настил через топкую низину, но так и не построили, и горожане пересекали трясину по камням, так что название воспринималось насмешкой. Особенно слово «цепной».

### ***Старая развалина***

Одно время я ужасно хотел разбогатеть. Не помню, с чего началось. Вроде бы я начитался книг о пиратах, но скорее — из-за постоянной нужды в нашей семье. Так или

иначе, но целыми днями я искал клады: лазил по подвалам и чердакам, раскапывал каждое возвышение, копал с утра до вечера, точно обезумевший крот, и, естественно, испортил немало земельных гряд и садовых участков (после чего Кириллиха окрестила меня «бандитом»), но все мои поиски были тщетны. Казалось бы, это охладит любой пыл, но я настолько верил в конечную победу, что поражения только подстегивали меня. Кроме предполагаемых близлежащих кладов, я уже намечал прибраться к рукам и более отдаленные — рассматривал географические карты, намереваясь посетить некоторые острова.

Многие возмущались моей деятельностью (не говоря уж о Кириллихе — та даже писала в милицию), кое-кто ядовито смеялся, но это меня не останавливало. Я был убежден: рано или поздно сказочно разбогатею. Больше того, даже знал, на что потрачу богатство. Оставалось только его найти.

Иногда я так отчетливо видел россыпи драгоценных камней, что чувствовал головокружение; в такие минуты воображение уводило меня в мир роскоши, где я жил на широкую ногу, без всяких забот. Тогда я представлял раскаяние своих насмешников и видел их глаза, полные зависти. Разумеется, я надеялся, что вместе с богатством ко мне придут слава и власть (что, собственно, в порядке вещей). Поэтому часто воображал себя благодетелем, щедро одаривающим друзей и знакомых, а в ряде случаев и совсем незнакомых людей, если налицо было их восхищение мною, или хотя бы признание моих заслуг, или, на худой конец, просто симпатия. Крайне редко, но все же видел себя миротворцем, прощающим своих врагов — не всех, конечно, а тех, у которых степень вины передо мной не превышала определенной нормы.

В то время каждая валявшаяся безделушка мне казалась потерянной драгоценностью, особенно если эта безделушка блестела. Почему-то я думал, что все ценности

непременно должны сверкать. Но здесь я делал некоторые отступления и иногда собирал малоприметные на вид вещи, в расчете на то, что со временем они могут представлять ценность: медные гвозди, латунную окантовку, свинцовые трубки, олово, пробки, фольгу. Все эти вещи я носил с собой, в карманах; в карманах же держал и руки. Мои сверстники тоже ходили, засунув руки в карманы, но просто из желания казаться взрослыми и независимыми, я же так ходил только для того, чтобы ежеминутно ощущать свои сокровища. Я с удовольствием и спал бы с ними, но они впивались в бока.

Каждый раз, увидев меня с оттопыренными карманами, мать грозилась зашить их, и мне приходилось уговаривать ее не делать этого. Бывало, карманы не выдерживали тяжести, рвались, и я терял что-нибудь из драгоценностей и каждый раз такую потерю воспринимал как катастрофу. Странно, но через два-три года все эти потери мне уже казались чепухой — такой поворот приободряет меня теперь, поскольку я и сейчас кое-что теряю. Правда, теперешние потери несоразмерны с теми, мальчишескими.

К двенадцати годам я перестал копать землю, но не потому, что отчаялся найти клад, а потому что узнал более доступный способ разбогатеть — получить наследство. С этой целью начал перебирать всех родичей, взвешивать их возраст и оценивать состояние, но быстро понял, что здесь мне рассчитывать не на что. Тогда я засел за теоретическую разработку вопроса о богатстве и довольно скоро открыл еще несколько способов сколотить капитал. Кажется, в то время я сделал эти открытия одним из первых, но тем не менее их не замалчивал, а, наоборот, постоянно делился ими с каждым встречным.

Один из способов заключался в следующем: нужно купить породистую собаку и каждый год выращивать десяток щенков; потом продавать их по бешеной цене — через пару лет набирается приличная сумма. Были и другие, не



менее стоящие мысли. Многие отмечали достоинства этих способов. Но некоторые все же сомневались в их реальности. Кое-кто вообще называл меня «изобретателем чепухи», но именно эти последние вскоре использовали мои идеи и сейчас преуспевают, совершенно забыв, кому обязаны успехом.

На нашей улице жил один старик. Девчонки звали его «мухомором», «брюзгой», «противным старикашкой», а мы, мальчишки, — «старой развалиной». Нам он казался самым старым на свете, и что самое страшное — когда он рассказывал о временах своей молодости, мы никак не могли поверить, что он вообще был молодым. В самом деле, он представлял собой унылое зрелище: дряхлый старик с сиплым голосом, со множеством морщин и складок на лице. Глаза у него всегда были прищурены, и в них постоянно бегали какие-то иголочки. Когда я встречался с его колючим взглядом, мне казалось, что он не просто смотрит, а все взвешивает и прикидывает.

Он очень много курил, просто не вынимал изо рта трубку; когда кончался трубочный табак, смолил все подряд: папиросы, «козьи ножки» и толстые самодельные сигары, внутри которых виднелись кубики наструганного табака. Целыми днями он сидел на лавке перед домом и пыхтел трубкой. О нем говорили всякое, даже что он лунатик; будто по ночам, во сне, ходит по крыше дома и может летать. Одни говорили, что лунатиком он стал после того, как его сын пропал на войне без вести. Другие были уверены, что он вообще не имел сына и просто его в младенчестве осветил луч луны. Это последнее несколько скрашивало облик деда, но все-таки не настолько, чтобы мы интересовались им. На нашей улице и без него хватало колоритных фигур.

Дед был разведенным; со своей старухой прожил пятьдесят лет, справил золотую свадьбу, а потом разошелся. Разделил дом перегородкой надвое и благородно переселился в меньшую часть. В оправдание своего решения дед

приводил разные доводы, чаще всего противоречащие один другому, и, главное, столько о них говорил, что все стали сомневаться в их истинности. В конце концов многие пришли к выводу, что единственной причиной развода была болтливость старухи, а дед сам любил поговорить.

Раз в неделю у него собирались старики с нашей и близлежащих улиц. Встречу старики отмечали «чаепитием», за которым больше всех ораторствовал дед. Среди стариков было немало любителей поговорить, но в гостях они все же соблюдали приличие и в основном слушали деда. Но случалось, забывались, и тогда происходили инциденты. Начиналось с того, что какой-нибудь старичок затевал спор с соседом. В полемику вступал третий старикан, затем четвертый, и вскоре в комнате поднимался гвалт. Тут уж дед не выдерживал: хитрые блески в его глазах уступали место ярости; охваченный боевым пылом, он швырял трубку на стол и выдавал сиплую брань, потрясая кулаками.

Когда все успокаивались, дед закуривал трубку и в его глазах снова появлялись хитроватые искорки. Иногда после затянувшейся словесной схватки его лицо неожиданно принимало виноватый вид, и было непонятно, то ли он смущен поведением друзей и тем, что снизошел до словопрений с ними, то ли ему стыдно за минутную слабость, за то, что его покинула всегдашняя выдержка.

Обычно дед, как патриарх, восседал в углу на высоком табурете — он вообще любил сидеть повыше, возможно для того, чтобы подчеркнуть свое старшинство и чтобы его приятели не забывали, кто возглавляет их сообщество. Но, скорее всего, угол был просто его любимым местом, как есть такое место у каждого хозяина. К тому же, ощущая за спиной стену, почему-то чувствуешь себя уверенней.

В начале собрания старики говорили о прошедшей войне, поминали погибших, затем распекали бесхозяйствен-

ность в нашем городке (что было сущей правдой — взять хотя бы цепной мост, который так и не построили), потом переключались на политику: сперва осторожно — на уровне местных властей, но постепенно, входя в раж, поднимались выше и громили областное начальство; случалось, доставалось и правительству, но об «отце всех народов» непременно говорили с почтением.

Под конец встречи старики говорили об одном и том же — о профессиях. Прослушав два-три выступления, дед закуривал, поднимал руку и, дождавшись тишины, начинал рассказывать о своей профессии водопроводчика.

— Водопроводчики — народ особый, — говорил он. — У них перед глазами жизнь как на ладони. Отсюда и большой жизненный опыт.

Дальше дед совершал экскурс в историю водопроводного дела и, в форме справки, сообщал, как все обстоит сейчас; при этом современных водопроводчиков называл халтурщиками, а о мастерах своего поколения отзывался с особой сердечностью.

Многие подтрунивали над сборищем стариков, а дядя так и вовсе смеялся:

— Бурунные стариканы! Если и мы будем такими, пусть смеются над нами.

Однажды, во время очередного «чаепития», дед подзвал меня и попросил сбегать в магазин «прикупить кое-что». Несмотря на мою неприязнь к нему, я согласился — нам все-таки вдалбливали чтить старших. Вернувшись из магазина, я застал у деда всех его дружков; они уже прилично нагрузились и пребывали в блаженной расслабленности, и тут влетел я. Старики оживились, заулыбались и взялись наперебой судачить обо мне. Надо сказать, на нашей улице все знали, что я ищу клады, и старики в первую очередь — ведь они самые любопытные. На меня посыпались советы на все случаи жизни; я сразу услышал такое количество заповедей, что, если бы стал их придерживаться, прослыл

бы великим праведником. Основная заповедь звучала так: «Учти! С семи лет уже отвечаешь перед Богом за свои поступки... Но можешь и исповедаться...» Последним выступил дед, и в его глазах не было хитринок.

— Богатство, богатство! У меня ничего нет, кроме друзей, — дед обвел седые и лысые головы широким жестом. — Но этим я и богат. А мои ученики, которые работают по всему городу?! У каждого кроме учителей должны быть ученики, — дед закурил и исчез в клубах дыма, потом возник снова: — Я вырос в Средней Азии! Там воды нет. Потому и стал водопроводчиком, что с детства люблю воду. В воде есть волшебство, — дед снова затянулся, а старики закивали:

— Деньги не должны быть главным в жизни... Достаток лучше богатства... Можно быть бедным и счастливым...

Выпустив дым, дед разогнал его рукой и продолжил:

— Сколько я на своем веку труб проложил, один Бог знает, сколько людей напоил. В этом и есть мое богатство... А фонтан в парке знаешь? Я делал... Ребятишкам там раздолье, купаются. А взрослым радость от красоты и прохлады. Это тоже мое богатство... А твои клады! Такие богатства не делают человека счастливым. Никакие богатства не сделают счастливым, если живешь только для себя... Деньги наполняют карманы, но не сердце...

Дед потушил трубку, высыпал в баночку пепел, поклонился и вышел на улицу. Было неясно, что означал этот поклон и кому он предназначался. То ли мне в назидание, как представителю безмозглого поколения, то ли своим друзьям, как ритуал закрытия их собрания. Впрочем, дед всегда красиво уходил, только в тот раз сделал это слишком рано — наверно, по ошибке, но это и простительно — он был чересчур взволнован.

Как ни странно, красивые и мощные сентенции деда возымели свое действие: с того дня мне стали глубоко безразличны богатые люди и даже деньги превратились почти что в фантики.

## *На даче*

Однажды меня отправили на дачу к тете Груне. Мне было тогда двенадцать лет — как раз тот возраст, когда в каждого мальчишку вселяются вначале самовлюбленность и уверенность, потом какое-то смутное чувство, похожее на любовь. Я не был исключением, правда, у меня все шло в обратной последовательности, и мое чувство было далеко не смутным.

В дачном поселке жила худая светловолосая девчонка с задумчивой, блуждающей улыбкой и огромными темными глазищами, как два паука. Ее настоящее имя было Юлька, но все звали ее Тихоня, потому что она говорила слишком тихо. Юлька была такая красивая, что я боялся на нее смотреть, — чуть завидев ее, сразу опускал голову. Если в тот момент Юлька и заговаривала со мной, я все равно ее не слышал, только видел, как двигаются ее губы; а когда однажды Юлька прикоснулась к моей руке, я онемел, словно обмороженный.

Я и боялся Юльку, и в то же время меня тянуло к ней. И потому что она была красивой, и потому что смотрела на меня как-то загадочно... Я успокоился, только когда обнаружил, что Юлька плохо играет в футбол, а поскольку подходил к ней с меркой своих приятелей, то, естественно, и многие другие Юлькины достоинства сразу причислил к недостаткам: худобу и плавные женственные движения, любовь к музыке и цветам и даже ее улыбку. Я осознал свое заблуждение только через год (на следующее лето) и снова потянулся к Юльке, но к тому времени уже немного отрезвел и чувствовал себя увереннее.

Юлька кроме красоты обладала еще одним положительным качеством — умела слушать. Это было как раз то, что я ценил в девчонках превыше всего, потому что, повторюсь, был невероятно болтлив. В то время я спешил себя утвердить и каждому незнакомому человеку выкла-

дывал все, что знал, причем для большей убедительности надувался. В кругу знакомых, которые уже не раз слышали мои рассказы, обычно придумывал небывлицы и опять-таки был в центре внимания.

Юльке я рассказывал о велосипедах. О сложном устройстве велосипеда, о трудностях управления машиной и сохранении равновесия, об опасностях, подстерегающих гонщика на каждом шагу. И Юлька всегда внимательно слушала. Прижмет лицо к рейке забора, улыбается и слушает. Иногда я рассказывал какой-нибудь страшный случай из своей жизни, когда был на волосок от гибели, тогда улыбка с Юлькиного лица исчезала, а в глазах появлялись слезы. Под конец, чтобы закрепить успех и взбодрить Юльку, я небрежно бросал:

— А вообще, водить машину несложно. Главное — не бояться синяков.

Я уже говорил, что на самом деле катался на велосипеде мастерски (это было единственное, в чем достиг успеха), довел технику вождения машины до высокого класса; мог даже на ходу проделывать разные трюки. Но больше всего любил просто раскрутить педали и катиться «без рук». Легко, играючи, небрежно. Как-то, подражая дяде, я спросил Юльку:

— Знаешь, кто лучше всех ездит на велосипеде?

Я думал, Юлька будет долго гадать, но она сразу откликнулась:

— Знаю. Ты!

После этих слов я задрал голову, расправил плечи и ходил по поселку, как петух.

Рассказывая Юльке про велосипеды, я заметил, что она перенимает кое-какие мои словечки и даже копирует жесты — это особенно притягивало меня. Как-то само собой я стал ходить за Юлькой, точно привязанный. Мой приятель Колька, тоже велосипедист, как-то сказал:

— Она морочит тебе голову, а ты ходишь за ней как тень (это он процитировал кого-то из взрослых).

Другой бы обиделся, а я нет — знал, что Колька мне просто-напросто завидует. Я видел и чувствовал: Юлька тоже нравится ему, и втайне ревновал ее... Колька почему-то редко ко мне подъезжал, когда я был один, но стоило ему увидеть меня с Юлькой, сразу подкатывал:

— Здорово! Как дела?

И начинал болтать о велосипедах: какая там у него цепная передача или как он по ступеням крыльца съезжал.

— Уж помалкивал бы! — останавливал я его. — Что ты смыслишь в передачах? По ступеням... ха-ха! Лапша, а не гонщик.

Прямых доказательств Колькиного увлечения Юлькой у меня не было, я подозревал его интуитивно, но, сравнивая себя с ним, быстро заключал, что он для меня не конкурент. Колька даже о велосипедах говорил как-то растянуто, и от этого казалось, что он не очень хорошо знает то, о чем говорит. Я же всегда почти орал, и мне думалось, Юльке было ясно, кто мастер своего дела.

С Юлькой связано много хорошего, но оно стерлось в памяти. Почему-то все хорошее мы воспринимаем как должное, и почему-то, когда хорошо, время летит незаметно. Отсюда, наверно, можно сделать вывод: если не заметил, как прошла жизнь, значит, прожил неплохо. Но кое-что все-таки запомнилось. Однажды я предложил Юльке прокатить ее на велосипеде. Она согласно кивнула, но, когда захотела влезть на раму, у нее ничего не получилось.

— Помоги мне! — попросила она.

Я нарочито глубоко вздохнул и посадил ее. Это была моя первая галантность, и, хотя нас никто не видел, мне все равно стало неловко перед самим собой.

Разогнав велосипед с Юлькой, я вскочил на сиденье и погнал в сторону от поселка. В тот день было солнечно и жарко. Перед моими глазами, как пламя, трепетали Юлькины волосы, и виднелось ее ухо, розовое, просвечивающее насквозь, как лепесток цветка. Мы катились бы-

стро; цветы по краям дороги слились в сплошное пестрое марево. Юлька сидела, вцепившись в руль, то открывая, то закрывая рот — захлебывалась встречным воздухом. Она пищала от восторга и просила:

— Осторожней! Мы разобьемся!

— Ерунда! Трусиха! — хрипел я и гнал сильнее.

Эта поездка осталась во мне маленьким праздником, жаль только, что Юльку не обмануло предчувствие и в конце пути мы грохнулись. Кажется, я засмотрелся на Юлькино ухо и не объехал булыжник. Юлька упала удачно: перелетев через руль, плюхнулась в куст орешника. А мне не повезло — врезался в дерево. Руль саданул меня в живот, и от боли я долго не мог открыть глаза и пошевелиться. Юлька подбежала ко мне, присела на корточки, стала тормозить, звать дрожащим голосом. Внезапно к нам подкатил Колька (постоянно таскался за нами) и стал делать мне искусственное дыхание.

— Без сознания! Но жить, наверно, будет, — поставил он диагноз.

После этих слов Юлька заревела, и эти слезы были лучшим доказательством ее преданности.

Плохое, как и хорошее, имеет обратную сторону. Тот случай убедил меня в Юлькиной любви, но и положил начало моему небрежному к ней отношению. С того дня мы часто катались на велосипеде, но уже не было того состояния легкости и новизны. Больше того, чем доверчивей и привязчивей становилась Юлька, тем больше черствел я: стал опаздывать на наши свидания, стал Юльке врать. Наверняка Юлька чувствовала, что я обманываю ее, но заставляла себя верить, ведь поверить всегда легко, когда хочешь поверить. И только когда я совсем обнаглел и начал Юльке грубить, ее гордость взбунтовалась и она перестала со мной встречаться.

По недалекости я не мог понять Юлькиной перемены, не мог догадаться, что каждая, даже самая сильная любовь



должна все время чем-то питаться, ее постоянно надо поддерживать и, уж конечно, не разрушать.

Потеряв Юльку, я не очень огорчился; во-первых, потому что был прирожденным эгоистом; а во-вторых, потому что у меня появилась новая возлюбленная. Еще когда мы с Юлькой катались на велосипеде, к нам часто подбегала девчонка с раскосыми хитроватыми глазами и веснушками, которые, по-моему, она подрисовывала. На шее у нее висело ожерелье — нанизанные на нитку ягоды рябины. У нее было странное имя — Севелина. Когда мы с Юлькой ездили на велосипеде по поселку, Севелина часто стояла у забора и смотрела на нас с усмешкой, а иногда кричала какие-нибудь колкости:

— Липовый гонщик!

Или:

— Ну и парочка: гусь и гагарочка!

Я не обращал внимания, поскольку был убежден, что Севелина так себе девчонка. Но однажды, когда я подруливал к теткиному дому, Севелина подошла и спросила:

— Ты только Юльку можешь катать?

Я соскочил с велосипеда и несколько секунд осмысливал слова Севелины. Потом пробубнил:

— Кого хочешь могу.

— Тогда прокати меня. Сможешь? — Севелина прищурила глаза и как-то странно на меня посмотрела.

Я подкатил к ней велосипед, и она ловко вскочила на раму. Я заметил, что с Севелиной велосипед бежал гораздо легче, чем с Юлькой, и управлять им было намного проще. Севелина сидела на раме без всякого напряжения, чуть касаясь руками дужки руля. Она то и дело оборачивалась, смеялась и кричала:

— Быстрее, быстрее! — и болтала ногами, как бы помогая мне.

Я напрягался изо всех сил, мы неслись так, что ветер пухнул Севелинино платье, а мою рубашку просто срывал

с тела, но Севелина только смеялась и совсем не трусила, в отличие от Юльки. Вот тогда-то я и понял, что Севелина совсем не хуже Юльки, а кое в чем даже лучше ее.

Мы проехали с километр от поселка и, развернувшись, покатали назад. Я подвез Севелину к ее дому, и несколько минут мы постояли молча, чтобы отдышаться. Севелина стояла рядом, я ощущал ее дыхание и запах загорелой кожи и видел светлый, как иней, пушок на ее щеках.

Отдышавшись, Севелина тихо сказала:

— Спасибо.

И вдруг приблизила свое лицо и поцеловала меня.

— До свидания... — еле слышно прошептала она.

Возвращаясь домой, я уже был уверен, что Севелина несравненно лучше Юльки, и ругал себя за то, что не видел этого раньше.

Это было одно из самых значительных и грустных открытий в моей жизни. В тот день я встал на путь все увеличивающихся возможностей. Тогда я еще не знал, что чаще всего эти возможности ведут к недолгой восторженности и последующему разочарованию. Но, встав однажды на этот заманчивый путь, я так и не смог освободиться от этих иллюзорных представлений, и в этом вся непоправимость моего открытия.

Самым обидным тогда было то, что на другой день Севелина как ни в чем не бывало снова начала подтрунивать надо мной. Как будто между нами ничего не произошло. Я-то думал, что после поцелуя все будет иначе. Настроился на серьезную, долгую любовь, и вдруг — на тебе! Севелина оказалась легкомысленной девчонкой или, что хуже, коварной актрисой.

Я очень переживал. Даже заболел. Тетя несколько дней поила меня лечебными травами — решила, что у меня какая-то таинственная болезнь, ей и невдомек было, что ее беспутного племянника раздирают нешуточные страдания.

Поправившись, я стал делать вид, что Севелина мне безразлична. Встречая ее на улице, демонстративно громко насвистывал и, пританцовывая, проходил мимо. Среди ребят строил ей рожи и грубил. Наверняка мне плохо удавалось казаться безразличным. Я слишком подчеркивал свое безразличие, и от этого всем было ясно обратное. Как ни крути, а все неестественное, показное вызывает подозрение и выдает неуверенность в себе.

Через несколько дней Севелина подкараулила меня, когда я возвращался домой, и снова попросила прокатить на велосипеде. Я не смог перебороть себя и согласился. И опять мы совершили замечательную прогулку. Как и в первый раз, когда я отвез Севелину домой, она тихо поблагодарила меня и поцеловала.

А потом Севелина вдруг прокатилась с Колькой на его велосипеде и дала мне повод для новых переживаний — все было таким зыбким, неустойчивым, обманчивым, любая минута могла разрушить мое счастье или снова его вернуть.

Однажды мы сидели на бревнах около ее дома, у забора в бело-розовых граммофонах вьюна. Был полдень, и сильно парило. Я водил пальцем по воздуху, а Севелина угадывала, что я рисовал. Вдруг она сказала:

— Знаешь что?! Давай поедem купаться на Мешу?

Меша находилась в пяти километрах от поселка — небольшая река с потрескавшимся, вспученным слоем ила на берегах. Иногда среди ила проглядывали островки песка, заросшие лопухами. Мы выбрали самую лучшую отмель. Разгоряченные от езды, кинули велосипед на песок и помчались к воде. Сбросив на ходу рубашку, я сразу влетел в воду. Севелина остановилась, сняла платье и прыгнула за мной. Я отчаянно колошматил по воде руками, булькал и кричал от удовольствия. Севелина то подплывала ко мне, смеялась и брызгала, то бесшумно отплывала, высоко держа голову над водой.

Накупавшись до синевы, до гусиной кожи, мы упали в белый сыпучий песок и долго неподвижно лежали; загорали под палящим солнцем и рассматривали жуков, карабкавшихся в осыпных воронках. Незаметно рука Севелины подползла ко мне под песком, и я от неожиданности вздрогнул. Севелина засмеялась, вскочила и, стряхнув песок, побежала собирать раковины от улиток.

Я решил смастерить шалаш. Натаскал прутьев тальника, воткнул их толстыми концами в песок, а наверху перевязал камышиной. Затем нарвал лопухов и закрыл ими остов шалаша — жилище получилось отменным, и я спустился к реке, чтобы похвастаться Севелине. Она сидела у кромки воды и прутиком выводила на песке: «Севелина + Леша = любовь».

Потом мы сидели в шалаше и сквозь ветки смотрели на облака и стрижей, потом лазили по деревьям, бегали по лугу, играли в салки; после игры побежали в лес собирать ежевику и не заметили, как углубились в чашу и заблудились. Наш радостный настрой сразу угас. Между нами даже возникла небольшая перебранка с взаимными обвинениями в глупости.

Вскоре мы все-таки вышли из леса и увидели речку в круглых кустах тальника. К этому времени солнце уже стало низким и таким неярким, что на него можно было смотреть.

Когда мы подошли к реке, в воду зашлепали лягушки и от берега отплыла стайка мальков, напуганная нашими тенями. Мы думали, что спустились прямо к месту нашей стоянки, но оказалось, она осталась где-то в стороне.

— Наше место там! — я уверенно показал вверх по течению и пошел по мелководью.

Севелина, поживаясь, поплелась за мной. Она уже устала и медленно передвигала ноги; за ней от взбалаченного дна поднимались пузырьки и песчинки.

В верховье реки нашей стоянки тоже не оказалось. Тогда мы выбрались на берег и пошли назад, вниз по течению. Мы шли по мокрой от росы траве. Оборачиваясь, я видел, что глаза у Севелины часто моргали, а губы дрожали — она еле сдерживалась, чтобы не заплакать. Я чувствовал, надо сказать что-то хорошее, чтобы опередить ее плач, но что — не мог придумать. И вдруг увидел — солнце почти спряталось за холмы, остался лишь маленький краешек.

— Смотри, Севелина! — я показал на далекую затухающую полосу.

Севелина остановилась, и мы стали смотреть, как солнце прямо на глазах спускалось за горизонт. Когда оно совсем исчезло, я заметил — Севелина все еще всматривается в дымчатую даль, даже привстала на цыпочки.

В полной темноте мы все-таки разыскали нашу отмель, но на песке ни одежды, ни велосипеда не было. Вокруг виднелись следы от сапог и валялись разбросанные ветви нашего шалаша. Я стал носиться от куста к кусту — был уверен, кто-то пошутил, припрятал велосипед и вещи. Но поиски оказались тщетными. Севелина села на песок, обхватила колени руками и заплакала. Я растерянно встал рядом.

Внезапно Севелина вскочила и побежала к далеким огонькам поселка. Я ринулся за ней. Севелина бежала все медленней, потом перешла на шаг. Она уже не плакала, только всхлипывала, а около поселка совсем успокоилась и впала в какую-то печальную сосредоточенность. Я был сильно расстроен, да еще злился на Севелину за малодушие и панику. Ну стащили у нее платье, ну и черт с ним. Я остался без велосипеда и то не ревел. Впервые за последние дни я вдруг вспомнил о Юльке. Вспомнил, как мы упали с велосипеда и как она тормозила меня и звала. До самого дома думал о Юльке.

...Спустя три дня тетя повезла меня к родителям. Из поселка мы выехали на телеге, а на Меше пересели в мотор-

ную лодку. Я пристроился на передней банке, моторист запустил двигатель, и лодка, задрав нос, заскользила вниз по реке. И вот тут, рассматривая многочисленные отмели у берегов, я вдруг увидел нашу потерянную отмель. Как и несколько дней назад, на ней среди лопухов возвышался наш шалаш, рядом валялись велосипед, платье Севелины и моя рубашка. Отмель выглядела точно так же, как в тот солнечный день, даже не смыло слова, которые Севелина писала на песке.

### *Ливень в лесу*

Я считал, что меня постоянно все обманывают, причем одни дурачат на каждом шагу явно, грубо и беззастенчиво, другие втирают очки, краснея и заикаясь. По моим наблюдениям, только два-три человека меня не обманывали, но я был уверен: они просто ждут случая, чтобы как следует надуть. Так я думал, потому что был чрезмерно мнительным и потому что сам врал напрапалую. К тому же шпиономания во время войны коснулась и нашего городка и заронила немалую подозрительность в наши души.

На соседней улице жила одна бабка. Каждое воскресенье она брала корзину и уезжала в лес за грибами, но, что странно, — из дома выходила поздно, часов в девять утра, когда настоящие грибники уже возвращались. Не проходило и трех часов, как старуха снова появлялась на улице, но уже с полной корзиной грибов, прикрытых листьями орешника. Грибы она привозила только белые и всегда чистые и ровные, один к одному.

Лес, в котором собирали грибы, начинался на окраине города в трех трамвайных остановках от нашей улицы. В том лесу росли почти одни сыроежки. Редкие хорошие грибы — подосиновики, лисички, белые — обирали на рассвете заядлые грибники. А после воскресений, когда

лес заполняли приезжие, исчезали и сыроежки. Поэтому обильный урожай бабки выглядел каким-то колдовством.

Первое время ее полные корзины я объяснял простым везением, но, когда увидел их постоянство, заподозрил неладное. Я стал присматриваться к старухе и заметил в ней немало странностей.

Внешне она мало чем отличалась от других старушенций — была морщинистой и сторбленной, с сухими, корявыми руками; одевалась как и большинство ее сверстниц — черное платье, кофта и обыкновенный ситцевый платок. Но ходила эта бабка далеко не как все пожилые люди. Она не шаркала ногами и не стучала палкой, а как-то бесшумно кралась. Вначале я обращал внимание только на ее простодушный взгляд и какую-то глуповатую улыбку. Встречая на улице знакомых, она кланялась с елейным видом и, если ей что-нибудь рассказывали, сосредоточенно слушала, наклонив голову набок, все время поддакивая и кивая. Потом я стал подмечать, что при этих встречах бабка как-то неестественно меняется. То изобразит ужас на лице: округлит глаза, приложит ладонь к щеке, закачает головой, заохает. А то вдруг впадет в другую крайность: начнет отворачиваться от собеседника, махать на него руками и хихикать беззубым ртом. Я стал все больше убеждаться, что старуха тонко работает под наивную дурочку, а сама выуживает из людей разные сведения. Сколько раз я слышал, как доверчивый собеседник, пользуясь мнимым вниманием старухи, изливал ей душу, выкладывал все, что наболело, а старуха прослушает то, что ее интересует, потом вдруг украдкой отведет глаза и на ее лице появится такое спокойное выражение, какое может быть только у безразличного ко всему человека.

Правда, иногда она тоже что-нибудь рассказывала. Чаще всего о своем сыне, который жил, по ее словам, где-то за городом, но почему-то никогда ее не навещал. Каждый раз, рассказывая о нем, старуха всхлипывала

и театрально прикладывала платок к глазам. Вся эта неестественность, фальшивость бабки, ее постоянная игра и настроили меня против нее и навели на мысль, что она занимается какими-то темными делами. Ко всему прочему, бабка никогда не смотрела в глаза собеседнику, и это подтверждало мои подозрения.

Однажды в воскресный полдень, когда старуха возвращалась с полной корзиной, я изобразил на лице пронзительную понимающую усмешку и двинулся ей навстречу, предварительно нахлобучив кепку на лоб и засунув руки в карманы, чтобы придать себе устрашающий вид.

Заметив меня, старуха побледнела и перешла на другую сторону улицы. Этот ее маневр окончательно убедил меня в том, что она, боясь разоблачений, избегает наших встреч, и подумал: «Пора заявлять в милицию о бабкиных махинациях», но потом решил не спешить и собрать побольше улик, чтобы вывести на чистую воду не только бабку, но и ее возможных сообщников. Короче, замахнулся на героический поступок.

Спустя неделю в воскресное утро я взял корзину, будто бы для грибов, и стал подкарауливать бабку. Как только она вышла из дома, я принял беспечный вид и, насвистывая, пошел за ней. Пройдя всю улицу, бабка свернула в переулок и пружинящей, мягкой походкой направилась к трамвайной остановке. Я держался от нее на почтительном расстоянии, делал вид, что рассматриваю афиши, на самом деле все время косился в сторону загадочной грибницы.

Когда показался трамвай, я ускорил шаг и в вагон вошел одновременно с бабкой. Покупая билет, она заметила меня и сразу перешла на переднюю площадку. Всю дорогу она озабоченно посматривала в окно. На конечной остановке вышла из вагона и зашагала по дороге в сторону леса. Я направился за ней.

Было неясно, к каким неожиданностям готовиться, поэтому, как только мы вошли в горячий седой ельник, я ре-



шил особенно не рисковать и посвятить первую вылазку разведке.

В тот день сильно пекло и в глазах рябило от солнечного света. Воздух был жгучий и серебряный от пыли. По краям дороги виднелись лесные купаваы и клевер. От цветов текло горячее испарение.

Пройдя ельник, бабка обернулась и, заметив меня, поправила платок и, прибавив шаг, затопала меж деревьев вдоль дороги. Я усек: она решила поводить меня за нос и завести в глухомань, и, чтобы дать ей понять, что разгадал коварный замысел, подбежал к ней почти вплотную, а для большей убедительности еще и запел марш. Это должно было означать: «Все, милая бабуся, хватит притворяться, твоя песенка спета». Услышав мой голос, бабка пошла еще быстрее, на ходу все время поправляя платок. «Нервничаете, бабуся, — усмехнулся я. — Ничего не попишешь, плохи ваши дела, если за вас взялся такой человек, как я».

Увлечшись погоней, я и не заметил, как ельник давно перешел в густой сосновый бор. На мгновение задрал голову, я увидел качающиеся верхушки сосен — они жутко шумели. Опустив голову, я вдруг обнаружил, что бабка исчезла. Пробежал несколько метров, взгляделся в дорогу, но «грибницы» и след простыл. В меня вселился страх, я подумал — уж не причастна ли бабка к потусторонним силам, но тут же отбросил эту мысль и, расстроенный, поплелся назад. Бабка оказалась хитрее, чем я думал. Стоило мне на минуту отвлечься, как она обвела меня вокруг пальца.

В следующее воскресенье я решил выследить ее во что бы то ни стало. С раннего утра взял корзину и демонстративно уселся на скамью напротив бабкиного дома. Часов в девять, как обычно, она вышла, поправила платок и, увидев меня, прошепелявила:

— По грибочки, сынок, собрался? — и затрусила к трамваю. Я не отставал от нее ни на шаг.

День опять был знойный. Парило, и от раскаленной брусчатки струился горячий воздух; даже в тени стоял сухой и светлый жар.

На окраине старуха неожиданно свернула с дороги и пошла к лесу наискосок, через бледно-зеленые посеvy овса. Я был не такой дурак, чтобы не понять, что это делается для отвода глаз, с целью запутать меня, но на этот раз решил быть осмотрительней и шел за бабкой по пятам; «больше обманной номер не пройдет» — цедил про себя. Несколько раз старуха оборачивалась и укоризненно качала головой, но мне уже было все равно, уже надоела эта игра, и я упрямо маршировал рядом.

Когда мы вошли в лес, внезапно загрохотал гром. Потом солнце закрыла большая туча и на дорогу упали тяжелые, как дробь, капли дождя. В лесу стало темно.

— Вернулся бы ты, сынок, — промямлила старуха, не оборачиваясь. — Гроза будет.

Я и сам подумывал о возвращении, но после этих слов, явно рассчитанных на то, чтобы от меня избавиться, решил перенести все лишения и довести героическое дело до конца. Здесь уже было задето мое самолюбие, мой престиж.

Неожиданно над лесом сверкнула молния, и так шарануло, что в воздухе закружили хвоинки. Потом послышался нарастающий шум, и на дорогу обрушился ливень. Я думал, старуха спрячется под дерево, но она только участила шаги. Я еле за ней поспевал. Идти было трудно, намокшая трава стала скользкой, к ботинкам липла глина и разная труха, то и дело я спотыкался о корни, ползущие через дорогу. А старуха как ни в чем не бывало семенила кошачьей походкой и только бормотала:

— Ну и сынок! Ну и сынок!

Дождь захлестал сильнее; казалось, сверху извергается водопад; перед глазами все слилось в мелькающие серые полосы, точно кто-то невидимый штриховал и деревья,

и дорогу. Я промок до последней нитки, в ботинках хлюпало, мокрая одежда неприятно прилипла к телу.

Но вскоре тучи над лесом разошлись, и вокруг разлилось море света. Сквозь листву еще просеивались редкие капли, но от деревьев уже валил пар, и в лужах, как острова, плыли облака — я брел прямо по лужам, разбивая облака вдребезги.

— Пронесло, слава богу, — пробормотала бабка и сразу резко свернула на тропу. Я бросился за ней и через десять шагов увидел впереди сруб с высокой изгородью из горбыля. Внутри у меня что-то закололо, а ноги сами по себе остановились.

— Пошли, сынок, — обернулась бабка. — Обсохнешь и пойдешь по грибы.

«Ну уж нет», — подумал я, и перед моими глазами сразу возникла шайка грабителей. Я замотал головой и сошел с тропы. Старуха что-то проговорила и направилась к дому.

Сделав небольшой крюк, я подошел к строению с другой стороны, присел под кустом и стал всматриваться.

Дом был необычный: между бревен вместо пакли виднелся мох, по крыше стелилась не черепица, а дранка, над окном висел лист фанеры с надписью: «Дом лесника Кузьмина». Даже для не посвященного в дела старухи было ясно — надпись носит отвлекающий характер, поскольку единственный дом в лесу ничем другим быть и не мог. Но главное, дом огораживал высоченный забор, который, конечно, тоже неспроста был таким высоким. На этом мокром заборе, как манящий мираж, дрожала радуга.

Пока я сидел под кустом, листва подсохла, снова раскрылись цветы и над разнотравьем замелькали бабочки. О прошедшей грозе напоминал только поток в канаве перед домом, где плыла размытая трава. Я уже хотел вылезти из укрытия, как вдруг калитка в заборе скрипнула и со

двора вышла лохматая собака; широко зевнув, она стала лениво чесать задней лапой за ухом.

За собакой показались старуха и высокий бородатый мужчина — он обнимал бабку и что-то говорил. Потом вдруг передал корзину, прикрытую листьями, и поцеловал старуху. Когда бабка отошла, мужчина окликнул ее и попросил что-то захватить с собой в следующий раз. Старуха закивала, а мужчина добавил:

— И приезжайте пораньше, мама! Теперь, после дождика, много наберу!

Возвращался я в скверном настроении. Мне было жаль времени, которое потратил на обыкновенную бабку. Только подходя к дому, я немного повеселел. Наверно, до меня дошло, что все-таки лучше жалеть о том, что было, чем о том, чего не было да и не могло быть!

### *Витающий в облаках*

В детстве меня все время тянуло к ребятам со странностями, к мальчишкам с фантазией, совершающим такие немислимые поступки, которые нормальному человеку и в голову не придут. Немногие отваживались дружить с такими, а меня к ним тянуло. Я думаю, потому что во мне сидел какой-то чертик, который подталкивал к разным авантюрам, а скорее потому, что я сам был слишком нормальным, чтобы придумать что-нибудь необыкновенное.

В нашем классе было трое учеников со странностями — это по моим наблюдениям; многие считали, что их гораздо больше, а один даже — что все, кроме него. Он-то и являлся самым странным.

Его звали Игорь Межуев. Это был долговязый мальчишка с большими испуганными глазами. Он ходил утиной, переваливающейся походкой, вечно неряшливо одетый,

весь в чернильных пятнах, с болтающимися шнурками, с торчащими в разные стороны волосами, жесткими, как проволока. Шапку он носил задом наперед; если нагибался, его ранец летел через голову; но, несмотря на ротозейство и неуклюжесть, по успеваемости он не вылезал из отличников, а по пению заслуженно носил звание «даровитый».

Говорят, талант — это прежде всего требовательность к себе и усидчивость. Ответственно заявляю: ни того, ни другого у Межуева не было и в помине — он все схватывал на лету и никогда не корпел над учебниками, и пению нигде не учился, и вообще это свое «дарование» всерьез не воспринимал.

Каждое утро Межуев заглядывал в класс и с усмешкой сообщал:

— Пришел неряха, грязнуля и драчун Межуев!

После этих слов исчезал, но сразу же появлялся снова и тихо, крайне серьезно объявлял:

— А это пришел я.

В таком двойном появлении как нельзя лучше отражалась его противоречивая натура.

Межуев был страшно горячим, невыдержанным и все время каким-то возбужденно-напряженным — казалось, дотронься до него — и он взорвется. С нами «фитиль» Межуев держался высокомерно, разговаривал в агрессивном тоне, при этом тряс головой, размахивал кулаками, а если кто-либо ему перечил, сыпал угрозы:

— Щас как дам — три раза в воздухе перевернешься!

Или:

— Щас как тресну — мокрое место останется!

Приставучий, бесцеремонный, задиристый, он постоянно изводил нас криками и угрозами, правда, редко приводил их в исполнение, чаще после уроков извинялся перед теми, кому нагрубил, и делал это так искренне, что его нельзя было не простить.

На переменах Межуев неизменно вытворял всякие фортея; в зависимости от настроения — а оно у него менялось каждую минуту: он то носился по классу и все сшибал на своем пути, то подкидывал к потолку ранец и до того, как его ловил, успевал отбить чечетку (и кучу подобных штучек — лишь бы привлечь к себе внимание); то раскрывал окно и выкрикивал всякие глупости прохожим (за эти художества не раз объяснялся с директором), то внезапно ни с того ни с сего забивался в угол и впадал в уныние, и тогда казалось, все его выходки — игра, он нарочно выглядит балбесом. Так или иначе, но после каждого звонка мы с интересом ждали, что он еще выкинет, и не обманывались — его выходки становились все зрелищней.

Во время урока, когда учитель объяснял новый материал, Межуев мог запросто улизнуть из класса (позднее перед директором оправдывался, что знал тему и не хотел попусту тратить время). И мог вообще объявиться в более старшем классе — потому что, видите ли, в своем ему «скучно» (на это директор только разводил руками).

В самом деле Межуев был на голову выше нас (в смысле знаний и умственных способностей), и рядом с его талантами наши таланты выглядели всего лишь мелкими способностями (при наших жутких потугах). Но и по диким выходкам, вспыльчивости и грубости он нас переплюнул. И что знаменательно — был страшно обидчив — чуть что надувал губы и вносил обидчика в список, кого надо отлупить. Но, как я уже сказал, дрался считаные разы — обычно ограничивался тем, что после уроков вставал в стойку и колошматил воздух.

За чудачества Межуева наградили несколькими прозвищами, которые совершенно выводили его из себя: «вулкан», «ошпаренный», «растерявший винтики». Природа одарила Межуева кучей достоинств и недостатков, но начисто лишила чувства юмора — иначе он оценил бы свои прозвища, а не обижался на них.

Позднее по поводу обидчивости отец прочитал мне длинную лекцию, которая в сжатом виде выглядит приблизительно так: всякая повышенная ранимость идет не от чувствительности, а от чрезмерного самолюбия, а то и от ущербности. Отец приводил пример: нормальный человек хотя бы задумывается над замечанием, в какой бы грубой форме оно ни было сказано, и, если в этом замечании есть доля здравого смысла, принимает к сведению (имелся в виду врач профессор); себялюбец, не задумываясь, отвергает любое замечание и защищается в поте лица (имелся в виду дядя); а невежда даже невинное замечание встречает в штыки, по принципу «сам дурак» (имелся в виду, естественно, я).

Вторым «странником» слыл Володя Сорин — толстый, с круглым румяным лицом, на котором нелепо торчал длинный острый нос. Несмотря на тучность, Сорин был на редкость ловким: мог с разбегу сделать несколько шагов по столбу электропередачи (этот трюк никто не мог повторить) и легко перепрыгивал через заборы (в школу он никогда не ходил по дороге — всегда дворами, через изгороди).

Сорин приехал из другого города и появился в классе к концу учебного года; как только вошел в класс, все захихикали и каждый мысленно стал придумывать ему прозвище, но он всех опередил:

— Во какой я бочонок! Чучело! Пугало! Бармалей! Я буду первым толстяком в школе! Ха-ха!

Все заулыбались, обезоруженные. Мы привыкли смеяться друг над другом, но чтобы смеяться над собой?! Такое видели впервые.

— Я буду самым толстым дядькой в мире! — кричал Сорин на перемене. — А до школы я был тощий, как Кощей. Меня разносит от знаний!

Класс заливался, а Сорин потихоньку куда-то исчезал. Только однажды я бросился на поиски и нашел его в под-

вале плачущим. С тех пор я знаю, что не всякое самоутверждение есть признак уверенности и силы — иногда это и защита от беззащитности.

Как и Межуев, по успеваемости Сорин был одним из лучших, но, в отличие от безалаберного Межуева, которого директор не раз обещал отчислить из школы (разумеется, только запугивал, прекрасно понимая, что у яркой личности, как правило, характер не подарочек), Сорина ставили нам в пример как «прилежного, умного» — такового носителя культуры. Понятно, любимчики учителей не пользуются уважением ребят, но Сорин являл исключение. Доброжелательный и веселый (на людях), неиссякаемый на выдумки (вроде взбегания на столб), он ко всему прочему был невероятно начитанный — рассказывал такие истории, от которых перехватывало дыхание и немело сердце.

— Когда ты успел все это прочитать? — как-то спросил я.

— Успел, — Сорин понуро опустил голову. — Я наврал, что до школы был худой. Я с рождения такой. Ребята надо мной смеялись, звали Жиртрест, ну я и стеснялся выходить на улицу. Ребята играли в футбол, купались на речке, а я читал книжки, шастал по библиотекам.

В силу своей толстокожести я не оценил откровения Сорина и продолжал, как все, с неосознанной жестокостью подтрунивать над его внешностью. В то время я не знал, что такое комплекс неполноценности, и не догадывался, какие формы он может принять. Но что помню точно — благодаря Сорину наконец открыл книги. А об его «уродстве» вспомнил позднее, когда сам начал страдать от худобы, но здесь уже дядя объяснил мне что к чему, и объяснил со знанием дела, поскольку сам был контуженый и раненый.

— ...Глупо стесняться своих физических недостатков. Надо выжимать из них максимум, чтобы они как бы работали на твой облик в целом. Некоторые выпячивают



свои недостатки. Возьми калек-нищих и прочих ущербных людей. Они спекулируют на чужом сострадании. Такое отрицательное изумление. А некоторые обращают недостатки в достоинства, гордятся ими, как фирменным знаком... Возьми очень высокую девушку, которая сильно переживает, что к ней не подходят парни. Она идет в волейболистки и становится знаменитой спортсменкой, и у нее отбоя нет от ухажеров. Такое положительное изумление...

Кроме Межуева и Сорина в классе было еще несколько ребят со странностями и даже одна девчонка с зелеными глазами. Ее звали Колдунья, потому что она угадывала отметки:

— Я предсказываю тебе сегодня тройку.

Или:

— Мне видится твоя двойка.

Она была воображалой и недотрогой, и круглой отличницей, первой ученицей в классе (плакала, если получала четверку, что выводило меня из себя, ведь я не расстраивался, если получал и двойку, и, понятно, ее «несчастья» считал радостью). Теперь-то мне кажется, что основная ее странность состояла в том, что она притворялась странной, а в действительности была нормальнее нас всех. Наверно, ей просто нравилось строить из себя загадочную фею (да и какой девчонке не хочется выглядеть таинственной?), но то, что она обладала сверхъестественной интуицией, — это факт.

И все же самым необыкновенным в классе был Алексей Ялинский, застенчивый паренек, с которым я мечтал сидеть за одной партой. Его интеллигентное лицо выражало чистоту помыслов, а голубые близорукие глаза — святую простоту, доверчивость, наивность. Среди ребят он держался предельно скромно, старался быть в тени, никому не навязывал своего общества, больше слушал, чем говорил, и никогда не смеялся, а если и радовался, то как-то

печально. Он сидел на первой парте у окна, постоянно задумчиво смотрел в одну точку и чему-то улыбался. Всякий раз, вызывая Ялинского к доске, учитель по пять раз повторял его фамилию, прежде чем он поднимался. В классе шумели:

— Яля, тебя! Очнись! Опустись на землю!

Ребята посмеивались, подмигивали друг другу. Ялинский вскакивал, смущенно теребил пуговицу, что-то бормотал в оправдание. Зная о своей рассеянности, он как-то договорился с соседкой, великаншей Олей, чтобы она толкала его, когда он «размечтается», но при первом же Олином толчке очутился на полу, а поднявшись, отругал ее, начисто забыв о договоре.

Говорил Ялинский тихо, но когда выходил к доске, в классе наступала тишина; все откладывали «свои дела» и слушали — так захватывающе он рассказывал. Начинал как снег на голову:

— Я по учебнику урок не знаю. Знаю по другим книгам.

— Что ж с тобой поделаешь, рассказывай! — вздыхал учитель и склонялся к журналу.

Ялинский заводил бессвязную говорильню и не о сути дела, а о предыстории с многочисленными отступлениями в сопутствующие области. Подбираясь к теме, распалялся и, не повышая голоса, говорил вдохновенно и быстро, точно боялся не успеть высказаться полностью; его лицо покрывалось пятнами, руки рисовали в воздухе разные образы — он завораживал весь класс; точнее, гипнотизировал, ведь даже когда плел явный вымысел, ему верили. Самым непонятным во всем этом было то, что на перемену мы выходили обалделые — никто не мог вспомнить, о чем он говорил, — какие-то обрывки фраз, полусказочные картины, и ничего больше.

Во время сочинений все подглядывали в учебники, Ялинский не заглядывал никогда и опять-таки писал не сочинение на заданную тему, а что-то вроде отвлекенной

новеллы. Во время решения задач он всякий раз выводил новые формулы — учителя только ахали.

Вне школы Ялинский был еще более чудаковатым. Например, постоянно терялся. Идет, допустим, класс на выставку, он тоже где-то в конце болтается, вдруг бац! — Яли нет. Ищут всем классом. А он, оказывается, где-то разглядывает цветок.

Ялинский любил тихие переулки, музеи — то, что на меня наводило тоску, и все же я постоянно искал общения с ним, прежде всего за его способности. Он мог, например, заглянуть в технический кружок, где ребята ломают голову над какой-то проблемой; подойдет, мельком взглянет и на ходу бросит неожиданное и прекрасное решение — и главное, такое простое, лежащее на поверхности, что у всех глаза на лоб лезли — почему сразу до этого не додумались. И так сплошь и рядом. Над чем бы кто ни бился, подойдет и легко, не напрягаясь, обронит находку и невозмутимо отойдет.

С самых начальных классов Ялинский отличался замкнутостью и ни с кем не дружил. Что только я не делал, чтобы добиться его расположения: пускал голубей в классе, рисовал на доске чертиков — все смеялись, а Ялинский молчал. А ведь я для него старался, его хотел удивить шальными проделками и без конца рассказывал ему о неограниченных возможностях валять дурака у нас во дворе. Целыми днями я маячил у него перед глазами, но он меня не замечал. Только однажды, когда я и не рассчитывал на его внимание, он меня оценил.

В тот день я притащил в класс обычные куски вара. Ни на кого они не произвели особого впечатления, но Ялинского привели в восторг (он был коллекционер — постоянно таскал в карманах какие-то травки и жуков; жуки то и дело вылезали из карманов и ползали по его рубашке, а травки он растирал в ладонях и нюхал).

— Ух ты! — подскочил Ялинский ко мне в тот день. — Черные зеркала! Где достал?

— Стянул на стройке, — просто ляпнул я.

— Как стянул? — удивился Ялинский (он был честен и простодушен до смешного). — Взял без спроса?

Я кивнул.

— Но ведь это нечестно!

Тут уж я не вытерпел:

— Ты, Яля, совсем того! — я покрутил пальцем у виска и отошел.

Неожиданно Ялинский поплелся за мной; сморщив лоб, он о чем-то думал. Потом выдавил из себя:

— Вообще-то я не прав. Это для нас ценность, а для них мелочь, правда? — он внезапно схватил меня за руку: — Знаешь что! Пойдем после школы ко мне? У меня есть кое-что интересное.

Ялинский жил с теткой (его родители погибли на фронте). В домашней обстановке Ялинский оказался намного раскованней, чем в школе: показал мне коллекцию камней и подробно рассказал о каждом камне. Потом вытащил из-под дивана папку с рисунками (в школе он считался признанным художником — без его оформлений не обходился ни один праздник; я был у него подмастерьем) и показал иллюстрации к прочитанным книгам, и карандашные наброски зверей, и рисунки доисторических чудовищ. Особенно впечатляли морские акварели, где терпели кораблекрушение матросы, а царь Нептун уже ждал их на дне.

Показывая рисунки, Ялинский не умолкая говорил, закатывал глаза к потолку, тербил шевелюру, а убрав папку, вдруг спросил:

— Ты любишь музыку?

Я кивнул:

— Люблю марши.

Ялинский достал из шкафа продолговатый футляр, открыл крышку, и его лицо засветилось — в футляре лежала скрипка. Он долго настраивал инструмент, тер смычок ка-

нифолью; я мужественно делал вид, что сосредотачиваюсь, напрягаю слух. Наконец «маэстро» закрыл глаза и заиграл. Вначале что-то грустное: с застывшей улыбкой медленно водил смычком и раскачивался. Потом улыбка с его лица исчезла, брови на лбу сошлись, пальцы левой руки быстро забегали по грифу, а смычок стал выделять отчаянные скачки. Спокойная мелодия превратилась в бурный каскад звуков. Он играл песню «Веселый ветер»; красный от напряжения, трясся, вскакивал на носки и приседал, закручивая мелодию в неистовую карусель. И внезапно оборвал ее на самой высокой ноте и плюхнулся, обливаясь потом, на диван, измученный и опустошенный. Я стал спрашивать его, что он играл вначале, а он смотрел на меня, но ничего не слышал — был весь там, в музыке.

С того дня мы подружились и дали клятву — дружить до конца наших дней, а чтобы действенной скрепить обещание, обменялись дорогими вещами: Ялинский подарил мне чернильницу-непроливайку и перо рондо, я вручил ему настенный календарь.

Ялинский основательно привязался ко мне, ведь я был его единственным другом. До этого он видел только похлопывание по плечу и усмешки, и вдруг мое навязчивое внимание. Наша дружба развивалась стремительно и была не просто близким приятельством, а настоящим братством. Мы вместе делали уроки (и я поражался, как ему все легко дается), ходили в кино на трофейные фильмы и на выставки в краеведческий музей, вместе рисовали (под его руководством я прошел начальный курс грамотной живописи — эти уроки являлись украшением нашей дружбы). Ялинский научил меня строить планеры и собирать парусники в бутылках, при этом особо нажимал на «простоту»:

— ...Надо стремиться к простоте, к колесу. Простая вещь — прочная вещь. Чем сложнее механизм, тем быстрее сломается...

Это были бесценные советы, я запомнил их на всю жизнь.

Я тоже кое-чему научил своего друга: выделывать пируэты на велосипеде, удить рыбу — но, конечно, мои уроки не идут ни в какое сравнение с его, драгоценными. Впрочем, кто знает, быть может, я помог Яле заземлиться, иначе он так и остался бы на облаках.

Ялинский был верным, надежным другом. Когда меня учителя ругали, он прямо сжимался от боли, когда же хвалили (редчайшие случаи), радовался больше меня самого: поминутно ерзал на парте, толкал великаншу Олю локтем и шептал ей в ухо:

— Вот молодчина, а? Мой друг, ты знаешь?

Ялинский совершенно не умел скрывать свои чувства. Когда однажды я пришел к нему чуть позже, чем мы условились, он встретил меня тревожным голосом:

— Ну что же ты так долго?! Весь вечер тебя жду. Я уж думал, случилось что, — от волнения он даже заикался.

Как-то Межуев внес меня в список своих жертв. Я-то знал цену его угрозам и посмеивался, но простодушный Ялинский, узнав об этом, побагровел.

— Вычеркни сейчас же! — набросился он на грозного противника.

Межуев не ожидал такого напора от «тихони Яли» и в растерянности достал карандаш и вычеркнул мою фамилию.

В восьмом классе Ялинский уехал из нашего городка. В день отъезда прибежал ко мне, запыхавшись, и подарил коллекцию камней и все свои рисунки. Я проводил его до трамвая, и он долго махал мне рукой с последней площадки вагона.

Только теперь, через много лет, я понимаю, что Ялинский был моим самым искренним другом. Теперь он стал известным художником, и я горжусь, что в то время, еще мальчишкой, угадал в нем необыкновенного человека.

Правда, мне немного стыдно, что тогда его странность я называл не совсем так, как она этого заслуживала.

### *Маленькие и большие обиды*

Недалеко от нашей улицы начиналась окраина города, где основными достопримечательностями были: свалка, каморка утильщика, москательная лавка и склад военного снаряжения, перед которым постоянно вышагивал охранник. Там же, на окраине, зимой заливали ледник — слой за слоем наращивали водой из шланга, а чтобы вода не стекала, делали барьеры из опилок, которых не жалели. Ледник сохранялся до середины лета, его использовали как «хладокомбинат» — куски льда развозили по овощным базам и магазинам. Ну а для нас, естественно, ледник был лучшим в мире катком. Мы прикручивали коньки к валенкам и играли в хоккей с «мячом» (консервной банкой).

У меня были разные коньки: один — «английский спорт» — его я нашел на свалке, второй, «снегурку», мне подарил Вовка. Первое время я сильно «хромал» из-за разной высоты коньков, но потом приспособился и даже обнаружил, что мои ограниченные возможности могут быть и преимуществом. Например, во время игры я мог на одной «снегурке» с ходу развернуться на 180 градусов — такой финт не каждый мог сделать на обычных «спотыкачках».

Однажды мы, как всегда, играли в хоккей; те, у кого не было коньков, катались с горы: плюхались на лист фанеры и неслись по извилистому ледяному желобу; ребята помладше (в их числе и мои сестра с братом) выкапывали в сугробах лабиринты, устраивали «тайники из хрусталя» (льдинок).

Неожиданно к военному складу подкатил грузовик; вышли солдаты, стали разгружать металлолом; охранник,

напуская на себя повышенную строгость, крикнул ребятам, копошившимся в снегу:

— А ну, пацаны, быстро отошли в сторону!

Мой брат с досады, что ему портят игру, запустил льдинку в воздух, но не рассчитал, и льдинка упала на заиндедевешшее железо.

— Ну все! — гаркнул солдат. — Сегодня же доложу лейтенанту. Вы из какого дома?

— Вон из того, — моя сестра показала пальцем, а брат не мешкая припустился от склада.

Вечером отец сказал, обращаясь к сестре с братом:

— Вас вызывает лейтенант, начальник склада, — сказал спокойно, точно имел какую-то особую информацию.

Сестра с братом притаились, а отец невозмутимо продолжил:

— Ничего не попишешь. Придется идти, — и обратился ко мне: — Проводишь их?

Я кивнул, мне и самому было интересно, чем закончится эта история.

Утром по пути в школу я повел своих младших к складу; сестра всхлипывала, брат тревожно сопел.

В приемной лейтенанта стояла лавка, а в углу на табурете блестел бачок с кружкой на цепочке. Когда мы вошли, из соседней комнаты выглянул кудрявый офицер и, избражая праведный гнев, спросил:

— Больше военную технику портить не будете?

— Не-ет! — разноголосо пропели мои младшие.

— Тогда входите!

Сестра с братом переступили порог... На полу красовались игрушечная легковушка и кукла с большими глазами.

— Забирайте! Ваше! — сказал офицер, а мне подмигнул.

Кудрявого офицера звали Петр Николаевич; с ним связан еще один зимний эпизод. Как-то фантазер Ялинский, в пик нашей дружбы, придумал потрясающую вещь — самодельный театр. Он взялся за дело рьяно: сколотил



труппу, в основном из дошколят (в нее вошли и мои сестра с братом), подобрал пьесу, мне поручил делать декорации из фанеры и тряпья, сам осуществлял режиссуру. Репетировали на кухнях — то в одном доме, то в другом, при этом Ялинский предельно вежливо спрашивал жильцов:

— Вы не будете возражать, если мы на кухне недолго порепетируем? Очень тихо?

Надо сказать, мелюзга с энтузиазмом и добросовестностью относилась к своим ролям и, разинув рот, ловила каждое слово «режиссера». Когда спектакль был готов, встал вопрос: где играть? Ялинский и здесь оказался на высоте — предложил обратиться за помощью к Петру Николаевичу. Он сказал просто и убедительно:

— В армии самые находчивые люди, и у них есть все.

Мы ввалились в приемную лейтенанта всей труппой. Он ничему не удивился и, будучи человеком с юмором, прежде всего выяснил, кто у нас главная героиня.

— Эй, Алька, где ты там? — бросил я «артистам».

Вперед вышла пятилетняя пигалица и объявила:

— Я!

— Ну тогда все ясно, — кивнул Петр Николаевич. — Поможем. Поговорю с директором клуба хлебозавода. А для гастролей — я надеюсь, вы покажете свой театр и в других местах — выделим автобус и грузовик для декораций.

Петр Николаевич действительно договорился с директором клуба, и нам «забили» один из воскресных дней для спектакля. Но накануне на заключительной репетиции (в нашей кухне) Кириллица сказала:

— Ничего у вас не получится... Не позорьте своих родителей.

Заметив, что мы сникли, она пояснила назидательным тоном:

— Театром должен руководить настоящий артист. У меня есть племянница. Она занимается в драмкружке, идите к ней. Если уговорите, она вам поможет.

Ее племянницей оказалась двенадцатилетняя высокомерная, напыщенная девица; она явно страдала манией величия и встретила нас нескрываемо сухо; провела в комнату, уселась на стул, закинув ногу на ногу, и произнесла «поставленным голосом»:

— Покажите отрывок из вашей пьесы.

Наши артисты стушевались, но все же кое-что изобразили.

— Не годится! — возвестила девица и дальше надменно стала разбивать нашу постановку в пух и прах.

Кончилось все это тем, что она отстранила Ялю от режиссуры, мне приказала переделать декорации, главную роль забрала себе (Алька с ревом убежала), а в остальной «труппе» закрутила такие интриги, до которых и взрослому театру было далеко. Но самое печальное — она превратила наше, пусть дилетантское, наивное, но чистое и искреннее «искусство» в правильные штампы, которым ее обучали в драмкружке. И уж совсем поступила коварно, когда в день спектакля заявила, что «плохо себя чувствует и спектакль придется отменить» (по всей видимости, ее прихватила звездная болезнь). А ведь мы уже написали объявление, изготовили приглашительные билеты...

У лейтенанта Петра Николаевича была «дама сердца» — тетя Даша, стрелочница с зеленым и красным флажками. Будка стрелочницы находилась у переезда, где дорогу пересекала железнодорожная ветка, тянувшаяся по окраине. Целыми днями тетя Даша подметала дощатый настил, протирала шлагбаум и сигнальные огни и приветливо здоровалась с нами по два раза — когда мы шли в школу и когда возвращались из нее.

Маленькая, худая, косоглазая, тетя Даша в войну потеряла мужа и растила двоих малолетних детей. Было доподлинно известно, что раньше она работала на хлебозаводе, но после войны к ней стал навеваться вернувшийся с фронта лейтенант Петр Николаевич. Жена лейтенанта,

сутулая, нескладная женщина с вытянутым подбородком (ее звали «Лошадиная голова»), постоянно пилила мужа за «постыдные визиты к косоглазой Дашке», на что Петр Николаевич (совершенно правдиво) говорил:

— ...Хожу не к ней, а к ее детям. Ей одной тяжело растить детей, и я приношу мелкие подарки.

Эти благородные доводы не успокаивали жену лейтенанта: детей у них не было и, вероятнее всего, она ревновала мужа не столько к «Дашке», сколько к ее детям. Так или иначе, но однажды жена лейтенанта пожаловалась на мужа его начальству. Петра Николаевича понизили в звании (до младшего лейтенанта) и с места службы перевели на склад снаряжения. А тете Даше на хлебозаводе вынесли «общественное порицание», после чего она уволилась и перешла работать на железную дорогу.

Доподлинно неизвестно, но, по слухам, после этого случая у лейтенанта со стрелочницей и в самом деле начался тайный роман, как говорят — «назло всему и всем».

### ***Дорога на небо***

Летом мы часто рыбачили. Иногда на речку ходили через кладбище по узким аллеям, заросшим акацией и плодами брызгалки «болиголова». Перед входом на кладбище калеки-нищие просили подавание; многие говорили, что одни из этих нищих — пьяницы, а другие — миллионеры; будучи подозрительным, я верил во второе.

Сразу за входной аркой кладбища стояла церквушка с блестящими луковицами куполов, над которыми, как бумажный сор, кружили вороны. Перед церквушкой обычно сидел поп с богомольными старухами. У попа была длинная, запыленная снизу ряса, редкая, в серебристых кольцах борода и близко поставленные глаза; на его губах, как змейка, играла ехидная ухмылка. Я никак не мог понять

ее смысла; одно время мне казалось — он мнит себя всепонимающим мудрецом, но потом понял — его рот просто свела судорога от каждодневного бормотанья заученных фраз.

За церковью начинались аллеи кладбища. Первые места около церкви считались лучшими; здесь изгороди окаймляли довольно приличные территории, некоторые размером с волейбольную площадку — за их решетками высились склепы, холодные мраморные изваяния, надгробья и плиты с фотографиями, посвящениями и венками из железных цветов. По мере удаления от церкви огороженные квадраты для усопших уменьшались, а на окраине, над обрывом к реке, были уже такими крохотными, что, похоже, в них хоронили стоя.

Много раз я видел похороны, но слово «смерть» до меня не доходило; моя жизнь только начиналась, и, казалось, ей не будет конца. Во всяком случае, я не мог поверить, что когда-нибудь умру. Погибнуть — еще туда-сюда, это еще мог представить, особенно геройски и при свидетелях. Но просто умереть — ни за что! Я был убежден, что буду бессмертным или, по крайней мере, проживу дольше всех.

Наверное, именно этим объясняется моя тогдашняя бесшабашная храбрость. Мне ничего не стоило броситься вниз головой в незнакомый омут или влезть на нашу высоченную березу и раскачиваться на тонких ветвях; я был уверен — надо мной постоянно витает ангел-хранитель. Ну а ребята, естественно, не сомневались, что я отчаянный смельчак. Такое положение меня вполне устраивало. Больше того, я догадывался, что восхищение надо поддерживать, и с этой целью время от времени выкидывал какой-нибудь трюк, рассчитанный на публику: влезал по водосточной трубе на крышу двухэтажного дома или на карнизы верхнего этажа.

Мои восхождения пользовались огромным успехом у прохожих, ведь я не просто лез, а еще и играл на нервах

у зрителей: то, делая вид, что соскальзываю, эффектно замирал в воздухе и висел на одних руках, то закрывал глаза и раскачивался — притворялся, что теряю сознание. Эти театральные сцены производили сильное впечатление — как-то я чуть не отправил на тот свет от сердечного приступа свою мать.

Однажды, чтобы закрепить за собой славу храбреца, я объявил, что ночью пройду через кладбище. Это считалось равносильным самоубийству: среди мальчишек только и говорили о разных духах и шатающихся по ночам мертвецах.

В ту полночь приятели проводили меня до входной арки, подождали, пока я дошел до церкви, и побежали во круг кладбища встречать меня у реки.

Как только я вошел в аллею, меня обволокла густая тьма с сырым могильным запахом; от мраморных плит и крестов повеяло таким холодом, что меня начало знобить. На мгновение я пожалел о своей затее, но, вспомнив про ангела-хранителя, пересилил страх и пошел в темноту.

Чем дальше я углублялся, тем становилось холоднее и сильнее сгущалась тьма; но главное, над всем надгробным царством стояла жуткая тишина. То тут, то там лопались перезревшие стручки акаций, и звук падающих горошин казался какими-то голосами из-под земли. Несколько раз мне чудилось, что за могильными холмами кто-то прячется, но каждый раз я вовремя вспоминал о своем бессмертии и успокаивался.

Я уже прошел половину кладбища, как вдруг услышал сбоку какое-то цоканье — по спине сразу побежали мурашки. Остановившись, я напряг слух. Цоканье приближалось. Теперь я уже отчетливо различал еще и чье-то дыхание — глубокое, тяжелое, с хрипотой. Меня затрясло. Собрав все силы, я в панике припустился в сторону реки, но, не пробежав и десяти шагов, споткнулся о какую-то железку и упал, а когда поднялся, цоканье раздалось в двух

шагах. Заледенев от страха, я закрыл лицо руками и замер. Кто-то огромный затоптался вокруг меня. Я чувствовал ветер, гуляющий по ногам, совсем рядом ощущал чьи-то тяжелые вздохи, но открыть глаза не мог. И только когда моего лица коснулось что-то горячее, я с криком отпрянул и почти хлопнулся в обморок, но увидел перед собой... лошадь! Она стояла рядом, со спутанными передними ногами, и обмахивалась хвостом.

Тот случай окончательно убедил меня в бессмертии. После него я натворил особенно много глупостей и, главное, стал закоренелым лентяем, то есть ничего не делал в расчете на уйму времени впереди. Только однажды наконец понял, что бессмертие зависит не от количества прожитых лет; что можно «вечно жить» благодаря личным достоинствам или работам, которые остались после тебя. Все это мне доходчиво объяснил сапожник дядя Игнат, фронтовик, одноногий калека.

Он сидел на углу нашей улицы — полный, много курящий, кашляющий, с блестящими озорными глазами. Дядя Игнат был мастер высокого класса; починенная им обувь носилась гораздо дольше отремонтированной в мастерских. И, потом, он все делал красиво: над обувью подолгу корпел, отмачивал в воде, чтобы кожа стала эластичной, подгонял кусочки по цвету, строгал специальные распорки. В каждый ботинок, в каждую туфлю он вкладывал всю душу, как будто они были его последними шедеврами. Он был человеком каких-то высших неписаных правил. Правда, за свою работу установил несколько больший тариф, чем в мастерских, но, по-моему, это было справедливо, ведь он работал не только ради одних идеалов, но и содержал огромную семью. И потом, каждая хорошая работа стоит больше всяких денег.

Восседал на табурете он царственно: почти не меняя положение корпуса, чудодействовал одними руками. И, если я стоял рядом, что-нибудь рассказывал. От его тихого

голоса, от неторопливой манеры говорить, от всего его облика веяло каким-то теплом, уверенностью и силой. Каждое утро я подходил к его будке, и он сразу мне кивал:

— Здравствуй, Алексей!

Он никогда не говорил просто «здравствуй», всегда называл по имени. Как-то поздоровался и спрашивает:

— Чтой-то ты сегодня такой развеселый?

— Да так. Все боятся смерти, а я ни капельки, — и дальше начал хвастаться своими подвигами.

Дядя Игнат слушал, улыбался, потягивал воду из бутылки в плетенке и работал — вгонял в башмак гвозди один за другим. Потом закурил, начал кашлять, краснея от натуги, и вдруг сказал:

— Все живое рано или поздно умирает. Но чего об этом думать-то. Особенно тебе... Надо стараться с пользой жить, и все. Делать свое дело. И быть честным. Вот и весь секрет... А сначала понять, к чему ты больше способен, выбрать правильный путь и трудиться... Каждый к чему-нибудь способен, хотя часто об этом и не знает. А вот какой-нибудь случай поможет или хороший человек заметит. А дальше уже все зависит от тебя самого. Вот и весь секрет...

— А разве вы не боитесь смерти? — неуместно вставил я, зная, что у дяди Игната туберкулез.

— На фронте боялся, а теперь-то чего? Я, к примеру, могу спокойно умереть, ведь кое-что сделал полезное. Построил дом, вырастил детей, сотни людей обул в ботинки, посадил тополя на нашей улице, — он засмеялся, начал задышаться от кашля...

Когда дядя Игнат умер, я долго не мог поверить в его смерть. Мне все казалось, что веселые и добрые люди не умирают, а остаются рядом с живыми как их незримые товарищи. Теперь-то я знаю, что так оно и есть, — каждый оставляет после себя не только детей и свои работы, но и память о себе, и, пока человека помнят, он жив.

Дядю Игната хоронило много людей. Когда возвращались с кладбища, мой дядя сказал:

— Да-а, это большая потеря. Мир потускнел, на одного художника стало меньше. Художника по обуви. Могучего художника. О человеке не говорю. Если б он был плохим человеком, его не пришло бы столько народа провожать... Вон и дождь стал накрапывать — похоже, и небеса его оплакивают.

### *Лучшая тень — тень от родного дома*

Детство закончилось неожиданно; став подростком, я вдруг начал страдать от двух вещей: худобы и имени Лесик. Я много ел, но все равно был на редкость худым. Мать водила меня к врачам, но те говорили, что я просто «подвижный и калории из организма быстро улетучиваются». В то время, стесняясь худобы, я никогда не купался на пляжах — всегда в стороне от всех, где плавали утки или по брюхо в воде стояли коровы. Что я только не делал, чтобы пополнеть: вставал и ложился спать по расписанию, старался как можно меньше двигаться и как можно больше есть — месяцами боролся с худобой, но в конце концов признал, что у меня нет шансов на победу. Я понял, что мне просто нужно было родиться более спокойным.

Еще хуже обстояло дело с именем Лесик. Оно постоянно портило мне настроение. Например, играю во дворе, вдруг мать кричит:

— Лесик! Иди обедать!

Ребята сразу начинают изощряться:

— Лесик, песик, колесик!..

Я стою и краснею от стыда и злости. Это совершенно выводило меня из себя, особенно если рядом находились девчонки. Разве я мог тогда предположить, что через двад-



цать лет много отдал бы, чтобы снова услышать от матери это имя?

В то время я хотел быть другим — высоким и широкоплечим, с ослепительной, располагающей улыбкой и стальным взглядом. Я представлял себя путешественником или предводителем шайки пиратов. И всегда женским сердцеедом. В своих странствиях я значительное место отводил романтическим приключениям. Сюда входили: прямые похищения возлюбленных, расправы с соперниками, блестящие монологи и пение под гитару. Но все же роль основного оружия, убивающего красавиц наповал, отводил своей улыбке и гипнотическому взгляду. И конечно, имени. Ведь звали бы меня тогда не каким-то там Лесиком, а Майклом или Робертом.

Представляя все это, я частенько мысленно объезжал весь мир и становился известным, богатым — обладателем не только невероятных сокровищ, но и огромного гарема. В такие дни, опускаясь на землю, я обливался холодной водой, поднимал кирпичи в саду; по улице ходил вразвалку, выпятив грудь, всем улыбался, без умолку трепался о своих «подвигах» и горланил марши. Кажется, я догадывался, что состояние духа накладывает отпечаток на внешность, и был уверен — на моем лице написана значимость, а в походке видна уверенность. Но, к сожалению, это видел только я, а другие даже не догадывались. Больше того, почти все видели, что на моем лице написано совсем другое, и, ясное дело, отворачивались при встрече. И в первую очередь девчонки.

На какое-то время я впал в другую крайность — стал изображать из себя мудреца: на моем лице появился усталый взгляд, понимающая усмешка, на все вопросы я отвечал многозначительным молчанием. Но и тогда успеха не имел. Все только посмеивались, а девчонки так просто бежали от меня без оглядки.

Лишь повзрослев, я понял секрет успеха таких людей, как дядя, — оставаться самим собой. Как только я отбросил напускные маски, сразу стал со всеми ладить. Даже с девчонками. Но особенно со старушками, потому что всегда знал все новости. Кстати, та бабушка-грибница, за которой я когда-то следил, стала моим самым благодарным слушателем. Я сочинял ей такие небылицы, что у самого захватывало дух, но она всему верила.

В жару нашу улицу охватывала мягкая дремота: все открывали окна и двери и водой поливали полы для прохлады. В комнаты с палисадников текли запахи цветов, с террас — запах созревающих на солнце помидоров... Я любил лежать в тени за домом в высокой прохладной траве, смотреть, как летают бабочки-лимонницы, мелькают стрекозы и шмели; слушать, как где-то выбивают коврик, где-то лает собака, а на окраине позвякивает трамвай. Оттуда, из тени, через окно я видел, как мать резала овощи для борща, стирала белье на доске, гладила...

Иногда я думал: когда вырасту, у меня будет огород и сад, и будет столярная мастерская, и жена будет, чтобы кто-то заботился обо мне. А жить я предполагал на чердаке, как дядя. Дядя являлся для меня образцом для подражания, я любил его больше матери и отца. Да и как его было не любить, если он с радостью поддерживал все мои начинания?! И не просто поддерживал, а расцвечивал новыми красками, наполнял смыслом. Стоило мне подбежать к нему и предложить, например, построить лодку, как он тут же принимал серьезный вид.

— Ни слова больше! Все понял. Значит, так! Немедленно попроси у дяди Феди доски, собери инструмент. Как только допишу картину, сразу начнем строительство.

Дядя никогда не говорил со мной как с младшим, не сохранял дистанцию между собой и мной, как это делало большинство взрослых — уж не говоря про их занудливые нравоучения. Дядя говорил со мной как с равным. По-

этому я и любил его. Однажды он привел меня в свой сад и доверил чрезвычайно важное дело.

— Ну-ка, давай подрезай деревья! — сказал. — Ты, кажется, это умеешь (я и представления не имел, что это такое).

Надо сказать, подрезать деревья — сложная штука; кто не умеет, лучше не лезть, можно все дерево испортить. Но дядя верил, что я подрежу без промаха, — конечно, для начала показал, как это делается, буркнув:

— Лучший способ воздействия — личный пример.

Осмотрев первое обкромсанное мной дерево, дядя сделал несколько замечаний, но в общем похвалил. И, воодушевленный его одобрением, я стал подрезать лучше. Вспоминая это, я думаю, что поощрением можно развить в человеке способности и хорошие качества гораздо быстрее, чем наказанием. Другими словами — говоря о человеке лучше, чем он есть на самом деле, завышая его, мы тем самым вселяем в него уверенность, и он действительно становится лучше. А если учесть, что некоторые из поощрений и похвал запоминаются на всю жизнь, это немаловажная вещь.

Часто воскресенье мы с дядей проводили на реке. Удили рыбу, заплывали на острова. Там, на островах, развалившись на песке и положив руки под голову, дядя всегда мне что-нибудь рассказывал. Чаще всего о будущем. Он представлял будущую жизнь потрясающей: просторные стеклянные дома, широкие автострады, огромные мосты и корабли. Он любил все яркое и грандиозное...

После разговоров с дядей все вокруг мне начинало казаться маленьким и жалким, становилось тесно на реке и душно в нашем городке. Мне хотелось взлететь и перенестись в то чарующее будущее, о котором говорил дядя, — так сильно он умел увлечь меня своей мечтой. Пожалуй, эта сила — заражать окружающих своим состоянием — лучшее из всего, что может подарить один человек другому.

До сих пор дядины мечты остались во мне как маленький памятник этому необыкновенному человеку. У меня было много бесценных вещей: приключенческие книги, велосипед, самострел, перочинный ножик, бинокль, шашки, шахматы, лото; я любил плавать на лодках, рыбачить, гонять в футбол, бегать на лыжах и коньках, рисовать, строить модели самолетов и парусников... Да что там говорить! Я многое любил. Проще перечислить, что не любил. Но все, что я имел, и все, что любил, я отдал бы за час, проведенный с дядей.

Странно, но в семнадцать лет дядя перестал быть для меня примером. Больше того, я уже считал его старомодным, ворчливым и неталантливым. Мне казались смешными и широкие дядины брюки, и его напыщенная манера говорить, и его вычурные картины. Вся дядина жизнь на чердаке в это время мне казалась глупым пижонством. И только когда мне исполнилось тридцать лет, дядя снова стал для меня необыкновенным человеком, и, главное, я понял, что дядин оптимизм был не просто веселым отношением к жизни, а радостью от преодоления трудностей. Он, например, рассуждал:

— Вот часто говорят о человеке, который чего-то добился: «ему повезло» — и забывают о том, что он не опускал крылья, когда не везло, не отступал. Почему-то чаще везет упорным, настойчивым. Жизнь каждому посылает достаточно случаев, когда можно взять судьбу в свои руки, не все умеют воспользоваться ими. А потом не в себе ищут причины, а ссылаются на обстоятельства. Чепуха это! Все зависит от нас самих. Как ни крути, а положительных изумлений побольше, чем отрицательных, даже в наше сложное время. Надо только уметь видеть, а это не всем дано.

В подростковом возрасте я замечал вокруг себя много несовершенного и целыми днями лежал в тени за домом и представлял, что сотворил бы, если б был всемогущим.

Прежде всего мне казалось несправедливым, что лето проходит слишком быстро: не успеешь и глазом моргнуть, как опять надо идти в школу. Я решил увеличить количество летних месяцев за счет зимних. Впрочем, кажется, допускал и круглогодичное лето с одним месяцем всех других времен для разнообразия.

Еще я считал большой ошибкой существование нечистой силы только в легендах. По моему убеждению, ее представители должны пребывать среди нас, чтобы украшать жизнь, вносить в скучные будни сказочность и опасность — это являлось бы лучшей страховкой от вредной успокоенности и пресыщенности. Именно поэтому в каждый дом я пристроил домового, по водоемам и лесам расселил водяных и леших, а в школах ввел урок: «Потусторонний мир».

Еще мне казалось нелепым, что одни люди рождаются красивыми, а другие — не очень; одни сразу во всем встречают поддержку, а на других обрушиваются удары судьбы. В момент рождения и детства я всем давал равные возможности, а дальше каждый строил свою жизнь своей головой и своими руками.

Вдобавок мне хотелось, чтобы все талантливые имели возможность проявить свой талант, чтобы все одинокие обрели друзей, а несчастные стали счастливыми (сам-то в мечтах я просто купался в счастье). В тот период я много чего напридумывал, но особая глупость — хотел переделывать людей. Во всех знакомых, за исключением дяди и бабушки, я видел массу недостатков — все время замечал, что они поступают не так, как хотелось бы мне.

Представив себя всемогущим, я создал целый внутренний мир и с каждым днем взлетал над землей все выше, уносился к самым далеким облакам. Мне уже было мало мечтать в тени за домом, и я распался фантазию на улице и на уроках. Причем иногда мои мечты напоминали игру в кошки-мышки. Каждый раз, когда из огромного дерева

представлений я выбирал одну какую-нибудь ветвь и пытался охватить ее всю сразу, она тут же исчезала. Приходилось мечтать осторожно, придумывая мельчайшие детали и не спеша развивая их. По несколько дней я вынашивал ветвь-мечту и, только когда перед глазами вырисовывалась подробная картина, складывал ее как готовый сюжет где-то в извилинах памяти.

В те дни я ухлопал немало времени на эти бесполезные мечтания. Наверно, это была полоса переломного возраста. Ну а потом я втянулся в житейский водоворот и стал на многое смотреть другими глазами. Главное, я пришел к заключению: оставить все как есть и не идти против природы.

Став взрослым, я еще сильнее полюбил наш городок. С первого взгляда он обычно не нравится — ведь он не может похвастаться широкими асфальтированными улицами, набережными, театрами; зато у нас улочки тихие и чистые, а зелени — хоть отбавляй! Приезжие у нас не задерживаются, «скучновато», говорят, а я люблю наш городок. Иногда украдкой (все-таки уже не мальчишка) заберусь на березу и сверху просматриваю нашу улицу: дом напротив, где по-прежнему живет дядя Федя, только теперь у него есть жена — наша бывшая соседка, дама с кошками; они слывут самой счастливой парой в нашем районе: их «неземной» любви можно только позавидовать — каждый вечер они встречаются так, словно не виделись несколько недель.

Самая несчастная пара — наши соседи Кириллины — разошлись и разъехались в разные районы; правда, Кириллин частенько приезжает гулять по нашей улице.

— Ничего не могу поделаться, — говорит, — тянет сюда.

Бабушка умерла во время войны, а дядя давно уехал из нашего города. Никто не знает, где он и чем занимается. Он никому не пишет, но если б знал, как мне сильно его не хватает, наверняка вернулся бы или хотя бы написал.

Валерий женился на «принцессе» Ольге, у них уже много детей.

Я смотрю с березы в окна друзей на соседних улицах, на компрессорный завод отца, на новое, недавно построенное чертово колесо в парке имени Горького, на флаги стадиона... Больше ничего не видно. Чтобы увидеть остальное, нужно забраться на самые верхние ветви, а туда мне уже не влезть.

*1970 г.*

# БЕЛЫЙ ЛИСТ БУМАГИ

---

Повесть для подростков и взрослых,  
которые занимаются живописью, или интересуются ею,  
или просто любят художников

---

## *Огромный многоликий мир*

Замечательный материал — белый лист бумаги! Я имею в виду не какой-то клочок, из которого делают голубей или на котором пишут всякие записки, большей частью дурацкие и только изредка прекрасные — о сильном загадочном чувстве — такие послания запоминаются на всю жизнь; я имею в виду — большой лист. Такой лист открывает перед нами неограниченные возможности. Из него можно сделать белоснежный пароход и, если помечтать, уплыть в далекие страны — такие далекие, недостижимые, что, кажется, находятся не просто за морями и океанами, а где-то в поднебесье.

Можно сделать воздушного змея, запустить его навстречу ветру и, когда он зависнет в восходящем потоке, как бы и самому парить над землей, то есть взглянуть на свою жизнь со стороны, и тогда многие житейские неурядицы покажутся мелкими, не стоящими того, чтобы из-за них сильно переживать.

Можно склеить отличное прикрытие от солнца — широкополую шляпу или зонт. Или целый костюм. А почему и нет? Каждый должен смело выражать свой вкус,



индивидуальность начинается с одежды. Я знал такого чудака, философа и поэта, который героически разгуливал по улицам в бумажном костюме и чувствовал себя в нем вполне удобно. И, что немаловажно, независимо. В самом деле — ведь он не зависел от денег на настоящие костюмы и не был скован разными общепринятыми понятиями. Этот фантастический человек был внутренне свободен. А такая свобода — неперемнное условие для творчества. Именно такие чудачки, философы и поэты (хотя бы в душе) и создают все самое ценное, ведь создавать необыкновенное может только необыкновенный человек.

Как было бы замечательно, если бы нас окружали сплошные индивидуальности и каждый человек отличался от другого и внешне, и мыслями, и поступками. К сожалению, еще немало трафаретных, деревянных людей с мелкими недостойными целями. Главное для них — не выделяться, быть как все. И мысли у них деревянные: как бы побольше всего закупить. Они уверены: изобилие вещей — основа жизни. У этих ограниченных людей многие чувства недоразвиты, они живут пресно. Их раздражает все, что выходит за «деревянные» рамки. Они ворчат на ребят, которые, по их понятиям, устраивают слишком шумные игры; швыряют камни в бездомных животных, уверены — те только разносят заразу, и, конечно, бешено ненавидят чудаков, потому что сами никогда не смогут быть такими. То есть никогда не создадут ничего необыкновенного.

Зато какая радость общаться с яркой личностью, с человеком, в котором есть дух красоты! Ты смотришь на мир одними глазами, а этот человек моментально перестроит твой взгляд, посмотрит на привычное под другим углом и все расцветит новыми красками, откроет то, чего ты не видел до сих пор. Это как прорыв в новую среду. Разумеется, и большой белый лист бумаги для людей без воображения, «деревянного» склада — всего лишь упаковка для

увесистого товара, а для личности — водный транспорт, или летательный аппарат, или модель одежды...

Много, очень много возможностей открывает перед нами большой лист бумаги, но, главное, он открывает неограниченное пространство. Глядя на него, так и хочется что-нибудь изобразить.

Вот волшебство — несколько штрихов карандаша, прикосновений кисти — и внезапно, прямо на глазах, белый квадрат расширился, наполнился воздухом, на плоской поверхности появились объемные предметы, художник словно распахнул окно в огромный, многоликий, жестокий и благодушный, отвратительный и прекрасный мир!

Еще большее волшебство — картины заражают своим состоянием! Бывает, нахлынет беспричинная радость, развеселишься без всякой меры, и кажется, что сейчас всем весело и вообще жизнь — веселая штука, но вдруг увидишь какую-нибудь печальную картину, и сразу становится грустновато и стыдно за свою беспечную веселость.

А бывает, от вполне конкретных причин найдет такая тоска, что вроде и жить не вмоготу, но увидишь радостную картину и подумаешь: «все не так уж и плохо». Картины великих мастеров заставляют смеяться и плакать. Глядя на них, хочется сделать мир лучше, чем он есть, и, главное, стать самим лучше. Благодаря искусству мы делаем в своей душе открытия, в нас зреет дух красоты.

### *Карандаш с трехцветным грифелем*

Я всегда испытываю сильнейшее волнение при виде рисовального ватмана: подолгу трогаю лист, поглаживаю шероховатую крупнозернистую поверхность и нюхаю — пытаюсь уловить запах. Все оттого, что в детстве, во время войны, мы рисовали на оберточной бумаге, да и ее доста-

вали с трудом. Рядом с общежитием, где мы, эвакуированные, жили, находился госпиталь. Время от времени на черный ход госпиталя среди всякой всячины выбрасывали оберточную бумагу. Бумага была жухлой, с выступающей древесной трухой и сильно измятой. Тем не менее мы находили ровные клочки. Сложнее было подобраться к драгоценной бумажной куче — черный ход охранял сторож; неподвижный, непроницаемый, с тяжелыми кулаками, он в каждом мальчишке видел «шалопаю с черными намерениями». К счастью, сторож иногда «впадал в дрему», как он выражался. В момент «дремы» мы таскали бумагу у него из-под носа.

На оберточной бумаге рисовали всем, что оставляло след: обугленными лучинами, красным кирпичом, штукатуркой. Кое-кто имел кисти — клеевые, конторские. Иногда делали кисти из собственных волос, которые собирали после стрижки. Красками служили чернила из синильного порошка и бузины, разведенные водой побелка и глина. Редко у кого появлялись цветные карандаши, еще реже — акварельные краски — разноцветные лепешки, приклеенные к картонке-палитре. Таких счастливиц считали «миллионерами».

Был среди нас и «миллиардер» — мальчишка, обладатель толстого карандаша с трехцветным грифелем. Этот необычный карандаш давал потрясающие линии — на них один цвет плавно переходил в другой. Если цвета наслаивались, возникали неожиданные сочетания теплых и холодных тонов. Это было сильным зрительным впечатлением — оно приводило нас в восторг, мы вырывали карандаш друг у друга. Но однажды «миллиардер» установил определенную плату за пользование чудо-карандашом: кусок жмыха или сала. После этого мало кто из нас держал в руках чудо-карандаш: в то голодное время жмых и сало были для нас таким же лакомством, как мороженое для теперешних детей.

Конечно, те, кто живет в далеких таежных поселках, более бережно относятся к рисовальным принадлежностям — хорошие краски и кисти туда не так уж и часто возят. Наверное, есть места, куда их не привозят совсем, и начинающие художники только мечтают иметь «все цвета радуги», как и мы мечтали когда-то. Таких художников хочу приободрить: принадлежности для рисования играют важную роль, но не основную. Все-таки художник рисует не только красками и кистью, и не только руками, но и сердцем.

### *Зеркальные отражения*

Человек, умеющий удивляться, уже способен к искусству; если он еще и выражает свое удивление — талантливый. В детстве мы все способные: каждый день открываем окружающий нас мир, не перестаем ему удивляться и все хотим узнать, как же он устроен? В юности пытаемся найти свое место в этом мире. В зрелости, познав радости и боли, задумываемся: каким же он должен быть, этот мир?

Мои первые открытия — зеркальные отражения. Помню, года в три-четыре меня поразил отраженный в озере ельник. Вода была спокойной и прозрачной; я различал каждый ствол, каждую ветку; на них, словно елочные игрушки, висели кувшинки. Некоторые елки верхушками касались дна озера, и между ними проплывали облака, мелькали ласточки и стайки мальков. Невозможно было понять, где кончается вода и начинается небо. День был солнечный, и на поверхность воды от ельника падала густая тень. Этот третий, лежащий на боку лес окончательно сбил меня с толку. Дома я нарисовал все три леса: настоящий, утонувший и лежащий на боку. Нарисовал неумело, и приятели, взглянув на рисунок, приняли его за жестокий обман.

— Так не бывает! — заявили.

— Бывает! — сказала мать. — В жизни и не то бывает. И потом, художник имеет право на воображение.

Отец поддержал ее:

— В этом буйстве линий и красок есть тайна. Озеро до краев наполнено тайнами. Нешуточными тайнами, поверьте мне. В этом озере надо купаться с величайшей осторожностью. Может за ногу схватить водяной.

Отец увидел в моей картине больше, чем я изобразил. Его слова повергли меня в смятение; я и не подозревал, что картина может вызвать такие странные ощущения. Слова отца придали мне новые мощные силы.

На следующий день я решил нарисовать наш дом — каким хотел бы его видеть: некий замок на берегу неспокойного, еще более таинственного озера. Замысел был отличным, но воплотил я его не совсем удачно. Лучше всего получился дым, валивший из трубы, пышным облаком он застилал полнеба. Дым по достоинству оценили все, в том числе и мои приятели.

Возгордившись, я целую неделю рисовал «дымные» картины. Из одних домовых труб текли густые темные реки, из других тянулись легкие струйки, словно растянутые пружины. Дома получались — так себе, но от дыма все приходило в восторг. Особенно отец. Он протирал глаза, чихал — всем своим видом показывал, как едко чадят мои трубы, и приговаривал:

— Нет сомнения, здесь без трубочиста не обойтись!

После войны мы переехали в поселок на разъезде Аметьево. Самым примечательным в поселке был воздух. Не дома, не сараи, не дуплистые тополя, не сочные травы и яркие цветы, а воздух. В жаркие дни он колебался, от земли струились вполне различимые потоки, и все постройки и деревья как бы раскачивались, а железнодорожное полотно, будка стрелочника и телеграфные столбы таяли в зыбком бело-розовом мареве.

Много раз я пытался нарисовать тот воздух, вернее, пространство между нашими домами и разъездом, но у меня ничего не получалось. Каждый раз я терпел сокрушительное поражение. Получались бестолковые строения и между ними грохочущие безумные паровозы. Именно поэтому меня восхищали репродукции с картин мастеров — в них чувствовался воздух. Воздух на картине — мое второе значительное открытие.

Позднее я научился пространственному рисованию и попытался отобразить воздух вокруг нашего поселка; вроде он получился, но я не смог передать его аромат. А в том воздухе были запахи смолистой древесины, и высоких спутанных трав, и луговой клубники. Да что там! Он неповторим, воздух моего детства! Я и теперь говорю друзьям:

— От болезней меня спасает бутылка с воздухом из детства; она у меня всегда под рукой — только вдохну, сразу выздоравливаю!

### ***Глоток свежего воздуха нам не повредит***

Всякие бывают лица: красивые и некрасивые, тупые и одухотворенные. Бывают безликие — никакие; людей с такими лицами называют посредственностями, серыми личностями. Человек с красивым лицом может иметь черствую душу, и тогда, если внимательно всмотреться в его красивое лицо, оно станет не таким уж красивым. И наоборот: если человек с некрасивым лицом добросердечен и душевно одарен, то есть имеет дух красоты, его лицо светится и кажется красивым.

Люди с тупыми лицами, как правило, дураки. Причем дураки делятся на несколько категорий (исключая умников, которые строят из себя дураков; таких хитрецов распознать несложно). Есть простодушные, безвредные ду-

рачки, на которых и обижаться нельзя. Такой простодушный дурачок, заметив, что вы рисуете, случайно, если не сказать нарочно, беззлобно бросит:

— Художник от слова худо, — и расплывется в блаженной улыбке.

Есть круглые дураки, которые лишены возвышенных чувств, но постоянно всех поучают. Круглый дурак непременно вам скажет:

— Не картина, а ерунда. Я лучше нарисую. Художник должен рисовать так, чтоб все было понятно.

Круглый дурак упрям и не пытается ничего понять. Ему не нравится — и все!

Но самые опасные — дураки с претензией. Это очень агрессивные люди. Они постоянно рвутся к власти над родными и знакомыми, над соседями и сослуживцами, над городами и странами. Дурак с претензией говорит:

— Все художники — бездельники и деньги гребут лопатой. И кто только платит за такую мазню?! Будь моя воля, я бы всех этих малевальщиков отправил на лесоповал!

Понятно, интеллигентный человек никогда такое не скажет. Интеллигентность — это врожденная культура, в основе которой лежат духовные интересы, стремление к возвышенному, в том числе к искусству и благородным поступкам. Многому можно научиться, но нельзя научиться быть интеллигентным. Как ни пыжься, манеры будут неестественными, поступки нарочитыми, слова корявыми. Интеллигентность нельзя привить, она передается по наследству. И вытравить нельзя. Можно человека заставить делать что угодно, но мыслить он все равно будет по-своему.

В общежитии жил эвакуированный из Ленинграда инженер Евграф Кузьмич, «представитель старой интеллигенции», как его называли умные люди, а дураки и завистники — «гнилым интеллигентом». По вечерам Евграф Кузьмич у коптилки читал книги. Из его приоткрытой

двери в коридор падала полоса света. Я заглядывал внутрь комнаты — Евграф Кузьмич сидел на фанерном ящике, по-пыхивал самокруткой и, то и дело поправляя пенсне, бормотал:

— Ну и ну, любезные мои! Ну и ну!

Драное пальто, потертый костюм и две связки книг — «остатки прежней роскоши» — вот и все, что захватил из Ленинграда пожилой инженер, но, когда я попадал в его прокопченную, прокуренную комнату, мне казалось, я попадаю в большую, светлую галерею. Евграф Кузьмич угощал меня чаем — заваренной горелой коркой хлеба, показывал репродукции с картин великих мастеров и мягко, ненавязчиво учил «смотреть живопись».

— ...Это Шишкин, великий пейзажист. Вот «Корабельная роща». Смотри, какие роскошные сосны, как золотятся на солнце. И прямо пышут жаром, верно? А как выписаны ветви и хвоя! Какая любовь к нашей прекрасной природе!.. Да-а, любезный, такую картину увидишь один раз и запоминаешь на всю жизнь... А это «Дорога во ржи». Какой простор, а? Какая ширь! Слышишь шелест колосьев, пение жаворонка?! А могучие дубы-исполины как бы подчеркивают пространство. Что и говорить, мы, любезный, привыкли к пространствам нашей средней полосы. Нам было б тесно, например, в тайге или в горах... Да-а, Шишкин — великий художник, да что там — гениальный!

Евграф Кузьмич доставал новую папку.

— ...А это Левитан. Вот «Омут». Какая строгость и величие в картине! И как она наводит на размышления! А это «Золотая осень». Обрати внимание, любезный, на сочные краски. Воздух прозрачный, все дышит покоем. Чувствуешь, прямо повеяло сладким запахом осенней листвы?! А это «Март». Здесь все звенит. Картина создает приподнятое настроение, уверенность, что впереди много хорошего. Ты чувствуешь?! Чувствуешь, что все пройдет, изменится к лучшему и впереди нас ждет мно-



го хорошего?! Искусство и должно давать надежду на лучшую жизнь...

Евграф Кузьмич брал очередную папку и продолжал в приподнятом настроении:

— А это волшебник Куинджи. «Ночь на Днепре». Какое высочайшее мастерство! Такие холодные тени, и река серебрится под луной. Тебя потрясает? Мурашки бегут по спине? То-то! И обрати внимание, любезный, как светится луна. Когда Куинджи выставил эту картину, многие подумали: за луной спрятана лампочка. Подходили, заглядывали за картину, обвиняли художника в шарлатанстве. Эх! Все необычное в искусстве невежественные люди встречают в штыхы. И не только в искусстве. Человека, который придумал зонт и отважился выйти с ним на улицу, закидали камнями...

Евграф Кузьмич называл себя «собирателем редких книг», и, как все коллекционеры, он был счастливым человеком. В те тяжелые годы многие за бесценок отдавали дорогие вещи. Я видел, как на барахолке за буханку хлеба музыкант отдал скрипку; поцеловал инструмент и, чуть не плача, отдал какому-то барыге. Кто знает, может, музыканта дома ждали голодные дети! Евграф Кузьмич не продал ни одной из своих книг, правда, у него и детей не было.

В те мрачные годы комната Евграфа Кузьмича мне казалась настоящим музеем, хранилищем бесценных вещей; в ней я ежедневно открывал неведомые пласты в искусстве, и что особенно важно — старый инженер вселял в меня свою влюбленность в живопись, я выходил из его комнаты насквозь пропитанным этой влюбленностью. Под руководством Евграфа Кузьмича я сделал головокружительный скачок (в смысле восприятия живописи). Это восприятие, словно пожар, охватывало меня со все нарастающей силой. В конце концов я почувствовал вну-

три такое адское пламя, что заболел — наполовину сошел с ума. В те дни во сне я писал картины не хуже Шишкина, Левитана и Куинджи, а иногда даже лучше. Я поправился только когда мне родители с превеликим трудом достали цветные карандаши.

Я начал делать копии с картин великих мастеров, но удивительная вещь — как ни старался, все получалось блекло и невыразительно — какой-то компот, жалкое подобие оригинала. И здесь во мне забушевал пожар другого рода — пожар сомнения: получится ли из меня художник вообще?

— Получится, я не сомневаюсь, — сказала мать. — Самое горькое разочарование — разочарование в себе, когда душа в смятении и думаешь: «Смогу ли что-то сделать?». Нельзя сомневаться в себе.

— Не художник, так инженер из тебя получится, — заявил отец. — Инженер должен уметь рисовать, уметь объемно представлять детали в разных проекциях...

— Как это не получится? — удивился Евграф Кузьмич. — Не сгущай краски. Художник — это состояние души. В этом плане ты уже зашел далеко. И если взялся за кисть или за перо, должен верить, что сделаешь что-то значительное. Конечно, не сразу. Надо учиться, изучать великих мастеров, их умение выражать главное и внимательно относиться к мелочам. Помни, картина останавливает время, на ней навсегда остается прекрасным лицо или пейзаж.

Я снова засел за копии. Все основное из работ великих мастеров перенес на бумагу один к одному, а в мелочах кое-что изменил, вернее, добавил кое-какие мелочи, которые, на мой взгляд, художники упустили из виду. Так, над «Дорогой во ржи» я нарисовал самолет, чтобы дополнить и усилить «пространство» Шишкина. В «Золотой осени», по моему мнению, Левитан забыл изобразить лодку с рыбаком, и я исправил его оплошность. «Березовую рощу» Куинджи я заселил зверями — они явно просились на полотно.

— Неплохо, неплохо, любезный, — сказал Евграф Кузьмич, разглядывая мои работы. — Не перевелись еще таланты на нашей земле. Это как глоток свежего воздуха — он нам не повредит... У тебя богатейшая фантазия и все прочее, но, как бы это помягче сказать... Понимаешь, любезный, твой летательный аппарат прекрасен, спору нет, но здесь он ни к селу ни к городу. Грохот его мотора заглушает шелест колосьев, трель жаворонка. Уже нет спокойствия, умиротворения в картине. Не дай бог он еще грохнется и все поле сторит дотла... И твой рыбак хорош, ничего не скажешь. Сразу видно, по экипировке, оснастке, он мастер своего дела. Гений рыбалки! И смотришь только на него, он главное пятно на картине. А осень отошла на второй план и уже не будоражит наши чувства. Ты понимаешь, о чем я говорю? Твоего бы рыбака на отдельную картину, это совершенно самостоятельный сюжет. Нарисуй его отдельно и покрупнее. Попробуй, у тебя получится. И это будет замечательная работа. А Левитана оставь в покое. Пожалей его... То же самое и с Куинджи. У тебя получился, как бы это поточнее сказать, заповедник, что ли. Увидел бы Куинджи — зарыдал. В эту рощу без страха уже не войдешь, звери растерзают. Пожалуйста, загони их всех в зоопарк, у тебя это прекрасно получится, вот увидишь. А «Рощу» оставь как есть, так приятно погулять среди прохладных берез.

Евграф Кузьмич положил мне руку на плечо.

— Для чего нужно изучать великих мастеров? Чтобы отталкиваться от них, а дальше идти своей дорогой. Своей дорогой, — повторил Евграф Кузьмич и показал за окно, где начинался мой путь.

### *Белые слоны*

Моим друзьям-художникам исключительно повезло. Один уверяет, что видел летающие тарелки и настоящую

принцессу, правда, издали. Другой говорит, что видел не только принцессу, но и саму королеву Англии, и довольно близко, а уж разных русалок лицезрел видимо-невидимо и однажды недолго поплавал с ними. У третьего, по его словам, на даче проказничает домовой и бродят привидения — он гоняет их метлой. Четвертый дает слово, что не раз наблюдал за водяными и лешими, колдунами и ведьмами, а пятый клянется, что не только видел чертей, но и разговаривал с ними.

Многие им не верят, говорят:

— Мелкая хвастливая ложь.

А я верю, потому что сам кое-что видел.

Некоторые из моих друзей-художников имеют необыкновенные квартиры. Так, у Валентина Коновалова обитает сверчок и даже зимой по комнатам летают бабочки — возможно, их привлекают красочные пейзажи мастера.

Борис Сафронов живет за городом в стеклянном доме, собранном из оконных рам; этот «аквариум» он прозвал «зеленым болотным королевством».

Некоторые из моих закадычных друзей-художников обладают сказочными богатствами, вроде Сергея Денисова и Леонида Андреева. У первого дома потрясающий сад из комнатных растений — в нем можно заблудиться, и все растения редкостные, страшно дорогие; у второго есть попугай, который знает сотню слов, и сундук, доверху набитый фотографиями редких животных.

Особенно богат Виктор Алешин. Он богат до неприличия. У него нет своего жилья, он скитается по знакомым, зато, на зависть приятелям, его всегда окружает стайка восторженных поклонниц, одна красивей другой — целая оранжерея красавиц.

Я не видел летающих тарелок, и никогда не встречался с представителями нечистой силы, и живу в обыкновенной квартире с двумя обыкновенными дворняжками — Челкашом и Дымом, но я был свидетелем редких явле-

ний природы. Например, видел невероятный звездопад, когда звезды падали одна за другой, словно кто-то устроил фейерверк. Видел шаровую молнию — на болоте светящийся шар медленно проплыл над травами. Однажды в раскаленный полдень видел мираж — на облаке, точно на гигантском экране, отчетливо, полновесно отразились деревья, церковь и озеро. Видел зимнюю грозу, с молнией, громом и белой радугой, и летнюю — когда летели градины с большую пуговицу. Не каждый видел такие явления, а я видел — клянусь своими собаками, не вру!

Много раз я попадал под оглушительные ливни. Особенно запомнился один из далекого детства.

В тот день я нарисовал мелом на дощатом заборе белого слона, а рядом — слоненка. Надо сказать, в то время я просто бредил слонами; любил всех животных, но слонов особенно — мне казалось, они самые мудрые и добрые, как большинство великанов. Я рисовал слонов на каждой клочке бумаги, в книгах и на стенах. В нашей комнате обитало целое слоновье стадо. Мать не успевала стирать животных со стен, а отец говорил, что слоны приносят счастье.

И вот однажды я нарисовал слонов во дворе на заборе. Это был мой лучший рисунок (и белый — «идеального» цвета). Кажется, я даже его посчитал значительным достижением в изобразительном искусстве. Да, собственно, не кажется, а наверняка. Сюжет был предельно простым, без чрезмерности деталей, излишних подробностей: огромная слониха важно вышагивала в сторону зарослей акаций, за ней семенил слоненок и, как это бывает в жизни, судя по книгам, хоботом держался за хвост матери. Белые слоны гуляли на летних знойных просторах...

Когда я закончил рисование, во двор вбежали ребята и бессовестно предложили стрелять в слонов из лука. Я протестовал и даже хотел стереть слонов, но они были как живые, и мне стало жалко свое «значительное произведе-

ние». Я ушел со двора поздно вечером, последним, да и то потому, что начался ливень.

Затяжной ливень грохотал всю ночь (казалось, прохутились все небесные трубы) и как-то незаметно вошел в мой сон: я увидел белых слонов под хлещущими водяными струями. Заросли акаций были рядом, но они почему-то никак не могли туда добраться. Топтались на месте и мокли. Внезапно во двор вбежали ребята с луком, и... воздух потряс мой предупредительный клич. Страшный вопль поднял на ноги все общежитие, но, главное... его услышали слоны; они подняли хоботы, протрубили мне прощальное приветствие и скрылись под зеленым куполом леса.

Утром на мокром заборе ничего не было!

— Смыло твоих слонов, — сказал мне дворник дядя Коля. — Ничего, новых нарисуешь. И вот что!.. Нарисуй еще какую-нибудь уборочную машину. Надоело махать метлой...

Когда забор подсох, я попытался нарисовать новых слонов, но, как ни усердствовал, у меня ничего не получилось. Выходили какие-то схемы, а не живые существа.

В тот день я сделал важное открытие: все ценное создается только в минуты высокого настроения, когда чего-то сильно хочешь, о чем-то сильно мечтаешь, что-то сильно любишь или так же сильно ненавидишь. Тогда я еще не знал, что этот настрой называется вдохновением.

### *Далекie и близкие мечты*

Лет в десять, сразу после войны, у меня, к неопишуемой радости, наконец появилась акварель «Черная речка», и я с утра до вечера рисовал как одержимый, рисовал без всякой системы, все подряд — и что поражало в окружающем мире, и что представлял в голове — всякие далекие и близкие мечты.

Самой далекой, почти несбыточной мечтой было — попробовать фрукты, которые я видел только на картинах: виноград, гранаты, инжир. С этой целью я рисовал такие натюрморты, от которых бежали слюни.

Самой близкой мечтой было — стать пиратом. Начитавшись книг про морских разбойников, я рисовал парусники, бородатых уголовников, острова в океане, сундуки с награбленными сокровищами и, конечно, морские сражения, где я, знаменитый пират, находился в самом пекле. После каждого сражения, руководствуясь гуманными соображениями, я рисовал тех, кого мы, пираты, ограбили и сбросили в море — разных купцов, богатых пассажиров — они благополучно добрались до берега и жгли костры в ожидании помощи. Я даже писал записки от имени этих бедолаг, с указанием их местонахождения; записки закупоривал в бутылки и бросал в речку Казанку. Думаю, моя почта вызывала немалый переполох у речной милиции во всем Волжском бассейне.

— Если ты станешь пиратом, это будет позором для семьи, — выговаривала мне мать. — Несмываемым пятном на нашей чести.

— А по-моему, «пират-художник» — это неплохо, — рассуждал отец.

Я только ухмылялся их наивным представлениям моего будущего, поскольку втайне еще планировал стать и слесарем-водопроводчиком и собирался чинить сантехнику до тех пор, пока не умру от усталости.

Представляя себя знаменитым пиратом, я все время хотел столкнуться с опасностью, тренировал металл в голосе и жгучий пронзительный взгляд и жалел, что имею мало шрамов (ведь известно, шрамы украшают мужчин, а пират без шрамов — вообще не пират).

Как каждый пират, тем более знаменитый, я, разумеется, был весь разрисован татуировками, с головы до ног (к счастью, синими чернилами). На моем теле красовались

якоря, осьминоги, акулы, парусники с пушками и целые сцены, где пираты брали на abordаж купеческие суда. Были и другие сюжеты: пираты на берегу в баре, на ипподроме. Не было только романтических сцен. Все, связанное со словом «любовь», по моему глубокому убеждению, не стоило и сантиметра моей пиратской кожи.

Ребята во дворе (мы еще некоторое время жили в общежитии) с величайшим интересом рассматривали мои татуировки, а дома я ходил и спал в наглухо застегнутой рубашке и подолгу не мылся, пока однажды мать насильно не сняла с меня рубашку и... чуть не хлопнулась в обморок.

Мать отмыла мои татуировки, но не смогла вытравить из моей души пиратский дух. Я по-прежнему ходил вразвалку, с нагловатым видом, с оттопыренными карманами, в которых лежали перочинный нож, пробочный пугач, отполированное темно-зеленое бутылочное стекло, напоминавшее море, и настоящие пули — они попадались на свалке.

С ребятами во дворе я разговаривал заносчиво и едко. Случалось, ребята просили меня что-нибудь нарисовать, но я говорил, что подумаю или что «нет настроения», или врал, что нет карандашей. Если кто-то и приносил карандаши, я говорил, что это никудышные карандаши, неважный материал и им рисовать не могу.

— Это не так легко, как кажется, что-нибудь нарисовать, — объявлял я ребятам и удалялся, насвистывая разухабистую пиратскую песню.

Такой был балбес, к стыду родителей.

Но в один прекрасный день на асфальтированном пятаке двора кто-то нарисовал зверей: волков, тигров и слонов. Моих слонов! Животных, по которым я считался крупнейшим специалистом! Зверей нарисовали цветными мелками, и они казались прямо-таки настоящими. Я был потрясен, меня охватило страшное смятение. Вечером близкий друг Вовка, который научил меня покуривать, а я его



ругаться, сообщил, что в одну из квартир приехали новые жильцы и что в той семье девчонка Машка — художница.

С того дня ребята напрочь забыли обо мне, им рисовала Машка; рисовала все, что ни просили. Девчонка, но хорошо рисовала и самолеты, и корабли, в том числе пиратские; рисовала в основном фиолетовыми мелками, а этот цвет свидетельствует о высокой эмоциональности, высокой чувствительности и прочих высотах.

Однажды на пятаке мелками Машка нарисовала огромный парусник, да такой, каких я никогда не рисовал. Это был прямой вызов. Меня заело не на шутку, и, когда ребята разошлись, я углем подрисовал на корабле взрыв, как будто в него попала торпеда, а вокруг еще изобразил тонущих матросов.

В ту ночь мне снился сладостно-злорадный сон. Но утром, выйдя во двор, я увидел: матросы не утонули, а в лодках преспокойно плывут к берегу. Ребята наперебой рассказали, как Машка спасла матросов. История принимала скандальный оборот. Я чуть не взбесился, но меня спасла очередная выдумка. Достав уголь, я нарисовал огромного — с кровать — кита, чудище подплывало к лодкам и уже разинуло пасть.

— Пусть она теперь что-нибудь нарисует, — стиснув зубы, заявил я ребятам и победоносно ушел со двора.

В разгар моего торжества прибежал Вовка и, запыхавшись, проговорил:

— Выходи скорей! Машка такое нарисовала!

Мы выбежали во двор. Около рисунков толпились ребята и смеялись, гоготали, всхлипывали. Я протиснулся в середину — матросы уже восседали на спине кита, исполин широко улыбался и тащил на буксире пустые лодки. На середине кита стояла Машка, маленькая остроносая девчонка; она была вся в фиолетовом мелу.

Я вернулся домой подавленный, униженный. Взял бумагу, сел перед окном, и — надо же! — впервые почему-то

не захотелось рисовать пиратов. Я догадывался: теперь, чтобы вернуть уважение ребят, свой престиж, должен был отличаться как никогда — нарисовать что-то фантастическое. Долго я сидел за чистым листом, но ничего фантастического придумать не мог; сидел, смотрел во двор, где Машка все что-то рисовала... Постепенно мой разрушительный настрой угас, и вдруг в голове мелькнуло: нарисовать Машку! Достав акварель, я стал набрасывать Машкин портрет; старался изрядно, и, кажется, у меня получилось то, что надо; во всяком случае, в те минуты я взвинтился и был уверен: это моя лучшая работа (о слонах, парусниках и пиратах я забыл начисто). Краски еще не просохли, а я уже вынес портрет во двор.

— Замечательный портрет! — выдохнула Машка.

— Вылитая Машка! — закричали ребята.

Понадобилось немало лет, чтобы я сделал вывод из тех рисунков на асфальте: творческая злость — хороший двигатель в работе, но все-таки злость не должна затмевать разум художника.

После портрета Машки (ошарашенный восторгом ребят) я неистово бросился рисовать и другие портреты. Бывало, в школе на уроке все решают задачи, а я делаю наброски соседей, за что не раз выводился из класса и объяснялся с директором.

Дома я просто-напросто терроризировал родных: ежедневно заставлял мне позировать. Обычно мать с отцом под разными благовидными предложениями увивали от моих назойливых приставаний, но младшие сестра и брат позировали охотно — подолгу неподвижно сидели в священном молчании. Но особенно от меня доставалось гостям. Как только к нам кто-нибудь заходил, я сразу усаживал гостя на стул и начинал его рисовать, причем рисовал не меньше получаса — не умея выявить главное, характерное в лице, все делал по наитию, на авось, при этом бубнил:

— Портрет — дело нешуточное. Требуется масса времени...

Многим не хватало терпения, они вставали, говорили, что спешат.

— Искусство требует жертв, — безжалостно произносил я фразу, которую где-то услышал и сразу взял на вооружение. — Этот портрет, может, возьмут на выставку. Вы еще будете гордиться, что я вас рисовал.

Гость вздыхал и садился на стул снова. Я заканчивал портрет, подписывал и дарил на память. Но никто себя не узнавал. Мне приходилось объяснять, что сходство — чепуха, важно — каким художник представляет человека. После этого гость вздыхал еще глубже:

— А-а! Вот оно что! А я-то думал — сходство важнее, — и благодарил меня, и жал руку, и долго к нам не заходил.

А когда приходил, я снова усаживал его позировать, и, получив второй портрет, гость благодарил меня еще горячее, но больше не появлялся совсем.

Постепенно все знакомые перестали к нам ходить, и сестре с братом надоело позировать. И тогда я начал рисовать себя: садился перед зеркалом и делал автопортреты. Законченные работы вставлял в рамы, которые снимал с репродукций, фотографий, вышивок, и вешал на стены, прямо на рисунки слонов. Я перестарался — вскоре всю нашу комнату заполнили мои автопортреты. На одних картинах я стоял в железных доспехах, словно «рыцарь без страха и упрека», на других — распластался у моря, и было ясно — перед зрителями пират с затонувшего корабля... На всех портретах, как мне казалось, я выглядел предельно скромным: не смеялся, не размахивал руками, не задира нос и смотрел на зрителей просто и серьезно.

Родителям не нравилось мое новое увлечение.

— Что за пристрастие! Испортил все стены! — возмущалась мать.

— Портрет не твой конек, — хмурился отец, — не твоё конное блюдо. Лучше рисуй пейзажи — озера, отражения, дым...

Но я-то считал пейзажи пройденным этапом и продолжал печь как блины автопортреты. Со временем я так наловчился их рисовать, что мог себя изобразить с закрытыми глазами. На чем было замешено такое внимание к собственной персоне — не знаю. Кажется, в тот подростковый период мне не очень нравились мои нос «валенком» и оттопыренные уши, и на рисунках я несколько сглаживал эти «дары природы».

Мое героическое сподвижничество в области автопортрета закончилось собственной скульптурой. Наклепав такое количество своих изображений, что их уже некуда было вешать, я начал делать слепки из глины. Позировать мне по-прежнему никто не хотел, и я лепил себя. Вначале ваял маленькие скульптуры, потом и большие. А однажды в сарае смастрячил себя во весь рост. Чтобы эта гигантская скульптура не развалилась, прежде пришлось скототить каркас из реек и обмотать его проволокой — и только после этого класть глину. Я извел целую бочку глины (корячился два дня). Скульптура мне понравилась. Я изобразил себя очень скромным: стоял, опустил голову и сморщив лоб, как будто думал о чем-то вселенском, словно «Мыслитель» Родена.

Эту скульптуру я решил установить перед общежитием как памятник самому себе. Рано утром, когда все спали, приволок глиняного колосса на видное место двора и сел невдалеке на скамью, в ожидании реакции на свое творение. Через некоторое время вышли ребята и разинули рты в замешательстве.

— Кто это? Что-то не пойму! Может, Баба-яга?! — слышалось.

Мимо прошел Евграф Кузьмич, взглянул на скульптуру, покачал головой. Расстроенный, я направился к дому, но меня догнала Машка.

— А я сразу узнала, кто это! — сбивчиво шепнула мне.

— Кто?

— Знаменитый пират!

Слова Машки окрылили меня — я моментально почувствовал прилив жизненных сил.

Это была моя первая персональная выставка — она представляла всего одну работу, но зато какую! И какой ошеломляющий успех! Правда, всего у одного зрителя, но у профессионала! То, что Машка училась в художественной школе, являлось непреложным фактом.

### *Натюрморт с овощами и прочее*

Мне посчастливилось — в художественном училище, куда я поступил после седьмого класса, преподавал Петр Максимилианович Дульский, автор монографии о Шишкине, мэтр с бантом, в жилетке желтого цвета, который, как известно, выражает спокойствие, интеллигентность.

Петр Максимилианович не только объяснял нам основы живописи, но и давал нравственные уроки.

— Скромность в жизни и скромность в творчестве — разные вещи, — говорил он. — Нельзя быть скромным за мольбертом. Если хотите сделать что-то значительное, смелее самоутверждайтесь, отстаивайте свое видение, свое «я».

Эти слова я воспринимал буквально. Отбросив всякую скромность, устраивал на полотнах такое бурное пиршество красок, что у самого захватывало дух. Но странное дело: моя «богатая палитра» — широкие мазки и прямотаки кричащие свирепые цвета повергали однокурсников в уныние.

— Все разваливается и пестрит, — поджимали губы одни.

— Нет гармонии, — разводили руками другие.

— Я так вижу! — многозначительно изрекал я.

А Петр Максимилианович посмеивался:

— Ничего, ничего, это самоутверждение лучше боязни цвета и всякой зализанной, замученной живописи. Главное — неустанно обогащать свое творческое пространство. Насыщать его впечатлениями. Впечатления — самое ценное в жизни. Наше богатство. Позднее отберете все существенное из этих впечатлений. Чувство меры придет, когда всем переболеете, — он похлопывал меня по плечу, как бы благословляя на новые искания.

Однажды я написал «огненный натюрморт», вернее, впечатление от натюрморта с горшком и овощами. Для большей выразительности и самоутверждения использовал цвета страстей: яркие красные и оранжевые краски, «сверхбогатую активную палитру».

— Нагловатые цвета, — морщились одни.

— Ерундистика, оголтелый оптимизм, — с насмешливым презрением отмахивались другие.

А Петр Максимилианович пощадил меня и дипломатично сказал с легкой улыбкой:

— Выразительный рисунок и грамотная живопись — дело техники. То есть наживное дело. Этому можно научиться. Но вот своя интонация, своя атмосфера, свое пространство — это, как говорится, от Бога... Я совсем не против этого дикого натюрморта, но вот... этот огурец... э-э, не мешало б... чуть-чуть передвинуть сюда. Так композиция будет более уравновешенной.

В другой раз на свалке я нашел банку серебристой краски и с дурацким восторгом так самоутвердился, что некоторые перестали со мной здороваться. Я написал автопортрет, где серебристая краска выполняла роль лунного света; автопортрет в образе матроса (естественно, в подростковом возрасте пират уступил место матросу, и, как жется, я уже подумывал о морской царевне).

— Умора! — хмыкали одни. — Возвел себя в святые, сделал нимб над башкой!

— Совсем чокнулся, — безнадежно вздыхали другие.

— Эта самолетная краска не очень портит общее впечатление, — невозмутимо заметил Петр Максимилианович. — Как говорится, максимум выразительности и минимум средств для выражения. Но в композиции не хватает э-э... изюминки. Быть может, вот здесь... подрисовать чайку или дельфина?!

Вскоре я «переболел» и перестал самоутверждаться за счет эффектных красок. До меня дошло, что хороший вкус — это не только чувство меры, но и благородные цветовые сочетания. «Богатая палитра» уступила место «палитре сдержанной». Рассматривая мои новые холсты, Петр Максимилианович одобрительно кивал:

— Это обнадеживает. В этом уже есть что-то. Заявка на серьезность, — и с неизменной улыбкой добавлял: — Как говорил Андрей Рублев, «красота не в пестроте, а в простоте»... Настоящее искусство всегда искреннее. Нарочитость, желание пооригинальничать — это видно невооруженным глазом. Там все поддельное, фальшивое. За такими декорациями не видно сердца. Это холодное, бездушное искусство. А искреннему художнику не до трюков. Это очевидно. Еще очевидней — тот, кто занимается искусством, то есть причастен к возвышенному, не встанет на путь жестокости. В этом смысле вы — моя последняя надежда в наше жестокое время.

Кажется, мы не очень оправдывали эти надежды. Я, например, безжалостно ловил рыбу; а Кукушкин (первый умник в группе, который вроде меня планировал в будущем походить под парусами, и это нас сразу сблизило) — певчих птиц. Узнав про наши злодеяния, Петр Максимилианович нахмурился и прочитал нам строгую проповедь с предостерегающей концовкой:

— Вы — моя головная боль. Учтите, над вами сгущаются тучи. Скоро грянет гром.

Тучи над нами сомкнулись, и гром действительно грянул: однажды, после очередной вылазки на природу,

нас с Кукушкиным встретило мрачное демонстративное молчание сокурсников. А позднее в стенгазете нас изобразили как живодепов... Чтобы вернуть расположение сокурсников, Кукушкин притащил в училище свои клетки и при свидетелях выпустил птиц на волю. А я, тоже публично, смастерил аквариум и начал разводить рыбок. Эти значительные операции почему-то никто не воспринял всерьез; наверное, были уверены, что мы просто устроили передышку и втайне вынашиваем особо злоеущие планы.

### *Увядшие цветы*

Рисунок вела Ксения Борисовна Пирогова, женщина матрешечного типа, вся увешанная побрякушками, с шалями на плечах и румянами на лице. Несмотря на эту яркость, в искусстве Ксения Борисовна предпочитала серый цвет и его многочисленные оттенки — то, что обычно любят строгие, рассудительные люди. У Ксении Борисовны были маленькие руки и прозрачные глаза, а голос далекий, как в тумане.

— Это не изящно, — говорила она про рыхлый рисунок.

— Это топорно, даже вульгарно, — про энергичный штрих, и мы недоуменно молчали.

Матрешка (так мы звали Ксению Борисовну) ставила нам «чистые натюрморты»: старинные вещи с отражением на стекле.

— Отраженность, зеркальность создают эстетичность, изыск, — говорила рисовальщица, и мы с пониманием кивали (особенно я, поскольку считал себя специалистом по отражениям).

Матрешка лазила с нами по городским свалкам и заставляла разыскивать поломанную антикварную мебель, дырявые абажуры, побитые витиеватые рамы, дверные ручки,



чугунные утюги. Потом в училище все это расставляла на стекле, занавешивала окна, зажигала свечи, и мы рисовали «искрящиеся натюрморты», иногда «отмывкой» — прозрачно-черной краской.

Особую страсть Ксения Борисовна питала к натюрмортам из увядших цветов.

— Живой, яркий цветок, бесспорно, красив; в нем, бесспорно, есть эстетический момент, — говорила она. — Но все же он легковесен, он слишком заявляет о себе. А увядший цветок более скромнен и потому более выразителен... Он более культурен, благороден, если хотите («...хотите, хотите» — прокатывалось эхо).

Ксения Борисовна подвешивала у окон живые цветы на нитках, головками вниз и, когда лепестки скрючивались, восклицала:

— Когда цветок увядает, появляется другая красота, другой дух! Посмотрите, как выявляются прожилки, какие пластические линии, сколько эстетики! Красота со временем не исчезает, а переходит в новую форму. Это касается не только цветов, но и людей.

Ксения Борисовна подходила к зеркалу и рассматривала свое отражение, видимо, чтобы убедиться в правоте своих слов, убедиться, что уцелевшие остатки ее красоты еще сияют достаточно ярко.

Слушая Ксению Борисовну, я мотал головой: все живое мне было гораздо ближе мертвого, отжившего, поломанного.

С Ксенией Борисовной ходили на «мелкую пластику», двухчасовые наброски в сквер. Это было самым интересным из ее занятий, когда мы, раскрепощенные, «набивали руку» — рисовали в блокнотах все, что попадалось на глаза: корявые деревья, урны, газетный киоск, старух с детскими колясками и «деликатные ситуации»: влюбленных и разных подвыпивших, отсыпавшихся на клумбах.

### «Обнаженка» Алка-сыроежка

«Обнаженкой» называли обнаженную натуру. Одним из натурщиков был старик с величественной массивной головой. Он работал сторожем в трамвайном депо, а в училище подрабатывал. Искусство ему было безразлично; обычно на стуле он засыпал и переливчато храпел. Матрешку Ксению Борисовну это не смущало.

— Обратите внимание на складки на лице, — говорила она. — В складках и оборках есть эстетичность.

Еще нам позировала Лиа, толстуха с богатыми формами, модель — мечта для скульпторов. Ни один художник, и не только художник, не мог пройти мимо Лиа чтобы не обернуться. Лиа по много часов неподвижно стояла под софитами, но никогда не жаловалась на усталость. Она содержала большую семью и говорила, что «раньше была как тростинка, а в войну от разных похлебок распухла».

— Обратите внимание на пластические ходы, — Ксения Борисовна поводила рукой в сторону Лиа. — Смотрите, как один блок мышц плавно переходит в другой.

Одно время нам позировала бывшая балерина, сухопарая царственная старуха с грациозной осанкой и тонкими косичками. словно фея, она всегда торжественно молчала, устремив взгляд за окно. В ее царственном величии угадывался богатый и таинственный внутренний мир, который никак не переключался с реальным миром. На «балерину» Ксения Борисовна только почтительно взирала и ничего не говорила.

Натурщица Алка-сыроежка постоянно грызла морковь и другие сырые овощи. Сидит среди драпировок, грызет овощи и без умолку болтает о подругах, о брате-первокласснике.

— Я не против, рассказывай, милая, — говорила Ксения Борисовна, — но, пожалуйста, не вертись. Сиди неподвижно, эстетично.

Многие люди, не связанные дружбой, подходя друг к другу, задаются вопросом: «Для чего мне с ним общаться? Какой интерес?». Или уж совсем практично, с пошлым расчетом: «Что от него можно получить?». Алка же всегда спрашивала себя: «Что я могу сделать для этого человека, чем могу помочь?». Жертвенность была ее отличительной чертой. Она помогала нам натягивать холсты, приносила из дома драпировки, чтобы ставить «мешанину с вазоном», как мы называли натюрморты. Время от времени Алка дарила нам какие-нибудь безделушки. Просто так, без всякого повода, от душевной щедрости. Эти подарки были чисто символическими, но, как известно, главное не подарок, а внимание.

На праздники Алка приносила конфеты дворничихе, бутерброды слесарю. Она могла отдать последние деньги какому-нибудь пьянице-попрошайке, подарить единственный шарф одинокой старухе. Она все отдавала другим, даже всю себя как модель.

Здесь необходимо пояснение. Наши первые занятия с обнаженной натурой связаны с немалым стеснением, неловкостью. Особенно когда позировала Алка. Она была нашей ровесницей, и мы с Кукушкиным испытывали сильнейшее волнение; то боялись смотреть в ее сторону, то, наоборот, прямо пожирали ее глазами. Алка в свою очередь абсолютно не испытывала никакого волнения — как ни в чем не бывало грызла овощи, а случалось, и подмигивала нам. Казалось, она запросто могла обойтись вообще без всяких одежд и разгуливать по городу обнаженной, как дикарка. Понадобилось немало занятий, чтобы мы с Кукушкиным успокоились и научились смотреть на обнаженную Алку только как на модель.

Еще больше занятий понадобилось, чтобы мы привыкли к Алкиным превращениям: несколько часов перед нами сидела неподвижная натурщица, и вдруг из-за шир-

мы выходит одетая, живая Алка; рассматривает саму себя на мольбертах, нахваливает нас... Случалось, кто-то из учащих начинал сомневаться в своих способностях. Таких Алка подбадривала:

— У тебя есть искра божья. У тебя все пойдет, вот увидишь. Хочешь, я попозирую тебе после занятий?

Разным самоутверждавшимся вроде меня, чрезмерно уверенным в себе Алка, чтобы сбить спесь, могла заявить:

— Красиво, но все сикось-накось и как-то пресно.

Иногда Алка-сыроежка выезжала с нами на этюды. Прежде чем писать натуру, чтобы увидеть местность более обобщенно и выделить в ней главное, мы подолгу прищуривались, наклоняли голову в разные стороны, делали из ладоней «подзорные трубы». Алка придумала совершенно гениальную вещь, и, как все гениальное, то, что она придумала, было удивительно просто. Однажды, встав спиной к деревне, которую мы собрались писать, Алка наклонилась и посмотрела на дома между ног. Потом спокойно сказала:

— А так все выглядит красивей. Просто чудо, как выглядит.

Повторив Алкину позу, мы действительно обнаружили чудо: перевернутая деревня смотрелась гораздо объемней, в ней моментально выделились все основные цветные пятна. С того дня мы взяли Алкино открытие на вооружение и, случалось, где-нибудь на бугре застывали в нелепых позах, к большому ликованию детворы.

Алкину позу я использую на этюдах до сих пор, если, конечно, никого нет поблизости. Хотя недавно проштрафился — не заметил, как меня окружили зрители.

— Дядь, что вы высматриваете? — спросила одна девчушка.

— Да вот, потерял кисточку, — сконфузился я.

— Художники все со странностями, — объяснил девчужке кто-то из зрителей, а один мужчина вздохнул и pokrutil согнутым пальцем у виска.

***Высокое, зеленое,  
чистое!..***

В нашей группе было немало интересных ребят, самобытных личностей. Один Кукушкин чего стоит! Колоритный здоровяк, который, сидя за мольбертом, принимал устрашающие позы, играл мускулатурой и бормотал:

— Этот проклятый вазон никак не принимает форму... Но ничего, мы преодолеем сопротивление материала.

Рисовал Кукушкин тяжеловато, основательно — его живопись сразу узнавалась по мощной кладке мазков. По училищу Кукушкин ходил, насвистывая, руки держал в карманах брюк, то и дело боксировал с собственной тенью, «так безопаснее» — подмигивал мне.

После занятий Кукушкин всегда провожал девчонок, таскал их папки, сумки; а весенними вечерами приглашал девчонок за город «слушать соловьев и шелест леса», но каждый раз, когда они приезжали, соловьи почему-то спали, а лес не шелестел.

— Так и прокуковали с Кукушкой, — смеялись девчонки. — Да еще заблудились. У Кукушки болезнь — пространственный кретинизм. Он и в городе-то плохо ориентируется, а то в лесу!

Тина была круглая и неповоротливая, как афишная тумба. Имя ей подходило как нельзя лучше — поверхность болота точно соответствовала ее лености. Она «обожала салатный цвет» (как многие неискренние, хитрые люди) и рисовала вяло, с кислой миной, будто выполняла нудную работу. Ее родители — какие-то деятели в нашем городе — имели немалые связи, и будущее Тины выглядело накатаным: уже на третьем курсе отец устроил ее оформлять витрину ателье.

Тина была слишком высокого мнения о себе и, рассматривая работы сокурсников, презрительно фыркала:

— Грязный цвет, какая-то слякоть. Цвет блохи, упавшей в обморок.

Или:

— Грубая цветовая растяжка, гадкость... Открытый цвет — это пошлость! У меня цвет сложный, но чистый. А это не поймешь что. Это просто убивает...

Особенно доставалось мне и Кукушкину. Тина носила нас в клочья и называла не иначе как «грубыми мазилами». У самой Тины цвет, в самом деле, был сложный. Такой сложный, что я, несмотря на титанические усилия, ничего не мог разобрать.

— Мы еще не поднялись до понимания такого, — подмигивал мне Кукушкин и шепотом добавлял: — Не живопись, а кисель.

И была у нас лучезарная девчонка, самая способная в группе — Катя Сланцева. Вот уж кто радовался жизни по-настоящему, так это она. Идет в училище, напевает веселые мотивы. За мольбертом сидела легко, поминутно вскакивала, отбегала, строила смешные гримасы и вся светилась. Рисование доставляло ей радость, и это чувствовалось в ее радужных прозрачных акварелях. На них всегда струился мягкий свет. Если заходило солнце, тут же непременно всходила луна. Вся жизнь Кати Сланцевой представлялась мне оазисом красоты и веселья. Она мне очень нравилась, если не сказать больше. Непонятные чувства к ней одолевали меня с первого курса; эти чувства призывали к действиям, но Сланцева была слишком хороша для меня. Всегда — аккуратная, приветливая, уверенная в себе, а я постоянно «самоутверждался», метался и страдал, оттого что не могу найти «свою исходную точку».

Однажды на этюдах мы писали деревню и заливные луга. Стояли на берегу реки у мольбертов, среди высокого разнотравья и фейерверка кузнечиков. Катя Сланцева была в розовом платье (цвет жизни!) и на фоне

зелени смотрелась особенно впечатляюще. В сущности, я и не рисовал, а смотрел на нее. С балетной легкостью рассекая воздух, она кружила перед этюдником, всматривалась в даль, пропевала:

— Какое все высокое, зеленое, чистое! — с улыбкой делала мазки и мыла кисть прямо в реке.

И вдруг заметила мой взгляд. На секунду замерла и тут же подлетела, играючи мазнула краской на моей бумаге и шепнула с придыханием:

— Ты смешной чудак! — и чмокнула меня в щеку чисто дружески.

Эти слова были самыми лучшими из всех, которые я слышал, а поцелуй с неделю жег мне щеку.

В те дни Катя Сланцева не выходила у меня из головы, уж не говоря о сердце. Моем несчастном сердце! Что с ним происходило, когда я встречался со Сланцевой?! Оно сжималось от страданий! Втайне я планировал похитить Сланцеву, увезти на один из волжских островов и с размаху предложить пожениться.

Сланцева всегда была со мной, и, когда у меня случались трудности, я обращался к ней за поддержкой. Мысленно. Но однажды и не мысленно. Набрался храбрости и сказал ей, что мне плоховато без нее.

— Как чудесно, что ты думаешь обо мне, но я люблю Кукушку, — Катя Сланцева лучезарно улыбнулась и разбила мое сердце вдребезги.

С того дня мир потерял краски, я стал замкнутым и мрачным и уже не надеялся когда-нибудь повеселеть. Оказалось, можно планировать все что угодно, только не любовь. И еще — каким же надо быть болваном, чтобы влюбиться в сокурсницу и изо дня в день наблюдать, как она посылает невероятные взгляды в сторону Кукушки, как они выходят вместе из училища и явно собираются обниматься и целоваться.

### *Прогулка в компании с «Верзилой»*

Старшекурсники делили нас, младшекурсников, на «личинок» и «шпроты». К «личинкам» относились те, кто делал робкие акварели, «плаксивые, слюнявые и наивные, как песенки в детском саду» — по выражению старшекурсника Верзила — бегемотообразного крутого парня, любителя участвовать в драках, пугавшего нас рассказами про шайки головорезов. К «шпротам» относились те, кто более-менее владел кистью, в ком угадывался кое-какой потенциал. Верзила говорил нам с Кукушкой (прежде чем открыть рот, он надевал фетровую шляпу — ему казалось, так слова звучат весомей):

— «Личинки» — бараны, лишённые всего. Просты, как соха. А вы шустрые малые, у вас есть кое-какой потенциал.

Мы с Кукушкой страшно гордились своим потенциалом, причем я считал, что у меня далеко не «кое-какой», а несметный потенциал. Так же о себе думал и Кукушка.

Верзила нес знамя предводителя «новой волны»; его отличали свобода поведения, высказываний. Горячий человек, воитель, могучий талант, склонный к гигантомании, он писал полотна с размахом — в несколько метров, где отображал целые эпохи: развитие транспорта от допотопных колываг до обтекаемых гоночных аппаратов (он питал нежные чувства к машинам и собирал автомобильный юмор: рисунки, анекдоты); или писал развитие человека от дикаря до современного супермена, со всей сопутствующей атрибутикой. Кстати, метраж полотен Верзила мерил своим котом, который был ровно полметра.

Часто кое-кто из преподавателей в свое отсутствие просил Верзилу побыть в нашей аудитории, и тогда свирепый «знаменосец» надевал шляпу и учинял нам разгром, вдалбливал что к чему. Особенно доставалось «личинкам»:

— Я с вами миндальничать не буду. Чего вы здесь просяживаете штаны?! Живопись не ваше дело! Занимаете



чужое место! При царе запрещалось бесталанным заниматься искусством! Для вас есть один воспитательный прием — подзатыльник.

Разгром был с налетом ненависти: бросая убийственные слова, Верзила рычал от злости. Ярость и гнев заполняли всю его бегемотообразную голову и вместительное туловище — аудитория гудела от его ругательств; ошеломленные, перепуганные «личинки» ерзали на стульях, сжимались и горбились за мольбертами. Мы с Кукушкой радовались приходу Верзилы, но еще больше радовались его уходу, ведь нам тоже перепадало:

— И у вас, шустряков, вещички ни черту не годятся! Что за дурацкие напластования?! Не знаете законов ракурса! Фигуры раздутые, дома заваливаются! А руки?! Кто так рисует руки?! Это сардельки какие-то! Художник должен знать анатомию, как врач. Все четырнадцать сочленений кисти! По тому, как художник рисует руки, можно судить о его знаниях! Запомните, профессионализм построен на классических принципах, и профессионализм — это прежде всего жесткая требовательность к себе.

Его все приводило в бешенство: и мольберт не так стоит, и краска плохо разведена, и освещение не с той стороны...

Как-то случилось, что однажды Кукушка и я вышли из училища одновременно с Верзилой. Он был в благодушном настроении: вышагивал, выставив перед собой кулак, — воображал в руке знамя «новой волны». В другой руке Верзила нес шляпу. Мы семенили за ним, создавая некий унылый фон. Изредка через плечо Верзила кидал нам многозначительные фразы:

— Что главное в человеке?! Присутствие духа, вот что! А для художника — сбор информации! И всего необычного. Я, например, собираю автомашины и водопады. В смысле зарисовываю...

Мы прошествовали до набережной Булака, и тут нам с Кукушкой втемяшилось в голову сделать наброски рыбаков; достали альбомы и стали черкать фигуры удильщиков. Верзила ходил вокруг, искоса посматривая, что мы изображаем. Нас обступили зеваки, уставились на альбомы, и вдруг один зевака спросил:

— И за сколько загоните эти каракули?!

Раздался взрыв смеха. Мы с Кукушкой немного ступселись, но Верзила на все имел полный комплект ответов.

— Для дурака это каракули, а для умного — произведение искусства, — отреагировал он, надев шляпу и нахмурившись, и тут же его глаза налились кровью:

— Как смеешь такое говорить художникам! Художник видит мир, а ты свое корыто! — он взмахнул кулаком над головой, готовый разметать зевака знаменем «новой волны».

Кстати, Верзила носил шляпу густо-коричневого цвета — цвета тех, кто имеет холодную голову и крепко стоит на ногах.

### ***Чаепитие с яблоками у «Страшилы»***

Младшекурсники делили всех старшекурсников на «валуны» и «мхи». «Валуны» — маститые, исповедующие традиционную манеру, «мхи» — пишущие расплывчато и объясняющие свою живопись в форме назидательного брюзжания. На третьем курсе нас с Кукушкой, «перебесившихся», причислили к «валунам».

На третьем курсе мы стали писать масляными красками. Мудрую живопись — «масло» — вел горбоносый, хромоногий старикан с затуманенным взглядом и распухшими пальцами; он носил свисавший набок, изрядно поношенный пиджак, и курил одну за другой папиросы, и, если при этом ковылял между мольбертов, непременно носил с собой пепельницу. Мы звали старикана Страшилой.

На первом занятии Страшила объявил:

— Акварель — высочайшая техника, пластическая, нежная культура. Мазки прозрачные, не мазки — дуновение. Похоже, вам не освоить акварель — она для избранных. Для тех, кто чувствует воздушность неба, шелест трав, звон ручья. А масло вам вполне по плечу.

— В масле одна большая проблема, — добавлял он с усмешкой. — Чистая тряпка под рукой, чтоб вытирать кисть. Такой прелюбопытнейший момент!

Для натюрмортов Страшила приносил из дома самовар, старые книги, персидский коврик и прочие «украшательства».

— У меня этого добра полно, — усмехался Страшила. — Я счастливец: у меня отличная жена, дети, внуки и все такое...

У него был потрясающий вкус: каким-то непонятным образом он так расставлял предметы, что они «играли друг с другом». И в скучных буднях он постоянно искал прекрасное, отбирал, казалось бы, незначительные моменты и так их словесно обыгрывал, заводил нас, что руки сами тянулись к палитре.

— Источник творчества — радость, — внушал нам Страшила. — Как говорил Поленов, «искусство должно давать людям радость и счастье». В самом деле, человек рожден для радости, а не для страданий. Человек хочет веселиться, петь, рисовать... Его душа должна быть свободна, а ваши души стеснены, закованы в панцири. Вся беда в этом. Скиньте панцири, освободите души! У вас обычный набор привязанностей: Пушкин, Толстой, Чайковский, Крамской... Расширьте рамки! Найдите закономерности в природе, а дальше трансформируйте форму как хотите. Если душа свободна, она сама найдет и темы, и выражение. Это же так понятно!

Во время занятий Страшила подкрадывался сзади и дул в ухо:

— Это все безрадостно, не драгоценно. Замажь! Пусть все это таинственно исчезнет. И начинай заново. Радостно!

Как и Верзила, Страшила иногда учинял нам разгром, но делал это спокойным тоном, и его разгромы были с определенной заостренностью на радость. Собственно, это было желание вселить в нас светлый взгляд на жизнь, тягу к прекрасному.

— Как вы пишете?! — отдуваясь, возмущался он. — Ну кто так пишет?! Точно выполняете тупую работу. Не кистью описываете форму, а машете кувалдой! И сидите унылые. Где радость письма?! Когда чрезмерно стараешься, от напряжения и волнения скован, и получается плохо... Мы в свое время писали как? Выпьешь чая с ликером и бросаешься на палитру. А там! Все краски играют. И давайте договоримся — без обид на мои слова. Талантливому можно сказать о его работе плохое, неталантливому нельзя — слабо верится, что он сделает лучше.

Страшила дружил с Кондратом Евдокимовичем Максимовым, замечательным пейзажистом (вторым Шишкиным), — называл его «просветленным человеком», «радостным мастером» и часто приводил друга в училище.

— Сколько прекрасных талантливых лиц! — восклицал «радостный мастер», переступая порог класса и разглядывая наши физиономии. — Лицо создателя всегда прекрасно, а разрушителя, соответственно, отвратительно. И заметьте: красивых людей крайне редко посещают черные мысли. Если и посещают, они их тут же гонят прочь и потому не делают зла... Зло делают ущербные люди.

Рассматривая наши работы, мастер то и дело сыпал безмерную похвалу, а касательно нашего будущего говорил:

— Перед вами два пути: один уже проложенный, другой — неизвестный, свой собственный. Пойдете по первому — станете хорошими мастерами, но, как говорят на Востоке, — «на проторенной тропе не остается следов».

Изберете свой путь — набьете на лбу шишек, ведь придется продираться сквозь дебри, зато оставите свой след. Выбирайте! — Кондрат Евдокимович смеялся, довольный предельно ясным объяснением.

Покидая нас, он обрушивал на Страшила негодование за «нескладные поступки», за то, что «пилит молодые таланты», при этом подмигивал нам:

— Ругаться с другом необходимо: в накале страстей, бывает, приходят ценные мысли. Считанные разы, но приходят. Только надо первому замолчать, чтобы другу было стыдно, что он наговорил больше. Ведь известно: выходя из себя, ты уже проигрываешь.

Однажды Страшила заболел, и мы с Кукушкой навестили его. Оказалось, он жил одиноко; в холостяцкой комнате витали запахи вина и табака, и в этой тяжелой атмосфере в горшках произрастали гигантские растения до потолка, повсюду валялись старинные книги, но не было ни картин, ни художественных принадлежностей.

— Такой ляпсус! Все осталось у жены, когда мы развелись, — как бы извиняясь, пояснил Страшила. — А у меня остался один художественный беспорядок, да где-то потерялось несколько моих детских рисунков... Почему человек вспоминает детство? Понятно, это связь времен, чтобы мы не забывали: нам на земле отпущен короткий отрезок. Детская память святая... Кстати, насчет детей и внуков я придумал... Для всех я один, на самом деле другой, а хотел быть третьим — певцом. Да, не удивляйтесь. В молодости серьезно занимался вокалом. А теперь мужественно встречаю старость, — Страшила усмехнулся и пропел что-то из классики.

Вот таким он оказался, этот романтик и скептик, дьявол и ангел одновременно.

Страшила угостил нас чаем с яблоками: тщательно нарезал яблоки в стаканы, подкрасил их заваркой и залил крутым кипятком. Прихлебывая чай, покуривая папиро-

су и шмыгая длинным носом, он прочитал нам отличную лекцию.

— Кроме свободной души, о которой я постоянно вам твержу, важно сохранить индивидуальность, — тихо бурчал он. — Не смешиваться с толпой, оставаться личностью. И верить только в себя, а не в каких-то там идолов. Пусть хоть это и Бог. Религиозный человек несвободен: штудирует догмы, Библию, все думает, как бы не согрешить, думает о смерти, на него давит будущее наказание в аду. Религиозный человек ничтожен перед Богом, его раб. А раб может свободно творить?.. Бог внутри нас. Это же понятней всего...

У мэтра Дульского на чердаке училища была мастерская, куда мы время от времени заглядывали и разинув рот «впитывали высокое искусство, хрестоматийные творения». Матрешка Ксения Борисовна частенько приносила свои акварели в училище как «наглядное пособие». От ее акварели мы испытывали легкую грусть. Работ Страшилы никто никогда не видел, но мы считали его лучшим преподавателем. Он, несомненно, много знал, был сильнее и терпеливее всех учителей и, главное, дал нам больше всех. Одно радостное отношение к творчеству чего стоит! Оказалось, можно не быть художником, но так сильно чувствовать искусство и так его знать, что делать художниками других. И наоборот. Тому свидетельство — Верзила. «Знаменосец», предводитель «новой волны» только вредил нам своими горячими «наездами». И не случайно любимым цветом Страшилы был зеленый и его производные, что символизирует природу, жизнелюбие, естество, уверенность.

### *Чердаки и подвалы*

В Москве я выглядел неприкаянным дремучим провинциалом; ходил по улицам и смотрел на все разинув рот.

Поражало шумное многолюдье, просторные станции метро, фонтаны в скверах, музеи, мосты, но больше всего — художественные выставки, где можно было совершить настоящее эстетическое путешествие. Я догадывался, что в столице полно художников, но не думал, что их — пруд пруди; были даже целые дома, где жили одни художники. Вообразить многоэтажный дом, полный художников, я никак не мог!

Естественно, конкурс в Институте кинематографии, куда я поступал, демобилизовавшись из армии, был пятнадцать человек на место. Экзамены на режиссерский факультет я сдал вполне прилично (в моей громоздкой композиции угадывались величие замысла, богатство идей), набрал проходные баллы, но этого оказалось недостаточно. Зачислили имеющих направления от республик и «позвоночников» — сыновей известных деятелей кино, которые шли «по звонку». «Диких» вроде меня не приняли ни одного. Понятно, у многих это вызвало бурное возмущение — в вестибюле, где оглашались списки, поднялся огненный шторм.

Курс набирал Михаил Ромм. Когда я смотрел на хищный крючковатый нос знаменитого режиссера, мне почему-то вспоминался гоголевский Вий. От него исходила не просто неприкрытая злость, но и какая-то нечисть. Позднее я понял, в чем дело, — этот приспособленец жил двойной жизнью: ненавидел советскую власть и прославлял ее, ради благополучия и наград.

Потерпев чувствительное поражение в институте, я некоторое время ощущал себя пассажиром корабля, который на огромной скорости несся на скалы, но вскоре взял себя в руки и с провинциальным упрямством подумал: «Ничего, не тупиковая ситуация, просто неудачно стартовал, не пропаду, как-нибудь пробьюсь».

Сняв комнату за городом (пристройку к дому), я несколько месяцев мыкался в поисках оформительской ра-

боты, но все места были заняты; пришлось устроиться грузчиком на железнодорожный склад: таскал ящики с подшипниками, сухую штукатурку, сетку-рабицу. Вскоре я освоил профессию почтового агента, затем — фотографа, а через полгода, закончив курсы шоферов, стал водить пикап. Живописью почти не занимался, зато за два-три года сполна обогатил свое «творческое пространство» сильнейшими впечатлениями, особенно когда «шоферил»: у меня появилось безграничное зрение — жизнь всего города как на ладони. Но главное, у меня появилось немало знакомых, в том числе и среди художников.

Надо сказать, в то время в Москве процветало оптимистичное искусство, отражающее трудовой энтузиазм. Музыка бодрила, звала и уводила, в стихах все ширилось, росло и цвело, картины выставлялись помпезные, лакировочные, где все были счастливыми и жили в городах и поселках, где никогда не заходило солнце. Но, как известно, в жизни идет вечное противоборство добра и зла. Можно избегать негативных эмоций, делать вид, что зла нет, но от этого оно не исчезнет. Оно есть, и немалое (оно нагло заявляет о себе, в отличие от добра, которое обычно неприметно). И настоящий художник не может его не видеть. А поскольку искусство (по моему убеждению) — это стремление к идеалам, настоящий художник делает все, чтобы в жизни было как можно меньше зла. Показывая мрачные стороны жизни, он как бы выражает свой протест и тем самым несет очистительную миссию.

Среди моих новых знакомых были такие художники. Целое созвездие талантов. Они обитали на чердаках и в подвалах, одевались во что придется, не вылезали из долгов, но, несмотря ни на что, упорно отстаивали свой путь в творчестве. Познакомившись с ними, я почувствовал: моя морская душа попала на остров сокровищ. Теперь многие из этих художников известные, осыпанные похвалой мастера, и я горжусь давнишней дружбой с ними. В их



чердаках и подвалах я закончил целую Академию художеств.

На чердаке Игоря Снегура кипели нешуточные страсти.

— Художник, поэт живет в вертикальном срезе жизни: в прошлом, настоящем и будущем! — вещал азартный хозяин мастерской. — Для художника время спрессовано в коротком отрезке.

— Нет! — возражал «подвальщик» Валентин Коновалов, долговязый, внешне похожий на Дон Кихота (и с его же благородными мыслями в голове). — Художник, поэт живет в пространстве между небом и землей, между реальностью и воображением, интуицией и фактом. А ты пленник своего ограниченного метода.

— Не знаю, где вы живете, а я живу в обычной коммуналке, — встревал в спор толстяк с острым прищуром Николай Воробьев и смеялся так, что тряслись щеки.

Живописец, прекрасно владеющий цветом, знаток Пушкина, собиратель икон, Воробьев крепко врос в землю, глубоко пустил корни.

— Они, мои дружки, только хотят взлететь, а я раз! — и привяжу к их ногам гири, чтобы не отрывались от земли, — объяснил мне Воробьев наедине. — Для меня искусство — та же реальность, но немного смещенная для большей выразительности.

Этих художников связывали вьедливая симпатия, сердечное несогласие, и в некотором роде они были чудачками. Снегур писал все некрасивое: подрезанные деревья, поломанную технику.

Коновалов писал абстрактные картины с щадящей деформацией предметов и сюрреалистические картины, где реальные вещи находились в нереальной обстановке.

На картинах Воробьева была полная гармония окружающего мира: рыбаки, отдыхающие на берегу, мать над колыбелью ребенка, деревни в снегу. Воробьев имел свою цветовую гамму: лимонно-белую, малиново-синюю, си-

не-фиолетовую; во время работы он разговаривал с картиной, посмеивался.

— Сейчас в работах модна всякая истерия, — говорил он. — Но злая мысль несет злую энергетику, которая ударяет по людям. А возьмите мастеров Возрождения! Их картины светятся, обладают чудодейственными свойствами — излучают добро. Люди смотрят на них и заражаются радостью. Ко всему, — смеясь, добавлял Воробьев, — художники доброго настроения живут дольше, а те, кто полыхают, имеют разрушительный настрой, — быстро погибают.

Воробьев выращивал на балконе маки; цветение было обильным — этакий благоухающий, пылающий разноцветьем балкон.

Они были счастливыми; жили в вертикальном срезе, между небом и землей, в коммуналке; жили полноценной жизнью и занимались любимым делом, а я работал только для того, чтобы платить за комнату и ходить в столовую. Мое золотое время бесцельно утекало, как песок в песочных часах. На живопись у меня не оставалось времени. Очень редко по воскресеньям я открывал этюдник.

— Что ж так мало машешь кистью? — спросил меня как-то Снегур, который в то время с невероятной экспрессией писал «бутылочную» серию натюрмортов, с каждой работой наращивая сюжетный накал, а за городом строил дачу из стеклотары (цементировал бутылки и банки), стены получались светлые и хорошо держали тепло.

— Что ж так мало работаешь? — повторил Снегур, который всегда придирчиво меня критиковал за любой промах, а мои наброски разбирал так, что от них летели пух и перья, правда, добавлял:

— Впрочем, как говорится, твоя селедка, ты и крась.

— Вот займею свой угол, тогда и засяду, — отвечал я Снегуру.

— Ну ты даешь! Вот тогда ничего и не сделаешь, если сейчас не делаешь. Кувыркайся как хочешь, но работай.

У одних общество виновато, у других семья! Работать надо в любых условиях. Во время трудностей даже лучше работается. Обостряются чувства, появляется хорошая творческая злость. Неудачи закаляют. А в благополучии расслабляешься. Здесь уже нужна самодисциплина.

Снегур стал моим ключевым другом; он служил в Морфлоте, и я не только завидовал ему, но и верил каждому его слову (я все еще не видел моря, но уже носил тельняшку и знал дюжину морских песен). Он всех художников делил на четыре типа: изобразители, воплотители, имитаторы и импровизаторы; себя причислял к редкому пятому типу — открывателей. «Открыватель» подхлестнул мое самолюбие, и, несмотря на усталость после работы, я стал яростно писать «башмачную» серию. В то время я был знатоком в этой области, поскольку постоянно подбивал свои худые ботинки и все мечтал занять новенькие полуботинки. Известное дело — голодный лучше сытого опишет стол с яствами, потому и я, под напором невзгод, «Башмаки» написал довольно удачно. Начиналась серия с мастерской сапожника, заканчивалась универмагом, где была обувь на любой вкус.

— Талантливый выдает сотни картин в год, — говорил один из немногих процветающих «чердачников» Борис Алимов. — И надо часто выставляться. Художнику нужен отклик на свою работу.

— Выставляться надо как можно позднее, уже став мастером, чтоб не было стыдно за свои первые упражнения, — вяло реагировал график Андрей Голицын.

Андрей Голицын и братья Алимовы (Борис и Сергей) работали в разных жанрах и в каждом добивались недюжинных успехов. Бесспорно, они были незаурядными людьми, вот только с годами забронзовели — чрезмерно гордились обширными знаниями и «голубой» кровью и тем самым частенько ставили друзей с «обычной» кровью в неловкое положение. Не в пример этим героям, брат Андрея Голи-

цына — Илларион (блестящий акварелист, ценитель поэта Заболоцкого) — никогда даже не заикался о своем благородном происхождении и вообще слыл одним из самых компанейских художников. И одним из самых колоритных — высокий красавец с густой шевелюрой и густым баритоном, тяжеловес и мастер «легчайшей» живописи одновременно.

Бунтарь Анатолий Зверев был предельно раскован — рисовал с какой-то хулиганской легкостью; мне даже казалось: на его картинах какой-то разброд, неряшливый ребуc из линий, кружков и точек.

— Не люблю безупречный порядок, стройность, — объяснял мне Зверев. — Не терплю всякую корректность — это сковывает. Естественность, наоборот, раскрепощает, дает свободу, — Зверев хлопал меня по плечу. — Вообще задача художника — поддержать человека, а судить его будет Бог. Кстати, присядь-ка, напишу твой портрет. Ты похож на волка, знаешь?

Делая набросок мягким карандашом (в технике «черканий»), Зверев меня просвещал:

— Все люди похожи на зверей или растения. Снегур — на суслика, Коновалов — на пантеру, Воробьев — на корову, я — на кактус. Это перевоплощение душ. Мы когда-то были животными и растениями, их души переселились в нас. А после смерти мы превратимся в других животных или растений. У меня, кстати, нет страха перед смертью. Душа — это сгусток энергии, она живет миллионы лет. Но иногда душа покидает человека, и тогда он становится неприкаянным... Как думаешь, кем будешь после смерти?

Мне было двадцать два года, я только начинал жить и об этом не задумывался, но все же выдавил:

— Хотелось бы стать дубом, чтобы крепко стоять на земле.

— Станешь! — черкая, хмыкнул мой приятель. — В тебе есть дубоватость. Ты дубоватый волк, судя по

твоим провинциальным замашкам. Кстати, на кого человек похож, такой цвет и любит. Я, например, люблю зеленый; ты — наверняка серый, кто похож на тигра — оранжевый.

Зверев делал наброски на всем, что было под рукой: на картонках, салфетках; и картины писал, особенно не заботясь о качестве материала, и все свои «бунтарские» произведения раздавал за бесценок (часто за стакан вина). Кто бы мог подумать, что после его смерти они будут стоить бешеных денег!

Зверев привез меня в поселок Долгопрудный — «отдельный замкнутый мир», где проживали его знакомые, «большие и малые чудачки»: поэты и художники; где читались «опасные» стихи и выставлялись «вредные» картины. Позднее я понял, что среди «опасного и вредного» было полно беспомощного и показушного, ведь настоящему искусству всегда сопутствует шарлатанство, но тогда возлагал немалые надежды на Долгопрудный в смысле пополнения багажа своих скудных знаний. И не напрасно: общаясь с «чудачками», кое-чего набрался и несколько возместил потери в образовании, ну и, само собой, обзавелся новыми знакомыми (они мне были нужны позарез — я плоховато переносил одиночество).

Величайший ум поселка Владимир Пятницкий, сдержанный, даже суровый, в разговоре выдавал бессмертные изречения:

— Талант — не заслуга человека, талант — от Бога, и огромный грех не делать то, что обязан сделать, при этом следует отходить от штампов и экономно тратить отпущенное время...

Пятницкий отходил от штампов на огромное расстояние: делал на холстах фактуру из опилок и стружек, разбрызгивал краску из пульверизатора, при этом не скрывал наплевательского отношения к зрителям. Он работал по «ускоренной программе», спешил «выговориться», словно

предчувствовал короткую жизнь (он употреблял наркотики, и в конце концов они погубили его).

Обитала в Долгопрудном и Наташа Доброхотова, маленькая художница, носившая дешевые платья с элегантно-небрежностью. При гостях она, несколько театрально, играла в игрушки своей дочери, но писала картины со зрелым мастерством и высказывала умные мысли:

— Каждый живет на небольшом пространстве, и ничто не мешает сделать свое пространство гармоничным и светлым. И жить православно, помогать ближним.

В нашем Отечестве всегда было много художников, которые выжимали максимум из своего положения, правдиво показывали нелегкую жизнь людей, и в этом смысле их картины несли нравственную идею. В то время как на Западе, в обеспеченной, благополучной жизни, живопись являлась всего лишь дополнением к комфорту. У нас покупают картины, которые нравятся, у них — то, что модно, престижно. В массе конечно, не все.

### **«Русалка» и «Медуза»**

В Институт океанографии я устроился по объявлению: «Требуется чертежник-художник». В мою задачу входило чертить графики о добыче китообразных и крабовидных, рисовать этикетки для консервных банок. Но вскоре я познакомился с художником-анималистом Николаем Кондаковым и его женой Ольгой Хлудовой, первой аквалангисткой в стране. Эта супружеская чета под водой специальными красками умудрялась зарисовывать морских обитателей. Кондаков и Хлудова сосватали меня в издательство «Энциклопедия», и параллельно с основной работой я стал рисовать всевозможных рыб: от озерных карасей до речных осетровых, благородных представителей подводного мира. Это было несложно — я просто делал ко-

пии экспонатов, которые находились на этажах института. Когда я преуспел в изображении озерных и речных обитателей, в «Энциклопедии» мне доверили морские пучины, а позднее и океанские. Моя пламенная мечта — стать матросом и бороздить океанские просторы — приблизилась до осязаемого расстояния (экипировку я уже пополнил бескозыркой и штормовкой); оставалось только взойти на «Витязь» — научное судно института, но для этого требовалось вначале поплавать два года на внутренних морях (для проверки — а вдруг сбежишь в заграничном порту!).

Пиком моей деятельности в области «пучин» стало гигантское панно в вестибюле института, которое я по просьбе директора «освежал» — делал более яркими кашалотов, дельфинов, осьминогов.

В лаборатории «земноводных» работала девушка русалочьего типа: глаза зеленые, волосы распущенные, платье крупной вязки, словно чешуя, только вместо хвоста — отличные длинные ноги, на которых она не ходила по институту, а прямо-таки плавала, раскачиваясь и извиваясь, и при этом направо и налево расточала улыбки. Мы с ней сразу стали приятелями, для большего она мне казалась чрезмерно изнеженной, а я для нее был «неотесанным дровосеком». Она так и говорила:

— Для меня ты только дровосек и больше ничего (в то время я пользовался успехом только у парикмахерш и продавщиц галантерейных магазинов).

Тем не менее у нас с «Русалкой» сразу сложились приятельские отношения, потому что мы оба были «загородниками», а, как известно, местность объединяет людей и даже делает их в чем-то похожими — не только в одежде, но и в образе мыслей.

Однажды в коридоре института, лавируя меж аквариумов, «Русалка» «подплыла» ко мне и, улыбаясь, пролепетала:

— А ты не мог бы подарить мне золотую рыбку?

— Пожалуйста! — говорю. — Через час будет тебе золотая рыбка.

В результате доблестных усилий я нарисовал золотую рыбку (для большего впечатления — с короной на голове).

— Ты не так меня понял, — улыбнулась «Русалка», принимая рисунок. — Я хотела, чтобы кто-нибудь подарил мне квартиру в Москве. Я ведь живу с родителями, и мы уже не выносим друг друга.

— Кто бы мне подарил, — обескураженно усмехнулся я. — Сам скитаюсь, снимаю комнату за городом.

Но на следующий день по пути на работу я увидел объявление: «Сдается квартира».

— Ты не так меня понял, — поджала губы «Русалка», когда я сообщил об объявлении. — Мне нужен подарок... В ваш отдел заходят зарубежные ихтиологи, а в нашу лабораторию никто не заходит. Познакомь меня с кем-нибудь из «фирмачей». Мне ужасно нужна отдельная квартира и... желательно машина...

Моя рука оказалась легкой: через неделю, когда у нас появились канадцы, самого молодого из них я как бы случайно завел в лабораторию «земноводных». Само собой, он сразу влюбился в «Русалку», а через неделю она с ликующим видом объявила мне:

— Поздравь меня! Выхожу замуж за канадца. Люблю его и буду любить даже под водой. Уезжаю в Торонто. О тебе не забуду. Теперь за мной золотая рыбка.

Из Канады она прислала письмо, где сообщала о своем немислимом счастье. В письме была фотография: она выходит из «кадиллака» длиной с квартал на фоне особняка с бассейном — стало ясно, «Русалка» не зря переплыла океан. Обо мне она не забыла: конверт украшала марка — золотая рыбка с длиннющим хвостом.

По стечению обстоятельств вскоре в Канаде побывали Кондаков с Хлудовой. Они сообщили, что встретили «Русалку» — она работала в институте, аналогичном нашему,



но... уборщицей. Правда, уныния на ее лице супруги не заметили; больше того — она сказала, что «готова голодать, но жить в цивилизованной стране, а не среди помоек».

А в лаборатории «ластоногих» работала полная, не очень молодая, но, как девчонка, восторженная женщина. Сотрудники меж собой звали толстушку беззлобно Медузой, имея в виду ее внешность, но никак не поведение и характер — именно поэтому многие, произнося «Медуза», добавляли: «с острова вулканического происхождения». Медуза жила с дочерью-инвалидом в коммунальной квартире, но никогда ни на что не жаловалась, и никто не видел ее мрачной. Наоборот, все замечали ее приветливость.

Ко всему, у Медузы был еще один талант: она делала отличные шаржи на сотрудников института; они красовались в вестибюле под «моим» панно, и эта маленькая экспозиция притягивала к себе больше, чем гигантское панно, которое все же подавляло зрителей многочисленными плавающими тушами. Кстати, когда я «освежал» панно, некто иной, как Медуза, консультировала меня и даже взбиралась на стремянку, подавая мне краски.

Однажды институт посетила делегация японских ученых, и, пока шла беседа, Медуза сделала шаржи на представителей Страны восходящего солнца. Японцам так понравились рисунки, что позднее в дар институту они прислали капроновые сети, а лично Медузе — медаль и почетный диплом от своего общества шаржистов.

### *С кистью хожу по облакам*

Николай Эпов работал в подвале с парусными сводами и множеством крохотных окон-бойниц. Эпов был знаменит тем, что в его квартире (над подвалом) росло единственное

в Москве персиковое дерево. В те далекие дни Эпов только что оформил спектакль «Маленькие трагедии» и был для меня почти что мифическим героем. Я страшно гордился дружбой с ним и каждому встречному раздувал его славу. И мечтал стать таким, как он, очутиться в театральном мире, но этот мир был для меня недостижим. И вдруг после премьеры «Трагедий», когда мы отмечали у Эпова столь важное событие, виновник торжества погладил персиковое дерево и спокойно сказал мне:

— В театре Вахтангова есть место бутафора. Чтобы тебе жилось приятней, пойдешь?

Моя мечта (работать в театре) сразу приобрела реальные очертания. Я ухватился за случай и круто изменил свою жизнь.

Я вошел в театр как в храм, а когда очутился в бутафорском цехе, вообще потерял дар речи. Прямо надо мной, привязанные к потолку, висели пальмы, драконы, облака, луна и солнце. Пахло клеем и свежей стружкой, из-за стола, обитого оцинкованным железом, выглядывал маленький очкарик, с лицом в сетке морщин, красноносый, с огромными оттопыренными ушами.

Очкарика звали Иван Тимофеевич Белозеров. Он двигался медленно, как ленивец, говорил вяло, растянуто, но слыл бутафором высочайшего класса. Он не выпускал из рук инструмента; работал слесарем и столяром, электриком и художником — он мог сделать все. Простую бумагу Тимофеич превращал в яркие, сочные фрукты и тончайший китайский фарфор; проволоку и фольгу — в золотые подсвечники и люстры, стекляшки — в драгоценные бриллианты. Зрители видели его творения: на сцене стреляли пушки, открывались ворота замков, у лошади-муляжа зажигались глаза, в лучах света проплывал парусник. Зрители видели все это, но мастера не видели никогда, для них он оставался невидимкой в театре, а мне посчастливилось с ним работать целый год.

С великой простотой Тимофеич научил меня разводить клейстер, обмазывать мешковину, наклеивать ее на «станки» (сосновые бруски и фанеру) — создавать «луга» и «деревья». Затем объяснил, как делать из картона чайные сервизы, а из бумаги деньги.

— Все должно быть как настоящее, — тихо говорил мастер. — Иначе актер не войдет в роль. Да и надо держать марку фирмы. Не зря ж к нам за помощью обращаются из всех театров.

У Тимофеича было сильно развито чувство профессионального достоинства, но не настолько сильно, чтобы перейти в самодовольство; в общении с людьми он держался спокойно и просто. Наблюдая за ним, я размышлял: «Каким же надо быть уверенным в себе, чтобы так просто держаться! И значит, всякие полыхания, самоутверждения — от неуверенности в себе».

Поскольку в те годы я «находился в затруднительном материальном положении», как выражался Тимофеич, я особенно старательно расписывал деньги. А их требовалось много — в одном из спектаклей герой рвал их и швырял в лицо алчной героине со словами:

— Ты недостойна меня, потому что слишком любишь деньги! А деньги — это всего лишь бумажки!

Насчет наших фальшивых купюр он был абсолютно прав, а настоящие, к сожалению, далеко не бумажки. Например, разными денежными премиями поощряют искусство, хотя каждому художнику ясно: его картины стоят больше всяких денег, ведь в них — частица его сердца. Так вот, этих проклятых денег я наделал целый миллион, не меньше. Как-то во сне даже пустил эти деньги в дело и мне грозила тюрьма; к счастью, я вовремя проснулся.

Через год главный художник театра Сергей Николаевич Ахвледиани, заметив, что я знаю толк в краске, пригласил меня работать декоратором. В мои обязанности входило расписывать клеевыми красками бутафорские стены, ко-

лонны, балконы. Высыхая, клеевые краски светлеют, и составить колер для эскизного пробного мазка — довольно сложная штука; ко всему, не доложишь в краску клея — актер может испачкаться, а переложишь — краска потрескается и осыплется. Здесь надо чутье. Я быстро усвоил всю эту премудрость и стал неплохим исполнителем.

Еще мне вменялось освежать задники — занавесы из тюля, на фоне которых происходит сценическое действие. Декоративная мастерская была огромной — с теннисный корт, и на ее полу помещался весь задник. С огромной кистью-дилижансом и ведром краски я ходил по лесам, морям и облакам, подмазывал деревья, волны, средневековые замки, закаты и рассветы и чувствовал себя властелином всей земли. Это была завораживающая ситуация.

— Как дела в театре? — спрашивала моя приятельница художник Лена Гордеева, которая делала камеи из раковин.

— С кистью хожу по облакам, — отвечал я с вызывающим оттенком в голосе. — Здесь чудеса на каждом шагу.

— Я сгораю от зависти, — вздыхала Гордеева с дурманящим взглядом. — Твоя работа как золотой дождь. В ней очарование простоты.

Гордеева отличалась недооценкой собственных изданий (даже небрежным отношением к ним) и благоговейным отношением к дождям (в дождь босиком выходила на прогулку и, как девчонка, не пропускала ни одной лужи).

— Легкий морозящий дождь лучше всего, — говорила Гордеева. — Под него хорошо работается... Сильный затяжной дождь наводит на раздумья. В нудный сонливый хорошо пить вино и предаваться любви, упасть в любовь. Но не в чересчур сильную — она опасна...

Насчет вина и любви я был с ней полностью согласен, хотя никакой любви у меня не было, в этом вопросе я был полный профан. К сожалению. Но, к счастью, вскоре наверстал упущенное, и сполна.

Незнакомым людям Гордеева дарила визитку: «У меня нет квартиры, нет телефона, нет работы, нет любви, но я счастлива».

Однажды в дождь Гордеева вошла в мастерскую, мокрая, босая, распахнула окно, впуская в помещение плещущий шум и запах сырости; устало опустилась на стул, откинулась и, стряхивая с лица капли, жалобно заскулила:

— Ничего у меня, неумехи, не получается. Для художника у меня мелковатый, никчемный дух. Я как треснутая чашка. Не знаю, что делать: или красиво уйти из искусства, или тихо остаться?

Я попытался ее взбодрить и только разошелся в красноречии, как она исчезла, точно ее смыли дождевые потоки.

Что в театрах замечательно, так это приподнятая атмосфера перед премьерой. Ею заражаются все: от осветителей до ведущих артистов, и в этом всеобщем ожидании настоящая семейность.

Все работники в театрах — мастера-виртуозы. Столяры — бывшие краснодеревщики; работницы пошивочного цеха — рукодельницы с великолепным вкусом. Надо видеть, с какой выдумкой столяры изготавливают мебель ампирного стиля, как добросовестно швеи конструируют костюмы, а осветители — мастера по свету — могут так осветить теннисный мяч, что его примешь за яблоко. И как придирчиво эти мастера осматривают свои произведения во время прогона «для пап и мам» — пробного спектакля для своих родственников, самых придирчивых зрителей. Но, главное, эти мастера работают за мизерные оклады. Вот у кого надо учиться любви к своему ремеслу!

После премьеры в фойе накрывали столы с бутербродами и пирожными. В сервировке столов самое жгучее участие принимали пожарные — главные люди театра. До этого вечно ходили накупившись и сурово ворчали:

— Тюль плохо промазан пропиткой, может вспыхнуть! В перьях танцевать нельзя! Белый софит убрать, слишком палит! Фурки не выдвигать: искры!

Но в день премьеры «огнеборцы» оживали, в предвкушении застолья становились улыбочивыми, ходили вокруг столов, переставляли стулья и все потирали руки, подмигивали друг другу. Ну а за столы рассаживались кто где хотел, без всякой субординации. Рабочий сцены мог запросто, бок о бок, восседать с народным артистом. Я, например, не раз чуть ли не в обнимку сидел с Астанговым, Ульяновым, Яковлевым, так что вроде примкнул к их славе.

### *Жизнелюбы*

Театры между собой связаны и часто обмениваются спектаклями. Наш театр по средам давал представления в театре Моссовета, а тот в свою очередь у нас. Это называлось «дружить коллективами». Я должен был присутствовать на выездах — вдруг рабочие сцены нечаянно порвут какую-нибудь декорацию и потребуются срочный подмалевок. Как правило, такое не случалось: я же говорю — в театрах работают знатоки своего дела. В театре Моссовета у меня появились новые знакомые, театральные художники, — жизнелюбы, народ всезнающий, а уж спорщики — похлеще живописцев-станковистов и графиков.

— Театр — это потрясающе! — восклицал декоратор Александр Великанов. — Видят небеса, прямо на глазах рождается образ. Это не кино, где десяток дублей, все подрезано, заретушировано. В театре все необратимо: каждый жест, каждая реплика.

— В театре все фальшиво, — возражала художник по костюмам Наташа Кудашова, взбалмошная, с резкими скачками настроения, она могла в одну минуту перестроить любую компанию. — Все фальшиво! Я не верю, что раскра-

шенная фанера — дома, полосы картона — деревья, свисающая марля — листва. И актеры не говорят, а произносят. Мне интересно делать только костюмы. Костюм — это настоящее произведение.

— Особенно костюмы прошлого века, — поддерживала подругу Светлана Инокова. — Как говорила мадам Шанель: «Модно то, что не модно». В костюмах прошлого века столько выдумки! Все эти оборки, рюши, жабо, струящиеся юбки подчеркивают индивидуальность женщины, придают ей таинственность. Не то что теперь — все на виду, никакой тайны.

— Как вы не понимаете, в театре все условно! — кипятился постановщик Леонид Андреев. — В Древнем Риме на сцене вообще ставили доски с надписями: «дом», «лес»... Но, ясное дело, художник в театре не главная фигура.

— Ну ты и завернул! — вскрикивал Великанов, вскрикивал яростно, словно проглотил пламя. — Видят небеса, я придумываю не только оформление спектакля, костюмы, я создаю всю атмосферу...

Великанов называл себя удачливым в работе и неудачником в житейском плане. Действительно, в его мастерской не раз случалось возгорание электропроводки (к счастью, ничего не сгорело), дважды на него нападали грабители, у машины, которую он купил позднее, однажды отказали тормоза... Но несмотря на эти грозные явления, я считал Великанова счастливецом во всем: мало того что он работал по призванию, он жил в большой ухоженной квартире с мебелью из старого темно-вишневого дерева, окантованного медью, имел красавицу жену и умницу дочь, которые его, главу семьи, обнимали и целовали по двадцать раз в день.

По словам Кудашовой, вокруг нее постоянно находились души умерших родственников и друзей, которые не давали ей покоя; этим она объясняла и свою взбалмошность, и костюмы-призраки. Мнительная Кудашова ча-

сто жаловалась на болезни, таскала в сумке кучу таблеток и пузырьков. В моей судьбе Кудашова принимала горячее участие. При встрече тихо ахала:

— Ты чем болен?

— Да вроде ничем, — пожимал я плечами.

— Нет, говори, чем ты болен? Я имею в виду не только адские болезни, но и мысли там всякие...

Я только вздыхал — мыслей было полно, но все, как правило, вполне здоровые, некоторые даже слишком.

— Вот возьми! — Кудашова протягивала пузырек с розовым сиропом. — Настойка по индийскому рецепту. Тебе поможет. И учти, я это даю не кому попало, ты понял?

Чтобы не обижать «знахарку», я с благодарностью принимал пузырек. Со временем у меня скопился целый ящик ее пузырьков, порошков, таблеток. Я ни разу ими не пользовался, но на вопросы Кудашовой «Помогли ли?» непременно отвечал:

— Еще как!

Инокова свою комнату превратила в зверинец, где обитало много всякой живности: от рептилий до роскошного павлина. Художники-анималисты часто заглядывали к Иноковой, делали наброски ее подопечных. Инокова собирала ключи; у нее была потрясающая коллекция ключей: от примитивных для почтового ящика до ампирных, сложной, витиеватой конфигурации. Каждому новому гостю Инокова подносила связку ключей и просила показать, какой больше всего нравится; и по выбранному ключу безошибочно определяла характер и наклонности человека. Другими словами, посредством такого теста гость сам подбирал ключ к своему сердцу.

— Вообще-то я и без ключей во всем разбираюсь, у меня чутье на людей, — призналась мне однажды Инокова. — Тебя, например, я сразу вычислила. Ты пропащий человек и, если не бросишь курить и выпивать, закончишь жизнь под забором.



Говоря о театральных художниках, нельзя не перечислить еще нескольких из тех, кого я знал.

Художник-кукольник Олег Мосаинов работал в театре Образцова и собирал изделия из стекла, старинные часы и шкатулки; покупал их на барахолке и в комиссионках часто поломанными и оживлял благодаря золотым рукам и технической смекалке.

Комнату Мосаинова украшал стеклянный зверинец: видоизмененный мир, отраженный в стекле, а также стеклянные часы-кукушка, часы-кошка, часы-сова и часы с садом: каждый час, когда начинался бой, в саду шевелились стеклянные листья, порхали птицы и даже лил дождь — иллюзию падающей воды создавал крутящийся плексиглас.

— Стекло — самый изящный материал, — говорил Мосаинов. — Ко всему, если прислушаться, эти игрушки издают звуки. Вообще все предметы вокруг нас издают звуки. Мы многое не слышим, но живем в мире музыки; она постоянно в воздухе.

С того дня по вечерам я стал прислушиваться к вещам в своей комнатухе, и действительно каким-то странным образом они звучали — все на морской лад: звуки напоминали плеск волн, свист ветра, скрип оснастки судна. Эти звуки теребили мою морскую душу, вселяли в меня жгучую страсть к странствиям.

Художник Александр Тарасов делал декорации к кукольным спектаклям, а для себя писал картины-фантазии: города, в которых не бывал, людей, с которыми не встречался. Он рисовал жизнь, какой она может быть, если убрать из нее зло. Но давно известно, такая жизнь — всего лишь прекрасная мечта, ведь зло и добро уравнивают друг друга.

— У нас замечательные люди, — заявлял Тарасов. — Мы живем среди пустой бравады и невежества, но сохранили чистые души. За это наш многострадальный народ достоин всех премий мира.

Временами, для приработка, Тарасов оформлял стенды выставок.

— Невероятно интересно окунуться в новую стилию, — говорил он. — Свежий взгляд на привычные вещи рождает новые идеи. Взять цирк. Десятилетиями арену использовали в одном качестве, но пришли новые художники и устроили водную феерию. А когда работаешь только в одной области, начинаешь повторяться, используешь одни и те же приемы — получается некая безразмерная одежда, которая подходит всем. Надо чаще менять работу и вообще образ жизни, тогда в каждом дне будет интерес.

Я перечислил целую галерею художников, сделал их словесные наброски. Под конец скажу: каждый из них носил высокое звание — Мастер, а чудачества и хобби только придавали им дополнительную притягательность.

### ***До свидания! Не печалься!***

К массовым сценам в театре привлекались студенты театрального училища, а иногда и работники театра. В одном детском спектакле по сцене пробегал актер в шкуре тигра, в него стрелял охотник, и «тигр» падал в оркестровую яму, куда рабочие предварительно стелили маты. Тигра изображал кто-нибудь из студентов.

Однажды по какой-то причине студенты не явились, и помощник режиссера, строгая женщина с холодным взглядом, вызвала меня.

— Надевай шкуру, пробежишь по сцене, когда я дам отмашку! И разозлишь — тогда получится!

— Проще простого, — хмыкнул я, давая понять, что мне по плечу и более сложная роль, ведь уже сто раз «освежал» декорации на сцене и никогда не испытывал страха перед огромным залом, правда, пустым.

В нужный момент костюмерши помогли мне влезть в шкуру, я встал в кулисах, дьявольски «разозлился» и, отогнув занавес, заглянул в зал. И вдруг увидел, что привычный зал расширился — стал каким-то необозримым пространством, и весь забит мальчишками, девчонками и взрослыми — я прямо-таки кожей почувствовал дыхание сотен зрителей. Меня охватила нешуточная дрожь, которую я никак не мог унять, хотя и бил себя кулаком по всем местам.

Как только помреж дала отмашку, я вышел на сцену, но от слабости в ногах тут же шлепнулся, а поднявшись, ослеп от прожекторов, потерял ориентацию и побежал не к оркестровой яме, а к помрежу в противоположную кулису. Опытный работник, она сразу смекнула, в чем дело, развернула меня и показала, куда надо бежать. Я ринулся по тому направлению, но, очутившись у ямы, не увидел никаких матов (рабочие решили: раз студентов нет, то и сцена с тигром отменяется).

Несколько секунд я стоял перед ямой и не знал, что делать; слышал, как безостановочно палит охотник, но стоял точно приклеенный и глазел на злополучную яму, чувствуя себя на грани между жизнью и смертью. Наконец все-таки решился, прыгнул и... вывихнул ногу.

После спектакля ко мне подошел один из пожарных театра.

— Чего-то у тебя какой-то трусливый тигр получился, все время поджимал хвост.

Кстати, еще раньше, на съемках фильма «Человек идет за солнцем», где у жены была небольшая роль, режиссер спросил меня:

— Мотоцикл водить умеешь? — и, когда я утвердительно кивнул, объяснил, что надо делать.

А надо было всего-навсего подъехать к героине, подождать, пока она усядется на заднее сиденье, и отъехать.

— К сожалению, твоего лица зритель не увидит, съемка со спины, — сказал режиссер, но меня вполне устраивало

войти в кинематограф и в таком виде, тем более что жена снималась, а я торчал на съемочной площадке и изнывал от безделья.

Чтобы произвести впечатление на режиссера, я уселся на мотоцикл, распрямил спину и рукой описал в воздухе дугу, показывая, какой исполню вираж. И надо же! Перед самой съемкой появляется мотоциклист на иномарке в шлеме и кожаной куртке, с осанкой голливудского ковбоя (и откуда он взялся?!). Понятно, режиссер сразу ухватился за более выигранный вариант, мне же сказал:

— До свидания! Не печалься!

А я и не печалился. Чего мне было печалиться, ведь я не смотрел на актерство как на смысл жизни. Просто было немного обидно, что у меня так бесцеремонно отняли роль. К тому же я уже настроился утереть нос жене, доказать, что не она одна может сниматься, что моя морская душа гораздо шире, чем она думает.

Что и говорить, как актеру мне крупно не повезло, зато невероятно повезло как музыканту — можно сказать, на музыкальном поприще я хлебнул славы. Как-то наш театр давал спектакль во Дворце съездов. За час до спектакля артистам и работникам театра приказали не выходить из артистических уборных, пока солдаты с миноискателями не «прощупают» здание. После этой процедуры я прошелся по сцене, осмотрел декорации — все было в порядке — и вдруг увидел за кулисами зачехленный рояль. Подойдя к инструменту, я откинул чехол — передо мной красовался «Стенвей». Только я начал что-то поигрывать, как из-за кулис выглянул пожарный:

— Молодой человек! Вы того, осторожней на инструменте!

— Почему?

— Да ведь его только недавно привезли из Америки. На нем всего один человек играл-то.

— Кто же?

— Этот, как его? Ван Клиберн!

Вот так. Я был вторым, значит.

В то время одно за другим открывались кафе, в которых играли джаз. Мой друг пианист Валерий Котельников по вечерам играл в «Синей птице»; я был его постоянным слушателем. Однажды только захожу в кафе, как мой дружище подлетает:

— Тебя послал бог! Пощипи бас! Наш басист не пришел, а в зале комиссия из Москонцерта!

— Но я никогда не держал его в руках!

— Да кого это волнует! Главное, чтобы единица была на месте.

Пришлось лезть на сцену. Хотя какую сцену? Возвышение три на три метра. Это после вахтанговских-то просторов! И все кафе — лишь большая комната с десятком посетителей, включая «прослушивающих». Мой друг начал играть, ударник зашуршал щетками, я старался в такт перебирать струны. Ничего, отыграл; даже сорвал аплодисменты — какой-то подвыпивший слушатель похлопал и показал мне большой палец.

Что и говорить, в те годы у меня была насыщенная жизнь и я не очень переживал, что мало занимаюсь живописью. «Еще успеется», — успокаивал себя. Яснее ясного — я поступал не просто легкомысленно, а глупее не придумаешь, и если многие признания облегчают душу, то признание такого рода только утяжеляет ее.

### *Работа «для души»*

Работая в театре Вахтангова, я «освежал» задники и в других театрах, причем выполнял работу на любых условиях. Другие исполнители заламывали огромные суммы, а я брался за «сколько дадут». Слух обо мне, непривередливом, прокатился по всем театрам и докатился

до театра имени Маяковского. Там мне предложили завести декоративной мастерской. Я чуть не задохнулся от свалившейся удачи и бросился осваивать новую высоту.

Два сезона я заведовал мастерской и страшно гордился своей должностью. По сути, это был самый высокий пост, который я когда-либо занимал. За это время в моей личной жизни произошли немалые перемены: я заимел собственную комнату на окраине, приоделся и, конечно, купил полуботинки, о которых мечтал. Эпов все чаще «выводил меня в свет» (Дом актера), где знакомил с актерами (с актрисами не знакомил).

А в театре я работал с художниками Кулешовым, Васильевым, Сумбаташвили; в застолье после премьер сидел (опять-таки чуть ли не в обнимку) с Охлопковым, Свердлиным, Хановым, так что моя слава (как примкнувшего) удвоилась, если не утроилась, — правда, об этой славе знали только соседи по квартире (я доставал им пропуска на спектакли), но мне и этого было достаточно.

Наконец-то я утвердился как работник театра и, главное, стал владельцем собственной комнаты. Моя жизнь стала похожа на мечту. Теперь можно было делать работы «для себя».

Каждый знает, в мире есть добро и зло; я решил хотя бы немного добавить добра и начал старательно упражняться в иллюстрациях, в надежде когда-нибудь оформить детскую книгу, — что, как не она, несет осязаемое добро? Меня давно тянуло в книжную графику для детей, в многоцветный мир, где реальность переплетается с фантазией, а конкретность с условностью (герои сказок жили в цветах, плавали на бумажных кораблях, летали среди облаков; герои рассказов попадали в невероятные переделки). «Вот где неограниченные возможности для выдумки, — рассуждал я. — И нет работы интереснее».

Ко всему в то время только в детской книге допускались условность, стилизация, определенный подтекст (именно

поэтому в детскую литературу ринулись десятки людей, которых не интересовали ни дети, ни природа, ни животные — для них главным было обозначить свое «я». Позднее некоторые из этих лицедеев даже стали известными и получали на Западе премии — не столько за талант, сколько в пику реалистической школе рисования и письма, давали с пояснением: «Это не традиционно, ни на что не похоже»). В богемной среде часто доходило до идиотизма — всякий негатив приобретал известность; все, что не признавалось официально, считалось талантливым, а что признавалось — естественно, чепухой. Не случайно академик живописи Корин говорил:

— Пикассо — шарлатан, а все современное искусство — сплошное надувательство.

Кстати, Пикассо и сам признавал, что занимался шарлатанством, «поскольку это приносило славу и деньги», а себя считал «развлекателем публики». И Сальвадор Дали говорил: «Я знаменит и богат, потому что слишком много дураков».

В общем, я начал работать «для себя». Ясно, «для себя» — это работа, которую художник делает не по «заказу», а «для души». Эта работа может нравиться другим или нет, за нее могут платить деньги или не платить, но такая работа приносит художнику удовлетворение. И только такая. Если же художник выполняет работу «против себя», то, даже получив за эту работу огромные деньги, он не испытывает удовлетворения. Конечно, настоящий художник.

Я от своей домашней работы испытывал небольшое удовлетворение. Таким оно было потому, что у меня мало что получалось — я только начинал серьезно заниматься графикой. Но из театра я прямо-таки летел в свою комнату. Случалось, уставал на работе; случалось, друзья забывали обо мне и подолгу не заходили в театр; случалось, девушки не обращали на меня внимания — но я сильно не

переживал, ведь дома, на рабочем столе меня ждали такие друзья, такие девушки, такая жизнь!

Я любил свой рабочий стол — покаянный, в шрамах и ожогах от сигарет — небольшой деревянный квадрат, но стоило за него сесть, как он безгранично расширялся и перед глазами плескались волны, шумели леса, шуршали пески. Я превращался в животных и растения и проживал несколько жизней одновременно: был счастливым и несчастным, бедняком и богачом, совершал увлекательные путешествия, побывал во многих странах.

В выходные дни вставал на рассвете, когда еле обозначался оконный переплет, и сразу спешил к столу. К тому времени, когда всходило солнце — всегда в окне огромное, с автомобильное колесо, — я уже успевал сделать десяток рисунков.

В какой-то момент я увлекся «белыми натюрмортами»: писал предметы почти в одном цвете, где все строил на тонких отношениях между полутонами; в белую краску добавлял чуть-чуть голубой, зеленоватой, розовой. Чтобы уловить оттенки, вначале делал на картоне подмалевки и подносил его к зеркалу. Обратное отражение сразу выявляло существенные погрешности. В то время я был уверен, что этот метод придумал первым в мире, но позднее узнал, что изобрел велосипед, — им давно пользовались многие художники.

В выходные дни работал довольно долго и уставал, но это была приятная усталость — ведь работа шла в радость.

Кстати, я никогда не понимал творческих людей, которые жаловались на «изнурительную работу» над красками, рукописями; не понимал актеров, которые вздыхали: «Работа измучила, наш каторжный труд, тяжелый хлеб». Мне кажется, любимая работа не может быть тяжелой. Тяжелая работа — та, которую выполняешь против желания. Скажем, ради денег. Например, тяжело вато работать сторожем: сидеть, ничего не делать, смотреть на часы.



И вообще, по-моему, не совсем правильно творчество называть работой. Все-таки творчество — это созидание, которое невозможно без вдохновения, а работа — это дело, для которого достаточно одного мастерства.

Став заведующим, я писал только задники к новым спектаклям; обновляли старые декорации и попеременно дежурили на спектаклях мои помощники: Володя и Зарик. Им было по двадцать лет, мне на шесть больше. У нас сразу сложились дружеские отношения.

Володя к живописи относился с прохладцей — не то что не любил «махать кистью», как он выражался, но и особенно к ней не рвался, и все делал недоброкачественно. Он состоял в обществе «любителей икон». Я видел это общество: важные молодые люди, с печатью загадочности на лицах. Они все время торжественно молчали, только, рассматривая иконы, изрекали что-то о «тактических ходах и строях». Я думал — пытаются раскрутить, раскодировать мысли иконописцев, но на поверку выяснилось: иконы для них всего лишь источник дохода; они шастали по деревням, за бесценок скупали «доски» и перепродавали их иностранцам.

Я не раз предупреждал Володю, что эта деятельность до добра не доведет, но он, глухая душа, только отмахивался.

Зарик готовился поступать в художественное училище и самозабвенно «изучал костяк»: рисовал скелеты и «натюрморты с черепами». (У него была уникальная коллекция черепов: от мышинных и кошачьих до лосиного.) Как ни странно, его работы никаких мрачных мыслей не вызывали. Но однажды Зарик выкинул дурацкий номер: с кистью скелета пошел в магазин и, когда кассирша выдала ему сдачу, сгреб деньги костяшками. Кассирша заорала диким голосом, а Зарика отвели в милицию и крупно штрафовали «за мелкое хулиганство».

Когда не было работы, Зарик говорил мне:

— Я, пожалуй, поеду на этюды. Не возражаешь?

А Володя заявлял:

— А у меня свидание. Я пошел. Не волнуйся, на спектакле отдежурю как штык (у него каждый день были свидания).

Они уходили, а я, чтобы не терять время попусту, пытался заниматься графикой. Но только присядешь, кто-нибудь заглянет, попросит краски или что-нибудь нарисовать или просто начнет трепаться. Несколько раз, когда не было работы, я тоже уходил из мастерской. Перед премьерой мы работали без передышки, даже ночами, и декорации сдавали раньше срока. Володя говорил:

— Наша тяжелая команда вкалывает как папа Карло.

«Но когда нет работы, зачем зря высиживать?» — рассуждал я. Директор театра, «вождь труппы», не разделял мою точку зрения.

— Я все понимаю, голубчик, — предельно ласково сказал он мне. — Я доволен вашей работой, но, понимаете, чтобы не было лишних разговоров, надо присутствовать. Как говорится, «для мебели». Такая особенность. Надо, голубчик, создавать видимость работы, видимость созидательной активности (он давал мне возможность для почетного отступления, но я, дуралей, этого не усек).

Из-за этой «видимости» я в конце концов и ушел из театра, как бы спрыгнул с чужого корабля — именно с корабля, ведь перед этим еще кое-что произошло.

### **«Веселые картинки»**

После театра я окунулся в потрясающий мир художников-юмористов, клан неиссякаемых выдумщиков и едких насмешников. Этот клан можно представить в виде облака с электрическим полем юмора, попадая в которое невольно трясешься от смеха. Назывался клан: журнал «Веселые картинки», а возглавлял его бородач с едкой ух-

мылкой — Виталий Стацинский, который рисовал «штампами», имел неважнецкий характер, но был пробивным организатором.

Говорят, юмористы в жизни — мрачноватые люди. Чепуха! Ответственно заявляю: юмористы, которых я знал, были приветливыми и компанейскими людьми. Стараясь не обижать других художников, скажу: находиться в кругу юмористов — праздник.

Юмористы все разные по характеру, и для одних юмор — естественное состояние духа, показатель крепкого здоровья; такими они родились — со склонностью подмечать всякие нелепости. Разумеется, глядя на эти нелепости, мы догадываемся, как должно быть. Для других юмор — стремление скрасить нашу жизнь, показать, что она состоит не только из проблем и борьбы. Для третьих — своего рода защита от незащищенности. Такие художники слишком близко все принимают к сердцу, и юмор для них — прикрытие своей ранимости.

— По части юмора мы переплюнули многие страны, на все случаи жизни имеем анекдот, — говорил юморист Владимир Каневский, большой знаток анекдотов. — Может, оттого что у нас только на юморе и можно продержаться.

Каждый юморист имел свою манеру рисования. Жуткие курильщики Анатолий Елисеев (весельчак, спортсмен и актер вспомогательного состава) и Михаил Скобелев (фантазер вроде Мюнхгаузена) черкали размашисто, точно фехтовальщики; их рисунки (порывистые линии, «мерцание контрастных пятен») выглядели небрежными; главным богатством они считали тему, то есть мысль, которую несет рисунок.

Интеллигентный, предельно учтивый англичанин Андрей Брей рисовал пластично и мягко, от его зверей было трудно оторвать взгляд.

Степенный ленинградец Юрий Васнецов слыл «мастером сказочных сюжетов». Смешно сказать, в детстве

я воспитывался на его рисунках, а теперь работал с ним бок о бок, и мастер никогда не подчеркивал огромное расстояние между нами, держался естественно и скромно.

Олег Теслер (любитель джаза, меломан) и Рубен Варшамов (яхтсмен, перевязанный «собачьим» шарфом от радикулита) рисовали монументально, в полном смысле этого слова, хотя у первого юмор был черный (на рисунках вечно что-то взрывалось и рушилось), а второй слыл специалистом по динозаврам (у него аборигены соседствовали с гигантскими чудовищами). Оба художника имели четкую позицию, что-то решали раз и навсегда. Например:

— Хорошая выставка, без всяких мерцаний, завихрений.

Или:

— Плохая выставка, что чудят?

Марьяна Рябиндер писала картины-обманы; писала скрупулезно и до такой фотографичности отделявала детали, что некоторые зрители пытались смахнуть нарисованных букашек и капли. Ее излюбленной темой были добрые и злые карлики — гномы и тролли. Вдобавок Рябиндер делала прекрасные украшения и просвещала нас по части камней:

— Жемчуг — камень горя и слез, янтарь — вселяет радость, бирюза — успокоение, душевный комфорт...

Интересно рисовал Виктор Чижиков, юморист, похожий на киноактера, — на него засматривались все женщины. Чижиков рисовал комиксы. Он сделал отличную серию — «Я и Наполеон», где с императором побывал на рыбалке, в бане — и все не выходя из границ приличия. Затем он сделал серию «робких и зловещих» котов и стал известен всей Москве, а вскоре выдал «олимпийского медведя» и прославился на весь мир.

Из всего братства «Картинок» несколько выбивался самоуверенный Виктор Пивоваров. Он был безразличен к миру детей и животных (мог нарисовать цаплю, шага-

ющую «коленями» вперед!); в журнале (и в детских издательствах) он выступал как формалист и являлся одним из тех, кто шел в авангарде разрушителей реализма. Стацзинский, который тоже шествовал в этом авангарде, часто, «чтобы показать властям фигу», привлекал в журнал скандальных личностей. Я ничего не понимал в работах формалистов, а сейчас и вовсе считаю: их работы никогда не впишутся в русскую культуру.

Еще будучи студентом, Пивоваров увлекся чешскими иллюстраторами (в частности, Бруновским) и в дальнейшем работал под них (в сорок лет вообще развелся с женой, женился на чешской искусствоведке и перебрался в Прагу). Он называл себя «опередившим время» и в конце концов договорился до абсурда:

— «Черный квадрат» Малевича вызвал русскую революцию, а «Черный квадрат», написанный мною, вызвал революцию пражскую.

Оказывается, бывают и такие идиотские упражнения, забавы самонадеянных художников. А нам остается только с содроганием ждать, какая еще блажь втемяшится им в голову.

В детской книге формализм Пивоварова выглядел неким калейдоскопом, где рисунки рассыпались на кубики, каждый из которых был насыщен цветом и имел немало привлекательных деталей, но все вместе они никак не сочетались и создавали для ребенка не гармоничный мир, а какой-то изломанный, какой-то красочный хаос. Подобные упражнения делаются для того, чтобы удивить зрителей и других художников — дети во внимание не принимаются.

Среди формалистов, работающих в детской книге, я никогда не слышал разговоров о восприятии детей, и, повторяю, большинство этих художников пришли в детские издательства только потому, что в них разрешалась некоторая условность. Детская книга для них была лишь

ширмой, прикрытием. Ну а для взрослого зрителя они, понятно, создавали такие дебри, к которым было страшно подходить.

Раз в месяц юмористы собирались в «Картинках» на «темные» совещания. На них мог прийти любой человек, и ему за смешную тему выписывали десять рублей. Заходили многие, но крайне редко приносили стоящее; чаще всего — перепев известных тем. Да и мы часто повторялись, вернее, делали импровизации на старую тему. Бывало, принесешь пачку набросков, а друзья начнут обсуждать, и останется один-два. Но это обсуждение происходило замечательно: кто-то смеялся, кто-то отпускал колкие реплики, но всегда в легкой, дружжелюбной форме. Случалось, обсуждаем слабую тему, вдруг кто-то подскажет удачный ход, кто-то добавит удачную находку — и тема превращается в маленький шедевр.

Иногда мы выступали в школах, устраивали для ребят викторины и победителям дарили открытки с изображением героев нашего журнала: Карандаша, Самоделкина, Чиполлино... Нас встречали как инопланетян. Еще бы! Живые художники из любимого журнала!

Некоторые юмористы кроме «Картинок» сотрудничали в «Аллигаторе», как мы называли «Крокодил». Таких юмористов принимали за инопланетян и взрослые. Во всяком случае, с удостоверением «Крокодила» пускали куда угодно — все боялись, что их в журнале пропесочат.

Стацинский в «Картинках» отвечал за рисунки, а главным редактором журнала был красавец мужчина Иван Максимович Семенов, бывший моряк, знаменитый карикатурист, который к своей славе относился иронично-насмешливо.

— Не хочу быть знаменитым! — смеялся он. — Это мешает работе. На улице все пристают, журналисты лезут. Ну их в болото!

Новых художников Иван Максимович встречал по-отечески:

— Ну, сынок, расскажи анекдот. Лучше морской. А еще лучше покажи смешной рисунок на морскую тему... И чего ты такой кислый, как мороженая треска?! Неверие в свои силеньки не способствует успеху в творчестве. Так что соберись с духом и держи нос по курсу.

Я притащил в «Картинки» кипу рисунков про Нептуна, русалок, осьминогов (не зря работал в Институте океанографии) — просмотрев их, Иван Максимович пожал мне руку:

— Принимаем в наш клан.

### *Я снова тону в празднике*

Семь лет я работал в «Картинках» — тонул в празднике, но с годами мой юмор стал терять свой накал. Все чаще я ловил себя на том, что в трамваях и автобусах вслушиваюсь в разговоры людей, запоминаю удачные реплики, мучительно пытаюсь выжать из них смешные темы. Это были последние потуги. Вскоре я окончательно утонул в «юмористическом море», то есть мой юмор полностью иссяк. Но удивительное дело — «на дне моря» меня ждал новый праздник: царство журнала «Мурзилка». Возглавлял это царство Нептун без бороды и трезубца — Анатолий Митяев.

Ни для кого не секрет — то было золотое время, расцвет «Мурзилки». Митяев сам не рисовал, но имел художническую натуру. Он прекрасно разбирался в живописи и обладал чутьем на потенциальные, неразбуженные таланты, не случайно в «Мурзилке» начинали многие впоследствии известные мастера. Митяев был обаятельным человеком, от него веяло теплом. Он прошел войну, но сохранил детское восприятие — восторгался простыми вещами и делал постоянные открытия в окружающем мире. И, что особен-

но важно, — открывал в людях то, чего они в себе и не подозревали.

Подмечено, что хорошего человека и окружают хорошие люди. Это наглядно демонстрировали чаепития в редакции журнала.

— Я только и жду наших сборищ, — улыбался Лев Токмаков и прикладывал руку к сердцу, давая понять, что у него внутри немыслимая комбинация чувств.

— Ужасно вас, чертей, люблю, — смеялся Николай Устинов, и всем было ясно, что у него внутри исключительная радость.

Токмаков создал совершенно новую изобразительную манеру: малыми средствами, всего двумя-тремя мазками, добивался невероятной выразительности и точности. Всего два-три мазка на белом листе бумаги, но какое организованное пространство, какая легкость во всем, какие живые линии и как на месте безошибочно лежат! Ничего не хочется добавить и ничего нельзя убрать — что значит настоящее мастерство! Настоящее мастерство — когда в работе ничего нет лишнего, случайного. На взгляд оно удивительно просто; кажется — возьми кисть, и у тебя получится так же. Но это только на поверхностный взгляд. Иногда для того, чтобы сделать эти два-три мазка, художнику требуется вся жизнь. А легкость, понятно, достигается кропотливым трудом.

Устинов тщательно, любовно выписывал все детали; в его работах была предельная ясность. Токмаков прививал детям хороший вкус, Устинов давал им знания, учил наблюдательности. Эти художники были совершенно разными: и по изобразительной манере, и по складу характера, и внешне (один высокий бородач с тихим голосом, другой маленький крепыш, звонкий смехач), но их отличало дружелюбное отношение друг к другу.

Особенно крепко дружили Евгений Монин, Вениамин Лосин и Владимир Перцов — три бородача, которые время



от времени сбривали бороды, но Монин при этом оставлял усы. Каждый из этих художников создал самобытный изобразительный мир.

Архитектор по образованию, Монин великолепно рисовал дома, мосты, замки. В его домах обитали философы и неисправимые мечтатели, с мостов падали разные нескладехи и беспечные влюбленные, в замках колготились незадачливые мастера. Монин отталкивался от чешского художника Трынки — его персонажи были такие же кукольные, носатые (жаль только, что они были далеки от русских персонажей). Но основным, ударным оружием художника был цвет. Монин играючи расправлялся с цветовой гаммой: как бы подбрасывал краски в воздух и, рассматривая необычные сочетания, выбирал из них самые интересные.

В «Мурзилке» Монин был главным заводилой. Прихлебывая чай, он без умолку рассказывал нелепые случаи из собственной жизни, вроде того, как вместе с хиппи угодил в милицию: его приняли за «хиппового вождя». Рассказывал Монин блестяще и при этом не боялся выставить себя в неприглядном свете. Здесь он чем-то напоминал своих героев, или, вернее, они напоминали его (не зря говорят — художник рисует себе подобных). Но, как известно, выставлять себя не в лучшем свете, смеяться над самим собой способны только сильные люди, и эта внутренняя сила всегда угадывалась в Монине, каким бы дураком он себя ни представлял.

Подогретые красочными чудачествами Монина, мы тоже припоминали всякие нелицеприятные истории из своей жизни. Я особенно старался, но почему-то мое нарочитое самоуничижение выглядело своего рода самоутверждением — видимо, мне не хватало внутренней силы. Нередко во время наших выступлений поднимался немалый шум, но Митяев всегда контролировал ситуацию и не давал страстям выплескиваться за пределы редак-

ции, чтобы не ставить под угрозу работу всего издательства.

Лосин считался рисовальщиком-виртуозом. С закрытыми глазами он мог нарисовать бегущую лошадь, или плывущего по реке лося, или внушительную группу людей — и каждого со своим характером! Обладая редкой зрительной памятью, Лосин знал все: как связаны хомут и оглобля, как цветет бамбук, как растут кокосовые орехи, как плавают киты и аквариумные рыбы, какие крепления в паровых механизмах, а уж анатомию человека знал лучше врачей.

Кстати, во время чаепитий в «Мурзилке», когда Лосин рассказывал о растениях, я был уверен: он ботаник, когда он описывал птиц, принимал его за орнитолога, когда он зарисовывал машины — не сомневался, что он инженер. За справками к Лосину бегали все художники. Рисунки Лосина отличались динамизмом, цвет лежал широкими, сочными мазками. Лосин работал на табуретке (!) и одной большой кистью; этой кистью писал и море, и делал блик в глазу. На его рисунках бурлила жизнь: равнины пересекали поезда, и тени от вагонов скользили по травам и цветам, вверх по течению рек тяжело шли моторные лодки, по лугам бегали табуны лошадей, по городским улицам мчались машины, по небу носились облака...

Перцов имел безупречный вкус; у него даже в квартире все выглядело законченными натюрмортами, а на участке в деревне — не просто виды, а мини-пейзажи. И конечно, каждую иллюстрацию Перцова хотелось вставить в раму и повесить на стену — такими законченными они были. Перцов сильнее всех художников пропитался русской культурой, и лучшие его работы — исторические сюжеты (былины, сказания) — это и понятно, он один из потомков князей Голицыных, его родословная восходит к самим Рюриковичам! И держался Перцов скромнее всех (срабатывали гены).

Перцов иллюстрировал мою первую книжку, где на форзаце изобразил Крымский мост, набережную и прилегающие дома.

— Почему именно это место? — спросил я.

— А здесь мы жили до войны, — он показал на дом, в котором до войны жили и мы. (Наверняка в то время мы виделись во дворе, но, конечно, не могли вспомнить друг друга.)

Перцов известен не только как иллюстратор, но и как мастер шрифтов — всем друзьям оформлял обложки книг (его шрифты непременно войдут в энциклопедию оформительского искусства).

Работая над иллюстрациями, Перцов невероятно гримасничал, принимал позы своих героев; иногда изображал их перед зеркалом, чтобы все представить со стороны. Он вообще был артистичен: красиво двигался и сидел, красиво одевался — с неизменным бантом на шее, красиво играл в шахматы и красиво ухаживал за девушками. Здесь, правда, ему не везло. Почему-то девушкам было мало красивых ухаживаний, им хотелось, чтобы чувства подкреплялись весомыми подарками и вообще чтобы ухажер «имел основательную базу». А у Перцова деньги появлялись от случая к случаю, жил он в скромной мастерской, гонорары тратил на книги.

— Мужчина должен твердо стоять на ногах, — холодно заявляли эти девушки. — А вы бессребреник. Что вы можете дать женщине?

— Написать ее портрет, — улыбался Перцов.

Этот мягкий аргумент некоторое время удерживал девушек около Перцова, но, как только он заканчивал портрет, они забирали его, а с художником прощались навсегда.

Монин, Лосин и Перцов были поглощены работой, но выкраивали и свободное время. И тогда втроем ездили на рыбалку (для этой цели, а также потому что «город за-

бирает душевный покой», за сносную цену купили деревню, вернее, три дома-развалюхи, один из которых вскоре какие-то негодяи разграбили и подпалили); сражались за шахматной доской, с ватагой мальчишек азартно гоняли мяч. При всем том, что они были поглощены работой, они умудрялись буквально через день отмечать праздники (и слыли не только прекрасными художниками, но и большими любителями крепких напитков). Причем частенько праздники выдумывали, чтоб был повод встретиться. Как они умудрялись совмещать работу и праздность — загадка. Этим художников еще отличало заботливое отношение друг к другу: когда однажды Монин отчаянно влюбился и надумал жениться, Перцов долго придиричиво изучал его невесту, а женатый Лосин подробно объяснял ей, как строить семейное счастье.

Всерьез я не люблю превосходных степеней, но этих трех искуснейших мастеров назову великими; они докопались до истины и в работе достигли совершенства. Не случайно на международных выставках они получали награды. Я горжусь дружбой с этими художниками. Как-то случилось великолепное совпадение: по рассеянности Митяев под моим рисунком поставил фамилию Монины, а гонорар выписал Перцову.

— Хороший повод устроить небольшой праздник! — разразился Лосин. — Совсем маленький, камерный.

Конечно, маленький праздник плавно перешел в большой, такой большой, что под конец мы все потерялись. Но тот рисунок я не потерял и храню как память о золотом времени.

Сейчас я подумал вот о чем: не слишком ли светло расписал своих друзей? Ведь у них есть и недостатки, и не мешает их отметить, чтоб эта троица не зазнавалась и самосовершенствовалась. Но, конечно, по большому счету о человеке надо судить по его положительным сторонам, а о художнике — по его лучшим работам.

## *Пусть догоняют!*

Однажды художник Валерий Дмитрюк обратился ко мне:

— Имеется одна рукопись для детей, давай проиллюстрируем вместе. Ты больше тяготеешь к живописи, я к рисунку. Если наши устремления пересекутся, возможен приличный результат.

У нас было много общего: оба из провинции, оба лысели, оба работали в «Картинках» и одновременно, без всякого лицемерия, испытывали чувство недовольства сделанным. Мы имели одинаковые взгляды на искусство, нам обоим нравились кинорежиссер Феллини и девушки с волосами морковного цвета. Короче, у нас были родственные души, и мы проработали вместе десять лет. Здесь надо отметить: обычно в совместной работе друзья в запале частенько крепко ругаются. Мы с Дмитрюком не ссорились никогда.

В детской книге я окончательно нашел себя. Во взрослой книге иллюстрации всего лишь сопровождают текст, в детской несут самостоятельную смысловую нагрузку. Художник в детской книге — такой же автор, как и писатель. У него много белых листов бумаги, огромный простор для творчества и огромная ответственность. Через рисунок ребенок познает мир, рисунок развивает его наклонности. Многие рисунки, которые мы видим в детстве, остаются с нами навсегда как самые яркие зрительные впечатления, а рисованные герои — как самые близкие друзья (взрослые ведь только придумывают сказку, а дети живут в ней).

И еще: есть такое понятие — память цвета. Бывает, взрослый человек увидит какое-нибудь сочетание красок (в интерьере, одежде), и сразу перед ним встает картина из детства, когда он впервые увидел эту гамму. Память цвета позволяет вернуть прошлое, с полузабытыми звуками и запахами.

Работа иллюстратора в журнале проще простого: прочитал текст и делай к нему рисунок. Оформление книги — сложная штука. Прежде всего надо представить ее в голове, представить ее конструкцию — архитектонику, как выражаются художники. Потом сделать макет и разметить, где будет текст, где рисунки. Затем предстоит работа над эскизами иллюстраций, которые должны утвердить редактор и автор. Только после этого можно садиться за оригиналы.

Мы с Дмитриюком в основном иллюстрировали авторов-современников. Обычно писатели нас хвалили, и не скрою — было приятно.

— Отлично! — поднимал большой палец Владимир Коркин. — Спасибо за рисунки. Вы все четко прочувствовали, именно таким я все и представлял.

— Прекрасно, как жужжание пчелы! — радовался Игорь Мазнин. — И у меня здесь есть высокие строчки.

— Здесь и говорить нечего! — восклицал Юрий Коваль. — Рисунки потрясают... почти как мой текст!

Иногда нас начинали хвалить, но заканчивали руганью.

— Интересный разговор! — выдавливал Юрий Кушак. — Но могли бы сделать и лучше. Обложка невыигрышная, непродажная, а шрифт — ваша несильная сторона.

— Книга хорошо скомпонована, старики, — тараторил Сергей Козлов. — Хороший макет, и рисунки... не портят общего впечатления. Хотя лучше б половину убрать. Лучше б, старики, я дал побольше текста. И потом, что вы так тянули? Работать, старики, надо быстро.

Попадались и капризные, привередливые авторы. Както мы делали книжку одной поэтессы из Волго-Вятского издательства. Стихи были неумелые, с претензией на изысканный слог, но мы решили «вытянуть» книжку за счет рисунков, выжать из текста максимум. Три месяца корпели, но, когда привезли работу в Нижний Новгород и показали поэтессе, она сморщилась.

— Мне нравятся ваши рисунки, — сказала; сказала певуче, растянуто. — Но, вообще-то говоря, образы зверюшек мне представляются иными. Подождите, сейчас придет муж, он лучше меня разбирается в живописи. Может, он что-нибудь подскажет.

Пришел ее муж и гаркнул:

— Я не против ваших рисунков, но, скажите честно, вы схалтурили? Подумали: «А-а, провинция! Для них и так сойдет». Сейчас явится сын, он учится в художественной школе, он вам даст советы.

Пришел их сын, долговязый парень, и с жутким невежеством стал нас, ровесников его отца, учить, что к чему. Разнес рисунки в пух и прах: и звери-то у нас «слишком развеселые», и деревья «слишком корявые», и травы «лихие», и «небо — не небо, и вода — не вода».

— Налицо отсутствие чего-то главного, — шумел он. — Все разрознено. Отсутствие всякой предметности.

— Отсутствие присутствия, — хмыкнул Дмитриук.

— Вот, вот! — ухватился парень.

Но окончательный, смертельный удар нас поджидал на следующий день в издательстве. Художественный совет принял иллюстрации, но когда мы понесли подписывать листы к директору, он плотно закрыл за нами дверь и прогундосил:

— Не слушайте никого. Они ничего не понимают и живут недисциплинированно. А я хотя и по специальности военный, но имею понятие о рисовании и уважаю художников. Я, знаете ли, и сам люблю помалевать на природе пейзажики разные. Вон моя работка.

На стене висел бездарный пейзаж — этакий компот из одних синих красок. Мы с Дмитриуком переглянулись и, глубоко вздохнув, поняли, какая нас ожидает казнь.

— Как говорится, все хорошо, прекрасная маркиза, — директор склонился над листами. — Но вот этого слона отсюда из угла передвиньте сюда наверх. Так будет дисци-

плинированной... А это за ним кто? Кого вы насандалили? Мартышки, что ли? Их подвинем сюда. Пусть как бы его, слона то есть, догоняют!

Мы вывалились из кабинета и чуть не упали — нас вовремя подхватили на руки члены художественного совета.

— Не слушайте его, — сказали с дикой нежностью. — Он ничего не понимает. Главное — наши подписи, а он отвечает за текст.

Мы радостно вздохнули и сразу поняли, почему директор подбирает таких авторов, как наша поэтесса.

### *Радостный день с нотой горечи*

В Волго-Вятском издательстве мы с Дмитриюком оформили книг пятнадцать, не меньше. Когда привозили работу, Дмитриюк останавливался у родственников, а меня пристраивал к соседу, другу детства, Ивану. Однажды Иван предложил мне отведать наливки собственного изготовления. Мы только расположились на террасе, как у изгороди возникли два парня. Громко, с провинциальной прямо-той один из них сказал:

— Слыхали, Вань, у тебя квартирант москвич. Не мешало б сходить на пятачок, показать гостю, как живем в Нижнем.

— У нас серьезный разговор, — тоже достаточно громко остановил Иван пришельцев, которые уже открывали калитку.

— Эти нам неподходящая компания, — пояснил он, когда парни удалились. — У них одна задача — налить глаза, а я люблю беседы в интеллигентном варианте, — всем своим видом Иван давал понять, что он и парни — некие неперемешивающиеся слои общества, что у него с ними несовместимая культура.

Выпив наливки, Иван откинулся на стуле.



— Как мы живем, и слепому видно. Я покажу тебе то, чего ты в своей столице никогда не увидишь. Вы там перекормлены всякими зрелищами, но такого ты не видел. Пойдем!

Мы спустились к Волге, на улицу Студеную, где старые деревянные дома соседствовали с пустырем, заросшим коноплей. Около одного дома Иван остановился, стукнул кулаком в массивную, с жестяными заплатами дверь и зычно крикнул:

— Мария Алексеевна!

Никто не отозвался. Иван снова стукнул и гаркнул:

— Мария Алексеевна!

За дверью стояла полная тишина, и я сказал:

— Никого нет. Зайдем попозже.

— Погоди! — Иван дробно заколотил в дверь.

Где-то внутри дома послышались шорохи, скрипы, и вдруг раздался тонкий старческий голос:

— Кто там?

— Это я, Иван! — Иван подмигнул мне, предупреждая покашлял и, довольный, что-то замурлыкал под нос.

Но в доме скрипы и шорохи смолкли, и опять надолго воцарилась тишина. Иван нахмурился:

— Мария Алексеевна! Это ж я, Иван! Не узнаете, что ли?!

— Чего тебе?! — Скрипы и шорохи перешли в шарканье, кряхтенье; обитательница дома явно подошла к двери. — Ну чего тебе?!

— Дело есть. Тут один друг из Москвы хочет взглянуть на ваше искусство, — Иван многозначительно кивнул мне.

— Не могу открыть, — пропищало за дверью.

— Почему?

— Сын не разрешает!

— Мария Алексеевна, ну как можно? Хороший человек из Москвы. Мой друг. Приехал в командировку. Я ему много рассказывал о вашем искусстве...

Иван вновь подмигнул мне, как бы объясняя, что его слова — и не вранье вовсе, а сюрприз.

Наконец загремели засовы, и на пороге появилась маленькая, сморщенная, белая, словно вылепленная из воска, старушка в сарафане, с чепчиком, который, когда я пригляделся, оказался ватными плечиками на бечевках.

— Ладно уж, входите, — вздохнула старушка.

Пройдя за ней и Иваном в сени, я увидел на внутренней стороне двери надпись мелом: «Мама, никому не открывай!».

В комнате старушка прошла к тумбе с какими-то синезелеными стекляшками, села в кресло и затаилась. Иван обвел рукой комнату.

— Вот хотел показать, что вы сотворили, — он наклонился к хозяйке, свидетельствуя свое уважение.

Я осмотрелся. На этажерке, тумбе и подоконнике стояло множество акварелей в овалах. Это были тщательно отделанные миниатюры; портреты дам из прошлого века.

— Вполне профессиональные работы, — сказал я. — Вы, Мария Алексеевна, где-нибудь учились?

— Когда-то закончила местное художественное училище, — отозвалась старушка. — Работала в театре. Получала мало... Когда родился сын, подрабатывала где придется...

— Муж Марии Алексеевны умер рано, — вставил Иван.

— Да, одна растила сына, — горькая память нахлынула на старушку, она часто заморгала, но пересилила себя. — Потом нанялась в подручные к швеям. Они отдавали мне лоскуты. Шила одеяла лоскутные, подушки-думки. Потом занялась аппликацией... Кое-что осталось, зайти взгляни, — старушка кивнула на соседнюю комнату.

Я откинул занавеску и онемел. На стенах висело штук десять картин — натюрмортов-аппликаций; все работы большие, на подрамниках и сделаны так виртуозно, что не виделось ремесло — ни стежки, ни обметка. Лоскуты были подобраны с таким вкусом, что один цвет плавно

переходил в другой; создавалось впечатление, что цветы на полотнах — живые, а горшки и вазы — настоящие, объемные. Но главное, натюрморты наполняло солнце: на столах и подоконниках играли солнечные блики, от букетов падали тени.

— Смотришь на эти вышивки, и как-то радостно становится на душе, — протянул Иван за моей спиной.

— Радостно, — согласился я, а про себя подумал: «Ну понятно — большие полотна — люди маленького роста часто стремятся ко всему большому, но откуда эта жизнерадостность?! Может, оттого что жизнь была без радостей?!»

— Мария Алексеевна, вы продаете свои работы? — обратился я к старушке. — Ведь такие вещи стоят очень дорого.

— Раньше дарила всем, кого они волновали... Потом продавала, когда деньги были нужны. Когда сына растила... А теперь зачем мне деньги? — старушка привстала с кресла, взяла с этажерки альбом и мягко предложила мне: — Вот посмотри лоскуты.

Я начал листать альбом с шелковыми, атласными и батистовыми лоскутами; на каждом развороте были лоскуты одного цвета, но разных оттенков: от ослепительно ярких до приглушенных, бледных.

— А выставки?! Местные власти устраивали ваши выставки?

— Сама не хочу, — старушка опустила в кресло.

— Лет пять назад устроили выставку, — высунулся Иван, — да три картины стащили.

— Зачем мне такие выставки, посудите сам, — старушка махнула рукой и отвернулась.

— Прекрасные работы у Марии Алексеевны, — сказал я, когда мы с Иваном вышли на улицу.

— Я зря болтать не буду, — хмыкнул Иван. — Но ты уяснил, что никому нет дела до ее искусства?

— Ну а ее сын? Он, я так понял, бережет ее работы?

— Он печется о себе. Никчемный мужик. Картежник. Как проиграется, одну картину продает. Незаметно выносит и загоняет на барахолке за бесценок. А матери говорит, что украли.

### **«Фабрика без головы»**

Однажды по какой-то неясной причине меня пригласили на телевидение, в детскую редакцию.

— Сделайте нам что-нибудь, — сказали.

Мне понравилось это «что-нибудь», но я все же уточнил:

— Что именно?

— Что хотите, мы вам доверяем. Сделайте какой-нибудь фильм в картинках. Что-нибудь этакое с красочными подробностями.

Несколько дней я работал не разгибая спины, придумал фильм «Олимпийские игры у зверей» и кучу «красочных подробностей».

— Замечательно! — сказали в редакции. — Но, понимаете, красочные подробности не очень красочны. Разные бегемоты, жирафы — не «наши» звери. Оставьте только «наших» — медведей, зайцев. И потом, понимаете, у нас есть определенный набор кукол, декораций; надо укладываться в них, чтоб не кланчить деньги на новые...

Я столкнулся с трудностями, но отступить было поздно, уже дал слово, что сделаю «что-нибудь», да и мои мысли уже устремились в кинематографическую область.

Снова засел за работу, ухлопал целый месяц, написал сценарий и сделал тьму рисунков про «школу под водой»: морскую черепаху-учительницу и акулу-разбойницу (что-то, а надводный и подводный миры никогда не покидали меня).

Фильм снимал режиссер Александр Сахаров; снимал через аквариум: за плавающими рыбами двигались «ученики

школы» — игрушечные осьминожки, морской конек... Фильм понравился, Сахаров получил премию, а мне заказали продолжение. На это продолжение я ухлопал еще месяц, но за работу получил меньше, чем получал за один рисунок в «Веселых картинках».

— Мы заплатили вам по высшей ставке, как Пушкину, — сказали в редакции. — Понимаете, за продолжение платят половину от первой серии. Считается, что одни и те же герои...

— Теперь понимаешь, почему на телевидении нет личных авторов? — пробубнил Сахаров. — Огромное предприятие, а денег нет. И туча установок: или слюнявый романтизм, или клюква. О Бабе-яге и черте писать нельзя. Телевидение — это фабрика без головы. Вернее, мусоропровод: пока летит — гремит, пролетело — пусто.

Все-таки и на телевидении я встретил хорошего художника — Бориса Сафронова, который оформлял детские передачи исключительно ради любви к «волшебному миру детей».

— Многие считают, что мы здесь халтурим, — говорил Сафронов. — Это неверно. Халтура не работа, а отношение к работе.

«Для себя» Сафронов ничего не писал — он писал «для других» — то, что просили знакомые, и просто дарил картины.

— Не жалко отдавать? — как-то спросил я.

— Жалко, но отдавать и надо то, что жалко, — усмехнулся Сафронов. — А что не жалко — надо выбрасывать.

Однажды подвал, где Сафронов хранил живопись (а он писал гуашью), затопило, и все работы размыло.

— Кошмар! — растерянно бухнул я Сафронову.

— Ничего, сюжеты помню, — невозмутимо ответил он. — За год-два восстановлю и сделаю получше. С нюансами. Ведь все дело в полутонах, нюансах... Знаешь, народы Севера для обозначения снега используют триста

понятий, индусы называют сотню оттенков зеленого цвета — какое тонкое восприятие мира!

Последней моей работой на телевидении был сценарий (с рисунками) про Новый год — естественно, с «красочными подробностями». Моя работа понравилась, но после «редактуры» от нее мало что осталось. Можно сказать, с моей новогодней елки сняли все игрушки и обстругали ветви, оставив одну палку. Я возмущился, забрал сценарий, а дома отправил его в мусорное ведро.

До этого безрадостного случая произошел еще один, более-менее радостный. Как-то режиссер Сахаров вызвал меня в телецентр и торжественно объявил:

— У меня большие задумки на будущее, о них через час поведем качественный разговор, а пока впихну тебя в жюри — сейчас будет конкурс молодых актеров-кукольников, надо отобрать самых талантливых. Ты вроде работал в театрах. В жюри, кроме меня, есть еще один знаток, а ты будешь для массы. Потом поговорим о будущей работе и шумно отпразднуем твоих подводных головастиков.

По пути в просмотровый зал Сахаров отчеканил:

— Поставь каждому по несколько баллов. За сцену движения, за речь. В сумме не больше десяти.

Начался спектакль. Над ширмой появились тряпичные герои. Как я ни присматривался к их движениям, как ни вслушивался в голоса — все было обычным, без волшебства, но вот деревья раскачивались — хоть куда! Я даже ощущал ветер. После спектакля из-за ширмы вышли актеры — молодые ребята; поднялся Сахаров и начал что-то втолковывать актерам, потом за поддержкой обратился к «знатоку». Тот полностью согласился с Сахаровым и объявил, что всем поставил тройки. Для формальности Сахаров спросил мое мнение. Я некоторое время морщился, делал вид, что занимаюсь немалым умственным трудом, потом объявил, что поставил пятерку тому, кто раскачивал деревья. Неожиданно Сахаров изменился в лице:

— Наш гость верно заметил таланты, а мы с вами, коллеги, их просмотрели. Так что первую премию даем тому, кто имитировал ветер. Кто это сделал?

Руку поднял пожарный, который, как оказалось, за бутылку пива помогал актерам.

### ***Зачтется на небесах!***

Среди моих знакомых поэт Игорь Мазнин занимает особое место — он, доброе сердце, всегда готов помочь тем, кто попал в беду, и всегда говорит то, что думает, говорит открыто и безбоязненно, поэтому нажил себе массу врагов. Японцы считают: у каждого должно быть семь врагов. У Мазнина их гораздо больше. Зато друзья восхищаются его мужеством. Ко всему, Мазнин даже в самые пасмурные дни за облаками видит солнце, другими словами — не сгущает неприятности и в трудном положении не падает духом, да еще сохраняет чувство юмора.

— У тебя есть возможность заняться благородным делом, — сказал однажды Мазнин. — Учить детей рисованию. В Доме литераторов открывается изостудия, меня попросили найти руководителя. Я назвал тебя.

— Ты спятил! — вполне серьезно заявил я. — Чему я могу научить?! Сам всю жизнь учусь!

— Правильно, учись и других учи. Из камней делай кометы! Студия не профессиональная, а любительская. Твоя задача — выявлять способных ребят и направлять их в художественные школы. Это даже мне по плечу, хотя я не умею держать карандаш, а ты столько работал для детей. Так что хватит бузить, берись за дело и действуй решительно! Тебе зачтется на небесах!

Долго я раздумывал над этим предложением, раздумывал с тяжелым сердцем: на меня давила ответственность. В конце концов решил.

Директор Дома литераторов встретил меня с распростертыми объятиями, обрушил на меня поток дружелюбных чувств.

— Под изостудию мы отвели Малый зал, — возвестил он. — Там большие окна, фигурный паркет. Мы организация солидная, так что не стесняйтесь, сколько надо денег на бумагу, краски, мольберты?

Я прикинул в уме, но явно притормозил раньше времени.

— Рублей двести.

— Всего-то? — директор вздернул плечи. — Берите две тысячи!

У меня захватило дух. Я скромно отказался от этой баснословной суммы и вскоре пожалел. Через год директор ушел на пенсию, а на его место пришел менее щедрый человек, вернее — слишком экономный, еще вернее — скупой. С его приходом нам выделяли минимум бумаги и карандашей, краски и кисти надлежало покупать за свой счет, да еще мы постоянно испытывали притеснение — в зале то и дело намечались разные мероприятия.

Надлежало записывать в студию только детей писателей, но я брал всех ребят, которые любили рисовать. Даже тех, кто рисовал неважно, поскольку знал, что многие способные — лентяи и забрасывают рисование при первых же трудностях, а менее способные, но усидчивые добиваются успеха. Конечно, по одному рисунку, даже по нескольким линиям можно сразу определить способности человека, так же как по одной музыкальной фразе понять — есть у него слух или нет. И нельзя вселять в ученика ложные надежды — они могут привести к жестокому разочарованию и тем самым поломать всю жизнь. Лучше сразу говорить все как есть. Но я не спешил выносить приговор, и, чтобы не ошибиться, всем давал возможность порисовать несколько занятий, и, если у кого-то совсем ничего не полу-



чалось, советовал родителям развивать в ребенке другие способности.

Известна истина: все дети способные, но по мере взросления чаще всего эти способности куда-то улечиваются. У одних — от семейных условий, у других — от лени, у третьих — от плохих учителей. Сколько заглохло талантов оттого, что в детстве некому было помочь! Ведь в школах учат «правильному» рисованию, рисуют пирамиды и кубы, то есть прививают детям ремесло, да еще пытаются обуздать своенравных, непокорных (как раз из таких и получают личности). А надо бы развивать у ребят воображение, поощрять инициативу, самостоятельное мышление, заражать своим предметом. Садовод, чтобы получить урожай, ухаживает за яблоней: утепляет, обмазывает известью. Так и преподаватель должен бережно и терпеливо выращивать учеников.

До двенадцати лет детям следует давать только свободные темы: «подводное царство», «праздник», «летний отдых», «зимние каникулы», рисунки к рассказам и сказкам. И на примерах объяснять, что такое композиция, перспектива, освещенность, теплые и холодные тона. Например, перспективу я объяснял предельно просто:

— Видите, на окне цветок, а за окном дерево, и оно меньше цветка. Почему? Потому что цветок близко, а дерево далеко... Муха может быть больше собаки?

— Может! — голосили сообразительные ученики. — Если муха рядом, на стекле, а собака очень далеко.

— Правильно! Каждый из вас может быть выше телеграфного столба. Если вы нарисуете себя в начале улицы, а столб...

— В самом конце! — уже кричали все.

Так же просто я говорил об освещенности, роли света:

— Если мы сидим под зеленым абажуром, наше лицо и одежда будут с зеленоватым оттенком. При закате солнца все будет каким?

— Лиловым! Розовым! Пурпурным! — слышались голоса.

— Да. И даже в зеленой листве будет тепло заходящего солнца. И в тени будет много цвета. Кстати, в тени всегда много цвета, и внутри тень прозрачна. Поэтому черную краску сразу уберите, чтобы не рисовать ею тени. Для нас ничего нет белого и черного. Как известно, в белом цвете все цвета радуги, а в черном масса оттенков.

В заключение я рассказывал о художниках по свету в театрах и показывал репродукции с картин великих колористов.

В другой раз я говорил о том, как цвет создает настроение: мягкие зеленые тона — успокаивают, вселяют умиротворенность; синие, изумрудные — наводят грусть; желтые, оранжевые — радуют, бодрят; ярко-красные — возбуждают...

— Возьмите цветную посуду! — вещал я. — Тарелки с оранжевым орнаментом поднимают аппетит, а синие и зеленые тарелки для тех, кто сидит на диете. Красивые вещи устанавливают приподнятое настроение, оптимизм.

Я рассказывал о знакомой художнице, которая выкрасила стены своей комнаты в серый цвет, а потолок — в красный, и ее гости постоянно испытывали дискомфорт, а то и приходили в возбуждение. Кстати, в еще большее возбуждение гости приходили от самой хозяйки, ведь ее наряд обычно соответствовал характеру беседы: она ходила в «сетях» — в платьях крупной вязки на прозрачное белье. Об этом, понятно, я ученикам не говорил. Говорил о другом:

— А ведь приятно находиться в комнате с обоями теплых, приглушенных тонов. Или с голубыми обоями. Голубой цвет дает ощущение свежести. Даже маленькая комната со светлыми обоями кажется шире, кажется, в ней воздуха больше. Точно так же, как полный человек в яркой

и узкой одежде кажется еще полнее, и, значит, чтоб быть поизящней, ему следует носить какую одежду?

— Не яркую! Не узкую! Широкую, свободную, — вразнобой подсказывали ребята.

— В чем радость рисования? — подводил я аудиторию к главной мысли. — В том, что мы можем сделать весь мир таким, каким хотим, чтобы он был. Зимой можем сделать лето, когда пасмурно, можем все наполнить солнцем, побывать там, где пока не можем побывать, сделать несчастных людей счастливыми — и все на чем?

— На белом листе бумаги! — дружно подхватывал хор, чувствуя причастность к великому.

### *Радость открытия*

Мы занимались по воскресеньям полтора, иногда два часа. Ребята до десяти лет рисовали за столами, постарше — за мольбертами. На первых занятиях, еще не перезнакомившись, ребята садились группами: «столовщики» у стены, «мольбертчики» у окон, но уже через пару недель рассаживались вперемешку, кто с кем хотел, при этом старшие опекали младших. А иногда случалось и наоборот. Например, очень способный третьеклассник Игорь Новиков с трогательной серьезностью помогал рисовать выпускнице техникума Юле Цимайло, у которой был слабый рисунок.

«Столовщикам» я давал полную свободу творчества (например, рисовать «мечту»). Было интересно наблюдать противостояние ребенка один на один с листом бумаги. Вначале — растерянность. Еще бы! Такой простор перед глазами, и все, чем заполнять лист, надо придумать самому!.. Смотрю — задумался, припомнил что-то, что когда-то поразило. И вот уже первая линия, первая краска и... радость открытия; лист бумаги наполняется еще непрочными

постройками и полуживыми существами, но они начинают самостоятельную жизнь, даже как бы подсказывают юному художнику, что собираются делать.

Теперь ребенка не остановить! Я только слегка направляю его бурлящую фантазию. И не учу, а выявляю и развиваю то, что в ребенке заложено. Позднее помогу ему из нагромождения линий и красок выбрать стройные и красивые, четче обозначить слабую, еще еле различимую цель. Другими словами, зароню в ребенка стремление внести в жизнь что-то свое, прекрасное, самобытное...

Почти все дети открыты, восприимчивы, чувствительны к несправедливости, к назиданиям или, наоборот, — к сюсюканью. Именно поэтому я говорил с ними как с равными, словно у нас одинаковый запас знаний, но они кое-что забыли и я напоминал.

— Ты ведь знаешь, что цапли спят в воде, спрятав клюв под крыло. Так и рисуй, — говорил я.

Ребенок мог этого и не знать, я нарочно завышал его знания, но после занятий он уже стремился расширить свой кругозор и рисовал с двойным старанием.

И еще одно обстоятельство: конечно, можно ученику давать задание — рисовать «от и до», но лучше его заинтересовать темой, подвести к ней. При таком методе отдача намного полноценней. «Заинтересовывая темой», я не только водил карандашом, но и корчил гримасы, таращил глаза — старался зажечь ученика.

«Мольбертщикам» я давал вольные темы по композиции и через занятие ставил натюрморты, причем не эстетские, а самые обычные, чтобы умели различать красоту и красоту.

— Вот на полу ведро с тряпкой и разлитая вода, — я показывал на инвентарь уборщицы. — Смотрите, какие отражения, какие складки на тряпке, вмятины на ведре! Живописная тряпка, живописное ведро! Красота вещей в их простоте, полезности, удобстве.

Каждый человек — особый мир; объединить несколько миров — задача не из легких, особенно если учесть, что в студии занимались ребята от семи до семнадцати лет. Как мне это удавалось — не знаю, но скажу без ложной скромности: мы жили одной семьей, даже дни рождения каждого отмечали в кафетерии, и в подарок именинник получал десятки рисунков.

Родители говорили, что дети тянутся ко мне, с нетерпением ждут воскресений, дома пересказывают истории, которыми я расцвечивал занятия, что верят мне, поскольку видят мои работы в журналах, говорили еще какие-то приятные слова. Во всем этом была доля правды. Ребята действительно любили студию. Но что ее было не любить, если после занятий они еще валялись дурака в кафетерии, где буфет ломился от лимонада и пирожных, а ребята постарше всегда могли подняться в Большой зал и посмотреть заграничный фильм. Так что я и это учитывал и особенно не обольщался на свой счет.

После наших занятий в Малом зале проводились различные мероприятия, чаще увеселительного характера, но иногда и грустного, когда состоялись похороны. Хоронил писателей старший рабочий Пал Палыч, известный тем, что знал абсолютно всех писателей, а также где что можно достать; и тем, что постоянно потягивал «винишко», своеобразно объясняя свое пристрастие:

— Выпивки с друзьями — это исповедашня. Нам, творческим людям, без выпивки никак нельзя.

Незнакомым людям Пал Палыч представлялся «дизайнером сцены» и тише добавлял:

— По совместительству заведующий ритуальным бюро.

— Ты это, скоро закруглишь занятия? — спрашивал меня Пал Палыч. — И это, чтобы ускорить дело, выдели мне двоих-троих ребят постарше. Помогут натянуть тюль да собрать постамент под гроб. За мной не встанет. Ли-

монадом их напою, сколько влезет. Да, собственно, что я! Помоги-ка сам, для разминки.

Вот так и заканчивали мы занятия вокруг стола с цветами и яствами, если намечалось веселье, или вокруг постаментов в траурном обрамлении, если предстояли похороны.

### *Так кто гений?*

Крепко сбитого пятиклассника Диму Климонтовича все, и я в том числе, звали по имени-отчеству — Дмитрий Иванович. Словно Тартарен, Дмитрий Иванович ходил увешанный с головы до ног оружием: ружьями и саблями всех образцов. Он врвался в студию, палил из пробочного пугача и объявлял о своем очередном подвиге (начитавшись детективов, он всюду видел преступников и находился в постоянной боевой готовности).

Выявляя могучие силы, Дмитрий Иванович рисовал только сражения со множеством действующих лиц и разнообразной боевой техникой. Рисовал быстро и при этом выкрикивал команды, подражал грохоту орудий, чем вызывал усмешки «мольбертчиков» и восхищенные стоны у «столовщиков». Случалось, в запале Дмитрий Иванович выхватывал пугач и стрелял в воздух. «Мольбертчики» вздрагивали, грозились разоружить Дмитрия Ивановича, а у «столовщиков» тихое восхищение переходило в бурный восторг.

Сорванец Дмитрий Иванович рисовал с таким напряжением, что у него часто поднималась температура. Я был не против батальных сцен Дмитрия Ивановича, но вскользь говорил о гуманизме и о том, что на свете много и другого, достойного внимания художника. И все старался внушить воинственному ученику, что вначале на листе все надо набрасывать, идти от общего к частному, чтобы рисунок не

рассыпался, чтобы его держали крупные детали. Дмитрий Иванович кивал, но продолжал мельтешить.

Он был наделен редкостным видением мира: рисункам соседей давал меткие и неожиданные определения. Так, акварели соседок, писавших цветы и бабочек, называл «ведром духов».

Раз в месяц Дмитрий Иванович не рисовал, а «подвергал себя испытаниям»; «назло себе» сидел перед мольбертом и «закалял волю». Отсидит полтора часа и, попрощавшись, уходит, с гордостью за выполненный долг перед самим собой.

Доказано, что девочки лучше мальчишек чувствуют цвет, но десятилетняя Саша Букова, по прозвищу Мимоза (она носила только желто-зеленую одежду), и среди учениц являла исключение. У нее было природное чувство цвета; она интуитивно угадывала благородные сочетания красок и, что встречается крайне редко, — рисовала размашисто и смело, прямо-таки в мужской манере. Я думал: ее родители художники. Оказалось — нет, обычные служащие. Вот и получалось: ее дар от Бога. Сашу-Мимозу отличало искреннее восхищение работами других студийцев. Когда мы обсуждали рисунки, кое-кто позволял себе вольности:

— Это не солнце, а блин, — мог сказать Дмитрий Иванович.

Саша находила только прекрасные слова:

— Замечательное, жаркое солнце! И такие мягкие и теплые облака! Вот мне бы написать так! — и это говорила она, лучший цветовик студии! Похоже, она еще не осознала свое творчество, так же, как и многие малыши, которые восторженно прищелкивали языками около работ старшеклассников и бормотали:

— Все как настоящее.

Они не догадывались, что их «не настоящее» подкупает чистотой и наивностью, что непосредственность и раско-

ванность не менее ценны, чем сдержанность и вдумчивость.

Тринадцатилетний Андрей Маленкович рисовал так, как рисует в его возрасте один из сотни. Он сразу мне дал понять, что умеет обращаться с пространством: заполнил лист бумаги по спирали, от центральной точки раскрутил сюжет до краев. Все получилось целостно и емко; и как он это представил в своей маленькой голове? К сожалению, когда я его похвалил, он перестал рисовать и стал делать замечания соседям. А когда я вышел покурить, подошел к первокласснице Ксении Талызиной, которая рисовала принцессу, и бросил:

— Это кто?

— Принцесса, — выдохнула рисовальщица.

— Ишь отъелась! Какая же это принцесса, это же бегемот! — и подрисовал красавице усы.

Довел девчушку до слез; правда, когда я вернулся, уже «усаживал принцессу в карету» — усердно замаливал свою грубость.

— А вы царя видели? — задыхаясь, спросил однажды Андрей, когда я во время занятий рассказывал о своей работе в театрах.

— Вы царя видели? — повторил «мастер спирального рисования» и впился в меня взглядом.

— Нет, не видел, — признался я. — Конечно, я старый, но не до такой степени.

— Андрей, ты что? Совсем глупый? У тебя по истории кол? — вступился кто-то из учениц-старшекласниц. — Цари-то когда были? Как ты можешь такое спрашивать? А еще мой будущий жених!

Андрей покраснел, но в следующий раз удивил меня еще больше:

— А скажите, кто среди нас гений?

— Какой гений?! — возмутился я. — Мы все просто способные. Еще неизвестно, станем ли мы Художниками, по-



лучим ли высокое звание — Мастер. Художник — тот, кто сделал открытие и создал свой мир, свою изобразительную манеру. Настоящих Художников не так уж и много. Большинство только рисовальщики и живописцы. Мы еще пока только учимся на рисовальщиков и живописцев, на Мастеров. Путь нам предстоит долгий.

Некоторые родители поступают непедагогично: подогревая тщеславие своих детей, вставляют их «шедевры» в рамы, вешают на стены. Напрасно они это делают. Чрезмерное восхваление мешает серьезным занятиям. К тому же сегодня ребенок сделал «шедевр», а завтра может выдать такую посредственность!

Синеглазая неугомонная Эвелина Храмченко была одаренная девушка: делала стилизованные игрушки из проволоки и ниток, писала стихи, готовилась поступать в прикладное училище, учиться на гримера. Она была умницей, но не умничала: говорила искренне и просто, и это лишний раз доказывало, что она умница. Чтобы Эвелине получше подготовиться к экзаменам, я ставил ей гипс, но холодные бесцветные фигуры не очень-то вдохновляли ее, непоседу. Ей быстро надоедали всякие построения и штриховка светотеней.

— Рисуй не столько сам предмет, сколько вокруг него, — я черкал карандашом Эвелины, а она вздыхала:

— Я, может, и не стану учиться на гримера. Может, буду поступать на журналистику. Пока не знаю своей голубой мечты.

Здесь будет уместно заметить, что многим эмоциональным ученикам не хватает усидчивости. Сегодня они хотят быть художниками, завтра — танцовщиками, через неделю — летчиками, а чаще — и тем, и другим одновременно. В такие моменты многое зависит от преподавателя — сумеет ли он увлечь своим предметом, скрасить чисто технические моменты, неизбежные в обучении, уловить настрой подопечных, когда у одного притупляет-

ся восприятие, другой пасует перед трудностями. Всю эту науку я познавал постепенно, то есть в студии тоже проходил немалый курс обучения, и еще неизвестно, кто больше дал друг другу: я ученикам или они мне.

Рядом с Эвелиной ставил мольберт Денис Лучин, выскокий, задумчивый паренек-десятиклассник. У него были тонкие черты лица, тонкие пальцы, изысканные манеры — принц из сказки, а не выпускник обычной школы. И писал Денис изящно: четкими, звонкими, прямо-таки хрустальными мазками. Долгое время он только поглядывал на Эвелину и смущенно выводил зигзаги на стойке мольберта, а она делала вид, что никак не может разобрать, в чем дело; даже когда Денис писал ей записки, она одаряла его притворным взглядом, как бы вопрошая: «И почему ты выбрал именно меня? Здесь столько красивых девушек!».

На глазах всей студии вырисовывалась любовь: вначале они только обменивались записками, потом то и дело уходили в кафетерий и наконец однажды покинули студию, взявшись за руки. Спустя несколько лет заглянули ко мне.

— Поздравьте нас! — сказали. — Мы стали мужем и женой!

### ***Стол «дарований»***

За отдельным широким столом у нас сидели «дарования». Так ученики-старожилы называли новеньких, которые приходили в студию и сразу выкладывали о себе далеко не скудные сведения:

— Рисую день и ночь, родители прямо от стола не оторвут. В школе по рисованию одни пятерки.

Некоторые «дарования» в первый день сидели тихо, только хлопали глазами, но на второй вели себя как дикари: кричали, пачкали стулья, кидали в соседей кисти. «Стол дарований» был своего рода фильтром в нашей сту-

дии, неким вступительным экзаменом для чрезмерно самоуверенных художников.

За «столом дарований» сидела семилетняя Баранова Настя, которая на мой первый вопрос: «Наверно, ты хочешь быть принцессой?» — спокойно ответила:

— А я и есть принцесса!

В будущем она собиралась стать королевой и первое время воспринимала меня как великовозрастного придворного; на каждую мою тему капризно надувала губы:

— Это не хочу рисовать!.. Буду вот это... фломастерами.

Рядом с Настей усаживалась ее бабушка, хотя обычно я отправлял родителей, бабушек и дедушек в кафетерий или к телевизору, чтобы не смущали других учеников, но новеньким делал исключение, давал возможность освоиться в новой обстановке.

Как правило, ребята из продленок более общительны; они вписывались в коллектив моментально. С маменькиными сынками и дочками дело обстояло посложнее, к ним приходилось подбирать ключи. Здесь я выработал определенную систему: избалованных проказников усаживал рядом с серьезным учеником, чтобы был пример для подражания. Робких и застенчивых прикреплял к какому-нибудь Тартарену-Диме, который в любого мог вселить жизнеутверждающий заряд. Ну и понятно, с одаренных ребят требовал большей отдачи, учеников со средними способностями подхвалял, чтобы придать им дополнительные силы.

Так вот, рядом с Настей усаживалась ее бабушка и за каждый мазок внучки совала ей в рот конфету. Несколько раз она пыталась подкармливать заласканную внучку домашними пирожками, такими роскошными, что у других учеников бежали слюни. Заметив эти попытки, я их пресек на корню. Кстати, та бабушка и рисунки рассматривала как продукты питания: «Это вкусно, аппетитно», — говорила. — «А это неаппетитно, от этого тошнит».

Настя никому не разрешала пользоваться своими красками, так что, отучив ее от подкармливаний, я отучал ее от жадности, объяснял, что у нас все общее и что «вообще давать приятней, чем брать». Только после этой подготовительной работы мы с Настей занялись непосредственно рисованием.

— Пожалуйста, рисуй что хочешь, — сказал я строптивой барышне. — Только одной краской рисует маляр. Окунает кисть в ведро и мажет, например, забор. А у нас с тобой картина! Посмотри, сколько у тебя замечательных красок, а если мы попробуем их смешать, то получим много и других красок, еще более замечательных.

Я рассказал Насте про основные и дополнительные цвета, показал, как искать «свой» цвет, и после первоначальных капризов у нее появилась заинтересованность, она почувствовала многообразие мира цвета.

— Никаких фломастеров, — решительно говорил я родителям. — Ребенок привыкает к крикливым цветам. Одним желтым рисует и солнце, и лица, и цветы. Потом трудно переучивать, показывать, что цвет делится на сотни оттенков. И лучше рисовать не акварелью, а гуашью. Пока ребята учатся и путаются в цвете, гуашь незаменима. Всегда можно ошибку перекрывать.

Через «стол дарований» прошли братья Сашко Алик и Эдик, которые одно время посещали художественную школу и потому на первом занятии на всех смотрели свысока, громко смеялись, жонглировали карандашами и жевали жвачку.

— Парнишки высокого полета! — хрипло сказал дед Игнат, сторож Дома литераторов, тоже мой ученик.

По словам деда Игната, он «сызмальства имел пристрастие к рисунку, но жизнь так сложилась, что было не до рисования». Теперь, на пенсии, дед Игнат наверстывал упущенное, и, надо сказать, довольно успешно. Во всяком случае, на наших выставках около его работ зрители охали и ахали:

— Какой гениальный ребенок!

Потом наклонялись, читали возраст ученика и, стусевшись, спешили к другой экспозиции.

— Парнишки высокого полета! Это ко многому обязывает, — сказал великовозрастный ученик дед Игнат об Алике и Эдике. — Но чем выше взлетаешь, тем больней можно шлепнуться.

За «столом дарований» кипели исключительные страсти. Старший Алик постоянно обвинял брата в том, что он «слизывает» у него темы, а младший Эдик исподтишка ставил загогулины на рисунках Алика, при этом мог ляпнуть что-нибудь такое:

— Он прикарманил мой карандаш!

После таких обвинений Алик вскрикивал:

— Ты дурак! — и замахивался на брата.

— Почему он называет меня дураком? — взывал Эдик.

— Не слушай его, грубияна! — откликнулась Эвелина. — Садись рядом со мной, слизывай у меня.

Братья Сашко были смыслеными, выдумщиками и благополучно миновали «стол». Уже через два занятия они поняли, что им еще есть чему поучиться. И поняли также, что не учебное заведение красит ученика, а ученики заведение и, простите, преподаватели.

### *Шляпа с огородом*

Манекенщица Ия подкатила к Дому литераторов на «жигулях», небрежно хлопнула дверью и на высоченных шпильках, в полупрозрачном одеянии, увенчанная шляпой с овощами, фруктами и цветами, окутанная облаком духов, прошествовала в студию.

— Мне нужны индивидуальные уроки, — сказала Ия, за локоть выводя меня в коридор.

— Индивидуальные! — повторила Ия. — Вы понимаете? Оплата меня не интересует.

Я объяснил Ии, что индивидуальных уроков не даю, но что она вполне может заниматься в студии. Напоследок я спросил:

— А зачем вы хотите научиться рисовать? Просто для себя или имеете определенную цель?

— Цель у меня вполне определенная, — заявила Ия. — Не знаю, как вам это объяснить. Ну, в общем так... Я решила утереть нос своему поклоннику. Он скульптор, все дни и ночи торчит в мастерской, на меня — ноль внимания. А мне нужна безумная головокружительная любовь. С ревностью и сумасшедшими поступками...

— С похищением, погоней, стрельбой? — я попытался пошутить.

— Я достойна такой любви, — продолжала Ия, не обращая внимания на мою вставку. — Ведь я красивая! — она покрутилась на месте, чтобы я оценил ее красоту в полной мере, и пожалала плечами: — Думаю, людям всегда приятно видеть красивую женщину, ведь так? Но я не только красивая. Этот мой скульптор считает, что я пустышка, ничего не понимаю в искусстве. А я — талантливая.

— Возможно, возможно... — пробормотал я.

— Научите меня рисовать! Я хочу утереть нос моему скульптору. Напишу его портрет, и он поймет, что я совсем не пустышка. За два месяца научите? Я талантливая. Уверена, у нас все быстро пойдет!

Я посадил Ию за «стол особых дарований» — просто на просто выделил ей отдельное рабочее место, и у нас дело действительно пошло довольно быстро. Даже стремительно. Не снимая шляпы с «огородом», как окрестил необычный головной убор великовозрастный ученик дед Игнат, Ия день ото дня демонстрировала фантастические успехи и, конечно, свою фигуру.

— Воображала! А уж надушится — хоть из студии выходи! — с презрением поджимали губы ученицы-старше-

классницы, втайне завидуя красоте Ии, ее успехам и, условно, шляпе.

Всего месяц Ия посещала студию — и вдруг внезапно пропала. Видимо, утерла нос бесчувственному скульптору.

### ***Белоснежка без гномов***

Восьмиклассница Олеся Черемшина носила белый берет, белые гетры, белые туфли и такие ослепительно-белые платья, что, казалось, с них сыпались искры. Олеся была замкнутой; ни с кем не разговаривала и всегда одиноко садилась у входа в студию, как бы оберегая свой таинственный мир от остального мира. Не раз после занятий студийцы звали ее в кафетерий, но она отказывалась, благодарила и торопливо убегала. Такая была вежливо-недоступная, студийцы звали ее «Белоснежкой без гномов».

Каждый раз, когда я давал задание, Олеся приглушенно фыркала и тихо, с иронией говорила мне:

— Сегодня в моей коробке с гуашью совершенно другое.

— В твоей чудо-коробке то, что ты захочешь нарисовать, — чувствуя ответственность момента, я подыгрывал ей. — Ведь не материал властвует над мастером, а мастер над материалом.

— А надо мной властвуют краски, — упрямо твердила ученица. — Они мне подсказывают темы.

— Ну что ж! Я уважаю чужую индивидуальность, — сдавался я. — Давай, твори, что они там тебе подсказывают.

Олеся рисовала интерьеры; если комнату, то ее непременно украшали ковры, если террасу, то сверкали цветные стекла: ромбы, овалы. Она имела явную склонность к орнаменту и рисовала аккуратно, без клякс и подтеков, в отличие от большинства начинающих живописцев. Ее работы были такие же чистые, как и она сама в отутюженном, накрахмаленном одеянии. Долгое время я не мог понять,

куда Олеся торопится после студии. И вдруг узнаю: она еще учится в прикладном училище зодчества и ваения.

— Что же ты скрывала? И зачем тебе вообще наша любительская студия? — недоуменно спросил я.

— У вас интересно, — просто ответила Олеся.

Мы с Олесей расписывали окна кафе и магазинов. На бумаге, естественно. И расписывала Олеся, а я только следил, чтобы сочетание красок было благородным; особенно следить не приходилось — у Олеси все получалось как нельзя лучше.

Через два года занятий Олеся неожиданно появилась с десятком дошколят и, покраснев, объявила:

— Это мои ученики. Я тоже организовала студию при ЖЭКе.

— Ура! У Белоснежки появились гномы! — закричал Дима Климонтович и пальнул из пугача, чем привел свиту Олеси в восторг.

### ***Очарованные родители***

Ох уж эти родители, я с ними мучился больше, чем с самыми упрямыми и взбалмошными учениками. Ладно, некоторые водили детей не для того, чтобы сделать из них художников, а для общего развития. Это неплохо. Неплохо, когда ребенок во всем дилетант: немного рисует и лепит, немного занимается музыкой, сочиняет стихи — в конце концов что-то перетянет, ребенок остановится на том, что ему ближе по наклонностям. Но ведь некоторые родители думали не о ребенке, а о себе. Изостудия была для них ширмой, чтобы покутить в ресторане Дома литераторов. Случалось, с одним ребенком, как бы в студию, приходила дюжина его опекунов.

Помню одного мальчишку, который вообще не хотел рисовать, но отец насильно запикивал парня ко мне, и бо-



дро направлялся в ресторан, и гулял там до закрытия, а его отпрыск после занятий слонялся между телевизором и буфетом.

Некоторые родители впадали в другую крайность: прямо тряслись над своим чадом, и стоило мне отлучиться покурить, как тут же подсаживались к ребенку и помогали рисовать. Так, писатель Юрий Постников вначале водил рукой сына по бумаге, потом вообще выхватывал у него кисть и сам заканчивал рисунок. Я-то сразу видел, где рука ребенка, а где родителя, и отчитывал Постникова, говорил, что в каждом рисунке видна душа художника, а здесь две души, и большая душа явно давит на маленькую душу — это все равно что рядом с хрупким цветком растет мощный репей, и рано или поздно цветок увянет; что, наконец, он, Постников, убивает в ребенке непосредственное восприятие, индивидуальность.

— Возьми бумагу, садись рядом и рисуй до посинения! — возмутился я. — Но не лезь в мою систему обучения. Не порть ученика.

— Ничего страшного, — оправдывался Постников. — Мы с сыном творим в соавторстве, неужели не ясно? Под рисунком сделаем надпись: «рисовал Постников-младший, помогал — старший».

Кстати, у Постниковых и на рисунках мелькало немало подписей в духе Киплинга: «Кота не видно — он за чемоданом», «Пес не уместился, но вот его цепь».

Очень пожилой писатель Богданов привел в студию дошкольницу; записывая ее в журнал, я необдуманно спросил:

— Ваша внучка?

— Нет, дочка! Представьте себе!

Обычно родители в возрасте крайне трогательно относятся к своим поздним детям; Богданов не был исключением, но, в отличие от Постникова, усадив дочь за стол, тут же попрощался с ней со словами:

— Слушайся учителя. Я приду к концу занятий.

Некоторые родители были попросту очарованы своими детьми, от них только и слышалось:

— Чудо, а не ребенок! Вы только посмотрите, как рисует! Какая прелесть! Потрясающе! Непостижимо! Поражает чрезвычайно! — и целовали отпрыска: — Мое золотко! Душа моя!

Эти «очарованные родители» досаждали мне больше всего. Гораздо больше, чем их невероятно одаренные дети. Во-первых, они постоянно сообщали мне массу всяких глупостей: что их «чудо природы» ест на завтрак, какие перенесло болезни, что нарисовало бабушке. Во-вторых, они доставали своим детям такие заграничные краски, от которых у остальных студийцев перехватывало дыхание. В-третьих, эти «очарованные родители» постоянно лезли в процесс обучения и советовали мне обратить особое внимание на их детей. В-четвертых, просили о дополнительных занятиях и намеками про крупные вознаграждения, от чего я, естественно, категорически отказывался и шутил, что и так не знаю, куда девать деньги, хотя получал смехотворный оклад и вел студию только ради любви к детям и ради их привязанности ко мне.

Однажды, чтобы избавиться от натиска «очарованных родителей», я предложил некоторым из них порисовать.

— Никогда не поздно заняться каким-нибудь увлекательным делом, — произнес я очень оригинальную фразу и подкрепил ее примером старушки-американки, которая всю жизнь вышивала, а в девяносто лет взяла кисть и к своему столетию натворила столько картин, что для выставки отвели целый музей.

Некоторых «очарованных родителей» это сообщение заинтересовало, они решили попробовать свои силы в живописи. К ним присоединились «не очарованные», нормальные. И что примечательно — многие из родителей

обнаружили скрытые недюжинные таланты и искренне сожалели, что когда-то встали не на тот путь.

С некоторыми родителями-художниками приходилось воевать. Что ни скажешь, они сразу:

— Мне уже поздно меняться, у меня сложившиеся представления. Смешно, когда хочет измениться зрелый человек. Это все равно что пересадить взрослое дерево или пройти через стену.

Они упорно делали иллюстрации к «Мастеру и Маргарите», к рассказам Чехова и Платонова — сразу начинали со сверхсложного. Я пытался им внушить, что все большое начинается с малого и главное — постепенность; набрасывал им упрощенные натюрморты, несложные интерьеры, но где там! Артачились до изнеможения.

Некоторые родители шли еще дальше: писали картины-представления, как они хотели бы жить, какой жизни достойны, писали надуманные смутные образы. Я пытался их заземлить, делал на листах наброски реальности, говорил, что и в нашей жизни немало замечательного, но их ничего не убеждало.

— Наши мечтания лучше вашей реальности, — заявляли они непоколебимо. — Это естественное состояние наших душ. Мы, конечно, испытываем к вам пламенное почтение, но не давите на нас, не заглушайте наш творческий порыв.

— Хорошо, — сдавался я, — пишите мечтания, но хотя бы слушайте про технику выполнения. Талант, конечно, от Бога, но мастерство зависит от нас самих. Писать мечтания крайне сложно.

— Не принимайте нас за дураков! — срывались такие родители. — Мы прекрасно знаем, что этому надо учиться, что это адский труд, но, поймите, мы уже сложившиеся люди, — и дальше морочили мне голову про дерево, которое нельзя пересаживать, или стену, через которую нельзя пройти.

Среди родителей-художников была одна «разочарованная» женщина с беспредельной печалью на лице. Она проявляла особое, прямо-таки святое отношение к живописи, называя ее «трепет души». Десятилетний сын этой женщины Митя, который обычно рисовал вдалеке от матери, однажды во всеуслышанье заявил:

— Я люблю дядю Колю. Когда он к нам приходит, всегда приносит мне подарки. А отца не люблю. Он нас бросил.

Митина мать покраснела, вывела сына в коридор, и краем глаза я увидел, как моя взрослая ученица дала подзатыльник моему младшему ученику. Позднее она, смущаясь, быстрым шепотом объяснила мне причину своего разочарования:

— Наши отношения с мужем задрезбуждали сразу, как только мы поженились. У нас разные биополя. До Мити мы только царапались, а потом дошло до драк. Я была на грани помешательства. И Митя все это переживал. Так что вы, пожалуйста, не обращайтесь внимания на его глупости. Он такой нервный мальчик.

Эта женщина писала «туманные пейзажи», в которых был холодный, безжизненный свет.

— Понимаете какая штука, — говорил я очень осторожно, боясь поранить разочарованную натуру. — У вас все красиво, но как-то печально. А ведь в жизни немало и радостного.

— Да-да, — бормотала она. — Но эти картинки напоминают мне юность.

— Вам еще рано ударяться в воспоминания, — менее осторожно говорил я. — Всею свое время: время открывать мир, искать в нем свое место, время любить, творить и уж только потом вспоминать. Вы молодая женщина, у вас все впереди, можно сказать: жить только начинаете. То, что было, — всего лишь прелюдия, а теперь начнется настоящая, осознанная жизнь.

Как ни странно, эти мои банальные сентенции дали разочарованной женщине больше, чем мои художнические советы. Во всяком случае, на ее лице появилась лучезарность, а на «туманных пейзажах» наконец взошло солнце, и они превратились в «пейзажи, освещенные солнцем».

### *День любования, день любезности и другие дни*

В японских школах есть предмет — любование, когда учеников водят по улицам, показывают красивые дома, деревья, красиво одетых людей, устраивают «воспитательный момент». Мы в студии ввели этот предмет и расширили его диапазон: во время поездок на этюды не только любовались красотами, но и зарисовывали их. На этюды ездили два раза за полугодие, но оба занятия были предельно насыщенными. Мы устраивали вылазки на станцию Левобережная; там были зеленые лужайки с березами, замшелый деревянный мост через низину и колоритный старый дебаркадер на канале, то есть множество объектов для любования. «Объекты» писали часа два, позднее этюды раскладывали на полу изостудии и устраивали повторное любование с обсуждением.

Рисованию с натуры я придавал особое значение. Иногда ученики спрашивали:

— Что важнее: реальное или выдуманное?

— Реальный мир изучать необходимо, — убежденно говорил я. — Ведь все выдуманное — это надстройка над реальностью, а, чтобы выдумывать лучше, чем в жизни, все-таки нужно знать жизнь. Нужно интересоваться всем, что нас окружает, развивать свою наблюдательность... Теперь понимаете, какие мы счастливые? Можем рисовать невыдуманное и выдуманное; прошлое, настоящее и будущее — как бы жить в разных временах. Быть и динозаврами, и инопланетянами...

День любезности придумала Таня Судакова, дочь посудомойки из буфета. Я вышел покурить, смотрю — у портёры плачет девушка-подросток.

— Что случилось? — спрашиваю.

Она отвернулась, сжалась, точно пугливый зверек. Вдруг, вытирая руки о передник, подходит ее мать.

— Она хочет рисовать, но стесняется. Говорит, у вас все очень хорошо рисуют. Она боится, что так не сможет.

— Они, когда начинали, тоже рисовали плохо. Пойдем, нарисуешь то, что у тебя дома хорошо получалось. Пойдем, я помогу.

Взяв девочку за руку, я ввел ее в зал и усадил рядом с Машей Ермаченко, способной и общительной девушкой, которая выполняла роль моего заместителя (во время моих перекуров). Пока я объяснял, как начать рисунок и пользоваться краской, Таня хмуро сидела перед мольбертом, потом вдруг встряхнулась и выдала такую яркую живопись, что все сбежались (она написала искрящееся озеро и дальний берег). Посыпались комплименты, и на хмуром лице Тани появилась улыбка. Я изобразил благородное негодование:

— Ну-ну, не перехвалите, а то еще у Татьяны закружится голова, еще зазнается, чего доброго!

— Не зазнаюсь! — отпарировала Таня. — Меня никогда не хвалили... Вот только сегодня.

С того дня она с невероятным рвением взялась за живопись: раньше всех приходила в студию, и уходила последней, и с каждым занятием работала кистью все смелее. Ее яркие краски прямо-таки звучали. Однажды она сказала:

— Давайте устроим день любезности, когда будем вежливы, будем говорить друг другу только приятные слова...

Предложение приняли и в дальнейшем неукоснительно соблюдали. Только я изредка срывался, но стоило мне повысить тон, как из-за мольбертов в меня летели... не кисти, конечно, — устные отравленные стрелы:

— Как вам не стыдно?! Вы забыли, какой сегодня день!

— Вам надо учить правила хорошего тона! — палил из пугача Дима Климонтович, а Галина Кравцова кидала «гранату»:

— Теперь понятно, почему у вас нет жены!

Мне ничего не оставалось, как извиняться и путано объяснять, что мое поколение получило жесткое воспитание и прочее.

Бывали дни, когда мы в конце занятий обогащались знаниями из истории живописи. Я заранее просил кого-нибудь из учеников подготовить рассказ о том или ином великом художнике и рассказ ученика дополнял репродукциями с картин Мастера.

### ***Король без королевы и королева без короля***

На свете сплошь и рядом король без королевы и королева без короля. Другими словами, часто прекрасные люди встречаются не с теми, кого достойны, не тем доверяют, не к тем привязываются.

Семнадцатилетний Сергей Лапин имел от природы хорошую голову, умный, цепкий взгляд, имел основательную подготовку в художественной школе. Высокий, стройный, он одевался под древнерусских молодцев: носил косоворотку, подпоясывался веревкой, его лоб обрамляла лента-повязка — она сдерживала светлые, буйные волосы и выражала протест всему современному. Сергей иллюстрировал былины, его кумирами были Васнецов и Кустодиев.

— Современная абстракция — картины без идеи, — говорил Сергей. — Набор квадратиков и кубиков, непонятная, конфликтная живопись. Эти художники любят не искусство, а себя в искусстве.

Я не возражал Сергею, но говорил, что абстрактную живопись все же можно рассматривать с прикладной, декоративной точки зрения.

Сергей жил с больной матерью и подрабатывал мойщиком окон. Однажды мыл окна в этнографическом музее и после работы решил сделать зарисовки экспонатов. Присел с папкой возле манекенов, изображавших бытовые сцены из жизни древних славян, и в экзотической одежде как нельзя лучше вписался в эти сцены. В какой-то момент мимо проходил служитель музея и, заметив неподвижную фигуру рисовальщика, в недоумении уставился на новый экспонат. Тут Сергей разогнулся, и... служитель плашмя хлопнулся в обморок.

Эта нелепая история больше всех нравилась подружке Сергея, которая одно время поджидала его в буфете. Как-то я предложил ей порисовать, но она проверещала, что у нее «другие планы и мечты». По словам Сергея, она мечтала выйти замуж за иностранца и уехать на Запад. И вот от этой «мечтательницы» Сергей потерял голову и делал одну глупость за другой. Когда «мечтательница» перестала заходить в ЦДЛ, он начал ее преследовать, тратить деньги на подарки, в студию забегал всего на полчаса. Когда же «мечтательница» осуществила свою мечту, Сергей вообще забросил живопись.

Ум в человеке почти всегда побеждает: заставляет сдерживаться, когда душит злость, придает силы в минуты отчаяния и опасности — во многом человека спасает ум и только в любви не спасает.

Оксану Рудых звали «золотой девушкой». У нее были золотые локоны, золотые руки, золотое сердце, и носила она платья золотистого цвета. Ольга Синюкова, которая готовилась учиться на «мастера по прическам», тренировалась на Оксане — терзала ее «гриву» и так и сяк, и «модель» стойко переносила эти мучения. Студийцы часто делали наброски друг с друга, но Оксану больше других заставляли позировать; ее рисовали со всех сторон, а она смеялась:



— Не забудьте про линию живота! Линия живота — самая главная! В ней все дело!

Оксана жила в Подмоскowie и в студию приезжала на электричке и метро.

— Я всегда на колесах, вечно в пути! — звонко смеялась золотоволосая загородница.

Словно золотистая бабочка, она прилетала с подмосковных просторов в городскую студию и сразу наполняла ее желтым светом.

— У нас за городом уйма цветов, шмелей, гусениц, стрекоз, — радостным голосом сообщала Оксана. — Мы кормим ежат, которые бегают у домов. У меня живет ящерка...

Оксана делала расплывчатые акварели — писала «по мокрому» полупрозрачными наслоениями красок. Она считалась специалистом по «малой живности»: великолепно рисовала жуков, лягушек, мышей и помогала их рисовать всем, кто обращался к ней за помощью. И надо же такому случиться: эта замечательная девушка влюбилась в парня из сомнительной компании. Парень, работавший на заводе, ввел Оксану в круг своих дружков, научил покуривать, играть в карты. На моих глазах в Оксане шло перерождение: она уже редко смеялась, на ее красивом лице появилась тихая печаль. Она уже не влетала в студию, а заглядывала, точно бабочка с опаленными крыльями. И в ее творчестве началось затухание: на картинах, когда-то красочных, теперь проступали темные отчаянные цвета.

Не раз я беседовал с Оксаной наедине в кафетерии, расписывал ее будущее на поприще художника, доставал ей оформительскую работу на студии «Диафильм», но все напрасно. Однажды, сильно покраснев, она сказала мне, что «один человек запретил ей посещать студию». После этого вбежала в зал и крикнула всем:

— Прощайте! — и, запустив в воздух желтый бумажный самолетик, исчезла навсегда.

Самолетик еще долго кружил по спирали, расцвечивал воздух желтизной, но это был всего лишь отблеск желтизны «золотой девушки». Я все надеялся, что Оксана вернется, но она не появилась.

Много неудавшейся любви, душевных трагедий прошло передо мной за годы преподавания. Ученики — мои радости и боли.

Скромницы Мила Хмельницкая и Линда Астахова на третий год занятий стали краситься и наряжаться сверх меры.

— Несусветная красота! Уморительно! Полный обмороз! — встречали их студийцы. — Куда это вы нарисовались?

— Рисовать, — отвечали модницы, но через двадцать минут подскакивали ко мне:

— Можно мы уйдем? У нас сегодня день рождения подруги.

Потом и вовсе стали приходиться без папок и красок.

— Можно мы сегодня не будем рисовать? — обращались ко мне.

— Опять празднуете?

— Ага!

— Ну что ж с вами поделаешь! Только скоро выставка, а у вас меньше всех работ.

— Мы дома порисуем! — но не уходят, топчутся на месте.

— Что-нибудь еще хотите сказать?

— Ага! Если родители позвонят, вы скажите, что мы занимались.

— Но это ж вранье! Так не пойдет, красавицы. Я думал, вы рисуете для себя, а вы для родителей!..

— Мы для себя, но, понимаете...

Как не понять, если после занятий я встречал их на улице в обнимку с молодыми людьми?!

Не всем удастся совместить занятия живописью с первыми увлечениями. В некоторых начинается противобор-

ство, и что перетянет — зависит от меры способностей, от силы чувств, от преподавателя и родителей, к которым, правда, не очень-то прислушиваются.

Ну а самый сложный момент у преподавателя — это романтическое послание от ученицы; однажды он открывает журнал, а в нем записка, почти неприкрытое признание. Случается, девушки влюбляются в того или иного преподавателя. Это болезнь, от которой они быстро излечиваются, и нужно просто переждать. Однажды и я получил записку от ученицы, которая оканчивала школу. После занятий, в кафетерии, я долго рассказывал девушке о своих дурацких холостяцких привычках, о том, что не терплю в доме соринки и пылинки, что обругаю любого, кто возьмет вещь и положит не на то место... По выражению лица своей слушательницы вижу: ее ничто не останавливает. И тогда я прибегаю к сокрушительному доводу:

— На ночь я глотаю кучу таблеток и по ночам храплю, брыкаюсь и выкрикиваю страшные слова. На ночь мне надо делать массаж, ставить грелки, примочки, клизмы...

— Петь колыбельную не надо? — съязвила девушка. — Вы хороший преподаватель, но ужасный мужчина. Зануда! Бедная женщина, которая надумает жить с вами. Только дура какая-нибудь...

Я облегченно вздохнул и подумал: «Наверняка найдет-ся такая дуручка, и она будет не такой уж «бедной». Я имел в виду свой богатый жизненный опыт, и богатый внутренний мир, который женщины почему-то не видели, и, конечно, богатую мечту насчет плаваний, к которой женщины вообще относились с усмешкой.

### *Клуб любителей животных*

Раз в месяц мы ходили в зоопарк, делали наброски зверей, благо зоопарк был под боком. В студии, чтобы ожи-

вить процесс обучения, я рассказывал ученикам о животных (когда-то зачитывался Брэмом). Нередко и ребята что-нибудь рассказывали о своих питомцах, то есть животные постоянно незримо присутствовали на наших занятиях (как же без них общаться с детьми?). А однажды и вполне зримо.

В тот день я опаздывал в студию и, возвращаясь с дачи, гнал «запорожец» километров под восемьдесят, что для моего старого драндулета почти мировой рекорд. Я возвращался со своими дворняжками. Справа от меня восседал старикан Челкаш, на заднем сиденье — юный Дым. Притормозив у Дома литераторов, я сказал собакам, что иду на работу и скоро вернусь. Они все поняли и улеглись на сиденьях отдыхать после утомительной дороги. В это время мимо, размахивая альбомом, шел Никита Королев, который вечно опаздывал на занятия, хотя жил в двух шагах. Ребята, жившие за городом, не опаздывали, а этот опаздывал, и еще вышагивал нехотя, как бы раздумывая, рисовать сегодня или поболтаться по улицам...

— Ого! — протянул Никита. — Это ваши собаки?

Я кивнул и заспешил в студию, но Никита с невероятной прытью опередил меня и с порога сообщил о моей «охране». Разумеется, ребята бросились на улицу к машине, а потом уговорили меня привести собак в зал и, после долгих поглаживаний, начали их рисовать.

Мудрый Челкаш в своей жизни видел все, его ничем не удивишь. Он и раньше любил фотографироваться, а тут и вовсе забрался на сцену и замер, оскалившись в улыбке. Но Дым стушевался от такого внимания, забился под стол и ни за какие коврижки не хотел вылезать. Его так и изобразили, скрюченным под столом. Теперь у меня дома штук сорок собачьих портретов, целая галерея.

Во время уборки зала мы устраивали викторину (обычно на тему живописи, но иногда говорили и о животных).

— Почему медведь сосет лапу? — спрашивал я.

— Есть хочет, — вздыхал Копанев Дима.

— Ему снится сладкий сон, — мягко произносила Двигубская Катя, склонная к поэтическим образам.

— Учтите, в природе ничего просто так не происходит, — говорил я. — Это мы можем просто так засунуть палец в рот, а медведь...

— У него на лапе остался мед, — вскрикивала Свиридова Даша.

— Почти угадала, — кивал я. — Прежде чем залечь в спячку, медведь топчется на ягодах, набивает на лапах сладкие лепешки и зимой в берлоге их сосет. Так мне рассказывал один лесник... А вот почему у крокодила никогда не болят зубы?

— Ему их чистят птички-секретари! — возвещал Максим Мастрюков. — Я это читал в журнале.

— Верно! Молодец! — хвалил я. — А почему, по мере взросления, крокодил глотает камни? У взрослого крокодила в желудке находят булыжники с мой кулак. Для чего он это делает?

Кто-нибудь из ребят отвечал правильно:

— Камни перемалывают пищу!

— Верно! — хмыкал я. — Словно жернова. Но еще для чего он их глотает? Сдаетесь?

— Не-ет! — голосила студия.

— Чтобы быть тяжелее! — догадывалась Дана Дагурова.

— Точно! — отдувался я. — Чтобы над водой были одни глаза.

Дальше я рассказывал о домашних братьях наших меньших и напоминал об «ответе за тех, кого мы приручили». Как-то завел разговор о вегетарианстве, привел в пример Толстого, Шоу, Эйнштейна (последнего процитировал: «Животные — мои друзья, а друзей я не ем» — эти слова произвели должное впечатление). Естественно, я и сам старался быть вегетарианцем, но у меня не всегда получалось.

Вот так у нас все и произрастало. В заключение — несколько слов о друзьях, любителях животных.

Дмитрюк на даче приютил бездомную собаку Толику, и она ответила ему безмерной любовью — не подпускает к хозяину даже его друзей. Как-то я привез к ней свататься своих собак, так она, деревенская дуреха, не оценила городских ухажеров и отвергла их самым злобным образом.

— Есть поверье, — говорил Дмитрюк, — если взял бездомное животное, подвалит счастье. Точно. С тех пор как я привел Толику, жутко везет в работе, а уж счастья — хоть отбавляй!

Поэту Леониду Мезинову по наследству досталась дача с невиданным обзором — с окнами на все четыре стороны, и огромный участок — все это он завещал после смерти под приют для животных, а пока на его участке обитает дюжина бездомных собак и кошек, которым он неустанно подыскивает хозяев.

Понятно, эти мои друзья имеют отзывчивое сердце (тот же Мезинов, когда я сломал ногу и два месяца ковылял на костылях, приезжал ко мне, выгуливал собак и усердно лечил меня крепкими зельями). Но кроме необычного сердца они еще имеют повышенное чувство ответственности за свое дело, за свои слова и поступки, за все, что происходит вокруг нас. Видимо, ответственность за животное, которое им доверилось, порождает в них и массу других ответственностей. Это важно, если вдуматься.

### *Гости студии*

На рисование водили детей совершенно незнакомые мне люди, и, конечно, мои знакомые, и знакомые моих знакомых. Приходили неизвестные люди и вполне известные.

— Опыт гласит: природа отдыхает на детях, — шутил я, записывая новичков известных людей. — Но посмотрим,

как у них пойдет дело. Раз любят рисовать — это уже немало.

Не было ни одного занятия, чтобы в студию не заглядывал кто-нибудь из моих друзей. Чаше других заходили художники Валентин Коновалов и Ашот Сагратян. С Коноваловым приходили его сын и дочь, которые тоже были моими учениками.

— Меня дома не слушают, — объяснял мне Коновалов. — Ты говоришь то же самое, но тебя слушают.

К своим детям Коновалов не подходил. Подходил к друзьям «мольбертщикам»; только и слышалось:

— Здесь добавь лилового... Здесь больше охры... И смелей! Что у тебя все тает, как мороженое?! Смелей выражай свое видение, свой мир!.. Не стремитесь рисовать необыкновенно. Рисуйте по-своему, будьте самими собой. Это самое необыкновенное...

К «столовщикам» Коновалов относился предельно нежно. Поглаживая по голове, приговаривал:

— Рисовать — значит размышлять. Представь, в этом доме будешь жить сам, и наполняй его вещами... А ты чтой-то весь перемазался? Даже лицо в краске! Краски не ешь, это ж не карамель, а акварель!

Сагратян учил ребят рисовать цветы и, для наглядности, приносил свои работы. Студийцы звали его «цветочник».

— Ты вот что, — говорил мне Сагратян. — Обязательно устрой в студии выставку своих работ, чтобы ребята уважали. Чтобы знали, с кем имеют дело. Недавно моему знакомому преподавателю в институте студенты сказали: «А вы сами-то что можете? Никто не видел ваших работ!» С моим приятелем было плохо.

— Ребята видят мои работы в журналах и книгах, — спокойно замечал я. — Мне не надо заниматься саморекламой. К тому же на дни рождения я дарю им свои книжки.

Почти на каждое занятие заглядывали (по пути в буфет) писатели Юрий Коваль и Константин Сергиенко. Когда

они появились впервые, я представил их, перечислил их книги.

— У меня эти книжки есть дома! — воскликнула перво-классница Лена Маковская. — Но я думала, эти писатели умерли, — Лена подошла и потрогала моих друзей, чтобы убедиться в их реальности.

— Еще живы, слава богу! — пробасил Коваль. — Нам еще на небеса рановато. Надо еще кое-что сделать здесь. Я вообще завтра бросаю выпивать и курить. Буду себя беречь, я нужен Отечеству.

Коваль ходил среди мольбертов, давал дельные советы и бурчал:

— Вообще-то слушайте вашего учителя, он мастер зрелый и откровенный. И мой постоянный собутыльник (он совершенно не думал о моем авторитете).

Сергиенко подсаживался за стол к какой-нибудь девушке и подчеркнуто вежливо спрашивал:

— Простите, сударыня, это у вас что изображено?

От такого обращения пигалица смущалась, заливалась краской и сбивчиво объясняла. Сергиенко с серьезным видом кивал и просил:

— Вы не могли бы потом подарить мне этот рисунок? С дарственной подписью, разумеется.

— Ты невероятный счастливчик! — довольно искренне говорили писатели, имея в виду моих учеников.

По сути дела, я действительно был счастливым, но, конечно, не до такой степени, как они выражались.

— Ведите студии, литкружки и тоже будете счастливыми, — что еще я мог посоветовать?

Заходили художники Леонид Бирюков и Владимир Нагаев и, оценивая работы, часто слово в слово повторяли мои слова, точно до этого стояли за дверью. Ученики подумывали: мы сговорились. Стоило немалых трудов убедить их, что очевидные вещи лежат на поверхности. Как водится у художников, частенько мои дружки дурачились,



изображали литературных персонажей. Бирюков, заметив, что на него восхищенно смотрит какая-нибудь ученица, корчил устрашающую гримасу:

— Сейчас тебя съем!

— Я вас не боюсь! — отважно заявляла ученица, сраженная его артистизмом.

Время от времени из кафетерия в студию влетали мои приятели-литераторы. Покашливая и побрякивая, вытирая вспотевшие лица, они впрыгивали на сцену и просили их нарисовать.

— Сразу тридцать портретов, если можно! — принимая позу Наполеона, кричали свежеиспеченные герои. Студийцы с бурной готовностью откликались на все просьбы и, как истинные таланты, щедро раздаривали свои творения.

Среди гостей студии было немало просто любопытных и празднующихся ротозеев. Просто любопытные вежливо спрашивали:

— Можно посмотреть?

— Конечно, можно. Почему нельзя? — разжигая их любопытство, я приглашал широким жестом. — Заходите смелее! Дима Климонтович, спрячь оружие, не пугай зрителей!

Любопытные у каждой работы тарасили глаза, испытывая невероятный прилив чувств:

— Красотища! Шикарно!

— Берите лист бумаги, садитесь, тоже порисуйте, — предлагал я, но любопытные спешно удалялись.

Праздные ротозеи обычно вываливались из ресторана и вели себя довольно назойливо. Особенно докучливым я говорил:

— Вы, наверное, из какой-нибудь проверяющей комиссии?

— Что вы, что вы! — встревоженно махали руками ротозеи. — Мы просто так зашли, облагородить искусством души.

— Облагородить души весьма полезно, — важно изрекал я. — И надо это делать почаще, иначе души черствеют.

Ротозеи соглашались, с их лиц исчезала праздность, и они с тоскливой завистью смотрели на нас, счастливичиков.

— Есть очень простой способ облагородить души, — продолжал я. — Взять и порисовать самим.

— Ой, что вы, что вы! — испуганно махали руками ротозеи и с непостижимой быстротой устремлялись к выходу.

Здесь самое время признаться — я начал эти очерки в надежде поделиться опытом работы с детьми, но скоро убедился, что к общеизвестному мало чего добавляю, и тогда решил просто записать некоторые моменты своей жизни и немного расцветить их выдумкой, чтобы повеселить друзей.

### ***То, что нельзя забыть***

С годами популярность изостудии ширилась, росла и цвела. К Новому году из ресторана и соседнего клуба нам делали заказы: рисовать больших зайцев, пятиметровых драконов. А однажды Киевская студия мультфильмов предложила нам сделать рисованный фильм. Целый месяц ребята под руководством режиссера, который сразу объявил, что у него «трепетное отношение к детскому творчеству», корпели над всякими персонажами. Работали увлеченно, наивно полагая, что их труд даром не пропадет. Впоследствии оказалось: из двух сотен рисунков режиссер использовал всего несколько штук, самых «трепетных», а на мой взгляд — далеко не лучших.

— Это профессиональная тайна, — объявил мне режиссер, — но вам, так и быть, ее открою. Видите ли, красивые вещи не всегда лучшие... Возьмем яблоко. Я всегда выбираю червивое — то, что ест червяк, то ем и я. Червяк не

ошибется, выберет чистое, а не большое, красивое. Так и здесь. В этих, как бы не очень красивых, рисунках есть подлинность, чистота. В этом весь фокус.

Вот так рассуждал этот режиссер, носитель тайны.

Из журнала «Творчество» пришла молодая журналистка с фотографом внушительного вида. Два часа они мучили нас вопросами, фотографировали как бы «за работой». Понятно, в тот день мы ничего не сделали, только напоказ махали кистями. Да и что можно было сделать, если мальчишек подавило такое внимание, а девчонки больше думали о своем внешнем виде, нервничали, кусали ногти. И как можно работать, когда кто-то стоит над душой?

В пик нашей популярности с телевидения нагрянула орава осветителей и звукооператоров во главе с ведущим детской передачи по фамилии Фиолетов. Деловые, энергичные телевизионщики взбаламутили всю студию, все перевернули вверх дном.

— Напрасно вы это делаете, мы совершенно не готовы к такому повороту событий, — сказал я Фиолетову.

— Тем лучше! — Фиолетов хотел по-братски потряхнуть меня, но, увидев мои страдания, сдержался. — Что может быть лучше живого эфира?! Непосредственности, импровизации?!

— Мысль о непосредственности, импровизации вообще-то прекрасна, — вздохнул я, — но все-таки лучше набросать хотя бы какую-то схему действия.

— Не волнуйтесь! — махнул рукой Фиолетов. — Все будет весело, интересно. Дети — податливая глина, а что можно сделать из глины? Все можно сделать из глины! И потом, не забывайте, мы кое-что подрежем, подклеим. Все сделаем на высшем уровне. Проводите занятие как всегда, без напряжения, а мы по ходу дела всех снимем.

Легко сказать — без напряжения! Как будто нас каждый день показывают на всю страну! В общем, сняли. Но по-

том выяснилось, что передачу зарубил главный редактор. Он сказал:

— Дети прекрасны, а вот преподаватель не на высоте.

Действительно, я выглядел беспомощно. Ну что я мог ответить на вопросы: «Вы хороший художник?», «Какие ваши иллюстрации самые известные?» Естественно, я говорил то, что было на самом деле: «Не очень хороший. Есть гораздо лучше»; «Известных иллюстраций нет» и прочее.

Довольно интересными были наши выставки в фойе Дома литераторов. Собственно, что я говорю — «довольно интересными»! Это были впечатляющие, бурные события! Развешивать экспозицию помогал целый отряд родителей. Они вставляли работы в паспарту, вместе с учениками придумывали названия, делали надписи и в сильнейшем беспокойстве все норовили выставить побольше работ своих детей, но здесь я был начеку.

— Глупо выставлять все, — говорил я таким настырным родителям. — Есть правило: «Лучше меньше, да лучше».

— Подумать только! Я потрясена! — восклицала одна родительница, которая называла себя «чувствительной женщиной» и чуть что «потрясалась».

— Я потрясена! — бросала мне в лицо эта родительница. — Это бесчеловечно! Выставки так обогащают. Неужели вам трудно выставить все?! В фойе столько места! Можно все развесить, с неожиданным, обжигающим смыслом. Доставьте нам радость, что вам стоит?!

— Какие все же несносные характеры у художников! — жаловалась другая родительница, называющая себя «женщиной, тяготеющей к покою». — У меня муж художник. Это не жизнь, а кошмар! Когда он работает, лучше не подходи — ты для него враг, не иначе. А не работает — еще хуже: я виновата, что ему ничего не приходит в голову. Просто ужас, а не жизнь!

Ясно, это был выпад, нацеленный в меня, но я стойко переносил все ядовитые слова и уколы. Да и ребята с пониманием относились к моему отбору.

На вернисаж собиралось приличное количество поклонников искусства и, конечно, родители, дедушки и бабушки героев торжества. Поэт Игорь Мазнин открывал выставку, начиналось обсуждение работ: слышались восторги и разные примечательные слова. Переводчик Галина Лихачева читала рассказы о художниках и дарила ребятам принадлежности для рисования. Выступали мои друзья — художники и писатели; они красовались перед аудиторией — держались картинно, говорили замысловато:

— Детские рисунки — это явление счастья, они излучают добро...

Выступали мои бывшие ученики — они говорили сбивчиво, но искренне; в их выступлениях было немало приятных слов в мой адрес. Но друзьям я с усмешкой говорил:

— Кто умеет — делает, кто не умеет — учит. Сам-то я ничего по-настоящему стоящего не сделал.

— Не болтай чепуху! — как-то сказал поэт Владимир Дагуров. — Ученики есть у всех. У меня так целое литобъединение.

Дальше он ярко, выпукло объяснял, что в жизни каждого есть цель и есть смысл, и нередко они не совпадают, и что смысл имеет первостепенное значение.

Выставка продолжалась две недели. За это время распухла книга отзывов, часть работ ребята прямо со стендов дарили особенно «потрясенным» зрителям. К сожалению, две-три работы пропадали. Я помню, кто-то исхитрился стащить роскошного «зеленоглазого кота» Жанны Лурье, и я долго не мог успокоить девчущку.

— Неужели вы не понимаете, такого кота я больше никогда не нарисую, — вытирала слезы Жанна.

— Если стащили твоего кота, значит, он больше всего понравился и его будут хранить, — не очень убедительно

объяснял я. — Но ты можешь нарисовать кота и получше. Например, кота с бантом. Пойдем, нарисуешь мне усатого франта, я его повешу над столом, он будет меня вдохновлять на подвиги.

Жанна смутно улыбнулась и пошла в студию.

В День книги в Доме литераторов проводился конкурс на лучший рисунок. Приходили сотни ребят со всего района, и Дом превращался в муравейник. Ребята рисовали в нашем зале, в фойе и даже на лестнице; мелькали листы бумаги, палитры, банки с водой, кисти. Ребятам помогали мои старшие ученики; они же были членами жюри; позднее, когда все собирались в Большом зале, они на сцене вручали призы. Самых одаренных приглашали в нашу студию. И это было большой честью. Я не зря говорю: наша популярность цвела очень пышно.

*1990 г.*

# РАДОСТЬ ВЕЛИЧИНОЙ С НЕБО

Они познакомились у табачного киоска.

— Мы курим одни и те же сигареты, — сказал Вадим женщине, которая стояла рядом. — Хороший повод познакомиться.

Высокая, с балетной осанкой, в облаке ароматных духов, она укладывала сигареты в сумку.

— Да, я заядлая курильщица. Все никак не могу бросить.

— Вы не очень спешите? Может, зайдём в сквер, покурим? — предложил Вадим, когда они отошли от киоска.

— Мне надо зайти туда, — она кивнула на театральные мастерские. — Если вы подождете, потом мы можем покурить.

— Так вы кинозвезда?

— Да, звезда, — она улыбнулась и состроила нарочито победоносную гримасу.

Вадим сразу отметил ее безупречный вкус: длинный черный плащ как нельзя лучше подчеркивал гладко зачесанные черные волосы и глубокие темные глаза. Она шла прямо, высоко подняв голову, — во всем ее облике была какая-то монашеская строгость.

— Ну воображала вы точно. Вышагиваете как королева.

— А я и есть королева. В самом деле, танцую королев в театре.

— В каком театре?

— В Большом.

— Ого! — удивился Вадим. — А я думал, вы монахиня.

— Хм, далеко не монахиня, — она поджала губы.

— Пригласите в театр посмотреть что-нибудь. Вы не поверите, но в вашем театре я был всего один раз. И то лет десять назад.

— Пожалуйста. Завтра «Лебединое озеро». Пропуск я оставлю на служебном подъезде. На имя Варшамовой. Это я.

— Спасибо. Обязательно приду, — Вадима охватило неясное волнение.

Они подошли к мастерским.

— Ну так вы подождете? — она остановилась и посмотрела ему прямо в глаза. — Я только примерю платье и вернусь. А хотите, пойдете вместе, если это вам интересно.

— Конечно, интересно. Я занимаюсь живописью. Только удобно ли?

— Господи! Идемте! — она чуть не взяла его за руку.

— Как вас зовут? — спросил Вадим, когда они поднимались по лестнице.

— Тамара.

— А меня Вадим.

В мастерских она надела только что сшитое платье и пригласила Вадима к портникам.

— Вам нравится? — она протанцевала среди мастериц и столов, заваленных тканями и кружевами.

Она сделала всего несколько легких свободных движений, но Вадим сразу понял, что перед ним незаурядная танцовщица. «Так и в живописи, — подумал он, — нужно увидеть всего несколько штрихов, два-три мазка, чтобы оценить художника».

— Отличное платье! — он вытянул руку с поднятым пальцем.

— Очень хорошо сидит, Тamarочка, — в один голос заговорили портники, а одна подошла и заколола еще какую-то оборку.

Выйдя из мастерских, они направились в сквер на улице Чехова. Было начало осени, на деревьях появлялись первые



желтые листья, но дни стояли теплые и тихие — казалось, природа замерла в ожидании перемен. Они сели на скамью, закурили, и Тамара, повернувшись к Вадиму, с неподдельной прямоот спросила:

— Хотите, расскажу вам о себе? — и бросила на него испытующий взгляд.

— Конечно.

— Мне уже много лет. Вам сколько?

— Тридцать четыре.

— А мне немного больше... Так что мне иногда кажется, что я уже старая, что прожила длинную жизнь. А иногда кажусь себе девчонкой. Смешно, правда?.. Я окончила балетную школу и с восемнадцати лет в театре. Причем, когда меня отец привел в школу, меня нашли пластичной, но очень длинной. А я была переросток — мне было двенадцать лет. Взяли условно, и за год я всем доказала... Ну а потом работа, адская работа у станка, репетиции, пока ввели в основной состав... Я характерная танцовщица. Танцевала в кордебалете, в тройках, в двойках и, наконец, стала солисткой...

Она сидела неподвижная и прямая, с откинутыми назад плечами, словно жрица, и говорила просто, без всякого самолюбования.

— Вы, наверно, объездили весь мир?

— Нет, не весь, но побывала во многих странах... Я была замужем. Вышла замуж совсем девчонкой. Влюбилась в нашего балетмейстера, красивого, талантливого, как мне тогда казалось. Знаете, у каждой девчонки наступает момент, когда она влюбляется во взрослого мужчину. Ненадолго. У меня это затянулось... Повзрослев, я заметила, что муж не такой уж талантливый, а его красота просто мужской недостаток. Он слишком привык нравиться женщинам. Потом он чересчур эстет, а я не терплю чрезмерной утонченности, искусственности. Чем больше в человеке заложено, тем он более прост... Наверное, когда-то

муж любил меня, но за десять лет, которые мы прожили вместе, от нашей любви ничего не осталось. Было такое однообразное унылое счастье. Наши отношения сами себя изжили, — на ее лице появилась гримаса давнишней горечи. — Наша любовь не перешла в дружбу, в необходимость друг другу... А вообще, глупо ругать прошлое, его все равно не изменить.

«И откуда это желание выговориться? — подумал Вадим. — Похоже, все это наболело и сейчас вырвалось наружу. Большинство женщин хотят оставаться таинственными, загадочными, а эта совершенно не боится раскрываться. Видимо, она немало пережила, если такая искренняя».

— Сейчас я думаю: сколько людей, которые вообще не подходят друг другу, но живут по привычке, — с горячностью продолжала Тамара, — они ежедневно обедняют, а то и отравляют жизнь друг другу, но не расходятся ради детей, ради прошлого. Им не хватает сил изменить свою жизнь, они все надеются на что-то. По-моему, это глупо... Говорят, у меня плохой характер. Не знаю, наверное... Но я пришла к выводу, что брак не должен быть по любви и не должен быть по расчету... Он должен строиться на симпатии, уважении... А вы женаты?

Вадим покачал головой.

— Но были?

— Нет.

— Ну тогда я напрасно все это говорю. Вы все равно не поймете. А почему не были?

Вадим усмехнулся:

— Все откладываю на потом. Это очень сложно — найти себе пару.

— Да, это дело случая, — торопливо согласилась Тамара и повела в воздухе сигаретой, точно совершила неведомое священнодействие. — Но все-таки, если мужчина до такого возраста не женат, он, извините, или бабник, или сам не знает, чего хочет.

Ее резкость и откровенность прямо-таки обезоружили Вадима.

— Я долго встречался с одной женщиной. Это был затянувшийся роман, ничем не наполняющие встречи. Наши отношения ни во что не перешли. Где-то мы упустили время, перегорели, и все сошло на нет. Я ушел в работу, стали реже встречаться. Наверно, я не любил ее.

— С вами все ясно. Вы инертны, — в безобидной форме, с улыбкой произнесла Тамара, и Вадим смолк в ожидании жестокого предсказания, но неожиданно услышал:

— Конечно, с возрастом у людей повышенные требования. Особенно у творческих натур. Вы ведь художник? Но все-таки трудно поверить, что вы до сих пор не встретили замечательной женщины. Вы же интересный мужчина и наверняка нравитесь женщинам.

— Понимаете, я придумал идеальный образ, — оправдывался Вадим. — Взял что-то от всех знакомых женщин, написал этакую заданную фигуру, настолько собирательную, что она уже стала нереальной. Тем не менее я сжился с этим образом, и мне трудно пойти на уступки.

— Это мне понятно, — вздохнула Тамара. — Я тоже живу между надеждой и разочарованием. Надежда — это ведь вера, накопление сил, а разочарование — несовпадение мечты и реальности, верно? Но я стараюсь не думать об этом. Для меня главное — театр. Так вы завтра придете?

Вадим работал в книжной графике и считался преуспевающим художником. Приятели ценили в нем азартность, творческую злость, постоянную сосредоточенность на работе, нахваливали за «свою манеру», но подтрунивали над ним, когда он слишком беспощадно оценивал свои и чужие работы. На это Вадим говорил вполне определенно:

— Искусство ведь своего рода состязание, в котором есть честолюбие и тщеславие. Честолюбие — это состязание с самим собой, готовность доказать себе, что можешь добиться успеха, стремление что-то оставить после себя, опреде-

ленная боязнь исчезнуть бесследно. А тщеславие — просто желание услышать похвалу. Одно дело — когда работаешь, потому что не можешь не работать, это твое призвание, твоя суть, а другое — когда думаешь, нужно ли это. Тогда искусство — всего лишь эгоизм, корысть.

Он жил в коммунальной квартире на Соколе. Комната служила и мастерской: на стенах висели картины, на шкафу лежали подрамники, рулоны бумаги, под тахтой — связки папок с набросками; стол со множеством порезов и следов от тлевших сигарет был заставлен красками — комната представляла собой вместилище необходимых для работы вещей. У Вадима не было ни магнитофона, ни телевизора, ни модной одежды, зато он имел «москвич» — не новый, но все же собственный транспорт. Как многие холостяки со стажем, Вадим привык к самостоятельности, для него не составляло труда сварить суп, выстирать и подшить белье, а свою холостяцкую жизнь (предмет насмешек приятелей) рассматривал как дополнительный период свободы, высшую ценность. Одиночество не тяготило его; во время работы ему мешало бы чье-либо присутствие, а по вечерам он встречался с приятелями в кафе Дома журналистов. Вадим особенно не следил за своей внешностью, выглядел неухоженным, и это вызывало сочувствие у женщин. Он нравился им за серьезность и увлеченность работой, за свободные, уверенные манеры, но их отпугивали его эгоизм, перепады настроения, задевало, что он не уделял им внимания, а то и вовсе относился подчеркнуто иронично.

На следующий день Вадим пришел на спектакль. Тамара действительно танцевала королеву. Он узнал ее не сразу; среди залитых светом декораций, танцующих пар, кордебалета и миманса различил стройную даму, одаряющую всех улыбкой и всепрощающими жестами, но долго не мог признать в ней вчерашнюю знакомую — так сильно ее изменили королевская одежда, парик и грим. После спектакля он ждал ее у служебного входа. Когда она вышла, они сели в машину

и закурили. Возбужденная, еще не отошедшая от спектакля, Тамара курила и, улыбаясь, смотрела на Вадима, смотрела молча, как бы собираясь с силами, потом, запинаясь, проговорила:

— Из-за вас я так разволновалась... меня чуть не сняли со спектакля... Вам понравилось?

Вадим рассказал о своих впечатлениях.

— Почти все точно увидели, — кивнула Тамара. — Только в Трембольской нет никакой легкости, она танцует без души, вылезает на одной технике, — сказала резко, но без желчи и тени зависти, просто как человек, предъявляющий к искусству определенные требования.

— Давайте поедem куда-нибудь? — Тамара порывисто взяла Вадима за локоть. — Мне нужно выпить рюмку коньяка, снять напряжение. Если хотите, поедem ко мне?

Она жила в доме у сада «Эрмитаж»; выйдя из машины, открыла сумку и улыбнулась.

— Отпирать дом должен мужчина, — сказала и протянула Вадиму ключи, как бы демонстрируя полное доверие.

У нее была трехкомнатная квартира: общая комната с мебелью темно-красного дерева, спальня с трюмо и проигрывателем-комбайном со множеством пластинок и комната сына, в которой кроме стола и тахты стояли велосипед и магнитофон. В квартире не было ни одного лишнего предмета, ничего сверх нормы, и каждая вещь имела свое место. За этим разумным порядком виднелся четкий и строгий быт. Вадим сразу отметил, что в комнатах мебель, обои и шторы тщательно подобраны по цвету — разные по насыщенности тонов, но с общей гаммой, что делало в комнатах воздух расцвеченным и мягким.

Сын Тамары Илья, худой светлоглазый подросток, встретил Вадима приветливо: тут же поинтересовался, знает ли их гость записи, которые он в этот момент прослушивал, вызвался поставить «забойную» кассету, а узнав, что у Вадима есть «москвич», попросил научить его водить машину.

— Дома мне приходится быть и женщиной и мужчиной, — сказала Тамара Вадиму, когда они остались вдвоем. — Готовлю ужин, проверяю у сына уроки, слушаю его магнитофон, занимаюсь с ним карате.

Они сидели в большой комнате, пили чай с коньяком, смотрели друг на друга с нескрываемым, все возрастающим интересом, и Тамара без умолку говорила:

— Утром готовлю завтрак, сын уходит в школу, бегу в магазин, а к одиннадцати в класс, к станку, к двум — на репетицию, а вечером спектакль. Оттанцую, приду домой, убираю в квартире, стираю... Ничего, справляюсь. Зато некогда скучать, хандрить. Все дело в неподвижности, ведь верно? Стоит только засидеться, залежаться — и уже настроение не то и самочувствие, вы заметили?..

Она спрашивала, но не дожидалась ответов — казалось, была убеждена, что их мнения во всем совпадают.

— Конечно, у женщины с годами появляется ощущение незащищенности, но зато я сама себе властелин... А когда вы покажете свои работы?

Вадим уехал от нее на рассвете. Через день Тамара снова пригласила его в театр, на «Дон Кихота».

— В спектакле у меня два больших выхода, — сообщила по телефону. — Обязательно приходите. Я буду танцевать, зная, что вы смотрите.

После спектакля они опять заехали к ней «снять напряжение», и, как и в прошлый раз, Вадим уехал под утро. Так продолжалось еще несколько дней, пока однажды Тамара не сказала:

— Оставайся! Что ты катаешься взад-вперед?! Живи у меня. Нам же хорошо друг с другом, — сказала просто, с радужной улыбкой.

— Правда, хорошо, — выговорил огорошенный Вадим.

— Разве этого мало? Это так редко бывает...

— Понимаешь... Я не могу взваливать на себя такой груз, как твоя семья. Деньги я получаю нерегулярно, а семья — это

упорядоченная штука, и мужчина должен ежемесячно приносить деньги, — Вадим говорил ровным голосом, но сам чувствовал неубедительность довода.

— О чем ты говоришь! — вздрогнула Тамара. — Какие деньги! Да вон они на полке. Будем тратить сколько захотим. А получишь ты, тоже положим туда. А не получишь, нам и этого хватит. Не забывай, я одних алиментов получаю сто рублей. Если тебя это останавливает... Господи, какая чепуха! Оставайся, а там видно будет.

— И еще, — не сдавался Вадим. — У меня уже выработались холостяцкие привычки, я неуживчив. Люблю по вечерам посидеть с приятелями. Мне надо с ними поделиться, поговорить о работе...

— Замечательно! — Тамара кивнула и улыбнулась. — Мы тоже часто собираемся после спектаклей. Оставайся!

С любой другой женщиной Вадим не рискнул бы так быстро начать совместную жизнь, долго колебался бы, все взвешивал. Решительный во многих делах, здесь он проявлял осторожность и осмотрительность. Он догадывался, что женщина внесет в его жизнь свой ритм, ему придется кое с чем расстаться, кое-что изменить. Он привык к своей захламленной комнате-мастерской и рассматривал ее как некий запретный для женщин заповедник. Даже не покупал мясорубку и утюг, считая их необходимыми атрибутами семейственности. Он был не против женитьбы, но на женщине, от которой не просто потерял бы голову, а которая отвечала бы всем его требованиям — прежде всего, была кроткой и послушной, и чтобы после женитьбы у него ничего не нарушилось, не поломался бы сложившийся уклад, чтобы его жизнь только приобрела некий романтично-возвышенный смысл. И уж конечно, он не представлял себе брак с женщиной старше себя, да еще со взрослым парнем. Он любил детей, но хотел воспитывать собственного сына.

И вдруг Тамара! Отбрасывая всякие общепринятые нормы, она не дождалась его звонка — звонила сама, пригла-

шала в театр, в свой дом и вот, наконец, предложила перебраться к ней. Ее искрометный натиск не оставил Вадиму времени на размышления.

...Когда он приехал к Тамаре, она уже переселила сына в общую комнату.

— А здесь будет твой кабинет, — радостно сообщила Вадиму, устанавливая в комнате сына торшер.

— Нет, Том, — твердо заявил Вадим. — Работать я буду у себя. Я уже привык. Там у меня большой стол и все под рукой. Да и не могу я работать, когда кто-то стоит за спиной... И потом, что ты здесь устроила? Какой-то интим, какую-то беседку для влюбленных. Одевайся, сгоняем ко мне, увидишь мою обстановку и все поймешь. К тому же ты хотела посмотреть мои работы.

Тамара поджала губы, нахмурилась, но тут же встряхнулась:

— Может, ты и прав. Работа — святое дело. — Подошла к вешалке, накинула плащ: — Я готова.

Они приехали к Вадиму, и Тамара, точно измеряя метраж, широко прошла по комнате.

— Такой я ее и представляла. Пиратской. Как мастерская. Я люблю не музеи, а мастерские, где есть незаконченные работы. Мастерская — кухня творчества.

Разглядывая картины, она некоторое время стояла в молчаливом изумлении, потом выдохнула шепотом:

— Потрясающе! Подари мне что-нибудь, я повешу на самое видное место. Я и не знала, что ты замечательный художник. Ты добьешься больших высот, я уверена, — королевским жестом она показала на потолок, как бы предсказывая Вадиму путь в бессмертие. — Но почему таких картин мало на выставках? В основном румяные доярки, какой-то наигранно-бодрящий оптимизм...

— Это есть в каждой области, — хмыкнул Вадим. — И есть разные идолы, дутые популярности. И есть талантливые, которые с коммерческим цинизмом делают то, что нужно.



Но это ведет к нравственной коррозии. Двум богам служить нельзя.

— Это верно, — Тамара достала из сумки сигареты.

— У нас честный художник поставлен в трудные условия, — продолжал Вадим, — но он отстаивает свое, это главное.

— Как все-таки ужасно, что чиновники диктуют художникам, что рисовать, поэтам — что писать, талантливый зависит от бездарного, — Тамара недовольно топнула и, не переводя дыхания, объявила с жесткой торжественностью:

— Но, к счастью, ты прав: не все идут против своей совести. Я, например, никогда не шла на такие сделки. И ты, я уверена, тоже. В любых обстоятельствах можно сохранить честь и совесть.

Первая неделя их совместной жизни прошла легко, с долей игры.

— Королева, у тебя хорошая кожа, почти как у меня, — шуточно возвещал Вадим, когда они были наедине.

— Хм, хорошая! Как у тебя!.. У меня потрясающая кожа. А руки?! Ты видел у женщин такие руки?!

— Да, в самом деле пластичные. Твои руки созданы для того, чтобы обнимать меня.

— Хм! Почему все мужчины так уверены в себе? Считают себя единственными в своем роде.

— Так ты и всерьез возомнила себя королевой. Даже из туалета выходишь царственно, словно там сидела на троне.

По утрам Вадим подвозил Тамару к театру на класс, сам спешил на Сокол работать. После класса Тамара звонила, говорила — «ужасно соскучилась и жду к обеду». Часа в три, когда Илья приходил из школы, Вадим приезжал, и они втроем усаживались за стол. Тамара прекрасно готовила, и Вадим сразу это оценил.

— Отличные обеды готовишь, Том. Ты, наверно, окончила кулинарные курсы?

— Ага. И курсы кройки и шитья, — поспешно откликнулась Тамара. — Я все умею делать. И считаю, каждый мужчина должен все уметь. А то есть — гвоздя не могут вбить.

— Я тоже так считаю, — согласился Вадим. — Но мне жаль тратить время на это, и чаще хожу в столовые. Я не привередлив, питаюсь урывками; если заработаюсь, так вообще забываю о еде.

Тамара вскинула голову:

— Это никуда не годится. Так можно довести себя до язвы желудка. Я займусь твоим питанием. В этом отношении у нас, балетных, армейский режим: по утрам творог и геркулесовая каша, днем плотный обед, на ужин что-нибудь легкое...

— Чай и коньяк, чтобы снять напряжение, — вставил Вадим.

— Напрасно смеешься. Это помогает.

— И сигареты тоже?

— Нет, курение мешает дыханию. Это дурацкая привычка. Я недавно стала курить. Нервы пошаливают. Но я обязательно брошу.

До спектакля они гуляли в саду «Эрмитаж», и неугомная Тамара все рассказывала:

— В училище у нас был преподаватель, ужасный сластена. С фамилией Синенький. Когда-то был неплохой танцовщик, но сгубил себя пирожными, заработал кучу болезней. У нас ставили отрывки из балетов, а после премьер устраивалось «торжественное чаепитие». Так вот, на этих чаепитиях Синенький ужасно суетился: подсаживался к директрисе, к заслуженным артистам, развлекал анекдотами и молотил пирожные. Очистит один угол стола — пересаживается на другой. И как в него вмещалось, ведь был ужасно хилый?! Впрочем, все тощие — прожорливые, по себе знаю. «Береги себя», — сказали ему как-то, а он не понял. «Чего уж там! Наверное, так и сгорю на сцене», — сказал. По слухам, сгорел, но от обжорства...

Тамара презрительно фыркнула, но сразу заулыбалась:

— А девчонки у нас были замечательные, и наша дружба была искренней, не то что теперь. Как только у одной появлялся поклонник, на свидание приходили все. Стояли в стороне и, если молодой человек не нравился, пели для подруги фокстрот, если был так себе — танго, а если нравился — вальс. По этим мотивчикам определялась цена каждого ухажера... А еще у нас была одна девочка... — жестикулируя, с жаром Тамара начала новую историю.

Вадим не переставал удивляться ее импульсивности, немемному темпераменту.

— У этой девочки все трагично сложилось. Мы еще тогда заметили у нее странный вкус: она одевалась во все зеленое. Ее и звали «крокодильчик». У нее и правда было узкое лицо, зеленоватые глаза и зубы чуть вперед. Она вязала игрушки — зеленых крокодильчиков. И мы как-то на день рождения подарили ей чучело маленького аллигатора. И вот, представляешь... она вышла замуж, и у нее родился ребенок с редкой болезнью: с крокодильей кожей. Какая-то шелушащаяся кожа. Ужас какой-то!

— Том, ну что ты рассказываешь какую-то чертовню? — усмехнулся Вадим. — Расскажи что-нибудь светлое.

— Ну извини, — Тамара прижалась щекой к плечу Вадима, но тут же отпрянула в замешательстве: — А почему чертовню? Это жизнь. Жестокая правда. Нельзя же говорить только о красавостях, разных художествах. Жизнь есть жизнь. Я за тех, кто крепко стоит на земле и не витает в облаках... А светлое... Светлое было, как только меня взяли в театр. Тогда намечались гастроли в Америку, и из нашей группы решили взять одну танцовщицу. Меня или Браславскую. Худсовет хотел взять Браславскую, но выступила Уланова и настояла, чтобы взяли меня. Узнав об этом, я потом подошла к ней и поблагодарила. А она знаешь, что сказала? «Я, Тamarочка, не за вас выступила, а за искусство». Вот что значит великая балерина!

В один из дней стояла необычная погода — какая-то прощальная летняя теплынь. «Эрмитаж» был залит солнцем, сад покрывала яркая подстилка из листьев, от деревьев исходил крепкий древесный запах. Неожиданно нахлынуло много посетителей, и администрация, решив напоследок придать саду дополнительную эффектность, включила фонтан.

— Все это в нашу честь! — ликовала Тамара во время прогулки по саду. — И солнце, и фонтан!

Охваченная внезапным порывом, она запрокинула голову, раскинула руки и протанцевала что-то, поднимая ворох золотистых листьев. Потом подбежала к Вадиму с громким возгласом:

— Ты сделал меня счастливой! — чмокнула его в губы и рассмеялась отрывистым смехом. — Я еще никогда не испытывала такую радость! Огромную, как небо! Давай знаешь что? Искупаемся в фонтане! Пусть нас считают чокнутыми, а мы счастливые!

— Конечно, окунемся, — невозмутимо сказал Вадим, считая, что она попросту разыгрывает его, проверяя на готовность к подвигам.

Но Тамара не шутила.

— Дом рядом, побежим и переоденемся!

Она обезумела от радости, ее лицо горело, волосы разметались по плечам. Схватив Вадима за руку, она потащила его к фонтану.

— Остановись! Что за ерунду ты придумала? — пытался охладить ее пыл Вадим. — Мы же не дети.

— Дети! — Тамара отпустила его руку, перешагнула барьер и, шлепая в туфлях по воде, вбежала под бьющую струю; ее волосы и платье намокли и прилипли к телу, но она продолжала сиять.

— Вылезай сейчас же! Простудишься! — нахмурился Вадим и добавил с легкой иронией: — Не забывай, ты нужна мировому балету!

Фонтан окружили любопытные, послышалось хихиканье. Одни видели в этой вздорной выдумке немыслимое пижонство, другие — отклонение в психике купальщицы. Только когда Вадим метнул в сторону Тамары суровый взгляд, она вышла из воды.

— Тебе стыдно за меня, да? Не сердись! — стряхивая капли, она направилась к дому. — А вообще, что здесь особенного! У людей сплошные условности, живут в каком-то упакованном мире, точно в футлярах. Не люди, а отливки. Кто им дал право меня осуждать?! Захотела и искупалась.

«В самом деле, что здесь особенного? — подумал Вадим. — Она живет раскованно. Ее поведение не укладывается в привычные рамки, так это и замечательно».

Иногда они заходили в «Эрмитаж» и после спектаклей. Сидели на скамье обнявшись, покуривая. Случалось, на соседних скамьях тоже сидели парочки, и тогда со стороны весь сад представлял живописную романтическую идиллию. Постепенно парочки уходили, но некоторые засиживались, пока не появлялись милиционеры.

— Все, красавцы, хватит целоваться! — не без юмора покрикивали стражи порядка. — Сад закрыт! По домам! До завтра!

Известно: когда начинают совместную жизнь молодые люди, им легко подстроиться друг под друга, у них еще не сложившиеся характеры, нечеткие убеждения, не устоявшиеся привычки; но с возрастом все сложнее, особенно если встретились два одинаково своевольных и независимых человека. Между ними непременно возникает накал, их любовь напряженная, дерзкая.

Нужно отдать должное Тамаре: она сразу, без сопротивления, во многом отдала лидерство Вадиму. С первых дней он начал менять домашний уклад в ее доме, и она восприняла это с покорностью. Прежде всего Вадим настоял на том, чтобы Илья, встававший рано, сам себе готовил завтрак и сам чистил свою одежду.

— Том! — сказал он. — Ты делаешь из подростка парниковый цветок. А ты, Илюша, просишь у мамы три рубля перетягивать спицы на велосипеде. Неужели сам не можешь сделать?! Тебе уже девочки называют. Ты уже мужчина и должен все делать своими руками. Иди сюда, покажу, как перетягивать спицы.

Вадим научил Илью разбираться в автомобиле, и по вечерам, когда Тамара была в театре, они копались в «москвиче». Несколько раз уезжали за город, и Вадим учил парня водить машину. У Ильи наступил тот возраст, когда общения с матерью стало недостаточно, и, как только в доме появился мужчина, да еще художник и автомобилист, подросток обрушил на него все накопившиеся вопросы. Они подружились сразу; Илья не мог дожидаться приезда Вадима, Тамара только и слышала:

— Дядя Вадим сказал... Дядя Вадим считает...

Вадим тоже радовался, что сразу сумел завоевать сердце подростка, что у него появился восторженный слушатель и помощник; ему вдруг захотелось передать парню свой опыт — не только автомобильный, но и жизненный, и, конечно, он испытывал определенную гордость, что ему доверена юная восприимчивая жизнь.

С каждым днем Илья все сильнее привязывался к Вадиму, и другая женщина радовалась бы, но в Тамаре вспыхнула ревность. Этому способствовала и некоторая небрежность сына по отношению к ней, в его словах стали проскальзывать нотки мужского превосходства.

— Это ты виноват, — упрекнула она Вадима с грустной полуулыбкой. — Из-за тебя я потеряла у него авторитет. Мы жили дружно, а ты вносишь смуту.

— Том, мальчишка, естественно, тянется к мужчине. Мать не заменит подростку отца, а то, что он грубит, я с ним поговорю.

— Я вообще для вас стала только домработницей.

— Ну уж! — Вадим великодушно обнял Тамару. — Не преувеличивайте, королева!

— Именно! Не отхожу от плиты.

— Так это основное предназначение женщины. Важно, для кого готовить... Ты и должна быть послушной, приветливой и нежной. И молчаливой. Говори лишь одну фразу: «Как скажешь, дорогой», — заключил Вадим в полушутливом тоне.

— Тебе нужна просто дура, резиновая кукла, которая всегда будет улыбаться и говорить: «Ты гений! Роден и Пикассо — тьфу в сравнении с тобой!». Ты забыл, что я тоже личность.

— В наше время все женщины стали решительными личностями — и в этом их трагедия.

— Ты диктатор. Теперь я понимаю, почему ты до сих пор не был женат. Тебе нужна королева на правах служанки.

— Точно. Ты должна быть и царицей, и рабыней.

— Ты хочешь меня растоптать. Я только все должна. Кормить тебя с золотой ложки не надо? А что должен ты?

— Заботиться о тебе, наполнять твою жизнь смыслом.

— Хм! Посмотрим, как это у тебя получится.

Через неделю к Тамаре приехала мать, тучная старуха с морщинистым лицом. Тамара недолюбливала ее, это Вадим понял еще раньше; как-то она сказала:

— Мать — настоящая торговка. Ей только стоять за овощным прилавком, а она была женой золотого человека — моего отца, известного патологоанатома. Он был умным, общительным. В наш дом всегда приходили студенты, а мать ворчала, что устроили балаган, грубила студентам, пилила отца. Она и вогнала отца в могилу раньше времени... Жадная, всю жизнь копила деньги. А когда отец умер, отгрохала ему памятник за десять тысяч на Донском кладбище. Теперь каждое воскресенье ездит туда, льет слезы, чтобы все говорили, как она его любила... Еще Ильюшу настраивает против меня!

Илья любил бабушку, она много времени проводила с ним, когда Тамара уезжала на гастроли. В выходные дни они часто ездили в парк на аттракционы, ходили в кафе-мороженое...

В первый же свой визит старуха попросила Вадима подробно рассказать о себе, потом заикнулась о том, что «нерегулярные деньги — это плохо», а главное, она «не уверена, что его полюбит Илюша». Тамара побелела от негодования.

— Это еще что такое! Еще раз скажешь подобное — уйдешь из моего дома! И забудешь, что у тебя есть дочь и внук!

В растерянности старуха пробормотала проклятие и направилась к входной двери. Вадим не ожидал от Тамары такой вспышки гнева. Он понимал, что, разругавшись с матерью, она продемонстрировала серьезность отношения к нему, но все же это выглядело жестоко. Вадиму стало неловко, что семейный разрыв произошел из-за него.

Когда старуха ушла, Тамара бросилась к Вадиму.

— Не обращай внимания, милый. Она ничтожество! Больше ее здесь никогда не будет.

А ночью шептала:

— Я так счастлива, что у меня есть ты. Я думала, что настоящая любовь начинается красиво: представляла знакомство у моря, в пустынных дюнах или в заснеженном лесу на лыжне, но все произошло намного проще и прекрасней!

Обычно, сделав иллюстрации к очередной книге, Вадим занимался живописью. В момент знакомства с Тамарой он писал серию «Пейзажи Пахры». Эту серию он начал давно, не раз ездил на этюды, сделал кипу набросков, но вдруг почувствовал, что не может выработать свое отношение к увиденному, «импровизировать на тему». Ко всему, раньше, в период «неустанного поиска красоты и правды» — как его называл Вадим, — он писал полотна в скупых тонах, в основном натюрморты — устойчивый предметный мир. В тех работах были предельная ясность, строгость, монументальность — они, точно резьба по камню, подкупали четкостью, чистотой формы.

— В наше суетливое время надо вносить гармонию и покой, — говорил Вадим приятелям.



Но, задумав «Пейзажи», он начал работать в новой, лирической, манере, мягкими, многоцветными мазками.

— Тема сама подсказала форму, — объяснил приятелям. — Форма не подчиняет содержание, а работает на него. Но в то же время в форме весь секрет, в ней личность художника.

И вдруг новая манера, свободное обращение с материалом завели его в тупик. «Надо же, все есть: искренность, жизненность — нет искусства!» — злился Вадим.

Как-то он заработался: переписывая холсты, потерял ощущение времени. В тот день к Тамаре приехал в полночь.

— Господи, я думала, что-нибудь случилось! Где ты был? — в ее глазах была паника.

— Заработался, — Вадим устало снял пиджак.

— Неправда! — ее глаза сузились в пронзительный прищур. — Я звонила.

— Заработался, не слышал.

— А соседи?

— Том, что за подозрения?! Этого еще не хватало!

Заметив, что Вадим чем-то расстроен, Тамара перешла на примирительный тон:

— Ты всегда такой точный, я не знала, что и подумать... Идем на кухню, ужин давно остыл.

За столом она спросила:

— Что-нибудь не получается?

— Делаю черт-те что! — махнул Вадим рукой. — Старые работы в новой упаковке. Я же тебе говорил про серию пейзажей?

Тамара кивнула.

— Так вот, ничего не получается. Какой-то дьявольский круг.

— Я уверена, все будет хорошо. Вот увидишь, милый. Ты просто переутомился, тебе нужно отдохнуть. Нельзя работать на износ... Это ж саморазрушение... Сейчас все спешат: не досматривают, не дочитывают, не додумывают, а ты все делаешь на совесть и потому немного сломался... У меня

тоже так бывает: не получается что-нибудь, и все тут. До этого все шло без задоринки, а тут вдруг — на тебе! Ноги — прямо ватные, руки падают как веревки. «Прекрасно! — тогда я говорю сама себе. — Нужно подкопить силы, Томуся». Я отдыхаю два дня и с новым разбегом знаешь как делаю! Это помогает в девяноста случаях из ста.

— Не знаю, — сдавленно выдохнул Вадим. — Иногда уверен, делаю стоящие вещи, а иногда кажется, не сделал главного — не создал свой мир, не нашел свою жилу и не разрабатал ее... Хватаюсь то за одно, то за другое...

— Что ты говоришь! — вспыхнула Тамара. — У тебя прекрасные картины. И ты должен верить в то, что сделаешь еще более значительные вещи. Да если бы я сомневалась в себе, разве ж я стала бы солисткой!.. И каждый должен стремиться быть лучшим, — помедлив, сказала она. — Человеку не пристало растворяться в обществе. Я за сильных, предприимчивых, не боящихся конкуренции.

Она знала, что такое творчество; в дальнейшем, почувствовав угасающий запал Вадима, приободряла его — при этом все переводила на свою работу, не пытаясь вникнуть в суть его терзаний, но и это многого стоило. В ней таилась недюжинная властная сила.

В конце концов Вадим закончил серию, но после вернисажа, на котором Вадим познакомил Тамару со многими художниками, она несколько изменилась — стала ревновать его к приятелям... В компании художников она вообще скучала, сидела замкнутая, неприступная. Вся ее жизнь была связана с театром, и многое вне сцены для нее, взрослой женщины, оставалось непонятным. Она оживала, только когда речь заходила о театральной жизни, — с жаром начинала пересказывать балетные новости и всех приглашала в театр, а после спектакля звала к себе, устраивала застолье.

Она сразу понравилась приятелям Вадима, и в конечном счете это сыграло немаловажную роль в его привязанности

к ней, но сама Тамара в каждом из художников видела массу недостатков.

— Знаю я эти колонии художников, — говорила Вадиму. — Они все глупые какие-то... Некоторые нарочно изображают из себя идиотов, создают ореол таинственности... Вот смотри: этот чрезмерно ругает себя, выставляет в нелепом свете, а ведь это тоже пижонство... Обратная сторона эгоизма, да еще невероятная уверенность в себе... Ко всему он жадный. Хвастается гонорарами, а все покупаешь ты, а он чашки кофе никому не купит.

«В самом деле, — думал Вадим. — Какого черта он гребет деньги лопатой, но трясется над каждой копейкой».

— А у этого посмотри, какая жуткая женщина! Как ему не стыдно с ней появляться!

«Действительно, дурак», — заключал Вадим про себя.

— И что ты с ними встречаешься, не понимаю, — пожимала плечами Тамара. — Им только бы болтать, а тебя ждет дело.

Случалось, впервые столкнувшись с человеком, она тут же бесцеремонно его разбирала.

— Как ты можешь так сразу судить о человеке, ведь ты его совсем не знаешь? — удивлялся Вадим.

— А я это чувствую. Я уверена в этом. Да и человек с таким невыразительным лицом что может сделать? У него постная физиономия, ему все неинтересно.

Ее неожиданные ответы обескураживали Вадима. Обычно на свои вопросы он предполагал определенные ответы, но с Тамарой все было непредсказуемо. И странное дело, она редко ошибалась в оценке людей. Вадим начинал приглядываться к тому или иному приятелю и внезапно замечал в нем то, чего не видел раньше. Тамара обладала прямо-таки сверхъестественной интуицией. Как-то незаметно, само собой, она отвадила от Вадима многих его знакомых. А потом вдруг ни с того ни с сего стала ревновать его к работе. Однажды Вадим приехал поздно в приподнятом настроении.

— Том! — возвестил с порога. — Я сделал потрясающие иллюстрации. Завтра поедем смотреть.

— Поздравляю! — закусив губу, процедила Тамара. — Только знаешь что, мой дорогой? Это никуда не годится. Я его жду, не могу уснуть, а он даже позвонить не может, что задерживается. И еще неизвестно, с кем ты там задерживаешься!

— С красотками, с кем же!

Тамара вздрогнула и стремительно ушла на кухню — она не принимала подобный юмор. Разогревая ужин, она нервно закурила.

— Ошибаешься, если думаешь, что я буду это терпеть. В конце концов я прежде всего живу не с художником, а с женщиной. Я собственница. Вот заведу любовника, тогда...

— Надо быть полной дурой, чтобы изменять мне, — Вадим стиснул ее в объятиях.

— Ты поломал всю мою жизнь, — впервые пожаловалась она сдавшимися голосом. — Закабалил, подчинил себе. И как тебе это удалось, ведь я такая стойкая. Мужчины добивались меня годами...

Через несколько дней они сидели в креслах плечо к плечу и смотрели телевизор. Накануне Вадим много работал и от усталости задремал, а проснулся от горячих поцелуев и сбивчивых причитаний.

— Как?! Ты уснул?! Первый раз в жизни объяснилась мужчине в любви. Смотрю — он закрыл глаза, подумала — расчувствовался, а он все проспал!

— Прости, Том, — чуть не засмеялся Вадим. — Действительно обидно проспать такое. Давай рассказывай снова, как ты любишь меня.

— Ну уж нет! Эгоист несчастный!.. Сейчас я подумала: мне столько дарили цветов, а вот ты, любимый мужчина, ни разу не подарил.

— Обязательно подарю... Но я предупреждал тебя, что не умею ухаживать за женщинами... Вы, женщины, любите

разные подарки, комплименты, а ведь, в общем, комплименты — фальшивая штука.

— Не-ет, — с блуждающей улыбкой протянула Тамара. — В наше жестокое время люди так редко слышат приятное. Ты, пожалуйста, почаще говори, что я хорошая. Мне это нужно, ведь внутри я слабая, просто никому не показываю слабость...

Зимой они расписались. Вадим не захотел устраивать большого торжества, но Тамара настояла:

— Я не каждый год выхожу замуж. И потом, для чего мы живем, если еще отказывать себе во всем. Второй жизни ведь не будет.

Она сняла целую дачу в театральном доме отдыха в Серебряном Бору, пригласила всех своих знакомых и друзей Вадима и во время застолья произнесла прекрасную речь в честь мужа.

В первые месяцы Вадим смотрел каждый балет с участием жены. Если Тамара была занята только в последнем акте, то начало спектакля смотрела вместе с Вадимом в служебной ложе. Бывало, Вадим только увлечется образами, как она фыркает ему в ухо:

— Вот задрала ногу, корова, прямо в миманс врезалась... А этот дуралей давно вышел из формы, поддержку сделать не может, руки дрожат!

— Том, что ты говоришь?! — шептал Вадим; его воображение сразу лишалось опоры.

— Что? — совершенно невинно вопрошала Тамара.

Она смотрела спектакли профессионально, обращала внимание лишь на мастерство, на технику исполнения. Для Вадима это было открытием; он не догадывался, что в танце, так же как и в живописи, можно что-то создавать и в то же время думать, точно или не точно получается. «Видимо, в этом и заключается разница между зрительским и профессиональным восприятием, — рассуждал он. — Для зрителя искусство начинается там, где его настолько

захватывает происходящее, будь то танец или картина, что он забывает о технике, о тайне материала. Но профессионалы видят все».

Когда он об этом сказал Тамаре, она кивнула:

— Все правильно. Для зрителя искусство — храм, а для меня — жизнь. Когда я танцую, я вся в образе, в музыке, но и не витаю в облаках, не забываю о ремесле. Танцую эмоционально и в то же время осмысленно. Ты ведь тоже перед картинами не теряешь голову, а оцениваешь... фактуру там холста, разные мазки. Разве тебе все равно, как сделано?

— Да, — согласился Вадим. — У художника всегда есть самооценка.

— Вот видишь! «Знания убивают дух», — сказал философ, — улыбнулась Тамара, довольная своим предельно ясным объяснением.

— Знания бывают разные, — надулся Вадим. — Рациональные и как бы наполняющие. Первые всего лишь отраженные. Как зеркало. Убери его — и все из тебя улетучится. А наполняющие знания заставляют тебя размышлять... Это то мне понятно, но вот в чем разница между умелым мастером и настоящим художником?

— Хм! Умелец просто овладел навыками, определенными законами, а художник создает свои собственные законы.

— Пожалуй, — кивнул Вадим.

Случалось, Тамара была свободна от спектаклей, но, если в тот вечер по телевизору показывали балет, они непременно его смотрели. К просмотру Тамара тщательно готовилась: сдвигала кресла, на стол ставила коньяк, сигареты; завершив эти приготовления, забиралась с ногами в кресло и принимала царственную позу. Во время передачи искусства поглядывала на Вадима, угадывая его реакцию... Первое время Вадим с мужланской непосредственностью говорил то, что думал:

— Напрасно ты, Том, ругала Панову. По-моему, она пластичная, и двигается легко, и вообще хорошо смотрится.

— Ты так считаешь? — Тамара взволнованно закуривала, уходила на кухню и весь вечер яростно громыкала кастрюлями.

Вадим пытался ее развеселить:

— Королева, что с тобой? Не потеряла ли ты свою корону?

— Нет, она на мне. Я и сплю в ней. А вот ты не король.

Вскоре Вадим понял, в чем дело, а поскольку ему уже стали надоедать одни и те же спектакли, начал хитрить:

— Ты права, Том, коряво танцует Панова. С такой невыразительной техникой только в мимансе стоять, а не партии вести. Я не могу эту ерунду смотреть. Пойду лучше поработаю, почитаю текст, завтра надо сделать иллюстрацию.

Тамара обнимала мужа.

— Какой ты тонкий! Наши, балетные, годами до всего доходят, а ты сразу уловил. Конечно, иди работай, милый!

Весь вечер она пребывала в прекрасном настроении...

В доме жили артисты балета и музыканты филармонии; иногда после спектаклей ходили к ним в гости. В артистической среде Тамара воспламенялась: обсуждала очередную премьеру, жестикулировала, протанцовывала отдельные фигуры, сравнивала дублирующих друг друга солистов. Бывало, поглощенная собой, забывала о Вадиме, и тогда, сучая где-нибудь в кресле, он чувствовал себя чужаком, приложением к жене... Она привыкла быть в центре внимания, своим неумным темпераментом всех заводила — возбужденная компания перебиралась в соседнюю квартиру, от них звонили еще кому-нибудь. В компаниях засиживались до глубокой ночи. По утрам у Вадима болела голова, он еле поднимался с постели, а Тамара вскакивала как ни в чем не бывало, уплетала обычный завтрак — творог с геркулесовой кашей, протирала полы и спешила в театр, в класс, к станку.

— Наши балетные выносливые, двужильные, — объясняла Вадиму. — Мы ведь с детства в режиме, как солдаты.

— Да, но для меня такой образ жизни тяжеловат, — откликнулся Вадим. — Теперь понятно, почему артисты женят-

ся на артистках. Им трудно сосуществовать с другими людьми. Они все вечера в театре, а каково их супругам? Хорошо, я могу по вечерам работать, а если мужчина инженер? Приходит домой, а жены вечно нет.

Зимой Вадим с Тамарой по-прежнему прогуливались по «Эрмитажу», а иногда покуривали на лавке во дворе дома. В такие минуты Тамара рассказывала о соседях.

— Вон вышла Браславская. Одни партии танцуем. Все мне говорит, как хорошо я выгляжу, а сама только и ждет, когда я ногу сломаю... Давно еще, когда только начинали, мы танцевали в одной тройке: я, она и Канаткина. Так эти стервочки договорились и на одном спектакле сделали руку в другую сторону. Я танцую, дохожу до этого места и закидываю руку над головой влево, а они вправо. Потом еще раз. Режиссер после спектакля нас вызвал, наорал. Я говорю — мы всегда делали влево, а они в один голос: «Нет, Тamarочка, ты забыла — мы вправо делали». Вот гадины!.. А рядом ее муженек. Тоже наш. Тюфяк, и танцор деревянный. У него вечно изо рта пахнет. Не могу с ним танцевать. Ее зовет «моя сладенькая»...

Вадим усмехнулся.

— Да, да, — кивнула Тамара. — А вот Трембольская. Тоже штучка! Сама себе покупает цветы, а билетерши выносят на сцену, якобы от зрителей. Набрала целую группу скандирования... Вон Ленка Рябкина моет свою машину... Располнела до ужаса. Задница как у слонихи, бюст как у молочницы. Правильно режиссер говорит: таким надо детей рожать, а они на сцену лезут. Подними-ка такую тушу!

В этот момент Рябкина увидела Вадима с Тамарой и приветливо махнула рукой. Тамара тоже улыбнулась и кивнула.

— К любовнику собирается... Недавно прялку из Японии привезла... Теперь все наши балетные идиотки помешались на прялках. Сговорились купить на гастролях.

— Том, ты злая, — оторопел Вадим.

— Ничего не злая. Просто не думаю о людях лучше, чем они есть... Чтобы не разочаровываться... И вообще, искрен-



няя грубость ценнее неискренней улыбки. А они все лицемерки.

Во дворе дома выгуливали пуделей, эрделей, колли; с владельцев собак дворничиха брала по пять рублей в месяц за уборку двора. Что Вадима особенно смешило, так это гуляющие с собаками. Они соблюдали четкую субординацию: солисты с солистами, кордебалет с кордебалетом, миманс с мимансом. Собаки подражали хозяевам, только гаражная дворняга Цыган, кем-то издевательски постриженная под пуделя, не разбирала титулов: всех собак, подбегающих к гаражу, хватала за загривок.

Иногда Вадим думал: «Все-таки актеры — двуличный и тщеславный народ, в их жизни полно показного... При встрече лезут друг к другу целоваться... Поклоны, жесты, выпендриваются — дальше некуда, ведь они постоянно на виду, их все знают... Их надо только смотреть на сцене, но общаться с ними скучно». А в другой раз он восхищался актерами за трудолюбие, умение перевоплощаться. «Ведь для этого нужно быть тонким человеком, — рассуждал он. — Нужно уметь сопереживать».

Под двором находился подземный гараж, в котором работал механик Владимир Иванович. Вадим иногда заглядывал к нему одолжить инструмент. Владимир Иванович сразу понял, что Вадим разбирается в машинах, и проникся к нему доверием: нахально подмигивал и подробно рассказывал, сколько накануне «содрал» с того или иного солиста. Пользуясь тем, что артисты ничего не смыслили в машинах, он заламывал баснословные суммы за пустяковый ремонт. Он имел иномарку, двухэтажную дачу, две сберегательные книжки и молодую любовницу. «Негодяй!» — назвала его Тамара с гримасой отвращения, и Вадим подумал: «Все-таки она молодчина: открыто порицает всякую несправедливость и ложь, от кого бы они ни исходили — от артистов или механика».

Летом, когда Илья был в лагере, Тамару неожиданно пригласили на гастроли по Сибири.

— Заработаю много денег, сделаем ремонт в квартире, — заявила она Вадиму, но через два дня после отъезда вдруг позвонила из Прокопьевска: — Милый, приезжай! Ужасно по тебе соскучилась! Отложи работу и приезжай, а то я здесь умру со скуки.

Когда Вадим прилетел, она чуть не задушила его в объятиях и горячо проговорила:

— Говорят, сильная любовь на расстоянии еще сильнее. Ерунда! Конечно, лучше раз в месяц обнимать настоящего мужчину, чем ежедневно видеть слизняка, но все-таки по полгода ждать капитана дальнего плавания — невероятная мука! Я и два дня без тебя не смогла прожить.

Гастрольная труппа обитала в гостинице на окраине. В одном из номеров жили чтец из Москонцерта, глуповатый и нерасторопный Геннадий, и невероятно энергичная, маленькая и сухая танцовщица Нелли. Геннадию было тридцать лет, Нелли на пять больше. Геннадий считался руководителем труппы, но всеми гастрольными делами заведовала Нелли. Они жили вместе больше четырех лет, но всем объявляли, что это их свадебное путешествие. Нелли ежегодно ездила на гастроли, но танцевала вполсилы.

— Здесь, в провинции, все равно ничего не понимают, — говорила.

В Москве она имела большую квартиру и «Волгу»; Геннадия, который жил у нее, за глаза называла «мой губошлеп».

В другом номере жил сорокасемилетний концертмейстер Володя. Он объездил всю страну и знал, где какая публика, где чем кормят, где что можно купить. Ежедневно по вечерам Володя писал письма жене и двум дочерям, опускал письма в ящик и... поднимался в номер к молодой певичке радио, тоже состоявшей в гастрольной бригаде и поехавшей, чтобы «нести искусство в массы».

— Я особенно близко ни с кем не схожусь, — доверительно поделился Володя с Вадимом. — По опыту знаю: люди

быстро надоедают друг другу, начинают собачиться при распределении номеров в гостинице, из-за ставок...

В четвертом номере жили приятели, молодые парни: танцор Юлик и певец — бас Станислав. Юлик — начитанный, интеллигентный, поехал на гастроли заработать денег: им с женой не хватало на кооператив. Его жена оканчивала какой-то институт; провожая мужа, была в невероятно приподнятом настроении, а на обратном пути, когда Вадим подвозил ее на машине до метро, сообщила:

— Я так счастлива, что мы наконец-то отдохнем друг от друга. Прямо извел меня ревностью, все нудит и нудит. А вы? Вы тоже, наверное, довольны? Я, как увидела вас, сразу подумала: «Неужели она его жена, ведь она старше его, и вообще».

Всю поездку Юлик тосковал по жене, звонил в Москву и переживал, если не заставал ее дома.

Станислав приехал в Москву из Баку, не прошел по конкурсу в театр на солиста, но был принят в хор.

— Там, в театре, все через знакомых, — заявил он Вадиму.

— Ничего подобного, — возразил Юлик. — Всего можно добиться. Работай упорно над собой — и возьмут в солисты.

Юлик серьезно относился к работе и весь выкладывался, был ли зал переполненным или полупустым. Оттанцевав, вбегал за кулисы, смахивал капли пота и радостно сообщал Вадиму:

— Кажется, у меня сегодня все получилось.

Тамара имела высокую ставку и быстро подсчитала, что за две недели получит немало денег, — практичная, она ставила только реальные цели — но, увидев, что в городе нет афиш об их выступлении и местная филармония выделила площадку в рабочем клубе, вспыхнула:

— Я не буду танцевать на этих собачьих площадках! Какой стыд! До чего я докатилась!.. А эта местная филармония — позорище! Они там развращены властью: что хотят, то и делают! Говорят, концертный зал занят каким-то ан-

самблем. Вранье! Ансамбль приедет только через три дня. Они там все изоврались...

Вадим успокаивал жену, говорил, что профессионала должна устраивать любая сцена и всегда в зале найдется хотя бы два человека, которым нужно ее мастерство.

— Представляешь, Том! В больших городах видят многое, а сюда, в захолустье, может, раз в пять лет приехали артисты, да еще из Большого театра! Для них это праздник! И потом, королева, не забывай, что ты танцуешь и для меня.

Вадим оказался прав: в клубе среди зрителей находилась старушка с внучкой. После спектакля они со слезами на глазах подошли к Тамаре, и девчушка протянула букет полевых цветов.

— Внучка долго выбирала, кому подарить, — сказала старушка. — Больше всех ей понравились вы. Внучка хочет стать балериной.

После Прокопьевска неделю гастролировали в Новокузнецке и Кемерово, где выступали в больших современных дворцах культуры, только на первый концерт в Новокузнецке продали всего пятьдесят билетов. Геннадий пошел в обком, и оттуда обязали руководителей предприятий обеспечить артистов зрителями, но многие рабочие, заплатив деньги, на концерт все равно не пошли.

К следующему выступлению Вадим написал десять объявлений и, обежав город, развесил их в многолюдных местах. Зал был переполнен. После этого Нелли предложила Вадиму на следующий год заменить ее губошлепа Генку на посту руководителя.

На гастролях Вадим выполнял роль носильщика, осветителя и официанта — накрывал стол к ужину в номере Нелли, в зрительных залах изображал восторженную публику, покупал цветы и подносил артистам «от благодарных зрителей».

Последнее выступление в Кемерово планировалось в парке культуры. Никаких афиш не было, но за два часа до

выступления по парку объявили: «На открытой площадке состоится концерт артистов Большого театра». Пришли две-три старушки, влюбленные парочки, которые весь концерт целовались на последних скамьях, двое подвыпивших рабочих, которые, когда пел Станислав, бурчали:

— Наш Петька лучше поет!

Но во время концерта появились интеллигентные девушки и на коляске инвалид — местная знаменитость, профессор-психиатр.

Перед выступлением прошел дождь, и Тамара с Нелли вытирали тряпками дощатый настил. На маленькой площадке танцевать было крайне сложно: танцоры поскальзывались, спотыкались о неровности досок. Сразу за сценой начинались лужи, и, оттанцевав «Умиряющего лебедя», Нелли на самом деле уплыла за кулисы.

— Поплыла умирать в камыши, — пошутил Юлик.

После выступления с Тамарой случилась истерика.

— Я презираю себя как актриса. Докатилась до такого! Позор!

— Ты не права, Том, — возразил Вадим. — Даже на этой площадке ты сумела отлично станцевать испанский танец.

В этот момент на коляске подкатил профессор.

— Спасибо вам! У нас я впервые вижу такое.

Вечером в гостинице у Тамары разболелась голова, Вадим сходил в аптеку, купил анальгин.

— Надоела эта дурацкая поездка, — бормотала Тамара измученным голосом. — И денег никаких не надо. Здесь я выйду из формы, здесь все разъедает душу... Вот дура, и зачем поехала?! Никогда себе не прощу! Сейчас же поедем в Москву! — она достала из шкафа чемодан, начала собирать вещи. — Все ты виноват! Мужчина, называется! Глава семьи! Зарабатываешь меньше меня!

— Ах вот оно что! — разозлился Вадим. — Ты заговорила о деньгах. Сильно же ты изменилась! Умерь свои запросы! Каждый вечер коньяк, на метро не едешь — только такси!

И этот ремонт для чего-то затеяла. Квартира вполне прилично выглядит. А если тебя не устраивает, что я мало зарабатываю...

— Прости меня! — Тамара подошла, обняла Вадима. — Сама не знаю, что говорю. Просто я потеряла свою корону, но уже нашла ее. Прости меня.

«Все-таки она умница, умеет признавать свои ошибки, — позднее подумал Вадим. — С ней и ссоры-то прекрасные».

Когда гастролы кончились, все расстались друзьями. Прощаясь, Юлик объявил:

— Ну его, кооператив, в болото. Целый месяц звонил, ни разу не застал жену дома. Плюну на все и куплю путевку в Болгарию. Развеюсь, отдохну. Наверное, все равно нам не жить вместе.

Вернувшись домой, Тамара окончательно успокоилась.

— Понимаешь, — сказала Вадиму, — у меня случаются закидоны, ты не обращай внимания. Дело в том, что последний год жизни с мужем был каким-то кошмаром. Ты не поверишь, но мы дрались. У нас шла ежедневная война, но он не уходил из-за Илюши. Он раздражал меня. Приходил весь в губной помаде и мне же закатывал сцены. Я все время сидела дома, как пленница под домашним арестом... Я думала, выхожу замуж за великого человека, а он оказался ничтожеством, — в ней кипела ярость, вызванная воспоминаниями. — Потом у меня тоже появился любовник — один пьяница из миманса. От тоски, злости и вообще... Вначале мне просто стало его жалко. Он несколько лет смотрел на меня. А потом привязалась. В театре сплетничали, а мне было наплевать. Он добрый парень и ходил за мной как привязанный... Несколько раз я подавала на развод, но муж меня умолял забрать заявление. Наконец он стал мне противен. Я выгоняла его, кидала в него посуду. Он бил меня, орал на всю квартиру, думал запугать, сделать овечкой, а я его не боялась. Я ничего не боюсь, кроме молний. На меня как-то действуют разряды... Два месяца я отлежала

в больнице в нервном отделении. Потом он валялся у меня в ногах, подсылал друзей, чтобы меня уговорили его простить. Представляешь, как радовались разные Браславские, когда я попала в больницу? Говорили: «Тамарочка больше не выйдет на сцену». А я вышла. Сделала станок в Илюшиной комнате, год набирала форму; голова болела страшно, падала вся в поту, но снова вставала. С тех пор у меня случаются головные боли.

Прошел еще один год. Вновь приближалась осень. По-прежнему Вадим и Тамара были погружены в работу, но размолвки, которые начались между ними на гастролях, теперь возникали день ото дня со все возрастающей последовательностью. По вечерам, когда Вадим приезжал из своей комнаты-мастерской, Тамара была на спектакле. Ему приходилось готовить, мыть посуду, просматривать домашние задания Илюши. Усталому после напряженной работы, ему хотелось тепла, заботы, внимания жены... Но Тамара жила своей жизнью.

Она привыкла к рампе, аплодисментам; приезжала поздно, с цветами; случалось, ее подвозили актеры или поклонники из числа балетных фанатов; она приглашала их домой, и они всю ночь говорили о театре. После ухода гостей Вадим запальчиво выговаривал жене свое недовольство, а Тамара невинно вопрошала:

— Что случилось, что я делаю не так?

— Не строй из себя идиотку! — шумел Вадим. — Кем бы жена ни была — профессором или танцовщицей, она прежде всего жена. Твое место там, — он показывал на кухню. — Посмотри, в какой куртке я хожу, вот-вот отлетят пуговицы.

— Но ведь дома все есть, суп я сварила, а на второе вы могли пожарить котлеты, — не совсем решительно защищалась Тамара. — А пуговицы — это мелочь. Давай пришью.

— Почему я должен об этом напоминать? — возмущался Вадим. — А моя работа?! Тебя она давно перестала интересовать. Жена, называется! Ты знаешь, что у меня зарубили

иллюстрации к последней книге? Не знаешь! И даже не знаешь, к какой книге. Тебе на все наплевать.

— Ну не сердись, извини меня... Жизнь такая короткая, а мы еще отравляем ее друг другу из-за мелочей.

Если у Тамары выпадал свободный вечер, а Вадим приезжал позже обычного, то уже он выслушивал разного рода обвинения, в основном они касались женщин — Тамаре все время мерещились какие-то тайные романы мужа. Как каждая собственница, она требовала от супруга сверхпреданности.

Между тем приятели Вадима, которые раньше изредка навещали в квартиру Тамары, теперь заходили только в мастерскую на Соколе — за разговорами с ними Вадим стал задерживаться; с приятелями ему было спокойнее и интереснее, чем со взбалмошной женой.

В те первые осенние дни на улицах появилось много молодых загорелых женщин, и Тамара остро переживала свой возраст. Теперь они с Вадимом редко прогуливались, но, если это случалось, каждый раз, когда им навстречу шла красивая девушка, Тамара искоса посматривала на мужа. Зная повышенную ревность жены, Вадим шел не поднимая головы, но Тамара все равно находила причину для упреков.

Однажды, когда Вадим работал у себя, она, распалив воображение, неожиданно нагрянула на Сокол и безумными глазами стала выискивать в комнате какие-то несуществующие улики.

— Что за бредовые подозрения! — возмутился Вадим, полшутя шлепнул жену по заду и выпроводил из комнаты.

У Тамары дело шло к пенсии: она уже танцевала девятнадцатый год; и каждый раз, принося афишу на неделю, тревожно пробегала ее глазами, нервно покусывая губы, — и, если была мало занята, впадала в оцепенение. А когда в труппу ввели молодых танцовщиц на характерные роли, с ней вообще случилась истерика.



— Это не театр, а банка с гадюками, — бормотала и швыряла на пол посуду.

Как-то Вадим заехал за ней в театр; она вышла встревоженная, с остекленелым взглядом; села в машину, достала сигарету трясущимися руками.

— Что случилось, Том?

— Ничего.

«Ладно, — решил Вадим, — дома расскажет». Но не успели они отъехать, как Тамара резко повернулась.

— Ты все-таки бесчувственный человек. Видишь, я — комок нервов, а ты сидишь спокойно, покуливаешь, слушаешь музыку.

— Но я только что у тебя спрашивал, что случилось, — отпарировал Вадим.

— Как ты спросил? Лишь бы спросить! Как от назойливой мухи отмахнулся. Тебя совершенно не интересует моя работа. Может быть, я последние дни дотанцовываю, навсегда расстанусь с театром, которому отдала всю жизнь, а ты!

Дома она призналась, что с ней холодно поздоровался главный режиссер. Всегда здоровался приветливо и вдруг только мрачно кивнул.

— Ну и что? — недоумевал Вадим. — Мало ли какое настроение было у человека.

— Не-ет! — ехидно протянула Тамара. — Вот ты не понимаешь, не улавливаешь нюансов. В театре все построено на нюансах и ничего не бывает просто так... Это означает, что моей карьере конец.

Она обхватила лицо руками и беззвучно задержалась.

На два-три дня она лишилась аппетита и сна, а потом режиссер поздоровался с ней приветливо, и дома она, как девочка, прыгала от счастья...

Впечатлительная, ранимая, Тамара все близко принимала к сердцу, во всем видела скрытый смысл; ее настроение постоянно менялось: то безудержная веселость, то глубоко

угнетенное состояние, жестокая хандра. В театре она сдерживалась, а дома расходилась: либо вымещала на мужа гнев, либо старалась заразить его радостью. Эти встряски изо дня в день разъедали их отношения.

В Вадиме зрел протест. Все чаще он задерживался на Соколе. Случалось, даже забывал об Илье, с которым его связывала чистая дружба. Как-то подросток проговорил с обидой в голосе:

— Вы хотели мне вчера помочь оформить стенгазету.

— Прости, Илюша, заработался...

Вадим сам чувствовал жалкую лживость своих слов. «Что было вчера?» Он вспомнил, что накануне Тамара устроила сцену из-за того, что он в очередной раз задержался на Соколе, и ему не хотелось идти домой; он позвонил приятелю, с которым давно не виделся, они встретились, выпили, и он приехал домой в полночь.

Теперь неуравновешенность Тамары проявлялась во всем. Она стала уделять повышенное внимание своей внешности: то и дело меняла одежду, покупала новую косметику и даже хотела перекраситься в блондинку.

В компаниях стоило только Вадиму поговорить или, чего доброго, потанцевать с другой женщиной, как Тамара отзывала его в сторону.

— У меня что-то разболелась голова, пойдем отсюда.

Дома она отчитывала супруга за «позорное, бесстыдное поведение», за «вопиющее невнимание» к ней.

Иногда Вадим рассуждал: «Все в ней прекрасно, но была бы она помоложе, — не появились бы возрастные комплексы... Хотя тогда это была бы уже не она... Может, она и интересна тем, что жизнь наложила на нее след».

Издерганная Тамара теперь ежедневно пила разные настойки: сердечные, желудочные, снотворные. Вадим еще шутил:

— От всех болезней, Том, вылечивают чай с коньяком и любовь. Налей-ка нам по рюмке коньяка.

Но головные боли у Тамары усиливались, по ночам Вадим просыпался от всхлипываний.

— Ты бесчувственный эгоист. И не дорожишь мною. Я не могу уснуть, наглоталась таблеток, и все без толку, а он знай себе спит. Поговорил хотя бы со мной.

— Это ты эгоистка! — откликнулся Вадим спросонья. — Только и думаешь о себе. Если я не выплусь, у меня весь день улетит в трубу. Я ведь работаю головой, а не как ты, ногами. Ты уже сто раз танцевала свои партии и можешь их станцевать, как заводная кукла, а мне-то надо соображать, придумывать.

Их конфликт развивался наплывами: то бывали минуты общности, полной духовной близости с бурными приливами любви, то наступали моменты разобщенности и раздражения. Между ними еще не было затяжного отчуждения, но с каждой размолвкой все больше накапливался ядовитый осадок, который в конце концов достиг критической массы, и тогда произошел взрыв.

Однажды зимой Вадим проснулся оттого, что хлопнула входная дверь. Обошел квартиру — жены нигде не было; на кухне под портретом умершего отца Тамары лежала записка: «Папа! Я иду к тебе!».

Спешно одевшись, Вадим обежал двор, потом завел машину и объехал окрестные улицы, а когда снова подкатил к дому, увидел ее у подъезда. Она стояла на ступенях в одном платье и отрешенно смотрела в ночное небо.

— В чем дело, Том? — Вадим схватил ее за локоть.

— Хотела броситься под машину, но испугалась... Представила, что меня уже не будет в театре... Хотела и тебя избавить от себя... Тебе нужна другая женщина... Не такая больная... А сейчас думаю: устраюсь преподавать в училище... Да и как Илюша без меня...

Спустя некоторое время история повторилась; Вадим опять разыскивал ее, гонял ночью по соседним улицам и вдруг увидел — она сидит в «Эрмитаже» на скамье, курит и наблюдает за ним.

Вадим чуть не задохнулся от гнева:

— Не такая уж ты чокнутая, Том! Ты утонченная садистка, тебе приятно издеваться надо мной!

— А ты мерзкий тип, — Тамара метнула на мужа злой взгляд. — Только и знаешь подавлять и унижать меня как личность. Тебе все позволительно, а мне ничего. Себе все прощаешь... Уж лучше жить с тем, из миманса. Пусть глупый, пьяница, но только и думал обо мне, заботился, а ты весь в себе. Ненавижу тебя!

— Прекрасно! — Вадима передернуло от злости. — Я сейчас уеду. Нам в самом деле стоит отдохнуть друг от друга.

Он сел в машину и только стал отъезжать, как раздался иступленный крик:

— Вернись!

Тамара подбежала к машине, вцепилась в дверь, в ее глазах была паника.

— Прости! Не бросай меня. Я не могу без тебя! Не знаю, что со мной творится. Мне все кажется, что тебе нужна другая, молодая, женщина. А я уже свое отжила...

— Ты все выдумываешь, — махнул рукой Вадим. — Разве я давал повод так думать?

— Пусть я со странностями, но я люблю тебя! — Тамару всю трясло от напора чувств. — Я так благодарна тебе за любовь, за радость общения... Не представляю свою жизнь без тебя...

У Вадима закружилась голова, он почувствовал себя на высокой неустойчивой вышке в каком-то безумном мире.

Дома Тамара пыталась оправдаться:

— Я сама всего добилась и привыкла рассчитывать только на себя. Поэтому моя душа немного огрубела, я стала резковатой... А эти тихие, ласковые женщины... За них все делали, им не надо было бороться за работу, за быт. Конечно, чистеньких любить легко — не замараешься...

На следующий день Тамара как будто успокоилась, но в ее глазах снова появился воинственный блеск.

— Все-таки ты вполне мог бы работать в штате, — заявила мужу. — Имел бы твердый оклад, а по вечерам — пожалуйста, рисуй. Вон твои приятели заведуют редакциями и книги оформляют. Все успевают. А ведь ты талантливей их, но все пустил на самотек...

— Ты ничего не смыслишь в моей работе! — повышая голос, возмутился Вадим. — Да тебя она никогда и не интересовала. Спросишь, что делал, и тут же заводишь разговор о своем театре. Ты заиклена на себе. Я и раньше это знал, но ты перешла все границы. А насчет денег я тебе вот что скажу: если еще раз заведешь этот разговор... Я долго терплю и прощаю тебе закидоны, но всему есть предел...

Они были слишком одинаковые, не дополняли, а уничтожали друг друга. Оба противоречивые, неуступчивые, не терпящие половинчатости, они безжалостно наносили раны друг другу. «Схлестнулись, как две кометы, — подавленно рассуждал Вадим. — Две личности в семье слишком много. Ведь брак — это постоянные уступки друг другу, и в семье всегда кто-то лидер, кто-то ведущий, кто-то ведомый. Самой природой эта роль отведена мужчине, и как она этого не понимает? Ведь чересчур самостоятельную, с агрессивными замашками, женщину трудно любить, обычно ее просто терпят».

Вадима уже раздражала независимость и самостоятельность жены. Он подумывал о том, что есть другие женщины — мягкие, послушные, готовые забыть свое «я» и жить только его жизнью. Несколько раз после ссоры он хлопал дверью и уезжал на Сокол, но странно: там, в своем убежище, начинал скучать по взбалмошной жене. Ни с того ни с сего вспоминал, как когда-то ему, еще совсем незнакомому мужчине, она искренне рассказала всю свою жизнь, как выделила ему комнату сына под кабинет, как объяснялась в любви, когда он спал, как вся светилась на свадьбе, когда говорила о нем, при этом совершенно не стеснялась проявлять свои чувства. «И все ее полыхания и грубости идут от

любви», — рассуждал Вадим, оправдывая жену. Со стороны все ее недостатки уже казались чуть ли не достоинствами. Вадим привык к жене, она стала родной, с ней можно было быть неумным, усталым, в плохом настроении.

А потом звонила Тамара и прерывающимся голосом умоляла приехать, но, как только он возвращался, отчитывала его с ледяным взглядом:

— Бежишь с тонущего корабля?! Эх ты!.. Пусть у нас все сложно, иногда просто ужасно, но ведь это красивый ужас! Ведь мы все равно любим друг друга! И потом, у нас было столько хорошего, разве можно его вот так сразу зачеркнуть?

— Какая-то вымученная любовь, — вздыхал Вадим. — Между нами тонкая непрочная нитка... И в работе полно неприятностей, да еще дома все наперекосяк.

Самому себе он говорил еще определеннее: «У всех жены как жены, а у меня сумасшедшая. Смерч, а не женщина. Устроила мне адскую жизнь, прямо какое-то заклятие».

Несколько дней в семье был мир и покой, только Тамара каждый раз принималась к мужу: не пахнет ли от него другой женщиной?

— Ты можешь о себе ничего не рассказывать, — едко заявляла она. — Я все вижу и на расстоянии.

А через неделю устроила Вадиму очередную сцену ревности.

В последующие дни она заводила себя еще больше, припоминала прежние обиды, называла мужа «беспросветным себялюбцем», «художником, который никогда не станет выдающимся, потому что бездушен к людям». Однажды она договорилась до того, что он «всего-навсего ее тень» и что ее любовь была «лишь желанием обмануться».

— Наверное, нам все-таки не жить вместе, — изрекла она мрачное пророчество.

Переполненный ненавистью, Вадим вскочил и помчал на Сокол, но в дороге остыл.

— Разойдемся так разойдемся, — безнадежно пробормотал и с полдороги вернулся назад.

К этому времени Тамара тоже пришла в себя:

— Если ты считаешь меня сумасшедшей, зачем тогда уезжать? Мало ли что я могла наговорить в пылу, погорячившись! Не уезжай, даже если я скажу, что не хочу больше тебя видеть.

«Ну уж нет! Хватит унижений!» — усмехался Вадим. Он устал от скандалов и уже всерьез подумывал о разводе, только никак не мог решиться — было жаль больную жену.

Весной следующего года, как подарок к пенсии, Тамару включили в гастрольную труппу по Южной Америке. Вадим проводил жену до аэропорта, и они холодно расстались.

Вернувшись домой, Вадим облегченно вздохнул: наконец он мог отдохнуть от нервотрепки, сумасбродных выходов жены.

— Хорошо, что она уехала, правда? — веселился Илья. — А то кричит целыми днями да всех дергает.

Через три недели Тамара прислала два письма, и оба сыну; для мужа в письмах не было ни слова. А спустя несколько дней к Вадиму зашла приятельница Тамары и сообщила, что Тома звонила и сказала, что окончательно от всего вылечилась, и его, мужа, забыла, и теперь начнет новую жизнь. Для Вадима это не было неожиданностью, но все-таки откровенно грубое сообщение задело его самолюбие, несколько дней он не находил себе места. У него появилась отчаянная надежда вернуть хорошее прошлое, начать все сначала, но, встретив жену после гастролей, понял: все кончено.

В аэропорт он приехал с Илейей. Тамара вошла в вестибюль и сразу бросилась к сыну, расцеловала, с каменно-непроницаемым лицом небрежно кивнула Вадиму и снова заспешила к труппе принимать багаж. Она выглядела отлично: новый костюм, красивый загар, уверенная походка.

В машине Илья пытался рассказать, как проводил время с Вадимом, но она перебивала его, спрашивала о школе и даже о бабушке.

— Ну что, Том, теперь, наверно, мы можем остаться просто хорошими знакомыми, — сказал Вадим, поставив чемодан в прихожей.

Он понимал, что сказал глупость: они слишком сильно любили и слишком сильно ненавидели, чтобы остаться хорошими знакомыми.

— Да, наверное, — сказала она, отводя взгляд в сторону.

Она хотела казаться безразличной, всячески давала понять, что окончательно его разлюбила, но ей это плохо удавалось. Она как бы играла спектакль, играла последнюю сцену с ним, Вадимом, — явно показывала, что он для нее умер и оплакивать его не собирается, правда и радоваться не будет на его поминках.

...Они жили в одном городе, но больше не виделись никогда. У них было много общих знакомых, но все точно сговорились при встрече ничего не говорить ни о нем, ни о ней.

Первое время Вадим постоянно думал о жене; перебирал в памяти прожитое и скучал по Илье — несколько раз хотел позвонить ему, увидеться. Однажды даже стал набирать номер, но подумал, что этот звонок Тамара воспримет как шаг к примирению с ней, расстроился и повесил трубку...

Как-то по пути в редакцию он увидел впереди высокую черноволосую женщину. Она шла балетной походкой, то и дело откидывала волосы, спадающие на лоб. Были очень знакомы эти движения. Вадим остановился и долго смотрел ей вслед, пока она не исчезла в толпе на перекрестке двух улиц.

Все чаще Вадим думал: «Ничего хорошего этот брак мне не принес. Тамара постоянно что-то требовала, я все время должен был подстраиваться под ее настроение, жил среди сплошных обязанностей и нервоотрепки...»



...Спустя два года, покуривая со своей приятельницей в издательстве, Вадим сказал, что, в общем-то, не прочь сойтись с какой-нибудь женщиной, только не с личностью, а с простой, домашней...

— Хочется тихой, спокойной жизни. Ну ее к черту, эту буйную любовь. Эти вспышки быстро проходят и только душу калечат...

— Надо познакомить тебя с моей подругой Еленой, — оживилась приятельница. — Мне кажется, вы подойдете друг другу.

Как опытная сводница, подогреваемая таинственным интересом, она описала стройную женщину двадцати шести лет, с прической конский хвост, в очках.

— Елена — разведенная, у нее прелестная дочка, — все больше загоралась приятельница. — Работает корректором в редотделе. Работа неинтересная, но Елена учится в вечернем юридическом институте, и, когда окончит, ее переведут в редакторы. Она способная... Конечно, жить с творческим человеком непросто, я знаю. Работается ему — ее заслуга, не работается — ее вина... Ох уж эти непредсказуемые художники! Но ничего, попробуем, рискнем...

Она позвонила Вадиму на следующий день и назначила свидание в кафетерии Дома журналистов. Когда Вадим пришел, они уже сидели за столом, пили кофе и, лениво беседуя, поглядывали на мужчин. Увидев Вадима, обе приосанились и заулыбались. Елена действительно оказалась симпатичной, но Вадим отметил, что она накрашена чуть больше, чем надо, и ее очки и серьги несколько не соответствовали платью по цвету. «Ничего, это мелочи, вкус отшлифуем, — подумал он, — зато сразу видно: взгляд доброжелательный, и улыбка приветливая». Без тени волнения Вадим поздоровался и сказал Елене:

— Я немного слышал о вас и уже заранее немного влюбился.

— Правда? — кокетливо удивилась Елена.

— Правда. Я знаю, например, что вы учитесь в институте.

— Да, в гуманитарном, — с притворной гордостью уточнила Елена.

— И у нее уже есть высшее семейное образование, — встала знакомая Вадима, увеличивая диапазон талантов подруги.

Елена подавила игривый смешок и покраснела.

— Да вы опасная женщина, в вас можно влюбиться... Но у вас вроде неудачно сложилась семейная жизнь, — несколько прямолинейно сказал Вадим, выдавая то, что знает, хотя мог бы это и скрыть, подождать, пока Елена сама расскажет.

— А у кого она сейчас удачлива? Ты, например, счастливый? — вставила знакомая Вадима и внезапно, увидев кого-то, поднялась.

— Я отойду на минуту.

Выходя из кафетерия, она подмигнула Вадиму, то ли поощряя выбранный им темп, то ли напоминая, кто является спасителем его холостяцкого прозябания.

— Да, я счастливый, в общем-то, — сказал Вадим Елене.

— Как интересно. Первый раз встречаю счастливого человека. Только вы не очень похожи на счастливого.

— Похож. У меня все хорошо. Любимая работа, друзья.

— А личная жизнь? — с живым лукавством спросила Елена и поправила очки.

— Я был счастлив.

— Так ведь были, — Елена тряхнула хвостом и улыбнулась.

— Знаете, с годами я все больше замечаю, что особой разницы между счастьем и несчастьем нет. Все зависит от нашего взгляда, от того, как все расценивать. Вот я разошелся с женой и чувствовал себя таким несчастным, а теперь понимаю, что был счастливчик.

— Не знаю, не знаю, — пожала плечами Елена и отвлеченно улыбнулась. — Как-то это очень путано.

Их приятельница все не подходила, и Вадим догадался, что это не случайно. Елена положила сумку на свободный стул.

— А то еще подсядет кто-нибудь, — объяснила Вадиму, с явным желанием отгородиться от лишних ушей.

— Давайте выпьем чего-нибудь, — предложил Вадим.

— Я не пью, — как-то извинительно произнесла Елена.

Вадим не стал выяснять: подобное благоразумие — результат болезни или определенный принцип жизни. Он просто сказал:

— Это неважно. Женщина должна поддерживать уровень застолья. Я выпью, а вы поговорите со мной, хорошо? Кофе еще взять? Здесь самый лучший кофе и самые большие пирожные.

Елена хохотнула, вздернула плечом и согласно кивнула.

Выпив, Вадим разговорился. Подтрунивая над собой, рассказал о своей захлавленной комнате, которая ему дороже всяких замков, и добряках соседях, поочередно подкармливающих его в надежде, что он увековечит их на полотнах, о «москвиче», в котором постоянно копаются, ремонтируя поломки.

Елена слушала с улыбкой, затаив дыхание, смотрела на Вадима почти зачарованно; иногда кивала и поддакивала, выражая полное понимание. «Как хорошо она держится, — в какой-то момент подумал Вадим, — внимательно слушает, не перебивает; а нужно быть неглупой женщиной, чтобы уметь молчать, особенно когда общаешься с таким опытным говоруном».

Потом он отметил, что она и сидит красиво, «пусть немного картинно, напоказ, но что за женщина без маленьких хитростей, да и ей есть что показать — фигура отличная, ничего не скажешь».

Поздно вечером Вадим подвез Елену к ее дому, они обменялись телефонами и договорились встретиться на следующий вечер.

Стояла сухая длинная осень, бульвары полыхали желто-красным цветом. «Опять осень, — усмехнулся Вадим, невольно припомнив далекое время. — Везет мне на осенние

знакомства». Он сидел на скамье и вдыхал теплый вечерний воздух и, посматривая в сторону метро, откуда должна была появиться Елена, поймал себя на том, что совершенно не волнуется. Он испытывал чувство, похожее на влюбленность, и заранее предугадывал с Еленой серьезные отношения, но без сложностей и беспокойства: был уверен в своем превосходстве, в том, что будущее всецело зависит от него.

Когда Елена пришла, Вадим предложил:

— Может, вначале зайдём перекусим в Дом журналистов, а потом заглянем к кому-нибудь из моих друзей-художников?

— Давайте, — безропотно согласилась Елена, и Вадим подумал, что у нее наверняка покладистый характер, что она не ломает его образ жизни и будет проявлять искренний интерес к его увлечениям; от этого мгновенного доверия ему захотелось быть с ней особенно внимательным, развлечь ее, ввести в круг своих знакомых.

В тот день он был без машины: забарахлил мотор. «Ну и пусть, — решил Вадим. — Не стану возиться. В такую погоду одно удовольствие просто погулять по улицам». Они пошли по бульвару, и Вадим заговорил о себе в несколько ироничной, как ему казалось, форме:

— Знаете, Елена, до своих тридцати восьми я жил бездумно: любил компании, курил, выпивал, питался урывками, а теперь хочется тишины, покоя... И женщин любил резких, всяких личностей, а теперь люблю тихих, послушных.

Елена улыбнулась, взяла Вадима под руку, всем своим видом показывая, что она как раз и есть такая женщина — воплощение кротости и покорности.

О работе Вадим сознательно не говорил, надеясь, что Елена и так догадается, что он не только занимался веселым времяпрепровождением. Почему-то с ней он чувствовал себя особенно уверенно и, выставляя свое прошлое в неприглядном свете, думал: «Наверняка таких, как я, у нее не было».

За ужином Елена наконец тоже немного рассказала о себе, рассказала нехотя, как-то растянуто, невыразительно. Вадим даже подумал о ее инфантильности и скрытности, но неожиданно Елена переключилась на корректорш, с которыми работает, и ее лицо засветилось. Ерзая на стуле и жестикулируя, она вначале рассказала про какую-то увядающую толстуху, которая постоянно говорит о свободных сорокалетних мужчинах, которые уже разведены и хотят заиметь новую семью, и что вторые браки крепче первых; затем про «беспечную девицу», которая приходит на работу с запасным платьем и после обеда переодевается, нацепляет медальон, бусы.

— Она прям упивается своей внешностью, — смеялась Елена. — Ставит зеркало на рабочий стол и все время в него поглядывает, поправляя прическу... И каждое утро расписывает нам захватывающие истории, как она идет на работу, а к ней подходит то солист оперы, то режиссер кино — все знаменитости...

Рассказывая о недостатках сотрудниц, Елена испытывала нескрываемую радость и явно устанавливала дистанцию между собой и глупыми женщинами, но при этом сама была в ярком броском платье и держалась манерно. «Ничего, — улыбался Вадим. — Доля игры в поведении женщины придает ей лишнюю заманчивость».

Потом они поехали в мастерскую приятеля Вадима. Этот художник, угрюмый человек, писал сумрачные индустриальные пейзажи; на его работах дымили гигантские трубы, небо перечеркивала паутина проводов, землю опоясывали бетонные магистрали, по которым неслись грузовики и прокопченные мазутом платформы; кое-где как символы задавленной жизни виднелись пучки чахлой растительности, чумазные дети, дворняги.

— В жизни нет ничего недостойного внимания художника, — говорил он. — Но художник только ставит задачи, а решать их должен зритель.

Открывая дверь своего подвала, он бурчал в радостном возбуждении:

— Вот хорошо, что пришли, а я только подумал: и чего никто не заглядывает в мою берлогу? Совсем никому до меня нет дела. Так очоуришься — и не спохватятся.

Он с подчеркнутой обходительностью провел Елену на середину мастерской, усадил на стул, потом обнял Вадима и вдруг отстранился с ухмылкой:

— Чтой-то ты черный какой-то. Что за траур на лице? Это вы его доконали? — он повернулся к Елене. — Да, редуют ряды холостяков, снаряды уже ложатся рядом. Но я-то еще держусь. Так что, старик, выше нос. Я-то еще не умер.

— Брось ты свой дурацкий юмор, — Вадим хлопнул приятеля по плечу. — Покажи лучше, что натворил.

Художник поставил на диван несколько холстов с еще не высохшим маслом и сосредоточенно сморщил лоб:

— Вот попытался показать в меру сил... Не мазки, а исполинская мощь. Видали, какие рабочие кварталы? А какие небритые мужики и нервные, сумасшедшие женщины?.. Каждый работает на своей территории, в своем творческом пространстве. И здесь художник не ограничен, его свобода зависит от его совести, морали, — и, обращаясь к Елене, заключил: — Вообще, живопись наглядна, она действует или не действует. Вам нравится?

— Интересно, — с деланной сухостью произнесла Елена. Она смотрела картины, щурила глаза и как-то искусственно улыбалась.

Вадим сразу понял, что она не разбирается в живописи, но стесняется в этом признаться, боится показаться невеждой. Она изо всех сил строила из себя интеллектуалку, но ей трудно давалась эта роль. Вадим-то видел, что в душе она радуется, что попала в другой, неведомый мир. «Чудачка!» — великодушно думал он, чувствуя себя первооткрывателем и испытывая от этого что-то вроде гордости.

— Наши генералы от живописи зажимают меня, — зычно побрякивая, бормотал художник. — Но мое имя уже не зачеркнешь! А выставлять меня боятся, потому что сразу станет ясно, кто чего стоит. Представляете, как они себя неуверенно чувствуют, если всего боятся? Но настоящее искусство так же живуче и неостановимо, как развитие природы... Некоторые сейчас занимаются модной абстракцией, заколачивают деньги. Но это шарлатанство. Сальвадор Дали говорил: «Я богат, потому что в мире много кретинов». Ну то есть публику можно дурачить... А у меня все подлинное.

Через час Вадим с Еленой собрались уходить, и художник полусуто выдал последний залп мрачного юмора:

— Ну куда вы заспешили? В общении растягивается время, а спешка приближает к пропасти.

— Опять ты за свое! — махнул рукой Вадим.

Когда они вышли, Вадим спросил:

— Ну как мой тяжеловесный приятель?

— Вначале я думала, он ворчун и брюзга, а потом поняла, что он просто одинокий. Ему надо жениться, — Елена уже сняла напускную маску и говорила трезво и расчетливо, имея в виду, что упорядоченная жизнь не только полезна для здоровья, но и стимулирует творчество. — А вообще, я научилась никого не осуждать, — добавила она, забыв, что говорила в Доме журналистов. Но Вадим не заметил ее противоречивости.

— Надо же! И я тоже. Только мне для этого понадобилось около сорока лет, а вы уже дошли. И как вам удалось?

— Женщина все чувствует лучше мужчины, — с наивной ясностью изрекла Елена далеко не оригинальную мысль, но Вадиму все равно стало приятно от этого неприкрытого простодушия.

Последующие вечера они провели у Вадима. В полночь Вадим отвозил Елену домой, но раза два она звонила матери, говорила, что задержится у подруги, просила уложить

спать дочь и оставалась у Вадима до утра. В одну из таких ночей она сказала:

— У меня ведь никого не было, кроме мужа. Ты второй.

Вадим не спрашивал, она сказала сама, и явно неправду, хотела выставить себя в лучшем свете, чтобы Вадим оценил ее жертвенность. «Но, если ей так хочется, пусть так и будет, — подумал он. — В конце концов, если человек не хочет помнить прошлое, то его как бы и не было».

Елена жила с матерью и дочерью в двухкомнатной квартире на улице Кедрова. Комнаты были небольшие, узкий коридор и вовсе представлял собой некий склад невостребованных вещей: в нем стояли детский велосипед, лыжи, ящик со старой обувью, валялись оплывшие свечи, разное тряпье; из ванной от газовой колонки в кухню тянулась водопроводная труба.

В комнате Елены, оклеенной лимонными обоями, на полу лежал ковер, а в застекленном шкафу виднелись книги; среди книг красовались разные безделушки и несколько гжельских чашек. Эта домашняя выставка говорила о каком-то блуждающем вкусе хозяйки и представляла собой сочетание мнимой роскоши и убожества; она явно преследовала определенную цель — создать иллюзию богатства.

Семилетняя Ира, черноглазая, вертлявая девчонка, встретила Вадима насупившись, но, как только он нарисовал ей зверей, сразу полезла к нему на колени и заверещала:

— У наших соседей живет щегол в клетке, и к нему прилетает другой щегол, который живет в парке. Он приносит жуков...

Мать Елены, густо напудренная, молодящаяся особа, преподавала в ПТУ. В первый же вечер, когда Вадим с ней курил на кухне, она с нескрываемой враждебностью поведала о зяте-алкоголике, которого она выгнала из квартиры и заставила дочь подать на развод, о подругах дочери — девицах легкого поведения.



Вадим отмалчивался, слушая ее мелкое злословие, и думал: «Как странно, и Тамара ругалась с матерью, хотя мать и боготворила ее. Похоже, в доме должна быть одна хозяйка».

— Мы постоянно ругаемся, — пояснила Елена Вадиму. — Но квартиру мать разменивать не хочет. Тогда ей не на ком будет разряжаться. Всех моих знакомых разгоняет, не хочет нас с Ириной терять. Она прежде сама намеревается выйти замуж. Только кто ее возьмет?! У нее жуткий характер.

С появлением Вадима мать Елены почувствовала серьезную угрозу своему главенствующему положению в семье. Некоторое время она всячески старалась перетянуть Вадима на свою сторону в войне с дочерью, но, поняв, что это ей не удастся, еще больше озлобилась и стала настраивать внучку против матери:

— Она только и думает, как бы тебя бросить. Ты им мешаешь.

Ребенок, точно задерганный звереныш, в смятении бегал из одной комнаты в другую.

Мать Елены была мелочной и жадной до абсурда: могла закатить скандал из-за котлет, которые у нее якобы взяла Елена (они питались отдельно). Но иногда расщедривалась, устраивала «посиделки» для своих сотрудников, причем приглашала одних мужчин. В такие дни доставала коньяк, икру, надевала прозрачное платье, дочь и внучку просила называть себя Нонной, но после очередного неудачного оболъщения досаду и раздраженность вымещала на дочери. Видимо, когда-то внешне она была интересной женщиной, но злость и зависть преждевременно состарили ее, в пятьдесят лет она ссутулилась и стала покрываться бородавками.

Вадим встречался с Еленой ежедневно и все больше приходил к выводу, что именно такая женщина ему и нужна — с мягким характером, женщина, с которой можно спокойно жить и работать.

Зимой Вадим переехал к Елене. «Второй раз вхожу в чужой дом, и опять ребенок и мать, — усмехался он про себя. — Но ничего, главное — Елена послушная, и у нас нет разногласий». Вадим очутился в квартире, где жили три вечно ссорящиеся особы. В первые дни он еле успевал их разнимать, но постепенно ему удалось сгладить раздоры — все-таки появление мужчины в доме наложило отпечаток на поведение женщин.

Перед сном Елена привыкла мыть ноги дочери, стелить ей постель, рассказывать сказки.

— Ира, — сказал Вадим, — как тебе не стыдно, ты же взрослая, а мама моет тебе ноги! Ну-ка давай сама!

Вадим объяснил девчонке, как работает будильник, научил готовить яичницу и переходить улицу. Ире нравилось проявлять самостоятельность — уже через неделю с радостью сама ходила в школу и бегала в магазин за хлебом.

Мать Елены заикнулась было о незаконности сожительства Вадима с ее дочерью, но он твердо сказал, что у них гражданский брак и что «главное — прижиться друг к другу, а расписаться можно и попозже».

— Счастье должно быть не на бумаге, а по существу, — подержала его Елена, втайне злорадствуя, что поступила в пику матери, но все-таки надеясь, что вскоре они оформят брак.

В своей комнате Елена сделала перестановку: выделила Вадиму отдельный закуток за шкафом, поставила там столик, трогательно огородив его ширмой. Но в этой «мастерской» Вадим работал только вечерами, а по утрам, после того как отвозил Елену на работу, по-прежнему отправлялся на Сокол.

С первых дней Елена придирчиво следила, чтобы у Вадима были чистые рубашки, готовила его любимые блюда и к заботам о нем и хозяйственным хлопотам относилась со всей серьезностью.

Их семейная жизнь с самого начала приняла четкий распорядок: в будни продукты покупала Елена — после работы заходила в кулинарию, а по субботам в магазины отправ-

лялся Вадим, при этом Елена выдавала ему не больше трех-четырёх рублей и составляла список необходимых продуктов — всего понемногу. Она считала себя экономной, но ее практицизм был какой-то бескрылый. Она любила хорошо поесть, но за счет расходов на еду покупала одежду и откладывала деньги «на всякий случай».

Субботние вечера они проводили у телевизора, сидели обнявшись на тахте, обсуждали передачи; иногда Елена вязала или разгадывала кроссворды, а случалось, брала телефон и подолгу разговаривала с какой-нибудь подругой. Как-то краем уха Вадим услышал, что Елена дает подруге квалифицированные советы по вопросам интимной жизни, и его покорило неприкрытый цинизм, с которым она об этом говорила, и поразили ее глубокие познания в этой области, но потом он подумал, что святость женщины все-таки не в том, что она многого не знает, а в том, что знает, но ведет себя пристойно.

По воскресеньям они ходили в кино, а после сеанса Елена пекла торт «Тетя Лиза» — гордость своего кулинарного искусства.

В этом незатейливом ритме жизни Вадима привлекало то, что с Еленой было легко: по вечерам она всегда была дома, вовремя готовила обед и ужин. Вадиму нравилась комната Елены, но кое-что он хотел бы в ней изменить; прежде всего его раздражали ярко-лимонные обои, застекленный шкаф с безделушками, массивный сервант. Он даже взял работу «для денег», чтобы привести комнату в порядок, но, как только получил деньги, Елена потратила их на совершенно нелепые вещи, вроде огромной вазы, которая, по ее понятиям, должна была «украсить дом».

Став женой художника, она решила сделать комнату оригинальной, купить необычные одежды и вести светскую жизнь. Она не понимала, что с каждым новым вычурным платьем все больше теряет свою привлекательную особенность.

В конце концов Вадим пришел к выводу, что его устремления обновить комнату бессмысленны — у них с Еленой просто-напросто несовпадение вкусов: Елена имела пламенную, «факельную» мечту — купить ковер, заграничную стенку, цветной телевизор, хрусталь, расшитую дубленку. Логическим абсурдом всего этого была мечта ходить по воскресеньям в ресторан «Гавана». А Вадим планировал только одно — путешествовать на машине. Но эти разногласия не портили их отношений. Вадим всерьез не принимал мещанских мечтаний Елены, потому что просто был далек от них, а Елена не возражала против поездок, но хотела бы ездить по морским побережьям и останавливаться в кемпингах.

В середине зимы, сдав очередную книгу и получив гонорар, Вадим решил устроить перерыв в работе и занялся капитальным ремонтом машины в гараже приятеля. Елена с готовностью согласилась ему помочь; после работы переодевалась и отмывала детали в солярке, перетягивала обивку салона. Временами ей надоедал этот черновой труд, в нее вкрадывалось сомнение, заработает ли машина снова, она ворчала, что Вадим тратит много денег на запасные части, но все-таки каждый вечер выполняла нудные обязанности.

В гараже Вадим простудился, и Елена целую неделю ставила ему горчичники и готовила настойки.

— Лучший способ всегда оставаться молодой — выйти замуж за старого больного мужчину, — шутила она.

Когда Вадим собрал машину и обкатал ее, он снова стал отвозить Елену на работу. Она садилась на сиденье, скорчив равнодушную гримасу:

— Ну и что, такая же машина, как и была, только кучу денег ухлопали.

Она делала вид, что ее ничем не удивишь, но Вадим видел: она еле сдерживает радостную приподнятость.

По пути Елена рассказывала Вадиму, как когда-то с работы ее подвозили на заграничных машинах какие-то, явно

придуманые, поклонники. Вадим не разоблачал это мелкое вранье, неискусные уловки. «Ей хочется казаться лучше, чем она есть, ну и пусть, — думал он. — Только как она, чудачка, не понимает, что кого-то играть легче, чем быть самой собой».

Однажды Вадим заглянул к Елене на работу и удивился атмосфере, царившей там: все просто отсиживали время и только посматривали на часы. Заходил начальник — начинали листать папки, уходил — снова болтали и утомительно ждали звонка, после которого срывались так дружно, что сталкивались в дверях. На работе рассказывали анекдоты, болтали, кто как накануне провел вечер, а после работы шли к метро — говорили о работе.

По вечерам Вадим заезжал за Еленой в институт. Она выходила из аудитории с подругами, на ходу укладывала тетради в сумку, оттирала платком чернила на пальцах, весело обсуждала сокурсников, педагогов. Елена и ее подруги были внешне чем-то похожи — казалось, они специально подбирали друг друга. Узнав их поближе, Вадим пришел к выводу, что внешне похожие люди одинаковы и внутренне.

— Мы вас подвезем, — небрежно, с горделивой улыбкой бросала Елена подругам, подчеркивая, что является владелицей собственной машины.

Она рассказывала приятельницам про очередной фильм, который они с Вадимом смотрели в Доме журналистов, про мастерские художников, о том, как летом поедут на машине в Крым. Елена хвасталась интересной, насыщенной жизнью, показывала, что у нее есть взрослый мужчина, художник, который сильно ее любит, ежедневно провожает и встречает.

Несколько раз она даже отпускала в адрес Вадима колкости, бесцеремонно хлопала его по плечу — вот, мол, смотрите, девчонки, кого я отхватила. И он делает все, что ни скажу.

Подруги улыбались, смотрели на Вадима с восхищением, говорили Елене, что рады за нее, но украдкой со жгучей завистью покусывали губы.

«Конечно, — усмеялся про себя Вадим, — в Елене много наносного, но зато ей доставляет радость и самая малость: купит кофту, съест вкусный ужин, посмотрит хороший фильм, разгадает кроссворд — и счастлива. У всех такие запросы, а она счастлива от немногого. Это редкое качество».

Иногда Елена приглашала сокурсниц на «Тетю Лизу». Перед приходом гостей подолгу тщательно продумывала свой наряд — ей хотелось выделиться среди подруг; и новые одежды она покупала скорее не для того, чтобы нравиться мужчинам, а чтобы «девчонки отпали».

Во время посиделок Елена с подругами вели пустуюговорильню о шмотках, телевизионных детективах, пересказывали театральные сплетни о том, кто из актеров на ком женат.

Для Вадима эти молодые женщины были инородными людьми, и поначалу они не раздражали его; он великодушно слушал их болтовню, даже включался в разговор и снисходительно подтрунивал над ними. Ему нравилось, что они смотрят на него как на мудрого, опытного мужчину. Случалось, Вадим заводился и развлекал женщин какими-то веселыми историями, после которых слушательницы смеялись до слез.

— Наверное, Вадим, когда вы были помоложе, вы были очень интересным, — как-то сказала одна из подруг Елены.

От неожиданности Вадим растерялся, но все же отреагировал:

— Как раз наоборот. Сейчас я интересный, а был дуралеем.

На этих женских сборищах непременно присутствовала соседка Люба, полная двадцативосьмилетняя женщина, которая носила не одежду, а охапку разноцветных платков и лент. Она входила в квартиру, расточая улыбки и картинно демонстрируя «легкую походку». Собственные пышные формы не давали Любе покоя: ей постоянно казалось, что мужчины смотрят на нее «похотливыми взглядами» и делают разные «непристойные намеки».

Как-то Вадим столкнулся с ней у подъезда, и она вдруг возмущенно спросила:

— Почему вы так на меня смотрите?

— Как? — не понял Вадим.

— Как-то плотноядно, — она вскинула голову и удалилась «легкой походкой».

За столом Люба налегала на торт и сидела спесивая, напряженная, говорила мало, а если и открывала рот, то взвешивала каждое слово, отчего казалась еще напряженнее. Она работала учетчицей на каком-то заводе, жила одна, но всем говорила, что ее муж за границей и что он постоянно присылает ей духи и платья.

— Все Любка выдумывает, — сказала Елена Вадиму. — Никакого мужа у нее нет и не было. Она старая дева. Как-то призналась, что не вышла замуж из-за стыдливости и застенчивости. Умора!.. Она давно отключилась как женщина. Ее основное занятие — вышивание собачек.

Елена все чаще устраивала вечеринки, ей казалось, что они оживляют будни, что жена художника должна иметь открытый дом, приглашать гостей. Войдя в творческую среду, она решила кое-что изменить и в своем образе жизни, искренне веря, что поднимается на высший уровень...

Через некоторое время Вадиму стало надоедать это женское общество. Как только к Елене приходили подруги, он, ссылаясь на неотложные дела, садился в машину и ехал к приятелям в Дом журналистов. Самым странным для Вадима оказалось то, что Елена могла засидеться со своими подругами до полуночи, но, когда однажды он пришел с приятелем, она уже в девять вечера состроила кислую мину, а потом зашептала Вадиму в ухо, прямо при госте:

— Не забывай, мне ведь вставать в семь часов.

Проводив приятеля, Вадим недовольно сказал Елене:

— Что за комендантский час в доме? Со своими дурехами болтаешь о всякой ерунде до ночи, а мы говорили о серьезном, так тебе было скучно. Весь вечер куксилась.

— По правилам хорошего тона в гости не ходят без приглашения, — вяло возразила Елена. — Мне вас даже угощать было нечем. Да и вы готовы сидеть до утра. У меня уже глаза слипались.

— Правила хорошего тона — это отсутствие всяких правил, — повысил голос Вадим. — Вести себя надо так, чтобы не доставлять другим неудобств. Кстати, шептаться в компаниях — самый дурной тон.

Это была их первая ссора; она быстро забылась, но Вадим для себя сделал вывод, что Елене не хватает воспитания, что она оторвалась от людей с душевной глухотой, но и не примкнула к интеллигентам. Он невольно вспомнил общество Тамары, среду актеров, где люди жили искусством. «А эти подружки Елены — какие-то стертые личности, — думал он. — У них в голове только одно: заграничные вещи, рестораны, получить диплом все равно какого института и как предел мечтаний — удачно выйти замуж. Как было бы замечательно объединить в одной женщине талант, острый и гибкий ум Тамары и легкий покладистый характер Елены. Наверно, это невозможно, я хочу совместить несовместимое, ведь обычно одно исключает другое».

В свою очередь Елене не нравились отлучки Вадима на Сокол, она не понимала, почему он не может работать в закутке-«мастерской» и тратит попусту время на разъезды. К тому же она думала: раз Вадим художник, он будет писать ее портреты — в пальто и шляпе, в платье, обнаженную; думала, он будет замечать, что она с утра надела, как сидит, как освещена ее рука, а он съедал завтрак, заводил машину, и мчал на Сокол, и возвращался усталый, неразговорчивый. Долгое время все это она терпеливо сносила, но однажды все же намекнула Вадиму, что его почти не бывает дома и что он мог бы написать хотя бы один ее портрет.

— Удел женщины — ждать, — отшутился Вадим. — А портрет обязательно напишу.



Про себя он размышлял: «Все-таки одно дело — встретиться с человеком, другое — жить с ним. Когда мы встречаемся, мы все замечательные, а начнем совместную жизнь — уже кое-что не устраивает... Да и интересы оказываются разными, и быт засасывает. Кому-то надо нести белье в прачечную, кому-то выносить помойное ведро. Может, это все мелочи, когда люди любят друг друга, а ведь у нас с Еленой изначально было просто влечение. Пожалуй, нам не стоит расписываться. Все же брак должен быть только по любви».

Раз в месяц появлялся бывший муж Елены — Володя, тридцатилетний парикмахер. Он приходил подвыпивший, с шоколадом для дочери. Простой хороший парень, он любил бывшую жену и сильно переживал их развод. С его появлением Елена становилась агрессивной; от мужа требовала только алименты и ругалась, если он приносил мало денег. Обычно с его приходом Вадим отправлялся к приятелям, но бывало, они пили чай втроем, и тогда Вадиму приходилось успокаивать разгоряченную гражданскую жену.

Еще раньше мать Елены рассказала Вадиму, что зять сломался после того, как дочь ему изменила. Вадиму было жаль парня, при нем он чувствовал себя неловко, ему казалось, что он вошел в чужую жизнь и тем самым помешал Володе сохранить семью, наладить отношения с женой. Но однажды Володя сказал, что ни на что не надеется, что Елена слишком презирает его и что он приходит «просто побыть около нее». Дочерью он почти не интересовался, да и Елена старалась не подпускать ее к нему. Случалось, выпив, Володя звонил Елене поздно вечером, пытался что-то выяснить, что-то объяснить. Елена слушала, закатив глаза к потолку, вставляла едкие словечки, потом крикливо обрывала разговор и швыряла трубку. В конце концов она окончательно возненавидела мужа, и тогда он стал приходить к Вадиму. Переминаясь с ноги на ногу, объяснял Елене, что «пришел поговорить с ним». Вадим не отказывался, чтобы не причинять парню боль.

У Володи был мотороллер, и до знакомства с Вадимом Елена часто пользовалась услугами мужа: звонила ему, чтобы подвез на работу (он жил у матери на соседней улице) или к дочери в детсад. И Володя незамедлительно забрасывал свои дела.

— Я верчу им как хочу, как куклой, — хвасталась Елена подругам.

Как-то Вадим с Володей сидели вдвоем на кухне; разливая водку, Володя безнадежно вздыхал:

— Мне бы надо жениться снова. Их, девиц, как ты догадываешься, у меня полно. Я ведь дамский мастер, и не последний. Одно время работал в салоне. Сейчас уже не то. Руки потеряли чувствительность, ведь вожусь с мотороллером. Но девицы все равно идут ко мне, а не к женщинам-мастерам. Сейчас скажу, почему. Давай выпьем... Они, как бы тебе объяснить, всегда идут к мужчине-мастеру. Ведь женщина-мастер никогда не сделает другой женщине на уровне. Это дело тонкое. Тут надо знать психологию женщин. Настоящая прическа — это ведь что? Это когда не чувствуется, что ты вышел из парикмахерской, только твоя голова приобрела аккуратность. Это, как ты догадываешься, сложное дело... Так вот, я и говорю, что у меня достаточно девиц. Полная записная книжка. И есть красотики, я тебе скажу, первоклассные... а вот хожу сюда. Ты, кстати, на меня не в обиде? Если что, скажи. Но, понимаешь, наверно, я люблю Лену. Ничего не могу с собой поделывать. Да ты разливай, чего там!

В начале нового года Вадим на десять дней уехал в Дом творчества, решил в уединении закончить несколько холстов к весенней выставке и за десять дней сделал больше, чем за иной месяц, поскольку не тратил время на разъезды по городу, не отвлекался на бытовые обязанности в Еленином доме. В Москву он вез связку из четырех картин. В электричке вместе с ним ехало еще несколько художников.

— Меня встретит на вокзале жена, — сказал один.

— А я дал телеграмму подружке, должна подойти, — объявил другой.

Вадим не просил Елену встречать его, но внезапно увидел ее на платформе — она стояла, прижавшись к фонарному столбу; больше никаких встречающих не было. В метро Вадим подумал: «И почему свое счастье всегда кажется настоящим, а чужое — прямо сказочным? Одна встреча Елены чего стоит!»

В последующие дни Вадим подолгу задерживался на Соколе, делал макеты журналов, открытки и одновременно подготавливал давно задуманную серию портретов «Философы России». Точно штангист, постепенно увеличивающий вес штанги, он подводил себя к пиковой форме для серии, но терзался, что теперь, взвалив на себя новую семью, несет двойную нагрузку: делает основную работу и выполняет заказы ради денег. В заказной графике он все делал на приличном уровне, но то, что первым приходило в голову. Он постоянно испытывал нехватку времени, а спешка не позволяла придумывать лучшие решения. «Использую старые, заезженные методы, — усмехался он про себя. — Центр тяжести в работе все больше смещается в сторону ремесленничества... Неужели сломался? Неужели меня покинул запал?» Вадим мучился, оттого что стал повторяться, он постоянно боролся со своей совестью, хотел побыстрее разделаться с заказами и писать «для души». «Главное — сбросить этот груз, — рассуждал он. — Освободить перед собой пространство, а вдохновение придет, для него нужен всего-навсего какой-нибудь внешний импульс».

К Елене он приезжал усталый, раздраженный, но она не понимала его состояния, спокойно ставила перед ним суп и с довольной улыбкой спрашивала:

— Ну как продвигаются макеты, открытки? Скоро закончишь? Может, на эти деньги купить тебе и мне по дубленке?

Как-то Вадим вернулся с Сокола ночью и от перенапряжения долго не мог уснуть, но рано утром Елена разбудила его:

— Вставай! Мне пора на работу. Отвезешь меня? Или знаешь что, я сама доберусь, а ты сходи в магазин.

В другой раз Вадим работал ночью, и приехал только под утро, и сразу крепко уснул. Утром Елена его не будила, но с работы позвонила и недоуменно воскликнула:

— Как, ты все еще спишь?! Ты знаешь, сколько времени? Я уже наработалась... Совесть у тебя есть?

В Елене не было природного творческого потенциала, она не понимала, что художники — люди настроения, которое зависит от успеха или неудачи в работе. От этого непонимания она пыталась упорядочить жизнь Вадима, приспособить его к своему режиму. Вадим не подчинялся, и это злило ее.

На весеннюю выставку Елена явилась чрезмерно разодетой, надела на себя все, что, по ее мнению, представляло ценность. Вадим встретил ее и подумал: «Можно надеть старую одежду, даже заштопанную — но безвкусную?» Картины Елена почти не смотрела, зато ежеминутно брала Вадима под руку, подводила к разным группам художников, всем улыбалась, говорила какие-то ничего не значащие слова: «довольно интересно», «занятно», «красиво, но вяло», «не прописано»... Она изо всех сил показывала, что имеет прямое отношение к живописи, а ее яркая индивидуальность служит источником вдохновения Вадима, стимулирует его творчество и без нее он вряд ли сделал бы что-нибудь дельное.

Вадиму было стыдно за Елену, несколько раз он останавливал ее, просил держаться скромнее, но она простодушно вопрошала:

— Чем ты недоволен, не понимаю?

— И не поймешь, — обреченно заключал Вадим.

Он опять вспоминал Тамару, у которой все манеры были естественные, врожденные, а не приобретенные и наигранные. Внутренняя культура позволяла ей в любом обществе вести себя раскованно, но в определенных рамках и с до-

стоинством. Но главное, она подпитывала его творчество, Елена же обедыняла.

У Елены приближался отпуск, и Вадим предложил провести его где-нибудь в деревне у реки, но Елена восприняла это как насмешку. Она даже чуть не расплакалась от возмущения.

— Я всю зиму мечтала поехать к морю, а ты говоришь о какой-то деревне! У меня ведь отпуск один раз в году. Я так устала. Давай поедem к морю на машине. Твоя машина не развалится по дороге? (она никогда не говорила «наша машина», всегда «твоя машина»). И Ирину я возьму, мне не с кем ее оставить. Мать не хочет с ней сидеть. И поедem на Кавказ в Холодную Речку. Там есть одна знакомая, мы у нее отдыхали в позапрошлом году.

— Почему именно на Холодную Речку? Это ведь далеко. Уж если ехать, то в Крым. Там полно хороших мест.

— Там можно и не устроиться, а здесь приедem на все готовое. И место красивое, и рынок рядом, и у хозяйки есть где готовить...

...До Кавказа добирались три дня; ночевали в машине, а обедыняли и ужинали в придорожных столовых.

Холодная Речка находилась за Гагрой и представляла собой поселок на склоне горы; там в море впадала вытекающая из ледника речушка, и даже в сильную жару вокруг ее устья ощущалась прохлада.

Хозяйка сдала Елене мазанку, стоявшую во дворе особняком среди инжирных деревьев, окованных камнями. В комнате было три кровати и тумбочка с графином, на стенах, видимо, для увеселения отдыхающих, висели вырезанные из журналов картинки.

Весь день Вадим, Елена и Ира проводили на пляже, где в море спускались белые, отполированные водой скалы и от камней, точно с наковальни, отлетали брызги. Искупавшись, Елена с безмятежной улыбкой загорала и без передышки, обливаясь соком, хрустала фруктами. Вадим смотрел на нее

умиленно; «Бедняга, она всю жизнь жила в нужде», — думал он, испытывая и жалость к ней, и тревогу за последствия такой безмерной ненасытности. Время от времени Елена переворачивалась, чтобы каждая часть тела получала определенную дозу солнечных лучей; после «солнечной ванны» растирала кожу оливковым маслом. К этим процедурам она относилась крайне серьезно...

Вадим с Ирой, выйдя из воды, садились на раскаленные от солнца камни и рисовали акварелью. Девчушка изо всех сил изображала из себя прилежную ученицу, старательно копировала каждый мазок Вадима, внимательно выслушивала все его наставления...

Случалось, Елена загорала до тех пор, пока не впадала в короткий обморок. Вадим, как бдительный страж, постоянно следил за ней и вовремя уводил под тент.

Во второй половине дня они на машине ездили за продуктами в Гантиади, и Елена готовила обед. По вечерам смотрели фильмы в клубе санатория, а уложив Иру спать, Вадим с Еленой спускались к морю и купались в темной ночной воде; потом сидели на лежаке, смотрели на проходившие мимо в огнях прогулочные катера, слушали плеск волн.

— Как же здесь хорошо! — потягивалась Елена, радуясь беспечному отдыху. — На юге нет лучшего места... А ты в Новом Афоне был? Это недалеко отсюда. Давай завтра поедем. Там пальмы и озеро с плавучим ресторанчиком. Зайдем и пообедаем... Поедем с утра — и покупаться, и позагорать успеем.

По Новому Афону она ходила чрезмерно возбужденная, говорила громко, у каждого киоска с деланным равнодушием покупала сувениры, в магазинах со скучающим лицом приценивалась к дорогим вещам — изображала миллионершу, готовую купить весь магазин.

В ресторане она еще больше вошла в роль богачки и решила шикануть: заказала шампанское и самые любимые блюда.

— Нас уже поджигают денежки, — напомнил Вадим.

— Ну и пусть! Я раз в год на отдыхе и могу себе позволить обед с шампанским, — торжествовала Елена. — К тому же на обратную дорогу нам денег почти не надо.

— Только на бензин, — согласился Вадим. — Но не мешало бы иметь немного в заначке на всякий случай. Здесь, на камнях, покрышки сильно ободрались. Не знаю, дотянем ли до Москвы.

— Как-нибудь дотянем, — оптимистично улыбнулась Елена.

После обеда, захмелев и покрасневшись, она откинулась на стуле, небрежно раскинула руки, положила ногу на ногу и даже попыталась закурить, но закашляла и потушила сигарету. За ее мнимой пресыщенностью, наносным аристократизмом виднелась плохо скрываемая, бьющая через край радость. В какой-то момент Елена не выдержала, потянулась и выдохнула:

— Здесь все чудесно! Здесь даже небо не такое, как в Москве! Огромное, бездонное, яркое!

Вадим от всего этого испытывал тайную веселость, ему было и приятно, и смешно наблюдать, что доставляет Елене столько удовольствия.

Через две недели в Холодную Речку приехала отдыхать мать Елены. Она уговорила внучку остаться с ней, и в Москву Вадим с Еленой возвращались вдвоем. На последние деньги залили в канистры бензин, накупили винограда и за один день доехали до Ростова. В пути попадались поля кукурузы и подсолнухов, заросли яблонь-дичков. Глядя на изобилие даров природы, Елена нервничала, то и дело просила Вадима остановиться и рвала дармовой урожай до тех пор, пока не завалила им всю машину. Вадим пытался воззвать ее к благоразумию, но она заявила, что из яблок сварит такое варенье, что он, Вадим, потом пожалеет, что не помогал ей.

Переночевав в машине, на следующий день они проехали еще большее расстояние, но, как Вадим и предвидел,

покрышки прямо на глазах стирались, через каждые сто километров приходилось останавливаться и заклеивать камеры.

Вторую ночевку провели под Тулой, до Москвы оставалось всего ничего, но покрышки окончательно пришли в негодность — Вадим измучился монтировать колеса, а Елену, казалось, это не особенно беспокоило: она помогала зашкуривать резину, мазать ее клеем и, пока заплата сохла, невозмутимо разгадывала кроссворды.

— Вот черт! — ругался Вадим. — И как я не оставил заначку! Нам бы рублей десять, купили бы камеру в ближайшем гараже.

— Ничего, как-нибудь доедем, — успокаивала его Елена.

— Можем и не доехать, и придется добираться электричкой. А машину оставить в каком-нибудь поселке, а потом мне подъехать с новыми камерами...

— Как это «добираться электричкой»? — встревожилась Елена. — А до электрички как? И я могу не успеть на работу. Мне же завтра выходить.

Она отложила кроссворды, ее беспокойство все нарастало.

— Вообще-то... У меня есть двадцать рублей. Хозяйка дала. Просила купить ей комбинацию и выслать...

«Какое плебейство! — думал Вадим, голосуя на шоссе, чтобы доехать до ближайшего гаража. — Ведь я из-за нее спешил, чтобы она не опоздала на работу. Весь отдых сразу перечеркнула... Что это — мелкое вранье или патологическая жадность?!» Вадима переполняла злость, лицо перекопилось от презрительной гримасы. И тут же на шоссе перед ним возник силуэт Тамары; точно призрак она шла к нему из какой-то далекой панорамы. Шла легко, почти не касаясь земли; шла к нему, и слабая улыбка освещала ее лицо.

...Вернувшись в Москву, Вадим подавил в себе неприязнь к Елене, все-таки их связывало и много хорошего, но тот случай в дороге послужил для него предупредительным сигналом.



Теперь он уже без улыбки смотрел на списки необходимых продуктов; больше того, стал замечать, что Елена старалась подать ему вчерашнюю еду, черствый хлеб, «чтобы не пропадало». Его стало раздражать то, что она долго крутится перед зеркалом, принимает тщательно продуманные позы, все время «делает вид» и при каждом удобном и неудобном случае раздевается, чтобы продемонстрировать свой «немыслимый загар». «Женщина должна краситься и одеваться незаметно, ненавязчиво, не тратя на это много времени», — думал Вадим и опять вспоминал Тамару, которая ходила без всякой краски, носила строгие одежды... В отношениях между Еленой и Вадимом появилась трещина, которая с каждым днем ширилась, отдаляя их друг от друга.

После отдыха, совершенно неожиданно для самого себя, Вадим долго не мог включиться в работу; раньше в такие минуты его поддерживала Тамара, а теперь ему не от кого было ждать помощи. Ко всему, Елена чуть ли не ежедневно напоминала Вадиму о том, что им совершенно не на что жить.

— Если не думать о деньгах, жизнь — прекрасная штука, — пытался шутить Вадим.

Но Елене было не до шуток. Прежде всего, по ее понятиям, Вадим мало работал.

— Вот видишь, — говорила она, — целую неделю ты раскачивался, почитывал книжки, встречался с друзьями, а вчера один вечер посидел и сразу что-то сделал. А сколько ты сделал бы за неделю?

— Чепуха! — защищался Вадим. — Как раз когда тебе кажется, что я бездельничаю, я напряженно работаю, обдумываю все... А зарисовать недолго, было бы что-нибудь в голове.

Неожиданно перед ним снова возникала Тамара, но теперь она смотрела без всякой улыбки, строго, осуждающе, и Вадим в отчаянии думал: «И опять деньги! Что же получается: я никак не могу привести в гармонию свою личную

жизнь и творчество?! Одна давила, другая не понимает». А Елена все упорней твердила:

— Сейчас пойдут дожди, а у меня нет даже сапог... Мужчина должен прилично зарабатывать. Я тружусь с утра до вечера.

Она действительно утром уходила, вечером приходила, но за целый год Вадим так и не разобрался, что она на работе делает. Иногда ему казалось, что ей все равно, где работать, лишь бы побольше получать, что ее ограниченные интересы все равно приведут к ограниченной жизни.

Вскоре Вадим получил деньги, и Елена на время стала воплощением мягкой, веселой жены, но стоило Вадиму заикнуться, что он подумывает продать свой драндулет и приобрести новую машину, как Елена запротестовала, сказав, что ни у него, ни у нее нет приличной одежды, и, когда Вадим сдался, купила себе дубленку, а ему костюм. Почувствовав слабость Вадима в денежных делах, Елена стала вести себя смелее, с маниакальной решимостью запланировала новые покупки — цветной телевизор, палас. Ее мечты оказались далеко не утопическими, а напряженность в отношениях с Вадимом заставляла ее задумываться о возможном разрыве, и она спешила осуществить свои мечты.

— Знаешь, Елена, ты устраиваешь какое-то товарное счастье. Без этих вещей мы можем спокойно обойтись, а на новой машине сможем путешествовать, сгоняем в Закарпатье, в Крым, — доказывал Вадим. — Ведь моя колымага вот-вот развалится совсем. Надоело ремонтировать: то одно выходит из строя, то другое.

— Ты только и думаешь о своей машине, о себе, — заключила Елена. — А я думаю обо всех: чтобы в доме было уютно, чтобы мы с Ириной могли смотреть цветные передачи и ты свои спортивные. Я столько об этом мечтала!

Елена обвиняла Вадима в эгоизме, а он ее в мещанстве, и во время этих размолвок каждому из них становилось

ясно, что у них полярные интересы и взгляды, которые рано или поздно приведут к разрыву.

«В свое время я просто рассчитал, что она мне подходит, — рассуждал Вадим. — Сам себя подогрел, распалил до влюбленности. Это был самообман».

Все чаще он вспоминал Тамару: «У нее, конечно, был несносный характер, но она — личность, она никогда не опускалась до таких низменных мотивов, мелких склок... И между нами никогда не было игры, все происходило естественно. И уж что-что, а в работе она была единомышленницей и другом. Конечно, она выкидывала разные номера, но незаурядный человек может себе позволить многое, а вот посредственность...»

С Тамарой-то был совсем другой уровень общения, с ней даже ссоры были прекрасными. Конечно, временами она бывала злой и говорила мне хлесткие, уничижающие слова, но в конце концов ей хватало ума подавить в себе ожесточение и даже взять на себя вину за ссору».

— Знаешь, — сказал однажды Вадим Елене, — я поеду к себе, мне хочется несколько дней побыть одному.

«Пусть поживет одна пару-тройку деньков», — подумал он и, подхлестываемый злостью, направился к метро, но уже через квартал пошел медленнее, потом закурил, потоптался на одном месте в нерешительности и поехал в Дом журналистов.

В кафетерии его приятели веселились в обществе женщин, но Вадиму почему-то не захотелось подсаживаться к ним. Выпив у стойки чашку кофе, он стал перебирать в памяти события последних дней, но как-то само собой эти события стали перекликаться с другими, более давними. Вадим вспомнил прошлогоднюю осень и первое свидание с Еленой, когда они шли по бульвару и она доверчиво прижималась к нему, вспомнил, как она без видимых сложностей оставалась у него, — теперь-то, узнав ее мать, он понял, чего ей это стоило, какой это был акт мужества. Он увидел свое рабочее место в Елениной комнате, закуток-«мастерскую»,

который она заботливо обставляла, и его неудержимо потянуло к ней.

Но Елены дома не оказалось, и Вадима чуть не затрясло от ревности. «Неужели вот так сразу уехала к своим подружкам и сейчас веселится в компании каких-нибудь балбесов?!» — внезапно пришло ему в голову.

Он ждал ее до полуночи, потом хлопнул дверью и поехал на Сокол. Подошел к дому, а она сидит под его окном на скамье, удивленная, растерянная.

— Давно тебя жду, — сказала, поеживаясь от холода. — И знаешь что?! Мне не нравится наша неопределенность. Я кто для тебя — сожительница или жена? Мне подруги все уши об этом прожужжали. Пора тебе решать...

— Да, — с заминкой ответил Вадим.

И все же трещина между ними расширилась: прежде, разбегаясь по делам, они все время перезванивались, теперь звонили редко. То Вадим, то Елена возвращались домой поздно, и, что самое гнусное, — они стали друг другу врать. Ложь Елены было легко распознать — она убеждала в повышенном тоне, вранью Вадима Елена почти верила, но обычно через день-другой он сам пробалтывался, и тогда она начинала громко ругаться, совсем как ее мать.

Они уличали друг друга во вранье, ссорились, постоянно что-то выясняли и все больше запутывали свои отношения. Когда Елена была на работе, Вадим скучал по ней, но, как только они встречались, спешил уйти в Дом журналистов к приятелям.

Из отпуска вернулась мать Елены с Ирой; она приехала еще более раздраженной, чем была до отдыха. «Видимо, ни с кем не завела романа», — решил про себя Вадим. Почувствовав разлад в отношениях «молодоженов», мать Елены начала донимать, изводить дочь с удвоенной силой:

— Отравили мне всю жизнь! И что видит внучка?! Разменивай квартиру, больше не буду с вами жить! Поеду хоть куда, только бы вас не видеть. И Иришку возьму с собой!

По вечерам на кухне происходили настоящие баталии. После одного из скандалов Вадим предложил Елене переехать на Сокол, но она боялась всяких перемен:

— Ирину надо переводить в другую школу, да и привыкла я здесь. Говорят, дом сломают, мне дадут отдельную квартиру.

— Ты и так получишь, ведь не будешь выписываться, — убеждал Вадим.

— Нет-нет, оттуда на работу ехать дольше, да и соседи...

Теперь, разговаривая по телефону с подругами, Елена вставляла одну и ту же фразу, что ее дела — «что-то среднее между плохо и очень плохо», и нарочно, чтобы задеть Вадима, говорила о давних поклонниках, которые имели заграничные машины. Вадим усмехался, вспоминал, как однажды Тамара приехала с работы на самосвале (не могла поймать такси), и думал, что настоящие личности опускают всякие нормы и правила и не нуждаются в самоутверждении.

В доме царил напряженная атмосфера, и только отношения между Вадимом и Ирой оставались прежними — чистыми и дружескими. Девчушка пошла во второй класс, и по вечерам Вадим загадывал ей загадки со счетом и писал записки с ошибками. Эти ошибки вызывали бурное негодование ученицы, она исправляла их красным карандашом, и безжалостно ставила двойки, и прятала листки в шкаф, в надежде при случае открыть всем глаза на «безграмотность дяди Вадима». Стоило Вадиму при знакомых о чем-нибудь заспорить с ней, как она грозила:

— Сейчас покажу всем твои записки. И все узнают...

— Ира, прошу тебя, не делай этого! — нарочито испуганно махал руками Вадим. — Только не это!

— То-то! — смеялась довольная мстительница.

Однажды зимой Елена с Ирой принесли продрогшего щенка.

— Дядь Вадь! — крикнула Ира с порога. — Мы щенка принесли. Его кто-то подбросил в подъезд.

Щенка назвали Лесси. Живое существо стало новым членом семьи, заботы о котором на некоторое время всех сплотили, даже мать Елены перестала скандалить, только все время морщилась:

— Собака опять нагадила. Идите убирайте за ней.

В полгода собачонка заболела чумкой, врачи говорили — животное обречено, но Вадим с Еленой решили не сдаваться: достали лекарства, научились делать уколы и в конце концов собаку вывели, правда у нее остался нервный тик.

Весной Елена окончила институт, получила диплом, но на ее работе свободной ставки не было.

— У тебя полно знакомых, — сказала она Вадиму. — Устрой меня в какую-нибудь редакцию.

Знакомых в редакциях у Вадима на самом деле было много, и все обещали помочь, но дальше разговоров дело не шло.

— Они все трепачи, твои приятели, — усмехалась Елена уже без наигранности. — Им только бы пьянствовать с тобой... И ты такой же. Сколько раскачиваешься, никак не возьмешься за работу. Уж лучше бы работал в штате, а то деньги получаешь от случая к случаю. Твои крупные суммы так же быстро уходят, как и приходят...

В разговорах с подругами она высказывалась откровенней:

— Куда ему меня устроить, самого-то никто не берет!

Она сознательно унижала Вадима, подхлестывала его самолюбие. Долго он стойко переносил эти уколы, пока не пришел к окончательному выводу, что покладистость Елены оказалась ложной, а ее уютный домашний мир обернулся полной бездуховностью, посредственной серостью. «Думал, она послушная, — усмехнулся Вадим. — В этом смысле Тамара была действительно послушная. Ведь послушание не просто поддакивание, а умение смотреть на мир твоими глазами».

Однажды Елена все же вывела его из себя, когда начала выяснять отношения при дочери.

— Ира, иди поиграй на кухню, — только и сказал Вадим, но Елена взбеленилась и выдала чудовищную глупость:

— Не свой ребенок, потому и гонишь, да?!

— Ты просто дура! — вспыхнул Вадим. — Где тебе понять меня! Все твои духовные запросы сводятся к кроссвордам. У тебя первобытные инстинкты, рептильные интересы.

— Ну и пусть!.. Подумаешь, художник! Да хороший характер важнее всякого таланта. Вы все эгоисты, живете для себя, как вам хочется. Вам нельзя заводить семью. Вон Володя — простой парикмахер, а семьянин, меня сильно любит. Уж лучше жить с ним.

А в это время Володя, чтобы заглушить любовь к Елене, решил жениться на медсестре из провинции. Когда Елена узнала об этом, она потеряла дар речи, а придя в себя, набрала телефон мужа:

— Ты что, правда женишься?.. Поздравляю! Сколько ей лет?.. Влюбился, что ли?.. Просто хорошо вдвоем? Уморительно! И когда свадьба?.. Приглашаешь?.. Ну спасибо. Приду.

Вадим отговаривал ее идти на свадьбу, но она заявила:

— Пойду посмотрю на дуреху, которая решила выйти за него. Поздравлю и уйду.

Во время свадьбы невеста, доверчивая девчушка, спросила Елену о любимых блюдах Володи. «Пиво — его любимое блюдо», — едко усмехнулась Елена. Потом села на колени к бывшему мужу, целовалась с ним, открыто подсмеивалась над его избранницей, пока не довела невесту до слез.

Вадим наконец втянулся в работу, начал делать портреты философов. Теперь после работы он чувствовал не только приятную усталость, но и приподнятость. «Как странно, — рассуждал он, — никогда раньше не замечал, что, когда работаешь, замедляется бег времени и все неурядицы кажутся чепухой. Наверно, перед теми, кто непрерывно работает, отступают даже болезни». В разгар работы соседка Люба получила квартиру и пригласила Елену с Вадимом на новоселье. Об этом она оповестила их заранее, за неделю, и все это

время Елена готовилась к торжеству, но в назначенный день Вадим позвонил ей с Сокола:

— Елена! Я должен закончить одну вещь. Все идет как никогда, и не хочу прерываться. Выбьюсь из ритма. Сходи без меня.

Елена прямо онемела на том конце провода.

— Как же так?! Я и платье новое сшила!..

Вадим не стал больше ничего объяснять, понимал, что трещина между ними превратилась в непреодолимую пропасть. Повесив трубку, он заспешил к мольберту.

Летом Вадим заканчивал работу над портретами философов, работал по четырнадцать часов в сутки, не выходя из комнаты, работал спокойно и уверенно, не посвящая даже приятелей в суть дела, зная по опыту, что от излишних разговоров можно потерять интерес к теме.

Закончив работу, Вадим чувствовал себя вдрызг разбитым, опустошенным. Он не мог больше находиться в своей комнате, не мог смотреть на палитру, от запаха красок его выворачивало.

А в комнате Елены он прямо-таки задышался от тесноты, чувствовал себя запертым среди ненужных вещей. «Не комната, а клетка, — раздраженно думал он. — Живу среди мещанской красоты, в какой-то вязкой скуке, и меня все больше затягивает в эту трясиину». Ему хотелось уехать куда-нибудь в деревню, пожить в тишине, побродить по лесу. Он был не прочь уехать один, но это выглядело бы предательством по отношению к Елене — она тоже устала и от работы, и от ссор с матерью, и от каких-то непонятных отношений с ним, Вадимом. За время его работы они виделись редко и говорили односложно, с нескрываемым безразличием. Они даже не ссорились, их не связывала ни любовь, ни ненависть, между ними просто ничего не происходило. Получалось, что конфликт возник из ничего; у нее была своя жизнь, а у него своя; попытались найти общее — не получилось. Вадим предложил Елене провести отпуск в средней



полосе, взять палатку, байдарку и пожить на Оке, но Елена настроилась ехать на Кавказ — и уже не в Холодную Речку, а непременно в дом отдыха.

— Неужели ты не можешь достать путевку в своем союзе? — с кислой гримасой шумела она. — Хочу отдохнуть цивилично, как все нормальные люди. Туризм — мальчишество. Женщины, которые таскают рюкзаки, халды... И вообще, я не могу так отдыхать. Всякиеготовки мне за год осточертели.

— На юге много суеты и шума, — возражал Вадим. — А на Оке тебе понравится. Вода прозрачная, теплая. Песок белый, пляжи по километру, в лесу полно грибов, ягод.

В конце концов Елена согласилась, но только на неделю и с условием — взять дочь и Лесси. С недовольной миной она начала собирать вещи, то и дело задавая глупые вопросы:

— А спать будем на жестком, да? А что будем есть, если поблизости не будет деревни?

«Даже со мной Елена боится за себя, — думал Вадим. — А вот Тамара рискованная, она пошла бы за мной в море, даже если б не умела плавать».

...Они разбили палатку в прекрасном месте среди сосняка на берегу реки — прямо-таки в оздоровительном оазисе. И с погодой им повезло: всю неделю палило солнце. Рядом с ними расположилась группа туристов, и по вечерам они сидели вместе у костра. В обществе туристов Елена корчилась из себя бывалую байдарочницу, изо всех сил старалась скрыть унижительную, как ей казалось, неопытность...

Больше всего Елену поразило обилие грибов и ягод. Туристы купались, загорали, играли в волейбол, пели песни. Елена даже «закаливание» променяла на «сбор подножного корма». С утра до вечера делала запасы на зиму; сушила грибы, ходила в деревню за сахаром и варила из ягод варенье.

Встречаясь с недоуменными взглядами туристов, Вадим отшучивался, говорил, что на Елену «напала грибная лихорадка и это скоро пройдет», но с каждым днем Елена все больше заражалась накопительством, от нее исходила

какая-то взволнованная глупость, и главное — она мучила ребенка и больную собаку: случалось, они выходили из леса только к вечеру.

Там, на реке, перед Вадимом все время возникала Тамара. Он не вызывал ее, она являлась сама. Чаще всего она неподвижно стояла у воды на влажном песке — стояла, опустив руки вдоль тела, смотрела на него и улыбалась. И что странно — когда он с ней жил, она была нетерпеливая, страстная, резкая, а здесь весь ее облик выражал нежную смиренность. И смотрела она с тихой печалью, каким-то извиняющимся взглядом, как бы говорила: «Время рассудит нас» — и точно просила прощения за все обиды, которые когда-то ему нанесла. А Вадим уже и не помнил тех обид. Почему-то все, связанное с ней, осталось в памяти как светлые дни, наполненные музыкой. Конечно, ссоры были, жестокие, хлесткие, казалось же ему когда-то, что жизнь с Тамарой — сплошной ад, но это был прекрасный ад, а не то что теперь — пустое изнурительное однообразие, докучливая хроника.

По возвращении в Москву Елена с наигранной бодростью хвасталась подругам жизнью на реке, показывала фотографии, угощала вареньем; всячески превозносила себя, а Вадима и туристов выставляла в нелепом, дурацком виде. Она вела себя как плохая провинциальная актриса с нарочитыми, выученными манерами.

Как только Елена заговаривала, Вадим непроизвольно переносился назад, в свою прошлую жизнь. И видел Тамару, грациозную, стройную, в полупрозрачной дымке. Теперь она танцевала. Танцевала только для него, торжественная, с одухотворенным лицом, и снова ему улыбалась. Точно в замедленном фильме, перед Вадимом проходили все ее партии, он отчетливо слышал музыку, видел рисунок танца. Закончив один танец, Тамара начинала другой, но в воздухе еще долго оставался след от предыдущего. Эти следы наслаивались друг на друга, постепенно растворялись и таяли. «Для чего она является? — думал Вадим. — И как мне излечиться от этого на-

важдения, от этих навязчивых картин? Как будто кто-то нарочно ее посылает и ждет, что из этого получится!»

От натиска прошлого Вадим стал рассеянным, отвечал невпопад, во сне произносил имя Тамары. Раза два Елена язвила по этому поводу, но ему уже было все равно. А потом Елена объявила, что ей достали горящую путевку, и уехала к морю.

Она вернулась загорелая и веселая и стала чуть ли не ежедневно навещать на почту. Вадим понял, что у нее кто-то появился, но неожиданно для себя даже обрадовался такому повороту, только удивился: «Надо же, постаралась перед нашим разрывом найти замену, и у нее даже нет комплекса вины».

Они еще немного пожили по инерции, в монотонных буднях, точно добровольные узники, потом Вадим сказал:

— Наверное, Елена, нам пора расходиться.

— Я не против, — она пожала плечами. — Надеюсь, ты не заберешь то, что мы купили на твои деньги, ведь на мою зарплату мы питались.

— О чем ты говоришь! — устало махнул рукой Вадим.

— Ты к нам будешь приезжать? — дрожащим голосом спросила Ира, когда Вадим собирал вещи. Она еле сдерживалась, чтобы не разреветься.

— Конечно, как только захочешь со мной поиграть, позвони — и я тут же приду. А скоро ты подрастешь и будешь сама ко мне приезжать. Ведь мы с тобой друзья, верно?

Лесси тоже почувствовала неладное, у нее усилился нервный тик, который, когда Вадим уехал, перешел в припадок; через неделю она умерла. Елена сообщила об этом Вадиму по телефону.

— Приезжай, закопай ее где-нибудь.

Вадим закопал собаку под вишнями в парке недалеко от дома.

# ВЕТЕР НАМ В СПИНУ!

---

Исключительно правдивое путешествие автора  
с закадычными приятелями со множеством приключений  
и всем прочим

---

*Тем, кто борется с неудачами и не теряет  
надежды на лучшее, фантазерам и чудакам —  
короче, тем, кто любит путешествовать*

## *Предисловие*

Да, ребята, сейчас немало подростков, у которых в голове только компьютерные игры и дискотеки; от них только и слышишь: «тусовка», «прикольно», «гламур» и прочую словесную дребедень. Эти подростки не приучены к труду, они хотят делать лишь то, что нравится — в основном развлекаться. И, конечно, они никогда не видели восхода солнца, не слышали кукованье кукушки, не сидели у костра, не испытали себя на выживание в сложных условиях — короче, не путешествовали.

Но, к счастью, все же больше ребят, которые что-то делают своими руками, что-то изобретают, занимаются творчеством, спортом. Само собой, такие подростки любят природу и совершали походы с рюкзаком или ходили на байдарке — то есть проверили себя на прочность, доказали, что не пропадут в любой ситуации. Надеюсь, вы из этих ребят и вам не надо объяснять, как в путешествиях насыщена жизнь, сколько в коротком отрезке времени

случается захватывающих приключений. Так что начну сразу с нашей поездки.

Было это давно, когда нам только исполнилось по двадцать лет. Представьте себе верховье порожиистой реки и меж валунов, точно призрак, плот с парусом. Парусник то и дело бросает в пучину, он совсем исчезает в пене, и кажется, что смельчаки на плоту обречены, а они выплывают целехонькие, как ни в чем не бывало. На плесах их поджидают ловушки водяного, на стоянках — капканы лешего, но они вовремя разгадывают козни нечистой силы, а русалкам, зазывающим в глубину, отвечают ироничными усмешками.

Я расскажу все по порядку, но прежде познакомлю вас с моими приятелями. Вот уж чудачки так чудачки! Таких вы вряд ли встречали.

### ***Глава первая, в которой, надеюсь, вы посмеетесь***

Один из моих приятелей — Валерий Котельников. Родственники зовут его Лерик, девушки — Валерчик, приятели — Котел. Он длинный и плоский, как доска, его лицо всяких оттенков, от сизого до цвета вареной брюквы, руки тонкие и болтаются, как на шарнирах, а ноги кривые, точно он всю жизнь сидел на бочке. Вот такой портрет, такая отталкивающая внешность. И я не преувеличиваю, ни в коем случае. Но внешность Котла — мелочь в сравнении с его сутью.

Прежде всего он постоянно выпячивает свою исключительность, от него исходит дух превосходства, он считает себя страшно умным, а своих приятелей, соответственно, полными дураками. Мало того, он притворщик и безответственный лодырь. Мы не гнушались никакой работы, вкалывали в поте лица, а он целыми днями созерцал при-

роду (то, видите ли, натер ногу, то отлежал руку), и вдобавок у этого бездельника еще хватало совести давать всякие ехидные советы и указания: «принеси, подай, захвати!». «Раз уж ты поднялся, посмотри, как там... и заодно прихвати...». Прямо хоть не вставай.

Бывало, Котел весь день корчил из себя больного: стоял, прикладывал руку ко лбу, но, стоило заикнуться про обед, бодро вскакивал, и от его болезни не оставалось и следа. Или стоило заметить какую-либо несуразность на реке — сразу чувствовал прилив энергии и с яростью обрушивался на все, на чем бы ни останавливался его взгляд.

Спешу сообщить: Котел языкастый и задиристый, с изощренно агрессивными замашками. Не вздумайте поинтересоваться просто так, для приличия: «Как дела?». Будет болтать до изнеможения. В путешествии он частенько заводил разговор о недостатках в нашей жизни (в своей обычной заковыристой, вьедливой манере). Начинал издавека, о том о сем. Я-то бывалый, избегаю подобной болтовни — согласитесь, если постоянно видеть только плохое, то и жить не захочется. К тому же надо не говорить, а действовать. Говорить-то все мастера, но как доходит до дела — в кусты. А ведь мы все в ответе за то, что происходит вокруг нас, верно? Так вот, как только Котел заводил эту говорильню, я сразу сматывал удочки, а какой-нибудь простофиля вроде Кукина (мой второй приятель, о нем потом расскажу, это тоже фрукт тот еще!) — такой простофиля, не подозревая, что его ожидает, развесит уши и слушает. Котел его и заговаривал насмерть.

Котел когда-то окончил музыкальную школу, увлекается джазом и всех делит на музыкантов и немусыкантов. Меня-то еще терпит (у меня абсолютный слух), а Кукина вообще не принимает всерьез (тот ни одной песни не может спеть правильно; еще в школе на уроке пения ему сразу ставили четыре, чтобы он только не пел). В путеше-

ствии Котел взял транзисторный радиоприемник и гитару, и своим джазом перевернул наши внутренности.

Поймите меня правильно. Я человек современных взглядов и люблю классический джаз, но всему свое время и место, не так ли? Ну не глупо ли на природе, когда хочется слушать пение птиц, шелест трав, звон ручья, запускать оглушительные ритмы, разные музыкальные коктейли?! Честное слово, иногда хотелось взять его гитару и долбануть о дерево. Между прочим, соседи Котла постоянно жалуются на него за «слишком громкую музыку», за «неуважение к людям», за «бездушные и каменные сердца». А по-моему, у Котла вообще сердца нет — у него внутри насос для перекачки крови. Кстати, с соседями Котел воевал пять лет и — надо же! — победил, они смирились с его какофонией.

Котел чрезмерно чистоплотен, до противного. Ему везде мерещатся микробы; хотя он прекрасно знает, что мы живем в мире микробов и с каждым вдохом поглощаем их тысячами, тем не менее панически их боится: дома постоянно протирает мебель и обеззараживает воздух ультрафиолетовой лампой, посуду моет марганцовкой, а после ухода гостей устраивает дезинфекцию хлоркой.

По утрам Котел прихорашивался, надевал новую рубашку и галстук, выливал на себя полфлакона одеколона — хоть надевай противогаз — и делал на голове пробор, причем вылизывал его так долго, что казалось, разделит пополам и череп. Представляете, как это выглядело со стороны? На плоту среди разных снастей стоит тип, одетый с иголки! Он портил весь вид и смотрелся совершенно нелепо — словно парфюмерная этикетка на крепком мужском напитке.

Каждый вечер этот пижон клялся, что с утра начнет новую жизнь: будет вставать чуть свет, заниматься гимнастикой, обливаться. Справедливости ради замечу: один раз действительно рано встал, начал кувыркатся, но по-

том плюнул и снова лег. Котел вообще выглядел жалким в нашей компании. Трудно было поверить, что он способен что-то делать, что-то мастерить. Между нами затесался не мужчина, а парниковый цветок и белоручка. Он, видите ли, не мог укрываться колючим одеялом и спать на жестком. Но, когда я его пристыдил, он вспыхнул:

— Да почему, собственно, я должен терпеть неудобства? Я вам предлагал взять раскладушки и спальники на пеликаньем пуху. Вы подняли меня на смех, а теперь вот мучаюсь.

Еще перед поездкой Котел извел меня идиотскими вопросами:

— А что будем делать, если польют затяжные дожди? А вдруг лодка перевернется, что тогда?

По словам Котла, он обладает неограниченными возможностями: может влезть на самое высокое дерево или убить самого свирепого хищника. Но это по его словам, вы же понимаете, а очки втирать он умеет здорово. Говорит, например, что отлично стреляет. Не знаю, правда это или нет. Скорее, сочиняет. Даже точно, врет. Ведь ружье-то мы захватили, но он его почему-то побаивался.

Или плавание! Хотите верьте, хотите нет, но за все путешествие я так и не понял, умеет ли он вообще плавать. По-моему, может только недолго держаться на воде. Во всяком случае, этот рохля постоянно намекал на какую-то свою таинственную болезнь, что-то вроде водобоязни.

Каждый вечер, укладываясь спать, Котел вокруг себя поливал жидкость от насекомых, но те ползли по стенам палатки до потолка и прыгали на него сверху. И, кстати, только на него. Нас с Кукиным они не трогали.

Со мной и Кукиным Котел разговаривает бесцеремонно, язвительным тоном и громко, почти кричит; так обычно говорят с дураками, думая, что до них быстрее дойдет (я не раз убеждался, что он нас недооценивает; например, расскажет анекдот и объясняет, что в нем смешного).



Другое дело — почитатели джазовой музыки, их Котел любит всем сердцем; разговаривает с ними умиленно-размягченным тоном и веселится в их обществе до неприличия. А этих самых почитателей-обожателей, фанатиков-меломанов у него целая туча. Он чуть ли не ежедневно шастает из компании в компанию, бренчит на гитаре, «оживляет общество», как массовик-затейник. Наблюдая за Котлом, я сделал открытие: человек, неизбирательный в дружбе, имеющий слишком много знакомых, не может быть порядочным человеком. Пояснить? Не надо! Вот именно!

Все, что касается собственных успехов в джазе, Котел беззастенчиво преувеличивает. Он закоренелый врун, то есть врет с подробностями. Послушаешь его, так именно он родоначальник русского джаза. Но не вздумайте усомниться в проповеди Котла и перебить его. Начнет все сначала и загнет похлеще, обрушит на вас неиссякаемое словоизвержение. Лучше всего ему поддакивать и делать вид, что верите. А еще лучше удивиться: «Ну и ну, скажи пожалуйста!» Неплохо также вставить: «Бесспорно!». Котел сразу опустит глаза и замолчит. Но не думайте, что ему стыдно. Если Котел опускает глаза, ему ни капли не стыдно — он обдумывает новую липу. В это время можно уйти. Другого способа нет, поверьте мне. Однажды очень вежливо я напомнил Котлу:

— Учти, Бог видит твои злодеяния. Ты наверняка попадешь в ад.

И знаете, что он мне ответил?

— А я туда и хочу. Там общество лучше.

Последний и самый ужасный недостаток Котла — безумные идеи. Он весь набит идеями, как сделать нашу страну процветающей.

— Чего изобретать велосипед! — вещает он. — Надо взять самую богатую страну, все скопировать с нее, и дело с концом.

Я человек осторожный, выслушиваю разные мнения и терпим к чужим взглядам. Может быть, в идеях Котла что-то и есть, но пусть от них трещит только его голова. Беда в том, что, когда Котлу втемяшивается новая идея, он становится опасен для окружающих — ведь он не успокоится, пока не изложит ее приятелям и не проверит их реакцию — такие у него драконовские методы.

Вот, кажется, о Котле все. Все плохое, конечно. Хорошее в нем тоже есть, иначе он не был бы моим другом, вы же понимаете. Только добрые дела Котла настораживают, даже вызывают подозрение — все привыкли к его подвохам. Его достоинства вы увидите дальше — хорошее в людях всегда видно, ведь они скрывают только плохое. Вот я и вывел Котла на чистую воду, чтобы вы не строили иллюзий на его счет.

Да, чуть не забыл! У Котла есть еще один недостаток: он студент медицинского института; не знаю, как вас, а меня вид халата и запах лекарств выводят из равновесия. Вот уж кто мастера морочить голову, так это врачи! Сколько раз я от них слышал: «Примите это, примите то, хуже не будет». Или: «Это может помочь, но может и навредить». Короче, я знаю только один способ выздороветь — внимательно выслушать врача и поступить наоборот.

## ***Глава вторая, в ней, думаю, вы тоже не будете скучать***

Теперь о втором моем приятеле — толстяке по прозвищу Кука, которого я тоже знаю как облупленного.

Настоящее его имя и фамилия — Александр Кукин. Он сокурсник Котла по институту, тоже будущий врач. Кука — это сто килограммов жира, втиснутые в широченные брюки и женскую кофту (он почему-то всегда носит кофты своей бабушки и при этом говорит: «Красиво то, что удобно»).

Лицо у Куки круглое, как сковородка, его щеки виднеются из-за спины, глаза водянистые и мутные, а губы выпячены, и кажется, что он все время лезет целоваться. Кука рыжий, со светлыми ресницами и бровями — точь-в-точь огородное пугало. Пальцы у Куки толстые, как сардельки, и, когда он их сжимает, его кулачищи внушают трепет. Рядом с Кукой мы чувствуем себя в безопасности — чуть что посылаем его вперед, как танк.

При встрече Кука крепко пожмет вам руку, так крепко, что у вас захрустят пальцы — здороваясь с ним, будьте начеку. Но не думайте, что он рад встрече — просто дает понять, что занимался борьбой и намерен разговаривать с позиции силы. В этом вы убедитесь с первого же вопроса. Например, спросите:

— Не знаешь, какая завтра будет погода?

А он тут же бестактно:

— А ты знаешь?

То есть сразу заставляет вас обороняться. В этом сквозит какая-то болезненная подозрительность, вызванная, как мне кажется, общением с Котлом (у них не просто витиеватые отношения — все значительно сложнее). Прощаясь, Кука непременно хлопнет вас по плечу (или обнимет медвежьей хваткой) и пожелает удачи, но не очень большой — гораздо меньшей, чем обычно желает самому себе.

У Куки тоже набирается охапка отрицательных черт. Меньше, чем у Котла, но все же штук пять-шесть есть. Сейчас их перечислю.

Прежде всего, у Куки излишняя фантазия. Подогретый болтовней Котла, распалив жгучее воображение, он по вечерам бегал вокруг палатки, надувался, принимал устрашающие позы, пинал воздух, делал выпады и фырчал — пугал невидимых врагов. Днем он носился по окрестностям и безостановочно палил из ружья в воздух (днем он был гораздо смелее, чем ночью, — Котел это называл «преувеличенным почтением к темноте»).

Все путешествие напористый Кука изнывал от тоски. Его кипучая натура тянулась к подвигам, он все время хотел если не переделать весь мир, то хотя бы столкнуться с опасностью, но это ему никак не удавалось. Он постоянно ходил увешанный охотничьими доспехами (с утра напяливал патронташ) и, чтобы поддержать в себе воинственный дух, горланил марши. Из своих вылазок он приходил взлохмаченный и помятый, ложился на землю, пыхтел, сопел и хрипло тянул:

— Когда-нибудь призовут к ответу всех, кто измывался над природой, рубил живые деревья, загрязнял реки.

Куке всюду мерещатся грабители. Как-то я возвращался с грибной прогулки и он, безрассудный, приняв меня за разбойника, выстрелил. Хорошо, что попал в корзину, а ведь мог и в меня! Когда же мы на самом деле засекли браконьера, он, естественно, промазал. Вот эта воинственность Куки, его безответственность в поступках — огромный недостаток. Думаю, вы согласны со мной. За него Куку рано или поздно упекут в тюрьму.

По ночам Куку мучили кошмары: во сне он хрюкал, и свистел, и улюлюкал, и лягал нас, и бил, и вопил какие-то команды. Первое время я толкал его в бок. Но разве этот чурбан что-нибудь чувствовал! Он переворачивался и гремел еще громче. Тогда я будил его и посылал за чем-нибудь и, пока он ходил, успевал заснуть.

Главное, Кука спал с открытыми глазами. Поэтому никогда нельзя было сказать с полной уверенностью: спит он или бодрствует. Тем более что спал он где попало. Прикорнет, например, у дерева, ему орешь, а он не слышит. Подходишь, а он спит стоя, как лошадь. Один раз так уснул и свалился в костер, но мне, к сожалению, не довелось увидеть этого интересного зрелища. Знаю только, что Котел еле стащил дымящегося Куку с угляй.

— Я постоянно не высыпаюсь, — говорил Кука. — У меня накопленная усталость, дел невпроворот. Это Котел в ин-

ституте лишь бумажки перебирает, а я на практике в больнице вместе с врачами оказываю людям конкретную помощь, — Кука смеялся, довольный своим благородством.

Кука невероятный обжора — еда для него важная часть жизни; пищу он уминает с рычанием и копает ложкой, как экскаватор. Похоже, у него пять желудков, и ничего нет удивительного, что его разнесло. Сам Кука так объясняет свое пламенное пристрастие:

— Я привык есть про запас. На всякий случай. (Кстати, он может одновременно есть суп с печеньем или селедку запивать сладким чаем. «В желудке все встретится», — говорит.)

Бывало, набьет себя, погладит живот, «червячка заморил», — пробасит. Я ни минуты не сомневаюсь, что при определенных условиях Кука стал бы людоедом, то есть умял бы и нас с Котлом... С ним стыдно ходить в приличные компании — за столом сжирает все в радиусе метра; что не успевает съесть, забирает с собой. Такие замашки! Разумеется, второй раз в гости Куку не приглашают.

Однажды захожу к нему, а стол ломится от еды, прямо ножки трещат от всяких заморских яств.

— Вот устроил праздник живота, — объясняет мне. — Решил отведать экзотики. Садись лопай! Небось, такое видел только на картинках. И правильно, нечего баловать себя, от этого может быть изжога... Но сейчас наемся, и больше мне этого и даром не надо. Я живу по-пиратски и ем то, что под рукой. И скажу тебе как врач: простая пища полезней всего. Ну и бодрящий, неслабый воздух.

Четвертый недостаток Куки — полное отсутствие музыкального слуха, но, как все люди без слуха, он особенно много и громко поет. У каждого есть любимая песня, у Куки ее нет. Он любит марши с барабанным боем; в поездке он вскакивал ни свет ни заря и во весь голос распевал бравурные куплеты. А голос у Куки — гул из погреба, и, разумеется, я постоянно не высыпался и отчитывал горлопана.

— Марши у меня вырываются произвольно, — оправдывался он. — Хочу что-то лирическое, поймать кайф, а вырывается марш.

Кука страшный спорщик. В основном с ним спорит Котел. Они постоянно сцепляются, и я удивляюсь, как за годы совместной учебы в институте не прибили друг друга. Стоило, например, Котлу сказать, что у нас мало производят лекарств, как Кука встал в боксерскую стойку.

— Зато придумали инструмент для сшивания сосудов! И вообще России во многом принадлежит первенство: Кулибин изобрел микроскоп и прожектор. Мы изобрели молниеотвод, радио и телевизор. И ледокол, и трехфазный ток, и полупроводники... И конвейер до Форда придумал Мосин. Да у тебя пальцев не хватит, если я начну перечислять! Нашими талантами питается весь мир!

— Кое-что изобретали, но что толку?! — повысил голос Котел. — Полупроводники объявили ненужными. Генетику тоже. От всего нового отмахивались, а потом, когда на Западе развивали наши открытия, начинали лихорадочно наверстывать упущенное, да не тут-то было — уже отброшены назад. Сейчас в технике и медицине отстаем на несколько лет.

— Мы и сейчас во многом неслабые! — не сдавался Кука, растопырив руки. — Возьми гидростанции, суда на подводных крыльях, ракеты, атомные ледоколы!

Я не ввязываюсь в споры с Кукой. Для меня он слишком мелок как соперник, да и что это за спор, если я только припру его к стенке, как он набрасывается на меня с кулаками и тупо бормочет:

— Давай защищайся! Сила — лучший довод в споре!

Поднаторевший в словесных баталиях, Кука спорит по каждому пустяку и при этом клянется дурацкими клятвами вроде: «Упади мне на голову кирпич, если вру!». Но допустим, ладно — он что-нибудь докажет, на этом спору и закончиться бы, так нет — Кука внезапно все объявляет наоборот.

Во время спора Кука ужасно распаляется: в горячке сбрасывает рубашку, башмаки, а после особенно затяжных споров вообще остается в одних трусах (его коронный номер). И постоянно демонстрирует бицепсы, давая понять, что в критический момент любому противнику даст оплеуху.

Еще Кука — игрок-маньяк. Это его шестой недостаток. Он с детства имел ненормальные увлечения (игра в кости, карты), сейчас играет во все игры, да еще имеет разряд по теннису и потому считает себя на голову выше нас. Вернее, Котла. (Я-то отличный спортсмен — об этом выскажусь чуть позднее.) В путешествии Кука со всеми (и с нами, и с попутчиками) до одури резался в шахматы. Безотлагательно замечу: если вы не умеете играть в шахматы, не рассчитывайте на дружбу с Кукой, но, если умеете, да еще будете ему проигрывать, станете его близким другом.

Кука ужасно расстраивался, когда проигрывал, начинал нервничать, чесаться, грызть ногти, потом ложился на траву, и подолгу неподвижно смотрел в небо, и отвечал односложно и зло, как будто проиграл не партию, а невесту. В такие минуты Котел снова пододвигал к нему доску и нарочно поддавался. И простодушный Кука, не распознав жалкой хитрости, снова начинал веселеть (вот первобытная наивность!), а выиграв, вскакивал и так сильно сжимал нас в объятиях, что ребра лезли наружу.

Последний, седьмой, недостаток Куки — пристрастие к технике. Я ошибся — недостатков у Куки не пять, не шесть, а семь. Я лучше о нем думал. Кука выписывает кучу технических журналов и при случае не прочь что-нибудь смастерить, починить. Дома у него все механизировано; попробуешь открыть форточку, а он сразу: «Подожди!» — и нажмет какую-то кнопку; раздастся треск, стены комнаты зашатаются, и форточка с грохотом распахнетя.

В качестве мастера на все руки Кука просто донимает меня: то предлагает залудить кастрюлю, то готов заменить проводку или наладить телевизор, который посто-

янно баракхлит. Но я, конечно, не прибегаю к его услугам. Знаю я этих кустарей-самоучек! Все разбирают, от часов до автомашины, а соберут — вещь не работает.

Чем еще дополнить и усилить образ Куки? Ну кроме всего прочего, он неряха и грязнуля. И грубиян. Выражается непристойно, к каждому слову добавляет ругательство — здесь у него обширный словарный запас, а любимое слово в его арсенале — «неслабо» (у него вообще какой-то замусоренный язык). И хвастливый Кука. Не такой, как Котел, но все же. Например, носит плащ с дыркой на груди, чтобы афишировать медаль «За спасение утопающих». И еще Кука не упустит случая посмеяться над другими. Однажды он простудился и на ночь Котел всучил ему горчичники. На утро мы его спрашиваем:

— Ну как, помогли?

— Нет, — качнул головой Кука.

— Почему? Должны были помочь. Ты их снял через час?

— Нет. Они и сейчас на мне.

Поворачивается, а они у него на куртке. И так заржал, что стал румяный, как блин. Но попробуйте вы посмеяться над ним, сразу его глазищи завращаются в орбитах — верный признак, что у него чешутся кулаки. Кука обидчив (обиды помнит по много лет) и не прощает шуток над собой.

Вот, пожалуй, основные пороки Куки. Это, конечно, не означает, что все остальное у него достоинства, хотя в общем Кука оптимист, как все разбойники, и добрый парень, ведь толстяки редко бывают злыми, а если они еще и рыжие, то не бывают вообще.

### ***Глава третья, в которой немного расскажу о себе***

Я сторонник объективности и в данном случае просто обязан сказать пару слов о себе. Понятно, о себе говорить трудно, но все же попробую. Я высокий, неплохого сло-



жения и тонкой душевной организации; взгляд у меня открытый, на губах легкая усмешка, волосы мягкие, как у большинства добрых людей, душа благородная, отзывчивая, характер покладистый. Я культурный, деликатный, уравновешенный, прекрасно воспитан, веду себя естественно и просто, со скромным достоинством. В разговоре удачно острою, в спорах противоборствовать мне (в смысле ума) не стоит — расчихвощу любого, и сделаю это без напруга. Мой ум непобедим!

Что еще? В еде я непривередлив — ем все подряд, вот только от капусты расстраивается желудок. Галстуки предпочитаю большие, яркие, рубашки с отливом, ботинки скрипучие, лакированные. По профессии я будущий художник (учусь в художественном училище и в творчестве достиг немалой высоты или глубины — не знаю, как лучше сказать. Дело в том, что я невероятно талантлив, но это отдельный серьезный разговор), ну а по призванию я путешественник.

Перечислю основные черты моего характера: я наделен природной пытливостью и богатейшей фантазией. Особой застенчивостью не страдаю, но и не выпячиваюсь, как некоторые. Моя искренность в сочетании с честностью дают отличный результат — люди ко мне тянутся. Я не из робкого десятка, но в то же время не так глуп, чтобы быть бесшабашно храбрым и по каждому ничтожному поводу ставить свою жизнь под угрозу. В опасностях я стойкий, хладнокровный, а в обычной обстановке действую осмотрительно, долго все взвешиваю, но поступаю решительно и бесповоротно.

В плане накопленного опыта у меня крепкая, даже могущественная база. Я достаточно практичен и не стремлюсь к нереальным целям, то есть не замахиваюсь на неосуществимое. Я не такой мрачный пессимист, как Котел, и не такой оголтелый оптимист, как Кука, хотя они считают меня «стоящим в стороне от всего», «не видящим

дальше своего носа». Чудаки! Как раз пронизательные наблюдения и вдумчивые, неторопливые выводы — признак мудрости, а разные трепыхания и словеса просто-напросто мальчишество.

Что еще о себе сказать? Есть у меня еще второстепенные, вспомогательные, крайне редкие качества. Например, к девушкам отношусь иронично и времени на ухаживания и всякие поцелуйчики не трачу. Только какая-нибудь красавица начнет меня околдовывать или, чего доброго, выяснять отношения — сразу рву. «Все! — говорю. — Пока! Теперь обнимай воздух вместо меня».

Вам, ребята, не терпится узнать о моих недостатках. Угадал? Не тешьте себя этой мыслью. Вы о них не узнаете. Потому что их попросту нет. Да-да — нет! Больше того, вы уже, наверное, заметили мои достоинства. Согласитесь, нужно иметь отменное мужество, чтобы отважиться путешествовать с такими, как мои приятели. Ведь Котел поехал только потому, что накрылась его путевка в дом отдыха, а Кука хотел оторваться от родных и отведать деревенских харчей. Существуют и другие предположения, но, по-моему, это наиболее правдоподобное. Вы представляете, каково в этой компании было мне, который хотел побывать в романтической глуши, набраться впечатлений и порисовать.

К сожалению, приятели относятся ко мне без должного почтения. С легкой руки злослова Котла приятели зовут меня Чайник. Он как-то, насмешливо хохотнув, брякнул:

— Твоей фамилии как грибов поганок. Будем-ка звать тебя Чайник — у тебя нос как у чайника.

Так и пошло... Но что я хотел вам объяснить? Сами-то вы наверняка не догадались — каким образом мои приятели, два таких разных человека, дружат? Ведь один из них (Кука, конечно), увидев по телевизору, что где-то рушатся мосты, опрокидываются пароходы, обваливаются здания, скрипит зубами и рвется в пекло.

— Бесхозяйственность! — гремит. — Я бы им!

А другой (Котел, соответственно), ядовито усмехается:

— Чем хуже, тем лучше, тем скорее чиновники начнут шевелить мозгами и делать дело.

Вот и ответьте мне, пожалуйста, как же они уживаются? Вы бормочете что-то уклончивое, будто нас тянет к тому, в ком есть то, чего нам не хватает, — в смысле, контрасты притягиваются и что в спорах рождается истина. Это все ерунда, вот что я вам скажу. Я затыкаю уши, когда слышу такие разговоры. Во-первых, спор подрывает дружбу, а во-вторых, никто не знает окончательных истин. Да их и нет, поверьте мне, с моими недюжинными знаниями во всех областях. Ладно, не буду вас мучить и открою тайну: их спасаю я, мои рассудительность и спокойствие, и я... трудно объяснить, умнее их, что ли. Да-да, бесспорно, умнее их обоих вместе взятых. Да, собственно, что я! У меня вообще есть все основания считать себя незаурядным человеком. Даже выдающимся.

### *Глава четвертая, предельно серьезная*

Теперь, ребята, хочу вам предпослать несколько крайне ценных советов. Внимательно слушайте.

Во-первых, если вы отправитесь в путешествие, ни в коем случае не берите с собой болтливой приятеля — он изведет вас болтовней. И не приглашайте в напарники джазового музыканта — он обольет грязью всю нашу популярную эстраду и, навязывая свой вкус, обрушит на вас ураган тошнотворных звуков.

И, конечно, не берите азартного игрока, приверженца любой игры, даже шахмат. Вы поняли меня? Примите это к сведению. Все игры рано или поздно приводят к уязвленному самолюбию, затаенной злости и как конечный результат — к ссорам, а то и дракам.

И толстяка не берите, влезет в палатку — не оставит вам места или зажмет так, что не вздохнете. И слишком тоще-

го не берите: ночью вопьется костями вам в бок — узнаете, где раки зимуют. Лучше всего вообще никого не берите. Поезжайте один. И не на какую-то там речку, а на юг, к морю. Поселитесь в гостинице, там пушистые ковры, глубокие диваны, поваляйтесь на горячем песке, поднажмите на фрукты и все такое. Забегая вперед, скажу, что именно к этому я и пришел в конце наших скитаний.

И еще один дополнительный чрезвычайно дельный совет. Будете писать о путешествии, измените имена приятелей. Не дай бог они прочтут — сразу станут заклятыми врагами. На меня не смотрите. Я оставил настоящие имена только потому, что мои приятели никогда не прочтут этот очерк, ведь Котел читает только газеты, а Кука — одни детективы. Ко всему повторяю — Котел отпетый лентяй, а в суматошной жизни Куки серьезной литературе нет места.

### *Глава пятая. Наши сборы*

О чем, пожалуй, стоит рассказать подробнее, так это о сборах. Если вы думаете, что сборы — пустяковая штука, то выкиньте это из головы. Сборы — основной элемент путешествия. С них, подчеркиваю, с наших сборов все и началось, уже они вывели меня из равновесия, и я понял, что мои приятели и собраться толком не могут.

Просто уму непостижимо, как долго мы выбирали маршрут. Котел не хотел уезжать далеко от Москвы (боялся, его забудут дружки, что ли?) и настойчиво звал на Селигер, говорил: «Там отличные пляжи, и, если подсуетиться, можно достать путевки на турбазу».

— Это несложно, — повизгивая, дергался Котел. — Ты, Чайник, достанешь билеты в театр и отдашь их Куке. Он отнесет их нашему профессору. За билеты профессор позвонит в турбюро, ему не откажут, он там кому-то делал операцию. Так все и обстряпаем. Нет проблем. Заодно избавимся от лишних

денег. (Отметьте холодную расчетливость Котла, его потребительскую психологию.)

Кука хотел укатить как можно дальше — настырно тянул нас в дебри Саян, не понимая, что без проводника мы там окачуримся.

Я уговаривал обоих махнуть в Карелию; даже отправил туда письмо знакомому леснику, чтобы он готовился к встрече; правда, допустил некоторую неосторожность — в конце письма черкнул два лишних слова: «Что захватить?». Кто бы мог подумать, что именно эти непримечательные слова утяжелят мой план. Лесник прислал такой внушительный список, что от Карелии пришлось отказаться.

— Ничего удивительного, — зачитав список, хмыкнул Котел. — В провинции нет многих вещей. Кстати, подумайте, чем и нам обзавестись. У нас ведь не Америка, где в любой глухомани то же самое, что и в столице.

— Да, американцы добились высокого жизненного уровня, — сверкая глазами, бойко заговорил Кука, — но никуда не годится, что горстка людей — миллионеры и управляют всем только потому, что предприимчивей, изворотливей других. Деньги не раскрепощают. Богатство делает людей самоуверенными, самодовольными. Не случайно твоих американцев нигде не любят. И потом, деньги решают многие проблемы, кроме главных — настоящей дружбы, любви, таланта, — это или примерно это сказал Кука и судорожно сглотнул.

— Нет идеального общества, — сделал я осторожный вывод. — Уже не один умник над этим сломал голову. Давайте ближе к делу. Обмозгуем, куда мы поедем.

Должен заметить, выбор маршрута — немаловажная вещь, надо учитывать, как добраться до места. Поразмыслив, мы решили двинуть просто наугад; крутанули бутылку на карте, и черт ее дернул остановить горло на какой-то реке непонятного географического положения, где-то юж-

нее Москвы. Впрочем, это в целом меня устраивало. «Река так река, — подумал я. — Какая, в общем-то, разница, куда ехать, важно, с кем. А ведь я поплыву с такими чудачками, хоть посмеюсь вволю».

И вот в одно прекрасное утро мы наконец упаковались и в благодушном настроении отправились в путь. Попробую восстановить последовательность наших действий. Дотошные среди вас заинтересуются нашим снаряжением. Я охотно поделюсь. Сию минуту.

Котел взял с собой спасательный жилет, шляпу, зонт, гамак, фотоаппарат, гитару, транзисторный приемник, коврик, сумку с пряниками, кучу талисманов, «чтоб приносили удачу», множество таблеток и пузырьков с лекарствами и книги: «Съедобные и несъедобные грибы», «Система йогов», «Как дожить до ста лет» (он очень печется о своем здоровье, хочет стать бессмертным).

Еще Котел взял две банки лимонного сока, очки от солнца и сто рыболовных крючков — «для обмена с местными жителями на продукты» — как объяснил нам. И взял будильник, который так громко тикал, что впоследствии мы заворачивали его в одеяло.

Словом, Котел взял с собой все что угодно, только нужных вещей не взял, вещей для повседневного пользования. И главное, явился разодетый с претензией на что-то и наутюженный до блеска, точно собрался не в поход, а в консерваторию. И, само собой, опоздал к месту встречи (он страшно недисциплинированный). Он шел картинно — этакой пружинящей, подпрыгивающей походкой, невероятно развеселый, с... воздушным шариком в руке!

Кука явился вооруженный до зубов. Это надо было видеть — прямо конец света! На нем висели ружье, патронташ, подзорная труба, охотничий нож, спиннинг, гарпун и пробочный пугач цвета раскаленных углей. А в рюкзаке (набитом под завязку), по его словам, лежали: набор инст-

рументов, два килограмма гвоздей для строительных работ, шахматы, домино и фотография его девушки.

На Куке были женская кофта, шорты, сапоги, из которых, как шаровары, вываливались его жирные ноги. А на голове Куки красовалась то ли кепка, то ли хлопушка для мух — ее Кука напялил на лоб, как бандит. Глаза у Куки были выпучены, а уши оттопырены. Кука важно маршировал, попыхивая трубкой, высоко подняв голову и выпятив живот, — даже не маршировал, а как-то двигался рывками, точно ему сзади давали пинка. Казалось, он весь накачан воздухом, будто огромная резиновая игрушка.

Осмотрев Котла и Куку, я забеспокоился: понял, что мои приятели еще недостаточно подготовлены; и, предчувствуя, как намучаюсь с этими дилетантами, пожалел, что связался с ними. Видимо, говоря, что у меня нет недостатков, я высказал некоторое преувеличение на свой счет. У меня есть один недостаток: я слишком доверчив, иначе не поехал бы с такими любителями беспечного отдыха. Но что бы вы думали? Как только я сообщил приятелям о содержимом своего рюкзака, эти каналы переглянулись, легкомысленно хихикнули и начали постукивать согнутым пальцем по лбу, потом схватились за животы и покатались со смеху.

А между тем я, в противовес этим туристам-заочникам, взял самое необходимое, образцовый набор путешественника: сковородку, таз для варенья, бечевку для сушения рыбы, кусок парусины не совсем дырявой, два ведра и, конечно, альбом для рисования. Ну и еще кое-что из сопутствующих мелочей.

Насмеявшись вволю, эти выскочки меня же еще вздумали учить, что с собой брать. Учить тому, о чем не имели ни малейшего понятия. И кого? Человека, который провел в походах полжизни и на этот счет имел основательные знания! Не скрою, было обидно, но я не потерял контроля над собой, а, преодолев волнение, поставил

их на место. Приличествующим, но решительным тоном предупредил их об опасностях в путешествии, рассказал несколько случаев из собственной практики, когда спасся чудом только благодаря колоссальному опыту. И они, балбесы, притихли.

### *Глава шестая. На вокзале*

Мы договорились встретиться в четыре часа около дома Котла, поймать такси и подкатить к вокзалу, но наши наметки реализовались не совсем гладко — таксист наотрез отказался нас везти:

— Слишком большой багаж! — протянул он. — Такой груз стоит немало! — и заломил такую цену, что мы направились в метро.

Но и в метро нам не повезло — из-за Куки (в метро в шортах пускали только иностранцев). Пришлось добираться на троллейбусе.

От остановки до вокзала за нами валила толпа ротозеев. Не спрашивайте меня, как они выглядели, я ничего не могу сказать, каков был их возраст и какие у них были намерения. Для меня эти люди не существовали, хотя они все время свирители и пфыкали и давали дурацкие советы. Особенно усердствовал один с сусличьим лицом. Этот прилипла все время маячил перед глазами и орал:

— Эй! Вы кровати забыли! Эй ты, худой! Не переломись смотри! А ты, жирный, почему пушку не взял?! Ой, а этот-то в тельняшке! Ой, братцы, помогите, умираю от смеха! Морской волк! Весь зад в ракушках! Небось, волны от берега отгонял!

Тип с сусличьим лицом задергался, схватился за живот, потом за голову. Я думал, с ним будет обморок. Обескураженные Котел с Кукой растерялись: на лице Котла появился страдальческий взгляд, вымученная улыбка; Кука



выглядел обмякшим, словно из него выпустили воздух. Казалось, им предстоит не путешествие, а отпевание покойника. Но я-то, бывалый, не потерял самообладания: мгновенно оценил обстановку и, словно выбирая способ казни, презрительно смерил суслика красноречивым взглядом; и под моим испепеляющим взглядом он скрючился и засеменил в сторону.

Вокзал был забит народом, стояла духота и жуткий гул. Котел, двигая локтями, винтообразно стал протискиваться сквозь толпу, за ним Кука, как увеличенная тень Котла. Я замыкал шествие.

От кассы тянулась длинная очередь, ее хвост терялся где-то на улице — не очередь, а морской змей, но Котел разглядел кассу «для имеющих льготы», где стояло всего два человека, — туда напрямик мы и ринулись. Проявив изобретательность, кивая на Кукину медаль, Котел исхитрился достать билеты. После этой значительной операции потрепанные, с оторванными пуговицами, мы заковыляли на перрон.

Вагоны брались штурмом. Нашего проводника оттеснили в сторону; он вскинул кулаки и разразился руганью. Я человек интеллигентный и не переношу бранных слов. Согласитесь, сквернословить по каждому случаю проще, чем сдерживаться.

— Ох уж эти проводники, — возмутился я, врываясь в тамбур. — Прежде чем их брать на работу, следует научить вежливости.

— Точно! — бросил Кука, тяжело дыша мне в затылок. — Если впустят в вагон, то с такой миной, словно делают одолжение.

— А мне проводники помогают, — где-то сзади проскрипел Котел. — Я с ними отправляю посылки родственникам. Но о чем я подумал? Приветливость, гуманизм — удел богатых. И восхищение тоже. Возьмите американцев. Они уже накопили богатства, и теперь для

них главное — человеческие отношения, вежливость, милосердие.

— Чепуха! — хрипло отозвался Кука. — В несчастье, как правило, первыми на помощь приходят бедняки. Твои американцы говорят: «Если ты такой талантливый, то почему бедный?» — и презирают неудачников. Они смотрят не каков ты, а что имеешь. У них мало друзей, в основном — партнеры. Только и скалятся: «Все о'кей!», «Ную проблем!». Им до лампочки твои дела, что у тебя в душе.

Я, само собой, не вязывался в их препирательство.

В вагоне, пока пробирались на свои места, на нас пялили глаза и загадочно ухмылялись те, кто уже разместился, но мы так измочалились, так ошалели от суматохи, что ни на кого не обращали внимания; распахали вещи и, примостившись на лавках, задремали.

Я просыпался дважды. Первый раз, когда состав отходил от какой-то станции и вагон рвануло так, что я чуть не слетел с лавки. В нашей закутке было темно; сверху от лампы сочился желтый свет, за окном поднимались и опускались провода, перечеркивая розовое, как кисель, небо. И мои приятели, и соседи громко храпели. Второй раз — когда в вагон ввалились новые пассажиры; они так громко перекидывались словами, так зычно хохотали, точно находились не среди спящих, а на пикнике в лесу.

### *Глава седьмая. Мы меняем маршрут*

Утром Котел встал насупившийся, долго приглаживал шевелюру, пока не сделал из нее шлем, а Кука после сна вообще туго соображает — он тупо смотрел себе под ноги.

Мы вышли на глухом полустанке; все железнодорожное полотно было залито солнечным светом.

— Эй, далеко ли до реки? — окликнул Кука стрелочника.

— На кукушке с полчаса, — стрелочник кивнул в сторону узкоколейки, где стоял прямо-таки игрушечный паровозик с одним вагончиком; паровозик напоминал первую паровую машину с вывернутыми наружу внутренностями; он пыхтел и фыркал, изрыгая клубы пара, расплевывая брызги.

Мы припустили со всех ног и спустя пару минут уже качались в полупустом вагончике, который скрипел, лязгал, мяукал и вообще, казалось, вот-вот развалится. За окном тянулись луга, потом показалось картофельное поле, на котором копошились молодые люди.

— Студенты убирают урожай, — пояснил Кука и без того ясный факт. — В коллективизме, взаимовыручке есть великий дух братства.

— Отрывают студентов от занятий, — насмешливо выдал Котел. — В Америке всего три процента населения занято в сельском хозяйстве, а обеспечивают необходимым всю страну и еще вывозят за границу. А у нас столько земли, и продукты закупаем у западников. Страна с такими пространствами, такими богатствами не должна быть беднее других! Впрочем, наш ленивый народ и не достоин таких пространств.

— Чушь несешь! — вскинул руки Кука. — Наш народ трудолюбивый и талантливый, да еще незлобивый, отзывчивый, простодушный, доверчивый — да попросту святой! Даже немного беззащитен в своей доверчивости, и этим пользуются разные негодяи.

Я хотел было напомнить Котлу про духовные ценности, но, опередив меня, Кука продолжил:

— И что ты, Котел, все нажимаешь на материальную сторону! Да в твоей Америке у большинства только личные интересы. Им с детства прививают инициативу, предпринимательство, внушают, что счастье в богатстве. Если у твоего отца деньги, ты уже получаешь фору. А если ты родился робким, застенчивым и в бедной семье, тебе что, крышка?!

— Правильно их воспитывают — рассчитывать только на себя, — хмыкнул Котел. — Из таких и вырастают личности.

— Перестань! — вспыхнул Кука. — В большинстве своем американцы примитивы, их основа — культ денег. Уж я не говорю о том, что капиталисты, думая о прибыли, плевать хотели на больных и нищих в бедных странах, на экологию... У меня, к примеру, есть все необходимое для жизни, а всякие роскошества мне не нужны. И вообще деньги в России никогда не были главным. У нас главные ценности — общение, творчество, духовность.

— А почему благополучие исключает духовность?! — важным тоном произнес Котел. — Да в Америке такая культура, которая тебе и не снилась. В каждом колледже симфонический оркестр.

— Брось! — нахмурился Кука. — Я знаю, что такое массовая культура! Боевики, голые девицы! Фигня! Дешевка!

— А Джек Лондон, а Марк Твен, а...

— Это единицы, а в основном американское искусство погрязло в коммерции, рассчитанной на низкие вкусы, — Кука уже побагровел от натуги. — Пусть у нас все примитивней, но чище. Пусть мы бедные, зато щедрые, а они все жмоты. У нас тяга к общению, а у них каждый сам по себе. И потом, я должен быть там, где борются, плывут против течения, где нужна моя помощь. Я многим помогаю устроиться с жильем, работой. Благополучная жизнь не для меня. Благополучие — болото с цветами; оно засасывает, растлевает, убивает многие стремления.

— Мне иногда кажется, что мы на планете — всего лишь подопытные кролики, — тончайшим образом я встрял в спор приятелей. — Что кто-то наблюдает за нами и однажды скажет: «Ну, людишки, поиграли в социалистов, капиталистов, и хватит, а то еще развяжете атомную войну и всю планету угробите, нарушите равновесие во Вселенной. Вот

вам рецепт идеального общества, и кончайте распри, а то вмешаемся, и вам будет худо».

— Ты Бога имеешь в виду? — решил прояснить Котел. — В некотором смысле?

— В Бога я не верю, — заявил Кука. — Мне не нужна его помощь, я рассчитываю только на свои силы. Но верю в какие-то взеземные силы.

— Это и есть Бог, — проникновенно сказал Котел. — Заметь, время от времени человечество охватывают опустошительные болезни: то чума, то туберкулез, то рак. Это наказание за воинственность и безнравственность. В некотором смысле.

— Ерундистика! Не владеешь ситуацией! — махнул рукой Кука. — Возникновение болезней объясняется законами природы. В мире постоянно возникают и отмирают различные формы жизни. Одни микробы под влиянием среды неслабо размножаются, другие исчезают...

Я усмехнулся:

— Если Бог есть, то он создал жестокий мир, в котором постоянно льется кровь, все живое уничтожает друг друга. Мы с вами создали бы что-то получше.

— Без проблем! — кивнул Котел. — В самом деле, Бог был про табу на уничтожение себе подобных... Я вообще не верю в теорию Дарвина. Я знаю, откуда люди взялись, у меня есть экзотическая версия. Вот скажите, почему на земле войны, насилие, зависть, злость? Отвечаю. Мы потомки преступников, которых выселили с других планет. У нас насилие в крови. Причем негров переселили с жарких планет, эскимосов с холодных...

Кука что-то возразил Котлу, и они продолжили спор, правда, уже в менее накаленной атмосфере, но это и понятно — сама тема требовала серьезного подхода.

Вот за такими разговорами мы и доехали до ближайшей к реке станции. Собственно, станция — громко сказано. Перед нами открылась обычная платформа. За ней

женщины прямо на земле продавали кучки овощей; здесь же бродили куры и дворняжки, чуть в стороне пролегла грунтовая дорога — вот такой словесный набросок той местности, и все под раскаленным небом.

Нам объяснили, что по дороге до реки шесть километров, а напрямик, через перелесок, четыре. Мы решили поймать попутную машину и вышли на дорогу голосовать. Целый час стояли, и все без толку. За это время в сторону реки прошло с десяток легковушек, но ни одна не остановилась. Некоторые шоферы, завидев нас, даже прибавляли газ. Меня охватила некоторая досада, Кука сжал кулаки.

— Дело принимает увлекательный оборот. Вот тебе и всеобщее братство, — язвительно промямлил Котел, но тут же около нас притормозил запыленный грузовик.

— Сидай, попутчики! — крикнул шофер.

Мы залезли в кузов, и машина покатила, вернее, запрыгала, словно на огромной стиральной доске. Через десять минут от тряски у меня разболелся живот, а потом, когда дорога перешла в ухабистую колею и грузовик стало кидать из стороны в сторону, затошнило. Я еле дотерпел до конца пути — небольшой деревни, где не было ни души, даже собаки и куры попрятались от удушливой жары.

— Кайф! Уютная деревушка, — отдуваясь, сказал Кука.

— Дома какие-то приплюснутые, — злорадно проговорил Котел. — И телевизионных тарелок не видно.

— Приехали, вылазь! — крикнул шофер.

Мы заплатили ему десять рублей, и Кука осведомился:

— Как пройти к реке?

Тот кивнул на тропу, петлявшую в низине.

— Дуйте напрямиком!

Мы побрели по лугу. Вокруг было настоящее половодье цветов, перед глазами рябило и плыли темные точки, от приторных запахов голова отяжелела, но, главное, цветы были на невероятно высоких стеблях, и, чтобы разглядеть тропу, приходилось подпрыгивать.

## *Глава восьмая. Мы строим плот*

Наконец притопали к реке — глинистому склону, скользкому, хоть на лыжах кати. Ближе к воде глина перешла в непролазный ил: ступишь — ногу не вытащишь. И повсюду какие-то кратеры, из которых с хлюпаньем и бульканьем вырывался пар. Ну, скажу вам, и река в том месте! Никто, даже я не мог такого предположить — вся заросшая и узкая; вода цвела и выглядела зеленой кашей. По реке, словно черти, плыли коровы.

На противоположном берегу, среди огородов, похожих на одеяла из лоскутов, стояла еще одна деревня. Она располагалась вдоль реки и смотрела на свое отражение, которое почему-то было сильно увеличено и смещено — видимо, от напора солнца. Эта деревня была побольше, чем предыдущая, но дома в ней стояли чересчур тесно, и казалось, ссорятся за лучшее место. За деревней темнел лес.

— Самое главное в незнакомом месте — найти хорошего товарища, — додумался Котел. — Тогда все устроится.

— Неслабо мыслишь. Продолжай, развивай свои мысли, — хмыкнул Кука и, расправив плечи, демонстрируя отличную физическую подготовку, куда-то понесся с бравым видом, искоса посматривая на себя, наслаждаясь своей ловкостью.

Позднее выяснилось: без долгих проволочек он развил бешеную деятельность. Уже через несколько минут мы увидели его выплясывающим в плоскодонке на середине реки. В лодке с шестом он выглядел Бабой-ягой в ступе, с той лишь поправкой, что не летел и не плыл, а барахтался на месте, но явно требовал к себе внимания.

— Сейчас перевезу вас на тот берег, — простодушно заготовал он. — В лес, плот рубить.

Я столько повидал за свою жизнь, что меня уже ничего не удивляло, я и бровью не повел, но Котлу сразу стало плохо. Он вообще очень впечатлительный, чуть что — па-

дает в обморок. Дальше вы увидите, как он из-за любой неприятности впадал в отчаяние, любое дуновение ветерка воспринимал как приближение урагана; его слабый дух постоянно нуждался в моей моральной поддержке.

Так вот, в тот момент Котел имел вид приговоренного к сожжению на костре.

— Какой еще плот? Что за шальные мысли?! — испуганно завопил он, и его лицо вытянулось в кувшин. — Что ты затеял?! Неужели здесь нельзя купить дешевенькую лодку? Что-нибудь вроде каноз? — беспокойство Котла росло с каждой минутой, он даже посинел, как утопленник, и слегка всплакнул.

По сути дела, Кукина затея с плотом у меня тоже не вызвала энтузиазма, но все-таки, приняв беспечный вид, я сказал:

— Плот — это замечательно! Я немного знаю, что это такое, — раза два плавал на плоту. В бурю!

— Ни каноз, ни яхт здесь нет, — Кука все же причалил и подошел к нам. — Вон в старице долбленки, но дырявые. Да и плот добавит нам острых ощущений.

Котел сразу ни с того ни с сего начал хромать и жаловаться на боли в пояснице — его обычные уловки. Послушать Котла — так у него полностью не действуют штук пять органов, а остальные работают с перебоями. Временами он так много говорил о болезнях, что я чувствовал, будто тоже заболеваю. И это будущий врач! Как вам такое нравится?

— Ладно, не прикидывайся! Меня не разжалобишь! — зычно гаркнул Кука и как бы играючи стал молотить Котла, будто тот мешок с опилками.

— Но у нас нет разрешения на порубку, — плаксиво отмахивался Котел. — Мне доподлинно известно, что это противозаконно (он пытался найти лазейку).

— Будем рубить только сухие деревья, — внятно сказал я. Вскинув рюкзаки, мы погрузились в лодку и отчалили.



Засохшие сосны в лесу были прямоствольные, с твердой, шершавой корой, одна лучше другой, но это отметил только я (понятно, художественная натура!). Котел рубил, зажмурившись и сидя на толстой коряге, — так, мельтешил, тюкал, то и дело бросал ничего не значащие фразочки:

— Здесь надо подумать. Это сразу трудно решить.

Он явно отлынивал, точно мы его взяли просто так, за красивые глаза. Вы заметили: как только началась настоящая мужская работа, он сразу сник и выглядел жалким подобием Котла, который в поезде болтал об Америке? Вскоре я убедился, что он вообще ни на что не способен: не мог отличить топор от молотка, ель от сосны; убедился в его брезгливом отношении к физическому труду.

Перейду к Куке — этот удалец, напротив, чересчур буйствовал (даже потерял в весе): он не разменивался на разные там красоты, беспорядочно орудовал своими рычагами, как кувалдами, со свистом рассекал топором воздух и валил одно дерево за другим, ведь лес для него — просто дрова, а все живое в нем — жаркое. Если бы я вовремя не утихомирил Куку, он вырубил бы всю опушку и набросился бы на деревню. У него совершенно отсутствует чувство меры. Настоящий дикарь, ему снова на деревья надо.

Во второй половине дня мы скатили бревна к реке и стали по моему совету (а я знаю толк в этих делах) сбивать их скобами, которые нашли на окраине деревни среди поломанной техники. Вот тут-то и произошла эта глупая сцена.

— Позвольте заметить, предположительно плоты связывают, а не сбивают, — пробормотал Котел. — Советую вам подумать, прежде чем приступить к делу.

«Вам!» — это меня возмутило больше всего. Как будто он плыл сам по себе и нечаянно попал в нашу компанию.

— Ну конечно, — преспокойно усмехнулся я и продолжил с легкой иронией. — Ты лучше меня осведомлен о строительстве плотов. Куда уж мне, который всю жизнь провел на реках и знает о плотях практически все, — выдержав паузу, я добавил как конечное решение вопроса: — Если хочешь, строй себе отдельный плот и вяжи его.

На этом передрыга и кончилась бы, но тут Кука, дырявая голова, решил подлить бензинчика в наш тлеющий спор; он отчеканил:

— Давать советы легче, чем самому следовать им. Что за вопрос — сбивать, вязать? Не владеете ситуацией. Настоящие мастера очевидные вещи не обсуждают. Надо и сбить, и связать. Чтоб мне запутаться в паутине, так будет неслабо, фундаментальней. И хватит мутить воду, у меня почти законченное высшее образование, и я знаю, что говорю.

У него был пунктик: он считал, что достаточно окончить вуз, чтобы все знать; между тем, как известно, умные всю жизнь учатся. Да и он, дуралей набитый, не мог понять, что навык важнее знаний.

С моего языка чуть не сорвалось ругательство.

— Чтобы вязать, надо поднимать бревна, а я и так уже наломался.

Я не жаловался, ни в коем случае. Здоровье у меня в порядке — просто не хотелось надрываться, вот и все.

Тут Кука круто обернулся.

— Ха, наломался! Ну ты даешь! Срубил одно дерево и уже захныкал. А я сколько ишачил? На весь плот нарубил — и то ничего.

Это был выпад, нацеленный в мое чувствительное сердце; такой наглости я не ожидал, у меня прямо кровь вскипела в жилах. Кука, конечно, поработал, даже перестарался с излишним рвением, но тыкать этим в глаза!

— И хватит болтать, принимайтесь за дело! Совсем разучились работать, сачки несчастные! — продолжал Кука резким, нагловатым тоном.

— Неплохо сказано. Возвышенно! — с некоторым смущением согласился Котел. — Само собой, разучились. Не зря западники нам говорят: «Мы так отдыхаем, как вы работаете». А тебе, Чайник, я вот что скажу, — Котел повернулся ко мне. — Создается впечатление, что ты не только все знаешь, но и все умеешь. Будь добр, прибей скобы, но посмотрим, что ты запоешь, когда поведешь нас к пропасти.

Я только усмехнулся и абсолютно спокойным пошел прибивать скобы. Я отлично владел собой.

Мастеровито, неторопливо, выверенными движениями, соблюдая четкую последовательность в работе, я сколотил плот. Сделал великое дело, но, конечно, пришлось попотеть. Надеюсь, вы догадались, что я сотворил отличное плавсредство. Три на четыре метра примерно. У плота не было особой симметрии, зато он получился прочным, как железобетонная плита, ведь скоб я не пожалел.

Котел с Кукой тем временем изготовили корявые шесты и весла, «из подручного материала», как выразился Кука. Погрузившись на пахнущие смолой бревна, мы оттолкнулись от берега.

— Ветер нам в спину! — провозгласил я.

Было что-то историческое в этом моменте. Вода начала слизывать с бревен чешуйчатую кору, и за нами потянулся шлейф трухи.

— Любопытный результат! Налицо некоторый успех. Если не хрястнемся, то скобы не подкачают, — с видом знатока произнес Кука, совершенно забыв, кто был родоначальником этой идеи. Он всегда высказывал то, что часом раньше говорил я.

Котел сразу стушевался и угостил меня бутербродом, будто и не он зажимал мою идею. Чужие идеи он рубил на корню. Да, собственно, вы и сами уже все поняли, верно?

## ***Глава девятая. Небольшая неприятность***

Первым делом мы поплыли в деревню, чтобы купить на дорогу картошки и овощей. Кука шуровал шестом, Котел, выделявая какие-то пируэты, чиркал по воде веслом. Здесь я умышленно умолчу о себе, поскольку для меня, опытного походника, грести — вообще не работа, а разминка, которую можно делать в полсилы, и, простите, в такие моменты я просто восхищаюсь собой; факт остается фактом: среди сверстников я самый рукастый, толковый, знающий.

Мое плавсредство, несмотря на некоторое несовершенство, микроскопические огрехи, оказалось на редкость устойчивым; правда, отдельные бревна крутились и плот все время заливало, но все-таки на воде он держался прилично. Самое замечательное, что я придумал, — плот не имел ни носа, ни кормы; каким местом его течение несло, то и считалось носом. Очень удобно и совершенно не нужно править, но для ходкости я все же приделал перо руля. Ну а со стороны мое универсальное плавсредство вообще смотрелось впечатляюще, как произведение искусства.

Я сразу дал приятелям понять, кто на плоту капитан, — распределил позиции для гребли и, как капитан, отвечающий за все, ввел строгие правила: не ругаться, не кричать, не говорить о политике и девушках. И, поскольку во всем люблю аккуратность, для каждой вещи обозначил свое место, а чтобы приятели считались с этой моей особенностью, повсюду надлежащим образом наклеил этикетки: «Здесь рюкзак», «Здесь топор». К сожалению, эти надписи постепенно смывало, и они, словно сбитые мотыльки, качались за нами по волнам, а на плоту, естественно, воцарялась неразбериха.

На середине реки мы неожиданно врезались в камыш и сели на мель. Пришлось лезть в воду и раскачивать плот.

После некоторых усилий нам удалось только сдвинуть его назад. Тогда мы решили проскочить мель на скорости. Оттянув плот, чтобы придать ему должную энергию, навалились на него, и ринулись вперед, и проскочили не только мель, но и следующие за ней пережат, заплесок, прибрежные кусты, и со всего маху вылетели на берег. Сгоряча тут же хотели спихнуть плот в воду, но наши усилия оказались тщетными. Чертыхаясь, устроили передышку; накопили силы для новой попытки, напряглись, но опять ничего не вышло.

— Пустая затея, — стонал Котел. — Напрасный труд.

— Глухо, безнадега, зря горбатимся, — судорожно хрипел Кука. — Укуси меня змея, гиблое дело, заговор природы. Неслабо врезались. Достигли противоположной цели. Впрочем, смысл путешествий — преодолевать трудности.

Проваландавшись до темноты, взмокшие от усердия, мы пошли в деревню за подмогой.

Несмотря на жаркую погоду на деревенской улице стояла глубокая грязь, в которой, как мухи на липкой бумаге, увязли два грузовика. Предположительно, они засели давно, один уже разбирали на части. В грязи же, похрюкивая, нежались свиньи — огромные, как дирижабли. По улице брело стадо коров; животные одно за другим сворачивали к домам и рогами открывали ворота.

— И как не ошибаются? — наивно спросил Кука.

— Номера-то на домах написаны, — хмыкнул Котел, и Кука сразу сконфузился.

Мы разыскали тракториста, мужика с заспаным лицом, и стали ему втолковывать, что хотели бы с помощью трактора водворить наше деревянное детище на свое место. Тракторист долго почесывался, бормотал: «Сложнейший вопрос», но, как только Кука показал пузырек со спиртом, сразу оживился:

— Это меняет дело. С этого и начали бы, это другой разговор. Все сделаем на высшем уровне.

И действительно спихивал плот нежно, как шкатулку. А позднее, после выпивки, предложил для ночевки курятник с сеновалом, в котором были такие огромные щели, что в них свободно влетали воробьи; зато сена имелось в изобилии.

— Вы заметили, какая старая техника у тракториста? — подал голос Котел, укладываясь в ворохах сена. — Никак не пойму, почему наши инженеры до сих пор не могут сделать нормальный автомобиль? Делают какие-то мыльницы на колесах, — Котел закудахтал — того гляди яйцо снесет.

— Ерунда! — отрезал Кука, метнув на Котла уничтожающий взгляд. — В свое время «Победа» была лучшей машиной в Европе. И сейчас дай нашим инженерам хорошие материалы, они сделали бы такие агрегаты — закачаешься! Все дело в том, что наша промышленность выпускает слабые материалы, а инженерная мысль у нас — ого! И всегда Россия славилась своими инженерами. Русские строили лайнер «Нормандия» и лучший мотоцикл «Харлей». И лучший танк, и первый вертолет — наши. И роторные экскаваторы, и спутник... Я в технике собаку съел и знаю, о чем говорю, — от негодования Кука попытался привстать, но чуть не свалился с сеновала.

— Ну инженеры ладно, а почему в деревне неприглядные дома? — снова начал канючить Котел. — Их что, нельзя сделать получше?

— Можно, — кивнул Кука. — Но, пойми, мы, в России, люди крайностей, нам надо дерзать, в нас бурлит фантазия. Мы должны изобретать, открывать. Забор покосился, крышу надо чинить — мелочевка. Вот сделать летательный аппарат из бензопилы — это да. Или из старья построить ветряк, или побеседовать на вечные темы.

Я, понятно, в эту болтовню не вмешивался.

Ночью основательно продрогли, и мы с Кукой все время перетягивали наше байковое одеяло: то он на себя, то

я, а Котел беззаботно посапывал в середине. В конце концов Кука обернул все одеяло вокруг себя и мне ничего не оставалось, как снять куртку и прикрыться ею. Часа два я пытался спрятать под нее ноги и голову одновременно. Видимо, мне это удалось, потому что я все же уснул.

Вот так, ребята, прошел первый день нашего путешествия, день, в который я внес огромный вклад. Безусловно я, кто ж еще? Это яснее ясного. И должен заметить: вам сильно повезло, что о поездке рассказываю именно я, а не мои приятели. Котел все переврал бы, а у пещерного Куки получились бы сплошные ссоры, мордобой и так далее, сами понимаете.

### *Глава десятая. Деревня лентяев*

Рано утром где-то спросонья заголосил петух. Наш петух испугался, что проспал, и хрипло отозвался. Первому певуну показалось, что он слишком слабо пропел, и он снова заорал во все горло. Наш петух в ответ вскочил, захлопал крыльями и дал такого дрозда, что куры посыпались с насеста. Тут и началась кутерьма. В соседних курятниках забегали петухи и, чтобы не остаться в долгу, завопили что есть мочи. Сон как рукой сняло. Смахнув с одежды сено, мы вышли из курятника.

Утро было солнечное. В отличном расположении духа легкой трусцой мы потащили вещи на плот. Из палисадников на нас глазели жители деревни — в самое рабочее время они беззаботно сидели на лавках и щелкали семечки.

Перед дорогой мы присели на бугорке, и вдруг Котел брякнул:

— Да! А как мы назовем наше сооружение?

— Наш плот в рекламе не нуждается, — объявил я. — Каждому ясно: он сделан по последнему слову техники.

— Можно назвать «Эй, ухнем!» или «Волкодав реки», — сморозил глупость Кука.

— Лучше всего — «Связка дров», — предложил Котел и залился смехом. (У него в запасе полно насмешек.) Вытирая слезы, он выдал еще пару издевок: — А еще лучше «Буль-буль» или «Плавучий гроб».

В это время невдалеке появились косцы. Они направлялись в пойму, но, заметив нас, побросали косы, подбежали к реке и со жгучим любопытством уставились на плот, шушукаясь и потирая руки. Предчувствуя неладное (а интуиция меня никогда не подводит), я сказал:

— Надо давать тягу.

— Преждевременно! — пропел Котел. — Куда спешить? Сейчас скажу небольшую речь, и тронемся. Пустяковая формальность. Надо же нас обеспечить зрителями.

— Валяй! — бросил Кука. — Но не говори красиво, не выпендривайся.

Я выразительно вздохнул, но Котел не понял моего предупредительного вздоха и поплелся к стоящей невдалеке телеге, бросив косцам:

— Идите сюда, я должен вам кое-что сообщить!

Косцы нехотя подошли. Котел попытался взгромоздиться на телегу, но она тут же развалилась. Конечно, ее бросился чинить Кука, ну и, как вы догадались, она стала трехколесной. Это я помню как сейчас, у меня зверская память. Я, например, узнаю людей, с которыми много лет назад стоял в очереди. «Как тебе это удается?» — спрашивали Котел с Кукой, когда я припоминал, что они говорили год назад, и ловил на противоречиях. «Это неважно, — отшучивался я. — Главное, врунам вроде вас надо иметь хорошую память».

Ну так вот. Выбравшись из-под обломков телеги, Котел залез на пень — он не мог говорить без возвышений.

— Друзья! — начал Котел. — Отрадно, что вы забыли о работе. На вашем месте я целыми днями сидел бы на бе-



регу в ожидании разных событий... Сегодня вам особенно повезло и можете вообще ничего не делать... Что мне больше всего понравилось в вашей деревне, так это кладбище техники. Молодцы, здорово вы с ней расправились и, судя по всему, не собираетесь чинить.

— Починим! — хором крикнули косцы.

— И понравились ваши дома, — продолжал Котел. — Заваливаются, но все же не падают. Смелые вы люди, не боитесь в них жить.

Котел прямо упивался своим голосом. Я кивнул ему, чтобы закруглялся, но он заупрямился. Я потянул его за куртку, но растроганный Кука остановил меня:

— Не дергайся! Застрели меня из рогатки, но Котел неслабо, по делу их прикладывает. Пусть еще что-нибудь скажет.

Жестким взглядом я приструнил Куку, а Котла стащил с пня:

— Не вмешивайся в чужие дела!

### *Глава одиннадцатая. Кораблекрушение*

Мы ступили на плот и махнули провожающим. Наступил волнующий момент. Орава на берегу замерла и смотрела на нас с восхищением. Мы начали отталкиваться, но плот и не думал двигаться с места, он точно прилип к берегу. Я готов был провалиться сквозь землю, а мои приятели хоть бы что, подбадривают друг друга:

— Молодец! Изумительно! Продолжай в том же духе!

А мне въедливо бросают:

— Не экстазуй! Не трепыхайся! Ешь больше картошки, она снижает нервозность.

После отчаянных усилий нам все же удалось оттолкнуться. Мы поплыли. На берегу облегченно вздохнули. Путешествие началось.

— Семь футов нам под килем! — торжественно произнес Котел.

Уточню: Кука греб вполне прилично, но, понятно, — для зрителей устроил парадное выступление, да еще явно любовался собой. Котел тоже старался (когда кто-нибудь смотрел, он трудился вовсю). Этот показушник даже встал на видное место и принял живописную позу: поднял голову, спину выпрямил и махал веслом с особым шиком. Но больше всех, конечно, работал я и при этом корректировал действия приятелей.

Все шло как по маслу (мой приблизительный вывод), и со стороны мы производили неплохое впечатление, только плыли медленно и зигзагами, и почему-то казалось, вот-вот перевернемся. Я сделал несколько критических замечаний моим приятелям, причем не назидательно, а в форме легкого напоминания того, что они, несомненно, знали, но просто забыли. Хвалиться я не люблю, это не в моих правилах, но гребу я с ювелирным мастерством, я сильный гребец. У меня был такой случай... впрочем, о нем в следующий раз.

— По-моему, Чайник совершает грубую ошибку, — вдруг прогундосил Котел. — Слишком форсирует события, гребет с нами не в такт. Это может привести к печальным последствиям, мы можем перевернуться и погибнуть.

Во мне все просто закипело от возмущения, но я сдержался. Повторяю, в умении владеть собой я оставил приятелей далеко позади, а это что-нибудь да значит.

А наблюдатели на берегу давились от смеха, смеялись до истерики. «Обормоты, сели бы сами и попробовали. Думают, это легко», — мелькнуло в голове. И тут я заметил, что Кука слишком вошел в раж, гребет с каким-то остервенением, точно его свела судорога, даже до берега долетали брызги от его весла. Он готов был нас утопить. Ну и конечно, он начисто забыл о наших интересах: мы не просто должны были плыть, мы должны были плыть кра-

сиво, максимально зрелищно, ведь нас по берегу сопровождали косцы. Тут, правда, я дал маху — иногда обстоятельства требуют крутых мер — надо было огреть Куку веслом, а я только сказал:

— Кука! Гребни на раз, два, три. И не яростно, а спокойно. Ну неужели это так трудно?

— А ты брось грести совсем! — рявкнул Кука. — Плот ровней пойдет. Не приносишь пользы, не приносишь вреда.

— Поймите же! — не выдержал я. — Пока вы не будете меня слушать, мы не продвинемся ни на шаг.

Кука плюнул и выругался, а Котел смотрит на меня и улыбается, как дуралей. Правда, дальше, по мере развития событий, его улыбка утратила свою лучезарность и уступила место гримасе страха, но тогда он отвернулся и стал грести по-своему. Котел никогда не делал выводов из ошибок приятелей (в данном случае Кукиных), он мог что-либо уразуметь, только когда напортачит сам.

В самый неподходящий момент впереди показалась гряда камней. Это зловещее препятствие заставило меня собраться. Только не подумайте, что я струсил, — ни в коем случае, просто был начеку. Но вдруг меня точно ударили в солнечное сплетение — к гряде подходило стадо коров.

— Кука, мы в опасности, — повысил голос Котел и задергался, словно кукла на нитках. — От тебя зависит наша жизнь. Оттолкнись по своему борту, и дело с концом. Только не слишком мужественно.

Советы Котла имели то достоинство, что после них хотелось услышать мои, действительно дельные. Но здесь уже было поздно советовать. Я принял отчаянное решение — подбежал к Куке и со всей силы стал тормозить веслом. По какой-то неясной причине плот заходил ходуном, накренился, и между бревен забила струя воды толщиной с дерево. Я поскользнулся и шарахнулся затылком о бревна, да так сильно, что чертики запрыгали перед глазами.

Кука растянулся во весь рост рядом, а Котел ухитрился остаться на ногах, но его беззаботность как рукой сняло, он онемел от страха и завертелся, как хорошо смазанный подшипник.

— Неудачно шутишь, Чайник, — проговорил он с искаженным лицом и топнул ногой... и тут же исчез под водой меж бревен. Выплыл несколько в стороне и завопил:

— Подгребите ко мне, я не доберусь до плота!

Но Кука, которому все нипочем, скомандовал:

— А ты не добирайся и не вылезай из воды. И без паники! Оглуши меня веслом, но мы все равно тонем. Чайник натворил чудес. Сделал все, чтобы мы гробанулись! Прощай, моя прекрасная жизнь!

В ту же минуту плот разъехался, и Кука в самом деле исчез под водой, а потом и я последовал за ним. На нас с грохотом обрушилась лавина бешеной воды.

На берегу один зритель начал кататься по земле и всхлипывать, другой зарыдал, да так, что свалился в воду, третий рухнул без чувств.

Когда я вынырнул, все вокруг было мутным, точно затянута пленкой: и коровы, и толпа крикунов, и далекое солнце, маленькое — с барабан. Повернувшись, я увидел смеющуюся физиономию Котла. Казалось, он только и ждал момента, когда мы пойдем ко дну.

— Здесь мелко! — невозмутимо крикнул он, направляясь ко мне.

Я попробовал встать, но захлебнулся. Ему-то, фитилю, везде мелко, а Кука — жирный, этакое надувное корыто, и, понятно, не тонет. Короче, я скоростным стилем поплыл к берегу.

Мне, ребята, придется потратить немного времени, чтобы кое о чем предупредить вас. Если когда-нибудь вам случится попасть в кораблекрушение, не пугайтесь, это не так страшно — ручаюсь! Прежде всего, не надо торопиться. Куда спешить? Спокойно посмотрите — до какого

берега ближе, и дуйте. Как только вылезете на берег, начинайте давать советы тем, кто еще не успел выбраться. Все говорят, происшествие такого рода — опасная штука, а по-моему, не очень. Среди сведущих людей я рассказываю о нем подробнее, а вам это ни к чему. Вам я рассказал попутно, мимоходом. Главное, что я хочу сказать: в тот день, в самом начале плавания, я понял — долго со своими беспомощными приятелями не протяну. Запомните: я понял это в самом начале!

### *Глава двенадцатая. Ремонт плота*

Мы проснулись от зуда. По нам ползали орды муравьев. Накануне в темноте мы застолбили палатку прямо на муравейнике. Здесь я должен кое-что разъяснить. Проснулись мы с Котлом, а Куки в палатке не было. Лежала только его кофта. У меня сразу возникли большие опасения, что Куку съели муравьи (что не раз случалось с путниками в тропических лесах), но вскоре в палатку просунулась его физиономия...

Но вы, наверное, сторааете от любопытства узнать — чем же закончилось наше кораблекрушение? Ну конечно, мы были на волосок от гибели. Позднее Котел с Кукой в сильнейшем волнении до одури несли бредни, что я преувеличивал опасность, что могло быть и хуже, а так получилось всего полчаса позора, и что им сразу было ясно: на таком плоту далеко не уедешь. Особенно зажигательно тараторил Котел:

— Я же вам говорил! Я же говорил!

Собравшись тогда на берегу, мы долго выжимали из себя, как из губок, воду... Спустя полчаса Кука оповестил нас, что изобрел «устройство для добывания затонувших ценностей без водолазов», и стал забрасывать спиннинг,

выживая наши вещи (временами Кука делал кое-что неплохо, почти как я), но многое он так и не достал.

Потом сушили шмотки и вещи у костра и смотрели, как испаряется влага. На это ухлопали весь день. Когда вечернее солнце нырнуло в тучи, кое-как поужинали и стали разбивать палатку, и тут Котел опять загундосил:

— Э-хе-хе, наши палатки назвать палатками можно только с натяжкой, скорее, это чехлы для бочек. Вот я видел у одних туристов итальянскую палатку — совсем другое дело: целый сборный дом из ярких тканей, на окнах — накомарники, на стенах — карманы для мелких вещей, все на застежках-молниях, совсем другой дизайн.

Я не стал возражать Котлу. Действительно, наши палатки комфортом не отличаются. К примеру, в солнечный день в них как в душегубке. Для чего их выпускают, непонятно. Наверно, это может понять человек с более философским складом ума, чем я, — хотя, по правде говоря, такого трудно себе представить.

Но Кука не оставил слова Котла без внимания:

— Зато наши палатки прочные, с прорезиненным дном и совершенно не текут. И вообще, скромность в быту — признак культуры человека, а всякие роскошества — от слабого ума, от пижонства.

Когда мы легли спать, крупногабаритному Куке не хватило места, и он спал наполовину наружу. Укладываясь, он ворчал, что мы его притесняем.

— Тебе, мордастому, надо похудеть, растрясти жир, тогда тебе никто не будет мешать, — сказал я.

— Согласен, я слегка полноват, но мой жир — мое богатство, — отозвался Кука. — Он мне пригодится, когда начнем голодать.

— Кстати, все наше население полнее, чем надо, — продолжал я. — Раньше хоть соблюдали посты, а сейчас все прут полные сумки.

— Стяжатели будут всегда, — возвестил Котел. — И зависть, и распри будут, потому что один рождается красивым, другой уродом, один умный, другой дурак...

— Это и называется равновесием в мире, — выпалил Кука. — И зло уравновешивается добром, и между ними идет постоянное противоборство. Неслабое. Ведь как у зверей? Только появляется хищник, его жертвы начинают больше плодиться. Предстоит суровая зима — делают большие запасы. Возникла болезнь, тут же появляется противоядие, природа все регулирует сама, в ней все сбалансировано, и не зря присутствует чувство страха, опасности. Мне, например, жалко волка, который не догнал зайца.

Ночью в палатке было душновато, но все же мы выспались неплохо. Ну а как мы проснулись, я уже сказал — от муравьев.

После легкого завтрака Котел развалился на траве и включил приемник. Он всегда после еды отдыхал, а перед сном дышал как йоги. Он жил по определенной системе. Главным в этой системе было «избегать стрессов, беречь нервы, экономить энергию». Это ему плохо удавалось — он заводился с пол-оборота. К слову сказать, впоследствии часть системы Котла я взял на вооружение, конечно с поправкой на свою конституцию.

Кука — полная противоположность Котлу. Он примитивно считал, что лучшая система — это отсутствие всякой системы. Кука жил на износ, в его глазах постоянно сверкала ненасытная жажда жизни, готовность на любое дело, при этом он ничего не принимал на веру, все ставил под сомнение, все оспаривал, все хотел изменить, сделать по-своему. Он из тех суетников, которые вечно куда-то спешат и поэтому ничего толком не делают. В нашей поездке это особенно проявилось, ведь в путешествиях умный становится умнее, а дурак глупее. Вы же видели, я постоянно сдерживал Куку от безрассудных поступков и, с присущей мне

тонкостью, направляя его необузданную энергию в нужное русло. А это не пустяк, если вдуматься. Неугомонный Кука даже не умел отдыхать, отключаться от дел. Хотя нет, умел. И даже слишком. Он и в этом силен.

В то утро, после завтрака, Кука прилег рядом с Котлом и попросил сыграть «что-нибудь душевное».

— Я сыграю тебе возвышенную вещь, которую сочинил недавно, — Котел выключил приемник и взял гитару. — Она называется «Американские прерии, которые я когда-нибудь увижу». Как ты понимаешь, я мечтаю покататься по другим странам, а не по таким речкам Синичкам.

— Брось фонтанировать, болтать ерунду! — грубо оборвал Кука. — Когда ты увидишь жизнь на Западе, ясное дело, многое будет не в нашу пользу, но ты заметишь и то, что, скажем, в Италии огромные земли и целые пляжи принадлежат миллионерам; и великие произведения искусства в домах толстосумов, а у нас — в музеях, для всех, пожалуйста, смотри, любуйся! Ладно! — Кука рванул Котла за плечо и сказал примирительным тоном: — Сыграй свои «Прерии».

Котел начал играть мелодию, в середине вещи перешел на импровизацию. Все это я прекрасно уловил, но Кука, начисто лишенный слуха, вдруг промычал:

— Неслабо! Гениально! В середине немного сбился на дрянь, но потом, молодец, все же нашел мелодию.

У Куки не было средних суждений — или гениально, или дрянь! Похвалив Котла, он тут же начал громить рок, «ногодрыганье и рукомашество», потом заявил:

— Я люблю марши и наши старые песни, в них вся русская душа. Но хватит бездельничать! Пошли-ка чинить наш плот-развалюху!

Мы начали ремонтировать плот: я сбивал бревна скобами, Котел с Кукой связывали. В сравнении с моей работой их потуги выглядели детскими забавами и выдавали полнейшую неопытность «мастеров». Ко всему, Котел, об-



резаю концы веревок, кидал их за спину в воду и прислушивался — долетят или нет. Разумеется, вскоре мое терпение лопнуло:

— Это халтура, а не работа. Что вы там наворотили?! Веревки моментально перетрутса, и тогда пиши пропало.

— Сколько взглядов, столько и мнений. Время покажет, кто прав, — уныло протянул Котел. — И не преувеличивай страхи.

— Да-да, — заглядывая Котлу в рот, закивал Кука (в вопросах быта он полностью доверял практичному Котлу и был податливым материалом в его руках; не личностью, а куском пластилина. Обратите внимание: они вели только идеологические споры).

— Кстати, я изучил карту и поведу плот с закрытыми глазами, — добавил Кука. — Заколотите меня в бочку, если не поведу! Сейчас только присобачу мачту и повешу одеяло как парус.

— Верное решение! В этом есть глубокий смысл. Сумеешь, без дураков? — подстрекательски проговорил Котел.

— Что за вопрос? — хмыкнул Кука.

— И где ты, Кука, был раньше? — Котел обнял меня по-свойски: — А мы пока позагораем, правда, Чайник? Погодка-то — блеск! — мы расстелили на плоту палатку, перетасили вещи и прилегли.

Кука расхлябанной походкой проковылял на корму и залихватски оттолкнулся от берега.

— До следующей деревни три трубки табака! (Кука мерил расстояние количеством выкуренных трубок.)

Как и многие начинающие рулевые, Кука сразу потерял осторожность, раскочегарился и чуть не придавил каких-то байдарочников; плот сильно закачался, и мы с Котлом чуть не свалились в воду.

— Кука, ты, наверное, думаешь, что везешь дрова? — задребезжал Котел. — Тебе управлять не плотом, а телегой. И потом, за нами наблюдают с берега. Рули так, чтобы мы

выглядели мастерами своего дела. Никто не должен видеть наши слабые места.

Чего и следовало ожидать, Кука не подкачал, не ударил в грязь лицом. Думаете, он совершил подвиг? Ошибаетесь! Всему есть предел, кроме его сумасбродства; похоже, все-таки у него опилки в голове. Представляете, каким нужно быть талантливым, чтобы врезаться в единственный пень на всем протяжении реки?! Он вел плот с помощью всевозможных приборов, но все равно врезался в этот злополучный пень, торчащий из воды, а после столкновения долго оборачивался и тарачился на него, вместо того чтобы не спускать глаз с лежащей впереди отмели.

В заключение, когда мы с Котлом чуточку вздремнули (убаюкало легкое течение), Кука, как и обещал, повел плот с закрытыми глазами, то есть уснул, хотя сам же написал на руле: «Не спи за рулем — проснешься на том свете». В итоге мы действительно проснулись в какой-то мешанине, в болоте среди тины и зловонного ила, где кишмя кишели лягушки. Вокруг был какой-то темно-зеленый ад.

— Приготовь концы! — бросил я Котлу, но тот, оказалось, предвидел мою команду и в поте лица подгробал к берегу.

Выбравшись из тины, мы привязали плот к иве и стали взбираться на берег да бухнулись в крапиву, у которой были не шипы, а гвозди; руки и ноги сразу покрылись волдырями.

— Ничего! — зафасонил Котел трескучим голосом. — Зато придавили сотню комаров.

— Да это остров! — бодро крикнул откуда-то сверху Кука (он уже носился по суше, как лось). — Простор не тот, не развернешься, но неслабое местечко, и дровишек полно. Пошевеливайтесь там!

Пока перетаскивали вещи, разводили костер и варили суп, наша поляна превратилась в духовку. В тех местах

солнце быстро поднималось, и застревало в зените на весь день, и жгло кипятком, а часов в девять вечера сразу сваливалось за горизонт.

### *Глава тринадцатая. Свободное время*

Чтобы вас, ребята, посмешить, отвлекусь от нашей походной жизни и расскажу, как мы проводили свободное время.

На острове после обеда я решил устроить отдохновение для души: взял альбом и, устроившись в тени, начал делать набросок нашего лагеря. Только сделал несколько штрихов, ко мне, пританцовывая, с шахматной доской подлетел Кука:

— Сразимся? На какой клетке тебе поставить мат?

Я не хотел играть, но, чтобы сбить Кукину спесь, поставил фигуры. Здесь надо сказать: Кука, как многие профессиональные игроки, во время игры прибегал к разного рода ухищрениям. Одно из них заключалось в том, что, делая ходы, он изо всей мочи стучал фигурами по доске, не понимал, олух, что от этого ход не становится сильнее. Другое состояло вот в чем: Кука поддавал фигуру и делал вид, что ошибся, но, когда доверчивый противник ее брал, наносил смертельный удар. В первой партии и я попался на эту удочку. Получив неплохое развитие в дебюте, Кука вдруг подставил под удар фигуру, схватился за голову и застонал:

— Ой-ей-ей! Что я наделал!

— Ну переходи, нет проблемы! — шепнул Котел, который подсел рядом и сразу взял на себя роль арбитра. — Возьми обратно ход.

— Нет уж! — оборвал я Котла. — Обратно ходы не даю.

С этими словами я схватил фигуру, а следующим ходом Кука поставил мне мат. И отвалился от доски, захле-

бываясь оглушительным смехом. Он долго трясся, хлопал себя по коленям, икал, пускал пузыри. Котел тоже посмеивался:

— Удачный трюк. Очень удачный! Возвышенный!

— Хорошо! — сказал я, не обращая внимания на колкости. — Давай еще одну. Больше у тебя этот номер не пройдет.

— Давай... еще одну, — вытирая слезы, пробормотал Кука.

Начали мы вторую партию. Я был очень агрессивно настроен и уже через десяток ходов начал гонять Кукиного короля по всей доске. Несколько раз Кука предлагал мне ничью, но я и слушать об этом не хотел. Я догадывался: если Кука предлагает ничью, значит, его позиция проигрышная. Тут в переговоры о ничьей как арбитр вступил Котел, но я сразу отрезал:

— Даже не заикайся об этом!

К концу партии, когда укрепления Куки уже трещали по швам, он вдруг подставил ферзя под удар и снова схватился за голову и застонал:

— Ой-ей-ей! Что я наделал?!

— Знаю я эти дешевые штучки! — не раздумывая, я отверг жертву и сделал нейтральный ход.

Кука хлопнул меня по плечу:

— Спасибо, Чайник! Чистого ферзя не взял! Не просек ситуацию, — и второй раз поставил мне мат; и опять чуть не подавился смехом. От полноты чувств даже чмокнул меня в лоб.

— Чрезмерная доверчивость так же плоха, как и чрезмерная недоверчивость, — усмехнулся Котел, пересаживаясь на мое место. — Эту партию я посвящаю тебе, Чайник.

После шести-семи ходов стало ясно, что Котел выбрал защитный вариант и ему без моей помощи долго не продержаться. Я начал ему подсказывать: вначале в форме легких советов, а потом, когда Кука полез на рожон, и двигать фигуры Котла. Котел останавливал меня и упорно

продолжал возводить дурацкие укрепления вокруг королевской четы, а Кука, судорожно прикидывая в уме комбинации, возмущался:

— Играйте вдвоем, поганцы, я не против, но не делайте по пять ходов сразу.

В конце концов Котел оценил мои ходы, и мы вдвоем повели партию к выгодному для нас окончанию. Кука уже ругался и отталкивал меня, но я продолжал наступать. Поняв, что со мной шутки плохи, Кука сказал, что его как шахматиста знает вся Москва, а обо мне никто и не слышал.

— Ну популярность еще ни о чем не говорит, — вяло заметил Котел. — У нас полно всяких дутых знаменитостей.

Я только ухмылялся и продолжал заграбастывать Кукины фигуры, а под конец провел пешку в ферзи. Сразу же после слов «ладно, твоя взяла!» Кука швырнул фигуры и, потрясая кулаками, на которых, как трубы, синели жилы, обрушил на меня водопад оскорблений.

— Испортил весь кайф! — ревел он. — Покрыться мне бородавками, испортил! Учти! — и он пригрозил мне расправой.

Все складывалось неплохо, но, «все-таки остров — опасное пристанище», подумал я, зная, что сельские жители недолюбливают горожан. По моим настойчивым просьбам Кука на всякий случай на ночь сделал заграждения вокруг палатки. Мой замысел был великолепен, но осуществить его недотепа Кука не смог. Удивительно, как сложно он умудрялся решать простые вещи. Впрочем, глупость предугадать трудно. Представьте себе: дикари в джунглях наткнулись на ящик с болтами и гайками; у них сотня вариантов использовать крепежные принадлежности, но они выбирают самый дурацкий — вешают их на шею как украшение. Так и Кука. Нет чтобы взять и наткнуть на поляне палок (вокруг их было навалом), Кука переусердствовал — нагромоздил вокруг палатки баррикады, и, только

мы легли, его сооружение рухнуло. Особенно придавило Котла, его пришлось вытаскивать за ноги.

— Кука! Ты что, боишься, на голову луна свалится? — разразился Котел. — Посмотри, что ты натворил! — он показал на два фонаря на лбу — они были огромные, как рога.

Между Котлом и Кукой началась словесная битва (Котел даже заявил, что при рождении Куки Бог что-то перепутал с хромосомным набором, то есть, возможно, Кука и не человек вовсе), а я в душе радовался, что Котлу досталось, — он прекратил свои злопахательства. Восстанавливая палатку, я даже попытался подпрыгнуть, чтобы подчеркнуть свою радость, но у меня, к сожалению, не получилось.

Залезая под одеяло, Котел с Кукой продолжали выяснять, где самые чувствительные места у человека, болтали о коленных чашечках, селезенке, сухожилиях. Каждый из них доказывал правоту своей точки зрения: Котел ссылался на зарубежные трактаты, Кука подкреплял примерами из практики. Из всей этой ахинеи я понял одно: у них разные взгляды на медицину. И главное, они слишком много трепались о ней, хотя перед отъездом клялись не говорить о специальностях ни слова. Короче, мое раздражение нарастало. Я заключил: у моих никчемных приятелей не только руки не работают, но и головы плохо варят, с ними покоя и радости не будет.

### ***Глава четырнадцатая. Мой фантастический улов***

Река в том месте, где мы плыли, представляла собой множество водоемов, которые соединялись протоками, затянутыми ряской. Если бы мы могли надуть огромный шар и взлететь в небо, наверняка увидели бы вместо реки

змею, проглотившую кучу арбузов. Вдоль проток толпились ивы, их ветки были сплошь перевиты игольчатыми вьюнами — они, как колючая проволока, цеплялись мертвой хваткой. Вплывешь в такой зеленый тоннель и выплывешь весь ободранный. Попасть-то в протоку легко, но потом попробуй выберись! Вдобавок за ней увидишь столько водоворотов и свальных течений, что мурашки побегут по спине. «Ну ничего, — подумаешь, — когда препятствия множатся, значит, победа близка». Дудки! Дальше будет понатыкано столько островов с кустами, что проехать, не сломав себе шею, просто невозможно. Это была не река, а поток без русла.

А острова! Видели бы вы их! Повсюду валяются коряги и, как змеи, ползут корни; меж деревьев торчат разные клубки, сетки и дудки — цепкие капканы растений. В одном из таких диких царств и находилось наше пристанище. Это был не остров, а какая-то плавающая корзина с деревьями и кустами. Видимо, его подмывало, и он крутился. Во всяком случае, когда мы проснулись, солнце всходило там же, где и зашло.

Нас с Котлом разбудил необузданный Кука. Я уже говорил, что он храпел так, словно заводили трактор, время от времени во сне орал: «Ой-ей-ей!». А просыпался, сразу вскакивал, как полоумный. И немудрено — после разговоров с Котлом можно не только увидеть жуткий сон, но и вообще спятить.

Кука разбудил нас в шесть утра, на него напала деловитость: яростно гроыхая, он налаживал снасть для ужения рыбы; усердствовал отчаянно, не обращая внимания на наши протесты (он всех людей делил на жаворонков и сов; первых считал созидателями, вторых разрушителями). Ну а когда мы с Котлом вылезли из палатки, на дереве висел плакат: «Прошу извинения за то, что, начиная работать вовремя, ставлю вас в неловкое положение». «Все-таки Кука безнадежно ограничен, — подумал я, — у него взгляд

на три сантиметра, не больше» (я имел в виду не остроту зрения, а широту интересов и интеллигентность, что кроме всего — умение не создавать неудобства другим). Попутно замечу: дерево, на котором висел плакат Куки, почему-то торчало перед палаткой, хотя, я точно помнил, вечером оно находилось далеко в стороне. Похоже, на острове деревья по ночам перемещались.

Кука стоял у воды с удочкой, стоял неподвижно, отключив известную часть тела (со спины он был похож на глиняного идола); заметив нас, приложил палец к губам и процедил: «Тц-ц-ц!». Я проследил за его взглядом и увидел: в воде под корягой мелькнула тень.

— Обними меня медведь, если ее не поймаю! — шепнул Кука.

Кука знал все: как построить веревочный мост через пропасть, найти воду в пустыне, откачать утопленника — и, конечно, знал, как хватать рыбин голыми руками. Бросив удочку, прямо в одежде он прыгнул в воду и стал шарить вокруг коряги. Потом скрылся за кустами, долго нырял и фыркал, потом вдруг как завопит:

— Помогите, тону!

— Ишь актер! — безучастно хмыкнул Котел. — Не мог найти другого места топиться, все лилии загубил. Совершенно не думает о сохранении природы. Лилии, кстати, в Красной книге. Кука экологически абсолютно безграмотен. После набегов таких туристов-варваров природа долго не может залечить раны. Подобные туристы, как золотая орда, все сметают, и после них на земле свалка: бутылки, консервные банки. В жаркий день, кстати, бутылки, как линзы зажигают сухие травы, начинаются пожары. И туристы все берут «на память», рвут самые крупные цветы. Во времена моего детства ромашки были с блюдце, колокольчики со стакан, а сейчас!..

— Да, массовый туризм наносит ущерб природе, — согласился я.



— Это для природы жуткие мини-катастрофы, — вздохнул Котел. — В некотором смысле.

— Тону! — слышалось снова.

— Может, и правда тонет? — встревоженно обмолвился я.

— Ничего, вода прозрачная, найдем, — протянул Котел.

— Заковыристый случай! — отряхиваясь, Кука вылез из воды со скорбным выражением лица, выругался и плюнул.

Ясное дело, он упустил рыбу, но его купальный этюд навел меня на мысль: здесь стоит порыбачить. Вы знаете, есть люди совершенно нетерпеливые, которые, если не клюет, не просидят с удочкой и минуты, но там рыба бросалась прямо на берег. Я даже банку с червями спрятав за дерево. За полчаса сноровисто я поймал четырех голлавлей. «Четыре — четное число, — подумал. — Нехорошо, надо поймать пятого». Поймал пятого, подумал: «Ну уж где пять, там и шесть...» Так и ловил, пока руки не устали. К слову, я рыболов высокого класса; можно сказать, мастер рыбалки.

— Отличные рыбы, — щелкнул языком Котел, когда я подошел. — Устроим праздничный обед. Давно свежей рыбки не пробовал. Сколько всего хвостов ты поймал, Чайник?

— Зубы у себя во рту считай, — остановил я Котла и протянул улов Куке (он уже разжег костер и закурил трубку).

Боюсь, вы не знаете, что приятели бывают духовные и удобные. Объясняю. Духовным приятелем Кука никак быть не мог, и потому что его черепок плохо варит, и, естественно, из-за своего бескультурья, а удобным более-менее мог.

Кука достал свой нож с узким, источенным до нитки лезвием (он постоянно держал оружие в боевой готовности) и бойко принялся потрошить рыбу — от него в разные стороны полетели чешуя, плавники, пузыри. Котел начал чистить песком сковородку. Потом они жарили рыбу, и, пока колготились, я подробно объяснил, как нужно ловить

голавлей. Под конец я хотел закрепить свой успех рассказом о рыбалках на Волге, но не успел...

### ***Глава пятнадцатая. Перепадка Котла и Куки***

Да, ребята, я не успел закончить рассказ — туполом Кука грубо перебил меня:

— Хватит балаболить! Дело не в пойманной рыбе, а в кайфе, в ожидании клева. Рыбалка — это целая наука, особая философия, тебе не понять. Так что хватит нести похвальбу. Садись лучше шамать да оцени мою жареху, — он выбрал самый увесистый кусок и начал уплетать за обе щеки.

Не сомневаюсь, вы заметили Кукину невоспитанность и то, что у него все чувства изрядно притуплены, а высокие вообще отсутствуют. И это еще мягко сказано. Скажу больше — он настоящий болотный житель. Его, придурковатого, видимо, придавило еще в детстве, и он таким и остался. Грубость Куки заметил и Котел:

— Да, с вежливостью у нас плоховато. А на улицах Парижа и Нью-Йорка незнакомые люди улыбаются друг другу. И какое чувство собственного достоинства! В Америке даже не принято уступать пожилым людям место. У них есть поговорка: «Все должны долго жить, но никто не должен быть старым». Там, если ты уступил место пожилой женщине, значит, в глаза назвал ее старухой. А у нас в транспорте не уступишь старухе — стыдит на весь вагон. Наша беда в том, что мало интеллигентов, на улицах почти нет одухотворенных лиц.

— Спокойно! Что мелешь? — Кука чуть не запустил в Котла ложкой. — Полно у нас прекрасных лиц, хороших, умных людей. В метро все читают, мы самая читающая нация. В театрах и на выставках толпы людей... Вот ты

неслабо знаешь о Париже и Америке, а они о нас не знают ничего. Из наших писателей называют только Толстого. Их ничего не интересует, кроме своих дел. Накопительство и развлечения — главные цели. У них даже ко всему есть присказка: «Ты получаешь от этого удовольствие?». Твоя Америка! Стандартная одежда, стандартные улыбки, все разговоры: есть ли кондиционер в доме, какая марка машины — и всюду деньги, деньги. Шаблонная американская мечта о богатстве. Лично мне начхать на их пластмассовые коттеджи и подстриженные газоны, я люблю все естественное: густые травы, полевые цветы и наши избы — дерево самый чистый и здоровый материал... И вообще, американцы туповатые! Ты знаешь, что, по их опросу, большинство американцев считает, что они воевали с немцами и нами, что мы были с Гитлером заодно?

— Да, это отчасти так, — нервно хохотнул Котел. — Я убедился, что они и свое искусство плохо знают. Как-то приехали к нам студенты американцы, я их спросил, слышали ли они таких-то джазовых музыкантов, а они и не знают, кто это такие. Я изучал импровизации этих музыкантов, а они не удосужились перейти улицу послушать их. Такая печальная вещь. Но у них, понимаешь ли, во всем узкая специализация. Свой-то предмет они знают как надо, будь уверен. В условиях конкуренции иначе нельзя. Надо все делать лучше других. Поэтому у них много личностей и колоссальные достижения.

— Еще бы не иметь достижения! Грабят бедные страны, скупают по всему свету лучшие умы, мировые войны их обошли стороной, разрушений-то не было, — Куку прямо трясло от возмущения, он даже забыл про еду. — Нет лиц! Это надо же, до чего договорился! А наши девушки?! Наше главное богатство?! Каждая третья красавица. И личностей у нас полно. Мой сосед, рабочий парень, сам собрал легковушку неслабую. Толковый парень, начитанный, пи-

шет стихи. Да он сто очков даст любому сверстнику американцу. Не случайно на всех школьных олимпиадах наши ребята побеждают!

Трапезу заканчивали молча. Наевшись и отвалив от коистра (не поблагодарив меня, рыбу все же я поймал. Кто же еще? Ну конечно, я. Опять я!), Котел схватил фотоаппарат и попросил меня запечатлеть его с удилищем.

На минуту перенесем действие в другое место. По случайному стечению обстоятельств до этой поездки вы могли быть знакомы с Котлом. И тогда, конечно, первым делом он пригласил вас к себе домой «слушать джаз» и вы заметили, что стены его комнаты облеплены фотографиями. Там есть снимки, где Котел стреляет из ружья, сидит на лошади, плывет брассом. На всех фотографиях Котел ангел: чистый взгляд, открытая душа. Но не верьте этим фотографиям, все они — липа, обманчивое представление о супермене. У меня-то есть фотография, где его истинное лицо: нахальный взгляд сразу выдает двуличную натуру. Этот снимок сделал я (скрытой камерой).

Меня с Кукой Котел снял раз пять; причем на карточках, которые он делал в начале путешествия, ничего не видно; где-то в середине нашего плавания он более-менее освоил ремесло — на тех неважнецких снимках кое-что можно разобрать; только перед возвращением в Москву он наконец начал делать снимки, на которые можно смотреть. Правда, и на них мы с Кукой себя не узнавали.

После того как я «щелкнул» Котла, он взял гитару и начал трезвонить на всю реку. Кука засмолил трубку — огромную, с половник, и проверил на кофте пуговицы (он частенько наедался так, что они отрывались), потом достал блокнот и произнес:

— Начну вести дневник. «Наблюдения простака». Как бы. Опишу для начала нашу неслабую стоянку. Трудно поверить, что на земле еще остались такие классные места.

Я усмехнулся: Кука может любоваться рекой, деревней, костром, а через полчаса полезет с кулаками на приятеля. Сентиментальность часто граничит с жестокостью.

— А путешествие, сами понимаете, доступное для всех счастье, — продолжал Кука. — И главное, у нас — гуляй по лугам, плавай по речкам, а на Западе всюду таблицы: «Частное владение. Вход воспрещен!» — Кука выдал несколько крепких словечек из своего обширного арсенала ругани (их не привожу — язык не поворачивается). — Земля, леса, озера, природные богатства должны принадлежать государству, а не группе денежных мешков. В частные руки можно отдать небольшие магазинчики, мастерские, ну мелкие заводешки... — Кука грозно кашлянул и уткнулся в блокнот.

Краем глаза я зорко следил за его каракулями и ответственно заявляю: все, что он написал, следовало перевернуть наоборот, тогда получалось как раз то, что было на самом деле. Впрочем, что вы хотели от Куки? Ведь он даже писал с ошибками, да таким размашистым почерком, что казалось, на бумаге лежат вытянутые пружины.

Под конец писанины Кука начеркал: «Поездку омрачают мои приятели: Котел брюзжит, что все вокруг плохо, а Чайник замкнулся в своем мирке, ему все до лампочки, в разговоре из него много не вытянешь». Как вам это нравится?

Кстати, когда я описал нашу поездку и понес рукопись в редакцию, скептик Котел заявил, что я напрасно рассчитываю напечататься, так как писательское ремесло у меня хромает.

— Здесь ты не вышел способностями, — бубнил он. — В этом смысле гораздо больше шансов у Куки. Его дневник написан возвышенной и глубже, в его слова вложена душа, поэтому они живые, зажигательные. И вообще у него достаточно зрелое, масштабное произведение, а ты скользил по поверхности.

Ну о каком сравнении может идти речь? Скажу без ложной скромности, я с исчерпывающей полнотой дал исключительно правдивое описание реки и деревень, заодно предельно ясно решил проблему свободного времени, досуга, увлечений, в то время как Кука накатал что-то вроде автобиографии, да еще напичкал свой слабый текст разными литературными выкрутасами. Уж я не говорю о жалком количестве страниц в его блокноте — в моем очерке раз в десять больше, и, если говорить начистоту, я писал его без всякой претензии на стиль. Разжигайте им печь, если вру!

Кстати, прошу этот очерк рассматривать и как научный труд, достоверный документ нашей эпохи. В самом деле, обратите внимание, с начала поездки я исследую совместимость людей в замкнутом проживании, и мое исследование движется на фоне меняющихся ландшафтов. Согласитесь, красоте такого изложения могли бы позавидовать многие ученые.

### ***Глава шестнадцатая.*** ***Мой героический поступок***

Несмотря на ранний час, солнце жарило, точно сковородка. Мы решили устроить банный день и, намылившись, стегали друг друга березовыми вениками, причем Кука стегал меня с таким остервенением, что, не будь он моим приятелем, я подумал бы, что нахожусь в камере пыток. Потом купались. Массивный Кука догадался прыгнуть с плота, и, когда плюхнулся, река вышла из берегов и волны с шипением обрушились на наши пожитки. Дряблый Котел, побрякивая и поскуливая, приседал на мелководье и трещал:

— Песок очень желтый и мелкий, а мне нравится крупный и белый. Вода, наверное, плюс двадцать градусов,

а я привык к двадцати одному с четвертью. Облака кучевые, а я люблю перистые с розовым отливом...

Я тоже разок нырнул, оставив за собой цепочку серебристых пузырьков. После купания легли на песок позагорать, и в Котле внезапно проснулось запоздалое раскаяние:

— А в некотором смысле я напрасно ругал тех сельчан. Люди не виноваты, что так живут.

— Виноваты! — безжалостно отрезал Кука. — И лихо, по делу ты пропесочил их. Кто им мешает починить технику? Или поправить дома, сделать их приглядней? Разгильдяйство!

Через минуту они затеяли очередной спор, и, кажется, вновь победил Кука. Я не вслушивался: на солнцепеке меня разморило, я залез в палатку и лег в высокую, похожую на лапшу траву и попытался вздремнуть — ведь из-за Куки не выспался, но уснуть не удалось. Вначале, сокрушая все на своем пути, как бульдозер, в палатку забрался Кука. Потом, когда я почти уснул, меня растолкал Котел и с глупой потугой на юмор пожелал «приятных сновидений».

Дальше я просто лежал с закрытыми глазами; болело сожженное солнцем тело (кожа сходила, как шелуха с молодой картошки), и ныли ссадины на руках и ногах; во сне Кука, как всегда, усиленно гримасничал, дул и вздыхал, и скрипел зубами (а они у него как гвозди), а в его животе стоял гул, точно колокольный набат. Я пытался перевернуть истукана, но разве такую тушу сдвинешь? Тут нужен домкрат.

Во второй половине дня мы вылезли из палатки и с изумлением заметили, что плот исчез.

— Проворонили! Стащили! — нахохлился Котел.

— Сперли! — внес существенную поправку Кука. — Тому, кто это сделал, я намылю шею! — он принялся оскорблять Котла за то, что тот отнесся к швартовке наплевательски, и теперь мы расхлебываем последствия. (И откуда он взял,

что плот привязывал Котел? Я четко помню, что его как раз привязывал сам Кука, да еще морскими узлами. Похоже, это снилось Куке, в тот момент он еще не проснулся).

Разумеется, Котел огрызнулся. Представляете, как на фоне их паники выглядело мое спокойствие? На самом деле у меня внутри все заледенело, но я не показывал вида, я умею держать себя в руках. Сдержанность — одно из основных моих достоинств.

— Вон он! — внезапно вскрикнул Кука, хлопнул себя по колену и показал на соседний остров.

Там действительно маячил наш плот, маячил в какой-то печальной дымке; только, пока мы обсуждали, что делать, течением его развернуло и понесло. Кука с Котлом сразу бросились в воду, но лучше бы не рыпались, потому что в обход по мелководью я догнал его быстрее. Через протоку выбежал на высокий, коренной берег и, поравнявшись с плотом, бросился в воду. Но деревянный беглец подпустил меня поближе, вильнул рулем и, прибавляя скорость, заскользил вниз по течению. Тогда я снова выскочил на берег, забежал немного вперед, соизмерил силу течения реки и свои возможности и, уверившись в победе, бросился плоту наперерез.

Вы сомневаетесь — получилось ли? Не сомневайтесь! В таких делах я никогда не терпел поражений, срабатывает многолетний опыт. Ну то есть я хочу сказать, что профессионал и в сложный момент остается профессионалом. Как пловец я показал себя во всем блеске. И куда плот денется, если за дело взялся такой, как я?!

Но пойдем дальше. Дополню текущий момент — подплыли Котел с Кукой. Они так наглотались воды, что я еле втащил их на плот. И началось — обнимают меня, поздравляют:

— Золотой ум! Заслужил орден! Теперь попадешь в рай!

Отвесили и другие комплименты, которые я принял с подобающей скромностью. И что они, в самом деле?!



Ведь, в сущности, я такой же, как все, только умнее, талантливее. Ну короче, ребята, мои приятели ударились в другую крайность — похвалили больше, чем надо, а я знаю: если они меня хвалят, значит, скоро будут ругать. Я уже привык обороняться; впрочем, может, это был этакий хитрый ход — выдать аванс похвалы в счет ожидаемых подвигов?

— А это что такое! — Кука вдруг показал на берег, забитый спиленными деревьями, меж которых возвышался трактор.

— Леспромхоз старался, — ответил я с горьким спокойствием. — И, видимо, давно, трактор уже зарос цветами.

— Что за бесхозяйственность! Прямо зло берет! — обуреваемый яростью, вздрюченный Кука учинил разнос лесному хозяйству. — Это великолепие оставит глубокий след в моей душе! Японцы щепки покупают, а здесь столько древесины гниет. И вся неслабая.

— Удивляемся, что Америка богатая, — пробубнил Котел. — Так американцы все до доллара считают, у них во всем экономия. Бумагу делают из макулатуры, а наши деятели леса губят.

— В день с лица земли исчезают гектары леса и вместе с ними животный мир, — помолчав, продолжил Котел. — А ведь мир создан не только для человека, но и для животных, и человек не имеет права что-то покорять, изменять. Вон в Америке — национальные парки, свободно разгуливают животные. Пожалуйста, глазей на них из автомашины. А наши зоопарки — тюрьмы для животных. Тяжело смотреть на волка, бегающего из угла в угол в тесной клетке.

Здесь впервые Кука не стал спорить с Котлом, и тот разошелся еще больше:

— А вы знаете, что наши чиновники продают лицензии на отстрел медведей на Камчатке? И сами стреляют. Причем с вертолета, когда у зверя нет шансов на спасение.

— Негодяи! — не выдержал Кука. — Но почитай Моуэта. Он пишет, как канадцы стреляли в кита, севшего на мель в бухте. Ради забавы палили из ружей всем поселком. А как они забивают детенышей тюленей! Так что негодяев везде хватает.

Подогнав плот к острову, мы перетащили вещи, оттолкнулись, и нас понесло затяжное течение.

### *Глава семнадцатая. Гигантская щука*

По-прежнему в воздухе господствовал зной. Котел некоторое время пребывал в угрюмом раздумье, расхаживал по бревнам (конечно, в спасательном жилете) и пересчитывал сучки, потом включил приемник и прилип к нему.

Кука сделал три удочки и только хотел одну закинуть, как зацепил себя за штаны, да так крепко, что вокруг крючка пришлось вырезать материал. Кука всегда ловил на несколько удочек, старался разбросать наживку по всей акватории реки. Он мерил класс рыбака метражом занятого пространства, а не умением использовать малейший поклев. Раскидав наживку, Кука уселся на рюкзак и стал клевать носом; вскоре послышался храп. Только когда одно из удилиц плюхнулось в воду, Кука вздрогнул, заморгал, как филин, и потянулся к удилицу, но рюкзак опрокинулся, и неуклюжий Кука, задрвав ноги, свалился в воду. Хорошо, успели схватить. Рюкзак, конечно, не Куку.

Общий вид того отрезка реки таков: по водной глади скользит плот; на нем я — искушенный мореход — и двое начинающих плотогонов, этаких великовозрастных неумех. Просто так, от нечего делать, чтобы скоротать время, я решил покидать спиннинг. Только забросил снасть, как мою железку схватила щука таких размеров, что я раскрыл рот. Это было какое-то библейское чудовище. Котел и Кука застыли, как громом пораженные.

— Щука! — крикнул я и метнулся к мачте.

Рыбина выпрыгнула из воды, сделала сальто и понесла плот по извилинам. Спиннинг превратился в спираль. Я еле переводил дух. У меня затекли руки и ноги, но я мужественно держался.

— Что же она так гонит, проклятая? — задыхаясь, проблеял Котел. — Все мелькает перед глазами.

— А ты их закрой, — пренебрежительно хмыкнул Кука.

Оба палец о палец не ударили, чтобы мне помочь. А щука меж тем совсем озверела: металась из стороны в сторону, как крокодил. Даже я, выдавший виды, был потрясен, а об этих и говорить нечего. Да, ребята, я выделял акробатические трюки, но рыбина все равно тащила меня в воду. Внезапно леска оборвалась, и хищница бросилась в заросли. Я прыгнул за ней и заработал кролем; и если бы захотел, то, конечно, ее догнал бы, потому что я блестящий пловец. «Только куда нам девать такую махину?» — подумал и вернулся. Вы мне не верите? Напрасно. Так всегда: врешь людям — верят, говоришь правду — не верят. Ну скажите, зачем мне погибать? Я и так повидал предостаточно.

— Ты поступил по-американски, — усмехнулся Котел, когда я забрался на плот. — Те тоже рыбачат ради спортивного интереса. Поймают рыбу, сфотографируются с ней и выпускают. Это гуманно в некотором смысле. А нам такая рыбка не помешала бы.

Вернусь к исходному пункту эпизода. Чтобы вы не оказались в положении моих растерявшихся приятелей, могу научить вас ловить гигантских щук. Вот как это делается. Прежде всего ни в коем случае не спешите. Как только рыбина схватит блесну, возьмите в руки что-нибудь тяжелое. Все равно что. Что будет под рукой, то и берите. Разумеется, ненужную вещь. Но если схватите и нужную, ничего страшного — ваши устремления окупятся сторицей, ведь гигантские рыбыны попадаются не каждый день.

После этого ждите. Стойте и ждите момента, когда щука выпрыгнет из воды и сделает в воздухе сальто. Вот тогда не зевайте. Сразу кидайте тяжелый предмет щуке в голову. После этого она поймет, с кем имеет дело, и сдастся без борьбы. Наверное, существуют и другие способы ловли, но этот самый верный.

Вот такие у нас были будничные дела. Конечно, я маялся со своими приятелями, но все еще на что-то надеялся, думал: «Может, все образуется, может, через пару-тройку дней они наберутся опыта, поумнеют, станут лучше». Короче, я многое прощал им, но условно, как бы с испытательным сроком.

Раз уж заговорил о буднях, два слова о кострах. Они заслуживают упоминания. От маленького «туземного» костра толку мало, тепла он не дает, а большой, «пионерский», — ненасытное чудовище: сколько топлива ни заготовите — все сожрет. Мой вам совет: плюньте на это занятие, есть масса других способов обогрева. Возьмите, к примеру, в поход штук пять примусов и канистру бензина. Очень удобно: зажжете их и расставите вокруг себя. И тепло, и жужжат как-то уютно, и побочные эффекты, в смысле игры светотеней. Если начнете коченеть, пододвиньте поближе, а запахнет паленым — подальше. Очень просто. А что такое костер? Он или шипит и стреляет вам в лицо, или отапливает небо — бушует так, что, чуть зазевался, — испечешься! А уснете у костра, надо, чтобы вас поворачивали. Иначе одна часть замораживается, а другая обгорает.

Скажу еще об одежде. О ней — как нельзя кстати. К сожалению, в наших магазинах мало специальной одежды для путешественников; разные ветровки, которые продают, — не годятся; похоже, они сделаны из жести и удобны только пожарным. А крайне важно, какую одежду вы наденете в путешествие. Сейчас объясню почему. Слишком узкая лопнет в ответственный момент, слишком широкая

соберет все колючки, слишком яркая привлечет пчел, они примут ее за клумбу и будут виться тучами, а потом, разочарованные, ни одного живого места на вас не оставят. Блестящий пример — кофты Куки. Они были всяких расцветок — от цвета мокрой глины до цвета ржавых гвоздей. На него постоянно садились разные твари (попутно замечу: Кука и в городе одевается чрезмерно ярко — наверное, боится, что его не заметят, я так думаю).

И наконец, маленькая подробность: на реке бушевали тучи комаров, они охотились на нас круглосуточно. Выходишь из палатки — они уже поджидают и ноют. Вдохнешь — полный рот набьется. И кусали эти комары даже через перчатки. Все средства от этих кровопийц — ерунда: мазь они просто лопают, а откроешь флакон — слетаются, дерутся из-за жидкости и лезут в пузырек.

Особенно комары докучали Котлу — у него были настоящие волдыри от укусов (как-то он насчитал их триста двадцать семь штук), а у Куки — почти ничего, его кожа-то дубленая. Комары собирались только в том месте палатки, где лежал Котел. Стоило ему перелечь, как они сразу к нему слетались. Провоевав с насекомыми часа два, Котел забивался в угол палатки, но тут же за ним устремлялась вся писклявая комариная колония. Каждое утро мы выметали из палатки несколько сотен убитых комаров — из-за одного этого к реке больше не поеду, они отравят весь отдых.

Кстати, по возвращении домой я заметил на своей руке комара. Он пытался прокусить мою загорелую огрубевшую кожу. Этому хилому горожанину было невдомек, что я уже закален деревенскими комарищами, что моя кожа уже давно потеряла всякую чувствительность. Я смотрел, как гнется хоботок комара, и на секунду мне стало жалко беднягу, но я вовремя вспомнил про своих бледнолицых собратьев, шастающих по улицам, и прихлопнул вампира.

Когда солнце заблестело, как слюда, мы проплыли пару километров по какой-то стремнине, где ток воды несся, будто по желобу, где развевалось множество подводных трав, и как мы не запутались, не понимаю! Наш плот, словно ледокол, продирался сквозь заросли. По берегам все это время тянулись маленькие елки, точно забор из колеев. Холодный воздух из ельника то и дело смешивался с горячим над рекой, и от такого коктейля голова просто разламывалась. Эти наблюдения, ребята, совершенно точны; может быть, я записал их не совсем удачно, второпях, зато здесь много чувства.

### *Глава восемнадцатая. В тумане*

Ночью было жарко, и мы спали, накрывшись одной простыней. Котел, как обычно, занимал лучшее место в центре палатки. Кука, как всегда, храпел и брыкался. Слышали бы вы его «хррр-пффф». Да и эта теснота! Укладывались, точно кильки в банке — полностью повторяли позы друг друга; стоило одному перевернуться, как и другим приходилось менять положение. Под утро я просыпался или от удушья, или от того, что с шумом вскакивал полоумный Кука. Он, «человек действия», не залеживался. И что характерно, он не мог вылезти из палатки тихо. Ему обязательно надо было опереться своей лапицей на ваше лицо, лягнуть ногой в живот, наступить на руку, при этом он звал с рычанием. Раза два тяжеловес Кука пытался встать осторожнее, но придавил нас еще больше... Иногда этот мучной мешок начинал вслух выяснять, чья очередь готовить завтрак, кто должен разводиться костер...

То утро было пасмурным. Над водой туман стоял плотным слоем, как вата, и высоко, на уровне наших плеч. Представляете зрелище: прикрытая туманом река и над пеленой плывут обросшие головы?!

В жутком настроении мы плыли вслепую часа три. Мимо тянулись еле различимые песчаные валы и кусты, на которых, точно бахрома, висела тина. Потом перед нашим носом выросла масса мутного песка, усыпанного галькой, огромной, как страусиные яйца.

— Загрызи меня волк, уютная бухта, — загоготал Кука и шмякнулся на берег.

— Многообещающие слова. Целесообразно передохнуть и заправиться, — вздохнул Котел со страдальческим выражением на лице и, подзадоривая Куку, крикнул: — Узнай, как там насчет удобств, хочется пожить на широкую ногу, возвышенно!

Надо сказать, в солнечные дни Котел с утра прыгал как козел и всем заговаривал зубы, а пасмурные дни наводили на него тоску, он подолгу не вылезал из-под одеяла, а когда вылезал, ходил туча-тучей и ныл, всячески показывая, что весь мир создан только для того, чтобы он страдал.

Тот день был понедельник — самый тяжелый день для Котла. Впрочем, еще в городе он говорил, что и вторник невыносимо тяжелый — надо втягиваться в учебу. Затем я заметил, что и среда, и четверг ему тоже не нравятся — середина недели и, следовательно, нужен отдых. Короче, из всей недели Котел любил только пятницу, как преддверие свободных дней и джазовых компаний. Зато в субботу и воскресенье он преображался: ходил расфранченный, как жених, не умолкая болтал и гундосил джаз. Правда, иногда в воскресенье его приподнятое настроение держалось только первую половину дня, во второй он уже мрачнел, и, чем меньше времени оставалось до понедельника, тем больше его физиономия вытягивалась.

В то утро он распластался на плоту и наяривал на гитаре, а мы с Кукой усердно гребли. Повторяю, Котел — отпетый лентяй. В оправданье своей лени он говорит, что грести, колоть, копать — не на пользу физического развития. Не те эмоции. На пользу только то, что в удовольствии. На-

пример, бег трусцой. Потому и плот для него был неким плавающим диваном. Короче, своим бездельем Котел довел меня до белого каления, но я не вышел из себя — только выдвинул мягкое, почти ласковое предложение:

— Котел! Ты не хочешь немного погрести?

— Чайник, ведь видишь — я сочиняю музыку. Я только хочу взлететь, как ты привязываешь мне гири. Да и куда спешить? Можно подумать, нас ждут изнывающие от тоски невесты. Медленнее едешь — больше замечаешь, — Котел придал голосу интонацию обиды.

Это его излюбленный прием, это он ловко насобачился изображать! Если б еще и верил в то, что говорил! В общем, выкручивался как мог. Добавлю — у него на все случаи имелись четко отрепетированные мизансцены. Даже споры и те разыгрывал: частенько, чтобы подчеркнуть свой якобы благородный гнев, вытаскивал из кармана камень (заранее приготовленный) и швырял под ноги.

Теперь о сочинениях Котла. Не подумайте, что я хочу в бочку меда добавить ложку дегтя. Ни в коем случае! Для меня объективность превыше всего, я в высшей степени объективный, справедливый человек. И уважаю любую профессию, если человек в ней мастер, но Котел-то как музыкант — так себе. Прежде замечу: с детства у Котла находили признаки гениальности: рассеянность, плохой почерк, несносный характер, но ничего не только гениального, но и сколько-нибудь значительного Котел так и не создал. Его сочинения можно разделить на «прилипчивые», то есть услышал такую мелодию, и несколько дней она, как заноза, сидит внутри тебя; и на заумную чертовню, набор чумовых звуков (разумеется, эту чушь собачью Котел особенно любит и слышит в ней «что-то потустороннее»).

В общем, в то утро мы с Кукой гребли, не жалея сил, а Котел беззаботно наяривал на гитаре, он давно потерял совесть — так и хотелось треснуть его по башке.



Как только Кука нашел стоянку, Котел забросил музыкальные упражнения и предложил распорядок дня: завтрак, разбивка лагеря, подготовка к обеду, послеобеденный отдых, легкий полдник, вечернее чаепитие — иными словами, предлагал завтрак плавно перевести в ужин. Кука отчеканил:

— Вполне сносный распорядок!

Я был против привала, но под их давлением пришлось согласиться.

### *Глава девятнадцатая. Ураган*

Мы запалили костер из сухих веток, но поесть не успели — внезапно туман сполз и над нами появился страшный наворот лохматых туч; застыла листва, попрятались и смолкли птицы, в воздухе повисла тишина — вначале какая-то ватная, потом напряженная, до звона в ушах, и наконец над рекой воцарилась взрывоопасная жуть невероятно плотной концентрации — почувствовалось зловещее приближение урагана. Летом такие фокусы природы не редкость, поверьте мне, я знаю, о чем говорю. И понятно, я насторожился, но не испугался. В такие моменты главное — подавить волнение.

Конечно, сейчас, по прошествии нескольких лет, будет нелегко описать тот ураган, то светопреставление, хотя я уверен, справлюсь с этой задачей — как, собственно, и с любой другой. Но, прежде чем рассказывать об урагане, ответственно заявляю, и возьмите это на заметку: на водных маршрутах нашей средней полосы нет укрытий от ненастий; не ищите дом рыбака или турбазу для диких неорганизованных путешественников — их не существует. Надейтесь только на свои палатки.

— И когда на наших речках будут оборудованные стоянки для туристов? — сказал я без всяких задних мыслей, но Котел тут же ожил и разнузданно взялся за свое:

— Кто у нас думает о туристах? Вот в Америке в любом захолустье на дороге гостиница с горячим душем.

— Но здесь не дорога, — спокойно, стараясь не огрублять слова, заметил я, — и гостиницы здесь не нужны. Мы специально уехали от цивилизации. Другое дело — изба для путников. Но хватит болтать, смотри, какое грозовое небо! Назревает серьезное ненастье, надо принять разумные меры предосторожности, подстраховаться.

Котел с Кукой легкомысленно отнеслись к моим словам и беспечно развалились у костра. Я посмотрел на них со значением и стал в одиночку подтягивать растяжки палатки, втыкать дополнительные колья...

А буря уже была на носу: гудели деревья, и облака, подчиняясь какой-то небесной механике, носились над нами, как ошалелые, и волны на реке вздымались, точно водяные холмы, и с угрожающей скоростью обваливался берег, будто срезанный гигантским ножом, — отваливались куски огромные, с автобус. Потом сразу стемнело, и сверху рухнула стена воды; тугие струи дубасили по головам, прямо вбивали в землю. Совсем рядом полоснуло, шархнуло, и огромный клен у палатки запылялся, точно факел. Я бросился сбивать пламя, а Котел вдруг вскочил и нервно засмеялся:

— А все же есть колдовство в воде и огне! Некий священный ужас!

Он был запуган вконец и дергался, будто его кололи иголками.

— Оглуши меня шаровая молния, есть! Мне по душе такой гнев природы! Ее дикие пляски! Ураганы меня возбуждают, но я полностью владею ситуацией, — растопырив ручищи, Кука побежал укреплять швартовые плота.

Спустя несколько минут, потушив огонь, я решил накинуть плащ, полез в палатку, а там... Котел. Я не поверил своим глазам, даже протер их. Пока мы сражались со стихией, этот жалкий трус отсиживался в палатке, да еще для

отвода глаз открыл книгу. Я высказал Котлу все, что о нем думал.

— Не ругайся, как бандит, — дрожащим голосом выдал он. — Слабое подобие грозы. Можно сказать, грибной барабанный дождик, и... — он не договорил — молния сверкнула так, что мы ослепли.

И тут же долбанул гром, и сверху полетели градины величиной с кулак. В палатке зазияли дыры, точно пробойны от снарядов; через минуту она треснула на две части, а на наших лицах один за другим появлялись синяки — казалось, в нас палили картошкой. Я хотел прикрыться остатками палатки, но огромный вал воды, высотой с железнодорожный вагон, подхватил нас вместе с вещами и потащил в реку. Рюкзаки затонули сразу, за ними на дно отправилась порванная палатка; одеяло и гитара еще плавали, но уже крутились в водовороте, готовые вот-вот исчезнуть в ненасытной пучине.

— Помогите укротить плот! Где вы околачиваетесь?! — со стороны берега истошно кричал Кука.

Котел потянулся к гитаре, я подплыл к плоту, ухватился за бревна, но они встали на попа и накрыли нас с Кукой, словно крышка от гроба. Мы еле выбрались на поверхность, но плот сохранили.

Все это я рассказал не для того, чтобы у вас, ребята, заledenели внутренности, а для того, чтобы вы не считали нашу поездку легкой прогулкой.

Когда ураган пронесся, все вокруг было усыпано градинами (самые маленькие — с шарик для пинг-понга, но большинство, как я уже сказал, — с кулак), по взбухшей реке плыли смытые заборы и целые острова с кустами и стогами сена — после града кусты облысели, стога примялись к земле. На месте лагеря остались только ружье и топор. К счастью, рюкзаки прибило к деревьям на противоположном берегу и они застряли меж подмытых корней.

Второй раз у нас все намокло, и снова мы недосчитались многих вещей, в том числе основных — палатки, одежды, посуды и продуктов. Такая неприятная арифметика. Прикиньте, каково без этого?!

— Наше положение осложнилось, — уныло проговорил Котел. — Можно сказать: свадебный марш Мендельсона перешел в траурный марш Вагнера. Правда, мы полюбовались грозой, и вон появилась радуга, загадывайте желания!

— Не говори, красиво! И без паники! Ты не проникся важностью момента! — осадил его Кука. — Будем шевелить мозгами, что-то делать или заниматься слабым пустозвонством? Случилось не самое худшее. Да и человек совершенствуется в опасностях, и негативный опыт ценнее положительного. Наступил ключевой момент поездки, выжмем максимум из трудного положения. Вокруг полно съедобных трав, займемся вегетарианским обжорством.

— Как это мудро! Один ты можешь спасти нас от голодной смерти, — нахально ответил Котел, недвусмысленно призывая Куку к действию.

И Кука совсем ошалел от слепого доверия: вскочил, поиграл мышцами, давая понять, что они у него твердые, как поленья, издал медной глоткой пробное «ры-ы!» и, убедившись, что его голос в порядке, схватил топор и понесся к кустам. С преувеличенной старательностью он начал строить что-то вроде шалаша. Смастрячил вигвам, отошел, посмотрел со стороны, подбежал, начал сооружать юрту, потом чум. Все же одному варианту навеса повезло — снова хлынул дождь, и мы залезли в укрытие.

— Ты, Кука, как наши строители, — Котел подавил смех. — Квартиры сдают без кранов, обои — хуже не придумать, полы заляпаны. И людям приходится все переделывать, доставать материалы, искать паркетчиков, маляров. Инженер, ученый бегают по магазинам, конторам, а сколько за это время могли бы изобрести, создать!

Даже в минуты нашего бедственного положения Котел долдонил свое, затягивал нас в свои черные сети.

— Отделять жилье — приятные заботы, — щелкнул пальцами Кука.

— Да дело не только в квартирах! — продолжал Котел. — Доходит до смешного: финны покупают у нас древесину-кругляк, делают из нее бумагу и продают нам. Почему наши сами не могут делать бумагу!

Развязным языком Котел муссировал какие-то обрывочные сведения. Меня уже не на шутку раздражала его трескучая говорильня.

— Все, что ты знаешь, мы тоже знаем, но мы знаем и другое, — сухо сказал я. — При желании всегда можно увидеть плохое.

— Я тебя, Чайник, понимаю, продолжай! Я весь внимание, — Кука резко повернулся, невзначай задел какую-то ветку, и сразу сверху закапало; потом потекли струи, и по моей спине побежал ручей, как бы перепиливая меня пополам; вскоре я уже сидел в луже — знаете, как это бывает.

Через час дождь кончился, и лужи исчезли с невероятной быстротой, высохли прямо на глазах. Впрочем, попробуй напои всю эту уйму зелени. Тут нужны тропические ливни, а не короткая гроза.

Поскольку спички намокли, Кука додумался развести костер следующим образом: высыпал на землю порох из патрона и обложил его сухими ветками; потом взял ружье, прицелился и выстрелил. Раздался оглушительный грохот. Сам Кука кувыркнулся, задрал ноги, одна из веток звезданула Котла по голове — теряя сознание, он вцепился в меня, и мы оба свалились на шалаш, который тут же рухнул, но... костер запылал.

Окрыленный удачей, счастливый Кука решил совершить еще что-нибудь героическое и вскоре в осоке подстрелил чирка; правда, поджарив тушку, неожиданно фыркнул:

— Зря укокошил.

Не подумайте, что его мучили угрызения совести. Просто чирок оказался жестким — наверное, он спрятался в осоке, чтобы спокойно умереть от старости.

— Конечно, зря, — откликнулся Котел, доедая ножку чирка. — И учти, в другой жизни будешь тем, кого убивал, обижал.

— Срубил дуб — станешь дубом, — усмехнулся я, давая понять, откуда произрастает Кукина тупость.

Возможно, здесь вы, ребята, ждете от ситуации чуда. Конечно, по законам повествования здесь я должен придумать что-то захватывающее, но я предупреждал вас: в этих очерках только реальные факты, поэтому обойдемся без захватывающих выдумок.

Итак, просушив одежду, мы погрузились на плот и отчалили, поднимая разноцветные брызги.

### ***Глава двадцатая. Поездка в райцентр***

Река стала шире, и временами шест уже не доставал дна. Стали попадаться мотолодки и катера, появилась судоходная обстановка: вежи, бакены, буи. Я-то блестяще знал лоцию и свободно разбирался во всей этой кухне, а для моих приятелей плавучие знаки, видимо, были елочными игрушками, иначе трудно объяснить поведение Куки — знай себе прет по фарватеру как заблагорассудится, хотя я не раз объяснял: маломерный флот не должен болтаться на судоходном пути. Кука правил совершенно безответственно, словно на случай столкновения нас ждали спасатели.

В одном месте мы довольно долго торчали около понтонного моста, ждали, пока его разведут, а развели его, только когда с низовьев реки послышался сигнал буксира.

Мы и еще какие-то лодочники — весь «москитный флот» проскочил быстро, а вот буксир пыхтел, топтался на одном месте с полчаса, и все это время у переправы стояли телеги и грузовики.

— Вот раздолбаи! Неужели здесь нельзя поставить мост на сваях?! — рявкнул Кука.

— Все можно, Кука, если есть хозяин, — причмокнул Котел. — У нас никто ни за что не отвечает.

«Какая в нем нескрываемая радость по поводу всяких нелепостей, недостатков, — подумал я. — По сути, он не уверен в себе, ведь сильный человек всегда видит и положительное».

Здесь уместна вставка. Я вот думаю: вокруг каждого человека есть облако — теплоты, обаяния, ума. Вокруг Котла было облако нигилизма и скуки. Опасное зараженное облако, ведь известно: даже плохое настроение — штука заразная. А тут такой разрушительный настрой! От Котла даже на расстоянии вытянутой руки веяло холодом. Своим брюзжанием он уже выводил меня из себя. Он трепался с утра до вечера и абсолютно ничего не делал. У Котла нет ни воли, ни энергии — одним словом, никчемный, ключий субъект, правильно я говорю?

Недалеко от понтона (ниже по течению) показались дома, одинаковые, будто кто-то делал куличи; над трубами курчавился дым. Мы на такой скорости подлетели к деревне, что проскочили ее и причалили около мостков, на которых старушка развешивала женское белье, огромное, как парашюты. У старушки были выцветшие глаза, а лицо в сетке морщин. Она первая поздоровалась с нами, посоветовала привязать плот с другой стороны мостков, куда не заносило пену, а после нашего маневра попросила поднести таз с бельем.

Вот что мне нравится в деревенских жителях — так это приветливость и то, что они сразу приезжего ни о чем не спрашивают, дают отдохнуть, освоиться, говорят о том

о сем, а уже потом как бы между делом заводят разговор о цели приезда.

Мы двинули вверх к домам по настилам, утопающим в лопухах. По дороге Кука спросил у старушки, далеко ли райцентр (мы решили приобрести новую палатку и все, что утонуло). Старушка сообщила, что по тропе через лес всего восемь километров, и предложила туда сгонять на велосипеде внука.

— Садись, Котел, на раму, прокачу с ветерком, — захохотился Кука, когда мы вошли во двор старушки и она кивнула на велосипед.

Котел замотал головой и попятился. Кука повернулся ко мне:

— Ну ты, Чайник, садись. Я в отличной форме, не бойся! Я сел на раму.

— Главное на велосипеде — звонок, — Кука потренькал, оттолкнулся, тяжело влез на сиденье, и мы покатали по деревне.

Вообще-то можно сказать, что Кука неплохой велосипедист, если бы еще умел поворачивать. Разогнавшись, он прохрипел:

— Облысеть мне совсем, но эти пешеходы лезут под колеса!

Я посмотрел вперед, а он, недоумок, едет по настилу вдоль палисадников, и все шарахаются в сторону и кричат:

— Осторожно! Неуправляемый!

Я потянул руль на себя, чтобы направить машину на середину улицы, но болван Кука рванул руль в другую сторону, и мы врезались в забор. Велосипед застрял меж реек, Кука оказался по одну сторону забора, я по другую. К несчастью, я упал не на солому, а на доски, но, к счастью, в них не было гвоздей. Велосипед не пострадал совершенно. (Как вы догадываетесь, Кука не признал, что дал маху; он вообще никогда не говорил: «Я не прав, я ошибся», никогда ни за что не извинялся.)



— Теперь смотри, как едут профессионалы, — бросил я Куке. — Пристраивайся сзади.

Кука уселся на багажник, и я закрутил педалями. Я вел машину красиво, элегантно. Мы уже выехали из деревни, как вдруг я заметил, что велосипед покати́л легче. Обернулся — Кука отряхивается невдалеке и грозит мне кулаком. По закону падающего бутерброда он грохнулся лицом и ободрал нос.

Все-таки мы добрались до райцентра и в магазине купили одеяло, кастрюли, продукты и палатку, лучшую из тех, что были, но все равно узкую и без дна — попросту говоря, это была конура. Судите сами: в первую же ночевку еле втиснулись в нее, а вскоре я проснулся от шороха. Кругом кромешная тьма. Чиркнул спичкой — рядом... крот! Еле выгнал его. Только уснул — разбудило кваканье. Открыл глаза — перед лицом сидят лягушки, подмигивают мне.

Вернувшись в деревню, мы поблагодарили старушку за велосипед и направились к реке.

Котел лежал на песке и беззаботно брэнчал на гитаре.

— Все отдыхаешь? — с негодованием проговорил я.

— Почему не посуетился насчет костра? — поддержал меня Кука и стиснул зубы до хруста. — Слишком много сандалишь на гитаре, смотри не надорвись, а то еще дашь дуба.

— Творческий человек умирает не от работы, а оттого, что ему не дают работать такие, как вы, — шмыгнул носом Котел, но все же принялся готовить обед.

После обеда мы разлеглись на траве и Кука, естественно, закурил. Он заядлый, яростный курильщик — у него все пальцы желтые от табака. Куревом он «успокаивал» нервы, но они у него, как у всех профессиональных спорщиков, из проволоки, а вот мои он явно расшатывал, ведь он и засыпал с трубкой во рту, и каждую ночь я боялся, что он спалит палатку.

Но это второстепенно, главное — вы заметили, мое терпение достигло предела? Меня уже раздражало все, даже игра на гитаре Котла и курение Куки, об их спорах и не говорю. Согласитесь, можно вести спор, но корректно, выслушивая чужое мнение, а эти обливали грязью друг друга. «Еще день-другой потерплю и уезжаю отсюда, очень надо тратить отпуск на дуралеев, хватит, хлебнул романтики с ними!» — решил я про себя. Надо сказать, ребята, я не бросаю слов на ветер и не принадлежу к числу людей, которые только грозятся, но не претворяют угрозы в жизнь. Вскоре вы это поймете.

### *Глава двадцать первая. Позорный заплыв Куки*

Мы уже собрались плыть дальше, как вдруг к нам подбежали босоногие мальчишки и, разинув рты, стали рассматривать наш плот.

— Дяди, вы туристы, да? — спросил один мальчуган.

— Мы путешественники, искатели приключений, — важно пояснил Кука и начал рассказывать о том, как в грозу он спасал плот, ну и конечно, в его рассказе мы с Котлом фигурировали в качестве наблюдателей.

— А давайте соревноваться в плавании? — предложил мальчуган.

У Котла сразу стал блуждающий взгляд, и он трусливо увильнул от ответа (как вы поняли, Котел не умел толком ни бегать, ни прыгать, ни плавать, ни ездить на велосипеде — он умел болтать). Но неутомимый Кука загорелся:

— Идет! Научу вас плавать как следует. Неслабо. Пусть приснится мне кошмар, научу! (Он везде корчит из себя десятиборца, но вы уже видели, какой он велосипедист, сейчас узнаете, какой он пловец.)

Кука разделся, испустил боевой клич и, поигрывая мускулатурой, вроде разминаясь, встал рядом с сопер-

никами. Я подумал, как ему не стыдно — такому детине тягаться с малолетками, но это были ошибочные мысли. Со старта мальчишки так заработали саженками, что я понял — дела Куки плохи. Он плыл, как бревно, еле загребая жирными ручищами; казалось, его за ноги держит водяной. А тут еще, как назло, на его пути непредвиденно появился сухогруз «Рыбаха». Нет чтобы пропустить судно — где там! Кука пренебрег важнейшим правилом — не приближаться к судам; он взобрался на сухогруз по кранцам, пробежал по палубе к другому борту и снова нырнул; только, пока взбирался и бежал, сухогруз тоже не стоял на месте, и, естественно, Кука поплыл не туда. Но это еще полбеды; пробегая по палубе, нескладеха Кука зацепился за огнетушитель, и дальше сухогруз поплыл весь в пене.

Обратно Кука и ребята плыли рядом, медленно перебирали руками, смеялись. Теперь, когда не надо, остолоп Кука показывал класс: переворачивался на спину, плыл дельфином...

— Конечно, ты, Кука, проиграл, но зато не утонул, — сказал я, когда они вышли на берег.

— Нет, победил товарищ Кука, — разноголосо заговорили мальчишки. — Ему сухогруз помешал...

— Если бы ему дали деньги, он знает, как плыл бы! — гнусно захихикал Котел.

— Это твои американцы помешались на деньгах, а я занимаюсь спортом для здоровья, — напыжился Кука. — Американские спортсмены и на соревнованиях выступают ради денег, а наши — чтобы прославить свою страну. На Западе куда ни повернись нужны деньги. Вызвал скорую помощь — плати. И неслабо! Кстати, запломбировать зуб стоит сотню долларов, а у нас бесплатно.

— Брось! — сморщился Котел. — Ты не хуже меня знаешь нашу медицину. Лекарств не хватает, у врачей нет хорошего оборудования.

— С новейшим оборудованием сделать операцию несложно, — поспешно заметил Кука, — а вот наши талантливые хирурги исхитряются с примитивной техникой делать чудеса.

Ребята стояли рядом и поворачивали головы то в сторону Куки, то в сторону Котла.

— Перестаньте мутить светлые головы! — приказал я.

— Пусть знают голую правду, — цинично заявил Котел.

Мальчишки засмеялись и с гиканьем побежали в деревню.

— Неслабые, хорошие ребята, — сказал Кука.

— Обыкновенные, — хмыкнул Котел. — Знай себе болтаются без дела, а их сверстники в Америке разносят газеты, моют машины. Даже обеспеченные родители приучают детей зарабатывать на карманные расходы, и это не считается зазорным.

Котел опять разговорился, заблистал ядовитым умом. Я хотел его урезонить, но потом решил — лучше порисовать, тем более что вокруг был огромный выбор пейзажей.

— Наступить мне на ежа, неслабые ребята, — повторил Кука, не слушая Котла. — Жаль, здесь нет лагеря. Наши детские лагеря — отличная штука. Это вам не какое-то там общество маленьких деляг, которые из всего выколачивают деньги. В лагерях коллективизм, авиамодельные кружки, походы, соревнования и полно неслабых воспитателей...

Кука привел убедительные доказательства и все это сказал в форме беседы с самим собой — видимо, уже устал от споров с Котлом. В какой-то момент я даже подумал, что Кука мог бы быть моим союзником, между нами могло бы возникнуть частичное единение, не будь он таким грубым дровосеком. У него даже иногда вспыхивают проблески ума, но они тут же гаснут; он как тундра, которая весной оттаивает и зеленеет, но под зеленью все же остается мерзлота.

Ладно, все это несущественно, пойдем дальше. О чем я говорил? Да, так вот, неожиданно потемнело, по лопухам забарабанили капли дождя. Разбивать палатку было поздно, мы схватили рюкзаки и помчали к крайнему дому.

## ***Глава двадцать вторая.*** ***Ночевка в сарае***

Я наблюдательный человек, от меня трудно что-либо утаить, то есть я умею разбираться в людях. Она мне не понравилась сразу.

— Здравсте, здравсте! — затараторила она и вся закачалась, как желе. — Хорошо выглядите, такие загорелые. Я каждое лето сдаю комнаты дачникам. И сейчас одни живут. И туристы останавливаются. Только все какие-то нерадивые. Поживут с недельку, а картошки слопают три ведра да еще траву перед домом примнут. Вон там, — женщина показала на палисадник, — была такая травка! Усллада для глаз. А сейчас не поймешь что! Но вы, я вижу, люди приличные.

— Нам бы сеновал, — вставил Кука.

— Сеновал забит яблоками, а вон сарайчик... Я соломки постелю, хорошо отдохнете. Отдых десять рублей стоит.

Хозяйка направилась в сарай, а Котел прощebetал:

— Что она нам подсовывает? Да еще за деньги!

— Противное явление, — Кука ударил кулаком в ладонь. — Наверняка у нее денег черт на печку не втащит. Но меня не волнуют ничьи накопления. От богатства лучше операцию не сделаешь, лучше картину не напишешь.

Сарай хозяйки стоял в низине и крутился в луже, как наш плот. Развернув его дверь к настилу, мы впрыгнули вовнутрь. И очутились в царстве сырости: стены сарая покрывала плесень, а на полу росли грибы — Кука сразу же начал их давить, но через два часа грибы выросли снова.

Забегая вперед, скажу, что эти грибы мы срезали, затаптывали — не помогало. Через каждые два часа они вырастали снова. До сих пор не знаю, что это за вид. И кстати, перед сараем за ночь их повырастало полчище, еле открыли дверь.

Пока мы воевали с грибами, наступил вечер. Дождь продолжал моросить, и у нас не было выбора — пришлось заночевать на соломе. Я долго не мог уснуть. Вначале кто-то кричал кому-то из одного конца деревни в другой, потом на реке долго гудело какое-то судно. Заснул я только перед рассветом.

Вы, ребята, наверное, опять думаете: вот сейчас произойдет такое! Напрасно. Не ждите. Если уж на то пошло, я мог бы подкинуть вам острых ощущений — загнуть что-нибудь этакое: как мы увидели шевелящуюся гору из шерсти и опознали в ней живого мамонта. Или (чтоб вы задрожали от ужаса) — как обнаружили остров с людоедами, или как увидели огромные, с бочку, следы снежного человека, или (чтоб у вас екнуло сердце) — как наткнулись на груды драгоценных камней и золотишко. Все это я мог бы напридумывать и мог бы загнуть похлеще — о какой-нибудь летающей тарелке, сейчас это модно, — но повторяю: мое повествование преследует четкую цель — дать обстоятельные и достоверные сведения, которые можно использовать как надежное руководство, и, я уже говорил, — исследовать совместимость людей в замкнутом проживании.

Обратите внимание: еще при сборах у нас то и дело возникали перепалки. В начале путешествия появилась раздражительность. Теперь атмосфера накалилась до предела, события шли к горестной развязке — вот так все обернулось. Оказывается, можно долго встречаться с людьми и не знать их совсем. И вот только в путешествии они раскрылись, в них проявилась вся суть. Подобное я называю «эффектом груши». Бывает, посадишь благородный сорт, а неожиданно вырастут дички.

И вот еще что. Пожалуйста, не думайте, что я рассказываю о нашей поездке каждому встречному. Как бы не так! Я чувствую: вы неглупые ребята, в какой-то мере мои единомышленники. Конечно, вам не хватает моего кругозора, моих знаний, таланта, опыта, но не огорчайтесь! Знания и опыт — дело наживное, а вы еще так молоды. Ну а насчет кругозора и прочего — заходите почаще; общение со мной вам много даст, ведь такие, как я, встречаются нечасто.

### *Глава двадцать третья. Ссора*

Утром, не выспавшись, Котел нес что-то бессвязное о том, что во всех злоключениях виноват я, что надо было разбить палатку, а не лезть в затопленный сарай. Вначале Кука был не согласен с ним, потом его сопротивление ослабло и он начал поддакивать, а под конец насел на меня сильнее Котла, да еще на жутком жаргоне. В общем, обрушились на меня с нападками. В целях самозащиты я послал обоих к черту.

В молчаливом озлоблении мы погрузились на плот. Нас провожал пьяный козел, который объелся перебродившей вишни; он раскачивался на ногах и тупо пялился на плот, но все же, прощаясь с нами, кивал бородой.

Мы поплыли навстречу восходящему солнцу; миновали два пестрых бакена, ограждающих какую-то подводную штуковину, водолазный бот, стоящий на якоре (река показывала все свои богатства), и легли в дрейф.

Нелишне пояснить: мы уже вступили в полосу среднего течения реки с приличной ветровой тягой. Здесь река петляла так, что кружилась голова, а на крутых коленах приготавлила отмели, чуть зазевался — плот с хрустом врезался в гальку. Но это не все. Желая поглумиться над путешественниками, река стала выкидывать разные оптические обманы: то облака отразит, чтобы их принимали за острова

и причаливали, то покажет бакен — покажет и тут же скроет, оставив его отражение. Немудрено, что мы уставали, высматривая подвохи и ловушки, обходя разные одинцы, ухвостья, заманихи. Ко всему нас сопровождало странное эхо: утром что-то крикнешь в лесистый берег, а вечером — в другом месте! — крик возвращается. И почему-то на воде за нами тянулся след; казалось, кто-то фиксирует путь плота, чтобы по нему отыскать наше пристанище. Понятно, след на реке довольно странное явление.

Ну и последнее — чуть не упустил самое интересное — наша тень. Пока мы безостановочно плыли, она держалась рядом, но стоило чуть притормозить — ее пронесло течением вперед. Вот такие были загадочные явления, малоисследованные механизмы природы!

В то утро Котел лежал на плоту и с мрачным видом щипал гитару. Кука в непробиваемом оцепении держал румпель руля. Я знал: если Кука стоит у руля, неприятности не заставят себя ждать. С ним живешь в постоянном страхе, он что хочешь может выкинуть. Поэтому я все держал под контролем, сидел рядом с Кукой и подсказывал, как маневрировать, чтобы не врезаться в топляк или лодку с уснувшим рыбаком (у меня отличный глазомер и очень развито чувство пространства). Можно сказать, Кука неплохо выполнял мои указания, правда, с некоторым опозданием, то есть с непростительным промахом.

Солнце еще еле оторвалось от горизонта, но уже наступила жарища. На открытых участках реки еще туда-сюда — все же продувало, но только плот вплывал в полосу леса, мы задыхались от горячего воздуха. В одном месте, заметив покинутую стоянку, Кука предложил причалить и позавтракать. Я согласился и стал руководить швартовкой:

— Котел, кидай концы! А ты, Кука, прыгай на берег и лови!

Догадливому не надо долго объяснять: только раскроешь рот, ему уже все ясно, но что могут сделать эти не-



расторопные неучи? На пустяковое дело они ухайдокали полчаса и, конечно, все перепутали: Котел начал бестолково причаливать по дуге, показывая некое фигурное катание на воде. Кука замешкался и швырнул веревку в дерево, да так сильно, что сам полетел за ней и бултыхнулся в воду. Плот закрутился и застрял в осоке толщиной с лыжную палку. Дальше — больше. Кука хотел привязать веревку за сигнальную мачту, но я напомнил безмозглому «матросу», что швартоваться за знак береговой обстановки запрещено.

— Знаешь что! — огрызнулся Кука и дальше, как всегда, в наступательной манере, нахраписто понес: — Надоели твои диктаторские замашки, слез бы с плота да присобачил, а то все сидишь, отдыхаешь. Отдохнешь на том свете. Неслабо!

— Там не отдохнешь, там призовут к ответу за все, — хмыкнул Котел. — Особенно Чайника, ведь он только и умеет командовать.

Не скрою, я взвинтился и, разгружая плот, резко бросил:

— Оба вы пустоплеты! Не хочу разговаривать с вами.

— Значит, дальше поплывем молча, как в немом кино, — пробубнил Кука. — Эх, надо было взять кинокамеру, я снял бы отличный фильм о нашей поездке.

— Не снял бы, — причмокнул Котел. — У нас вообще нет хороших фильмов. Один примитив. То ли дело американские...

— Ерунду мелешь! — нахмурился Кука. — Наши фильмы человечные, в них сложные проблемы, а на Западе что ни фильм — насилие.

— У нас все никуда не годится, — поморщился Котел. — Ни дома, ни машины, ни одежда. Если что и красивое, то заграничное. А об искусстве и не говорю — скукота.

— Окошмариваешь действительность, — вскипел Кука. — Искусство у нас высокое. Россию надо любить за

одно искусство. Возьми народные промыслы: хохлома, гжель, вологодские кружева! А детский оперный театр, лучший кукольный! А танцевальные ансамбли! Лопни мой живот, неслабые! У твоих американцев главное — карьера и деньги, а у нас — сделать что-то полезное для общества.

— Ты, Котел, не умеешь видеть хорошее, — я усмехнулся, давая понять, что расправляюсь с подобными злопыхателями, как крупная рыба с мальками.

Спокойным тоном я погасил задиристость моих приятелей. Кстати, вы заметили: чем критичней ситуация, тем большую выдержку я демонстрирую? Но во мне уже гнездились решение: как только доплывем до железнодорожной станции, распрощаться с этими истуканами. Надеюсь, вы полностью на моей стороне и давно относитесь к моим дружкам с величайшим презрением.

### ***Глава двадцать четвертая. Деревня подозрительных***

После завтрака мы разбили палатку и легли переждать зной, а поскольку в сарае не выспались, тут же уснули. Нас разбудили голоса:

— Браконьеры! Двое мужчин и одна женщина! (на палатке лежали наши с Котлом рубашки и Кукина кофта).

Перед палаткой стояли двое в кителях и брюках, широченных, как пароходные трубы; один — парень с острым лицом, второй — пожилой мужчина с огромными руками — казалось, на них смотришь через увеличительное стекло; взгляд у мужчины был колючий, как два гвоздя.

— Мы рыбнадзор. Пройдемте! — строго сказал мужчина.

Я принял это за шутку. Котел, когда нужно все объяснить, вдруг прикусил язык, у него от страха затряслись колени. Кука попытался заикнуться:

— Не понял?

Но парень безжалостно отчеканил:

— Следуйте за нами!

За поворотом дороги открылся поселок: дома прочные, как крепости, заборы высоченные, на воротах надписи: «Осторожно, злая собака!», «Не подходите, опасно! Собака!».

— От кого такая охрана? — плаксиво зашептал Котел.

— Не жужжи! — процедил Кука; он уже резко осаждал Котла. — Не нагоняй тучи на безоблачное небо!

Первыми нас заметили гуляющие на окраине поселка и тут же рванули к сидящим у домов. Услышав новость, те начали передавать ее друг другу на ухо — казалось, они играют в «испорченный телефон». Когда известие дошло до последнего, какого-то рыжего сорванца, он понесся во весь дух к работающим в огородах и там поднял переполох.

Слухи о нас разрастались: вначале говорили «браконьеры», потом — «шпионы», будто нас забросили спалить все деревни в радиусе ста километров. У поссовета, куда нас привели, уже утверждали, что мы опасные преступники и за нами давно охотится всесоюзный розыск!

Председателю поссовета, полному и лысому, с мутными глазами, парень доложил:

— Вот, с плота. Вокруг плавала глушеная рыба.

— Глушили, точно, — добавил мужик, пробуравив нас взглядом.

Председатель устало взглянул на нас и кивнул рыбнадзору, как бы отпуская бдительную стражу, потом расспросил нас, откуда мы и кто, какова цель нашего путешествия, и сказал:

— Вы знаете, что здесь заповедная зона? Где ваше решение находится в зоне?! Давайте убирайтесь подобру-поздорову, а то наложим штраф, — он схватил лежащее на столе яблоко и вроде хотел запустить в нас.

Эта фруктовая угроза заставила нас встряхнуться; мы начали рьяно оправдываться, но председатель холодно произнес:

— Я знаю вашего брата, горожанина. Так чтоб вашего духу в заповеднике не было.

— Дерьмовая ситуация! — сплюнул Кука, когда мы очутились на улице.

— В этом поселке все с прибамбасами, — пробормотал Котел. — Даже не извинился, что портит людям отдых.

Около крайнего дома из калитки вышел бородастый дед. Кука стал было хлестко ругать тех, кто таскал нас в поссовет, раза два крепко выругался. Дед зашикал на него:

— Зачем сквернословить возле сада! Дерево ж ласку любит. На доброту и отвечает добротой. К примеру, болит голова, поброжу по саду, сразу пройдет. Некоторые как? Яблоня закапризничает, не плодоносит, сразу показывают ей топор. А я укутаю деревце потеплее, разрыхлю землю — она и пристыдится. Дерево ведь душу имеет: дуб стонет, когда его рубят, береза плачет... А вас что, рыбнадзор прихватил?

Я объяснил суть дела.

— Какая там рыба! — усмехнулся дед. — Щас ее нет. Раньше много было! Коровы в воду зайдут, так линь сразу к соскам, молоко сосет. А щас нет. Заводы потравили. Ниже по реке химзавод, так от него желтый рукав на километр тянется. Лодки разъедает, не то что рыбу. А берег там засыпан шлаком, ничего не растет.

Выдержав паузу, дед засмеялся:

— Я теперь тушенку и сгущенку ловлю. Намедни здесь одни байдарочники опрокинулись. Вот и кидаю блесну; то банку тушенки зацепит, то сгущенку. Вы ничего не утопили? Может, какие драгоценности?

— В вашем поселке мы утопили самое драгоценное — свое достоинство, — важно произнес Котел.

## *Глава двадцать пятая. Романтическая*

Подходя к реке, еще издали около плота мы заметили три женские фигуры; они копошились в прибрежных травах, что-то рвали и складывали в корзины; оттуда сразу подул ветерок — некое романтическое дуновение. Кука нахмурился.

— Ущипни меня леший, там что-то не то! (Кука становится все более подозрительным.)

Подойдя ближе, мы рассмотрели бродивших вокруг плота: полная женщина средних лет и молодые девицы средней красоты — с узкими плечами и грузными бедрами, как кенгуру.

— Пожалуйста, не обрывайте всю растительность вокруг нашего деревянного друга, — проворковал Котел, когда мы подошли (он старался выглядеть как можно приветливей).

— Рвем, чтоб вас же лечить, — ответила женщина.

— Неслабо! — голос Куки потеплел. — Вы гомеопаты?

— Я — зельник... Называйте, как вам угодно.

— Ты знаешь, — обратился Кука к Котлу, — я вообще-то верю в дедовские средства. Вот крапива — лучшая ванна от ревматизма. А муравьиная кислота еще целебней. При простуде полезно сунуть ноги в муравейник. А еще лучше раздеться и голым лечь. Придави меня деревом, лучше всего!

Девицы захихикали, а травознайка покосилась на Куку.

— Проще проглотить пару таблеток, и дело с концом, — проговорил Котел, принимая благородную позу.

— Каждому свое, — хмыкнула травознайка. — Бог даже деревья сделал разными, а то — людей... Врачей много развелось, все с дипломами, а народ все равно идет к нам.

Травознайка начала рассказывать про всякие травы, причем одни называла «травушки-муравушки», другие «лихие травы», «вредни»; говорила про «жабник», «черное

зелье» и про какого-то царя во всех травах. Ясное дело, рассказывая, она не до конца открывала завесу таинственности, не сообщала основное, чтобы без нее ничего не получилось. Накаркав целую цепь загадок, она посмотрела в сторону леса.

— Надобно идти, шумит дубравушка к непогодушке.

— Может, чуток порвем, — пропела одна девица с ярко-синими глазами. — Вот нашла русалочный цвет, — она протянула цветок Куке и расплылась. — Это вам на дорогу. Русалочный цвет охраняет путников. А его стебель дайте тому, кого хотите полюбить. Враз приворожите.

Ее старания даром не пропали. Кука закашлял, покраснел, стал ходить взад-вперед, покачиваясь, точно на перебитых ногах. Он ведь только с нами герой, а на людях овечка, и вообще мужчиной выглядит только внешне, а внутри — беспомощный мальчишка.

— Пошли, — бросила травознайка девицам. — Ель не сосна, шумит неспроста.

Девицы взяли корзины и заковыляли утиными походками к домам, но вдруг яркосинеглазая поставила корзину на дорогу, подбежала и сбивчиво затараторила:

— А вы плывете по реке, да?.. У нас сегодня в клубе спектакль драмкружка... Понимаете, у нас совсем мало парней...

— Я вас прекрасно понимаю, продолжайте! — Кука приосанился, встал в балетную позу, пятки вместе, носки врозь.

— Вы, может, не откажетесь... сыграть в спектакле? У вас прям актерские внешности... Наша деревня Малино рядом, рукой подать. Пять километров! (У деревенских все рядом.)

— Не вопрос! Придем! Мой девиз: «Ни дня без доброго дела», — выпалил Кука то ли всерьез, то ли чтобы подурить девицу.

— Ой, вот девчата обрадуются! Может, вас встретить?

— Нет никакого смысла, — Кука торопливо вскинул руку. — Во сколько надо прибыть?

— К вечеру, — девица расплылась, спрятала лицо в ладони и убежала, а Котел спросил Куку:

— Ты что, и правда намылился в клуб?

— А ты нет? Прочувствуй ситуацию! Поможем людям. Не-слабо. И вообще, когда я вижу девушек, мое сердце бьется сильнее.

— Ну что ж, мы с Чайником тоже пойдем, — заворковал Котел. — Я как духовное прикрытие, Чайник — как группа скандирования. Возьму гитару, дам небольшой концерт. За плату, разумеется.

— В клуб можно заглянуть. Но никаких концертов. И никаких спектаклей, — круто сказал я, чтобы просто поддержать разговор.

### *Глава двадцать шестая. Деревня талантов*

Через полчаса плавания на берегу показалась деревня. Мы причалили около низины, где под деревьями росли какие-то бледные цветы, прилипающие к ногам, словно присоски. Пока мы с Котлом перетаскивали вещи, Кука разжег костер.

Вы, наверное, заметили, что костры чаще всего разжигал Кука — у него огнестойкая, как асбест, кожа. Костер-то он развел, но при этом допустил оплошность. Как я уже говорил, он ужасный нескладеха: идет к реке, так каждый куст заденет, а перед плотом еще и грохнется; несет что-нибудь, так обязательно уронит. Последние дни перед палаткой я ставил графин с водой (его купил в райцентре). За день набегаешься, жарко станет, подойдешь, попьешь! Так вот, в тот день графина не стало. Его косопалый Кука разбил. Наполнил его водой и небрежно потащил к костру. Я замер: «Вот сейчас, — думаю, — кокнет». Так и есть! За-

дел графином за дерево, и тот разлетелся вдребезги. Кука вообще небрежно относится к вещам, а ясно — такой человек зачастую небрежно относится и к работе, и к людям.

Предстоящий поход в клуб вселил в нас приподнятость, и обед, впервые за все дни, прошел без споров. Когда берег покрыли вечерние тени, мы направились в деревню.

Дома в деревне были добротные, с резными наличниками и расписными ставнями. Но особенно впечатляли террасы и ворота — на них красовались целые картины: гуси, разгуливающие среди живописной зелени, рыбаки с удочками на берегу реки и другие сюжеты из сельской жизни.

— Талантливый народ живет в этой деревне, — обернувшись, объявил нам Кука (он, как всегда, шел впереди).

По-моему, я уже упоминал — на разведку как главную ударную силу мы с Котлом посылали Куку: у него вид представительный и он проходит куда угодно. Здоровается и проходит. Безо всяких билетов и приглашений. И его никогда не останавливают. Непонятно, почему, — дар гипноза, что ли? Взять хотя бы такое: в троллейбусах и трамваях пассажиры показывают ему проездные, в магазинах продавщицы косятся, как на ревизора. У Котла все наоборот: если он идет на концерт, контролеры рассматривают его с ног до головы и подолгу вертят билет из стороны в сторону, смотрят на просвет — никак не верят подлинности. Я думаю, это происходит от того, что на лице Котла написаны неискренность и хитрость.

Теперь о приятном. На пороге клуба нас радостно встретила местная учительница. У нее была гладкая прическа с конским хвостом на затылке и тонкий, как у пичуги, голос.

— Спасибо, что пришли, — пропела она. — Все уже в сборе, ждем только вас. Роли у вас маленькие, но важные. Нужно изобразить разбойников. Грим вам не нужен, вы и так вылитые разбойники. По моему сигналу выбегайте



на сцену, размахивая палками. Потом хватайте героиню и тащите за кулисы. Играйте легко, с юмором.

— О чем речь! — выпятил губы Кука. — Неужели мы, трое умных людей, не придумаем одну глупость?!

Я невольно усмехнулся — терпеть не могу бахвальства. Тоже мне удалец! Таких я повидал немало.

Котла внезапно охватил мандраж (вы заметили — так случалось всегда, когда предстояло дело?). Пощипывая нос, он пробормотал:

— Это сразу трудно решить, надо все взвесить.

А я подумал: «А почему бы и не сыграть? Когда еще представится такой случай?».

Перед открытием занавеса я прошелся по сцене и заметил, что она смехотворно мала, а пол неровный, в сучках.

— На такой сцене не очень-то развернешься. Будем играть вполсилы, — сказал я Котлу с Кукой.

— Не владеешь ситуацией! Настоящий актер работает на любой площадке и для любого зрителя играет в полную силу, — заявил Кука и сделал несколько пробных прыжков. Он уже всю прогонял сцену похищения: — Давайте-ка подвигайтесь, разогрейтесь! Прочувствуйте ситуацию!

Только мы с Котлом забегали, как стали открывать занавес. И вовремя, потому что Кука слишком «разогрелся»:

— И-го-го! — ржал, как психопат, оскалившись, размахивая палкой. — Устроим озорство!

Я уж подумал, он свихнулся, и отошел на всякий случай в сторону, но Кука засмеялся:

— Раз Чайник сдрейфил, значит, я классно вошел в роль.

Наше выступление получилось неудачным. Прежде всего, Кука в яростном вдохновении выскочил на сцену раньше времени. Ну выскочил, ладно, — обыграл бы как-то этот момент, а он встал, запрокинул голову и разинул рот. Весь зал так и грохнул от хохота. Хорошо, мы с Котлом исправили положение — выбежали на сцену, запыргали

вокруг героини, очень полной молодой женщины с волосами, похожими на стеклянную вату.

Надо отдать должное Котлу: он играл более-менее точно. Конечно, он актер не такого калибра, как я, но все же. Тут бы Куке схватить героиню и унести за кулисы, но его ничем нельзя было расшевелить — он стоял, растопырив ноги, как идол. Тряпичная кукла и та умнее. Только когда я незаметно врезал ему в бок, он вышел из шока, оттолкнул героя и, обхватив какую-то служанку, поволок ее за сцену. Ошарашенный Котел застыл на месте, он совершенно не понял маневра Куки, но до меня-то дошло, что Кука по ошибке схватил не ту женщину. Я подскочил к нему и процедил:

— Не ту схватил, болван! Хватай толстуху!

Кука подбежал к героине и попытался ее поднять, но у него ничего не получилось. Он пыжился изо всех сил; сообразительная героиня, помогая ему, обхватила его шею и подпрыгивала, но Кукины руки, как веревки, бессильно падали вниз. Вспомните, сколько до этого он бахвалился своей силой, и вот, пожалуйста, когда нужно, оказался слаб в коленках. Позорище!

Ну понятно, зрители оглушительно визжали; под их крики и топот мы с Котлом провели операцию отчаяния — подбежали к героине и, изловчившись, приподняли ее. Так, всем скопом, и унесли ее за кулисы. Но что бы вы думали? После спектакля нам устроили овацию и сцену закидали полевыми цветами.

По дороге к реке я отчитывал Куку за нерасторопность, за то, что мне приходится отдуваться за его дурость.

— Вся беда в том, — вмешался Котел, — что ты, Кука, думал, как бы сделать необычное. С великими чувствами, в некотором смысле. А Чайник думал, как бы чего не сделать.

— Это точно. И у Чайника и у тебя дела мелковатые, а у меня масштабные, — Кука хмыкнул и задрал голову

в небо: — А вообще, театр — это неслабо! Если я женюсь, то только на актрисе.

— А я равнодушен к театру, — сказал я. — В жизни как? Однажды надул — все! Тебе ставят клеймо — обманщик. А в театре что? Сегодня врун, завтра приклеил усы — уже сама честность. Как-то я был в театре, смотрел трагедию, и вдруг в момент смерти героя зал как захохочет. Оказалось, отпевать умершего вышел поп, а в нем все узнали известного комика... Вот так!.. Вообще, спектакли я проверяю задом: устал сидеть — значит, муть.

— Деликатно сказано! Возвышенно! — откликнулся Котел.

— И актеров не люблю, — продолжал я. — Актрисы еще ничего. Они симпатичные бывают. А вот мужчин актеров не люблю. За одно их чисто женское желание — нравиться.

В полной темноте в довольно праздничном настроении мы подошли к нашему бивуаку.

### *Глава двадцать седьмая. Хоровое пение*

Искать новое место было поздно, и мы решили заночевать в низине, которая теперь в темноте напоминала земляной мешок, над ней взад-вперед мелькали то ли маленькие птицы, то ли большие бабочки.

— Да, Кука, сегодня ты увековечил себя на сцене, — пропел Котел за ужином. — В некотором смысле. Теперь можешь спокойно умирать, и я не тянул бы на твоём месте, хе-хе!

Довольный Кука только хмыкнул, собрал в кучу догорающие головешки, и мы залезли в палатку. Котел врубил приемник, Кука закурил трубку и выпустил изо рта, как из кратера, такую сильную струю дыма, что палатка затрещала по швам. Он хотел выжить комаров, но надымил столько, что пришлось вылезать нам.

— Что делает музыка! — пролепетал Котел, когда мы проветрили жилище и улеглись снова. — Слушаешь вот так и, если перед тобой появится русалка, — не удивишься... Музыка — это, как говорил Толстой, самое сильное из искусств... Давайте-ка споем (Котел выключил приемник). Что-нибудь, хотя бы «Степь». Ты, Чайник, постарайся возвышенно петь мелодию. Я буду вести второй голос, а ты, Кука, повторяй: «Пум-ба-ба, пум-ба-ба». (Понятно, Куке, начисто лишенному слуха, Котел отвел роль ударного инструмента.)

Мы начали петь, но уже через две фразы Котел остановился и начал распекать Куку за то, что тот три раза повторил «ба». За такую ничтожную ошибку он ругал Куку на чем свет стоит. Похоже, он был уверен, что каждый может спеть правильно, просто не хочет. Никак не мог понять, дурень, что здесь одного желания мало.

Мы начали мелодию снова, пропели чуть больше, Котел опять заорал:

— Ну кто так поет?! Ты, Чайник, фальшивишь. Ведь здесь совсем просто, — и пропел первую часть песни один.

— Да-да, именно так, Котел, — сказал Кука. — Распили меня смычком, так. Только нужно громче. Неслабо.

Мы снова затагнули «Степь». Когда перешли ко второй части, я взял немного выше возможностей голоса, и у меня не хватило дыхания на высоком месте. Котел все понял и промолчал, но вдруг на меня набросился... Кука! Эта безголосая труба, этот глухой бегемот!

— Пой громче! Ничего не слышно. Ты что, воды в рот набрал? — нахально заявил он.

От неожиданности я растерялся, даже приподнялся на локтях, чтобы убедиться, действительно ли у Куки хватило наглости делать мне замечание. Убедившись, что это так, я начал его колотить.

— Кука, — вмешался Котел, разнимая нас, — ты лучше б сам не так громко орал, и его будет слышно. Ты не поешь,

а кричишь. Ведь здесь надо нежно, вот так, — и Котел снова пропел: «Пум-ба-ба».

— Да-да, именно так, — забормотал Кука. — Лопни струна, так.

Мы снова затянули. Все шло неплохо, но вдруг я подумал: «Какого черта они делают мне замечания, а я молчу?».

— Не спеши, — сказал я Котлу. — Куда тебя несет? Попробуй снова!

— Да, Чайник, — вздохнул Котел. — Видимо, мы не допоем песню.

Все это он сказал, глядя куда-то в сторону, давая понять, что ему говорить со мной — сплошная мука.

— Ну ладно, спокойной ночи, — заключил он, повернулся на бок и нарочито громко захрапел.

Как видите, вечер закончился более-менее пристойно, без серьезных разногласий. Похоже, нас примирило искусство; известное дело, оно делает людей добрее, терпимее друг к другу. До этого, вы же помните, мы посетили деревню бездельников, после которой Котел вообще перестал что-либо делать, а после деревни подозрительных Кука стал подозрительным — дальше некуда. А вот после деревни талантов — вы заметили? — в них проявились кое-какие положительные качества. К сожалению, тот вечер был затишьем перед бурей.

### *Глава двадцать восьмая. Скверное начало дня*

Мы вылезли из палатки в девять часов, хотя договорились встать пораньше. Котел с Кукой вообще не умеют держать слово, а я считаю: грош цена мужчине, если он не верен своим обещаниям. Мне ведь тоже хотелось спать, но, обладая исключительной способностью держать себя в руках, я поборол сонливость, встал и размял затекшее

тело. Через пять минут я был в форме. Я человек долга. Мое слово как печать.

В общих чертах опишу то утро. Кука приподнялся с лицом цвета незрелой тыквы, рассеянным блуждающим взглядом осмотрел нашу обитель и тут же сидя уснул снова. Котел что-то проблеял из-под одеяла, что-то едкое в мой адрес. Только в десять часов мы вылезли из палатки, разожгли костер и приготовили завтрак. Перекусив, мы дунули вниз по течению, а оно в том месте было прижимное — этакая чертова мельница, крутящаяся от выпуклого берега к вогнутому. Мы носились по излучинам, меж плавающих листьев, огромных, с тарелку.

Через пару километров миновали дом бакенщика, где, точно осьминоги, извивались водоросли, и очутились в плесовой лощине с пятнами мазута — там на берегу дымил химический завод. Сам по себе он был не больше речного буксира, но вокруг насколько хватало глаз все берега были засыпаны ядовито-желтыми отходами.

Как и говорил дед, после завода река превратилась в желтое месиво с уродливыми, скрюченными растениями и кустами в наростах и бородавках. Ошеломленные, подавленные, мы еще долго не могли прийти в себя. Даже неисправимый оптимист Кука сидел насупившись и бормотал:

— Какое варварство! Вот негодяи!

А я вспомнил скорбный снимок в одной газете: стая мертвых лебедей на поле, обработанном химикатами, и высказался в том смысле, что деятельность человека рано или поздно уничтожит все живое на земле.

Кука взглянул на меня исподлобья.

— Твой прогноз не оправдывается. Когда цивилизация неслабо загубит природу, люди придут к ограничениям, начнут пользоваться минимумом удобств, оставят только необходимое, откажутся от излишеств и роскоши.

— Волшебные сказки, — зевнул Котел.

— Ну а если не откажутся, для землян наступит конец, — повысил голос Кука. — Уже из-за парникового эффекта тают льды Антарктиды, и ученые предсказывают всемирный потоп. Под воду уйдет и Европа, и Америка. Все будут спасаться у нас, в России.

— Эх! — вздохнул я. — Если бы природа вернулась к первозданному виду! И вообще, какой была бы прекрасной планета без людей! Зеленые леса, голубые реки и озера...

— Иногда у тебя, Чайник, роятся свежие мысли, но кто тогда оценил бы красоту земли? — растянуто проговорил Котел.

— Будь я главой государства, я навел бы порядок, — сквозь зубы произнес Кука.

— Каким образом? Это требует уточнений, поделись своими мечтами. — Котел прилег на бревна и закрыл глаза.

— Слушайте! — крикнул Кука. — Во-первых, отменил бы все привилегии чиновникам; наоборот — оклад мизерный, а ответственность десятикратная в сравнении с простым смертным. Как в Древнем Риме. К примеру, изуродовал природу — не штраф, а тюрьма. Во-вторых, чиновники у меня будут проходить экзамен: на ум, талант, порядочность (Кука уже видел себя на троне). А остальным ужесточу наказание за преступления: залез в чужой дом, пусть даже ничего не взял, — десять лет; сел в чужую машину, даже ничего не отвинтил, — десятка. А сейчас что? Угнал машину, сказал, «покататься», — отпускают.

Котел открыл глаза и криво усмехнулся.

— При таком раскладе ты вернешься в средневековье.

— Надо оградить порядочных граждан от негодяев. Кстати, именно потому, что в твоей Америке у каждого оружие, она и бьет все рекорды по преступности.

— Не мешало бы еще запретить все виды охоты, — сказал я, имея в виду Кукино пристрастие.

— И запрещу! — ударил себя в грудь Кука. — С завтрашне-го дня ружье не беру в руки. И становлюсь вегетарианцем.

— Похвально! Наконец ты поднялся до гуманизма, — Котел взял гитару и выдал хвастливый аккорд. — Меняешься к лучшему, Кука. Даже внешне: сбросил жирок, загорел...

— Не загорел, а почернел от общения с вами, — буркнул Кука и гоготнул, довольный своим юмором.

К полудню река более-менее приняла прежний облик, но все уже было не то. Если в верховьях она (хотя бы местами) была прозрачной и постоянно, утомленная жарой, мелела и текла таким задыхающимся ручьем, то теперь, в густонаселенных районах, уже представляла собой разрушительный поток, который то и дело раздирался на рукава — поди узнай, какому доверить судьбу! Поплывешь в один — упрешься в старицу, в другом поток такой ослабевший, что без мотора пробарахтаешься весь день, в третьем — бешеное течение, того гляди вынесет на баржу. Все чаще мимо проносились водометные «Зари». Увидишь вдалеке точку и не успеешь чихнуть — на тебя прет этакая громадина. А ведь они не сворачивают. И плот для нее — бумажный кораблик, скорлупа от ореха. Ко всему, над плотом появились огромные, с металлическим блеском слепни — они стали донимать больше, чем комары. В общем, ребята, низовья реки — неважное место. Попытаться там отдохнуть — все равно что искать блеск на ржавой трубе. Извините за ненаучное сравнение.

### *Глава двадцать девятая.* *Я порываю с Котлом и Кукой*

В полдень мы пристали на дневку среди кустов, напминающих перевернутые щетки. Жара все наступала: на берегу песок раскалился докрасна — по нему без обуви мог ходить только Кука.



После обеда каждый взялся за свое: Котел за гитару, Кука за дневник, я за рисование — сделал набросок стоянки. Фантазия увела меня далеко — я нарисовал красивый лагерь: сборный домик, яхту у причала и трех молодых людей с дружелюбными улыбками — ну, проще говоря, блистательно изобразил мечту. Как только я закончил рисунок, Котел взглянул на него и протянул:

— Оригинально! Столько начеркал, прямо в глазах рябит, а что изобразил — непонятно. (Вы заметили, стоянки для него были полигонами для умничаний, издевок, а гадости он всегда говорил азартно, вдохновенно.)

Естественно, меня покоробили слова Котла, я почувствовал, как по лицу прошли горячие волны, а тут еще встрепенулся Кука:

— Неслабо, но нет реальности в твоей работе, — категорично, тяжеловесно отчудил он, тупо глаза на рисунок. — Обожги меня крапива, но странная работа.

— Странная-то не беда, — опять с вызывающим видом высунулся Котел. — Во всем талантливом есть доля странности. В некотором смысле. Здесь же желание пооригинальничать.

Вам, ребята, наверняка бросилось в глаза, с какой радостью они накинулись на меня. Неприятно вспоминать все это, но что поделаешь, это правда без всяких прикрас и лакировок. Короче, после слов Котла меня просто бросило в жар, но я не стал ничего объяснять ни ему, ни Куке — просто отмахнулся от них:

— Ерунду городите! Уж лучше б вы помалкивали!

— Убедительное объяснение, — хмыкнул Котел. — Так изъясняются несостоявшиеся таланты, они болезненно переживают критику, — из его рта так и вылетали жалящие стрелы, при этом он, точно неисправный насос, брызгал слюной.

— Это ты бездарь! — я ткнул в Котла пальцем, жалея, что в руках не было шпаги.

Мои нервы натянулись, как тетива лука, меня уже всего трясло, а этот клеветник хоть бы что. Скандалы совершен-но не выводили его из себя, здесь он был закален.

— Что за уровень спора?! — с едким смешком выдавил Котел. — Ты хотя бы отличай сносные слова от непристойных. За твоими оскорблениями видна шаткость позиции. Хотя у тебя ее вообще нет. Мне давно стало понятно, почему ты всегда стоишь в стороне, — тебе нечего сказать. В прямом смысле!

— А тебе везде плохо и скучно, потому что скука внутри тебя самого. Страдаешь от недовольства собой, потому что бездарен. Знаю я твою ложную значительность, фальшивое величие! Проклинаю день, когда с тобой познакомился!

— А ты ни на что не способен! — взбеленился Котел. — Плот и тот не мог сделать как следует! Надоели твои указы, я устал от твоего прессинга. Только командовать и умеешь, как большинство ни на что не способных.

Вот негодяй! Это я-то ни на что не способный, который умел все! К чему бы я ни прикасался, все превращалось в ценность. И всегда добросовестно выполнял работу, а если что и делал не очень хорошо, так оттого, что сталкивался с этим впервые. Но таких вещей почти не было. Да не почти, а точно! И этот ханыга злонамеренно нес очевидную ложь! Понятно, нахрапистость Котла на секунду оглоушила меня, а он все продолжал наседать:

— И друзей у тебя нет, потому что ты не можешь быть другом, — по лицу Котла прошла нервная рябь, он сделал какие-то агрессивные телодвижения, помахивая кулаками.

Меня словно ошпарили кипятком — я вцепился в Котла, повалил его на землю. Кука отложил дневник, встал и закачался, как бы развивая брюшной пресс, потом бросился к нам и зычно рявкнул:

— Брейк! Вы деретесь чересчур эмоционально! Что же это творится?! Это не дружеская компания, а серпентарий! Обсыпьте меня солью, но пора это кончать!

— Заткнись! Не лезь под горячую руку! — я перешел на крик.

Разняв нас, Кука стал ходить взад-вперед. У Котла под глазом темнел синяк, из моей ободранной руки, как из водопроводного крана, хлестала кровь.

— Ты слышал, что он сказал?! — обратился я к Куке. — Что я только командую и ничего не делаю!

— Ну и что? — Кука посмотрел на меня отсутствующим взглядом, равнодушно-наплевательски, как будто он здесь вообще по ошибке.

Вначале я подумал, что он просто дурачится, но потом понял: тлетворное влияние Котла давало о себе знать, тот обработал его как надо.

— Вижу, ты с ним заодно, — прохрипел я. — Как «ну и что»?

— А так. Холостой выстрел. Пусть говорит. И ты говори. По-моему, вы оба мало работаете. Вы и в городе идете на учебу, будто на пляж, а здесь и вовсе сачкуете. Мне надоело выполнять роль тягловой лошади... Вы оба не владеете ситуацией, осложняете нашу жизнь. Окати меня водой, но ты заводись по пустякам.

Это была всего лишь артподготовка Куки; закончив ее, он расширил площадь обстрела:

— Вы оба нетерпимы к чужим взглядам. И этот фарс с дракой! Совсем очумели! Мы для чего поехали? Узнать свои возможности. Неслабые. В такой поездке главное — закрывать глаза на недостатки других. И на пустозвонные заявления. Можно спорить, но вы-то оскорбляете друг друга. Недостойно ведете себя, слабо!

Как бы в противовес нам, в доказательство собственной мощи, Кука замахал кулаками; он вел лобовую атаку, а я чувствовал себя пленником, словно на меня надели кандалы.

— Он весь изошел злобой, — я кивнул на Котла, который с безумным лицом отряхивал одежду. — Насквозь

пропитан злостью! С утра до вечера только и слышу его злопыхательство. А ты только и орешь: «Безобразие, разгильдяйство!». А что ты сделал, чтобы пресечь это безобразие?! Вы оба постыдные трепачи. Для меня это давно очевидно. Вы отравили весь отдых, воспользовались моим терпением. Больше ни дня не останусь на плоту. Сыт по горло! Я долго молчал, думал, образумитесь. Куда там!.. Доконали меня!.. Есть люди вампиры, есть доноры. Вы — вампиры, высосали всю мою кровь! До последней капли. С меня хватит! Я-то не пропаду! И на душе у меня будет спокойно. А вот вы без меня загнетесь!

Это была моя завершающая прощальная вспышка. С этими словами я схватил рюкзак и направился к проселочной дороге. Котел с Кукой что-то кричали мне вслед. Я не разобрал, что именно. Наверно, умоляли вернуться, но я был непреклонен. Я всегда долго терплю, но уж, если порву, — все! Поступаю бесповоротно! Думаю, ребята, вы полностью на моей стороне.

### ***Глава тридцатая.*** ***Я смотрю на все со стороны***

Вышагивая по тропе, я сознавал, что одному добираться до железнодорожной станции будет нелегко, но зато мои кандалы сразу стали бумажными. «На худой конец заночую где-нибудь в деревне», — решил я, прибавляя шаг.

Впереди маячили овраг и редкие деревья. «Ничего себе приятели-кровососы! — рассуждал я. — Теперь Котел мой враг номер один, а Кука — номер два. И все так получилось, потому что я сразу, еще в начале путешествия, не поставил их на место». Сделайте вывод, ребята: проблему надо решать сразу же, как только она возник-

ла. Не решите — рано или поздно эта проблема возникнет снова.

Немного остыв, я подумал: «А ведь, если рассуждать здраво, все началось с искусства. Надо же, как оно действует на людей. Накануне примирило нас, а сегодня разругало в пух и прах...» И все же моя обида была намного сильнее, чем это минутное протрезвление. Намного.

Я прошел деревянный настил через овраг, молодой березняк, пересек ручей и очутился на опушке леса. Под деревьями росла высокая трава и пахло грибами. От постоянных недосыпаний и нервотрепки я чувствовал головокружение; сбросив рюкзак, растянулся на траве; «Ничего, пройдет, одолела усталость, вот и все», — подумалось.

Я проснулся от оглушительных выхлопов. Ко мне подкатил мотоцикл; с грохочущей машины подросток крикнул:

— Девчонки здесь не видали?! Пяти лет, в синем платье?

— Нет, никого не видел, — крикнул я. — А что случилось?

— Вчера собирала ягоды у деревни с той стороны леса и пропала. Всей деревней ищем. Если повстречаете, приведите в деревню. Ее Аней зовут! А я сгоняю к реке!..

«Ничего себе, пропал ребенок! — подстегнутый тревогой, я вскочил на ноги. — Если она заблудилась, то за два дня в лесу с ней могло случиться что угодно». Я решил выйти к деревне через лес, вдруг найду девчушку, — подумал и заспешил в зеленую тьму.

Пройдя десяток метров, я уткнулся в заросли; продрался сквозь них и попал в болото; под ногами зачавкала хлябь, острая гниль защекотала ноздри. Пересекая топкую местность, раза два по пояс ушел в коричневый ил. Дальше стало посуше, но на пути стоял плотный кустарник; мокрые ботинки отяжелели, одежда прилипла к телу. Часа через два я вышел на заброшенную вырубку, залитую солнцем; разделся, разложил просушить одежду, устало присел на пень.

Меня окружало благолепие: в глазах рябило от цветов, буйных трав и земляники (огромной, с наперсток). Вокруг была такая плодородная земля, что казалось, воткни палку — и она зацветет. Я зажмурился и отключился от всего окружающего и ни с того ни с сего начал вспоминать предшествующую цепочку событий. Пересматривая звенья этой цепи в обратном порядке, я от опушки мысленно пересек ручей, проскочил березняк, настил через овраг и по тропе вернулся на плот. И увидел Куку и Котла...

Поразительно, но у Куки был отличный загар, рыжие волосы золотистого оттенка, приветливый взгляд, располагающая улыбка! Всего два часа назад он выглядел настоящим монстром, и вдруг такая перемена! Я вспомнил, как при встрече Кука кричал «Здорово, старина!» и крепко жал руку. Причем пожмет так пожмет, не то что некоторые — протянут пять холодных сосисок.

Кука спортивный, атлетический, мужественный; правда, жаль, что для потехи он любит похвастать своим телосложением, могучим организмом и при каждом удобном случае (чтобы произвести впечатление на зрителей) раздевается, показывая мощную мускулатуру. В этом он напоминает тех красавиц, которые сделали культ из своей внешности, а ведь они были бы еще красивее, если б вели себя так, будто не знают о своей красоте.

Я вспомнил Кукину смешную всеядность («В жизни полно интересных занятий, хочется попробовать все» — говорил он), его решительные действия, работоспособность (он активный трудяга), его умение понять других и умение всему удивляться. Однажды Кука сказал:

— Я заземленный человек, и люблю реальный мир, и отворачиваюсь от всего абстрактного. Все настоящее — мое; все, что оторвано от жизни, для меня не имеет смысла.

Кука совершенно естественный, он обладает редкостной свободой от предрассудков, условностей; ему прису-

щи честность и верность, с ним легко, он умеет не портить жизнь другим, и ясно — к нему тянутся все: от стариков до детей. Смело могу утверждать: в Куке есть хорошая непоседливость, страсть к переменам, он создает вокруг себя бодрящую атмосферу, рядом с ним испытываешь чувство надежности. Ну а чудачества... Как же без них в путешествии?! Ведь известно, хорошо отдыхает тот, кто много работал.

Я напряг память и вспомнил, что Кука, не поморщившись, брался за любое дело, и в самых безрадостных буднях находил счастливые моменты, и ни разу меня не подвел.

«Конечно, он взбалмошный, неловкий, поддается дурному влиянию, — рассуждал я, — у него, конечно, есть недостатки, но у кого их нет?». Кстати, я ведь и сам не святой. Я, например... Вот когда нужно, сразу и не вспомнишь. В общем, есть у меня недостатки, поверьте, ребята; правда, в нужной пропорции к достоинствам.

С Куки мой взгляд скользнул на Котла — и надо же! — передо мной возникла не перекошенная от злости физиономия, а располагающее лицо с иронической улыбкой. Котел, как всегда, выглядел словно огурчик: гладко причесанный, благоухающий одеколоном. Он писал ноты, сосредоточенный, весь в себе; время от времени брал гитару, проигрывал записанные куски.

Я подумал, что, в отличие от многих музыкантов, Котел играет все, что ни попросишь, не то что некоторые — навязывают тебе свои любимые мотивчики, а ведь у вас могут быть разные вкусы. Я вспомнил, как Котел защищал свою музыку от моих нападков: он хвалил собственные произведения, как мать, которая не нарадуется на своего ребенка.

Неожиданно я вспомнил, что Котел при любых неприятностях сохраняет хорошее настроение и даже в самых сложных ситуациях не теряет чувство юмора. Кстати, вы,

конечно, знаете: именно в экстремальных ситуациях и проверяется человек.

Показательно: если Котел и ругает окружающее, то с болью и всегда говорит, как можно все изменить. Я подумал: тот, кто любит свою родину, всегда будет говорить о ее недостатках, о том, что мешает сделать ее лучше. В этом смысле Котел опять-таки напоминает мать, которая шлепает своего ребенка за проступки, но и не представляет свою жизнь без него.

— Я сам постоянно меняюсь, хочу в себе что-то улучшить и приветствую все новое, — говорил Котел. — Все новое, возвышенное встречаю с интересом, будь то в искусстве или в повседневной жизни. Это только для вас я пессимист, а на самом деле я оптимист, ведь известно: пессимист — это хорошо осведомленный оптимист.

Ну что еще сказать? «Котел вовсе не вероломный, не коварный», — подумал я, и в меня вселилось раскаяние, которое с каждой минутой приумножалось; я сильно пожалел о словах, которые наговорил Котлу.

И вот странная штука, но, взглянув на своих друзей издалека, сразу простил их. Я вдруг почувствовал: мне сильно не хватает мелодий Котла и его болтовни, суеты и дурацких клятв Куки. Как ни крути, а хорошо, что все мы разные; замечательно, что есть люди, которые живут и мыслят не так, как мы, — иначе мир был бы однообразным и пресным. Крайне важно: на плоту с Котлом и Кукой я понял, что такое товарищество, подлинная мужская дружба...

Словом, без сомнения, мои друзья оказались неплохими путешественниками, но, конечно, не такими отменными, как я. И понятно: как требовательный капитан, я часто был недоволен командой, поскольку знал — все можно делать лучше; под этим соусом мне постоянно приходилось контролировать Котла с Кукой, делать им замечания, но это уже детали.



## *Глава тридцать первая.* *Самый яркий день*

Теперь, после моей исповеди, когда мы с вами как бы проплыли мимо островка воспоминаний и все встало на свои места, вы, ребята, можете уйти, хлопнув дверью, но не спешите осуждать меня. Уж такой я человек, раньше кое в чем заблуждался, а теперь вот словно вышел из темного леса на солнечную поляну. И не ждите от меня ответа, как такое могло произойти. Некоторые вещи необъяснимы. Попробуйте объяснить, почему на картинах Шишкина чувствуется запах леса или как Чайковскому удалось написать великую музыку.

В моей голове был сумбур; внезапно я понял: нельзя убежать от сложных отношений — именно в борьбе разных взглядов закаляются характеры, складываются четкие убеждения. И потом, в путешествии мы по-настоящему узнали друг друга, а ведь только когда узнаешь все недостатки человека, можно сказать, что знаешь его.

Я вдруг почувствовал, что меня тянет на плот к Котлу и Куке; какой-то невидимый магнит со страшной силой тащил меня к ним. Боюсь, вы не поймете, но тем не менее я даже не предполагал, что всего за несколько часов смогу по ним соскучиться. Если я не могу без них, значит, они мои друзья, а дружба — большой, ответственный груз, — к этой простой истине я пришел, только увидев все со стороны, и подумал: «Вот сейчас, в эти минуты теряю друзей навсегда». Вскочив, быстро оделся, схватил рюкзак и вдруг — вы, ребята, не поверите — чуть в стороне, под кустом боярышника, в просвете среди листвы увидел голубой комок. От волнения меня затрясло.

— Аня! — прокатилось по лесу эхо, хотя я только раскрыл рот, чтобы позвать девчущку.

Я подбежал к боярышнику, и в тот же миг с другой стороны куста раздвинулись ветки, и я увидел... Котла и Куку!

— а под кустом свернувшуюся калачиком, всю в комариных укусах, спящую девчущку.

— Аня! — взволнованно позвал Котел, взял ребенка на руки и понес на поляну, куда бросился Кука, на ходу снимая кофту.

Котел положил девчущку на расстеленную Кукой кофту, стал прослушивать ее дыхание, а прослушав, заключил:

— Дыхание хорошее. Ребенок переутомился и, судя по всему, спит давно. Давай, Чайник, легонько помассируй ее, а мы с Кукой приготовим спиртовой компресс.

Слаженно, с профессиональным спокойствием они открыли аптечку, измерили у девчущки температуру, растерли ее ватой, смоченной спиртом, завернули в Кукину кофту. Через несколько минут девчущка зашевелилась, зачихала, потом открыла глаза и, увидев трех незнакомых людей, расплакалась.

— А мы все знаем, все знаем! — запел Котел. — Тебя зовут девочка Аня, ты собирала ягодки. Сейчас мы тебя отведем к маме и папе.

— Налейте мне в глаза мыльной воды, отведем! — Кука строил смешную рожу, и девчущка улыбнулась.

Мы несли ее попеременно — каждый хотел чувствовать причастность к спасению ребенка, при этом весело перекидывались словами, как будто и не было между нами никакого скандала. А девчущка всхлипывала, и улыбалась, и рассказывала о своих приключениях:

— Я собирала ягодки... Водицу из лужицы пила... Видела лошадку с рогами...

Когда мы вышли из леса, навстречу нам выбежала вся деревня. Нас окружили, кто-то побежал за родителями девчущки, посыпались вопросы:

— Где нашли Анечку? Кто сами будете?

Мы сбивчиво отвечали, представляли друг друга, хлопывая по плечам. Мы были в ссадинах, в лепешках грязи, колючках, но счастливые.

Когда жители деревни узнали, кто мы такие, мне сразу заказали множество портретов, но я, разумеется, прежде всего начал рисовать героиню события. А к Котлу с Кукой выстроилась очередь желающих узнать о своем здоровье. Котел всех прослушивал стетоскопом, измерял давление тонометром. Прошедших консультацию у Котла еще раз ощупывал Кука, и, без всяких инструментов, подтверждал диагноз, и добавлял:

— Большинство болезней от мрачных мыслей. Жизнерадостные люди редко болеют. Почаще думайте о хорошем и делайте соседям добрые дела.

Потом прибежали родители девчушки, они расцеловали нас и, не зная, как лучше отблагодарить, предложили остановиться у них на несколько дней, а когда мы вежливо отказались, взяли с нас обещание приехать к ним на следующий год.

Мы вышли из деревни и, не сговариваясь, направились к реке. По пути Котел с Кукой продолжали обсуждать своих пациентов.

— Я всем советовал беречь нервы, — похохатывал Котел, — и семью. Счастье-то ведь прежде всего в семье. Что может быть прекрасней ощущения своей необходимости другим? В некотором смысле.

— Я советовал неслабо работать, — бормотал Кука. — Перед работающим человеком отступают все болезни, верно, Чайник? — Кука подмигивал мне, давая понять, что мы-то с ним единомышленники и что дружба, скрепленная испытаниями, особенно крепка, а с Котлом иногда можно и поспорить, и поссориться, ради вот таких прекрасных примирений.

Мы подошли к реке, и я увидел наш ставший уже родным плот...

Вот так все и вернулось к тому, с чего началось. Самое время сказать: за наше путешествие выпадали всякие дни, но этот был самый яркий, а если учесть и сверхактивное солнце, то и яркий во всех отношениях.

...Для ночевки мы выбрали мелкий залив с оборкой при-  
боя и сразу после ужина забралась в палатку. Котел взял  
гитару, и мы затыкнули песню о дружбе. Мы пели стройно  
и громко, и скоро песне стало тесно в нашей обители, она  
забилась о брезент, хотела вырваться на простор...

Потом мы уснули; во сне я ел оладьи с медом.

### ***Глава тридцать вторая. Последняя***

Утром, сразу после завтрака, мы отчалили.

Уже чувствовалась близость города: на берегах мель-  
кали створные знаки, полосатые переезды и белые зубья  
шоссе. Мы прибрали вещи на плоту, привели себя в по-  
рядок и плыли довольно красиво. От перегрева на нашей  
мачте потекла смола, и то ли на ее запах, то ли на яркую  
кофту Куки к плоту слетелись бабочки; они, как летающие  
цветы, эскортировали наш плот, создавая дополнитель-  
ный эффект. Так с бабочками мы и плыли до того момен-  
та, когда перед нами открылся белокаменный городок.

А теперь хорошенько подумайте, что ждало нас на бе-  
регу? Толпа встречающих — вот что! Как только мы прича-  
лили, к нам бросились сотни людей. Оказалось, слава о нас  
как о спасителях девчушки катилась впереди плота. Нас  
встречали с духовым оркестром. Любители автографов,  
пробиваясь к нам, отталкивали друг друга, а пробившись,  
обнимали нас, тискали, душили, целовали. Котел разда-  
вал направо и налево наши вещи, словно это не ценности,  
а всего лишь пирожки. Кука без устали пересказывал наши  
приключения, явно приукрашивая события. Кстати, и по-  
сле поездки он частенько добавлял что-то свое. Так, наше  
кораблекрушение он сравнивал с гибелью «Титаника»: все  
уже происходило не на реке, а на море, в невиданный  
шторм, в окружении акул, при этом Кука добавлял:

— Скромность снова стала модной, но, разорвите меня на части, я находился в самом пекле.

Я в этой суматохе по-деловому показывал свои зарисовки. Когда страсти немного утихли, нас пригласили в пароходство. У входа в учреждение нас приветствовал сам глава городка. Поблагодарив за спасение девчушки, он сказал:

— Памятник вам, конечно, не поставим, но обедом угостим.

Стол обставили талантливо: окрошка, самовар, баранки, но какая-то догадливая старушка принесла вареную картошку, огурцы и квас, и стол накрыли еще талантливее.

От нас выступил Котел. Щеголяя модными словечками, он заговорил о нашем плавании, сильно искажая истинное положение вещей, присваивая себе общие заслуги. В какой-то момент я вскочил и хотел призвать Котла к справедливости, но меня остановил Кука:

— Пусть ловит кайф. И раньше его шуточки были дурацкие, но они снимали напряжение, они — неслабая защита от унынья. Мы-то с тобой знаем, как все обстояло, что я играл главную роль.

Я усмехнулся, но, когда Котел закончил выступление, объявил:

— Вернусь домой — опишу всю поездку. Опишу все как есть.

Кука сразу схватил меня за локоть:

— Не забудь написать про все мои достоинства. Особенно верность дружбе. Ты же знаешь, я за друзей стену сломаю.

Котел толкнул меня в бок:

— Отметь, что я игрой на гитаре скрашивал путешествия.

В Москву решили лететь на самолете местной авиации. Аэропорт представлял собой обычную избу с флюгером и радиоантенной, и в нем работал всего один человек — он

был и начальник аэропорта, и диспетчер, и радист, и касир. За избой виднелась взлетная полоса — травянистая поляна, на которой паслись козы и гуляли куры. Перед взлетом маленького самолета кукурузника на поляну начальник пустил овчарку, и та разогнала живность.

...Кукурузник чихнул, затарахтел, его забила дрожь; рокот мотора перешел в гул, дрожь превратилась в тряску; кукурузник понесся, подпрыгивая на кочках, потом взлетел. Я посмотрел в иллюминатор. Внизу мелькнули изба-аэропорт, какие-то постройки, шоссе и светлая лента реки, на которой, точно чешуя, блестела солнечная рябь. Виднелись баржи, лодки рыбаков. Кукурузник забирался выше; баржи превращались в черточки, лодки — в точки, река сузилась до узкой змейки, потом исчезла совсем.

...В качестве приложения ко всему вышесказанному добавлю: когда Кука узнал, что я пишу эти очерки, он предоставил мне свой дневник, с надеждой на соавторство. Вначале я хотел упомянуть его имя, чтобы в случае провала книги ответственность делить поровну, но потом подумал, что в случае успеха ведь и славу, и гонорар придется делить на двоих, и отказался от его услуг. Я только бегло пробежал его каракули, а потом засунул под хромую ножку стола.

И все же приношу благодарность Куке за готовность помочь, что равносильно помощи, а также Котлу, которому часть рукописи я читал по телефону, и он вносил уточнения. Разумеется, благодарю их не слишком горячо, а то еще задерут носы, а вот вам, ребята, — большущая благодарность! За то, что дослушали меня до конца.

### *Послесловие*

Ну а теперь, ребята, если вам интересно, расскажу, как сложились наши судьбы в дальнейшем.

Во время путешествия на плоту нам было всего-то по двадцать лет, а теперь — ого сколько! Как вы догадываетесь, мы обзавелись семьями, чего-то добились в работе, но, представляете, в нас все то же мальчишество, те же привязанности — каждое лето мы по-прежнему отправляемся путешествовать (ведь молодость это не лицо без морщин, не джинсы и кроссовки — это состояние души). Мы стали закадычными друзьями, и никакие жизненные передряги не испортили наши отношения, даже жены не смогли нас поссорить. Вы поняли мою глубокую мысль? Обычно как? Перед женитьбой мужчина клянется, что он с друзьями до гроба, а потом жена быстро разгоняет его дружков, а его самого прибирает к рукам, отучает от «вредных привычек» и, как бы это выразиться, ну старается подмять под каблучок, что ли. Женщины ведь быстро прощупывают слабые стороны мужчины и давят на них. Загляните в любую семью: кажется, вождь мужчина — он хорохорится, чего-то бурчит, а жена знай гнет свое, вертит им как хочет.

У меня-то все не так, смею вас уверить. Я-то из другого теста. Вы же помните мою исключительную осмотрительность. Остался холостяком, говорите? Нет, тут вы не угадали. Я женился конечно, но сразу же поставил свою избранницу на место. Во мне, понимаете ли, нежность сочетается с твердостью. А вот мои друзья... Вы и вообразить не сможете, какое жалкое зрелище они представляют: этакие затюканные муженьки, осажденные повседневными заботами и требованиями своих благоверных. Но надо отдать им должное — целый год они ходят замученные семейным счастьем, а с наступлением лета распрямляются, в их голосах появляются жесткие нотки, они перебирают походное снаряжение, перезваниваются. Их жены, разумеется, это предвидят и не сидят сложа руки: выдумывают им разные срочные дела, достают путевки на юг, а то и имитируют болезни. Но в моих друзьях уже

началось брожение, их все сильнее охватывает страсть к странствиям.

Бывало, в их семьях дело доходило до... Нет, не до разводов, конечно. До угроз. Их супруги не совсем дурехи, они прекрасно понимают, что такие, как их мужья, на дороге не валяются. Доходило только до угроз. Но мои друзья — молодчаги, в один прекрасный день забрасывают все дела, объявляют разгневанным супругам: «Ненавязчивость, частое отсутствие лишь усиливают любовь», — и вырываются на свободу — отправляются со мной в путешествие.

Сейчас стало модно проводить лето на реке. Все кому не лень плавают, дают выход накопившейся энергии. Но мы-то были зачинателями этого увлекательного дела, верно? За эти годы мы совершили немало прекрасных плаваний. На чем только не плавали! На байдарках и надувных лодках, на катамаране и мотоботе, а последние годы — на «Бармалее», катере, который я построил. Опять я. Ну а кто ж еще? Катер — мое высшее достижение в области строительства плавсредств. Это отдельный разговор. Кстати, меня часто спрашивают: что надо делать, чтобы стать таким же талантливым, умелым, как я? Отвечаю: ничего не надо делать. Таланты у вас или есть, или их нет. Они даются свыше.

Так вот, как вы догадались, мы стали опытными путешественниками, научились понимать друг друга с полуслова — бывало, разбивали лагерь за несколько минут. Случались, скажу вам, у нас и размолвки, не без этого. Особенно когда выбирали маршрут. Но в одном наши мнения сходились: не брать в путешествие женщин — ведь известно, с ними вечно одни неприятности. Но однажды мы дали маху, нам вздумалось прихватить с собой и наших супругов.

Перед той поездкой и жена Котла, и жена Куки стали неожиданно послушными и ласковыми — прямо-таки выливали на моих друзей ведра любви — то ли сговорились, то ли еще что (моя-то всегда была тихоня). Особенно ста-



ралась жена Куки: ей просто не терпелось спровадить супруга, и ревнивый Кука подумал, что это неспроста. Ему первому и взбрела в голову эта дурацкая идея. И Котел его поддержал. Словом, они насели на меня: не помешают, мол, готовить будут и прочее. Наивный расчет! Но я — вот доверчивый чудак! — проявил слабость и уступил им.

Вначале все шло неплохо, а потом... Смех берет, как вспомню, чем закончилась наша поездка. Вот вы улыбаетесь, похоже, догадываетесь. Но наберитесь терпения, не торопите меня, не прерывайте. Дайте вначале описать наших спутниц, поведать о душераздирающих романах моих друзей.

Котлу всегда нравились модные мотивчики и веселые женщины, причем о музыке он думал намного больше, чем о женщинах, и вообще относился к ним иронически и времени на ухаживания не тратил. Но странное дело, именно это и притягивало женщин: их заедала его небрежность, веселое нахальство, шутовская учтивость (его ядовитые нежности выглядели так же нелепо, как клумба перед тюрьмой). Доходило до того, что Котел просто в глаза женщинам говорил о своих «пяти способах обольщения», но и это их не отпугивало. Даже наоборот — они проявляли жуткую заинтересованность.

Кстати, один из его способов — общие фразы, как у цыганки: «В вас заложено намного больше, чем видят многие». «Вы добры к людям, но некоторые этим пользуются». Вот так примитивно этот утонченный садист и влюблял женщин в себя, но никогда не назначал свиданий. А однажды неудачно пошутил: пригласил на свой день рождения всех знакомых подружек. Каждая, естественно, считала себя его единственной, но вскоре одна за другой почувствовали, что в компании что-то не то. Я оказался в деликатной ситуации — за столом меж двух женщин: обе сидели, насупившись, кидая на Котла убийственные взгляды. Потом одна сказала мне:

— Пойдем танцевать! — и во время танца спрашивает:  
— Эта слева от тебя, такая покрашенная, твоя?

Я думаю, сказать «моя» — вроде много взять на себя, сказать «Котла» — его подвести.

— Как тебе сказать, — говорю. — Возможно.

Потом другая пригласила меня танцевать и тоже спрашивает:

— Эта справа от тебя, с иксообразными ногами и прической «я у мамы дурочка», твоя?

— Как тебе сказать, — говорю. — Может быть.

Короче, все кончилось плачевно. Для Котла, конечно. Разузнав, что к чему, женщины отлупили его. Тот случай кое-чему научил Котла. Он решил жениться, но все боялся промахнуться и подолгу проверял своих возлюбленных: придет в гости и нарочно опрокинет пепельницу или еще что-нибудь. Случалось, женщина вспыхивала:

— Ах, что вы наделали! Не можете сидеть спокойно! Ну вон еще покачайте торшер или сдвиньте накидку!

«Все! — думал Котел. — У нее скверный характер». Но бывало, женщина промолчит, тогда Котел устраивал ей еще какой-нибудь экзамен.

Если кто подзабыл, напомню, что Котел всегда славился ленью, и, понятно, ему всегда было лень провожать своих поклонниц — поэтому первый раз он женился на девице-хохотушке, которая жила в соседнем доме. Он знал ее давно, когда она была еще ребенком: встречая во дворе, нажимал ей на нос и гудел, как автомобиль, а раза два и отшлепал по попе. Подростком она, шутки ради, обливала его водой с балкона и хохотала. А став девушкой, влюбилась в «дядю Валеру». «Он такой забавный!» — сказала со смешком.

— Каждый идет своим путем к счастью, — заявил Котел. — Мы шли через игру. Играли в мужа и жену и доигрались — поженились. Я всему ее научу, она прилежная ученица.

У нее было смазливое лицо, крашенные кудряшки, фигура — так себе, а голос — громче не бывает. Она и разговаривала, и смеялась на весь дом. Если на улице шум, все знали — это она появилась.

После замужества в ней пробудилась невероятная страсть, бешеная любовь, вырвалось наружу то, что накапливалось годами, — казалось, прорвало плотину и на равнину вылился неуправляемый поток. Она ревновала Котла круглосуточно, следила за каждым его шагом и постоянно допрашивала — где он находился в ту или иную минуту. Ревновала к друзьям, к родственникам, даже к детям и животным, когда он с ними общался. А о женщинах и говорить нечего. Правда, иногда попадала впросак. Как-то говорит Котлу:

— От тебя пахнет дешевыми духами. Скажи своим женщинам, что у них плохой вкус.

А Котел перед этим заходил в парикмахерскую.

Не буду перечислять все ее недостатки, назову лишь парочку: она была чересчур активной, любила компании и разбойничьи анекдоты, но ничего не умела делать, даже белье на стирку относил матери.

— Совсем нет времени, — объясняла нам. — Много читаю, занимаюсь фигурным катанием и вообще работаю над собой.

Кормила она своего супруга одними пирожными: два покупала на завтрак, три на ужин — теперь у Котла аллергия на сладкое.

Так ничему и не научив жену, Котел однажды объявил ей, что она извела его ревностью, что у них разные «динамические силы» и взгляды на супружескую жизнь и что вообще они слишком давно знакомы, чтобы любить друг друга, а их бурный роман — страшное истязание. Надеюсь, вы помните, что Котел всегда избегал излишних волнений и главным в жизни считал душевный покой, а здесь такие страсти! Короче, Котел подал на развод и подарил жене ду-

бленку. Из эгоизма, как память о себе. Ведь он и ценил-то не чувства женщин к нему, а свои к ним...

Не подумайте, что я ворчу. Мое единственное намерение — установить истинное положение вещей. И обратите внимание, я делаю это осторожно, деликатно, так как уважаю тайны в сердечных делах.

Со второй женой Котел познакомился по телефону. Кому-то звонил, попал не туда, услышал, как потом объяснял нам, «необыкновенный голос» и разговорился. Потом назначил незнакомке свидание и спросил:

— Как мы узнаем друг друга?

И «необыкновенный голос» вдруг заявил:

— Я очень красивая. Вы сразу узнаете.

Она была точно пластмассовая: блестящие волосы, огромные глазищи и сверкающая улыбка — прямо кукольная стандартность. Она модно одевалась и с детства мечтала стать артисткой, но в театральное училище экзамены провалила. Устроившись статисткой на Мосфильме, она продолжала бредить театром и ежедневно ходила на спектакли. Голос у нее действительно был необыкновенный — какой-то расщепленный, казалось, гремит консервная банка. Меня всегда коробило от этой трескотни. К счастью, она, в отличие от первой супружницы Котла, мало говорила.

— Она несет в себе тайну, — говорил Котел.

В нашей компании она обычно сидела, хлопала глазами и улыбалась; что ни спросишь, пожимает плечами:

— Ты ставишь меня в трудное положение.

Я-то видел — до нее ничего не доходит, а Котел мне шепчет:

— Какой надо быть умницей, чтобы молчать. Все женщины болтают, спешат себя утвердить, а эта так умно молчит, что вся светится. (Ну не осел?)

В общем, Котел попал под ее влияние: зачистил в театры, а уж следить за модой стал больше прежнего. Он

и раньше придавал одежде немалое значение, а после женитьбы совсем спятил: случалось, напяливал на себя что-то вычурное, крикливое. Яснее ясного, Котел занялся делом, недостойным настоящего мужчины. К счастью, вскоре ему надоело «красиво проводить свободное время», и он разошелся со своей «театралкой». Перед этим у них с полгода шла война — кто победит, навяжет свое; затем они несколько месяцев не разговаривали — писали друг другу записки, вяло отбивались друг от друга, ну и наконец приняли «историческое» решение. Понятно, у них была не любовь, а некое любопытство, дурацкий интерес друг к другу.

Котел всегда уходил красиво, даже из компаний. Расскажет какую-нибудь заранее заготовленную эффектную историю — и уходит. На этот раз он ушел чересчур красиво: оставил жене квартиру, а сам стал скитаться по приятелям.

— Самое смешное, — говорил он в то время, — все мои вещи умещаются в портфеле, и хлопот с переездами нет. Я считаю так: если жалеешь о том, что потерял, делай все, чтобы это вернуть, а если не жалеешь, значит, потерял то, что должен был потерять. Я ни о чем не жалею.

В третий раз Котел женился на особе, которая, как он уверяет, совмещает в себе непосредственность его первой жены и красоту второй и еще имеет массу других достоинств. Да-да, не удивляйтесь! Сейчас он женат третий раз, и я думаю, не последний. У него ведь неуживчивый характер, а с возрастом все плохое в человеке становится еще хуже. Впрочем, иногда я думаю, что Котел так часто женится просто для того, чтобы устроить застолье приятелям.

В последней жене Котел нашел свой тип: она такая же, как и он, цепкая в жизни, с таким же, как у него, занозистым характером. Как и Котел, она помешана на джазе и постоянно напевает какие-то композиции, при этом

поигрывает плечами и отщелкивает пальцами ритмы. Как и Котел, она говорливая и злоязычная, временами просто не закрывает рта — считает, что если не поддерживаешь разговор с собеседником, то не уважаешь его. Свое «уважение» она проявляет резкими и грубыми словечками, а потом притворно удивляется — почему на нее обижаются, строит из себя простодушную святошу. Как-то я сказал ей:

— Хитрая ты, Галька. (Имя у нее противное — Галина, как у моей ненормальной тетки.)

— Не хитрая, а умная, — заявила она. (Вот так!)

После свадьбы Галина сняла квартиру и составила Котлу план поведения: чтобы он написал диссертацию, виделся со мной и Кукой не чаще, чем раз в месяц, чтобы уделял как можно больше внимания жене...

— Галя — личность, — говорит Котел. — Считается, что женщины-личности — те же амазонки, которыми восхищались, но их не любили. Чепуха! Женщина должна быть личностью. У талантливого мужчины и жена должна быть талантливой. Раньше я думал, что все очень красивые женщины пустоваты. В некотором смысле. И, только познакомившись с Галей, понял, что можно быть и красивой и талантливой (он говорил о своей благоверной, как о драгоценной вазе).

Внешне она действительно ничего, но, конечно, не до такой степени, как кажется Котлу. У меня были знакомые, до которых ей далеко. А талант?! Ну закончила она институт, ну знает пару языков, ну поет джаз. Разве ж в этом талант женщины?! Талант женщины в умении любить, внести в жизнь мужчины спокойствие и уют, помочь ему добиться чего-то. Короче, быть приложением к мужчине. А эта только и трезвонит о себе: «я перевела», «я разучила», «Валерчик мне сопровождал»... Балаболка, одним словом! Самовлюбленная балаболка, не умеющая держать язык под контролем.

Еще до того, как Котел подал заявление в загс, я высказал ему свое мнение о Гальке. Он выслушал и изрек:

— Ты меня смертельно обидел.

Но тут же рассмеялся:

— Ты чего-то не понял. Присмотрись к ней повнимательней, вы должны подружиться. Она, конечно, фантазерка, но это придает ей дополнительную привлекательность. Вообще надо радоваться хорошему в человеке, а не огорчаться тому, чего в нем нет. Потом ведь муж делает жену, а она податливая и станет послушной женой.

«Никто никого не переделает, — подумал я тогда. — Надо или принимать людей такими, какие они есть, или не принимать». И ошибся. Только не он ее переделал, а она его. Теперь Галька вертит Котлом как куклой; даже подсовывает книги про природу и пытается внушить, что можно путешествовать и не выходя из дома.

Они живут как студенты. В их квартире, которую они до сих пор снимают, богемная обстановка: пианино, проигрыватель, магнитофон, книги, пластинки, кассеты; всегда есть клюква, настоящая на спирту, кофе и сигареты. А мебель — так себе, и никакой посуды. Бывает, соберемся у них, так они клянчат у соседей тарелки и вилки.

— Мы живем по-американски, — говорит Котел. — Сегодня здесь, завтра там. Перемены, неожиданности способствуют творчеству.

Котел защитил кандидатскую диссертацию, уже не полыхает по поводу недостатков в нашем обществе и, как многие довольные жизнью, считает, что в жизни все правильно и справедливо. Задача у него прежняя — веселиться и веселить, он так и не вышел из своего образа.

Ансамбль Котла распался; если Котел теперь и играет, то со случайными музыкантами на свадьбах и похоронах, зарабатывает на кооперативную квартиру (играет на флейте, свою знаменитую гитару повесил на стену).

Сейчас доберусь до Куки. Считаю своим долгом отметить: Кука всегда делил женщин на накрашенных и не накрашенных. Он нашел себе не накрашенную — полную женщину с водянистыми глазами и рыбьими губами; у нее печальный голос, слабая улыбка, вялый смех, а глаза вечно моргают, и кажется, она или только что плакала, или вот-вот заплачет. Ну что вы хотите — больше всего на свете она любит спать.

Кука познакомился с ней на отдыхе, в море, у буйка. Как он говорил, «вошел в воду холостым, а вышел женатым».

Думаю, основную роль здесь сыграли пышные формы Натальи (так зовут его жену), но Кука уверяет, что в ней прекрасно все.

— Она великая женщина, — вещает он, одурев от любви. — Отличный биолог, скоро получит старшего научного. И такая скромница. И готовит неслабо. Моя мать говорила, что нужно жениться на женщине, которая умеет стряпать, что женщине можно простить любые недостатки, даже внешность, только не неумение готовить (замечу в скобках — как раз наоборот: жена-стряпуха — могила для мужчины). Кстати, там, у буйка, выяснилось, что мы оба собачники, и представляете! Ее кобеля боксера зовут Атос, а моего дога Портос! Это уже судьба!

Теперь они еще завели кота Арамиса — на потеху соседям.

На их свадьбе я обронил Куке:

— Все, Кука, конец твоей свободе!

— А я люблю Наташу, и мне приятно потерять свободу, — пробурчал он. — У Наташи редкое, неслабое качество: она ценит повседневные мелочи. Некоторые ведь считают, что в сравнении с космическим наша жизнь — чепуха. Им что-то высокое подавай.

Тогда же на свадьбе Наталья сказала нам с Котлом:

— Когда знакомишься с мужчиной, надо смотреть на его руки. Я как увидела Шашины руки, сразу в него влюбилась.



В этот момент она действительно любила Куку, но это не мешало ей строить нам глазки, и говорить с зазывающими придыханиями, и справа и слева показывать свой бюст.

— Она потенциальная блудница, — поделился я с Котлом. — Неразорвавшаяся секс-бомба! Разорвется — у Куки все рухнет.

— А я люблю заумных блудниц, — расплылся Котел.

— Да какой там ум! Она дуреха набитая.

— А я люблю симпатичных дурочек, — все улыбается Котел.

— Но она же не симпатичная, просто толстуха!

— А я люблю толстушек с покладистым характером.

— Зачем тогда женился на худой?

— А я и худых люблю. Но вообще, скажу тебе, с возрастном женятся не по любви, а по интересам.

Вот вам портрет Котла в то время. Он и сейчас так рассуждает.

Наталья отчаянно борется с полнотой и почти ничего не ест.

— Я только посмотрю на еду и сразу чувствую, что прибавляю в весе, — говорит.

Она ест одуванчики с майонезом, пьет сироп из фиалок, но никак не может похудеть. А Кука любит ее формами и посмеивается:

— Дохлый номер. Против природы не попрешь, — и подходит, обнимает жену, и они цепенеют в безнадежной любовной муке — совсем ошалели.

Роман Куки с Натальей — нескончаемая мыльная опера; они сильно боятся потерять друг друга, и без конца то он встречает и провожает ее, то она его.

— Кука! Сделай чучело своей красавицы и таскай с собой на работу, — как-то довольно удачно пошутил Котел.

Надо сказать, что до Натальи у Куки не было увлечений. Он только однажды, еще в мединституте, написал письмо

какой-то сокурснице, где признавался в чувствах, но получил свое послание назад с исправленными ошибками.

Наталья решила и меня поженить. Как-то сказала:

— Тебе надо завести семью, иначе начнутся болезни. Женатый мужчина добивается в жизни большего, чем холостой. У меня есть знакомая, с которой, думаю, вы подойдете друг другу, — и привела подругу, свою копию, тоже полную, да еще с желтыми, как у львицы, глазами.

Я посидел полчаса для приличия, поговорил с ними о том о сем и распрощался. Наталья догнала меня и набросилась с оскорблениями:

— Ты дурак! С такой женщиной тебя познакомила, а ты... Ну и оставайся один, черт с тобой!

Вот такая она тихоня и скромница, сами видите.

Кука с Натальей начали совместную жизнь в подвальной конуре, через которую проходила труба диаметром с хобот слона, где под полом возились мыши, а стены покрывали мох и какие-то бледные цветы.

— Наши цветущие стены — гобелены, — хвастался Кука.

Но довольно быстро Наталья доказала своему неразборчивому супругу, что двухкомнатная квартира на третьем этаже гораздо лучше подвала «с гобеленами». Кука начал по вечерам подрабатывать, и через год они переехали в кооперативное жилье.

Наталья не успокоилась и безжалостно обрабатывала Куку дальше — заставила написать диссертацию, защититься, выбить на работе дачный участок... Вот вам и тихоня с погасшим взглядом!

Теперь у них новая страсть — они все лето вкалывают на даче, запасая на зиму варенья, соленья, моченья. Они и квартиру превратили в оранжерею: в комнатах выращивают помидоры и лимоны, на балконе лук и морковь. В их квартире всюду кадки с кустами и деревьями — прямо трудно продрасться сквозь вьющиеся и стелющиеся растения, использован каждый метр жилплощади, выжато из

жилья все, что можно. А на окнах и дверях замки, задвижки, крючки. И это, сами понимаете, неспроста. Думается, они поднакопили и кое-какие ценности. Наталья еще больше усиливает это предположение, когда на наши сборища появляется в драгоценностях.

— Это у тебя бриллианты? — как-то поинтересовался я.

— Ага! — ответил за нее Кука. — У моей жены по «запорожцу» в ушах, и я не вижу в этом ничего позорного.

Не подумайте, он шутил, они ведь о многом умалчивают. Вот так изменился Кука, такой совершил зигзаг — стал практичный, расчетливый, все прикидывает, подытоживает, в кармане носит калькулятор. Возьму на себя смелость выдвинуть такую версию: сидеть на сундуке с деньгами стало его конечной целью — как ни противно, об этом не могу не сказать.

Я считаю, что после тридцати лет люди делятся на две категории: тех, кто развивается, и тех, кто остановился. Так вот, Котел, на мой взгляд, остановился, а Кука развивается в худшую сторону; во всяком случае, он уже не суетится, как раньше, не пытается переделать весь мир — теперь его энтузиазм проявляется в накопительстве, и если раньше он собирался делать машину своими руками, то теперь просто копит на нее. Теперь он рассуждает так:

— Не терплю суетников: вечно спешат, хватаются и за то, и за это и ничего толком не делают. И еще без умолку трещат, как они завалены делами и работой. Те, кто много болтают о работе, как правило, мало работают. Проверено. И вообще, суета и треп говорят о несерьезных делах и поверхностных суждениях. Все успеется, всему свое время. Все надо делать с толком, без суеты, неслабо. Куда торопиться? Хорошие дела быстро не делаются.

Вот такие у него умонастроения. Недавно, чудик, заявил:

— Планирую открыть кооператив «цветов и птиц». Всегда ведь люди уезжают в отпуск, в командировку, кто-

то должен поливать цветы в горшках, присматривать за попугаями. Полагаю, доходное дело.

Кстати, Котел тоже не прочь заняться бизнесом: хочет открыть бюро путешествий для иностранцев, для тех из них, кто хочет увидеть настоящую Россию, ее глубинку, а не виды из автобуса Интуриста. Котел строит обширные проекты:

— Я организую им походы по речкам. Пусть прокатятся на попутных грузовиках по нашим разбитым дорогам, построят плоты, поночуют в палатках, побывают в деревнях, пошлепают по грязи, потолкаются в очередях в сельмагах, послушают крепкие словечки. Настоящая жизнь страны в глубинке, где нет туристических маршрутов.

Могу себе представить, как Котел прогорит!

Я женился последним, в тридцать лет, без всякой любви, хотя моя жена бесспорно лучше Галины и Натальи вместе взятых. Я женился просто в знак солидарности с друзьями. «На год меня хватит, — подумал, — а там видно будет». И вот надо же! — уже пошло на второе десятилетие, как живу со своей красавицей. Привык, что ли, сам не знаю. Конечно, я человек твердый, и, если моя половина начнет что-нибудь вытворять, хлопну дверью, и только меня и видели. Жена это прекрасно знает, ведет себя тише воды и держится за меня обеими руками. И еще бы не держаться! Ведь я умный и талантливый, и руки у меня золотые, и характер покладистый, и круг интересов широкий, и осведомленность безграничная. Конечно, трудновато совмещать столько достоинств, но все же мне это удастся. Я думаю, вы это давно заметили.

Так вот. У меня всегда были определенные требования к женщинам. В двадцать пять лет я хотел встретить женщину красивую, изящную, умную, талантливую, преданную; чтобы она умела делать абсолютно все; чтобы любила мою работу и никогда не спрашивала, почему я поздно вернулся и где был. Чтобы любила животных,

имела легкий характер, побольше молчала, и всегда просыпалась с улыбкой, и часто пела; одним словом — совершенную женщину.

Чуть позднее я пришел к выводу, что хочу совместить несовместимое, и стал подыскивать женщину не очень красивую, но и не уродину, не очень умную, но и не совсем дуру и так далее. Но и это оказалось непросто. Тогда я отказался от всех требований, оставил только три: чтобы побольше молчала, любила животных и часто пела. Но что бы вы думали? И это оказалось сложно. Большинство женщин слишком много болтали, и к животным относились так себе, и крайне редко пели. В общем, я жил в гордом одиночестве. Ясное дело, встречался с женщинами, но стоило какой-нибудь из них принести в мой дом халат или тапочки — все! Тут же с ней порывал.

Ну а история моей женитьбы проста. Мы познакомились на улице, шли в одном направлении, и красotka улыбалась мне неопределенно-радостно. Вернее, вполне определенно. Когда я заговорил с ней, она просто сказала:

— Я ждала вас всю жизнь.

Ну и, ясное дело, обезоружила меня этими словами. Она сразу все рассказала о себе и околдовала меня искренностью.

У Валентины (так зовут жену) отличная внешность: темные глаза, прямые волосы, взгляд спокойный и умный, фигура стройная, очень стройная — она работает манекенщицей, что вы хотите! И, естественно, походка у нее отличная, а по тому, как женщина идет, уже можно судить о ней. Валентина ходит с победоносным видом и умеет постоять за себя, поставить на место разных прилипал. Но главное, в ней все те достоинства, о которых я говорил, — не к чему придраться, хотя вначале кое-что мне пришлось пошлифовать.

Прежде всего мне не понравилось, что она часами крутилась перед зеркалом и в день по пять раз меняла наря-

ды, один смелее другого. Бывало, оголялась почти вся. Она была готова ходить по улицам голой и жить в стеклянном доме. И все разговоры у нее велись вокруг шмоток:

— Когда у меня плохое настроение, я надеваю яркое платье. У меня есть деловое платье и есть увлекающее...

По утрам меня раздражала ее беготня от окна к шкафу и восклицания:

— Что надеть? Что надеть, прямо ума не приложу!

— Надень ведро на голову! — однажды вырвалось у меня, но жена не оценила моей изящной шутки.

А по пути на работу, если к ней никто не подходил, она, по ее словам, «весь день пребывала в угнетенном состоянии», хотя никакие знакомства ей и не нужны...

Спала она только на спине, чтобы не было морщин, по утрам, лежа в постели, делала дыхательные упражнения, потом принималась за гимнастику и носила книги на голове «для хорошей осанки»; днем занималась закаливанием — принимала солнечные ванны; на ночь пила «витаминные» чаи «для изящества». Этот культ внешности я пресек сразу.

Потом она взялась за мою квартиру: заменила простую мебель на финскую, накупила дорогой посуды — из-за этих покупок влезли в долги. Потом мои вещи каким-то образом перекочевали на балкон и Валентина натаскала множество своих штучек-дрючек. Пришлось тоже вмешаться, правда, позднее жена все же убедила меня, что ее вещи необходимы «для процветания», как она выразилась.

Ванную она забила шампунями, разными флаконами и пузырьками. Эти пахучие штуковины оказались довольно приятными; единственно, чего я не понимал, — зачем их такое множество: видимо, для еще большего «процветания» нашей процветающей квартиры. В общем, мое жилье приобрело прекрасный вид.

Кука говорит, что мы сделали из квартиры музей, навели показуху, Котел считает, что я вообще живу «среди

бесполезной красоты», но, по-моему, они просто мне завидуют.

Покончив с квартирой, Валентина стала приставать ко мне — вначале с восхищенным уважением:

— Как хорошо ты рисуешь... Какой неумный цвет! А мой портрет ты можешь написать?

И я рисовал ее; сделал сотню портретов.

Потом Валентина стала говорить уклончиво:

— Ты мог бы более разумно применять свои способности. Вот уже два дня ничего не делаешь. За это время мог бы картину нарисовать.

Мне приходилось объяснять, что я обдумываю материал, что, как раз когда, по ее понятиям, я ничего не делаю, во мне идет напряженная работа. Валентина вздыхала и отходила — смутные мысли роились в ее голове. Со временем в ее вздохах появились какие-то угрожающие нотки, и, случалось, она отчитывала меня за безделье и выпивки с друзьями. Однажды разошлась вовсю и опрометчиво лягнула:

— Похоже, женщина влюбляется в образ, а не в мужчину; наделяет его тем, чего в нем и нет.

Это уже было слишком. Я взбунтовался и ушел из дома, а когда вернулся, увидел на моем столе букет полевых васильков. Это была наша единственная ссора за все время совместной жизни, и Валентина, молодчина, сразу поняла, что не права. Со всем смирившись, она стала примерной, домашней женой. Теперь она как мышка, ее не видно и не слышно. Как я уже сказал, мы прожили больше десяти лет, и никакой усталости чувств у нас не видно.

Кстати, в отношении семьи могу дать ценные советы. (Я вообще собираюсь открыть бюро советов на все случаи жизни.) Так вот, во-первых, как только жена попросит что-то сделать по дому, под разными предложениями не спешите. Затем, словно опомнившись, изобразите деловой порыв

и принимайтесь за работу, но делайте ее крайне плохо, чтобы в следующий раз жена все делала сама.

Во-вторых, запомните: все жены страшно любят сплетничать о сослуживцах на работе, соседках и подругах. Никогда не отмахивайтесь от этой болтовни. Заткните уши ватой и делайте вид, что вам невероятно интересно, что вы только этим и живете. Помните: в чем в чем, а в выборе друзей и врагов с женой должно быть полное единодушие.

В-третьих, у всех жен страсть к нарядам и покупкам, но учтите — после покупок у них некий комплекс вины! Изобразите праведный гнев и спокойно отправляйтесь с приятелем в пивной бар «Вдали от жен». Короче, я за сильную мужскую власть в семье с небольшими отступлениями для жены.

Ладно, пойдем дальше! За эти годы я довольно-таки преуспел: теперь заведу декоративным цехом. Раньше, как вы помните, у меня было двенадцать положительных качеств, теперь стало в два раза больше. Ну а внешне! Внешне, как видите, я отлично сохранился для своего возраста; так что берите пример с меня, в смысле образа жизни, да и всего остального.

Как-то так получилось, что, пережившись, Котел, Кука и я немного отошли друг от друга и стали видаться только по праздникам, — наши жены почему-то не очень сдружились. Когда мы собирались у Котла, его Галина без умолку болтала о фильмах, хвасталась новыми пластинками, а в середине застолья усаживала мужа за пианино и начинала петь джазовые вещи. Мы с Кукой это приветствовали со всей сердечностью, а Наталья с Валентиной дулись.

Когда собирались у Куки, Наталья заваливала стол яствами и подробно рассказывала о количестве заготовленных даров природы. Мы с Котлом не успевали себя набивать, а наши супруги морщились и отворачивались. Слушая Наталью, Валентина толкала меня коленом под



столом, а Галина косила глаза в сторону и нашептывала мужу:

— Какая ограниченность! Чем они живут!

Когда собирались у нас, Валентина то и дело переодевалась и за вечер успевала продемонстрировать все свои наряды. Кука с Котлом восхищенно щелкали языками, а их жены покусывали губы от злости.

Вот так и проводили времечко. Никак наши жены не могли найти общий язык, правда, постоянно выспрашивали друг о друге — женщины ведь всегда испытывают любопытство к соперницам...

Как-то по простоте душевной я начал расхваливать жен своих друзей, какой там голос у Галины и как здорово готовит Наталья. Валентина хмуро меня выслушала, а потом кокнула тарелку об пол и три дня со мной не разговаривала. Так что теперь, рассказывая жене о других женщинах, я предельно осторожен. Ради мира в семье.

Ну ладно, ближе к делу, восстановлю исторический момент. Так вот, однажды мы отправились в путешествие с нашими женами. Решили поплавать на моем катере «Бармалее». Чтобы вам обстоятельней представить нашу поездку, не мешает описать сам катер.

Во-первых, вновь упомяну, «Бармалей» я построил. И еще раз повторяю, это отдельная захватывающая история. Кому интересны подробности строительства, заходите в следующий раз, расскажу. Во-вторых, я строил катер, когда еще не был женат, и, наверно, именно поэтому мне пришла в голову эта прекрасная идея. Согласитесь, женатым мужчинам подобные мысли редко приходят в голову, а если и приходят, жены рубят их на корню.

Мой «Бармалей» — элегантный катер с каютой и кокпитом. В каюте лежаки, откидной столик, в кокпите управление, сиденья — в общем, это удобная вместительная посудина. На «Бармалее» мы плавали два раза. Котел, Кука и я. Ну а на третье лето сдуру вздумали взять жен. Ясное

дело, ни один уважающий себя моряк не возьмет на корабль женщину, а мы, идиоты, взяли сразу трех. А теперь слушайте, что получилось из этого предприятия.

Все началось еще во время сборов, когда Котел представил мне на утверждение список дополнительного снаряжения. Чего там только не было! Складной стол и стулья, раскладушки и теплые спальные принадлежности, спасательные жилеты, гамаки, портативный душ, газовая плита, магнитофон, дождевые и солнечные зонты и тьма абсолютно ненужного барахла. Пробежав список, я чуть не подскочил от негодования:

— Просто смешно, Котел, что ты понаписал! Просто смешно! Хочешь устроить из путешествия пикник. Не выйдет! Я не намерен ради женщин лишать себя приключений. Изволь половину вычеркнуть.

Потом наши жены стали лихорадочно перезваниваться и задавать друг другу нелепые вопросы:

— Что наденешь? Что возьмешь? Сколько?

Прислушиваясь к этой дурацкой болтовне, я догадывался, что нас ожидает, понимал, что мы делаем невероятную глупость, но отступить уже было поздно.

В первый же день наших отпусков мы с Кукой на трейлере привезли «Бармалей» в Южный порт. В порту нашли свободный песчаный пятачок, на катках спустили катер к воде, зачалили около пожарного дебаркадера и стали подготавливать посудину к плаванию. День был жаркий. Над песчаной косой стояло горячее море, только у самой воды тянуло прохладой — чувствовался ток воздуха. В полдень на рафике в порт прикатил Котел с нашими драгоценными женушками; весь салон микроавтобуса был забит шмотками.

Галина выпрыгнула из машины и, пританцовывая, с включенным магнитофоном направилась к нам. Она была в шортах, спортивной майке, кедах и в кепке с козырьком. Наталья вылезла в пляжном халате и панаме,

в руках она тащила сумку с пустыми стеклянными банками и полиэтиленовыми пакетами. На Валентине были широкополая шляпа и белое платье, на ногах — «римлянки», а на кончике носа — большие темные очки. Она направилась к нам виляющей походкой; от нее сильно пахло духами.

— Неслабо выглядите, — сказал Кука. — Даже шикарно. Как огурчики в рассоле (это у него высшая похвала).

— Как добрались, благополучно? — спросил я.

— Ага! — праздничным голосом ответила Галина (она вся сияла). — Только Наташка хотела взять еще собак, но мы воспротивились. А я взяла водные лыжи, хочу научиться выделывать пируэты на воде.

— Эта меломанка Галька всю дорогу пела на весь автобус, — шепнула мне Валентина с некоторым раздражением. — Воображает из себя много. И так безвкусно одета!

— Собак нужно было взять, — перебил я ее и подумал, что все же Наталья любит животных больше, чем моя жена.

Мы с Кукой подошли к рафику, чтобы выгрузить вещи. Целый час вытаскивали саквояжи, сумки, тюки. Я успел заметить складной велосипед, бадминтон, несколько шляп, модные сапоги, шитье, вязанье и целый чемодан лосьонов и кремов! Вот к чему привели моя мягкотелость и попустительство Котла.

Когда машина уехала, песчаная коса превратилась в цыганский табор: Котел с Кукой перетаскивали вещи в катер, женская половина нашей команды прямо на песке накрывала стол, чтобы отметить отплытие. Я осуществлял общее руководство. День, повторяю, был жаркий, очень жаркий, и скоро мы все взмокли. Особенно Кука. Шляпа на нем почти расплавилась, из его ушей валил не пар, а дым...

Уложив вещи, мы решили искупаться. С нами, мужчинами, окунулась одна Галина. Наталья только ополоснула лицо и смочила плечи. Валентина заявила, что в воде пиявки и плавать не будет, но в купальник переделась и не-

которое время любовалась на свое отражение в воде, потом застыла в картинной позе, как бы принимая солнечную ванну. Матросы с дебаркадера, до этого дремавшие на палубе, разморенные полуденным зноем, повскакали и стали пялиться на красавицу. Не стесняясь меня, Наталья встревоженно сказала вылезшему из воды Куке:

— И куда Валька набрала столько шмоток?! Одних купальников взяла пять штук. Она, наверно, собралась на Багамские острова!

Сколько раз я замечал: скажешь о человеке хорошее, это могут и не передать, а плохое — передают сразу. Я промолчал, а Кука тут же окликнул мою жену:

— Валь, ты что, взяла пять купальников? Неслабо! Весомый подход. Но кончай соблазнять матросов, лучше помоги готовить жратву.

Валентина поджала губы, но подошла.

Котел с Галиной выбежали, отряхиваясь, из воды, запустили на полную громкость магнитофон и стали расставлять на столе еду.

Предвкушая дармовое угощение, матросы спустились с дебаркадера, из-за штабелей бревен вышли портовые рабочие, испачканные известкой. К счастью, пошел дождь, и неожиданные гости, выпив залпом по бутылке пива и пожелав нам счастливого плавания, заспешили в укрытия.

Мы тоже спрятались в сарае. Крыша сарая протекала, и нам приходилось все время менять местоположение. Неожиданно дождю обрадовалась Валентина — она не упустила случая продемонстрировать свой японский зонт и тем самым вызвала переполох среди жен моих друзей. Оказалось, они забыли зонты, и Галина бросилась ловить такси, но Котел опередил ее, заявив, что у Валентины наверняка их несколько штук. Валентина метнула на Котла хмурый взгляд, но кивнула. Желая переменить тему, я сказал:

— Ничего, считайте, что путешествие уже началось. Дождь — наше первое приключение.

После дождя мы с Кукой взяли канистру и, выйдя на шоссе, стрельнули бензин у водителя самосвала. Потом вся наша команда забралась в «Бармалей», я запустил двигатель, и мы двинули вниз по Москве-реке.

Общий вид катера выглядел так: Котел с Кукой стояли за штурвалом, я сидел у мотора, женщины лежали в каюте: Галина читала, Наталья разгадывала кроссворд, Валентина вязала... По берегам тянулись деревни, перелески, стада коров. К вечеру прошли шлюз и остановились у берега, где за деревьями виднелась поляна. Среди деревьев мелькали шумные стайки птиц, а на поляне росло множество цветов — оттуда веял пахучий ветерок.

— Какая чудесность! — проговорила Наталья. — Лучшего места нельзя и желать.

— Неслабая стоянка! — Кука восхищенно присвистнул.

— Лес страшный — похоже, в нем бродят привидения, — скривила рот Галина. — И пляж не вызывает положительных эмоций.

— Вон плавает тина, — поддержала ее Валентина. — И там комары вьются. Целая туча. Здесь от сырости ноги опухнут.

— Нечистая вода полезна — активизируются защитные силы организма, — бросил Кука.

— Ну что вы, девушки, взгрустнули? — Котел обнял жену и Валентину. — Сейчас приготовим вкуснейший ужин, врубим классную музыку и устроим танцы у костра.

— Мы здесь только переночуем, а завтра нас ждут отличные пляжи на Оке, — заключил я и приказал выгружаться.

Пока мы с Котлом ставили палатки, Кука развел костер и сделал лавки-наседы. Наши жены переоделись в вечерние одежды, причем моя вышла из палатки в каком-то ворохе тряпья, из которого торчал один нос, «укуталась от комаров», объяснила. Галина надела спортивный костюм, сделала пробежку вокруг костра и громко спросила:

— Кто будет готовить? Валь, ты? Ведь ты на пляже ничего не делала.

— Я плохо себя чувствую, — поежилась моя благоверная.

— Здесь полно грибов! — крикнула из-под крайней елки Наталья.

Подбежав к костру, она положила на траву несколько лисичек и снова ринулась в ельник. Кука схватил корзину и тоже исчез за деревьями.

Галина хмыкнула и обратилась к Котлу:

— Валерчик! Бери ракетки, покидаем волан.

— Сейчас, — произнес Котел, спустился к реке, набрал в котелок воды и повесил над костром. — Чайник, приготовь что-нибудь, а мы пока разомнемся.

Чтобы не накалять атмосферу, я промолчал.

— Насыпь в воду марганец, — посоветовала Валентина. — А то еще отравимся.

Взглянув на жену, на ее шляпу, с которой она не расставалась и в которой, похоже, собиралась спать, я вздохнул:

— Да, весело начинается путешествие.

Когда вода закипела, вернулись Наталья с Кукой. Наталья принялась за ужин, а Кука стал нанизывать грибы на нитки и развешивать у огня.

Наигравшись в бадминтон, Котел с Галиной, весело перекликаясь, совершили небольшой заплыв, потом долго обтирались, одевались и наконец, включив магнитофон, подошли к костру.

Уплетая ужин, Котел то и дело подмигивал мне и вовсю расхваливал сытную еду Натальи:

— Очень умело ты, Натали, готовишь на костре! В тебе сноровка путешественницы. И бусы у тебя красивые. В некотором смысле.

Он всегда хвалил женские украшения, и женщины сияли от удовольствия, не понимали, дурахи, что подобные комплименты — фальшивая штука. И Наталья, ясное дело, не исключение. Она вся зарделась. Предложила женщи-

нам готовить поочередно, ввести овощные дни и разгрузочные, то есть пить один чай.

— Противно слушать, — подтолкнула меня Валентина. — Только и говорит о еде.

Котел уловил реплику моей жены и прозрачно намекнул Валентине, что и она могла бы выступить в роли поварахи, и тут же, хитрый лис, стал выспрашивать о ее шмотках. Валентина оживилась, подседа к нему, начала что-то объяснять — от ее озноба не осталось и следа. Они беседовали прямо как две подружки, честное слово. Не подумайте, что я ревновал, ни в коем случае. Я был, как всегда, спокоен, а вот Галина вышла из себя:

— Если бы ты был так внимателен к собственной жене! — зло проговорила она и ушла в свою палатку.

Котел стусевался и заспешил за ней.

Когда костер стал затухать, мы тоже разбрелись по палаткам. Укладываясь, Валентина что-то бормотала про жен моих друзей, одну называла «кухаркой», другую — «истеричкой», ворчала, что спать на жестком — только уродовать фигуру; просила меня встать пораньше, вскипятить ей воду, потому что умываться в реке она не собиралась; потом ей захотелось «стаканчик прохладного шипящего лимонада»...

Когда мы с Валентиной проснулись, Наталья уже готовила завтрак, а Кука собирал в пакеты высохшие у костра грибы. Пока мы одевались, Галина в своей палатке затянула песню и Котел стал ей подпевать. А я подумал: «Наверно, Галина поет чаще, чем моя жена».

После завтрака то к Куке, то к Котлу стали подходить наши жены и нашептывать, как вы догадываетесь, свои обиды. Кука отмахнулся от женщин, взял удочку и спустился к реке. Котел сделал вид, что слушает, с серьезным видом кивал и хмурился, но украдкой включил магнитофон и сосредоточился на музыке. Потом сослался на колики в животе, взял надувной матрац и заспешил к Куке.

Тогда женщины кинулись ко мне. Первой подскочила Наталья и, чуть не плача, заявила:

— Мне надоело все делать за них. Скажи им, чтобы они тоже готовили. Я вся прокоптела у костра, а они... Одна только ракеткой машет да книжки почитывает, да еще Саше глазки строит. А твоя Валька только загорает, красится да купальниками выпендривается.

— Она еще не сориентировалась, — пытался я оправдать жену.

Потом меня подловила Галина и с некоторым вызовом сказала:

— Не думала, что твоя Валька такая нахалка. Только задницей вертит и пристаёт к чужим мужчинам. Тоже мне стройняшка! И Наташка хороша гусыня! Одна жратва на уме. Посудомойка несчастная! Никаких интеллектуальных бесед! С ними отупить можно.

— Все будет, все будет, — в замешательстве успокоил я разгоряченную супругу Котла.

Последней подошла Валентина.

— Ты не знаешь, почему Галька на меня косится? И Наташка что-то дуется... Какие-то противные обе. И чего я с вами поехала?!

Я поморщился, меня уже стали раздражать наши туристочки, их бабские сплетни. Посмотрев вниз на берег, я увидел, что мои друзья преспокойно покуривают на матраце. Я спустился к ним и вздохнул:

— Говорил вам, не стоит их брать.

— А ты не лезь в их дела. Сами разберутся, — посоветовал Кука. — Посмотри лучше, какая вокруг красотища.

— Давайте собираться, да поплыли дальше, — сказал я.

— Успеем, — протянул Котел. — Куда торопиться? Давай ложись, послушаем музыку, поговорим о возвышенном.

Я прилег, стал смотреть на травы, в которых по своим делам спешили жуки и ящерики; у самой воды пробежала трясогузка с пучком травы в клюве — всюду шла своя



жизнь. Шурша крыльями, размашисто пересек берег ворон — по травам пробежала тень, и сразу копошение в травах затихло. «Все постоянно начеку, — подумал я. — Кругом: на земле, в воздухе, в воде — идет ежеминутная борьба за жизнь, за жизненное пространство. И надо же, у людей тоже. И что не могут поделить?» Вы, ребята, когда-нибудь задумывались над этим?

Как бы подтверждая мои мысли, на поляне раздался визг и крики. Мы повскакали с мест, подумали, что медведь напал на наших красавиц, но, поднявшись, увидели заключительную стадию распада женского коллектива: между нашими женами происходила настоящая потасовка: Галина топтала шляпу моей жены, а Валентина вцепилась в кофту жены Котла, и на обеих половником замахивалась Наталья. Все три оскорбляли друг друга и напоминали сумасшедших, которых раньше времени выписали из больницы.

— Послушайте, что говорит эта дрянь! — срывающимся голосом обратилась к нам Валентина, когда мы их разняли. — Что я иду за Валерием, когда он идет за водой! Какая наглость! За кого она меня принимает?! Видеть ее не могу! Сейчас же уеду! — с глазами полными слез Валентина бросилась в палатку и судорожно начала собирать вещи.

— Сделай одолжение, гадючка! — вскрикнула Галина и, недовольно сопя, добавила: — Вертихвостка с тонким силуэтом! Мизинца моего не стоит, а еще что-то корчит из себя.

— Проводи меня на электричку! — резким тоном сказала мне жена, когда я влез под наше брезентовое укрытие.

Мое сердце заколотилось чуть сильнее, чем обычно, но я не стал отговаривать жену, втайне даже обрадовался, что больше не буду выслушивать ее причитания.

— Черт меня дернул поехать с вами, — слишком воодушевленно сказала Валентина по пути к станции. — Эта

идиотка! Хамка! И как Валерий с ней живет?! Распустил ее не знаю до чего... А Наташка халда... И эти палатки, и кастрюли грязные, и комары. Только придурки тратят отпуск на реке. Очень надо нюхать бензин! Поеду лучше в Прибалтику, к морю.

Когда я возвращался со станции, яркий день был в самом разгаре, и настроение у меня стало как нельзя лучше.

Котел с Кукой уже демонтировали лагерь и погрузили вещи в катер. Недолго думая мы отчалили. Поредевшая часть нашей женской команды снова устроилась в каюте, но пребывала в тягостном молчании. Галина уже ничего не читала, на ее лице играла едкая усмешка. Наталья забросила кроссворды и туповато смотрела в пустоту. Прошло всего полчаса, как из каюты донеслось:

— Ты ничего не понимаешь! Несешь дребедень!

— Нет, это ты ничего не понимаешь!

Наконец в кокпит выскочила красная от возбуждения Галина и, указывая на появившуюся впереди пристань, заявила:

— Высадите меня там. Я вспомнила, в Тарусе отдыхают мои знакомые. Поеду к ним. Там интеллигентное общество, музыканты, писатели. А здесь я зачахну.

Котел попытался свести к шутке разрушительный настрой жены, но она его грубо оборвала:

— Не могу общаться с этой тупицей!

Кука обиделся за жену, засопел и перешел на нос катера.

— Неотесанный губошлеп! — бросила ему вслед Галина, и я замер, дожидаясь своей очереди, но Котел опередил события:

— Правильно, дорогая. В Тарусе гораздо интереснее. В смысле общества, — и, усиливая свою позицию, добавил: — Там духовной пищи в изобилии. Чайник, рули к причалу!

Речной трамвай «Заря» шел в сторону Оки только через час, и все это время Котел с Галиной покуривали на приста-

ни и как ни в чем не бывало слушали магнитофон. А когда «Заря» подошла, Котел невероятно тепло, даже сердечно попрощался с женой и развеселый вернулся к нам.

— Ну вот, еще одну красавицу пристроили, — облегченно вздохнул он и выразительно посмотрел на Наталью, давая понять, что теперь дело за ней.

Мы поплыли дальше. Теперь ругаться было не с кем и сидеть одной в каюте Наталье стало невыносимо скучно; она вышла к нам в кокпит, присела на борт и тоскливо осмотрела берега. А там в этот момент тянулись ряды картошки, посадки капусты и свеклы.

— А на даче уже помидоры поспели, — обращаясь к мужу, произнесла Наталья, но Кука промолчал.

— И яблоки вот-вот начнут осыпаться, — заладила Наталья. — Из них хорошее варенье получается... А цветов сейчас в палисаднике — прямо с ума можно сойти...

Она вспотела от волнения и хотела еще что-то сказать, но не могла придумать, что именно. Ей на помощь зашепшил Котел:

— И собаки по тебе скучают. Просто изнывают.

— Ну я не знаю, милая, — наконец проговорил Кука. — Если хочешь... Вон шоссе, можно поймать машину до города.

— Ага, — вздохнула Наталья и полезла собирать вещи.

Вот так в первый же день все и произошло. Смешно, верно?

Потом мы пристали к берегу, Кука с Натальей пошли в сторону шоссе, а мы с Котлом легли в тени под деревьями... Около берега проплыли на байдарке туристы: мужчина с женщиной и собачонка. Увидев нас, байдарочники помахали руками... По фарватеру на моторных лодках пронеслась шумная компания; молодые люди пялили глаза на наш «Бармалей» и смеялись. Потом из-за поворота показался плот (дощатый настил на баллонах от грузовика). На плоту стояла полиэтиленовая палатка, внутри нее

на раскладушке читал газету старичок, а на корме в плетеном кресле восседала старушка — правила веслом. Проплывая мимо нас, старушка улыбнулась и кивнула, как единомышленникам.

— Вот я думаю, общение с людьми — самая большая ценность в жизни, — прочувствованно сказал Котел. — Но что важнее: любовь или дружба, как ты считаешь?

— Дружба. В дружбе больше искренности и сердечности.

— Точно. Любовь ведь бывает и без взаимности, а дружба без взаимности не бывает. К тому же любовь кончается. В смысле — проходит. А настоящая дружба — это до конца.

Кука вернулся в приподнятом настроении:

— Ну вот, теперь неслабо поплаваем, — потирая руки, он растянул рот до ушей. — Поймаем настоящий кайф.

— Да-а, — протянул Котел, — я всегда считал: чтобы от души повеселиться, вначале надо погрустить, ну то есть, пока не помучаешься, на душе не посветлеет.

А я вдруг вспомнил — что бы вы думали? Ну напрягитесь, ребята!.. Именно! Наше первое путешествие, и ту злополучную ссору, и последующее примирение, и подумал, что наши жены могут одуматься, захотят помириться и еще, чего доброго, вернуться на «Бармалей». Поэтому я отдал команду плыть без остановки до Волги.

Кука предложил гнать еще дальше — до Черного моря, а Котел заявил, что мы вообще могли бы отправиться в кругосветное плавание и вернуться в семьи через год.

Здесь остановлюсь. Надо было это раньше сделать — после нашего первого путешествия, ведь то плавание на плоту не идет ни в какое сравнение с этим на катере. Так что всего вам хорошего!

# ОГЛЯНИСЬ...

*Памяти моего отца  
Сергеева Анатолия Владимировича*

## 1

На станции Правда было два неба: одно над головой, другое под ногами — там столько росло колокольчиков, что рябило в глазах от синевы. А какой там был воздух! С запахами цветов, и свежескошенной травы, и зеленых бархатных мхов, и выбитых троп, и древесины, и овощей с огородов... А то утреннее солнце! Вокруг поселка стеной стоял лес, но мы просыпались от солнца. Оно горячими струями просачивалось сквозь ветви, просеивалось сквозь листву и, затопив весь лес, водопадом обрушивалось на поселок. Оно пробило стекла, золотило мебель, наливало свет в корыта и ведра. В памяти подмосковная станция Правда — бесконечное лето, сплошные желтые дни, беспечные, емкие, насыщенные жизнью. С той станции идет отсчет моего времени.

Я часто вижу отца и мать: они, точно дети, на корточках играют под новогодней елкой, перебирают елочные игрушки, показывают их друг другу, шушукаются, хихикают... Оттуда, с неба, здесь, на земле, все кажется играми: белые — красные, левые — правые, и у тех и других свои идолы, знамена, значки — копошатся люди на шарике, все не могут что-то поделить, найти места для счастья; и вечно у них, неутомонных, зависть, раздоры, обиды. На небесах легко потешаться над житейской всячиной, а попробуй здесь...

Вот стоят передо мной: кустарник в блестящих паутине... ручей, полный гладких камней, песчинок и ракушек... стеб-

ли, розетки и чашки цветов... и среди плывучего зыбкого разнотравья — лица матери и отца. Все застыло: птицы в воздухе, мальки в ручье, не колышутся травы и шиповник перед домом... Отец в нарукавниках склонился над чертежами, во рту папироса, повисла спираль дыма, в руке карандаш, отточенный «лопаткой». А мать, русоволосая, голубоглазая, смеется, запрокинув голову, звонким, чарующим смехом, смеется долго, до слез... От ее смеха сотрясался воздух, дребезжали стекла окон и посуда в шкафу, и было в этом веселье какое-то неприкрытое осмеяние повседневной суеты. Все так и замерло: взметнувшиеся волосы, белозубый рот, завихрения воздуха...

Ни отца, ни мать не помню без дела. Отец по утрам, перед тем как ехать на завод, окучивал и поливал овощи в огороде, а по вечерам работал за «домашним кульманом» (чертежной доской на стопке книг). Он работал даже во сне — бывало, ночью вставал и что-то зарисовывал, записывал... Руки матери всегда были горячими или влажными: то, смахивая капли пота, она колготилась у плиты, у брызжущей маслом сковороды, то стирала белье в корыте, сдувая волосы, падающие на лоб, и всегда пела — негромко, для себя... Ее пение смолкало, только когда она делала форматки на отцовских чертежах или печатала на пишущей машинке...

И отец и мать уже давно в другом мире. Только и осталось от них — отцовские очки, круглые, с перевязанной дужкой, да простая брошь матери. Родителей я, грешник, и «Там» не встречу; отец был слишком честен и простодушен для своего времени, а мать, по всеобщему признанию, — почти святой.

Отец работал инженером на авиационном заводе. Мать за свою жизнь перебрала множество профессий: во время войны работала на хлебозаводе, в столовой, чертежницей, позднее — проводницей поездов, машинисткой-стенографисткой, киоскером... Я нарочно вначале о них. Ведь, в сущности, все мы листья одного дерева, звенья в цепи наложений сотен тканей; нам передаются эстафетные палочки

наследственности, прошедшие не одну сотню лет. Короче, всякое настоящее — продолжение прошлого.

До войны мы жили в многонаселенной коммуналке у «Красных ворот», но летом сорокового года на станции Правда авиационный завод построил двустенные засыпные дома, которые предложили живущим в стесненных условиях. Отец не раздумывая согласился, посчитав, что ему удивительно повезло, хотя ясно: пятнадцатиметровая комната за сорок километров от города не лучше десятиметровой в районе Садового кольца.

В поселке все спали на открытом воздухе, на сеновалах и чердаках, а мы укладывались в саду — стелили матрасы на траве перед домом и, засыпая в душистой траве, смотрели на падающие звезды, слушали стрекотание кузнечиков, кукушку в лесу, голоса в ближней деревне и гудки вечерних поездов. А просыпались от солнца, под высокими клубящимися облаками, когда уже всю заливались птицы и пес Шарик лаял в уши, стаскивал с нас одеяла... Родителей уже не было. Отец утренней электричкой уезжал на работу в Москву, мать — в Пушкино в магазин и на рынок.

...Так получилось, но только в раннем детстве я просыпался от птичьих голосов; в дальнейшем — от грохота поездов, скрежета и лязга трамваев, а теперь — от болей и тревожных снов.

Нам с сестрой повезло — мы были предоставлены самим себе... Увязистая бузина, липкий желтый сок, красно-зеленые овощи на грядках, высокие спутанные травы, горячий пышный слой пыли на дороге, шпанские мухи с металлическим блеском, шмели, гусеницы, стрекозы... и бахрома тины в канавах, и серебристые жуки, разбегающиеся из-под камней, точно шарики ртути, — вот что нас окружало. Мы ловили марлей мальков в запруде, срывали бело-розовые граммофоны вьюна и пускали их, как маленькие парашюты... А на опушке, под раскаленными соснами, среди жаркой хвои собирали землянику, ловили ежей. И подкарм-

ливали белок, бегавших прямо у домов, и возились с собаками и кошками — устраивали бесхитростные игры, и, как все земные существа, через игру познавали мир.

По утрам из деревни Тишково приходила молочница Аграфена, приносила холодное молоко в бидоне и горячий круглый хлеб. Как-то зашел муж молочницы дядя Вася.

— Вот что, Анатолий, тебе скажу, — начал он громовым голосом. — Я, пожалуй, твоих детей, этих белоручек, приобщу к труду. Не возражаешь? — подмигнул отцу, посмотрел на нас с сестрой, преувеличенно строго нахмурился.

— Нет, конечно, — отозвался отец. — Пусть немного поработают.

— Ну и добро! Завтра утречком за ними Гришка и забежит. Я их, благородных, с тонкими пальцами, к труду приучу! — дядя Вася погладил сестру по голове, меня шлепнул по плечу, отцу вновь подмигнул.

Дядя Вася сделал нам грабли по росту, и вместе с его сыновьями, нашими сверстниками, мы ходили в луга. Первую половину дня ворошили скошенную траву, чтобы лучше просыхала, после обеда сгребали сено в валки. Было жарко, и ноги кололи ломкие, пересохшие стебли, грабли зарывались в землю или пролетали мимо травы по воздуху; все чаще то сестра, то я садились на землю и отдыхали. Дядя Вася посмеивался:

— Притомились с непривычки. Ничего! Я вас, благородных, с тонкими пальцами...

Его сыновья сгребали сено как заведенные. Стоило кому-нибудь из них остановиться и смахнуть пот, тут же слышался громовой голос:

— Не отлынивай, Гришка!

— Ну и лоботряс ты, Митька!

— Хватит бездельничать, Петька!

За ужином дядя Вася хвалил нас с сестрой, особенно сестру (он давно хотел иметь дочку); похвалив нас, распекал сыновей:



— Вот лодыри так лодыри. Только б им груши сбивать! — и дальше, в форме воспитательной лекции, говорил о пользе крестьянского труда.

После ужина дядя Вася отвозил нас на телеге в поселок. Первые дни мы валились с ног от усталости, болела сожженная солнцем кожа и ныли ссадины; постепенно привыкли — сами вскакивали чуть свет. Напьемся молока с хлебом — и в луга.

Вскоре у дяди Васи и Аграфены все-таки появилась дочка. В то время девчонка выглядела некрасивой, пучеглазой, но родители не могли на нее нарадоваться; когда она возвращалась из школы, встречали с букетом цветов и называли «наша красавица».

Аграфена плела потрясающие кружевные покрывала на подушки — крючком из простых белых ниток вязала накидки легкой витиеватой вязи. Мать и другие женщины в поселке покупали ее шедевры. Позднее, в эвакуации, за эти покрывала мать получила в деревне целый рюкзак продуктов.

По воскресеньям приезжали родственники (с бутылками вина, закусками и конфетами «Раковые шейки» для нас, детей). Мать пекла пироги, складывала в корзину, отец взваливал на плечи самовар, брали патефон, гитару и отправлялись на озера в Тишково. Располагались на пропитанной солнцем поляне, шишками разжигали самовар... На природе все было вкуснее: примешивались запахи леса и озера... Купались, слушали пластинки, играли на гитаре, пели песни Козина, Лещенко, Вертинского, Руслановой.

Мой дед, высоченный здоровяк, выпьет, но не захмелеет, не обмякнет, не развалится, только покраснеет немного. Откинется — огромный, плечи развернуты, в холщовой рубахе — наберет воздух в широкую вместительную грудь: — Ну-с, кого побороть?

Он не мог без борьбы. Вся его жизнь была борьбой. За лучшую долю семье, за справедливость... Обхватит моего

отца, поднимет в воздух и плюхнет на землю, потом перекидает своих сыновей:

— Слабаки! Что с вас взять-то?! — тихо выругается, перекрестится и попросит прощения у Бога.

Дед работал «почтарем»: начинал с почтальона, закончил начальником почты. Бабка всю жизнь проработала ткачихой на фабрике «Красная Роза». Оба верили в Бога и постоянно твердили матери, что меня с сестрой надо окрестить. Дед считал, что религия воспитывает совесть, зовет к добру, изначально человеческим ценностям, что это не только вера, но и свод правил поведения и что вообще нация без религии — безнравственный народ.

В начале войны дед послал письмо брату в Белоруссию, что «в Москве с продуктами плохо», после чего его вызвали на Лубянку и продержали два месяца. Он вернулся весь седой, собрал родню, выкинул иконы и публично отрекся от Бога.

Чаще всех на Правду приезжал друг отца инженер дядя Ваня, весельчак, остроумный насмешник. Он не входил в наш дом, а врывался, пропахший хвоей, листвой или дождем, загорелый и улыбающийся, стриженный бобриком и непременно с цветком в кармане рубашки.

— Привет осажденным семейными заботами! — кричал с порога. — А у меня нет ни жены, ни дома, зато полно приключений. У одиноких всегда полно приключений!..

И он рассказывал какое-нибудь происшествие, которое произошло с ним накануне или прямо сейчас по пути от станции... А потом самым серьезнейшим образом рассматривал мои рисунки, делал замечания, обозначал то, что я «просто обязан нарисовать», особо упирая на «живописные предметы» в поселке. В воскресенье с утра я всматривался в дорогу, а увидев дядю Ваню, мчал навстречу. И он ко мне спешил, махал рукой, кричал приветствие. Мы налетали друг на друга и обнимались. И возвращались к станции и пили до икоты газировку.

— Еще по стаканчику! — смеялся дядя Ваня. — Гулять так гулять! Но, бесспорно, здесь надо знать меру. Художнику на полный желудок скверно работается.

Как-то я нарисовал террасу, бочоночный круг, метлу из ореховых прутьев — больше не знаю, что рисовать.

— А что будет, когда вырасту? — поделился с дядей Ваней. — Все уже нарисуют, и мне ничего не останется.

— Ты что говоришь?! Ну пусть нарисуют ваши дома, дорогу, электричку... Как бы охватят эти темы. А цветы чьи? А леса?! Забирай все! И небо в придачу. И рисуй! И пусть другие рисуют. Не жадничай, на тебя это совсем не похоже! Всем всего хватит, тут и говорить нечего...

«В самом деле, хватит, — думал я позднее, вспоминая дядю Ваню, — ведь каждый открывает мир заново и видит его по-своему, по-новому, вбирает в себя то, что ему близко по наклонностям. И природа ни в чем не повторяется, каждая травинка отличается от другой, каждый цветок, каждая пчела».

Только однажды дядя Ваня меня расстроил. Уже ползли слухи о войне, и, проявляя жгучее беспокойство, я привел в боевую готовность деревянное оружие, наделал глиняных гранат.

— Дядь Вань! А правда война будет?

— Если будет, я сразу удочки в охапку и в тайгу. Пережду заваруху где-нибудь у реки... А то еще кокнут, — он надул щеки и запыхтел, как бы раздувая свой позор.

Эх, дядька Ванька! Сильно я тебя ненавидел в те минуты! И презирал, называя трусом, а ты нарочито серьезно оправдывался, ссылаясь на болезни, изображал хромоту... Где ж мне было знать, что ты одним из первых, не дожидаясь повестки, придешь в военкомат, и уедешь на фронт, и в первые же дни войны сгоришь в танке где-то между Полоцком и Минском... Первая моя боль! Первая отметина на мальчишеском сердце... А сколько болей у отца? Сколько его друзей ушло на фронт, и ни один не вернулся!

Странно, дальнейшее, после Правды, — эвакуация и окраина Казани — для меня — заброшенности, картины за пыльным стеклом... чтобы их рассмотреть, я стираю пыль, всматриваюсь, но они все равно год от года тускнеют, искажаются, покрываются защитной пленкой, непроницаемым занавесом, только станция Правда смотрится целостно и емко — тот короткий ослепительно радужный мир детства. Те дни — словно прохладная родниковая вода, которой никак не напьешься.

## 2

Для меня война началась, когда мы играли посреди поселка и внезапно в небе появились самолеты с крестами; один завалился на крыло, вошел в пике, послышался нарастающий гул. Самолет низко пролетел над поселком и дал очередь из пулемета. Помню, в те дни в воздухе все время чувствовалась тревога: тревожно шумели деревья, и тревожно кричали птицы, тревожно сигналили поезда; в смятении люди собирали пожитки, и спешили к платформе, и чуть ли не дрались за возможность поставить ногу на подножку...

В поселок приехали грузовики. Первую машину перехватили Смеяцкие «за дополнительную плату» шоферу; погрузились и укатили, ни с кем не попрощавшись. Смеяцкие жили по ту сторону шлаковой дороги в доме лесника. Глава семьи, по прозвищу Денежный Мешок (он копил серебро «на черный день»), работал на заводе снабженцем. Его жена и дети с утра до вечера собирали в лесу грибы, ягоды, орехи.

— Одних грибов продали десять ведер, — хвасталась Смеяцкая.

Они были хозяйственные, бережливые, у них ничего не пропадало — все шло в дело. Дети Смеяцких бегали к поездам — продавали колокольчики.

В тот же день прибыли еще две машины. В одну из них мы покидали наспех связанные вещи, мать с сестрой забралась в кабину, отец, я и Шарик — в кузов, и машина покатила в сторону Москвы. По пути шофер завернул в детский сад, и к нам в кузов посадили ребят с воспитательницей. У ребят на руках были бирки с фамилиями и адресами на случай, если потеряются.

В Москве остановились у деда с бабкой на Чудовке. Бабка начала распределять, кому что взять в эвакуацию, дед посмеивался:

— Все надо оставить в квартире. Война больше месяца не продлится. Наши в этой борьбе быстро победят.

— Да будет тебе! — вспыхивала бабка и сразу снимала портрет деда со стены. (Она во время ссоры всегда убирала его портрет в шкаф; потом помиряется — снова ставит на видное место.)

Но скоро дед перестал усмехаться. Объявили, чтобы все сдали радиоприемники и замаскировали окна. На Крымской площади появились металлические ежи и зенитный расчет, над домами повисли воздушные заграждения, к магазинам потянулись длинные очереди — горожане запасали продукты, соль, мыло, спички... Теперь во дворе мы с сестрой собирали осколки бомб-зажигалок и, подражая взрослым, «тушили» их в ящике с песком...

От тех дней остались одни запахи. Запах бабкиных цветов в горшках, которые до войны мы с ней выносили под дождь, запах фарфоровой собаки, причудливого коврика, и выцветшего одеяла, и подушек из перьев (в эвакуации спали на ватных), запах тряпья и истлевших книг в изломанной корзине на черном ходу, запах бомбоубежища и метро, куда бегали во время налетов на город, запах щей из крапивы, которую собирали на Воробьевых горах.

Началась эвакуация. На вокзале была давка. Плакали женщины, кричали дети. Отец отыскал наш товарняк с вагонами-телятниками. Нам досталась верхняя полка —

грубо сколоченные доски. Втиснули тюк с бельем, чемодан, саквояж, рюкзак, небольшой ящик из оцинкованного железа, меж них примостились сестра с куклой и я с Шариком. В вагоне уже разместилось несколько семей, в том числе Смеяцкие.

...Состав дернулся, загромыхал и, спотыкаясь о стрелки, покатил с привокзального полотна. Не успели выехать за город, как послышались взрывы бомб; вагон задрожал, заскрипели тормоза, состав встал, раздалась команда — «Выгружаться!». Спрыгнув на шпалы, мы увидели, что два головных вагона горят, а в небе к горизонту уходят немецкие самолеты. Отец побежал к месту пожара. Около часа тушили огонь, но пропитанные мазутом доски разгорались все сильнее. В конце концов вагоны, объятые пламенем, паровик оттащил на запасной путь, и вскоре от них остались одни тлеющие остовы. Потом оказывали помощь пострадавшим и распределяли «погорельцев» по другим вагонам. Вернувшись, отец сообщил, что в одном из вагонов разместился детский сад, с которым мы ехали в грузовике, а в другом — вывозят часть зверей зоопарка; после бомбежки несколько клеток открылось, и звери разбежались, но недалеко, в ближние кусты. Переждали налет, снова поползли к вагонам. Наверное, отец это рассказал, чтобы немного приободрить нас с сестрой, но, может, так оно и было.

Наш товарняк тянулся медленно, подолгу стоял на узловых станциях, бункер паровика загружался углем, в цистерну заливали воду из водокачки, прицепляли вагоны, сажали беженцев. Больше не бомбили. В проеме двери виднелись лесные массивы, луга со стогами сена, унылые деревни. Иногда по несколько дней простаивали на запасных путях, пропускали воинские эшелоны, спешившие на запад. Из вагонов солдаты махали нам и кричали, что вернутся с победой. Молодые пареньки, совсем мальчишки, смеялись и пели песни.

Спустя много лет я смотрел телевизор в Доме журналистов, рядом покуривал гардеробщик-фронтвик, хороший такой старикан. Показывали военную хронику: солдаты возвращались с Победой.

— А из нашей деревни двадцать шесть ребят призвали в армию, а вернулись лишь двое, — сказал старик. — Я да еще один парень, оба покалеченные.

Когда я вижу военные ленты, передо мной всегда встает проем двери товарного вагона и веселые лица пареньков. И тут же необъяснимо сокращается временное пространство, и за вагоном встают голые стволы лип, которые я увидел позднее в эвакуации, — град сбил листву деревьев, и они погибли.

В нашем вагоне за всю поездку никто не смеялся, не спел ни одной песни. Днем, когда товарняк стоял на каком-нибудь разъезде, мы собирали щепу для печурки-буржуйки, которая занимала середину вагона и, когда ее топили, раскалялась докрасна. Отцы приносили кипяток, искали грибы на опушках, ловили раков в ближайших прудах, матери ходили в деревни менять одежду на продукты. По вечерам у буржуйки женщины молчаливо готовили скудные ужины, мужчины угрюмо курили махорку.

Через месяц товарняк встал под Казанью на разъезде Аметьево. На разъезде было тихо; тянулись заросшие травой ржавые рельсы и сгнившие шпалы, на бугре стояли станционные постройки, чуть дальше — будка стрелочника, за ней — овраги с красно-бурой глиной и деревня, за которой виднелся город.

Вначале нас привезли в какой-то клуб и каждой семье отгородили закуток простынями на веревках, но вскоре переселили в общежитие на Клыковке, окраинной улице, где росли кряжистые тополя, тянулись канавы с мутной водой, а частные дома вместо заборов огораживал колючий кустарник... Сколько я помню, нашу улицу всегда заполняла глубокая грязь; только с первыми мо-

розами грязь костенела, а канавы затягивались хрупким ледком.

Я вспоминаю двор своего детства — место, объединяющее всех независимо от национальности и положения: обшарпанные дома, пожарные лестницы, крапиву, чертополох, громкоговоритель на столбе, и лавки, где обсуждались последние новости, и непременно музыкальное оформление — патефон с довоенными пластинками, и площадку «пятак», на которой мы допоздна гоняли «мяч» — ушанку, набитую бумагой. Ничем не примечательный клочок земли, в душные летние вечера пропитанный запахами керосина и копоти, но в памяти — просторный двор со свободной циркуляцией воздуха, где солнце светит в окна, наполняя комнаты жаром, превращая клоповники в приличное жилье. В памяти — добрососедство, душевность, взаимовыручка — все то, что теперь в новых микрорайонах исчезло навсегда. Мое поколение прекрасно знает воспитательную силу двора, а усвоенная с детства определенная уличная дипломатия помогла нам в дальнейшей жизни.

### 3

Рассматривая пожелтевшие дымчатые картины, приближая детство, я вновь перешагиваю пороги возраста, событий, воскрешаю людей, с которыми когда-то свела судьба.

Юсупка Абдуллин, мой Абдулла! Умница Алик, общение с которым действовало на нас облагораживающе! И Баба Яга, старуха, похожая на греческую богиню! Со временем многое безвозвратно уходит из нашей жизни, но их помню до сих пор. Настоящее быстро превращается в прошедшее, но оно еще не прошлое, поскольку не отстоялось, в нем еще много случайных, несущественных дета-



лей. Только с годами остается главное как свидетельство своего времени.

Юсуп был загорелый, с узкими раскосыми глазами, над которыми торчала жесткая челка.

— Из Москвы, что ли? Эвакуированный? — небрежно бросил он и сразу ввел меня в курс местных достопримечательностей. — За общагой подземный ход. Вон в тот замок тянется.

Возбуждая во мне жгучий интерес, Юсуп показал на развалины за полем чечевицы.

— А в речке черт живет. Пойдешь по берегу — за тень схватит и затащит в глубину... А в замке по ночам привидения бродят... В конце улицы живет гадалка. Все точно гадает. И лечит здорово. Болит у тебя сердце — дает цветок, у которого листья сердечком. Болит желудок — дает круглые травы. Говорит, Бог все предвидел... А еще по улицам ходит Баба Яга. У нее дурной глаз. На тополь взглянет — тополь сохнет... Ей на глаза лучше не попадайся: вмиг болезнь схватишь или змея укусит.

На Клыковке появилось несколько семей из Ленинграда, все мальчишки худые, молчаливые. Один из них — Алик — рассказал, как однажды они с матерью голодали целую неделю, а потом он полез в шкаф и обнаружил сумку сухарей — их сдавали до войны молочнице, а про те забыли. Алик был начитанным, знал множество историй про мореплавателей, и кто-то из ребят сразу предложил ему быть вождем нашей ватаги, но вперед выступил Юсуп:

— Главарем должен быть тот, кто знает все на Клыковке!

— А я думаю — кто ответит на все наши вопросы, — сказал Алик.

Юсуп поморщился, надулся, его узкие глаза совсем исчезли. Алик отошел в сторону. Я уж подумал — начнется драка, но они вдруг одновременно вспомнили обо мне:

— Давай ты скажи, как будем выбирать.

Я посмотрел на худых ленинградцев и, пытаясь скрыть очевидную хитрость, сказал, с невероятным напором чувств:

— Кто всех поборет (дед кое-чему научил меня).

Ребята согласились; я быстро перекидал всех мальчишек и начал бороться с Юсупом. Мускулистого напористого Юсупа не так-то легко было припечатать к земле, пришлось попотеть; но в какой-то момент я все же провел фирменный прием деда, и Юсуп рухнул на спину. Ребята забросали меня травой и дали клятву верности. Так я и получил огромную власть. Через некоторое время ребята пожалели, что выбрали вождя таким образом, но было уже поздно — мы успели наломать дров.

И все-таки нашим истинным главарем оставался Юсуп — он был как бы генералом, временно находящимся не у дел. В тот день Юсуп показал нам поле чечевицы и шалаш сторожихи, пересыхающую речку Блу с зарослями тростника и перекатом в кружевах пены. Когда прошли деревянные мостки, Юсуп кивнул на забор, из-за которого пахло горячим медом; сквозь щели виднелись дикие розы.

— Брошенный сад. Раньше здесь жил хан. Вон его замок...

Посреди сада возвышалось сооружение с башнями и тяжелыми чугунными воротами, правда, время уже наложило свой отпечаток: стены потрескались и разрушились, башни покосились, осели, от ворот осталась часть решетки — короче, замок стоял только в вашем воображении, на самом же деле вдали виднелась груда диковинных развалин.

— К замку ведет подземный ход, — сказал Юсуп и хотел еще что-то добавить, но я остановил его, как бы напоминая, что он слишком разговорился — забыл, кто главный в клане.

Я решил перехватить у него инициативу и на обратном пути сорвал несколько сухих стеблей чечевицы. Сторожиха заметила и закричала:

— А ну, шалопай, отходи! Щас солью из берданки влеплю!

Стерпеть такое унижение — значило потерять уважение подчиненных, и, как атаман, я приказал вечером совершить набег на поле... Дождавшись темноты, мы подкрались к чечевице и набили карманы стручками. И на следующий день поразбойничали. Сторожиха пожаловалась матерям, и нам грозила расправа. Накануне я собрал свое войско и приказал сломать шалаш сторожихи, Юсуп сказал, что лучше удрать на несколько дней из Клыковки. Интеллигентный Алик предложил нарвать роз и подарить матерям. Приняли предложение Алика — не как разумное, а как наиболее выполнимое.

Я не верил, что цветы замолят мои грехи, но неожиданно розы так растрогали мать, что она прослезилась и только велела мне сидеть дома весь вечер. И остальные ребята легко отделались, только Юсупа мать отлупила подаренным букетом — похоже, была бессердечной.

Первое время мне казалось, будто на Клыковке и не знают о войне, ведь в этом захолустье не раздавались воздушные тревоги, не слышался гул бомбардировщиков, разрывы бомб. Но потом заметил, что после прихода почтальона то в одном, то в другом доме раздаются вопли женщин, а около гадалки по вечерам собирается очередь. И наконец однажды я понял, что и на Клыковке хорошо знают, что такое война.

В то утро под нашими окнами раздался условный сигнал — свист суслика. Я выбежал во двор и увидел запыхавшегося Юсупа.

— Бери скорей рогатку! — забормотал он. — Баба Яга идет!

Про Бабу Ягу Юсуп прожужжал нам все уши. Мы знали, что она ходит с двумя оборванными детьми, просит милостыню, но ей редко подают, потому что она из крымских татар, которые помогали немцам.

Когда мы выбежали на улицу, там уже собрался весь наш отряд. Ребята целились из рогаток в какое-то темное пятно, пылившее вдалеке по дороге. Постепенно пятно вырисовывалось и приобретало очертания старухи с палкой и двух детей. Они были одеты в лохмотья и шлепали босиком по пыли. Как только нищие поравнялись с крайним домом, из него выскочила какая-то женщина и заголосила.

— Ведьма! Чтоб тебе сдохнуть! Это ты убила моего сына!

Старуха ниже опустила голову, участила шаги. Чем дальше шли нищие, тем больше из дворов раздавалось проклятий.

— Чтоб твоим внукам быть горбатыми!

— Чтоб тебе сгореть на том свете!

Женщины кидали в старуху тухлые овощи.

Старуха приблизилась, и я смог ее рассмотреть. Она была тощая, сгорбленная, с крючковатым носом, из-под рваного платка свисали седые волосы; ее лицо было серого цвета, в сетке морщин, а взгляд усталый, безразличный. Одной рукой старуха опиралась на палку, другой держала за руку девчонку; девчонка жалась к старухе и испуганно озиралась. За старухой семенил широкоскулый мальчишка с мешком.

Как только нищие поравнялись с нами, Юсуп крикнул:

— Бей Бабу Ягу! — и выстрелил из рогатки.

Мы тоже открыли пальбу, подбадривая себя криками. Старуха прикрыла девчонку лохмотьями и зашагала быстрее. Они удалялись, и наши выстрелы уже не достигали цели. От меня, как от вождя, зависели дальнейшие действия. Я поднял камень и с криком «Огонь по Бабе Яге!» — помчал за нищими. Ребята ринулись за мной. Догнав старуху и детей, я размахнулся и бросил камень. Я не был уверен в своей меткости, но голыш попал прямо в щеку старухи. Она вскрикнула, остановилась и приложила ладонь к щеке; между пальцами потекла темная струйка. Мы замерли. Я ду-

мал: услышу яростный крик, посыпятся ругань, угрозы, но старуха только посмотрела на меня, укоризненно и долго. Тот взгляд я запомнил на всю жизнь.

Наш воинственный настрой держался весь день: в поисках подземного хода мы перекопали все впадины за общежитием, нарвали ведро чечевицы и назло черту искупались около мостков. Холодная ванна не охладила нашего пыла, и, когда Юсуп заикнулся о привидениях, я приказал ребятам расправиться и с ними.

К вечеру, сделав из прутьев шпаги, мы двинули в сторону сада. В сумерках стояла чуткая тишина: было слышно, как на перекате струится вода, а в зарослях лебеды шуршат суслики. Когда подошли к саду, взошла луна, и наши тени заскользили по забору. Я велел Юсупу сходить в разведку, но он попятился:

— Не-ет! Идти, так вместе. Одного сразу прикончат.

Я поежился, но полез первым.

Как только мы очутились в саду, стало еще темней и тише, а тут еще от терпкого запаха роз закружилась голова. Я уже хотел отказаться от рискованной затеи, но почувствовал сзади дыхание свиты, вспомнил про свои обязанности и стал осторожно раздвигать колючий кустарник. Острые шипы цепляли одежду, царапали по рукам и ногам; было очевидно — кустарник не случайное заграждение, и, понятно, он вселял дополнительный страх. Но мы все же продирались к развалинам. Когда до них осталось с десятков шагов, я вдруг наступил на что-то мягкое, и... передо мной выросла Баба Яга. Ребята завопили и бросились назад к забору, а я так одеревенел, что не успел даже вскрикнуть. Стоял, задыхаясь от ужаса, и не мог шевельнуться. Только когда старуха подняла палку и оперлась на нее, я очнулся и заревел...

Около старухи появились дети, с которыми она ходила по поселку; уткнулись в ее подол, заплакали. Старуха обняла их, что-то сказала по-татарски, и они улеглись на

тростниковые подстилки; они косились на меня, терли кулаками глаза, всхлипывали. Старуха приблизилась и вдруг молча погладила меня по голове. Потом, как бы окончательно помиловав, прижала к себе, а когда я успокоился, дала попить воды из бутылки... То ли мои глаза привыкли к темноте, то ли луна засветила ярче, только сад стал светлее, и запах цветов меньше дурманил, и тишина уже не казалась зловещей. Старуха проводила меня до мостков и тихо сказала:

— До свидания, мальчик!

Эти слова звучали в моих ушах на всем пути, пока я бежал к дому. Звучали и когда я прокрался в дом и юркнул в постель. Меня называли как угодно: пацан, шалопай, сорванец, голодранец, но никто не называл «мальчик».

С того дня со мной что-то произошло, меня стало тянуть к спокойным играм. Я по-прежнему считался вождем, но все уже было не то. Ребята чувствовали, что нужна замена, но ждали, когда я сам об этом скажу, а мне на это не позволяло решиться самолюбие. И только когда ребята стали надо мной подтрунивать, а потом и откровенно смеяться, я объявил, что больше не буду вождем.

#### 4

Точно в глубоком колодце, тонут воспоминания, хватаю за последнюю нитку, тяну назад. Только попытаюсь восстановить всю картину, тут же оттягивается, ускользает. Прошлое требует бережности. Приходится вспоминать осторожно, чтобы не вспугнуть призраки. Высвечиваю маленькую деталь, припоминаю запах и цвет, нанизываю подробности — некоторые висеают, но еще зашифрованы, другие сразу не подходят — их отбрасываю, подбираю следующие, прилаживаю, монтирую, делаю связки — размываю переводную картинку. Постепенно что-то вырисо-

ываается, полумрак светлеет, точно проявляется отпечаток со слабого негатива.

Наше общежитие представляло собой полутемную коридорную систему со множеством продуваемых насквозь комнат. В одном конце коридора находились туалет и раковины с водопроводными кранами, в другом — кухня с буржуйками, трубы-дымоходы, совки с золой. На кухне женщины готовили еду, сушили обувь, стирали, мужчины поддерживали огонь в печках, курили, обсуждали положение на фронте. Двадцать семей, двадцать чайников и кастрюль, два умывальника на всех, но жили дружно — тяготы военного времени, трудности быта сплачивали людей, делали отношения почти семейными.

На столбе перед общежитием висел громкоговоритель-«колокол», вокруг росло множество подорожников, их цветы-«солдатики» стояли как свечи на именинном пироге. По вечерам жильцы из общежития и соседних домов собирались у «колокола» слушать последние известия. Собирались задолго до сообщений. Одни садились на лавку, другие приносили табуретки. После сообщений долго не расходились, обсуждали события, спорили... Теперь разговоры и не вспомнить, но в память четко врезались цветы-«солдатики» и бой курантов перед сообщениями. От этих звуков после войны я еще долго вздрагивал; они были как эхо далекого обвала, как раскаты грома — отголоски уходящей грозы.

И еще запомнились тени. В общежитии от буржеек и коптилок падали густые тени. Точно развешанные, они дрожали на стенах и казались призраками погибших на войне.

Я вспоминаю, как мы с Юсупом собирали на речке моллюсков, искали в поле невыбранные картофелины, стручки чечевицы — из них наши матери варили баланды...

Теперь я часто вижу, как в булочной подолгу трогают булки, принимают — ночной ли выпечки, не черствые

ли? А передо мной встают подвальные окна столовой при госпитале, куда мы бегали нюхать запахи (это так и называлось «пошли нюхать»), картофельные очистки, которые мы собирали на помойке столовой и потом жарили на стенках буржуйки, кипятилок с сахарином и жмых, заменявший нам сладости...

Помню, мы с отцом отстояли очередь в магазин, где по карточкам выдавали черный хлеб. Отец вошел в магазин, мне наказал ждать его у входа. День был дождливый, ветреный; ожидая отца, я сильно продрог, от голода чувствовал жуткую слабость; поглядывая на дверь, я думал лишь об одном — какой будет хлебный довесок, большой или не очень (хлеб отпускали строго по граммам). Отец всегда давал мне довесок, но в тот день вышел и быстро пошел в сторону. Я догнал его.

— Пап, дай довесок!

— Отстань!

Я схватил его за руку.

— Пап, дай!

Он оттолкнул меня, и вдруг я увидел, что это не отец, а мужчина, похожий на него. Видимо, от голода у меня ослабло зрение.

Замечательно, что теперь дети не знают, что такое хлебные карточки и жмых, махнушка и расшибалка, но, пожалуй, у моего поколения перед нынешним есть преимущество — мы знаем цену вещам, наш фундамент крепче. И потом, дети военного времени не имели игрушек и оживляли чурки, палочки — «это будет собака, это слон» — через воображение развивали таланты; теперь дети тупеют у телевизора.

На зиму буржуйки перетасили в комнаты и трубы выставляли в форточки. В то время топливо экономили, и батареи бывали чуть теплыми, а морозы начались лютые: трескались кирпичные дома, лопались водопроводные трубы, замерзали на лету и падали воробьи... До сих пор мне



снятые керосиновые коптилки с нитями копоти, наше окно с толстой наледью на стекле, скуповатый свет. Я слышу, как за окном, точно тетива лука, гудят заледенелые ветки, ощущаю холодное одеяло, сшитое из лоскутов (уходя на работу, отец с матерью еще укрывали нас своими одеялами). Прошло столько лет, а привычка спать, накрывшись с головой, осталась у меня по сей день.

Но кое-кто из предприимчивых людей и то суровое время пережил неплохо. У Смеяцких, например, было тепло — они обили стены одеялами. И питались они лучше всех. А сколько скупили за бесценок вещей у своих бедствующих соседей! Ходил слух, что накопленного серебра им хватит на всю жизнь.

— Чтоб их разорвало от богатства, — злился Юсуп.

Теперь у молодежи модно ходить в потертых куртках, носить холщовые сумки, но здесь уж первенство точно принадлежит моему поколению: мы носили ватные телогрейки, вместо портфелей — сумки от противогазов, вместо носков использовали газеты (в драных валенках ноги мерзли нешуточно). Только у Вовки Смеяцкого были зимнее пальто и — предмет постоянной нашей зависти — скрипящая полевая сумка со множеством отделений. Вовка не давал даже трогать ее и вообще всячески подчеркивал свое превосходство, но мы не очень-то обижались — в детстве друзей не выбирают, дружат с теми, кто живет во дворе.

Школу тоже почти не отапливали, и часто сидели за партами в телогрейках, а те, кто ходил во вторую смену, занимались при свечах. Учебников не хватало, выдавали один на троих. Тетрадей не было совсем, писали на оберточной бумаге. Тетради появились только в конце войны — красивые, пахнущие типографской краской, с форматками на обложке и белыми страницами в клеточку и косую линейку, с синей полосой — полями. Вначале ими награждали за хорошие отметки, потом стали выдавать

всем. Именно с того времени стопка белой бумаги для меня представляет огромную ценность — всякий раз поглаживаю ее, перекладываю, а записывая что-либо, стараюсь бережно использовать площадь каждого листа с обеих сторон. В толстые блокноты и общие тетради вообще ничего не записываю — складываю их в ящик стола, в надежде использовать для ценных мыслей, которые, возможно, придут в голову.

В школе старшекласники считали нас, малолеток, безмозглыми, а мы были просто чересчур легковерны. Однажды один парень-татарин подозвал меня.

— Эй ты! Подойди к своей училке и скажи... (он произнес фразу на татарском языке).

— А что это? — спросил я.

— Ну просто «поздравляю вас». У нее день рождения.

Нашей училкой была молодая татарка, которая только недавно окончила педучилище. Я подловил ее в прихожей школы и выпалил заученные слова. Училка густо покраснела, отвела меня в сторону:

— Что ты говоришь, негодник?! Кто тебя этому научил?!  
Никогда больше этого не говори!

Оказалось, парень научил меня безобразному предложению, которое в сглаженном переводе звучит как «пойдем в кустики».

После школы катались на колбасе промерзших трамваев, носились по ледяному желобу на каталках, сделанных из железных прутьев, бегали на свалку трофейной техники, которую привозили к заводу на переплавку. На свалке находили каски, пулеметные ленты, патроны. Несколько раз устраивали «стрельбу» — в овраге разжигали костер и бросали в него патроны; сами прятались в канаве «окопе», но вскоре за эти опасные игры получили взбучку от участкового.

Но самые лучшие воспоминания связаны с ледником. Его заливали недалеко от общежития и наращивали всю

зиму, а летом кололи ломами и развозили глыбы льда в продмаги и морги. По леднику мы гоняли на коньках, прикрученных веревками к валенкам. Некоторые катались на одном коньке, а кое-кто и просто на рейках; и конечно, играли в «русский хоккей» (мячом служила консервная банка).

У Вовки Смеяцкого была деревянная лошадь. Чтобы посидеть на этой лошади, мы стояли в очереди, а за «сиденье» Вовка брал определенную плату: сахарин или жмых. Один раз мать дала мне кусок сала. Весь день я носил его в кармане, ждал, когда появится Вовка; время от времени нюхал и облизывал кусок, раза два надкусил, но все же сберег и «прокатился» на лошади.

Я заметил: взрослые моего поколения не меньше детей любят игрушки — мы недоиграли в детстве. Как-то лет в тридцать я подобрал на улице покореженную игрушечную легковушку, принес домой, починил, стал пускать по полу, испытывая невероятный восторг. Соседей подавило это зрелище, они смотрели на меня как на тронутого. Я и сейчас слышу барахольщиком — подбираю у помоек чуть поломанную мебель и всякие штуковины, приношу домой, ремонтирую — не могу смотреть, как выбрасывают вещи, которые еще могут послужить.

У нас не было игрушек, зато мы играли в чижа, лапту, городки. Жаль, что эти простые народные игры ушли в прошлое! И где теперь самострелы и самокаты — первое, что делали наши детские руки?! Именно тогда в нас закладывалась любовь к труду. Те игры и самоделки доставляли нам радость, мы были по-своему счастливы. Конечно, теперешним подросткам наши радости покажутся смешными, но у всех свои ценности. Я знаю бывших фронтовиков, которые, несмотря ни на что, считают годы войны лучшими в своей жизни — тогда они познали, что такое настоящее мужество и братство; все послевоенное для них — приложение к тем годам.

## 5

На третьем этаже общежития жила тетка Груша с дочерью Настей. В их комнате висел оранжевый абажур, от которого струился мягкий свет. Его я особенно запомнил. Его и запах духов тетки Груши, всегда веселой, носившей яркие платья, будто и не шла война и ее муж не был на фронте. А Настя считалась самой красивой девчонкой в общежитии и вообще во всей Клыковке. Их женская школа находилась через улицу от нашей мужской (мы учились отдельно, для моего поколения был создан искусственный барьер), но половину пути мы с Настей вполне могли бы ходить вместе. Только не я один об этом подумывал. За право носить ее портфель жестко соперничали Юсуп и Старик — Левка Старостин. Если один из них нес ее портфель, можно было определенно сказать: другой придет в школу с синяками. Это было позорное соперничество. Сама Настя никому не отдавала предпочтения. Больше того, как опытная блудница, подогревала ревность поклонников: Юсупу говорила, что Левка подарил ей марки, а Левке — что Юсуп пригласил ее в кино. Как только я уловил это коварство, сразу окрестил ее «воображалой» и интерес к ней у меня пропал.

Когда играли в прятки или «колдунчики», каждый мальчишка стремился первым найти или «расколдовать» Настю. Только мы с Аликом не принимали участия в этих играх. Мы отправлялись с удочками на Казанку. Настя считала нас никчемными типами, поскольку мы не уделяли ей должного внимания — известное дело, особы, привыкшие к победам, не прощают таких вещей.

Однажды, направляясь в школу, и Настя, и я вышли из общежития одновременно. Ее телохранителей у парадного не оказалось — наверное, где-то дубасили друг друга. Настя посмотрела по сторонам, поджала губы и вдруг уставилась на меня... Надо сказать, в то время я ходил в школу не по улице, а срезая углы, кратчайшим путем: по свалке,

дворами, через дыры в заборах; всегда приходил первым, но сторож не пускал, заставлял чиститься, и, пока я приводил себя в порядок, мое первенство сводилось к нулю. Вот и тогда я повернул в сторону свалки, но Настя меня окликнула:

— Если хочешь, понеси мой портфель! — и посмотрела на меня выжидательно-нежно.

— Мне нужно стекла на свалке найти, — заявил я, тупо глаза на нее, еще не чувствуя себя кандидатом в счастливики. — Завтра солнечное затмение, а у меня нет стекол. Да их еще копить надо.

— Стекла? Затмение? Солнечное? — Настя улыбнулась. — Ну если хочешь, после школы пойдем вместе искать стекла. А сейчас — на портфель!

В это время из общежития выскочил Алик.

— Смотри, что я нашел! — крикнул он, не обращая внимания на Настю. Подбежав, он вообще оттолкнул ее (и куда девалась его интеллигентность?) и протянул мне какие-то яркие камни. — Видал? Там в овраге их полно. Пойдем!

Настя презрительно посмотрела на Алика и фыркнула. Шокированный поведением друга, я невнятно изрек:

— Иди один. Мне надо... еще кое-что сделать...

Я взял Настин портфель, и мы с ней направились в школу. Алик так и остался у общежития с разинутым ртом, а Настя пошла нарочито близко со мной, как бы выставляя напоказ свою победу. По дороге я решил похвастаться Насте какими-нибудь своими талантами, но ни один не пришел в голову. И тогда рассказал о наших с Аликом рыбалках. Настя слушала с неподдельным вниманием, не перебивая, иногда смотрела мне прямо в глаза и улыбалась. У нее были необыкновенные глаза — они прямо-таки завораживали. Ну а ее душа в те минуты мне, естественно, казалась величественным собором. Ко всему, тогда, как, впрочем, и позднее, самым ценным качеством у женщин я считал умение слушать.

Я разговорился не на шутку и около школы уже был уверен, что Настя сильно жалеет, что раньше не предлагала мне носить портфель. «Теперь-то она разгонит своих поклонников и будет каждый день ходить со мной», — рассуждал я, давая волю фантазии.

Когда после занятий я подошел к ее школе, там уже околдовался Юсуп. Я предвидел это — Старик явился в класс с фонарем под глазом. Но я не забеспокоился, знал, что теперь мои шансы намного выше. Я ждал, когда Настя выйдет и объявит Юсупу о стеклах и вообще... Но она оказалась предательницей: подошла ко мне и громко, чтобы Юсуп слышал, сказала:

— Найди, пожалуйста, и для меня стекло. Затмение будет во сколько? В двенадцать, да? Из вашего окна будет видно? Тогда я приду в одиннадцать.

И ушла с Юсупом, вселив в меня испепеляющую ревность.

Часа два я боролся со своими оскорбленными чувствами, потом вспомнил про завтрашний день, немного взбодрился и направился на свалку...

Я нашел отличные стекла, закоптил их над коптилкой и принялся составлять программу на следующий день. Прежде всего решил не приглашать Алика (еще нагрубит Насте!), хотя мы с ним заранее договорились смотреть затмение у нас. После затмения наметил устроить чаепитие, во время которого намеревался показать Насте свои рисунки и рассказать о шахматах. С этой целью рисунки разложил на видном месте, шахматы одолжил у соседей, причем фигуры расставил таким образом, что было ясно — партия прервана в безнадежном для черных положении (белыми, естественно, играл я). Затем у других соседей одолжил две серьезные книги; одну оставил раскрытой, другую заложил бумагой, после чего, мне думалось, никто не мог усомниться в моей глубокой начитанности.

На другой день я вскочил чуть свет. Подождал, пока родители ушли на работу, и сделал последние приготовления к встрече: занавесил у двери бочонок с плавающими огурцами, протер в комнате пыль, достал жмых к чаю. Я очень старался, даже покраснел от усердия и все поглядывал на часы, торопил время, точно от этого свидания зависела вся моя жизнь. Теперь-то я знаю, эти приготовления и были самым замечательным в тот день; с годами понимаешь, что ожидание праздника приятней самого праздника.

Основательно подготовившись к встрече, я зашел к Алику и сказал:

— Знаешь, ты не приходи ко мне сегодня смотреть затмение.

— Почему? — насупился Алик.

— Понимаешь... Ты ведешь себя как-то не так... Лезешь со своими камнями... Ведь я не один был. Соображать надо.

— Не волнуйся, — ухмыльнулся Алик. — Не приду.

Вернувшись к себе, я положил закопченные стекла на подоконник и стал ждать Настю.

До одиннадцати часов сидел как на иголках: то и дело смотрел на часы и выглядывал в окно, но она не появлялась. В начале двенадцатого я подумал: «Могла бы прийти вовремя, все-таки затмение! Да еще Алика обидел из-за нее...» Я вдруг вспомнил, как мы с Аликом у черного хода общежития кидали камни в пыль, как камни тонули и от них оставались большие воронки, а вокруг них множество маленьких — от пылевых брызг. Потом вспомнил, как с Аликом у Казанки ползали в окученной картошке под спутанной гущей ботвы; как залезли на парашютную вышку в парке имени Горького и оттуда видели верхушки деревьев и маленькие, точно игрушечные, дома; как ветер свистел в ушах и у нас захватывало дух, как потом спустились по лестнице, и все далекое приближалось, и сразу становилось спокойно и радостно...

Я вспомнил, как однажды мы налили в Аликиной комнате воды (всего лишь лужу — устроили воображаемое «море») и стали пускать бумажные кораблики и как пришла Аликина мать и поставила нас в угол, предварительно отодвинув шкаф... Мы стояли за шкафом, отбивали наказание, а он улыбался и толкал меня в бок, такой замечательный мой друг, Алька!.. Я вспомнил, как просил его не приходить, вспомнил его усмешку... и мне вдруг стало стыдно. Я выбежал из комнаты и со всех ног помчался по лестнице, влетел в их комнату, схватил Алика за руки и потащил к себе. Дома я убрал рисунки и шахматы, закрыл книги, усадил Алика перед окном и протянул ему самое лучшее стекло. Мы стали смотреть на солнце...

«А что, если оно скроется навсегда?» — подумалось. Я только на миг представил, что больше никогда не будет лета и наш двор не будет затоплен солнцем, не будут распускаться цветы... И мне стало не по себе. К счастью, солнце скрылось только на несколько секунд, и сразу же показался светящийся краешек — он разрастался, и вскоре появился весь ослепительно яркий диск.

Потом мы с Аликом пили кипяток, заваренный коркой хлеба, грызли жмых и радовались солнцу, сверкавшему в окне. Вдруг пришла Настя и с невозмутимым выражением извинилась, что опоздала. Как и в прошлый раз, она недружелюбно посмотрела на Алика, но мне уже было все равно. За столом Настя говорила о затмении, о том, как хорошо было бы без солнца.

— ...Кругом одна темнота, — таинственно произнесла она. — Светились бы только фонари и светляки. Все жили бы в сказке...

Настя мечтательно улыбалась, танцевала с закрытыми глазами — изображала труднообъяснимую радость. В какой-то момент я почувствовал, что она просто хочет казаться необыкновенной, что ее таинственность наду-



манная, что она только так говорит, а думает иначе. Я посмотрел на Алика, и он подмигнул мне — наверное, почувствовал то же самое.

Внезапно Настя остановилась и надулась. Ей явно не нравилось, что мы молчим.

— Мне нужно идти, — сказала и, обращаясь ко мне, бросила прямой вызов: — Проводи меня.

Я не заставил себя долго упрашивать.

В коридоре она шепнула:

— Пойдем на черный ход, что-то тебе скажу...

Это была очередная тайна; я весь загорелся от любопытства и с рабской покорностью поплелся за ней.

Мы пришли на черный ход, сели на узкую лестницу из грубого кирпича, и Настя спросила напрямик:

— Вы что, с Аликом друзья? Или только вместе ловите рыбу?

— Друзья!

— А со мной не хочешь дружить? Я тоже умею ловить рыбу!

Я молчал, не в силах осмыслить ее слова. И тогда Настя прибегла к последнему безотказному оружию.

— Поцелуй меня, — она приблизила ко мне свое лицо.

Я почувствовал, что теряю волю, и торопливо коснулся ее мягких горячих губ. Потом я долго не дышал — она совершенно околдовала меня, вызвав целую бурю чувств. Передохнув, я снова приник к ее рту. Так продолжалось, пока мы не устали.

— Ты лучше всех целуешься, — тихо сказала Настя с выражением невинности. — А вот твой Алик совсем не умеет...

Тетка Груша по вечерам не отпускала Настю во двор, говорила, «там одни хулиганы». Случалось, к тетке Груше приходил усатый мужчина, и тогда в их комнате играл патефон. Всегда одну и ту же пластинку — «Мы на лодочке катались». Мужчина с усами подарил Насте краски.

— Но я его не люблю, — хмурилась Настя. — Он говорит маме, что нельзя жить как монахиня. Правда, когда он приходит, мама разрешает мне гулять до позднего вечера.

## 6

Сейчас, вспоминая все это, раскручивая годы в обратную сторону, я точно иду по ручью времени. Иду назад, к истоку, а мимо проносятся дни, как сорванные ветви. Помню весенний день; уже пригревало солнце, в форточку врывался теплый ветерок... И вдруг почтальон принес известие о гибели дяди Вани. Мать плакала, а я не мог поверить, что дядя Ваня погиб, ведь на нем был пуленепробиваемый жилет — его жизнелюбие.

Отец зашел домой на полчаса — снова спешил на завод. Пришел усталый, долго отмывал руки под рукомойником, потом сел за стол. Мать поставила перед ним похлебку из чечевицы, сказала про извещение... Я думал, отец вскочит, начнет трясти кулаками, проклинать войну, но он только на минуту отложил ложку и опустил голову, потом снова начал есть. Казалось, отец и не переживал за своего друга, сидел и ел как ни в чем не бывало. Доел суп, выкурил самкрутку, глубоко вздохнул:

— Ну я пошел!

Мать наказала мне подмести пол, сама ушла на кухню. Спустя какое-то время я потащил мусорное ведро во двор и вдруг увидел отца — он стоял у сарая, уткнувшись лицом в дверь, и плакал.

Шарик был спокойной собакой, никогда ни на кого не бросался, но с того дня с ним что-то произошло — только завидит почтальона, становится точно бешеный. Я думал, почтальон его ударил, но потом почтальон сменился, а он все не успокаивался. И тогда я догадался: он понял, кто приносит плохие вести.

Шарик! Мой дружок детства! Еще одна боль! Исчез, пропал, так и остался для меня вечным бродяжкой. Где только мы его не искали! Говорили, собаколовы забрали на мыло. Ходили мы с отцом на живодерню, но собаколовы клялись, что нашей собаки не было; «небось под машину попала» — заявили. Много месяцев прошло, а я все не верил, что Шарик исчез навсегда, — на каждый лай выскакивал во двор. Что там месяцев! Много лет ждал его и сейчас иногда перед сном вспоминаю — как известно, душевные раны детства не заживают.

Потом пришла телеграмма о гибели еще одного отцовского друга... Осунулся отец, плечи ссутулились. С работы стал приходиться поздно, часто выпивал и, пьяный, плакал, говорил, что ему стыдно: друзья погибли, а он уцелел, отсиживаясь в тылу. Отец ходил в военкомат, просился на фронт, но его не отпускали с оборонного завода, да и зрение подводило.

Гибель друзей для отца явилась страшным ударом, после которого он так и не смог оправиться. Стоило ему хотя бы ненадолго остаться наедине с самим собой, как он впадал в уныние.

Сейчас, через десятки лет, когда мертвым давно воздалось должное (к сожалению, не всем), а живых участников войны осталось не так уж и много, я вижу, как нередко благополучие растлевает души, вселяет в молодое поколение пресыщенность, а то и ведет к насилию, и я думаю: неужели у каждого поколения должна быть своя война, что, только пройдя через суровые испытания, человек способен понять других людей, научиться дорожить простыми ценностями, неужели без страха и опасностей люди перестанут быть людьми? Я думаю о том, что в природе борьба за существование — естественный отбор всего живого, механизм поддержания жизни, но получается, что и мы, люди, — результат тысячелетней борьбы за выживание!

Теперь-то я по-настоящему ощутил всю трагедию моих родителей, которые только и думали о хлебе насущном. И если мы всего лишь «недоиграли», то они в полной мере «недожили».

...И вот наконец день, когда кончилась война. С утра чувствовалось приближение чего-то необыкновенного. Было солнечно, и неизвестно откуда налетело множество бабочек. Юсуп наделал орденов и медалей из бумаги и «наградил» нашу команду. Кто-то притащил в общежитие бутылку спирта, взрослые выпили, принесли патефон, женщины устроили танцы (после войны и в парке Горького на танцплощадке в основном танцевали женщины друг с дружкой). Все говорили веселыми, праздничными голосами, а отец сидел в углу, в его глазах стояли слезы.

— Понимаешь, — обнял меня, — как-то неловко перед друзьями... что я остался жив.

Внезапно принесли похоронку тетке Груше, и с ней случилась истерика: она разбила пластинку «Мы на лодочке катались».

— Так мне и надо!.. Меня покарал Бог! — кричала она, обезумевшая. — Он меня так любил, а я вела себя как последняя дрянь!

В городе появились первые демобилизованные: худые, в застиранных белесых гимнастерках, с орденами и медалями, с желтыми и синими (тяжелыми и легкими) нашивками ранений. Появились и инвалиды: одни с пустыми рукавами, заправленными под ремень, другие — на костылях, третьи — на деревянных тележках с подшипниками.

Около авиазавода начали строить новую дорогу. Ее строили пленные немцы, в потертых шинелях, в рваных обмотках на ногах, худые, небритые и почти все молодые; два-три пожилых в офицерских шинелях держались в стороне. Немцы делали насыпь, возили на тачках шлак; за ними присматривали наши автоматчики. Во время перекура молодые немцы о чем-то весело болтали, а один рыжий даже играл

на губной гармошке. Гармошка была ярко-красная с бронзовой окантовкой. Немец играл на ней длинные и грустные песни. Я частенько стоял невдалеке и смотрел на немцев. Иногда немцы кивали в мою сторону и смеялись, а однажды рыжий поманил меня пальцем.

— На кармошку. Дай табак.

Вечером я сказал отцу:

— Пап, можно я отнесу немцу папиросы? Он даст губную гармошку.

— Можно. А гармошку не бери. Пусть он играет. Многие из немцев такие же рабочие, как и мы. Их просто обманули. А этих мальчишек вообще, наверное, забрали из школы.

Я помню, первое время после войны все только и говорили:

— Теперь-то уж никто не станет воевать, теперь-то все будут как братья.

Кто бы мог подумать, что скоро эти слова забудутся.

...Когда я просыпался, с подоконника на меня смотрел улыбающийся мужчина со съехавшим набок галстуком. Это был портрет дяди Вани. Я все ждал его — он обещал вернуться. Я видел его во сне; шел по улице, думал — вот сейчас встречу, он выйдет из-за угла, и рассмеется, и крикнет:

— Привет, мой юный друг! Давай обнимемся, ведь давненько не виделись!

Бывало, отчетливо слышу: он окликает меня, обернусь — никого нет.

...По утрам с Аликом рыбачили на Казанке. Вставали на рассвете, когда улицы еще были пустынные. Спускались к реке, садились на влажный песок и закидывали удочки. Однажды не клевало. Алик водил прутом по воде, смотрел, как на поверхности, точно царапины, остаются следы, я разглядывал противоположный берег. ...Там рассеивался туман, позолоченный восходящим солнцем, и вырисовы-

вался далекий поселок. Среди домов я разглядел мелькающую точку. Она быстро увеличилась, превратилась в светлое пятно, затем — в... девчонку. Девчонка подбежала к берегу, и я узнал в ней свою сестру.

— Бегите скорей домой! — крикнула она. — Дядя Ваня вернулся! И не погиб он вовсе!.. Лежал в госпитале!..

Я вскочил и бросился со всех ног по круче. За мной еле поспевал Алик. Я несся уже по шумным улицам, лавируя между прохожих, мимо грохочущего завода и очереди в булочную. Влетел на нашу улицу, а там полно людей — все обнимают и целуют дядю Ванюшу. Он все тот же, тот же загар, та же улыбка! К нему невозможно протиснуться, но он заметил меня, шагнул навстречу, раскинул руки, я прыгнул, и он, как прежде, стиснул меня в объятиях...

— Удочку перекинь! — вдруг подал голос Алик. — Поплавок отнесло в осоку.

## 7

Снова сквозь толщу тумана выплывают обрывочные воспоминания, смешиваются события, многократно сдвигаются, находят одни на другие, наслаиваются изначальные и конечные картины, точно гонимые ветром облака. Как во сне, передо мной возникают то реальности, то фантазии, я хочу пристальней рассмотреть их, неторопливо разобраться во всем с высоты зрелого возраста, но они отодвигаются все дальше и дальше. Я похож на бегуна, который бежит ко все удаляющейся цели. Ручей моего детства уже стал рекой, разлившейся в половодье и скрывшей многие вехи дальнейшей жизни.

В общежитии устраивали представления по книгам «Золотой ключик», «Хижина дяди Тома». Из обрезков фанеры сколачивали декорации, разрисовывали их акварелью, делали костюмы из разного тряпья. Мать принима-

ла самое деятельное участие в спектаклях: отдавала под реквизит стулья и посуду, гримировала актеров кремом и помадой, осуществляла общую режиссуру. Это придавало нашим постановкам немалое величие, мы запоминали все ее наставления и верили каждому ее слову. Именно тогда мать посеяла в нас зерна искусства, расширила наше воображение, дала вполне четкие ориентиры. С этих «игр» и началось наше творчество, осознание самих себя, и, наверно, поэтому эти «игры» никогда не утратят для меня свою ценность.

Мать же была и самым восторженным зрителем: после спектакля хлопала и смеялась, только это был уже не тот смех, что на Правде, это был отзвук бывшего звонкого переливчатого смеха. На фоне тех лет, полных невзгод и лишений, наши спектакли — как свет в конце длинного мрачного тоннеля.

Что немаловажно, помимо спектаклей мать рассказывала нам о многих литературных героях, обращала наше внимание на стихи и картины великих поэтов и живописцев в настенном отрывном календаре и на музыкальные передачи по радио (и сама часто напевала довоенные песни и арии из оперетт) и тем самым прививала нам определенный вкус; во всяком случае, многое из того, что я любил в детстве, я и сейчас люблю.

Я вспоминаю праздники, когда мы с утра выскакивали из общежития и возбужденные бежали к заводу, где собирались демонстранты с лозунгами и цветами. У завода играл оркестр, рабочие пели и танцевали. Мы ходили среди знакомых и незнакомых людей, заражались чувством товарищества, общности со всем происходящим. Потом, охваченные массовым энтузиазмом, шли с колонной по трамвайным путям к центру, соединялись с идущими от других заводов... Сложнее всего было проникнуть на площадь Свободы, где на трибуне, в сиянии славы, стояли руководители Татарии. Проныривая меж милицейских оце-

плений, через дворы, подвалы и заборы, мы пробирались к площади и с какой-нибудь крыши смотрели на празднество.

Стоит отметить, что в то время в провинции призывы и лозунги еще не потеряли своего смысла и демонстрации еще не носили помпезный, показной характер, то есть выглядели вполне достойным зрелищем. Ко всему, в колоннах могли шествовать все желающие, можно было идти под руку, обнявшись, не запрещалось танцевать и петь — не то что сейчас, при добровольно-принудительном методе и строжайшем учете.

...Я вспоминаю наши с отцом рыбалки, когда по пути на речку отец осторожно входил в лес — «чтобы ничего не нарушить», и меня приучал беречь природу, доходчиво объяснял взаимосвязь всего живого на земле. Отец научил меня разбираться в деревьях, грибах и ягодах, различать пение соловья и жаворонка. Собственно, каждая наша вылазка на природу была прекрасным показательным уроком.

Мы удили на обыкновенные поплавочные удочки. Иногда налавливали десятка два рыбешек, и я в приливе чувств хвастал, что такого улова на Казанке ни у кого не было.

— Да, нам повезло, — улыбался отец. — Но вот с Ванюшкой, дядей Ваней, на Истре мы и побольше ловили. Раньше ведь ни одной рыбалки без него не обходилось. Вот был заводила! Бывало, только приду на работу, а он уже тут как тут, в нашем отделе. «Вечером махнем на Истру? Я уже и пузырек приготовил», — и вытягивает из кармана бутылку вина и подмигивает. Вот весельчак был так весельчак! И какой талантище! Сижу, бывало, за кульманом, бьюсь над деталями, а он подойдет и легко так, мимоходом, обронит находку. И я думаю, как раньше-то этого не видел, ведь лежало на поверхности... Да что там говорить! Он из ничего мог сделать что-то, в пусто-



ту вдохнуть жизнь. Ведь все истинное — в воздухе, но не всем дано поймать.

Когда начинало припекать и рыба уходила на глубину, мы с отцом выбирали песчаную заводь и плавали... Плавал отец красиво. Он вообще все делал красиво. И, когда чертил, красиво держал карандаш, и красиво, экономно чистил картошку и резал ее на лепестки, и красиво курил, и, собираясь на рыбалку, красиво укладывал снасти, даже рогульки для удилещ срезал как-то красиво. Отец и в воду входил красиво — спиной, рассекая водную гладь ладонями. Входил в воду и звал меня за собой. Потом взмахивал руками и некоторое время плыл на спине, оставляя за собой ровную цепочку пузырьков. Потом переворачивался и нырял и долго плыл под водой, и на поверхности крутились завитки от его невидимых движений.

Мы заплывали на противоположный берег (всего-то в десяти метрах), и, пока обсыхали в белом сыпучем песке, отец открывал мне тайны «походной жизни»: показывал, каким листом потереть место, где ужалила пчела, учил делать дымовое «кадило» от комаров, и складывать туземный костер пирамидой, и правильно укладывать вещи в рюкзак, и ориентироваться в лесу, и строить шалаши, и многое другое.

Как-то отец сделал из тальника лодку-каное, сделал ее без всяких веревок, и казалось просто невероятным, что она не разваливалась. Но, чтобы доказать прочность своего сооружения, отец протянул мне ветку-шесть:

— Прокатись!

Я сел в лодку и оттолкнулся от берега. Под тяжестью моего веса лодка осела, закачалась, но благополучно описала полукруг.

— Здорово! — сказал я, вернувшись.

— Хм, это все дилетантство! А вот он сделал бы так сделал.

— Кто?

— Ванюшка, кто ж еще! Он все делал мастерски, — отец глубоко вздохнул и отвернулся.

Там, на реке, отец, рассказывая о своей работе и друзьях, открыл мне настоящие ценности — объяснил, что такое искренность, порядочность и честность. Взгляды отца стали для меня заповедью, обозначили вполне четкие идеалы, и чем дальше отодвигается то время, тем больше я черпаю ценного из общения с отцом. Оно стало для меня источником житейских премудростей, спасительной жилой в дальнейших передрыгах, резервуаром непреложных и вечных истин. Позднее, когда я жил один, мне постоянно не хватало отца, я все время обращался к нему за помощью, ставил его на свое место и думал, как бы он поступил, — по нему сверял свои дела и поступки и во всем старался ему подражать. Я обращался к нему за советом и когда его уже не было в живых, и когда сам стал отцом, и даже когда стал старше его по возрасту.

...Фотографии дяди Вани и отца сейчас на моем столе. Их настоящая мужская дружба — для меня первостепенное в жизни, она помогает мне в минуты неприятностей и хандры.

## 8

Недалеко от общежития пролегало асфальтированное шоссе; в жару асфальт плавился и блестел, точно полированный, низины казались лужами. На шоссе находились бензоколонка, закусочная-«обжорка» и мастерская, где стояли покореженные колымаги как мемориал нерадивым водителям.

За мастерской начинались луга — безграничное раздолье с одиночными деревьями и островами кустарника. Можно было долго бежать по горячим и прохладным местам полян, под деревьями и кустами, и все равно оно

не кончалось, это буйство цветов и зелени. Там среди деревьев струились ручьи, а дальше протекала Казанка — в нее, точно фонтаны, свисали ивы. Можно было проплыть под ивами и выйти к старой мельнице, где за плотиной в омуте темнел тайник подводных растений. В той гуще совершал чародейства водяной: рыбу уводил с куканов, бредень запутывал, делал в лодках щели и плавающих затягивал в воронки... А на мельнице жил домовый: ночью скрипел половицами, просыпал крупу, задувал лампу, останавливал часы... А в лесу около мельницы обитал леший — шишки кидал, цеплял колючки, паутиной затягивал тропу; заведет в болото, и гогочет, и стучит по сучьям, и ухаает. Захочешь отдохнуть и ляжешь под дерево — подсыплет муравьев, чтоб проснуться от зуда.

По вечерам мы с одноклассником Вишней — Толькой Вишневым — прибегали на мельницу к деду Арсению слушать рассказы про нечистую силу... После дождя повалит пар от деревьев — ясное дело, леший дует чай у самовара, принесешь из леса корзину грибов — все он, нечистый, навел на места. Наловишь голавлей — кто, как не водяной, нацепил. Все это дед Арсений рассказывал с вялой меланхолией, как само собой разумеющееся. Он приводил убедительные факты, и они производили на нас безотказное действие... Теперь я думаю: это была не просто особая магия шутивого свойства; своими рассказами дед преследовал определенную цель — расцвечивал наш детский мир, распалал нашу фантазию.

Как-то засиделись у деда до полуночи. Он постелил на полу мешки из-под муки, на них положил овечий тулуп, и мы с Вишней плюхнулись в мягкие завитки. Стало тихо, только слышалось тиканье ходиков, жужжанье мухи в паутине, да дребезжало стекло от шума ночного грузовика, и с потолка на стены сползали полосы от фар.

— Неужели и черти на свете есть? — тихо спросил Вишня.

— А как же, — хмыкнул дед, сворачивая самокрутку из газеты. — Черт, скажу вам, самый что ни на есть бедняк. Живет на болоте. Негде даже отдохнуть толком. Я уж не говорю хозяйством обзавестись. А тут еще поминают его худыми словами. И зря. С чертом ладить можно. Поручишь что-нибудь, всегда сделает. Услужливый, старательный.

— Так чего ж их не заставят работать? — наивно спросил я. — Пусть пилят дрова, носят воду.

— Ишь чего захотел! А ты будешь лежать, пирогами объедаться! Тогда, брат, такая лень на землю спадет, все и вовсе перестанут работать.

Вишня хихикнул. Дед закурил, закашлял, его щеки то надувались, то втягивались.

— А вот леший живет в добротной избе. Любит выпить медовухи, сразиться в картишки... Все лешие женаты. Лешачихи толстые ужас какие. Потолще моей бабки Пелагеи, царство ей небесное!.. Так вот, лешачихи работающие, стряпают от зари до зари, а мужья ходят по лесу, шалют, каналы. Наклюкаются медовухи и пугают зверье и людей. Идешь по лесу — подкрадутся, шепнут что-нибудь. Могут и палкой огреть... А так они ничего, не больно досаждают.

Мы с Вишней съезжились, замерли. Дед снова закашлялся, покраснел, растер грудь ладонью.

— А лучше всех из нечистой силы домовой. Этот мужик, скажу вам, знает толк в хозяйстве. Может дельный совет дать... Вот у нас жил на прежней избе, где щас амбар. Жили мы душа в душу. Бывало, говорит: «Кто меня любит, того и я люблю». Иногда ворчал: «Холодновато у тебя, хозяин. Не жалей дров-то, не жадничай и шамать побольше оставляй». Прожили мы так лет десять, не меньше. Потом Пелагея с домовихой начали ссориться. Известное дело, где бабы, там и ссоры. Под Троицу подзывает меня. «Тесно, — говорит, — нам, хозяйш-ка, в одной избе. Давай-ка оставь мне эту, а себе новую отгрохай». Вот и срубил я эту избу. Когда расставались, он в три ручья рыдал... Ну да Бог с ними со всеми. Пора на боковую...

Дед потушил самокрутку, прокашлялся и, как бы приободряя нас, закончил:

— Я в них верю-верю, а потом всех пошлю к ядерной матери... Я ведь и в Бога-то не больно верю. Ежели уж захвораю. Тогда помолюсь, а после пропущу стаканчик первача, хворь и отступает.

Дед Арсений при мельнице разбил сад. Однажды я спросил:

— Зачем тебе столько деревьев?

— Разве ж это мне? — усмехнулся. — Да если б не сад, разве ж я мог спокойно умереть? Ну жил, ну муку молот всю жизнь, и что? Нет у меня ни детей, ни, скажем, не строил я самолеты, как ваши отцы. А ведь каждый должен после себя что-то оставить. Вот я и оставлю сад. Небольшое дело, но все ж полезное.

Сад деда Арсения в моем детстве — прекрасный пример человеческой щедрости. Как некий зеленый храм я вижу его до сих пор, и среди деревьев — старик, переполненный счастьем...

Конечно, счастье — понятие относительное. Тот, кто живет в благоустроенной квартире и смотрит на мир из автомобиля, считает разных бессребреников несчастными людьми, а те в свою очередь считают его несчастным, ведь у них другие понятия о ценностях.

По утрам над мастерской качались верхушки сосен и в разрывах хвои клубилась яркая синь, а над лугами параллельно земле скользил веер лучей. Мы с Вишней спускались к Казанке, подбегали к плотине, где вода бурлила, и пенилась, и бросалась вниз в шипящие завитки... Уплывали к затону, где разноцветные тыквы служили поплавками для сетей рыбаков, где над травами висели дрожащие стрекозы. Барахтались среди плавающих широких листьев и пахучих кувшинок, тянули тугие, будто резиновые, стебли, которые шумно лопались, поднимая множество серебристых пузырьков.

Возвращаясь с Казанки, заходили в мастерскую, смотрели, как ремонтировали какой-нибудь драндулет, или просто лежали у шоссе, рассматривали проезжающие грузовики и легковушки.

Часто по шоссе на мужском велосипеде ездил тонкая девушка. У нее были светлые волосы, завязанные узлом, но главным украшением являлась улыбка. Эта улыбка была как чудо. И вся девушка, яркая, гибкая, выглядела неотразимо. Она жила в соседнем кирпичном доме. Каждое утро привязывала к багажнику книги и ехала в рабочий поселок, а в полдень возвращалась обратно. В полдень я всегда стоял у мастерской и смотрел на нее, и весь мой дурацкий вид выражал тихий триумф. Несколько раз она замечала меня, улыбалась и кивала, как хорошему знакомому, и всегда, когда она смотрела на меня, я испытывал какое-то возвышенное чувство. Однажды она подъехала и прыгнула с велосипеда:

— Что ты так смотришь? Как тебя зовут? Я нравлюсь тебе, да?

Я хотел убежать, но был не в силах сдвинуться с места.

— Если я тебе нравлюсь, почему не подаришь мне цветы? — засмеялась, наклонила велосипед, перекинула ногу через раму и оттолкнулась.

— Смотри, в следующий раз подари! — крикнула, отъезжая.

В романтической приподнятости я стоял с незабудками на шоссе весь день, но ее не было. Я расстроился до тоски. Она показалась только к вечеру с парнем из нашего общежития; он вез ее на раме, что-то говорил в самое ухо, и она смеялась. Около закуской они остановились, и парень скрылся за дверью. Она достала из кармана платя карандаш, стала постукивать им по зубам. Вдруг заметила меня и весело, с неизменной улыбкой, сказала:

— А, это ты, мальчуган? И кого это ты здесь ждешь с цветами? Кому назначил свидание? Ну, отвечай!

От внезапного потрясения я не мог произнести ни слова. Где ей было знать, какую она причиняет мне боль, как унижает небрежность в ответ на любовь. Я протянул ей букет и хотел сказать, как сильно ее ненавижу, но тут подошел парень с бутылкой вина. Она сунула букет в карман, они сели на велосипед и покатали к Казанке. Я бежал за ними, прятался за деревьями, терял их из виду, и выслеживал снова, и задыхался от жгучей ревности. До позднего вечера они бродили в лугах, обнимали друг друга, падали на землю и жадно целовались.

То далекое время! Струящийся, бьющий свет, разгул теплого ветра, качающиеся кусты, шелестящие травы, цветочная пыльца, бронзовые жуки, трепещущие крылья стрекоз, шершавая, чешуйчатая кора сосен, красочные тыквы в сетях, лодки, исхлестанные волнами, удушливый дым в мастерской, побитые колымаги, блуждающие огни на вечернем шоссе... Наш зеленый поселок, заборы из штакетника, увитые вьюнком, на грядках желтые граммофоны цветов и за ними пупырчатые огурцы, домашний борщ из свеклы с ботвой, хлеб грубого помола... Простые люди, размеренная бесхитростная жизнь... Почему все это вспоминается? Что за наваждение?! Так насаждает прошлое, и никуда от него не деться! Ведь если живешь прошлым, значит, что-то не так в настоящем, а хочется верить, что и в настоящем все не так уж и плохо.

...Я отправился за этими воспоминаниями, чтобы воссоздать атмосферу того времени, хотел вновь все пережить, осмыслить и навсегда расстаться, чтобы освободиться от прошлого, как бы расчистить свое пространство, чтобы дальше с открытой душой впитывать новые впечатления. Но у меня получается всего лишь ностальгия по прошлому. И ладно б стройная хроника — свидетельство сороковых годов, а то ведь одни метания под натиском воспоминаний, тщетная попытка отправить послание другим людям.

9

Перебравшись в Москву, я все хотел съездить в детство. Я знал: меня помнят — и друзья, и деревья, и кусты, и камни. По еле различимым, стертým полутонам, по растворившимся, но еще улавливаемым запахам, по отзвукам прежних голосов я хотел восстановить прошлое, почувствовать очистительное воздействие воздуха детства. И вот однажды проездом на Урал остановился в Казани.

Выйдя из трамвая, я пошел в сторону шоссе. Раньше от конечной остановки трамвая до мастерской стояли сосны, а теперь их вырубili и построили двухэтажные дома. Около домов пузырилось сохнувшее белье и гоняли в футбол мальчишки. Когда я свернул с дороги, еще не было и девяти часов, но уже припекало. Мне казалось, что идти лугами до мельницы довольно далеко, но расстояние оказалось до смешного ничтожным, преодолел его минут за десять; и раньше в лугах был высокий травостой, а теперь виднелись сплошные вытопанные «пятаки». Кустарник у мельницы вырубili, и уже не слышался шум воды, падающей с плотины, — речка пересохла и заросла осокой, а мельница развалилась и осыпалась. Все оказалось маленьким, почти игрушечным. Все, кроме кладбища. Оно порядочно разрослось.

Я пошел мимо крестов и скользких мраморных плит и вдруг услышал лязг лопаты; обернулся и увидел деда Арсения. Я узнал его сразу, хотя он и стал дряхлым старцем.

— Доброго здоровьица, мил человек! — прошепелявил старик на мое приветствие и продолжал ковырять лопатой.

Я напомнил о себе, но старик вдруг забормотал:

— Ничего не помню, мил человек. Ничего не помню.

Он отложил лопату, собрал какие-то щепки и зашагал в сторону дома. Я пошел рядом.

— В общаге, говоришь, жил? Не помню, не помню.



Подойдя к дому, старик присел на крыльцо. Я снова начал ему напоминать, но он неожиданно поднял с земли палку и шустро заспешил в сад.

— Куда, куда, черти проклятые! — закричал. — А ну слазь с забора!

С забора спрыгнули двое мальчишек и скрылись в кустах. Старик повернулся и, тяжело дыша, снова опустился на крыльцо.

— Весь сад вырублю, ни одного деревца не оставлю этим дармоедам. Только и ждут моей смерти... А я не умру. Назло им не умру. Долго буду жить... Я их всех переживу. Всех! — старик затрясся и замахал палкой в сторону забора.

Около кирпичных домов не было видно ни одного человека. В неподвижном воздухе вились осы. Было до знона тихо. Здесь прошло мое детство, а в памяти остались другие дома, высоченные, с огромными соснами и яркой зеленью, дома, где никогда не было тишины. Все, что казалось значительным, оказалось маленьким, жалким.

На двери дома Вишневских висел замок. Соседи сказали:

— Здесь давно никто не живет.

Я разыскал квартиру той девчухи на велосипеде. Не очень-то надеялся ее увидеть, думал, наверняка она вышла замуж и живет где-нибудь в центре, а то и вообще в другом городе. Но дверь неожиданно открыла она — полная, рыхлая женщина в сарафане. Она, видимо, вышла из-за стола — ее щеки горели, губы блестели от жира. Было что-то знакомое в ее лице, но в расплывшемся теле уже не угадывалась прежняя тонкая девушка. Она протянула руку.

— Здравствуйте, я вас признала.

Когда-то у нее были большие красивые глаза, а теперь стали маленькими, как дробинки. Она даже не пригласила меня в комнату, разговаривала на лестнице. Узнав, зачем

я приехал, рассказала о новых домах у шоссе и какой-то фабрике, которая все время коптит. Сказала, что живет хорошо, муж — шофер и зарабатывает прилично:

— ...На даче террасу новую справили... Клубнику разводим. Очень доходное дело и места мало занимает.

Она хотела еще что-то сказать, но ее окликнули из комнаты.

— Извините, зовут. Все дела. Заезжайте как-нибудь.

Я прошел мастерскую, какую-то пристройку и остановился около общежития — оно тоже оказалось намного меньше, чем то, которое осталось в памяти. Отыскал наше окно... Какие-то занавески полоскал ветер... Вахтерша при входе спросила:

— К кому?

— Да так, просто посмотреть.

— Не положено!

Вызвала коменданта. Тот долго вертел мой паспорт.

— Чего смотреть-то?! — пожал плечами, потом махнул рукой. — Пропусти.

И лестница, и стены, и двери были окрашены в неприятный светло-зеленый белесый цвет. Раньше был теплый, коричневый. На стук за дверью раздался девичий голос:

— Входите!

Одна девушка сидела за столом и причесывалась, другая лежала на кровати и читала. В комнате было три кровати, три тумбочки, на стенах портреты киноактеров.

— Вам кого?

— Никого. Понимаете, в этой комнате я жил во время войны. Хотел просто взглянуть, можно?

— Пожалуйста! — девушка за столом поджала губы и снова взялась за расческу, ее подруга уткнулась в книгу.

Комната оказалась крохотной, и как только мы помещались в ней вчетвером?! Неужели в этой неудобной комнате мы грелись долгими зимними вечерами?! А в том углу стояла деревянная грубо сколоченная кровать отца

с матерью? А у стены наши с сестрой, впритык одна к другой?! Нет, кажется, они стояли иначе. И не в этой комнате. И даже не в этом доме... Что-то защемило сердце, и я поспешил уйти. Я решил поскорее уехать, чтобы оставить все каким помнил.

Медленно брел к остановке трамвая. Было удушливо жарко. «В детство нельзя возвращаться, — подумалось, — нельзя».

Только приехав обратно в Москву, я снова увидел теплую речку в извилинах, общежитие, и мельницу деда Арсения, и Вишню, и тонкую девчущку на велосипеде... Детство — это страна, где никто не стареет и ничто не имеет конца.

Я точно не могу объяснить, почему одни картины детства отложились в памяти вполне зримо, а другие почти стерлись. Но что странно: все они не звучат, не пахнут, в них не ощущается пространства. Я собираю те дни воедино, пытаюсь выстроить из них непрерывную цепь, но звенья никак не соединяются. Я напоминаю коллекционера, который собирает красивых мертвых бабочек и пытается их оживить.

## 10

Когда несешься в скором поезде, бывает, за окном мелькнет переезд, будка стрелочника, три-четыре дома под деревьями, стог сена, собака дворняжка и дети, машущие руками. Вот на таком полустанке я жил подростком.

Наш поселок Аметьево был в пыли и листьях, в жару сникала листва, плавился вар на крышах сараев, из досок капала смола, в открытые окна и двери текло испарение цветов. Собаки и куры прятались в тени, а посельчане поливали водой полы для прохлады. Все обволакивала леньность, дремота. Иногда тянул ветер и разгонял горячий

воздух, потом снова стихало, и начинало парить... Вдалеке прогремывает гром, набегут тучи, стемнеет, деревья зашумят, рухнет ливень — гулко забарабанит по шиферу. Посмотришь в помутневшее окно — все блестит, точно завернуто в целлофан... А после дождя долго стояла мутная тишина, по размытой дороге плыла трава, сверкали лужи с опрокинутым небом. Появлялось солнце, распускались цветы, и радуга повисала низко — прямо доставай рукой.

Вскоре после войны авиазавод построил несколько одноэтажных каменных домов в двух километрах от города. В один из них переехала наша семья. Дома сдали с недоделками, и мы с отцом неделю цементировали щели в шиферной крыше, засыпали шлаком чердак. Покончив с этой работой, отмерили положенные восемь соток и забили колья, распланировали будущие постройки, при этом отец учил меня «экономить пространство».

— На большом участке каждый развернется, — говорил. — Выжать максимум, используя минимум средств, — вот задача... И все надо делать на совесть. Некоторые прибьют что-нибудь на скорую руку, думают — держится, и ладно. Но, как говорится, ничего нет долговечней временных построек, только в неподходящий момент они рухнут. Мы все будем делать просто, без всяких красивостей, просто и надежно.

В одном углу чулана отец сложил садовый инструмент, в другом — плотницкий.

— Инструмент не кидай, — поучал меня. — Его надо беречь. И вообще все вещи надо беречь. Ведь их кто-то сделал, вложил труд. Надо уважать чужое ремесло.

В то время в магазинах инструмент появлялся редко (стояли одни лопаты и топоры); тиски, дрель, рубанок мы покупали на толкучке. Вот уж где было множество бесценных вещей! Там продавалось все что угодно — от поддержанных велосипедов и мотоциклов до картин старых мастеров и китайского фарфора, и в избытке всякие са-

моделки — некоторые с техническим совершенством... До сих пор я люблю барахолки — на них и сейчас продаются вещи, которых не найдешь в магазинах. К тому же на этих рынках особая атмосфера: среди продавцов и покупателей немало людей, умеющих ценить вещи, и встречаются истинные мастера своего дела; каждый раз, разговаривая с этими мастерами, я делаю открытия, набираюсь ценных советов.

Отец любил старые вещи — в свободное время что-то ремонтировал, чинил.

— Старые вещи надежнее, они проверены в деле, — говорил (он и одежду предпочитал подшитую, заштопанную — в новой чувствовал себя «как в скафандре»).

Отец учил меня добропорядочному трудолюбию: копать, экономно расходуя силу, пилить дрова, не изгибая полотно пилы, раскалывать чурбаны вдоль сучьев, укладывать поленья «колодцем», строгать лучины «елкой» и разжигать печь одной спичкой. Где и когда отец приобрел эти навыки, было непонятно. Он одинаково уверенно чувствовал себя и в огородничестве, и в столярных и плотницких работах. У него был наметанный глаз: что-то где-то подметил, запомнил, а потом его руки просто повторяли те движения. Но вот тайна — повторяли ловко, играючи, точно все это проделывали сотни раз. И меня отец учил ремеслам в процессе дела.

С каждым днем все больше обживались на новом месте: ставили сарай, вскапывали огород, закладывали сад; мать посадила в палисаднике шиповник и дельфиниум; отец принес щенка — оценилась собака при заводской проходной, его называли Челкашом.

Конечно, провинциалами родители стали поневоле, война поломала их судьбу, обрекла на бездуховную жизнь в захолустье. Они еще вспоминали прошлое, то и дело слышалось:

— А до войны в театрах... А раньше в Москве...

Но повседневные нужды все больше «заземляли» их до бытовых забот, постоянных хлопот о заработках... И все же мать была уверена, что рано или поздно мы вернемся на родину... Понятно, тот, кто не пил кокосовое молоко, и не хочет утолить им жажду, но кто пил... Мать выросла в Москве, там остались ее родные, и она не представляла жизни вне столицы и на Аметьево смотрела как на «временную уступку обстоятельствам».

Скорые поезда никогда не останавливались на нашем разъезде, только притормаживали, и помощник машиниста с подножки локомотива кидал на насыпь «паспорт» — железный обруч — и тут же хватал из рук дежурного по разъезду новый «документ». Это были настоящие цирковые трюки.

Пригородные поезда останавливались на разъезде утром и вечером, а товарняки — по несколько раз в день. Мы с поселковым мальчишкой Славкой вскакивали на подножки товарных платформ, и проезжали мост, потом тоннель, и в том месте, где колея шла в гору и поезд сбавлял скорость, прыгали под откос, и кубарем катились по насыпи, и бежали вниз к Казанке удить рыбу и купаться...

А иногда садились на пригородный и уезжали просто так куда-нибудь. Мимо мелькали горячие сосновые боры, и прохладные березовые рощи, и станции: Каменка, Высокая гора, Бирюли. Случалось, по крышам вагонов с другими безбилетниками скрывались от ревизоров, и тогда машинист притормаживал в тоннеле и поддавал пара — «выкуривал зайцев».

Однажды на крыше вагона разговорились с мальчишкой. Он оказался сиротой — его родители погибли на фронте.

— ...Качу на Урал, там можно подработать на стройках подмастерьем, — сообщил этот сорванец. — А на зиму отправлюсь в Среднюю Азию... Там тепло, ночуй где хочешь.

Мы слушали случайного попутчика и сильно завидовали его свободе и совсем взрослому опыту. Наш мир заканчивался пригородами Казани, мир этого мальчишки был безграничен.

Со Славкой на кладбище собирали семена липы, клена и акации; сбор сдавали в приемный пункт, а вырученные деньги складывали в копилки-кошки, хотели накопить на... велосипеды! Кажется, мы не накопили даже на одно колесо, но я помню тот азарт, когда мы трясли ветки клена и с них падали, крутясь, «носики», как обрывали стручки акаций и шарики липы и кричали друг другу:

— Смотри, сколько на том кусте (или дереве)!

Мы словно находились в лесу, вели себя без всякого почтения к усопшим, которые взирали на нас с фотографий. Слово «смерть» еще не доходило до нашего сознания; погибнуть геройски — на это мы еще могли согласиться, но просто умереть — ни за что. Мы задерживались только у памятника авиаконструктору Петлякову (создателю самолета «П-2»). На той гранитной плите виднелись осколы — по слухам, в памятник стреляли летчики, потому что на «П-2» погибло много их товарищей (будто бы из-за слишком высокой посадочной скорости самолета). По тем же слухам, Петляков решил доказать, что создал отличную машину, и сам сел за штурвал, но при посадке разбился.

В жаркие дни со Славкой купались в Шаланге; ныряли под плоты, а вынырнув, забирались на мокрые крутящиеся бревна и бежали по ним к берегу. Однажды я нырнул, а когда стал всплывать, ударился головой о бревно; проплыл еще немного, опять ударился. Открыл глаза — вокруг темнота; захлебываясь, в панике поплыл назад. Уже глотая воду, заметил в стороне светлое пятно — вынырнул в маленьком квадрате среди плотов — два бревна оказались короткими... Я висел на обессиленных руках, чихал, и кашлял, и глотал воздух, теплый, сладкий воздух, а надо мной носились ла-

сточки. Денек был — лучше нельзя придумать, а я чуть не утонул, вот так нелепо, случайно.

Мать не знала о моем безалаберном времяпрепровождении; отец догадывался и всячески пытался приобщить меня к чтению. Особенно классиков.

— Классика — вечные, доказанные ценности, — говорил он и кивал на толстые однотомники Пушкина, Гоголя, Куприна, Лескова.

Эти послевоенные издания (большого формата, с желтой газетной бумагой и простыми картонными обложками) стоили дешево и имелись во многих семьях. Надо отметить, что даже в те нелегкие годы русской классике придавалось первостепенное значение, и не только в издании книг: по радио передавали целые спектакли и оперы, в настенных отрывных календарях всегда красовались картины и стихи наших великих художников и поэтов. Но самую интересную книгу я моментально забрасывал, как только слышал свист приятеля за окном — обыденная реальность меня будоражила больше, чем книги и оперы. Лет до двенадцати я читал крайне редко и рисовал, только когда не было более «важных» мальчишеских дел.

Мать всегда была хорошим товарищем, с неподдельной радостной готовностью поддерживала любое наше начинание: с сестрой слушала музыкальные концерты по радио, изучала немецкий язык, вышивала; со мной клеила воздушных змеев, играла в городки и лапту. Зимой каталась с нами на лыжах в аметьевских оврагах, а возвращаясь домой, забирала у нас вареники и подкидывала в воздух, с детской непосредственностью изображала «салют». Она устраивала праздник по каждому, даже самому незначительному случаю. Немногие это умеют. Большинству все чего-то не хватает, а ей нужно было совсем немного для счастья. Именно это качество — умение быть счастливыми — она и пыталась вселить в нас, давала лекарство на все случаи жизни — свое жизнелюбие, свой оптимизм.



Мать излучала теплоту и бодрость, с ней было интересно, поэтому к ней тянулись люди, шли со своими обидами и горестями. У нее был редкий дар — сопереживать, чувствовать за других, она как бы принимала на себя часть чужих болей, успокаивала, приободряла, вселяла надежду на лучшее.

— Все будет хорошо! — ежедневно убежденно говорила она и улыбалась. Не смеялась, только улыбалась.

После смерти матери я долго хранил ее вещи: пишущую машинку, пальцы, некоторые вышивки, медальон, брошь, цветные открытки, которые она дарила нам на праздники. Все эти вещи пропали во время моих переездов, скитаний по квартирам. Сохранились только брошь и несколько любительских фотографий, в основном довоенных, со станции Правда: мать танцует с дядей Ваней, на втором плане — им аплодирует отец; мать держит на руках сестру; обнимает и целует Шарика... Есть фотокарточка, которую сделал я в Аметьево: мать стоит под цветущей яблоней. На всех довоенных снимках мать смеется, на последнем, моем, — только улыбается, да и то как-то печально.

## 11

Когда я думаю об отце, перед глазами мелькают заливные луга Займищ и озеро Аракчино, мелькают подсолнухи, пух одуванчиков, шишки... и высоченные чертополох и полынь, и вереницы кузнечиков и бабочек, и тропы, которые, точно ручьи, пересекают цепочки муравьев... Я вижу, как мы бежим с рыбалки — отец и я. Чуть в стороне — деревня, и дальше сквозь колеблющийся воздух — пестрое разнотравье с перезвоном кос и женским смехом. Мы подбегаем к косцам и пьем из ведра теплую, пахнущую жостью воду. Потом идем к станции, и отец говорит о том, что скоро мы разделаемся с долгами и начнем стро-

ить катер, чтобы можно было путешествовать. Он подробно обрисовывал будущую посудину, намечал маршруты плаваний.

— ...А вообще, — говорил, — особенно намечать маршруты не стоит, чтоб было побольше неожиданностей. В путешествии самое главное — выйти из дома.

Отцу так и не удалось осуществить свою мечту, но он заразил ею меня. Через много лет, когда я строил катер и потом отправился на нем в плавание, отец был рядом — я ощущал его присутствие и даже разговаривал с ним.

В последние дни недели отец собирал рюкзак, подготавливал снасти для ловли рыбы, втайне от матери покупал четвертинку водки, и в субботу вечером мы направлялись к пригородному... Мы рыбачили на всех станциях до самого Арска и ездили на Волгу в Юдино и Зеленодольск... Мне удивительно повезло, что именно там жил подростком. В те времена весь Арск утопал в зелени, от буйных садов ломились заборы, фрукты не успевали убирать, и они падали, перезрелые. Прямо на дороге валялись груши, яблоки, сливы, по ним ползали липкие осы... И Юдино было красивым. Светлым и чистым. Улицы пахли Волгой, на заборах сохли сети, поблескивая чешуей, как монетами. Над улицами нависали березы, рябины, тополя — идешь, как в зеленом тоннеле, и от шума листвы кружится голова. И очень красивым был Зеленодольск, с сыпучими обрывами, трехпалубными пароходами на Волге и высоченным мостом, по которому бежали зеленые вагоны поездов. И было много других красивых городов под Казанью... В детстве все огромное, почти неправдоподобное, и чем дальше отдаляется то время, тем больше Арск тонет в зелени и выше поднимается мост Зеленого Дола, а верхушки деревьев Юдино совсем исчезают в небе. Стираются детали, размываются лица, обволакиваются сказочностью. Все хорошее с годами становится еще прекраснее. У кого не так, у того нет привязанностей, его корни в воздухе.

Отец вставал в шесть утра, чертил за доской — подрабатывал на других заводах. Сквозь сон я слышал, как он затачивал карандаши, шелестел калькой, шуршал рейсиной, бормотал цифры... Уходя на работу, отец оставлял мне записку: «Поставь на чертежах стрелки». И пониже что-нибудь такое: «Вечером приходи на стадион. Наши играют с «Локомотивом». Или: «Просмотри удочки. Завтра махнем на рыбалку». Но все же чаще по утрам отец недолго работал в огороде, а чертил в основном по вечерам и перед сном еще успевал читать книги, которые брал в заводской библиотеке.

Многие годы — в сущности, всю жизнь, дома отец выполнял заказы для других заводов. В то время он работал для компрессорного завода, для завода пишущих машинок, для медицинского и сельскохозяйственного институтов, а позднее для фабрики спортивных товаров, для кондитерской фабрики и фабрики игрушек. И сейчас можно увидеть в магазинах вещи, сделанные по чертежам отца.

Некоторые называют левую работу халтурой. Это неверно. Халтура — работа на скорую руку, работа так себе. Отец все делал неспешно, добросовестно и отдавал работе все силы и способности. Он говорил:

— Работу можно считать законченной, только когда весь выложился, вложил в работу все умение.

Он-то «выкладывался» всегда: от самой первой своей работы до самой последней, и за всю недолгую жизнь ни разу не был в отпуске.

Особенно отца любили в цехах.

— У твоего отца не голова, а дом советов, — слышал я от слесарей и литейщиков. — Его чертежи не только точный расчет, но и сделаны красиво, как картинки. Все просто и ясно.

К тому же отец выпивал с рабочими, а, известное дело, это тоже сближает.

Мы с матерью помогли отцу. Мать чертила форматки, я ставил стрелки. Я увековечил себя на многих отцовских чертежах. Вначале у меня получались стрелки жирные, точно вороны, а через несколько лет, когда я отшлифовал мастерство, — уже тонкие, как индейские дротики. Я был уверен, что они придают отцовским чертежам немаловажную окраску. За эту помощь отец обещал купить мне фотоаппарат и велосипед. Он всегда держал слово и никогда не забывал своих обещаний: купил мне в комиссионке дешевенький фотоаппарат «Комсомолец», а позже на толкучке и подержанный велосипед.

Это были счастливейшие моменты. Я помню, какой испытал восторг, когда под красным светом карманного фонарика, обернутого галстуком, в миске с проявителем появлялись первые фотоснимки — как вначале изображение было мутным, еле различимым, но быстро, прямо на глазах, словно по волшебству, становилось все более четким и спустя несколько секунд превращалось в законченную конкретную картинку.

Помню чувство свободы и ощущение скорости, когда гонял на велосипеде по городским окраинам; гонял по извилистым тропам и утрамбованной колее с островками травы, где через колеса мне передавались все вмятины и бугорки на дороге и от каждого камня подбрасывало в седле. Иногда я влетал в лужи или песчаные наносы, велосипед резко притормаживало, но я не сдавался — сильнее налегал на педали — препятствия только закаляли мой спортивный дух. Я любил ездить по всяким покрытиям — по узким дощатым настилам, когда требовалось особое равновесие, и по мощеным мостовым, когда трясло все тело, но особенно — по гладким асфальтированным улицам — вот уж где можно было показать класс! Я разгонял велосипед до предельной скорости, обгонял не только телеги, но и тихоходные полуторки, и, бывало, даже трамвай и каждый такой обгон причислял к мировому достижению.

Став обладателем фотоаппарата и велосипеда, я запланировал приумножить свои богатства — к фотоаппарату решил купить настоящий красный фонарь и ванночки для химикалий, а к велосипеду — фару с динамкой и спидометр. Мне не удалось приобрести эту дополнительную атрибутику (в семье наступила очередная полоса безденежья), но и без нее я считал себя счастливецом.

...С работы отец шел медленно, заложив руки за спину, и была хорошая рабочая усталость в его неторопливой походке. Я и сейчас вижу, как он подходит к поселку, идет вдоль лесопосадок и вглядывается в наш двор; заметит меня, помашет издали рукой...

Что особенно важно, отец передавал мне свой жизненный опыт без нудных нравоучений и подзатыльников, только личным примером и ненавязчивыми советами. Некоторыми из них я пользуюсь до сих пор: «общаясь с людьми, ставить себя на их место», «в споре с друзьями видеть и свою неправоту, а в споре первому идти на примирение».

Некоторые советы отца были довольно спорными. Будучи крайне скромным, он, например, советовал мне никогда не выпячиваться, оставаться в тени, а ставя перед собой какие-либо цели, предполагать, что они могут и не осуществиться, чтобы потом, если ничего не получится, легче пережить поражение. Эти советы я принимать не собирался, поскольку от матери унаследовал уверенность в себе и дух лидерства. Но с годами, каким-то странным образом, эти советы отца все же победили материнскую наследственность, и, когда я серьезно занялся живописью, постоянно сомневался в том, что делал. А сейчас сомневаюсь и во многих других своих работах и вообще сильно недоволен собой.

Летом отец брился наголо, ходил в белом полотняном костюме и в белых парусиновых ботинках, которые чистил зубным порошком. Галстуки не носил, брюки гладил

редко, вообще одежде большого значения не придавал. А мать царственно пренебрегала своим внешним видом. Конечно, основную роль играли деньги, которых постоянно не хватало, и перед каждой получкой влезали в долги, а то и сидели на хлебе и картошке.

— Пустяки! — неунывающим голосом восклицала мать. — Это временные неприятности. Скоро наш глава семьи, Анатолий Владимирович, заработает кучу денег, кое-что я получу, и мы устроим чудесный обед с шампанским и выпьем за то, чтобы скорее вернуться в Москву.

— Не знаю, не знаю, — подавленно откликнулся отец.

Он уже смирился с жизнью в захолустье и все чаще приходил домой выпивши. Втайне от матери говорил мне:

— С завода меня не отпустят. Есть приказ: эвакуированные заводы оставить на местах и расширить... Да и никто нас не ждет в Москве. Никому мы там не нужны. Мы там все потеряли.

...Долгое время я хранил вещи отца, дорогие мне мелочи: очки, готовальню, линзу, пенал с огрызками карандашей, перочинный ножик со стертым, от долгого употребления, лезвием. Потом, как и вещи матери, все это куда-то пропало. Остались только очки.

Есть фотография: отец сидит в плавках на огромном валуне посреди реки. На обороте смешная надпись: «Анатолий изображает Нептуна. Снимок сделал его закадычный друг, фотограф высокого класса Иван. Истра. 1939 г.».

...Несколько лет назад я прошел по Истре на байдарке и на всем протяжении реки обнаружил только один валун. Судя по местности, это был тот камень, на котором дядя Ваня запечатлел отца. Был знойный полдень, и с валуна в воду с гиканьем прыгали мальчишки; они мешали мне сосредоточиться, я никак не мог вызвать образ отца. Смотрел на отполированный временем камень и думал: «Надо же, прошло почти сорок лет, а исполин не разрушился. И сколько он повидал на своем веку, и сколько еще увидает! И как

быстротечна и коротка человеческая жизнь — вот и я мимо него плыву, а когда-нибудь, вслед за мной, проплывет кто-нибудь из моих потомков...»

## 12

Я смотрю на послевоенные фотографии и вспоминаю Волгу, горячий песок отмелей, и лодки, пахнувшие дегтем, и наш дом, весь в черемухе. Где-то там, в рощах подсолнухов, в буйных зарослях лебеды и крапивы, с самокатом и деревянным ружьем, затерялось мое детство. Убежало босиком по теплым дождевым лужам туда, где скрипят телеги во ржи и на перекатах плещет рыба. Его уже не догнать.

В детстве мне всегда не хватало времени, и я постоянно бегал: к друзьям — через огороды и дыры в заборах, на базар — по рассохшимся мосткам, в керосинную лавку — по шпалам и мостовой. Бегал и когда совсем не спешил. С утра, как только просыпался, обегал всех соседей и узнавал, кто что делает, потом прибежал на речку, шатался среди рыбаков, лазил по лодкам. Днем носился по лугу и догонял тени облаков или бегал вдоль шоссе, пытаюсь сравнить свою скорость с машинами. Иногда мне хотелось узнать, что находится за лесом, и я убежал далеко от поселка и возвращался поздно, взмокший и запыленный.

Помнится, все хотелось сделать что-нибудь необыкновенное, только что именно, никак не мог придумать и все силы тратил в бег. Я торопился жить и не задумывался над тем, что дни один за другим уходят безвозвратно, навсегда. Целыми днями я носился как очумелый и не уставал от ошеломляющей гонки, только когда нужно было бежать в школу, чувствовал себя уставшим и переходил на шаг. И всегда опаздывал.

— Что ж ты все время опаздываешь? — сказал как-то учитель. — Вчера на улице так бежал, чуть меня не сшиб.

Даже не заметил. А в школу еле плетешься. Ты, конечно, способный, но очень несобранный, и, если не возьмешься за ум, плохи будут твои дела.

Когда я немного подрос, то заметил, что не так уж много дел и людей, к которым надо спешить. И я стал редко бегать. Только, когда я это понял, кончилось мое детство. Но то немногое, что отфильтровалось временем, с годами для меня приобрело настоящую ценность. Это прежде всего нравственная чистота и доброта в людях, трудолюбие, влюбленность в свое ремесло, любовь к растениям и животным...

Станция Аметьево была дощатая, в пыльных струйках солнца. Тонкие доски просвечивались насквозь. Доски были красные, с темными прожилками смолы. Было хорошо сидеть в тени станции и смотреть на убегающие рельсы. Прислонишь ухо к горячему рельсу и услышишь, далеко ли поезд... Прогромыхает товарняк, упругий ветер ударит; сосчитаешь вагоны, на последнем парень с зеленым и красным флажками — подмигнет, улыбнется. Товарняк мчал в Юдино, потом в ВРП и дальше, через станцию Обсерватория, в город Зеленодольск.

Нам со Славкой казалось, что там, за Зеленым Долом, начинаются большие и шумные города, где жизнь гораздо интереснее, чем в нашем захолустном поселке. Долго мы собирались отправиться в путешествие и вот однажды утром, когда родители ушли на работу, набили в сумку еды и зашагали в сторону Юдино... Вначале спешили, почти бежали, боялись, что догонят, но, когда поселок скрылся за поворотом и полотно углубилось в седой ельник, пошли медленней. Постепенно ельник сменили сосны, они подступали к самым рельсам, и дорога была пружинистой, устлана хвоей. Вскоре показалось Юдино. Одноколейный путь веером разбежался на запасные пути, где стояли прокопченные платформы и цистерны; из депо выходили паровозы, гремели буфера, горели тормозные колодки, разнося запах жженого железа. Некоторое время мы смо-



трели, как на разогретых механизмах маневого шипит масло, вдыхали запах сладкого пара и смазки.

...Паровозы моего детства! Краснокошесные тудяги с блестящими латунными свистками! Они доживают свой век в заброшенных тупиках, ржавые, поломанные. И никому не придет в голову отремонтировать их, поставить на пьедестал... Не так давно в Мытищах на старом запасном пути я заметил полуразобранный паровик; подошел, покурил, вспомнил детство... И машины «Победа», и старый декор в квартирах — этажерки, абажуры, патефоны, круглые будильники с блестящим звонком и многие другие символы прошлой эпохи всегда возвращают меня во времена детства и юности, я подхожу к ним, поглаживаю, люблюсь добротной работой.

...После Юдино мы со Славкой шли по тропе вдоль железнодорожной колеи, среди берез — они пахли свежестью и слепили белизной. Недалеко от ВРП на одной из полян заметили парня в соломенной шляпе; он рвал траву и бросал в корзину; увидев нас, кивнул:

— Привет, ребята! Ну-ка помогите собрать пастушью сумку.

— Какую сумку?

— Пастушью. Эта трава называется пастушья сумка, — парень показал на растения, у которых листья были как зеленые капли. — Она лекарственная. Я собиратель лекарственных трав.

Мы со Славкой присели, стали рвать траву.

— А вот этот цветок — иван-да-марья, — парень поднял тонкий стебель с желтыми цветами. — Его не рвите, ядовит. Если у коровы горькое молоко, значит, обьелась иван-да-марьи...

Когда корзина доверху наполнилась травами, парень сказал:

— Ну спасибо, ребята, подсобили! В благодарность покажу вам растения-хищники. Хотите?

— Еще бы! — выдохнул Славка.

— А разве есть растения-хищники? — спросил я.

— Сейчас увидишь, — парень махнул рукой. — Пошли!

Мы бросились за ним по тропе; на ходу он говорил:

— Эти растения питаются насекомыми. Растут у болот, где полно насекомых, и выделяют липкую жидкость, похожую на росу. Завлекают любопытных букашек... Эти хищники красивые. Их даже выращивают в оранжереях. Но, не питаясь насекомыми, они растут плоховато, иногда совсем чахнут... Вот здесь!

Он остановился у болота, присел на моховую кочку и показал на круглые листья с вереницей красных ресниц.

— Видите? На конце каждой ресницы блестит капля слизи, как роса. Потому растение и называют росянкой.

Над росянкой запищал комар. Увидел каплю, захотел, наверно, напиться, сел и прилип. И ресницы сразу стали сгибаться над комаром, одна за другой, как застежки-молнии. Комар отчаянно барахтался, но еще больше увязал в слизи. Скоро и края листка свернулись, совсем комара закрыли.

— Ну вот! — вздохнул парень. — Через день-два листок раскроется, а от комара останутся одни крылышки. Растение всосет его... Иногда и жуки попадаются. Сильный еще вырвется, а маленький так и погибнет, — он бросил на соседний лист песчинку, и лист сразу свернулся.

— За насекомое принял, — засмеялся парень. — Но скоро распознает обман и раскроется.

Мы со Славкой сидели потрясенные, ведь стали свидетелями удивительного зрелища. Почему-то сразу расхотелось идти в большие города. Мы вспомнили, что и в аметьевских лугах есть такие же травы, только раньше мы и не замечали их.

Это было моим первым и самым лучшим путешествием. Тогда я впервые понял, какое это счастье — познавать мир, тогда в меня вселилась непроходящая жажда к стран-

ствиям. И теперь, когда мне надоедает все окружающее, когда приедается привычное, когда перестаю замечать предметы, понимать их назначение и смысл, я отправляюсь путешествовать и каждый раз, возвращаясь, нахожу много необыкновенного в обыкновенных вещах.

### 13

В нашем поселке никто не отгораживал свои участки, только у стариков Табалаевых стоял высоченный забор и на калитке чернела надпись: «Осторожно! Злая собака!». Сквозь решетки на их окнах виднелись хрустальные тюльпаны на люстре и красно-синие ковры. В то послевоенное время многие переживали за родных, без вести пропавших на фронте и потерявшихся во время эвакуации, но у Табалаевых были переживания другого рода — им всюду мерещились грабители. По поселку они ходили вкрадчиво, на соседей смотрели то недоверчиво, подозрительно, то елейно улыбаясь. Они напоминали осьминогов, постоянно меняющих окраску от всяких врагов. Для охраны грядок от наших набегов Табалаевы держали низкорослую собаку Кармен. Когда мы проходили мимо их забора, Кармен бросалась на рейки и яростно лаяла, разбрызгивая слюну.

— Маленькие собачки злее больших, и едят меньше, — говорил Табалаев, сухопарый старик с редкой бородой, в которой пряталась ухмылка.

По утрам мы со Славкой рыбачили в Займище. Как-то пришли на озеро, но не успели поймать и по одной плотвичке, смотрим — невдалеке причалил лодку Табалаев с невероятным уловом: на веревке-кукане сверкали крупные лещи. Табалаев подошел к нам, поздоровался, приподнял лещей, чтобы мы их лучше разглядели, и, ухмыляясь, направился к поселку.

На следующее утро мы встали до рассвета, дома в поселке еле угадывались в тумане. Когда пришли на озеро, еще не взошло солнце, но лодки Табалаева уже не было. Он появился к полудню. Еще издали с невообразимым пижонством приподнял кукан, и мы оторопели — лещей было больше, чем в прошлое утро.

После этого мы еще несколько раз встречали Табалаева, и всегда с неправдоподобным уловом; он явно рыбачил в каких-то таинственных, удачливых местах. Мы представляли, как он с вечера чем-то подкармливает рыбу, а утром, задолго до рассвета, закидывает удочки с разными насадками и смачивает их всякими маслами для запаха. Мы были уверены: Табалаев — великий рыболов. Однажды, чтобы выследить его места, заночевали у озера. С вечера разожгли на берегу костер, напекли в золе картошки; перед сном, подражая таежникам, сдвинули костер в сторону, постелили куртки на горячий песок и задремали.

Проснулись засветло от холода, но не успели запалить костер, как показался Табалаев. Он шел вдоль берега с удочками и садком из прутьев. Поравнявшись с нами, поздоровался, стал складывать в лодку снасти. Мы тоже отвязали свою плоскодонку. Табалаев ухмылялся, поглядывал на нас, что-то бормотал о хорошей погоде; он не подозревал про наш отчаянный план, а мы делали вид, что просто хотим половить с лодки. Налетел ветер, гладкая поверхность озера сморщилась и задрожала. Оттолкнувшись от берега, Табалаев пожелал нам удачи и повернул в сторону. Увидев, что мы тоже разворачиваемся, нахмурился и налег на весла.

На середине озера Табалаев остановился и стал разматывать удочки. Мы нахально встали в пяти метрах и тоже приготовились удить. Было ясно — Табалаев нарочно остановился на глубине, чтобы не показывать свои места, а мы ждали, как он будет выкручиваться из ситуации; сдавать-

ся мы не собирались и запаслись бесконечным терпением. Табалаев несколько раз перекидывал удочки, но на них ничего не было. У нас тоже не клевало. А солнце уже поднялось высоко над горизонтом. Наконец Табалаев не выдержал: подъехал к камышам и начал что-то нащупывать в воде. Мы привстали. Вначале показался край сетки-верши, потом сильно плеснуло, и в руках у Табалаева сверкнул огромный лещ, потом еще один. Выбрав рыбу, «великий рыболов» опустил вершу, посмотрел на нас и усмехнулся.

— Вот так, молодые люди. А иначе нельзя. Вывелась вся крупная рыбица, а та, что осталась, жуть как осторожная... А удочки для отвода глаз, поняли? Но смотрите, никому ни-ни...

Стало жарко. Поплавки наших удочек отнесло в сторону, и они затерялись в осоке. Мы сидели в лодке и никак не могли осмыслить стариковскую хитрость. Назад плыли молча, плыли в опрокинутом небе, прямо по облакам.

Озера Займищ! Озера-блюдца, соединенные протоками, — прозрачные воды, плавающие острова с живописными травами... До сих пор я помню запахи влажного песка, прибрежных ив, ракушек; перед глазами проплывают серебристые плотвички с ярко-красными плавниками, над водой висят стрекозы с сетчатыми крыльями... А какие колоритные деревни были на косогорах! Страшно подумать, что ничего этого уже нет. Все исчезло под водой, после того как построили гигантскую плотину. Кое-где в затопляемой местности даже не удосужились разобрать дома, спилить деревья, отловить и вывезти зверей... Теперь на месте Займищ бескрайняя акватория, из которой торчат мертвые верхушки деревьев как памятники экологической катастрофы. В солнечные дни с пароходов сквозь толщу воды видны погибшие деревни, купола церкви. Волга теперь мутная, с пятнами мазута, в ней редко встречаются лещи, а стерлядь можно увидеть лишь в краеведческом музее... А была Волга сине-желтая, с песчаными островами...

Мы со Славкой все дни пропадали на Волге: ловили голлавлей в затоне, плавали к плотам. Домой прибегали лишь к обеду, да и тот съедали на ходу и снова мчали к волжскому обрыву, прыгали в глубокий песок и бежали по берегу, усыпанному хрустящими ракушками, в Шалангу. Не было лучшего места на свете! Там над обрывом в зеленом шуме тополей не смолкая кричали птицы и солнце хлестало по волнам и слепило, отражаясь от воды, как от зеркала. Там буксиры тянули баржи, а на фарватере встречались трехпалубные пароходы, приветствовали друг друга гудками и шли дальше, не останавливаясь на нашей пристани. Там у старых свай в луже расплавленного дегтя лежала плоскодонка — мы ходили на ней, представляя себя пиратами.

Вставали на рассвете, когда дрожала листва деревьев и высоко белела луна; отвязывали лодку и, отталкиваясь веслами о дно, скользили по мелководью. Вода просвечивалась насквозь: на песчаном дне, как драгоценности, сверкали створки моллюсков, и стайки мальков неподвижно держались против течения. Мы выходили к месту, где на дне колыхались травы и лежал ржавый якорь, похожий на мертвого осьминога. В том месте пологое дно обрывалось, и дальше темнела «чертова яма». На ее поверхности крутились водовороты — бешеная вода даже в жару была холодной. Говорили, в «яме» бьют подземные ключи и что они сводят ноги и затягивают в воронки. У «ямы» мы забрасывали в воду сеть. Пользоваться сетью запрещалось, но какой подросток не хочет столкнуться с опасностью?!

Недалеко от Шаланги находился остров Маркиз, где, по словам рыбаков, водились целые косяки рыб, но на острове жил бакенщик Макар, гроза браконьеров. Однажды мы решили подплыть к острову и забросить сеть с наступлением темноты...

Стерляди попало много, и, пока ее выбирали, пошел дождь, по воде захрустели тугие плети. Мы уже повернули к берегу, как вдруг послышалось тарактение мотора

и по воде стал шарить луч прожектора; скользнул по нашей лодке и замер. Мы неистово гребли, стараясь уйти с освещенной поверхности, но сноп света точно прилип к лодке и слепил сквозь сетку дождя — мотобот приближался. Внезапно наша посуда накренилась и, зачерпнув бортом, стала быстро погружаться.

Мы плыли в темноте. Течением сносило куда-то в сторону. Я несколько раз хлебнул воды, и меня тошнило. Потом отяжелели руки, и я стал сдавать, но рядом плыл Славка и кричал, что до берега осталось немного...

Нас подобрал бакенщик Макар, бородатый мужик с крепкими пальцами, потемневшими от долгой работы на реке. Он развешивал над печкой нашу одежду и ворчал:

— Что ж вы, пираты... С водой шутить нельзя. Так бы и пошли плотву кормить, если бы у меня не бакен на перекате. Мигает, черт его подери! Все езжу его поправлять.

Бакенщик поставил на стол кастрюлю с ухой, дал нам ложки, закурил и, как бы разговаривая с самим собой, усмехнулся:

— Ох уж эти браконьеры, черт бы их побрал! Вчера один заоханил килограммов двадцать, и все стерлядка... Около ямы, подлец, оханил. Знаете Чертову яму?

Мы кивнули и нагнулись к тарелкам.

— Не дело это, — Макар строго посмотрел на нас. — Ведь наша, волжская, стерлядь во всем мире ценится... Благородная рыба. Ее ж разводить надо, а не губить...

Макар постелил на полу телогрейки, и мы легли, прижавшись друг к другу. Было тихо, пахло илом и соленой рыбой, где-то басил пароход.

Когда мы проснулись, в избе Макара не было; чуть дымила потухшая печка. Дверь открылась, и на пол плеснуло солнце.

— Вставайте, пираты! Катер на поселок сейчас пойдет.

В двери стоял улыбающийся Макар, весь в песке и рыбьей чешуе. Мы выбежали на крыльцо. Дождь давно кончился; бе-

лые отмели сверкали на солнце, в небе, точно рыбешки в гигантском аквариуме, играли ласточки. Мы бросились вниз, к Волге; бежали наперегонки к катеру, кричали и размахивали руками; бежали изо всех сил по мелководью, поднимая брызги, разгоня мальков. Нас заметили, подождали, помогли забраться; катер рванул с места, и пласт воды, зажигаясь пеной, понесся к берегу.

Я вспоминаю еще одну рыбалку, где-то около станции Дербышки. Ничего особенного не произошло, просто была теплая ночь; разогретое за день сено пахло клевером и луговой клубникой, где-то далеко урчал буксир, и оттуда-то слышались грустные вечерние песни.

Мы со Славкой лежали на стоге и смотрели на звезды и, когда падала звезда, загадывали про себя желание. В ту ночь был настоящий звездопад, и мы загадывали столько желаний, что нам казалось, если осуществится хотя бы часть из них, будем невероятными счастливыми. Я смутно помню те желания, но, по-моему, они осуществились все, только счастливым я не стал и до сих пор кое-что загадываю, только теперешние желания несоразмерны с теми, мальчишескими.

С тех пор прошло много лет, но иногда я снова вижу тот звездопад, слышу те звуки, ощущаю те запахи, как будто унес с собой частицу той ночи. Это память цвета, звуков и запахов. Замечательно все же, что в памяти можно вернуть прошлое. Особенно детство — страну самых широких рек, и самых высоких деревьев, и дней, наполненных до краев событиями.

## 14

Когда я окончил седьмой класс, мы с отцом съездили в Бирюлинский зверосовхоз и купили пару ангорских кроликов. В скором времени кролики расплодились, но одна



крольчиха все время устраивала подкопы под выгоном и убегала в огород. После ее набегов с грядок исчезали отборные овощи. Что только я не делал с этой свободолюбивой крольчихой! Сажал в отдельный выгон, запирал в клетке — она всякий раз одурачивала меня, находила лазейку и убегала.

Однажды, заметив проказницу на грядке, я, изловчившись, запустил в нее гольшом. Она пискнула и долго трясла ушибленную лапу, а я испытывал злорадное ликование. Мальчишеская неосознанная жестокость! С того дня она не убегала, сидела, как все, в выгоне. И вот тут-то, я точно помню, мне вдруг стало в ней чего-то не хватать. Понадобилось немало лет, пока до меня дошло, что я убил в животном самое ценное — индивидуальность.

В четырнадцать лет, начитавшись книг про ковбоев, я решил стать охотником. Отец дал деньги на подержанную одностволку, и я стал упражняться в стрельбе. Первое время стрелял по консервным банкам и в воздух — отпугивал коршуна, кружащего над садом и высматривающего крольчат. Но однажды, когда в семье совсем не было еды, я заметил, что на поле опустилась стайка диких голубей, и уговорил мать выступить в роли загонщика. Она согласилась, обошла птиц и вспугнула, подгоняя к моей засидке. Я выстрелил «бекасником», и две птицы упали на землю. Дома их ощипали, опалили соломой и сварили. В тот день я почувствовал себя настоящим охотником-добытчиком.

Мне нравилась сама охота, нравилось выслеживать добычу, подкрадываться к ней... Вышагивая по заболоченным перелескам, я ощущал себя неким завоевателем, покорителем новых земель, но убивать мне никого не хотелось, хотя и было стыдно признаваться в мягкотелости. К счастью, мои трофеи можно пересчитать по пальцам.

Я вспоминаю первую убитую утку. Над озером летела пара чирков. До них было далеко, и я не очень-то надеялся, что дробь долетит, — выстрелил, просто чтобы раз-

рядить ружье; после выстрела чирки продолжали лететь рядом, но потом одна утка начала медленно снижаться и упала на середину озера. С полчаса ее прибывало к берегу, и все это время второй чирок кружил над водой. Я нашел упавшую птицу в камышах; вокруг нее расплывалось темно-красное пятно. Утка смотрела на меня снизу и тихо крякала, точно просила о помощи.

Как-то Славка прибежал ко мне и выпалил:

— Пойдем покажу, кого я подстрелил! (Он стал охотником раньше меня.)

В их сарае на полу сидел огромный филин с перебитым крылом. Меня поразила необыкновенная красота ушастой птицы и особенно ее горделивая осанка, несмотря на беспомощно оттопыренное крыло. Мне стало не по себе, и я стал отчитывать приятеля за то, что он покалечил полезную птицу ради своей меткости, а про себя решил больше никогда не брать ружье в руки.

Я вспоминаю толстых рыжих сусликов, которые пересвистывались по утрам, и вижу их наполненные страхом глаза, когда они плыли из затопленных норок. Вспоминаю нашего поросенка Мишку, который радостным хрюканьем приветствовал и кроликов, и Челкаша, и все наше семейство, а в день, когда его должны были зарезать, отказался от своего лакомства — моркови; стоял, прижавшись к забору, тревожно сопел и пугливо косился по сторонам.

Одно время у нас кроме кроликов и поросенка была еще коза Катька с козленком. Зимой в морозы на ночь животных приводили домой. Помню, как они долго и шумно топтались на кухне, а потом засыпали у печки вповалку, при этом Челкаш, на правах хозяина, занимал лучшее место — носом к порогу, где в щель из-под двери тянул холодный воздух; рядом ложилась Катька с сыном, кролики пристраивались между ними. Последним, приветливо похрюкивая, осторожно, боясь на кого-нибудь наступить, протискивался в середину Мишка, но, когда плюхался, все

равно кого-нибудь придавливал — слышались писк, сопенье, ворчанье, потом все стихало.

Я помню всех дворовых собак в поселке, всех наших животных.

— Животные должны быть в каждом доме, — говорила мать, — ведь они делают нас добрее.

Именно мать вселила в меня любовь к «братьям нашим меньшим», причем ко всем, даже к самым невзрачным на вид. Как-то, задолго до охотничьих «подвигов», мы со Славкой поймали паука «косиножку», оторвали у него ногу и долго пялились на ее подергивание. В этот момент сзади подошла мать и дала мне подзатыльник.

— Живодеры! Ему ведь так же больно, как и нам!

Эти слова я вспомнил в тот день, когда решил навсегда покончить с охотой, и в дальнейшем вспоминал не раз, а став взрослым, прочитал у Брэма, что ни один зверь не охотится ради забавы, это делает только человек. Сейчас, вспоминая раненого филина и убитых уток, я думаю, что человек может многое сделать, но живую птицу не сделает никогда.

Как известно, многие животные предчувствуют смерть. Как-то под осень мимо школы гнали на бойню коров, и стадо было охвачено паническим страхом: коровы ревели, метались из стороны в сторону; погонщики, выкрикивая ругань, неистово щелкали кнутами...

В другой раз из двора за станцией мальчишка хворостинной пытался погнать гусят на убой. До этого он ежедневно выгонял гусят из загона, и они, весело гогоча, переваливаясь с боку на бок, торопливо шлепали к озеру. А в тот день сбились в кучу и испуганно кричали...

Повзрослев, я стал таким сентиментальным, что даже перестал удить рыбу, а однажды собрал все охотничье снаряжение и утопил в озере. С тех пор я подкармливал воробьев, ворон и галок, прижигал лишай бездомным кошкам, нескольких собак вылечил от чумки, не раз выкупал

дворняг у собаколовов... А сейчас стараюсь быть вегетарианцем... Недавно в мою комнату влетел голубь со спутанными леской лапами — видимо, вырвался из силка. Голубь плюхнулся прямо на стол и, пока я распутывал леску, спокойно стоял, не дергался. В этот момент я наконец понял свое истинное призвание — быть ветеринаром — и стал подумывать о домишке на окраине, чтобы лечить бездомных бедолаг...

Сейчас я думаю, что и мыши, и пауки, и тараканы — все, за исключением кровососущих, в сущности, равноправные жильцы в домах, и по какому праву мы выживаем их? Подумаешь, съедят корку хлеба! Когда я делюсь этими мыслями с приятелями, они ухмыляются и крутят согнутым пальцем у виска.

...В летний полдень в поселке некуда было спрятаться от зноя, но приходилось пилить и колоть дрова, носить воду для полива грядок. По вечерам, когда жара спадала, поселчане работали в огородах, перекидываясь через изгородь словами с соседями. Позднее взрослые занимались домашними делами, а ребята собирались на волейбольной площадке в центре поселка. В вечерней тишине до городской окраины доносились тугие удары мяча, а с окраины слышались пластинки Виноградова, Утесова, Шульженко...

Ночевали под открытым небом, как когда-то на Правде. Крышей нам служили облака, стенами — деревья в саду; пахло сухой землей и травами, слышался далекий городской гул, изредка подрагивала земля от грохота ночных поездов.

Летние дни пролетали быстро, и в памяти они как радужные мыльные пузыри, но что запомнилось — широкий ромашковый луг за нашим поселком. Это было настоящее половодье цветов. До сих пор они стоят перед глазами — яркие, крупные, колеблемые невидимым ветром... За свою жизнь я много поездил по средней полосе России и бывал

на Севере и в Сибири, много видел красивых лугов, но такого, как тот, не видел нигде. Может быть, потому что он луг моего детства...

С чем с чем, а с цветами мне повезло: где бы мы ни жили, они были неотъемлемой частью пейзажа. На Правде росло множество колокольчиков, перед общежитием цвел подорожник, Аметьево окружали ромашки. Странно, но позднее, посетив места своего детства, я нашел многое не тронутым временем, но цветы исчезли всюду, как будто и не росли там никогда.

## 15

Зимы в Аметьево были метельные. Случалось, так заваливало снежной массой, что отрезало дома друг от друга. После таких снегопадов поселок становился невидимкой: поезд проносился, пассажиры его и не замечали — так, два-три окна, робко выглядывающие из-за сугробов. Но вот зажегся один огонек, на мерзлом стекле появились оттаявшие пятнышки, из трубы потянулась струйка дыма, еще вспыхнул огонек, еще одна труба закурилась. Из поселка потянулась первая цепочка следов, потом еще — утрамбовалась тропка, перекликнулись школьники, залаjali собаки, ожил поселок.

В темное морозное утро в комнате было холодно, и не хотелось вылезать из-под одеяла, но отец будил, и мы откапывали замурованную дверь, засыпанные проходы к сараю и туалету, копали траншеи деревянными лопатами, выпиливали огромные снежные кирпичи. С коромыслом и ведрами по колено в снегу тащились на колонку, наливали воду в бак и раковину, приносили из сарая тяжелые, налитые льдом поленья, растапливали печь, из промазанных глиной щелей просачивался дым, ел глаза, но постепенно дрова разгорались, печь начинала гудеть, в комнате стано-

вилось теплее... Я залезал на сеновал, доставал для кроликов летние запасы — сладко пахнущие осиновые веники, потом спускался в погреб за овощами, из которых мать варила борщ. После завтрака отец спешил на завод, мать — на рынок, мы с сестрой — в школу.

В шестом классе я учился во вторую смену, и в ту зиму, если к вечеру начиналась метель, отец встречал меня у школы — на всякий случай, чтобы я не сбился с пути и не обморозился. Представляю, каково ему было после работы, уставшему, прийти в поселок, поужинать и снова тащиться по сугробам в город.

Однажды после школы мы со Славкой встретили странного мальчишку; он крутился около будки стрелочника, пугливо озирался и прятался от каждого проходящего мимо взрослого. Заметив нас, подошел.

— Пацаны, принесите чего-нибудь поесть.

Первое, что мы подумали, — он какой-то воришка, но, когда принесли еду (вареную картошку в мундире, хлеб, овощи), мальчишка рассказал, что сбежал из детского дома и добирается в деревню к бабушке.

— Хочу сесть на пригородный, — пояснил мальчишка, расправившись с едой. — Да он только утром пойдет... Надо где-то переночевать.

Мы со всей серьезностью вошли в положение бедняги и предложили соорудить эскимосское жилище. Мальчишка усмехнулся, посмотрел на нас как на идиотов и, не попрощавшись, направился к станции. Второй раз (после мальчишки, с которым ехали на крыше пригородного) я столкнулся с сиротой и задумался над его сложной судьбой. Вечером об этой встрече рассказал отцу.

— Что ж не пригласил паренька к нам? — пристыдил меня отец и, помолчав, как бы размышляя, добавил: — А сколько сейчас, после войны, бродит по стране таких подростков?! Остаться без родителей — трагедия. Я это знаю, ведь тоже рано потерял отца и мать...

Тогда еще в нашей семье все складывалось более-менее благополучно, и это благополучие я считал само собой разумеющимся и только в зрелости, потеряв родителей и сестру, понял, какое это счастье — иметь крепкую дружную семью.

Особенно запомнились зимние воскресные дни, когда я просыпался позднее обычного, когда сквозь щели в ставнях комнату пересекали узкие солнечные лучи; потом слышался скрип снега под окном — отец открывал ставни, и в комнату врвался водопад света. Я вскакивал с постели, надевал валенки, рассматривал затейливые узоры на стеклах; бежал в чулан к рукомоюнику — обжигаясь, плескал на лицо холодную воду; выходил на обледенелое крыльцо — утро было яркое, звонкое; на сугробах искрился пухлый ночной снег; меж домов, как гирлянды, провисали провода, покрытые мохнатым инеем, среди кустов мелькали синицы...

К Новому году готовились за месяц: красили акварелью бумагу, нарезали ленты, клеили цепи, корзинки, хлопушки... Украшение елки был скромный и трогательный обряд: кроме самоделок на нее вешали конфеты и печенье, отец приносил с завода металлическую стружку — она заменяла серпантин.

Мы вообще все делали сами: еще в общежитии из швейных катушек вырезали шашки и шахматы, из тряпок сшивали кукол для домашнего театра, из осколков зеркал склеивали калейдоскопы, из фанеры выпиливали хоккейные клюшки, из подшипников и досок мастерили самокаты, из коробок и линз — фильмоскопы, а ленты к ним рисовали красками на кальке — получались настоящие цветные диафильмы с титрами. В Аметьево мы собирали детекторные радиоприемники, из оптических стекол делали подзорные трубы и строга́ли лыжи из досок, выгибая носы в кипятке. И делали многое другое. Моим сверстникам был присущ интерес ко всему новому, жажда преодоления, открытия...

Сейчас у ребят пластмассовые механические игрушки, у подростков — велосипеды с тремя скоростями, магнитофоны, роскошные коньки и клюшки, но нет у них навыков к ремеслам, уж я не говорю о том, что елка, украшенная самоделками, теплее и дороже елки с магазинными игрушками, так же как и все другое, сделанное своими руками...

Иногда я вижу: ребята бросают на помойку чуть надтреснутые лыжи, погнутые санки и тут же катят с горы на листах фанеры. Это от пресыщенности. Ведь и среди взрослых встречаются люди, которые в полном благополучии выдумывают себе трагедии, но в несчастье все мечтают о сказке с хорошим концом.

Теперь молодые люди раскованные, у них современные интересы, они опустили многие условности, у них новая философия — свобода во всем. Глядя на них, я чувствую, что безнадежно отстал, даже выпал из жизни — так далеко они ушли вперед. Я не знаю, чего они хотят, против чего протестуют, к чему призывают. Наверное, они правы. Ведь каждое новое поколение не согласно с отцами, ломает устоявшиеся ценности и выдвигает свои. Но ведь поколение — это не новый биологический вид, а люди, носители своего времени, сделавшие определенный вклад в культуру. И вот здесь я не понимаю теперешних молодежных идиологов — парней с гитарами, которые подпрыгивают и завывают кастратами. В их оглушающих ритмах две-три ноты и повтор одних и тех же слов, которые, кстати, и не нужны. Но слушатели, охваченные ажиотажем, воют и топчут и, подчиняясь каким-то законам мимикрии, превращаются в дикую, неуправляемую толпу, в которой человек перестает быть личностью. Я не против этих ритмов, пусть каждый играет, что хочет, но мне жаль этих ребят — не интересуясь другой музыкой, они обедняют свою жизнь.

Сейчас я задаюсь вопросом: неужели людям надо одуреть от отупляющей массовой культуры, чтобы потянуло к классике; пресытиться распутством, чтобы вернуться



к благочестию; дойти до вопиющего богатства, чтобы до-вольствоваться скромным образом жизни?

Наверное, эти воспоминания выглядят старческим ворчанием — возможно; но, когда видишь на улицах нагло-ватых, самоуверенных парней, которые крутят на пальцах ключи от иномарок, жуют жвачку и болтают о том, где можно заколотить деньги, думается: что из них получится? Возможно, они станут неплохими специалистами в своей области, но я не знаю, будет ли в них та человечность, которая отличала моих сверстников. Я даже не знаю, полезны ли обеспеченность и возможности, которые теперь у многих подростков. Я не могу объяснить, только чувствую, что все как-то не так. Может быть, я оправдываю свое обделенное поколение, но, по-моему, каждому в начале пути не мешает познать невзгоды и лишения. Я смутно догадываюсь, какой станет теперешняя молодежь, не испытывавшая наших бед. К тому же сейчас у многих молодых людей изначально нет четких убеждений, их основа рыхлая. Им не нравится мир, но как его переделать, они не знают. Они разучились думать, анализировать то, что происходит, различать настоящее и фальшивое.

## 16

Мои школьные товарищи! Пареньки послевоенного времени. Они исчезли в тумане, растворились в дорожной пыли — сразу же после школы разъехались по всей стране, точно стая волчат, выпущенных на свободу. Припоминаю несколько школьных дней, но и они еле просматриваются, как выцветшие чернильные записи. Воспоминания — это след на воде от уплывшей рыбы, шум крыльев от улетевшей птицы, тепло от зашедшего солнца. Вот и друзья мои, молчаливые призраки, то подходят ко мне, то отходят. Так трудно их вызвать в теперешний

мир. Чтобы просто обняться. Пусть даже не поговорить — хотя бы обняться.

От Аметьево до школы было три километра, мы со Славкой их проходили за полчаса. Одноклассники вечно над нами посмеивались: осенью, когда от дождей размывало тропы, мы приходили забрызганные грязью и долго отмывались в лужах, а зимой, прибежав в школу на лыжах, счищали подлип, стаскивали друг с друга валенки, из которых вываливались слежавшиеся лепешки снега.

В классе я дружил со Стариком и Вишней. Старик, красивый, без всякой слащавости, подросток, жил с теткой в двухэтажном деревянном доме. Отец Старика погиб на войне, мать после этого сошла с ума и постоянно лежала в психбольнице. Каждое воскресенье Левка навещался к ней, а в понедельник классный руководитель, не блещущая умом женщина, отзывала его в сторону и спрашивала: — Узнала тебя мать или нет?

Старик с теткой занимали верхний этаж, куда вела лестница со стертymi ступенями. В одной комнате стояла мебель из грушевого дерева, в другой — печка, выложенная белым кафелем. Я любил тот захламленный дом с расшатанными дверями, с паутиной и липучками на окнах — он был какой-то обжитой, со множеством закутков. В доме жил старый сенбернар с седой мордой и мутными глазами; он, как телохранитель, провожал Старика до школы и встречал после занятий.

Старик был самым способным в классе, и, главное, нам всем не хватало его выдержки; всегда спокойный, он даже во время ссор не повышал голоса, и, соответственно, остальные говорили тише — одно его появление действовало отвлекаяюще.

Сохранились две фотографии. На одной Старик и я в лыжном походе: стоим, обнявшись, замерзшие, среди заснеженных елей; на другой — мы на рыбалке по колону в воде. Как ни силюсь, не могу припомнить те дни.

Зимний лес предстает безжизненной декорацией, озеро — некой неподвижной студенистой средой, в которой застыли стеклянные рыбы и улитки; и подростки какие-то кукольные, вроде лубочных поделок, но не ярких, а однотонных, как бы под белесым светом луны. Далеко не все можно вернуть из прошлого.

Со Стариком сбегали с уроков, через туалет пролезали в кинотеатр «Вузовец» на трофейные фильмы: «Тарзан», «Долина гнева», «Охотники за каучуком». Странное дело, несмотря на изоляцию от внешнего мира, эти ленты не просто наглядно показывали другую жизнь, но и вносили существенные поправки в официальные версии газет и радио, вселяли смуту в наши головы.

С Вишней мы сидели на одной парте. Его семья обитала в полуподвале недалеко от школы; половину маленькой комнаты занимал рояль. Отец Вишни ушел из семьи к женщине, которая, как он сказал, «понимает» его. У матери Вишни была водянка; целыми днями она лежала у окна и читала с гримасой напряжения.

Старшая сестра Вишни Катя оканчивала музыкальное училище и давала уроки музыки. Невыдержанный Вишня часто затевал с сестрой перепалки, он считал себя главой семьи, поскольку являлся мужчиной и выполнял всю тяжелую работу, а сестра, по его понятиям, всего лишь зарабатывала деньги, да еще уроками, которые ей доставляли удовольствие. Вишню задевал назидательный тон сестры, которым она перечисляла, что следует ему, Вишне, сделать по дому. Если при этом присутствовали мы со Стариком, Вишня злился:

— Без тебя знаю, — обрезал он сестру и тихо добавлял:  
— Дура!

Катя преувеличенно снисходительно улыбалась и продолжала:

— ...Еще сходи на рынок, купи картошки и почишь ее. Я приду, сварю суп. И тише возитесь, мама спит.

Она брала папку с нотами, прощалась с нами и выходила во двор. Красный от злости, Вишня открывал форточку и кричал ей вслед:

— А ты не русская!

— Ты что это кричишь, чертенок! — приподнималась с постели мать Вишни. — Ты понимаешь, что ты кричишь?! Что ж это такое?! У всех дети как дети, а у меня не знаю что!

Раз в месяц Вишня ездил к отцу за деньгами. Как-то и я увязался с ним. Его отец жил у новой жены в центре города. Нам открыла молодая женщина и, источая добросердечие, проговорила:

— А-а, это ты, Толя! Ой, как ты подрос! А это твой приятель? Здравствуй! Много о тебе слышала. Так вот ты какой! Настоящий мужчина. Ну проходите, проходите.

Отец Вишни оказался мрачным, неразговорчивым; увидев нас, кивнул, закурил и вышел в коридор, а его жена усадила нас пить чай с печеньем.

— Как вам, мальчики, нравится у нас? Правда, красивый вид из окна? Белый кремль, башня Сююмбике?! И чай правда вкусный?! А хозяйка вам нравится? — она улыбнулась и вдруг обратилась ко мне: — А как Толина сестра? Говорят, она красивая?

— Очень, — кивнул я.

— А ты, Толя, как считаешь?

— Не очень.

— Почему же? — женщина засмеялась и угостила Вишню конфетой, а со мной больше не разговаривала.

Провожал нас отец Вишни; на лестнице сунул сыну конверт с деньгами и глухо буркнул:

— Как мать-то?

Вишня серьезно занимался живописью, готовился поступать в художественное училище и регулярно со своими работами ходил на консультации к известному художнику.

Общение с Вишней было решающим моментом в моей судьбе. Он дал мне начальные уроки подлинного рисова-

ния, научил видеть натуру, отбрасывая все несущественное и выявляя главное. За несколько бесед он открыл мне тайны, над которыми я бился не один год, которые мучительно пытался разгадать самостоятельно. С Вишней мы писали этюды, ходили на выставки картин в краеведческом музее.

В то время в меня вселилась какая-то непонятная тоска; я вдруг заметил, что у нас на окраине слишком однообразная, временами попросту скучная жизнь, и меня стало куда-то тянуть; я не осознавал, куда именно, и мучился от этого непонятного влечения. Видимо, срабатывали гены, зов предков — все-таки они были горожанами, и может быть, давала о себе знать внутренняя связь с местом рождения. Меня стали тяготить унылые будни и даже тишина в поселке; не раз после школы я уходил в город и бродил по шумным вечерним улицам. Как-то набрел на публичную библиотеку, заглянул в зал, увидел занимающихся студентов, подошел к полкам с книгами и... наконец открыл для себя самое увлекательное занятие на свете — чтение.

Чуть позднее мы стали устраивать у Вишни чаепития; говорили о книгах и живописи, под конец чаепития мать Вишни просила Катю что-нибудь сыграть. Катя с улыбкой подходила к инструменту и играла Моцарта, Чайковского... И вот тогда я понял, к чему меня тянуло, к какой среде, к какому духовному общению.

## 17

Из учителей запомнился историк Лев Иванович, всегда гладко выбритый, наутюженный. Многие учителя следовали четкой программе, а Лев Иванович вел урок в форме беседы, размышления. Он успевал дать и учебную тему, и рассказать о писателях и художниках той или иной страны. Это были лекции по общей культуре, необычное ассоциативное преподавание; мы узнавали, что создавалось

у разных народов в одно и то же время. Развивая нашу интуицию, Лев Иванович советовался с нами, ставил задачи. Он отличался беспредельным пониманием наших душ: снисходительно относился к нашим закидонам и был терпелив, как всякий хороший учитель. Он учил нас не зубрить материал, а мыслить самостоятельно, проявлять инициативу и, главное, многочисленными примерами давал прекрасные уроки нравственности, направлял наши неясные устремления в нужное русло. Подобный метод обучения приобщал нас к творчеству.

Много лет спустя приехав в Казань и узнав, что Лев Иванович еще учителевствует, я заглянул в школу.

Он сильно постарел, но по-прежнему все спешил выговариваться, побольше рассказать ученикам. Меня «прекрасно помнил», крепко пожал руку, расспросил о жизни в столице.

Толстяк Игорь Петрович выглядел колоритно: пестрый галстук, короткие брюки, желтые ботинки, да еще лысый, с едкой усмешкой на лице. Он появился у нас в середине учебного года и стал вести физику и астрономию. Вообще-то он преподавал в институте, а в школу устроился по совместительству и сразу завел институтские порядки.

— Можете на мои занятия не приходите. Мне все равно, — объявил торжественно-загробным голосом. — Но спрашивать буду, пеняйте на себя!

На первом уроке по астрономии он сказал, что сейчас начертит схему Земли. Взял кусок мела, подошел к доске и, вытянув руку, одним движением провел огромный, идеально точный круг. Класс ахнул. Он обернулся и приторно вздернул брови:

— В чем дело? — и усмехнулся, довольный произведенным эффектом.

Потом повернулся и моментально, не отрывая мел от доски, рядом провел второй круг, такой же точный. Посыпались вопросы.

— Всего лишь простор воображения и тренировки, дорогие мои, — поджимая губы, растолковал он. — Ежедневные тренировки в течение десяти лет, только и всего.

В тот день он поставил три двойки. Кого ни вызовет, не большая ошибка — стоп!

— Идите на место, дорогой. В следующий раз сделайте одолжение, выучите этот пустяк.

На втором занятии он вкатил еще штук пять двоек. Ему было все равно, какие отметки ставили до него. Вызвал отличника Чиркина и за малейшую оплошность влепил двойку. Обстановка на его уроках накалилась. К директору зачастили родители, пришла комиссия из Отдела образования. Как правило, при комиссиях директор давал учителям указание: вызывать отличников, чтобы общий процент успеваемости выводил школу в передовые. А Игорь Петрович вел урок как обычно, точно и не сидела на задних партах дюжина мужчин и женщин с блокнотами. Демонстрируя определенное мужество, он с неизменной усмешкой вызывал тех, кого давно не спрашивал, и ставил двойки. Многие считали его завышенные требования садизмом, но он добился своего — к окончанию учебы мы все хорошо знали физику и астрономию. В аттестаты он поставил только четверки и пятерки.

Химию и биологию преподавала спокойная, добродушная женщина с усами, в которую был влюблен учитель математики, бывший артиллерист, всегда немного выпивший, но державшийся артистично, напоказ, точно перед кинокамерой. Про этот безгрешный роман знала вся школа. Частенько кто-нибудь из учеников, как бы невзначай, спрашивал у химички про математика, и та краснела и сбивчиво тараторила:

— Не говорите глупостей.

Когда же про химичку намекали артиллеристу-математику, он надувался и бурчал:

— Это к делу не относится... как и многое другое. Перед вами здесь учились одни — курили, с уроков сбегали, но учителей уважали...

Он начинал урок с того, что вызывал к доске какого-нибудь отличника вроде Чиркина:

— Давай решай задачу, ты у меня молоток.

Сам подходил к окну и смотрел, как на пришкольном участке химичка с учениками разбивала грядки. Чиркин решит задачу, математик посмотрит на доску.

— Молоток! Давай иди на участок. Помогай.

Он преподавал и в младших классах. Там на его уроках стояла невероятная стрельба из рогаток, но он ее не замечал, только время от времени доставал из кармана пузырьки и, сделав глоток, мрачно пояснял:

— Не подумайте дурного. От сердца!

По совместительству он преподавал и в женской школе. Как-то при мне на улице к нему подбежала одна девочка:

— Спросите меня. Я хочу исправить отметку. Обещаете?

— Я женщинам никогда ничего не обещаю, — он повел в воздухе рукой и подмигнул мне, как бы в поддержку своего остроумия.

У нас был на редкость предприимчивый директор. Он сумел отвоевать у соседнего предприятия приличную территорию под спортивную площадку и пришкольный сад; на какой-то автобазе выхлопотал допотопную полуторку завозить дрова для отопления школы; на сэкономленные деньги, выделенные на ремонт школы, купил эмку, как бы для выездов в Отдел образования, на самом деле шофер развозил его и завуча по домам.

Наш завуч был жестким человеком, замкнутым и неприступным; ученики называли его «дубоватым». Завуч особенно нажимал на нормы БГТО и ГТО, сам инспектировал начальную военную подготовку, сам ставил отметки в журнал — всегда одни тройки: «три», «три с плюсом», «три с минусом». Тем не менее благодаря завучу мы делали основательную физзарядку и в конце концов почти все получили значки, которыми гордились, как орденами.



А в «дубоватости» завуча я убедился случайно — однажды ты услышал, как он сказал нашему историку:

— Что вы расхваливаете итальянцев? Не понимаю, как можно столько говорить о чуждой нам культуре!

— Потрудитесь выучить итальянский, и тогда вам станет понятно, — усмехнулся Лев Иванович.

Известное дело — невежественный человек всегда не навидит то, чего не понимает.

Как ни натягивали отметки учителя, наш директор так и не смог вывести школу в передовые по успеваемости. Тогда он взял и ввел новшество — установил в классах кафедры, а уж здесь-то мы точно переплюнули все школы.

С годами учебные дела совсем перестали интересовать директора, он их полностью свалил на завуча. Сам осуществлял «общее руководство», неустанно вводил новшества и говорил о наших «неограниченных возможностях». Во всех школах самым грозным наказанием считалось «доложу директору», у нас — «пойдешь к завучу».

Директор создал и наш школьный хор. Позднее хоры появились во многих школах, но первый появился в нашей. Для музыкальных занятий пригласили бывшего оперного певца Анатолия Васильевича, человека страстного, энергичного, сумевшего нас увлечь хоровым пением... Я никогда не забуду наших репетиций и выступлений и его, Анатолия Васильевича. Он не дирижировал, а прямо-таки священнодействовал — на глазах свершалась оптическая иллюзия: от напора звуков стены класса раздвигались, и песня вырывалась на улицу, останавливая, завораживая прохожих. Трудно передать ту возвышенную, приподнятую атмосферу, то состояние, когда в многоголосье ощущаешь себя важным нервом единого большого организма...

Наш хор действительно звучал неплохо; мы даже несколько раз выступали по городскому радио и тем самым прославили свою школу. Помнится, некоторые наши солисты (в том числе и отличник Чиркин) не на шутку возгордились, почув-

ствовали себя масштабными фигурами. Но на наш выпускной вечер Анатолий Васильевич пришел с женой, тоже певицей, и они так пели дуэты из оперетт, что сразу стала понятна разница между способностями и талантом. После выступления супругов ко мне подошел Чиркин и сникшим голосом сказал:

— Так я не смогу спеть никогда.

Понятно, в подростковом возрасте часто меняется самооценка; достаточно какого-либо случая, чтобы разувериться в себе или, наоборот, — почувствовать могущество. По слухам, Чиркин все же стал певцом, и довольно известным.

Кстати, на том вечере, вернее, когда мы со Стариком и Вишней сбежали с него, я впервые выпил водки. Мы купили бутылку в магазине и распили ее в школьном саду. Домой я пришел вдрызг пьяный. Мать перепугалась, а отец с профессиональным спокойствием вывел меня во двор и «протравил» марганцовкой; потом помог раздеться и лечь в постель, а матери дал рецепт для похмелки:

— Утром неплохо бы ему крепкого чая.

На следующий день отец прочитал мне серьезную лекцию о вреде пьянства и в заключение сказал:

— Больше всего ты огорчишь меня, если пристрастишься к вину. Возьмешь худшее от своего отца.

К сожалению, именно это я и взял. К положительным качествам отца только приближался, но и приблизившись, сравнивая себя с ним, видел, что мне до него еще далеко: там, где я заканчивал, отец только начинал.

## 18

Вот выплывают из тумана дом, терраса, сарай, пристройка, еле различимые, еще неконкретные предметы. Возникнет что-то, качается, зыбкое, — нет, кажется, было не то; появляется другое — вроде близкое к реальности, плывет в сторону, встает на свое место, вырисовывается отчетли-

вей, обрастает деталями. Из земли, точно из пара, вырастают деревья, отцветают, и вот уже светятся, как лампочки, темно-красные вишни. Быстро вымахали до человеческого роста кусты крыжовника, и повисли прозрачные ягоды. В палисаднике буйно полезли цветы, поглотили забор, стол и скамейку в саду; на террасу двинулись вьюнки — разрастаются, скрывают весь дом. От цветов нет спасения, на их терпкий запах летят жуки со всей окрестности.

Когда я перешел в девятый класс, рядом с нашим поселком построили четыре двухэтажных дома из бруса и в округе появились новые поселенцы. Вечерами они прогуливались по поселку, заглядывали в палисадники. Помню, гуляла странная женщина лет сорока, она густо красилась, и одевалась на какой-то старомодный лад, и, когда вышагивала по дороге, крутила в пальцах прядь волос; в ее ломаной, вычурной походке виднелось желание покрасоваться, отчаянные потуги на изящество. Она напевала веселые мотивчики, в которых проскальзывали запрещенные для наших ушей слова, такие как «любовники», «хахаль», «кряля». Это было оскорблением поселковых норм приличия. Заметив кого-нибудь из парней, женщина заговаривала по-соседски о будничных делах, но потом вскользь намекала на свое одиночество. Кое-кто называл ее «женщиной вечерних профессий» и «угрозой семье», но позднее я понял, что она действительно одинока, ведь половина мужчин ее возраста погибла на фронте, а остальные были женаты, и ей ничего не оставалось, как искать знакомств с людьми моложе себя.

А на нашей волейбольной площадке появилось совершенно замечательное существо — четырнадцатилетняя девчушка, невероятно худая, в светлом ситцевом платье. У нее были прямые черные волосы и серые глаза. Только увидел ее на площадке — стало жарко. Она была опрятна и приветлива, говорила мало и тихо и, несмотря на невероятную худобу, блестяще играла в волейбол — казалось

невозможным так сильно посылатъ мяч тонкой рукой. Ее звали Галя.

Эта Галя ни днем, ни ночью не выходила у меня из головы, в те дни я только из-за нее и приходил на площадку, а если она не появлялась, игра для меня теряла смысл. Но когда она играла, в меня вселялся черт, я не прощал ей ни малейшего промаха. Бывало, покрикиваю на нее (правда, приличествующим тоном), а она улыбается и смотрит на меня просто и нежно. Она неприкрыто романтизировала меня. В ней было врожденное благородство, утонченность и великодушие — качества высшего порядка, недостижимые для меня. Я помню точно, мне все время хотелось сказать ей что-нибудь хорошее, но было стыдно проявлять свои чувства.

Однажды поселковые ребята и девчонки отправились купаться на Казанку. И она пошла с нами. Я не показывал вида, но украдкой наблюдал за ней: и как она разговаривала с девчонками, и как вбегала в воду, и как плавала.

— Ты прекрасно играешь в волейбол, — сказала она мне на обратном пути, и это признание сразу придало мне невероятные силы; ее разящая искренность моментально обезоружила меня.

Нормальный парень не мог не влюбиться, если ему говорили такие вещи. Как-то само собой мы ушли вперед, и ребята не окликали нас. Впоследствии это наше уединение получило широкую огласку, причем с невероятными добавлениями, но мне уже было все равно... Мы не заметили, как миновали поселок, Клыковку и очутились в парке Горького. Заглянули в избу-читальню, полиста-ли журналы, сбегали к фонтану, где из пасти дельфина вырывалась длинная струя воды, прокатились на маленькой бесплатной карусели. Был жаркий день, и мы то и дело подбегали к киоску и пили газировку. Шипящая вода приятно обжигала горло, покалывала ноздри. У Гали искрились глаза, она смеялась и, обливаясь, продолжала

пить воду. А я совсем обалдел от ее смеха и от запаха ее загорелой кожи; у меня кружилась голова, я что-то бормотал заплетающимся языком и ничего не понимал, что говорила Галя, только видел ее смеющийся рот... За свою жизнь я перепробовал всякие напитки, и в немалом количестве, и, бывало, выпивал с симпатичными, даже красивыми женщинами, но никогда не пьянел так сильно, как в тот день от простой газировки.

А потом аллеи заполнились отдыхающими, и мы услышали, как на открытой эстраде заиграл оркестр. Перебежали газон и увидели ряды скамеек, заполненные слушателями, а еще дальше — эстраду, на которой играл духовой оркестр.

Мы пробрались к самой эстраде. Из семи музыкантов пять дули в медные трубы. Особенно старался один, игравший на тубе, похожей на гигантскую сверкающую раковину, — он сильно раздувал щеки, краснел от натуги. Барабанщик тоже неистово лупил в барабаны — казалось, хотел устроить как можно больше грохота: закатывал глаза, стискивал зубы и наносил один удар за другим... Шесть музыкантов играли так, словно выполняли тяжелую работу, и только седьмой — трубач — играл необыкновенно легко. Это был полный парень с взлохмаченными волосами, которые все время спадали на лоб, и парень то и дело встряхивал головой. Он стоял впереди всех, высоко держал трубу и без малейших усилий, даже чуть небрежно перебирал пальцами клапаны, при этом уголки его губ подрагивали от улыбки. Звук трубы тонул в общем грохоте оркестра, только иногда, в паузах, когда оркестранты на секунды смолкали (как мне казалось, чтобы отдышаться, а потом еще больше оглушить), слышались нежные звуки.

Закончив соло, трубач улыбался, благодарил слушателей за аплодисменты, прикладывая руку к груди, и, поправляя волосы, отходил в глубину сцены.

Он нам сразу понравился, с первой минуты, как только мы его увидели. И он нас заметил тоже. Отыграв последнюю вещь, даже подмигнул нам, а сходя с эстрады по ступеням, шепнул:

— Приходите завтра в это же время, поиграю только для вас.

На следующий день мы с Галей опять пришли в парк, но на эстраде оркестра не было. Мы уже хотели повернуть назад, как вдруг в глубине сцены увидели трубача. Он репетировал какую-то вещь. Заметив нас, улыбнулся, подошел к краю эстрады, присел на корточки.

— А-а! Мои влюбленные!

Его слова произвели должное впечатление. Мне стало и приятно и неловко, я покраснел, а Галя только улыбнулась. Музыкант поздоровался с нами за руку, спросил, как нас зовут.

— Вы мне сразу понравились, — сказал. — Вы слушаете по-настоящему.

Мы с Галей попросили его сыграть знакомую мелодию, потом еще одну. И он не отказывался, играл все, что бы мы ни попросили.

— А почему вы играете здесь, а не дома? — спросила Галя.

— Дома у меня больная мать... Но ничего! Настоящий музыкант никогда не унывает. Я вообще-то работаю лаборантом, а по вечерам учусь в музыкальном училище. А в парке это я так, подрабатываю. Но скоро буду играть в большом оркестре... А сейчас это так, временные неудачи, — он подмигнул и запел что-то зажигательное.

Мы с Галей заходили в парк еще раза два, но трубача больше не видели. «Наверно, поступил в большой оркестр», — решили мы. А потом начались занятия в школе, и нам с Галей стало не до прогулок.

Но однажды поздней осенью мы все же заглянули в парк и внезапно, еще издали, услышали знакомые звуки.

Он стоял на эстраде в пальто, перевязанном у воротника шарфом, и играл. Перед ним были пустынные ряды, но он играл так сосредоточенно, как будто выступал на концерте. Заметив нас, помахал рукой, а когда мы подошли, торопливо сказал:

— Куда же вы пропали? Сколько приходил, вас все нет и нет.

— А мы решили, — начал я, — вы играете в большом оркестре.

— Нет, пока не играю. Но послушайте, какую я пьеску сочинил. Специально для таких, как вы, влюбленных. Вот только еще название не придумал...

Он высоко поднял трубу и заиграл, как прежде, тихо, легко и красиво.

К выходу из парка мы шли втроем. Мы шли мимо карусели, перевязанной цепью, мимо засыпанного листьями фонтана, мимо заколоченной читальни; шли через пустынный парк, и мне и Гале было необыкновенно радостно, оттого что рядом с нами был этот замечательный человек.

Подходя к поселку, мы с Галей встретили Славку.

— Иди помоги своему отцу добраться до дома, — буркнул он и махнул в сторону будки стрелочника. — Он лежит там, у семафора.

Галя ничего не поняла, а я сразу догадался, что отец пьян.

— Ты иди, — густо краснея, сказал я своей спутнице и свернул к железной дороге.

— Я с тобой! — Галя догнала меня.

Отец лежал на склоне оврага, рядом в пыли валялись его очки.

Это был первый случай, когда отец не дошел до дома; тот случай сильно поразил меня, я понял, что отец серьезно болен. Помню, как тормозил его, помогал подняться и готов был провалиться сквозь землю от стыда перед

Галей. Но она, молодчина, ничуть не смущаясь, помогала мне, отряхивала костюм отца.

Через несколько дней Галя с родителями уехала в другой город, куда-то на юг, и больше мы не виделись...

Многое время отсекло, но вот надо же! Ни с того ни с сего все чаще я стал видеть тонкую черноволосую девочку. Она являлась неожиданно: стояла, смотрела на меня и улыбалась. Я вспоминал нашу застенчивую дружбу, и в груди начинало что-то щемить. Хотелось встретиться с ней, поговорить. Какой она стала, как сложилась ее жизнь? Может, тоже вспоминала обо мне?! Ведь она была чувствительная, тонкая. И главное, между нами сразу возникло таинственное притяжение, нас связали какие-то невидимые нити. Это не так часто бывает. Наверно, они, эти нити, связывали меня с ней всю жизнь, и кто знает, вдруг последнее время они снова натянулись и за тысячу километров отсюда она почувствовала, что я думаю о ней.

Сейчас я нередко встречаю влюбленных: идут обнявшись, размахивая магнитофоном, и с осоловелыми лицами, со жвачкой во рту слушают резкий набор звуков. Идут и молчат. Похоже, им не о чем говорить. Только изредка перебрасываются жаргонными словечками. Наверно, так проще, я не знаю. Я только догадываюсь об их бедном словарном запасе, убогой внутренней культуре; догадываюсь, о чем они думают, слушая эти антимелодии...

Быть может, я просто старею и мне уже не угнаться за современным бешеным ритмом. Быть может, и нет ничего плохого, что теперь отношения между молодыми людьми стали более конкретными, без всяких условностей. Я точно еще не разобрался, что лучше: то наше простодушие или свойственная теперешней молодежи уверенность в себе. Но я вспоминаю свою юность, пятидесятые годы и как мы, трое парней, плыли на надувной лодке по вечерней Оке. Где-то под Серпуховом пристали к берегу, чтобы разбить палатку, и вдруг ус-



лышали звуки аккордеона — кто-то замечательно играл популярную в то время песню Лолиты Торрес. Раздвинув кусты, мы увидели сидящую на берегу девушку, перед ней стоял парень и вдохновенно, запрокинув голову в небо, перебирал пальцами клавиатуру инструмента; захватывающая мелодия лилась над всем притихшим вечерним пространством. Так в мое время объяснялись в любви.

Те мелодии, те романтические влюбленные до сих пор согревают мою душу. И хочется верить, что и сейчас все-таки существуют настоящие, чистые чувства. Ведь в конечном счете в жизни все построено на любви. На любви к природе и животным, к работе и увлечениям и, естественно, на любви двух людей. Хочется верить, что эта любовь все же возьмет верх над жестокостью.

И еще: я заметил — в обществе происходит определенная цикличность идеалов, и рано или поздно будет возврат к старым нравственным ценностям, к старой морали и семейному укладу. Молодежь станет менее цинична и более сентиментальна, к ней вернется идея романтической любви. Не случайно даже в искусстве уже появился стиль ретро.

...Я вот-вот должен был окончить школу. Мать всегда хотела, чтобы я пошел по стопам отца, поступил в авиационный институт. Отец долгое время не спешил определять мое будущее, пускал все на самотек:

— Сам решит, кем быть... Призвание рано или поздно даст о себе знать. Пусть пока познает жизнь, набирается опыта.

Но когда я окончил десятилетку, сказал:

— Мне кажется, из тебя вышел бы художник.

Я тоже так считал и решил поехать в Москву, поступать в художественное училище. Мать одобрила мое решение.

— Поезжай. Я уверена, ты поступишь. А как только мы выплатим за дом, тоже приедем, вернемся на родину.

Получив аттестат зрелости, я сложил в папку рисунки, мать дала денег на дорогу и как напутствие сказала:

— Я верю в тебя, ты пробьешься... Ты энергичный. Весь в меня.

Мать явно преувеличивала. Конечно, мне передалась ее энергия, но в гораздо меньшем объеме, чем она думала.

Меня провожал отец. Он стоял на платформе в изношенном пальто и, явно испытывая чувство неловкости, непрерывно курил папиросу.

— Уж ты прости меня, если что было не так. Что я... выпиваю. Может, я сам виноват, может, война... Уж ты не сердись на отца. Знай, я очень хотел бы, чтобы ты в нашей семье получил высшее образование, — он крепко обнял меня, поцеловал в щеку, небритый, пахнущий табаком. — Будь счастлив!

Поезд давно покинул привокзальное полотно, а он все стоял на платформе и махал мне кепкой. Таким я и запомнил его.

...Рушится картина Аметьево, распадаются детали, сползают, увядают цветы, обнажая наш дом, террасу, стол и скамейку в саду. Дом уменьшается, исчезают листья деревьев, скрываются под землей стволы. Наплывает сизая муть, обволакивая сарай и пристройки. Мои родные становятся крохотными, они улыбаются, машут мне руками и растворяются в дымке.

1975 г.

# САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ, или ДОМ НА НЕБЕ

---

повесть-хроника

---

*Памяти моей матери  
Чупринской Ольги Федоровны*

## 1

Всю свою жизнь она ходила с высоко поднятой головой, и ослепительно-торжествующая улыбка играла на ее лице. Она никогда ни на что не жаловалась, никогда никому не завидовала, никто не видел ее в плохом настроении — так она умела зажать в кулаке свои боли. Со стороны ее жизнь казалась беспечной и радостной, сплошным, прямо-таки сказочным везением. Около нее было облако теплоты, доверия, всеозаряющей притягательности; точно фея, она сеяла вокруг себя мир и спокойствие, заражала окружающих оптимизмом, поднимала павших духом, укрепляла в них надежду на лучшее. У нее даже имя было святое — Ольга.

Она родилась под счастливой звездой, и ее мать не раз говорила:

— Оленька родилась в рубашке на Пасху, она будет счастливой, вот увидите.

В самом деле, у нее были все признаки исключительно удачливой судьбы: две макушки, родинка на правой

щеке, она унаследовала от матери красоту и огненный, захватывающий характер, а от отца — трудолюбие. Еще дошкольницей, светловолосой, голубоглазой девчушкой, Ольга стала всеобщей любимицей: бывало, играет во дворе с тряпичной куклой: «печет» пироги из глины, «варит» супы из цветов — и улыбается, и поет незатейливые песенки. «Наше солнышко», — называли ее взрослые...

Со двора Ольга притаскивала домой «ничейных» кошек и собак, и птенцов, выпавших из гнезда, а жуков, ползущих по дороге, относила в траву, «чтобы не раздавили»...

Как только Ольга пошла в школу, у нее сразу появилось много друзей — общительная, неугомонная, с «солнечной улыбкой», она излучала жизнерадостную непосредственность, веселье, бьющее через край.

Ольга была третьим ребенком в многодетной семье; жили они на Крымской набережной в подвальной комнате, где стоял затхлый воздух и с потолка постоянно капало. Ольгина мать работала ткачихой на фабрике Жиро, отец — почтальоном; оба родителя были набожными, всех детей крестили и каждое воскресенье водили в церковь Святителя Николая. После большевистского переворота, когда громили «класс имущих», семью переселили в четырехэтажный каменный дом, в квартиру доктора Пупынина, который, спасаясь от анархии, бежал за границу... Дом стоял на Чудовке и возвышался над всеми строениями: двухэтажными срубами, бараком ткачих и Хамовническими казармами — самый добротный дом, «буржуйские хоромы», отдали почтовикам и ткачам.

Из прежних жильцов в доме осталось только три семьи: профессора Краснопольского, доктора Персианинова и генерала Панова; отдельную квартиру, как иностранцу, сохранили французу натуралисту де Лионде, жившему с экономкой Маргарет. Первые двое из «недобитых буржуев» надеялись, что их знания пригодятся и новой власти, генерал остался из патриотических соображений, фран-

цуз был уверен, что надежно защищен иностранным паспортом.

Позднее, во времена разгула бесчинств, грубости и хамства «новых хозяев земли», Ольга часто вспоминала профессора Краснопольского — он не раз дарил ей книжки с цветными картинками, гладил по голове и говорил:

— Эта девочка будет самой красивой барышней в Москве.

Вспоминала пожилого, с седой бородкой клином, «истинно интеллигента» врача Персианинова, который бесплатно лечил бедняков, со всеми раскланивался, приподнимая шляпу, и, прежде чем войти в парадное, подолгу вытирал ноги о коврик; Ольгиным родителям Персианинов авторитетно заявлял:

— Ваша Оля очень живая девочка и излучает радость — это первый признак завидного здоровья.

Вспоминала генерала Панова — он всех детей называл по имени без каких-либо уменьшений; завидев Ольгу, басил:

— Здравствуй, Ольга, — и пыхтел и гудел, изображая паровоз.

Вспоминала вечно напевающего что-то француза толстяка де Лионде и его экономку, тоже француженку, сухую вертлявую женщину с буклями. Выгуливая во дворе собаку, француз непременно подходил к Ольге и, расплывшись в улыбке, на ломаном языке восклицал:

— Какой очаровательный мадемуазель!

А однажды, заметив, что Ольга поймала на асфальте жука и отнесла его на газон, поощрительно кивнул:

— Ты есть хороший мадемуазель. Любищ животных. Ты мой коллега.

Экономка вышагивала по двору с каменным лицом и никогда ни с кем не общалась, но, проходя мимо Ольги, всегда вскидывала брови и пропевала:

— Ой-ля-ля!

Приветливые, предельно вежливые, эти люди навсегда остались в памяти Ольги как образец воспитанности, порядочности и старомодности — в хорошем смысле слова; она дорожила этими воспоминаниями.

— С сыном Краснопольского — Женей — мы дружили, — позднее говорила Ольга. — Играли в «красных» и «буржуев», только буржуем он быть не хотел — стеснялся своего происхождения. И не случайно. После школы, чтобы поступить в институт, ему пришлось идти в каменщики, зарабатывать трудовой стаж. А дочь Персианинова после музыкального училища подметала улицу — «физическим трудом смывала позор дворянского происхождения». Но в конце концов они пробились: Женя стал руководителем крупного предприятия, а дочь Персианинова — известной пианисткой. Талант трудно задуть... Всего можно добиться, если упорно идешь к цели, и никакие преграды не помеха.

В пупынинской квартире осталась дорогая мебель: шкафы темно-красного дерева, стулья, обитые желтым бархатом, рояль «Беккер», звенящие люстры, но в период разрухи, когда наступил голод, родители Ольги все продали, оставили один рояль — дети родились музыкальные, подбирали мелодии по слуху.

Как-то в квартиру позвонил Николай Сергеевич Барсов, тридцатипятилетний офицер, один из немногих оставшихся в живых офицеров в Хамовнических казармах. Когда начались расстрелы и солдаты выводили офицеров на плац, кто-то крикнул:

— Барсова оставьте! Хороший, душевный человек, хоть и барин!

Барсову открыла мать Ольги. Он нерешительно вошел в коридор, улыбнулся.

— Вы меня помните? Мы вместе с вами снимали комнаты у хозяйки на набережной. Может быть, вы сдадите мне одну комнату? У вас теперь три. Дозвольте мне пожить у вас.

— Ой, барин, — смутилась мать. — У нас же много детей, они вас стеснять будут.

— Да что вы! Я люблю детей.

Полгода прожил в квартире Николай Сергеевич и ежедневно по вечерам учил детей рисовать и играть на рояле.

— Все ваши дети на редкость одаренные, — говорил он родителям Ольги. — Все прекрасно чувствуют музыку, быстро схватывают и запоминают мелодии. Особенно Оля. У нее природный абсолютный слух и редкостный голос. Надобно ей серьезно заниматься музыкой, поверьте мне.

На Чудовке произошли крупные перемены: сломали постройки частных мастеровых, открыли продуктовый магазин, фабрику Жиро переименовали в «Красную Розу», пустили новый трамвай с блестящими цифрами на боку — он выскакивал из-за церкви и наполнял улицу скрежетом и лязгом, он звенел, раскачивался и пружинил и, рассыпая искры, катил в сторону Крымского моста. На улице появились папиросницы от Моссельпрома, которые фасонили новенькой формой и громко расхваливали свой товар, а по вечерам прогуливались сильно накрашенные девицы, которые говорили о наступивших «беспечальных днях» и о «спокойной жизни с маленькими волнениями». По воскресеньям на Крымской площади устраивались танцы под духовой оркестр, и вся площадь пестрела плакатами, призывающими к непримиримой борьбе с классовым врагом, к беспощадной борьбе за дело Ленина, к смертельной борьбе за мировой коммунизм.

«Буржуйский» дом тоже коснулись перемены — и в масштабе дома немалые: Краснопольских и Персианиновых переселили в подвалы, генерала Панова арестовали, а француза де Лионде заставили жениться на экономке.

Раннее детство особенно отчетливо запечатлелось в памяти Ольги. Она помнила, как мать все время боялась, что история повернет вспять — «и все у нас отнимут». Помнила, как в церковь врывались молодые «строители новой

жизни» и освистывали верующих — эти выходки заканчивались стычками прихожан с наглецами.

Однажды Ольга с матерью возвращались из магазина; внезапно навстречу им из Теплого переулочка хлынула разнузданная толпа: выкрикивая «новые лозунги», молодые люди, в приступе массовой истерии, направлялись в церковь, в очередной раз измываться над верующими. Один парень, увидев на Ольгиной матери красный фартук, подскочил, сорвал и пошел дальше, размахивая «флагом» над головой. Другой молодец, заметив, как доктору Персианинову старушка поцеловала руку, ударил старика по шляпе:

— Сними шляпу, интеллигент!

Шло огульное разрушительное созидание; многое захватывало, радовало Ольгу, но многое вселяло в нее смутную тревогу и страх. Каждый вечер отец с матерью молились перед иконами и негодуяще бормотали:

— Господи, что ж происходит?! Оскверняют святые места! Антихристы! Бог накажет их!..

Не раз Ольга слышала, как отец говорил матери:

— У неверующих черные души, у них нет терпимости, милосердия, они не любят ближних. Люди без религии — дикая орда.

Ольгу и ее сверстников записали в пионеры; они собирали металлолом и мусор, в подвале школы, в качестве «наглядного примера», помогали вожатому Алехину проводить «воспитательную работу среди неорганизованных детей». В те двадцатые годы по улицам бродили ватаги беспризорников; по ночам за церковью они разжигали костры и, завернувшись в лохмотья, укладывались вповалку у огня. Алехин приводил беспризорников в школу, требовал «вступать в коммуны», рассказывал о пионерии, духе коллективизма, но беспризорники, вкусившие другой дух — дух свободы, никак не хотели «жить правильно и радостно», они посмеивались над вожатым, презрительно осматривали пионеров и всякий раз что-нибудь у них воровали.



Однажды Алехин выхлопотал для своих подопечных путевки в Ялту, и одна из путевок досталась Ольге... Те десять дней, проведенные в Крыму, остались в ее памяти как прекрасный миг жизни. Она вспоминала горячий крымский воздух, пышную растительность, теплое синее-зеленое море, пахучие сочные фрукты. И паровозы с огромными красными колесами, и белые пароходы. И пионерские линейки, и песни, которые они пели, когда строем проходили по городу, и вспоминала, как навстречу им шли отдыхающие: мужчины в широченных, подметавших асфальт брюках клеш и женщины в длинных юбках и беретах.

Только два эпизода омрачили ее пребывание в Крыму. Как-то Ольга заметила, что к столовой, в которой они обедали, после их ухода крадутся жалкие старушки в допотопных платьях, и красивые, точно кинозвезды, женщины в потрепанных шляпах, из-под которых смотрели тревожные испуганные глаза, и небритые мужчины с безучастными лицами. Они собирали со стола объедки и бесшумно исчезали в проулках. Алехин сказал, что «это буржуи, которые не успели уплыть за границу», но Ольге стало не по себе — она не могла понять, почему эти люди хотят уехать со своей родины, почему вожатый называет их «кровопийцами рабочего класса», никак не могла представить «кровопийцами» профессора Краснопольского и доктора Персианинова, и уж совсем эти «буржуи» не были похожи на тех, кого изображали на плакатах. Тихие культурные «буржуи» ей нравились несравненно больше агрессивных горлопанов из числа «строителей нового мира».

В другой раз Ольгу пытались похитить местные парни татары. Несколько дней они уговаривали ее сходить в горы, обещали показать водопад; Ольга говорила, что с удовольствием посмотрит водопад, но только со всеми пионерами. Однажды парни подкараулили девчужку и, зажав ей рот, потащили в горы. Ольге все-таки удалось крикнуть, позвать на

помощь; ее крик услышал Алехин, догнал негодяев и жестоко отлупил.

Из Крыма Ольга вернулась с золотисто-коричневым загаром и с выгоревшими, почти белыми волосами. Она без умолку рассказывала подругам о Крыме, рассказывала и смеялась задорным, заразительным смехом. В те дни девчонки во дворе звали ее «крымчанкой», а парни «парижанкой», считая, что «крымчанка» — заниженное прозвище для такой красавицы.

У Ольги были две близкие подруги: Лидия, некрасивая, рыбая, со светлыми бровями и ресницами, и Антонина, девчонка прямо-таки с переводной картинки.

— Ты, Олька, такая счастливая, тебя все так любят, — говорила Лидия с неприкрытой завистью.

— И такая талантливая, — добавляла Антонина, поджимая губы. — Тебе, Олька, все так легко дается, прям поражаешь. И когда ты все успеваешь?

Ольга действительно была способная. В школе на Пироговке, где она училась, ее «художественные» сочинения зачитывали перед всем классом. И на уроках математики она проявляла редкую сообразительность. Прекрасно сложенная, наделенная избытком жизненных сил и прямо-таки клокочущим темпераментом, Ольга была отличной спортсменкой: быстрее всех сверстниц пробегала стометровку, выше всех прыгала и делала все это без видимых усилий, с улыбкой и весело блестящими глазами. Ольга прекрасно играла на гитаре и пела, а в школе бальных танцев, куда одно время ходила, преподаватель брал ее в партнерши, как самую музыкальную и пластичную ученицу. Все были уверены, что Ольга имеет множество талантов, неограниченные возможности и на любом поприще достигнет успеха, но ей самой больше всего нравилось заниматься немецким языком. Ее подруги не разделяли этого увлечения.

— Немецкий язык сухой, деревянный, — говорила Лидия.

— Немцы не говорят, а лают, — вторила ей Антонина. — Брось ты, Оля, этот немецкий. Тебе надо идти в актрисы.

В ответ Ольга смеялась и читала наизусть стихи Гете.

Она любила немецких поэтов. В их поэзии ее восхищала простота, строгость и предельно ясный смысл. Некоторые стихотворения она даже пыталась переводить, а особенно понравившиеся слова выписывала в блокнот и потом все время повторяла, любуясь их весомостью и звучанием.

За Ольгой ухаживали все парни двора. Смотреть новые фильмы приглашал «великий ухажер» и «законодатель мод» Сергей, высокий блондин с бакенбардами, щеголявший яркими пиджаками и переливчатыми галстуками. Сергей оканчивал курсы художников-оформителей, со сверстниками разговаривал надменно, насмешливо и носил в кармане две пачки папирос: «Норд» — для себя и махорочные «Гвоздики» — для «стреляющих» приятелей.

Серьезный «дылда» Борис носил Ольгин портфель из школы, брал для нее в библиотеке сборники стихов.

Задиристый, драчливый полуцыган Михаил готовился в сыщики — «ловить разных подонков», а пока защищал Ольгу во дворе.

Замыкал круг поклонников Володя, болезненно робкий паренек, сын портного; он всегда застенчиво стоял в стороне, не привлекая к себе внимания, не вступая в беседы, — боялся, что его общество будет неинтересным. Он никогда не ходил посередине двора — всегда вдоль дома, и, когда шел, вглядывался в окно, перед которым Ольга обычно делала уроки, и, если замечал ее, краснел и смущенно улыбался.

Все эти поклонники ревностно охраняли Ольгу от «чужих ребят» — встречаться с парнями из соседних дворов считалось нарушением некоего священного закона нравственности. Однажды Антонина нарушила этот негласный дворовый закон и привела мальчишку с другой улицы. Он был под стать ей — конфетная внешность, на поводке дер-

жал «диванную» собаку мопса... Когда Антонина появилась во дворе со своим ухажером, ребята оторопели, окружили «влюбленных», и Михаил процедил:

— Ты, пижон, забудь сюда дорогу! А ты, Тонька, марш домой!

Даже повзрослев, парни Ольгиного двора придирчиво присматривались к «чужим воздыхателям» своих подруг и, как правило, осуждали подобные встречи. Ольге повезло: когда у нее появился жених, его сразу оценили.

— Хороший парень, хоть и не наш, простой, умный. Нам он нравится, — сказали телохранители и благословили на брак.

Кроме Ольги была во дворе еще одна красотка и певунья — девица Шейкина. Она работала папиросницей от Моссельпрома и носила белый фартук, экстравагантную кепку и плоский чемодан — складной столик. Днем она стояла на Крымской площади и продавала папиросы, а по вечерам, вызывая гнев общественности, приводила к себе мужчин... Когда Шейкина шла на работу, все высовывались из окон; парни восторженно щелкали языками, а девчонки застывали в тихом восхищении — ведь она не просто шла, а вальсировала, запрокинув голову, размахивая плоским чемоданом, и при этом на весь двор распевала:

— Крутится, вертится шар голубой...

И это было не просто веселье — в звонком чистом голосе, в пританцовывающей походке билась радость беспечного отношения к жизни, этакий гимн озорству.

В то время подростки во дворе стали покуривать — большинство тайком, но некоторые и открыто; курение считалось проявлением независимости. Шейкина давала папиросы в кредит, а иногда и даром — парни к ней так и липли. Девчонки старались ее не замечать, но плохо скрывали свой жгучий интерес.

— Девочки, почему вы со мной не здороваетесь? — с легкой усмешкой как-то спросила Шейкина. — Я вам совсем

не нравлюсь? Не сердитесь, я знаю, что плохая, но ничего не могу с собой поделать, — и мягко добавила: — Попробуйте мои папиросы. Все говорят — фартовые.

Она протянула пачку и улыбаясь обратилась к Ольге:

— А ты, Оля, не хочешь поработать папиросницей? У тебя, я уверена, дело пойдет. Ты такая шикарная, обольстительная, твоя красота завораживает. Мы неплохо зарабатываем, сможешь себе купить что захочешь. Будешь жить стильно, шик-блеск.

Ольга твердо покачала головой.

Много на Шейкину писали доносов за порочность, вульгарный вид, расточительство; эта греховодница ниспровергала устои двора, растлевала подрастающее поколение. И однажды двор не услышал ее песен. Двор без нее опустел и напоминал пересохшую реку, рощу без листвы.

— Жалко Шейкину, — говорила Ольга подругам. — Пусть она плохая, но еще неизвестно, почему она стала такой. Может быть, ее кто-то обманул. А потом она встретила бы хорошего человека и сама стала бы хорошей.

Как многие щедро одаренные натуры, Ольга всех хотела оправдать, простить, сделать счастливыми.

А между тем во дворе появилась новая распутница — четырнадцатилетняя Антонина. Говорили, «влияние Шейкиной»; на самом деле у Антонины еще в двенадцать лет некоторые замечали «порочный взгляд»; кое-кто вообще называл ее «блудницей с ангельским лицом». В этом была доля правды: все девчонки носили косы с бантами, она — прическу с завитушками-завлекалками и легкомысленную шляпку; девчонки читали приключенческие книги, она — книги про любовь, и постоянно мечтала «хорошенько поразвлечься».

Два года Антонина демонстрировала пионервожатому легкое бесстыдство, «строила ему глазки» и в конце концов добилась своего — «завоевала неприступного Алехина» и родила от него сына. Алехина исключили из комсомола

и заставили жениться на несовершеннолетней. Сына они назвали в честь вождя — Сталь.

В те годы многие оригинальничали, называли детей Дне-прогэс, Пятвчет (пяtilетку в четыре года), Лагшмивара (лагерь Шмидта в Арктике), а то и совсем нелепо — Глобус, Трактор, Шестеренка, но чаще — Сталь, Сталина. Вождь был богом. Даже когда вырубали Садовое кольцо и разрушали церкви, все были уверены: «отец всех народов» не знает об этом.

Ольга помнила, как взрывали храм Христа Спасителя. Она ходила на Остоженку с матерью. Его взрывали несколько раз; дрожала земля, в сотрясенном воздухе висела пыль, трескались соседние дома, а исполин не сдавался, медленно, по кирпичу оседал. Старики крестились:

— Ничего они здесь не построят. Бог этого не простит!

На месте храма планировали возвести Дворец Советов. Поставили фундамент — его затопило водами Москвы-реки. Откачали, начали строить — рухнули леса, погибли люди, и снова появилась вода. Так и отказались от проекта.

Родители Ольги жили в нужде, и мать хотела, чтобы после окончания школы Ольга пошла работать на ткацкую фабрику, где уже работала ее старшая сестра Ксения, но отец сказал:

— Не надо торопиться. Оля способная, пусть учится дальше.

Мать продолжала настаивать на своем, говорила, что учиться можно и по вечерам, а в доме нет самого необходимого.

— Может, и правда, Оленька, немного поработаешь? — сдался отец. — А потом начнешь учиться на рабфаке или где захочешь? Тебя везде возьмут. Я слышал, теперь только детей буржуев никуда не принимают, их вначале посылают мостить мостовую, а тебя-то всегда возьмут, ты ж из рабочих.

Ольга собиралась поступать в Институт иностранных языков, но ей пришлось выбирать между своими планами и долгом перед семьей, особенно перед младшими сестрой и братом. В конце концов она согласилась пойти работать, но только не больше чем на год.

Отец устроил ее к себе на почту, продавать марки, открытки, и уже на следующий день возле Ольгиного окна выстроилась очередь: почтовые изделия покупали даже те, кто просто приходил за письмами и газетами, — каждый хотел увидеть приветливую улыбку новой девушки, услышать ее голос. Ольга относилась к работе добросовестно: каждое отправление расцвечивала разными знаками, искусно подбирала открытки, сделала выставочный стенд «Животный мир в марках», но на почте у нее был мизерный оклад, и, как только в бухгалтерии на ткацкой фабрике появилось свободное место, она не раздумывая — а решительности ей было не занимать — перешла на новую работу.

Главный бухгалтер фабрики, маленький, сухощавый, дотошно-педантичный немец Шидлер, сразу заметил Ольгины способности и трудолюбие, а когда узнал, что она занимается немецким языком и готовится поступать в институт, стал к ней относиться прямо-таки с отеческим вниманием, часто даже отпускал с работы пораньше. Както директор вызвал Шидлера и попросил у него объяснения на этот счет.

— Она справляется быстрее всех, — сказал Шидлер. — И совершенно не делает ошибок. Зачем же барышне сидеть сложа руки, когда работа сделана?! Сидеть ждать конца смены?!

У него была своя, немецкая логика; начальству это не нравилось — оно руководствовалось предписаниями сверху, и вскоре лучшего работника фабрики уволили.

Новым бухгалтером назначили Виктора Кирилловича Бодрова, «видного мужчину с шевелюрой-мечтой», как

охарактеризовали его работницы фабрики и от которого они сразу «сошли с ума». С первого дня работы Виктор Кириллович ко всем сотрудникам был подчеркнуто внимателен и предупредителен, но больше других — к Ольге. Она считала это дружеским покровительством, а он вдруг пришел к ее родителям и сделал предложение. Матери он понравился, как «человек с положением», отец неопределенно пожал плечами:

— Пусть Оля решает сама.

А Ольга растерялась, ее взгляд заметался, она посмотрела налево, направо, как бы ища защиты, закачала головой и, густо покраснев, убежала. Замужество ей представлялось какой-то романтической и таинственной связью, ее предназначением и обязанностью; она догадывалась, что это ожидает ее впереди, но в каком-то неопределенном будущем, после окончания института. А пока она не думала о замужестве, тем более не могла представить Виктора Кирилловича своим мужем, он казался ей слишком взрослым мужчиной. Она еще чувствовала себя недоигравшей девчонкой; в восемнадцать лет в ней еще не проснулась женщина. Ко всем знакомым парням она относилась как к приятелям; еще ни один молодой человек не затронул ее сердце, не заставил думать о нем, волноваться при встрече.

На следующий день после визита Виктора Кирилловича Ольга не вышла на работу.

— Не пойдешь на работу — кормить не буду, — заявила мать.

— Хорошо, мама, — сказала Ольга. — Я вернусь на работу, но осенью обязательно поступлю в институт.

Виктор Кириллович встретил ее радушно и в последующие дни проявлял к ней только товарищеское расположение, но Ольга чувствовала — это дается ему нелегко, чувствовала — между ними все равно существует какая-то напряженность. Да и работницы при случае подтрунивали



над «тайными вздохами главбуха». В конце лета Ольга написала заявление об уходе.

...Много лет спустя, оформляя пенсию, она зашла на фабрику и узнала, что Виктор Кириллович погиб, защищая Москву, в сорок втором году. Ольга вспомнила Первомайский праздник, веселую уличную разноголосицу, и как они, молодые работницы, шли на Красную площадь со знаменем и цветами, и как среди них шагал улыбающийся, со сбитой ветром «шевелюрой-мечтой» Виктор Кириллович. Обнявшись с девушками, он пел и раскачивался в такт песне — он казался таким взрослым, а ему было всего двадцать пять лет.

Ольга подала заявление в Институт иностранных языков и, блестяще сдав экзамены, была зачислена на первый курс... Училась она увлеченно, со всевозрастающим интересом, преподаватели отмечали ее любознательность, ненасытную жадность к занятиям.

— В институте удивительно интересно, — ликующим голосом возвещала она родным. — Каждый день узнаешь что-то новое, одерживаешь маленькие победы.

Среди студентов Ольга выделялась открытостью, искренностью и — главным образом — постоянным стремлением принести пользу другим. Что немаловажно — обладая безудержной фантазией, будучи прирожденной выдумщицей, она чуть ли не ежедневно являлась как бы в новом качестве, казалась немного новой. Все это и неиссякаемая энергия наделяли ее немалой притягательной силой; даже самые пассивные, общаясь с ней, чувствовали прилив сил.

...Позднее многие, с кем Ольга училась в институте, утверждали, что она покоряла сразу одной своей улыбкой, что над ней всегда светился воздух и каждый около нее ощущал теплый ветерок — так велико было ее обаяние; и все как один были уверены, что счастье ей на всю жизнь обеспечено.

Спустя месяц после начала занятий у Ольги проявились черты лидера и вокруг нее сгруппировались несколько единомышленников; они создали драматическую студию, в которой ставили пьесы на немецком языке. На один из спектаклей Ольга пригласила Лидию с Антониной. После спектакля подруги похвалили Ольгу, но и покритиковали — сказали, что студенты забыли про «ценностные рамки и ставят себя вровень с актерами» и что вообще она, Ольга, слишком «заводная», много развела в институте друзей и эта неразборчивость в людях скоро ей «выйдет боком».

— Чем больше друзей, тем больше радости в жизни, — улыбнулась Ольга, догадываясь, что в подругах говорит ревность.

После занятий Ольга с сокурсниками ходила в музеи и театры, играла в волейбол, а позднее увлеклась плаванием. В то время на Москве-реке открыли Водный стадион и по воскресеньям устраивали праздники на воде: соревновались пловцы и гребцы на шлюпках, носились глиссеры. Ольга записалась в секцию плавания и быстро стала первоклассной пловчихой — как лучшая спортсменка в группе даже участвовала в параде физкультурников.

...Тот парад она отлично помнила — такое запоминается на всю жизнь: они шли по Крымской площади, красивые молодые люди в белоснежной спортивной одежде, — маршировали, высоко взмахивая руками; время от времени останавливались, делали пирамиды, вызывая всеобщий энтузиазм — с тротуаров и балконов, из подъездов, окон и трамваев их приветствовали многочисленные ликующие зрители.

Иногда после занятий собиралась группа студентов — активистов комсомола. Они распевали:

Долой, долой монахов!  
Долой, долой попов!  
Мы на небо залезем,  
Разгоним всех богов!

И звали Ольгу с собой в церковь вести атеистическую пропаганду, но она решительно отказывалась. Ее воспитывали в уважении к религии... Ольга не верила во всемогущество Бога, в могущество святых на иконах, но ей нравилась торжественность и величие церковных обрядов. Для нее религия была не верой, а сводом определенных правил, в основе которых лежали нравственность, гуманизм, совесть.

В институте, как и во дворе и в школе, к Ольге тянулись не только друзья, но и липли разные ухагеры, особенно «победители женских сердец», но она любезно и твердо, без всякого притворства отклоняла «заманчивые предложения» — как каждая женщина, она интуитивно чувствовала, где серьезное, а где легковесное, где искреннее, а где фальшивое.

Старшая сестра Ольги Ксения, прыщавая дурнушка, долго не выходила замуж, все искала свой идеал, в каждом поклоннике видела недостатки, пока ей не исполнилось тридцать лет и на ее лице не появилось выражение угрюмой горечи.

— Ты, Ксюша, неверно подходишь к людям, — сказал однажды отец. — Надо видеть в человеке хорошее, а ты выискиваешь плохое. У тебя очень большие запросы.

Мать была еще прямолинейней:

— Останешься старой девой со своей любовью. Выходи за любого, а там слюбитесь.

Ксения подождала еще несколько лет, а потом с отчаяния вышла за парня моложе ее на десять лет. Его звали Федор, он только что приехал в город из глухой деревни, работал забойщиком в шахтах метрополитена и жил в общепитии. Хмурый крепыш с огромными красными ручищами, он все время молчал, а когда с ним заговаривали, бурчал что-то неопределенное.

Родители выделили молодоженам маленькую комнату, но Ксения с первых дней совместной жизни всячески из-

бегала мужа, называла его «тюфяком» и все вечера проводила в комнате родителей.

— Не могу жить с этим тюфяком, — говорила матери. — Он примитивный, неотесанный... И черт меня дернул выйти за него, уж лучше осталась бы одна.

Несколько раз Ксения намеревалась развестись с мужем, но так на это и не решилась. Детей она не завела, с годами смирилась со своей «дурной» участью и стала украдкой выпивать.

Ольгины братья, длинноногие вихрастые парни, служили на телефонном узле, были первыми заводилами во дворе и отличными спортсменами: делали кульбиты с парадного, быстрее всех бегали на «норвежках». Старший, Алексей, после призыва в армию участвовал в финской кампании и был контужен. Демобилизовавшись, вернулся на телефонный узел, а как только его перевели из телефонистов в начальники смены, женился на девушке-украинке, с которой встречался до армии. Ее звали Лариса. Она была высокая, с худым нервным лицом и властным голосом. Переехав к мужу, она размашисто прошлась по квартире, выбрала лучшую из трех комнат и настояла, чтобы Алексей занял именно ее. На следующий день она переставила на кухне столы, часть вещей вынесла на черный ход, привезла новые занавески, новый светильник, а свекрови заявила:

— Вы, мама, ничего не понимаете, живете по старинке.

Спустя месяц мать жаловалась:

— Люська свои порядки заводит. Кто ж здесь хозяйка, она или я? И Алексей изменился, пляшет под ее дудку, грубит мне. Правду говорят: «Приведет в дом сын хорошую невестку — мать дочку приобретет, приведет плохую — мать и сына потеряет».

Отец только вздыхал:

— Ладно, родная, не печалься. Ну много ли теперь нам с тобой надо? Детей вырастили, дождемся внуков и на покой.

Младший брат, Виктор, насмотревшись на браки своих старших, сказал матери, что «не женится вообще». Виктор тоже служил в армии, но демобилизоваться не успел, началась Вторая мировая война.

Ольгина младшая сестра, «тихоня» Анна, была слабой, суеверной натурой. Подростком она мечтала стать певицей, но поступила на рабфак и «изменила стиль жизни» — начала разводить герань и увлеклась хиромантией. Окончив рабфак, Анна, по выражению Алексея, «обабилась», годами носила одно платье, ради экономии мало ела — все заработанные деньги откладывала на приданое. Впоследствии она привела домой молодого, но лысого военного.

— Это мой муж, — сказала, собрала вещи и больше в доме не появлялась.

Все Ольгины сестры и братья обладали музыкальным слухом, играли на гитаре, пели. Особенно преуспевали братья — они серьезно занимались чечеткой, даже выступали на городских конкурсах, а как гитаристов их хвалил сам Иванов-Крамской. Ко всему, Ксения делала живописные аппликации из лоскутов, Анна прекрасно вышивала гладью, Алексей с Виктором увлекались радиотехникой и собирали приемники... Но все-таки самой талантливой была Ольга. И если ее сестры и братья с годами забросили все свои увлечения, превратились в никчемных обывателей, погрязли в семейных склоках, то Ольга, несмотря на тяготы и лишения, жила духовной жизнью, постоянно занималась самообразованием, «самосовершенствовалась» и в конце концов ушла далеко вперед от родни.

...Однажды на вечеринке у Лидии Ольга встретила парня, который сразу привлек ее внимание. Он был среднего роста, в очках, в простой рубашке с расстегнутым воротом, неглаженных брюках и стоптанных башмаках. Когда Ольга вошла, он сидел на диване и под гитару пел модную тогда песню Лещенко «Чубчик». Ольга стала подпевать, и так дуэтом они и закончили песню.

— А вот эту вещь знаете? — парень улыбнулся Ольге и заиграл песню Козина, потом романс Вертинского.

Как-то само собой за столом они очутились рядом и, разговорившись, обнаружили несколько общих знакомых. Затем выяснили — им нравятся одни и те же кинофильмы, книги и театральные постановки. Отключившись от всей компании, они проговорили весь вечер, а прощаясь, условились пойти на следующий день на оперетту «Сирокко».

Его звали Анатолий. Он был всего на год старше Ольги, но уже успел многое пережить и, в отличие от своей беспечно-счастливой подруги, выглядел серьезным и самостоятельным.

Он родился в Ленинграде, его отец работал бухгалтером, мать — портнихой-надомницей. В городе на Неве они жили более-менее благополучно, правда отец Анатолия, будучи слабохарактерным и малодушным, часто выпивал, но никогда не переходил грань дозволенного. Все изменилось в конце двадцатых годов, когда отца перевели на работу в Москву, и то ли повлияла непривычная среда, то ли так было предназначено судьбой, только переезд сыграл неправдоподобно трагическую роль в семье. Первым не выдержал перемен отец — он начал выпивать больше прежнего, и однажды, во время запоя, у него случилось умопомрачение — он повесился. Затем, простояв на холоде в очереди за продуктами, заболела менингитом семилетняя Анна, младшая сестра Анатолия; спасти ее врачам не удалось. Эти страшные несчастья подкосили здоровье матери; через год она заболела тифом и вскоре скончалась.

Одного за другим Анатолий потерял всех родных. Соседи навещали его, стирали белье, приносили еду и... ухаживали, а он оставался один в пустынной трехкомнатной квартире... Через несколько дней квартиру уплотнили: в большую комнату подселили жильцов, оставив шестнадцатилетнему квартирному съемщику две маленькие комнаты. Новые жиль-

цы искренне заботились об осиротевшем подростке, всячески пытались вывести его из подавленного состояния, утешали и приободряли:

— Ты уже взрослый, будь мужчиной, будь мужественным. Держись, ты способный, у тебя большое будущее...

Анатолий слушал рассеянно; оглушенный смертью родных, он чувствовал себя загнанным в угол, все больше замыкался в себе, все чаще уходил из дома, где каждая вещь напоминала о жуткой утрате. По совету соседей, «чтобы избавиться от духа умерших», он продал все вещи, кроме кухонного столика с кобальтовой посудой, и за небольшую приплату обменял свою жилплощадь на десятиметровую комнату в Орликовом переулке у Красных ворот. Затем, вместе со школьным приятелем, поступил в чертежно-конструкторский техникум на Зубовском бульваре.

Это был момент взросления, начало самостоятельной жизни. Новая обстановка в техникуме, плотные интенсивные занятия не оставляли времени на горькие раздумья и постепенно приглушали душевную боль. Товарищи по группе, узнав судьбу Анатолия, окружили его особым вниманием, затащили в секцию бокса, поставили защитником в футбольную команду; случалось, всей группой корпели над начерталкой, или подрабатывали — писали вывески для магазинов, плакаты, или устраивали мальчишник у Анатолия с шахматными баталиями и песнями под гитару; с годами это товарищество переросло в крепкую дружбу.

Окончив техникум с отличным дипломом и характеристикой, в которой отмечалась редкая работоспособность, «умение просчитывать все варианты и выбирать лучший», Анатолий был направлен на авиационный завод.

...Так скрестились две судьбы, два разных человека: простодушная девушка с живым характером и много переживший, благоразумный и осмотрительный парень... Они сходили в театр, а после спектакля долго гуляли по бульварам и с того дня встречались ежедневно.

Анатолий познакомил Ольгу со своими друзьями, инженерами Доравтотранса, — одержимые, увлеченные техникой, они вечно копались в разных механизмах, что-то конструировали, паяли и клеили, и занимались спортом и рыбной ловлей, и дружили с художниками, и сами рисовали — придумывали эмблемы спортивных обществ, и даже участвовали в конкурсе проектов Дворца Советов. Они собирались у Анатолия, слушали новые пластинки Руслановой, Козина, Шульженко, Утесова, и вели жаркие споры, и обсуждали открытие метро, и двухэтажные троллейбусы на улице Горького, и новые парки культуры, и зарубежные кинокартины с участием Дины Дурбин, Гарри Пила и Мэри Пикфорд, и отечественные комедии с Орловой, Алейниковым, Жаровым. Ольга попала в захватывающий, насыщенный событиями мир; с Анатолием и его друзьями она ходила на выставки, стадион и купальню на Москве-реке.

В Анатолии ей нравилось все: его внешность и предельная напряженность жизни, его серьезное увлечение книгами и шахматами и то, что он всегда что-нибудь мастерил. И нравилось, как он держался в компаниях: просто и естественно, подтрунивая над друзьями, а к ней, Ольге, проявлял великодушие и снисходительность; и нравилось, что во время затяжных споров с друзьями он не заострял разногласия, а старался свести их к шутке. Ольга восхищалась им и, что бы он ни предложил, откликалась с радостной готовностью; ради него она в любую минуту могла расстаться со своими привычками и привязанностями. Ей даже нравилось, что Анатолий был неумелым ухажером и что влюбленность не затмевала его разум, что он всегда прекрасно владел собой. «Мужчина и должен быть именно таким, — рассуждала она. — Сдержанным, поглощенным работой, а не юбочником, вроде всяких прилипал».

О своей семье Анатолий ничего не рассказывал; все, что Ольга узнала, позднее ей рассказали его друзья. Он только вскользь обмолвился:



— Мои все умерли, Олечка. Так получилось. Давай не будем об этом говорить, те годы как страшный сон. Просто поверь мне на слово, я много пережил.

Иногда в компании Ольга замечала, что Анатолий внешне отключался от разговоров и впадал в хмурую сосредоточенность; она догадывалась, что его терзает, и в такие минуты пыталась его отвлечь от тяжких дум; ей хотелось как-то помочь ему, но как именно — она не знала.

Подруги считали Ольгу «талантливой затейницей», «добрейшей душой» и в то же время «взбалмошной, легкомысленной»; ее веселость и общительность принимали за ветреность, но Анатолий видел за Ольгиной веселостью легкий характер, открытость, в ее «затейливости» — непосредственность, бесхитрость, а в ее голосе угадывал добросердечие и правдивость.

Однажды в солнечный майский день он пришел на свидание сильно взволнованный, словно растерял всегдашнюю сдержанность... Тот день Ольга помнила до мельчайших подробностей: он был не слишком жаркий, не слишком холодный, но небо синело ярче обычного. Бульвар, где они встретились, уже зеленел маленькими клейкими листьями, а от гомона птиц сотрясался воздух — их голоса заглушали слова влюбленных. Непрерывно теребя пиджак, Анатолий объяснился Ольге в любви, потом посмотрел ей прямо в глаза и сказал:

— Давай, Олечка, поженимся?!

Ольга зажмурилась, улыбнулась, запрокинула голову и выдохнула:

— Давай!

Их любовь родилась дружбой, доверием друг к другу... Они шли в загс, не замечая улиц; завидев их, прохожие расступались и улыбались — как бы благословляли на брак.

Свадьба была простой: днем отметили событие с родственниками Ольги, вечером собрались с друзьями. Отец с матерью и Ольгины братья искренне порадовались за

молодоженов, но Ольгины сестры отнеслись к браку настороженно — по их понятиям, срок знакомства — каких-то четыре месяца — выглядел смехотворно коротким, и вообще в поведении невесты было мало целомудрия, а жених ничего особенного из себя не представлял.

И подружки Ольги не верили в продолжительность их совместной жизни, забывая, что только один брак достоин осуждения — брак без любви. Скривив губы, Антонина усмехнулась:

— Оляка совсем потеряла голову. Очень рада за нее, испытываю море радости, но еще неизвестно, как у них будет.

Лидия высказалась еще смелее:

— Разойдутся, как пить дать, тут и говорить нечего. Они же знакомы всего ничего. Знаю я эти браки с бухты-баракхты. Нет чтобы узнать друг друга как следует, присмотреться. Как была Оляка вздорной, легкомысленной, так и осталась. Надо же, сразу выскочила замуж! За очкарика!

— Не слушай никого, — говорил Анатолий Ольге. — Неверна поговорка: «Друзья познаются в беде». В радости они познаются. Когда мы испытываем затруднения, многие выслушают, придут на помощь, но мало кто искренне радуется нашему успеху. Уж так устроены большинство людей — сострадание им ближе, чем восхищение. Твоим подругам не понять, что мы с тобой необходимы друг другу. Мы с тобой подходим, как две половинки ореха, и ничто не сможет нас разлучить.

Его-то друзья по-настоящему радовались за молодых. Особенно Иван и Михаил, закадычные «дружки-неженатики», заядлые курильщики и остроумные насмешники, колючие, беспощадные спорщики — стриженный бобриком «толстяк Ванюшка» и нескладный «фитиль Мишка». При встрече с Анатолием они вставали в боксерские стойки.

— Давай, Толька, защищайся! Сейчас тебе покажем, где раки зимуют, — и, делая выпады, колошматили «женатика».

— Ванька, хороший, пригожий, веселый наш толстяк! — отбиваясь, Анатолий пел популярную тогда песню. — Да ты стал еще толще. Я знаю неплохой рецепт похудеть — в кого-нибудь влюбиться и истязать себя ревностью. Правда, здесь надо быть осторожным — можно исчезнуть совсем! А ты, Мишка, забыл все наши встречи! — Анатолий переключался на Михаила, напевая другую, не менее популярную песню.

Их связывала вьедливая симпатия, веселое противоборство, которое нередко переходило в серьезные споры, когда они разговаривали «с помощью жесткого прессинга» и обращались друг к другу без всякого панибратства, только — Иван, Михаил, Анатолий; но стоило одному доказать свою правоту, как другие тут же сдавались.

— Молодец! Положил меня на лопатки! — Анатолий снимал очки и протирал глаза.

— Ты прав на все сто. Здесь я сливаю воду и беру свои слова назад! — поднимал руки Иван.

— Перед этим я снимаю шляпу! — Михаил наклонялся и театральным жестом снимал несуществующий убор.

Однажды Анатолий несколько раз подряд выигрывал эту борьбу.

— Да, сегодня, пожалуй, мне лучше шляпу вообще не надевать, — сказал Михаил. — Вижу, тебе, Анатолий, женитьба пошла на пользу, ты здорово поумнел.

— Точно! — согласился Иван. — Это его жена поднатаскала, — и, обращаясь к Ольге, спросил: — Оль! Хочешь узнать голую правду? Как мы с Мишкой раньше чихвостили твоего Тольку?!

— Не верится, — откликнулась Ольга. — Ну а теперь у него есть защитница.

— Вдвоем вы, само собой, непобедимы. Вдвоем вы как рыбы в воде. Не в море, конечно, — в аквариуме.

У Анатолия с Иваном и Михаилом была настоящая мужская дружба, чистая, бескорыстная, надежная. Имен-

но Михаил, который знал Анатолия с отрочества, поведал Ольге о его судьбе и в заключение сказал:

— Ты, Оль, хорошая, я это понял сразу. Ты украшаешь любую компанию. И Толька золотой парень. У вас любовь, а перед этим я снимаю шляпу. Но прошу тебя об одном: не забывай про Толькины душевные травмы, будь к нему повнимательней, поласковой, — и, расплывшись, добавил: — Ну и о нас не забывай. Встречай нас как положено — супчиком и так далее. Мы же будем друзьями вашей семьи. И учти: как только займете квартиру с балконом в сто метров, мы с Ванькой переберемся на балкон. Надоело ютиться в клетушках, да с родителями.

А Иван однажды взял Ольгу под руку и отвел в сторону.

— Ты, Оль, вроде в курсе Толькиной жизни. Так вот, что я хочу тебе сказать. Мы ведь с Толькой друзья давние и до гроба. Это я затащил его в техникум. Я его, понимаешь, ценю. Светлый ум. И порядочный он. Но, как ты догадываешься, был лишен родительской заботы, теплоты... Ты уж постарайся... Понимаешь, о чем я говорю?..

— ...Какие мы были беспечные и дружные, — позднее вспоминала Ольга. — Как искренне радовались успехам друг друга, как искренне огорчались неудачам. Иметь настоящих друзей — огромное счастье; друзей, на которых всегда можно положиться, которые не подведут... В то время мы интересовались буквально всем на свете. И что странно — жизнь только начиналась, а мы спешили жить, работать, любить, словно предчувствовали скорую трагедию.

Анатолий с Ольгой начинали семейную жизнь в десятиметровой комнате в многонаселенной квартире. «Уголок» (так называли они свою комнату, на манер романа «Наш уголок нам никогда не тесен...») только и мог вместить диван, стол и шкаф, зато на полу вдоль стен лежало множество книг и журналов «Техника — молодежи», а на подоконнике красовался патефон с пластинками и ко-

бальтовая посуда. Ольге нравилось их жилье. В те дни ей вообще все нравилось: и старинный дом, где она теперь жила, и улица Кирова со множеством магазинов, и Чистые пруды, и доброжелательные соседи, которые сразу взяли ее под свою опеку, причем мужчины подготавливали Ольгу к семейной жизни туманными теоретическими рассуждениями:

— Самой природой женщине предназначено быть помощницей мужа, его другом, советчицей. Женщина — стержень семьи, и какой ритм установит, такой и будет. Жена отвечает за дом, за честь семьи...

А женщины без всякой поучительной морали открывали Ольге житейские премудрости, давали практические советы в хозяйстве, учили готовить, покупать недорогие, но добротные вещи.

Больше других Ольгу опекали Ксения Максимовна и Панка. Акушерка Ксения Максимовна и ее муж, страховой агент, были бездетными, тяготились обществом друг друга и все вечера напролет проводили на кухне. Ксения Максимовна развлекала домочадцев историями из практики родильного дома, рассказывала про артисток-рожениц, про матерей, оставивших младенцев, и про тех, кто их усыновил. Каждую из историй муж Ксении Максимовны дополнял анекдотом. Ксения Максимовна сразу отнеслась к Ольге по-матерински, подробно объяснила существующий порядок в квартире, поставила Ольгин кухонный стол рядом со своим, подарила льняные салфетки, показала, где находятся ближайшие магазины, поликлиника, научила делать морковный пирог и вышивки ришелье.

Панка была старше Ольги всего на два года, но взяла над ней покровительство — и в знак женской солидарности, поскольку обе «представляли молодое поколение», и на правах старожилки. Панка вводила новую жилищку в «курс всех дел» еще и по привычной обязанности — на заводе, работая сборщицей, она числилась секретарем комсомо-

ла. Панка была маленькая, остроносая, большеглазая и... хромая. Она жила с родителями, но их Ольга с Анатолием почти не видели. Отец Панки, тучный военный в отставке, работал инструктором в Осоавиахиме и с раннего утра до позднего вечера находился в своем обществе.

— Горит на работе, — говорила Панка. — У него вместо сердца пламенный мотор. Готовит молодежь к труду и обороне, готовит значкистов.

Мать Панки страдала подагрой и редко выходила из комнаты; большую часть времени сидела в кресле и слушала радио... У Панки часто собирались комсомольцы с завода; они входили в квартиру громогласно, хором здоровались с жильцами, рапортовали о своих делах, шумно рассаживались в Панкиной комнате и вели горячие, запальчивые споры.

Как-то после ухода комсомольцев Панка постучалась к Ольге и попросила ее выйти на кухню, «поговорить».

— Ты видела того белокурого парня в куртке? — проговорила тревожно и сбивчиво. — Он работает у нас слесарем... Я его давно люблю... Из-за него всех к себе приглашаю... А он меня даже не замечает. Я для него просто товарищ, секретарь комсомола... Однажды даже хлопнул меня по плечу... Конечно, зачем ему уродина и калека... Что мне теперь делать, прямо не знаю...

Ольга сразу поняла — это было отчаянное откровение, и чистосердечно возмутилась:

— Что ты говоришь?! Ты молодая красивая женщина, посмотри, какие у тебя глаза! А то, что ты немного хромаешь, это ерунда. Даже незаметно. Да и главное в человеке — душа, а ты такая чуткая, добрая. Плюнь ты на этого слесаря. Тоже мне сокровище! Свет клином на нем не сошелся. Я уверена, ты встретишь замечательного человека, который полюбит тебя.

— Не знаю, не верится, — отозвалась Панка со слабым жестом протеста.

В этот момент Ольге вдруг захотелось, чтобы в мире все перевернулось и каждый увидел бы в уродине красавицу, в калеке — принцессу, чтобы все женщины в мире нашли свое счастье, как его нашла она.

— То было замечательное время, — вспоминала Ольга. — Надо же, жили в тесноте, никаких особых условий не имели, а как дружили, помогали друг другу, делились деньгами, если кого-нибудь поджимало. У нас было одно крохотное окно, но мне казалось — у нас десятки окон, распахнутых в разные миры.

Теперь жизнь Ольги обрела новый, значительный смысл: у нее, замужней женщины, появилась ответственность за мужа, за его самочувствие, настроение и внешний вид, и это добавляло к ее радостному состоянию чувство гордости. Ольга была счастлива и не скрывала своего счастья: всем знакомым без умолку рассказывала, какой у нее замечательный муж, какая у них замечательная комната, в каком замечательном районе они живут. Порой она даже не верила своему необычайному везению.

— Господи, за что мне такая награда?! — шептала. — Что я из себя представляю, что такого сделала?! Всего лишь обыкновенная симпатичная девчонка. А Толя! Он такой необыкновенный, самый лучший на свете!

Она изо всех сил старалась быть хорошей женой: после занятий в институте спешила в магазины, и готовила мужу его любимые блюда, и на звонок в дверь бежала его встречать. А по утрам вставала чуть свет, готовила завтрак, гладила Анатолию рубашки, чистила его костюм... И никогда не садилась за стол, если Анатолий еще был занят, и ставила для него самую красивую тарелку, и то и дело спрашивала:

— Тебе там удобно? Тебе там не дует?

Она не ждала, когда Анатолий что-нибудь сделает для нее, но постоянно думала, что сама для него может сделать, и что бы она ни делала, ей все было в радость, в удо-

вольствие. В те дни она чаще всего пела песню о влюбленном капитане из кинофильма «Дети капитана Гранта».

— Когда у нас будет своя квартира, я постараюсь, чтобы она была уютной, чтобы тебя всегда тянуло домой. Я буду очень заботиться о тебе, — говорила Ольга Анатолию, и ее лицо освещала улыбка.

— Олечка, ты у меня прелесть! — гладил жену по волосам Анатолий. — У тебя наполеоновские планы. Ничего мне особенного не надо, вот только бы сына.

— И дочку! — ликовала Ольга. — Пусть у нас будет двое детей!

Анатолий считался талантливым чертежником-конструктором. Практик без диплома о высшем образовании, он вскоре получил должность инженера с приличным для того времени окладом. Как-то с его зарплаты Ольга купила разных безделушек, чтобы украсить их комнату, и вечером ей стало стыдно за свои глупые покупки.

— Наверно, я мещанка, да? — спросила она Анатолия.

— Ну что ты, Олечка, — добродушно ответил Анатолий. — Мне нравятся эти штучки. А потом, каждая женщина немножко мещанка, потому и создает в комнате уют. И мне это нравится, я ведь по натуре домосед.

По воскресеньям молодожены устраивали «день святого лентя» и вместе с Иваном и Михаилом уезжали на Пахру; удили рыбу, пели песни у костра под гитару. Инициатором вылазок на природу был Иван. Легкий на подъем, готовый в любой момент «катануть куда угодно», он влетал в комнату молодоженов и с порога басил:

— Чахнете, черти, в прокуренной комнатухе, а погодка — шик! Махнем за город, а?! Совсем оторвались от природы! Собирайтесь живо! Заедем за Мишкой, сколотим мировой коллектив, купим винца — и на Пахру, где «на рыбалке у реки тянут сети рыбаки»...

С реки приезжали к молодоженам, жарили рыбу, пили чай с вареньем, спорили по каждому пустяку и снова пели. В то



время ни одна их встреча не обходилась без песен. И кинокартины смотрели только с песнями; считалось, фильм без песен — не фильм.

В будние дни за ужином Анатолий с Ольгой рассказывали друг другу, как провели день, и каждое сообщение выслушивали предельно внимательно. В еде Анатолий был непривередлив, старался поскорее встать из-за стола и подойти к чертежной доске.

— Жалко тратить время на еду, — говорил Ольге, но всегда благодарил ее за вкусный ужин.

До полуночи Анатолий чертил за столом, или читал книги, или просматривал журналы «Техника — молодежи» и газеты и, поминутно поправляя очки, бормотал:

— Та-ак, сказал Спиноза, — и делился с Ольгой прочитанным: сообщал о челюскинцах, папанинцах, перелетах Чкалова.

Эти вечерние часы, когда они были вдвоем в их маленькой обители, Ольга любила больше всего; рядом с Анатолием было не просто интересно и надежно, он воплощал в себе целый мир.

Однажды Ольга ждала Анатолия около проходной завода и внезапно увидела, что он вышел под руку с яркой блондинкой. Ольга чуть не задохнулась от ревности и, когда муж подошел к ней, сумбурно выплеснула свое возмущение, но Анатолий сразу взлохматил ее волосы:

— Ну что ты, Олечка! Это ж Лида, наша сотрудница, копировщица. Моя приятельница.

Эта «приятельница» несколько дней не давала Ольге покоя: она чувствовала, что блондинку с ее мужем связывает что-то тайное. В подтверждение Ольгиных домыслов блондинка однажды явилась сама. Ольга стирала в комнате, когда в дверь постучала Панка:

— Оля, это к тебе.

Ольга вышла в коридор и увидела ее, «приятельницу» Анатолия.

— Вы Оля? Можно к вам? Я пришла с вами познакомиться.

В комнате она попросила разрешения закурить и, нервно перебирая бусы, сказала:

— Я много слышала о вас от Толи. Я с ним встречалась до вас и несколько раз бывала в этой комнате. Не думайте, у нас ничего серьезного не было. Ну да теперь это неважно. Я просто пришла посмотреть на его жену. Вы и правда красивая. Желая вам с Толей счастья, — она решительно направилась к двери.

Позднее Ольга узнала, что на следующий день она написала заявление о переводе на другой завод. А тогда, после ее ухода, ревнивая Ольга еле дождалась мужа и, как только он вошел, обрушила на него водопад обвинений. Анатолий еле успевал защищаться.

— Ну что ты, Олечка!.. Как ты не понимаешь: ни одна женщина не сравнится с тобой. Ведь мы с тобой как две половинки ореха...

Ольга его не слушала и все больше теряла голову: настаивала, чтобы он повел ее к блондинке и при ней сказал «о любви к жене». И настояла на своем — Анатолий пошел — и успокоилась, только когда он выполнил эту безумную и бессмысленную просьбу.

...Спустя много лет, вспоминая то глупое положение, в которое поставила Анатолия, Ольга корила себя за невыдержанность и чрезмерную ревность, но все же и оправдывала свой поступок:

— Я так сильно любила своего мужа, что ревновала его ко всем и ко всему, и не вижу в этом ничего ужасного. Настоящая любовь не может быть без ревности. Кажется, Бальзак писал: «Любовь без ревности — это тело без души».

В начале зимы соседка Ксения Максимовна взяла беременную Ольгу к себе в родильный дом и сама принимала ребенка, потом прибежала в квартиру и объявила:

— Ольга родила хорошего мальчугана. Правильно говорят — от любви и дети рождаются красивыми.

Жильцы бросились поздравлять Анатолия и готовить Ольге подарки. Спустя полтора года они с еще большим энтузиазмом повторили поздравления и вновь преподнесли подарки — уже для Ольги с дочерью.

Учебу в институте пришлось отложить, но Ольга была молода и счастлива, и ей казалось, что все успеет, — вот только дети немного подрастут, и они получат отдельную квартиру, тогда и займется любимым языком.

После рождения детей шкаф из комнаты пришлось передвинуть в коридор, на его место поставили две кровати-качалки. Между диваном и столом осталась узкая щель, в которую протискивались попеременно: то Анатолий за Ольгой, то она за ним; чтобы разойтись, одному из них приходилось залезать на диван.

Забот у Ольги прибавилось: целыми днями она занималась детьми, бегала в магазины, готовила на кухне, но никто не видел ее уставшей, всегда она просыпалась в хорошем настроении и всегда по утрам пела.

А вечера они проводили на Чистых прудах. Вернувшись с работы и поужинав, Анатолий сажал детей в коляску и катил на пруды; чуть позднее, прибрав в комнате, к нему присоединялась Ольга.

— Это были чудесные минуты, — вспоминала Ольга. — Я чувствовала себя самой счастливой на свете... И невероятно гордилась своим мужем и тем, что я такая молодая, но уже мать двоих детей.

На обратном пути они непременно заходили в кондитерскую, где покупали ромовую бабу или фигурное печенье к чаю, — оба любили сладкое. Ольге было всего двадцать два года, Анатолию — на год больше.

Летом, чтобы дети окрепли на свежем воздухе, они сняли комнату на Истре. Комната была маленькой, зато прямо в окна лезли ветви яблонь и цветы дельфиниума.

— Какие изумительные цветы! — воскликнула Ольга, увидев их впервые. — Такая гуща высоких стеблей! И какие голубые и синие граммофоны! Кажется, прислушайся — и услышишь музыку. Надо же, какое чудо создает природа!.. Но все же я больше люблю полевые цветы. Особенно ромашки. Ромашка — солнечный цветок: посмотришь на него — и сразу становится весело. (В самом деле, ромашки как нельзя лучше соответствовали ее характеру.)

Теперь по утрам прямо с постели всей семьей бежали к реке. Купались на мелководье, где светлел лежащий под водой песок, а потом, взявшись за руки, брели по утреннему влажному лугу...

После завтрака Ольга провожала Анатолия до платформы и всегда подолгу махала уходящей электричке; потом в пристанционном магазине покупала продукты и весь день занималась домашним хозяйством и детьми, и все время пела.

— Я пою не только для себя, — объясняла она свой жизнерадостный настрой, — но и для детей, ведь их с детства должны окружать красивые вещи, цветы и музыка, песни. Красота обладает чудодейственной силой, она не только облагораживает душу, но и создает хорошее настроение, и даже вылечивает болезни.

Соседний дом снимали дачники, состоящие в «интернациональном браке», — рыжий немец журналист Рудольф Бергович и русская хохотушка Мария; у них было двое сыновей-подростков. Будучи заядлым рыболовом, Рудольф Бергович часто приглашал на рыбалку Анатолия и по пути расхваливал Ольгу:

— Ваша жена, Анатолий, настоящая красавица! И так хорошо знает немецкий. И так умно воспитывает детей, а ведь еще сама ребенок. И вы — молодец, бережно к ней относитесь. Вы и Оля — идеальная пара.

По воскресеньям к Рудольфу Берговичу приезжали друзья, тоже немцы, и у них начинался «расслабленный от-

дых»; гости ходили по участку в шортах, много ели, и пили пиво, и говорили по-немецки. Иногда кто-нибудь из них подходил к забору и заговаривал по-немецки с Ольгой. В эти минуты Анатолий не скрывал гордости за жену, а про себя удивлялся ее знанием чужого языка, свободой и легкостью в общении с иностранцами.

Выпив ящик пива, немцы нестройно затягивали свои песни и время от времени восклицали:

— И Мария и Ольга — чудо женщины! Все русские женщины — чудо!

Мария смеялась, подмигивала Ольге, а при случае говорила поселковым женщинам:

— Надо уметь выходить замуж, дорогие!

«Что значит «уметь»?!» — недоумевала про себя Ольга. — Просто надо выходить замуж по любви».

На следующий год по городу покати́лась волна слухов о «врагах народа». Атмосфера подозрительности губительно отразилась на отношениях между людьми: каждый в каждом видел доносчика; кое у кого из-за недоверия рушилась многолетняя дружба. Людей охватил страх. Точно зловещее облако, страх расплзлся, проникал в каждую семью.

Первым из знакомых как шпиона арестовали бухгалтера Шидлера. Потом забрали бывшего вожатого Алехина. Говорили, что он сын эмигранта, великого шахматиста, и что, будучи комсомольским вожаком, «вел вражескую пропаганду». Антонина сразу же после ареста мужа развелась с ним, сына отвезла к матери и начала «новую жизнь». Она любила все необычное: встречалась с необычными мальчишками, необычно вышла замуж, необычно быстро развелась, а позднее уехала с иностранцем в какую-то необычную страну.

Потом Ольга случайно на Сретенке встретила одного из сыновей Рудольфа Берговича.

— Вчера за папой пришли милиционеры, — тревожно сообщил подросток. — Сказали, что он шпион, что его поса-

дят в тюрьму. А мы с мамой скоро поедem на поезде. Куда-то далеко.

В одну из ночей обитателей Орликова переулка разбудил скрежет тормозов воронка; тут же на лестнице послышался тяжелый топот, раздался резкий звонок, и в квартиру вошли мужчины в кожаных пальто, уполномоченные с Лубянки. Они произвели обыск в комнате Панки и увели с собой ее отца.

— Что вы делаете?! — кричала Панка. — Мой отец никакой не враг народа! Он преданный родине человек! Буденовец!.. Тогда и меня забирайте!..

Ольга вышла из комнаты, попыталась заступиться за соседа, но ей сразу приказали «не лезть не в свои дела» и дали понять, что всякое сочувствие такого рода рассматривается как пособничество «врагам народа». Всю ночь на кухне Ольга успокаивала подругу; только под утро Панка ушла в свою комнату, а когда вновь появилась, Ольга ее не узнала — она поседела. А у матери Панки случился сердечный приступ, ее увезли на скорой помощи.

Через месяц «за анекдоты» арестовали мужа Ксении Максимовны, а ей самой посоветовали «держаться язык за зубами и не сеять панику». Перед этим Ксения Максимовна сказала соседям по лестничной клетке, что «в роддоме рождаются одни мальчики, и это к войне». Когда уводили мужа Ксении Максимовны, все жильцы попрятались по комнатам, но Ольга вновь не выдержала и подошла к уполномоченным.

— Вы не смеете этого делать! В нашей квартире нет «врагов народа». Это какая-то ошибка или чья-то клевета...

— А вы, гражданка, помалкивайте, если не хотите неприятностей! — отчеканил один из уполномоченных и хлопнул дверью.

— Господи! За что?! Что эти люди сделали? — Ольга обращалась к Анатолию, но он прикладывал палец к губам.

— Тише, Олечка! У стен тоже есть уши. Нужно время, все утрясется, встанет на свои места.

— Я больше не могу находиться в этой квартире, — сказала Панка Ольге после всего случившегося и через несколько дней уехала на Дальний Восток на комсомольскую стройку.

Позднее, там же на стройке, как и предрекала Ольга, Панка нашла свое счастье — вышла замуж и родила дочь.

Ольгиной семьи репрессии не коснулись, только отца вызвали на Лубянку за письмо родственникам в Белоруссию, где он написал, что стало плохо с продуктами. Его продержали на Лубянке два месяца. Вернувшись, он собрал родню, выбросил иконы и отрекся от Бога.

— Что ж происходит? — шептал ночью Анатолий Ольге. — И отца Ванюшки посадили... Здесь что-то не то. Вначале взрывали храмы, теперь сажают людей... Что-то не то... Можно строить новый мир, но зачем разрушать старый? Как можно уничтожать вековые ценности, культуру?! Какие-то жуткие перегибы... Ты, Олечка, смотри, будь осторожна. Ни с кем ни о чем не говори.

## 2

Летом сорокового года в Подмосковье на станции Правда закончилось строительство заводских домов, в которые вселили живущих в подвалах и тесных коммунальках. В число новоселов попали и Анатолий с Ольгой. Поселок располагался на опушке леса и представлял собой двустенные засыпные дома с голландским отоплением; в каждом доме две комнаты на две семьи и общая кухня. К поселку от станции вела шлаковая дорога.

Ольга с радостью согласилась переехать, подумав, что жизнь за городом будет несравненно легче — ей не придется тратить время на прогулки с детьми, они смогут гулять

на участке, а она тем временем займется немецким... На семейном совете решили, что следом за Ольгой в вечерний институт поступит и Анатолий. Они строили серьезные планы и намечали их осуществлять последовательно и терпеливо. Жизнь представлялась им некой лестницей, ведущей в светлый гармоничный мир, где их ждали интересная работа, семейное благополучие, увлекательные путешествия и многое другое. И они собирались взойти на эту лестницу, но ради детей были готовы задержаться на одной из ступеней.

Анатолий был на заводе, когда Ольга с детьми приехала на станцию. Открыв дверь дома, она обнаружила, что им на четверых выделили пятнадцатиметровую комнату, а смежная двадцатиметровая предназначалась бездетному конструктору Толчинскому с женой.

— Возмутительная несправедливость, — проговорила Ольга и, не дожидаясь приезда соседей, заняла большую комнату.

Став матерью, она решительно отстаивала интересы семьи, и порой ее решительность выглядела как своеволие.

Вечером Толчинский устроил Анатолию скандал — не стесняясь в выражениях, отчитывал своего сослуживца за «безответственность», за то, что «распустил жену», не может ее «приструнить за безрассудные выходки». Анатолий стоял, вытянув руки, как школьник, краснел, поправлял очки на переносице.

— ...Конечно, конечно. Не сердитесь, моя жена погорячилась. Простите ее. Я завтра же переставлю вещи обратно.

— Ой, Олечка, что ты натворила, — вздыхал Анатолий в комнате, нервно закуривая папиросу. — Мало быть правым, надо еще уметь доказать свою правоту. В тебе энергии, как у динамо-машины, но, пожалуйста, всегда советуйся со мной.

— Ты должен постоять за себя, — настаивала Ольга. — Ты же мужчина, глава семьи! Когда речь идет о благополучии



семьи, нужно отбросить всякую мягкость, интеллигентность. Ты прекрасно знаешь, у нас это не ценится. Тихим интеллигентам садятся на голову. Надо уметь сражаться за своих родных, а ты сразу сдался и просишь простить меня. Вот еще! Я и не подумаю просить прощения. Будь у этого Толчинского хоть капля совести, он сам предложил бы нам большую комнату. Я на его месте именно так и поступила бы.

На следующий день на эмке прикатил председатель месткома, его эскортировали члены жилищной комиссии. Осмотрели дома, комнаты, прочитали жалобу Толчинского.

— Кто вам разрешил занять комнату, предназначенную другим? — спросил председатель месткома Ольгу.

— Разве это справедливо? Они вдвоем, а у нас дети! — с жесткой прямой безбоязненно заявила Ольга (всегдашняя ее лучезарность мгновенно улетучилась, взгляд стал строгим, непримиримым; словно тигрица, защищающая своих тигрят, в эту минуту она была готова противостоять любому противнику). — Если мой муж вам нужен как инженер, обеспечьте его семью достойным жильем.

Члены комиссии не ожидали такого напора и сконфуженно заулыбались, а председатель засмеялся:

— Резонно! Ваш муж как инженер нам нужен. Даже очень... Придется уговорить товарища Толчинского сделать широкий жест — поступиться несколькими метрами в пользу соседей. Ведь добрые отношения важнее всяких метров-сантиметров, не так ли?!

Переговоры с Толчинским закончились успешно, и Ольге даже стало стыдно за свою вспыльчивость и резкие слова, которые она наговорила Анатолию накануне; она вспомнила просьбы его друзей и сразу оправдала его мягкотелость.

Когда комиссия уехала из поселка, Анатолий сказал жене:

— Ну, Олечка, я поражен. И как ты не испугалась целой комиссии, как сумела их убедить?!

— А что здесь убеждать?! Каждому нормальному человеку понятно, что большая комната должна быть нашей, у нас ведь дети! И как этой комиссии не стыдно — так несправедливо распределять жилье?! Им надо бы извиниться перед нами, а они пошли уговаривать соседа. Просто смешно!

Убежденная в своей правоте, Ольга ради детей была способна и на более смелые действия. Позднее она призналась Анатолию, что, если бы им не дали большую комнату, она поехала бы в дирекцию завода, дошла бы до областных властей, но добилась бы своего. В тот день Анатолий понял: в его молодой жене прекрасно уживаются приветливость и стойкость, женственность и дух воина; понял, что именно она будет лидером в их семье; ему, не очень-то уверенному в себе, не умеющему чего-то добиваться и вообще непритязательному в быту, такая спутница жизни была совершенно необходима.

— Как здесь чудесно! — воскликнула Ольга, когда они с Анатолием расставили мебель. — Комната просторная, хоть катайся на велосипеде, из окна видны колокольчики, — раскинув руки, она протанцевала от двери к окну и устало плюхнулась на диван. — А для детей здесь будет просто рай.

Ольга посадила в палисаднике ромашки и дельфиниум, сшила на окна занавески, на пол из разноцветных бечевок связала коврик.

— Ты, Олечка, одаренная рукодельница, — сказал Анатолий, разглядывая новые «украшательства» в комнате. — Надо же, из пустяковин сотворила чудо!

— Теперь у нас есть все, о чем я мечтала, — Ольга обняла мужа и крепко поцеловала в щеку.

С женой Толчинского, тихой, неприметной женщиной, подружились сразу. Бездетная, она искренне завидовала

Ольгиному материнству, постоянно играла с ее детьми и угощала их сладостями, а Ольге ежедневно, как присказку, повторяла:

— Ты, Оля, такая счастливая.

— Счастливая, правда, — смеялась Ольга. — Даже неловко быть такой счастливой, ведь вокруг много замечательных женщин, у которых не очень удачно складывается судьба. Хотя... Все-таки каждый сам делает свою судьбу. Вот моя старшая сестра. Прекрасная женщина, но слишком быстро отчаялась и вышла замуж не по любви, а теперь жалуется на судьбу.

Жена Толчинского была намного старше мужа и отчаянно боролась со своим возрастом — покупала настойки и кремы, изучала книгу «Как сохранить свежесть и стройность»; боясь потерять молодого супруга, всячески ублажала его, пыталась задобрить подарками, готовила изысканные блюда, а он развалится в кресле и тянет ленивым голосом: «Поддай газету, милая». Или: «Что-то коленки трещат. Сделай массаж, милая». За глаза в адрес жены он отпускал пошлые остроты, называл ее «моя старушенция», а ее любовь — «любовью увядающей женщины». Он был недалеким, самовлюбленным мужчиной: слишком много крутился перед зеркалом и каждое утро в трусах, с полотенцем на голове совершал «променаж» — насвистывая мотивчики, размахисто бегал вокруг поселка, бахвалясь мускулатурой, — «занимался саморекламой», по выражению его жены. Завидев детей Анатолия и Ольги, свирепо вздыхал и предсказывал суровое наказание:

— Ты, шкет, будешь лазить на забор — перестанешь расти. А ты, пигалица, будешь громко говорить — станешь немой.

Единственным его увлечением был немецкий язык, на этой почве они с Ольгой вскоре и помирились.

В бараке у леса жили холостяки и незамужние женщины, среди которых выделялась Груша, великанша с гру-

быми чертами лица, но с чувствительной, ранимой душой. Она мечтала о «настоящем мужчине», который «однажды возьмет за руку и поведет за собой», ей хотелось встретить мужчину сильнее себя, которому она с радостью подчинилась бы и относилась бы к нему с рабской покорностью.

— Ой, Ольга, — вздыхала она, смущенно покашливая, — так хочется заботиться о ком-то, кому-то принадлежать, но вокруг одни хлюпики, а не мужики... Так немного нужно для бабьего счастья: любимого мужа, ребенка, комнату... И все это так трудно получить.

— Все у тебя будет, Груша, — Ольга брала великаншу за руки. — Вот увидишь. Нам лет-то с тобой всего ничего, только жить начинаем. Ты обязательно встретишь прекрасного мужчину, который оценит тебя. Конечно, это дело случая, но мне кажется, тебя непременно ожидает такой случай. Представляешь, сейчас, вот в это самое время, где-то ходит, работает твой будущий муж и даже не догадывается, что скоро судьба его сведет с тобой. Я уверена, он замечательный человек...

— Не знаю, — вздыхала Груша. — Вот у тебя с Анатолием все — лучше нельзя придумать. Вы замечательная пара. Вас даже трудно представить друг без друга, у вас любовь на всю жизнь. И дети у вас замечательные: девочка — куколка, и мальчуган такой сообразительный.

Анатолий с Ольгой жили только на одну зарплату, но по тем довоенным понятиям, жили неплохо, даже купили этажерку, радиоприемник и фотоаппарат «Лейка» и каждую покупку отмечали как важное событие.

— В нашей комнате уже уютно, — говорила Ольга мужу. — А когда я получу диплом и стану работать, у нас станет еще лучше. Тогда мы сможем купить красивую мебель.

— ...Как странно, — позднее вспоминала Ольга. — В те дни столько фотографировались, а снимки не сохранились, как будто и не было того чудесного времени. Как

будто все, что я вспоминаю, — всего лишь красивые фантазии, выдумки, а ведь это было, было!

По воскресеньям приезжали родственники Ольги и друзья Анатолия Иван и Михаил; брали патефон, гитару и отправлялись на озера в Тишково. Располагались на солнечной поляне, среди мшистых камней и широколистных деревьев, готовили обед на костре, танцевали под пластинки, Анатолий с Ольгиным братом Алексеем попеременно играли на гитаре, и всей компанией устраивали хоровое пение.

Одно время Алексей слишком зачастил на Правду, приезжал чуть ли не каждый вечер, и они с Анатолием отправлялись на рыбную ловлю в Тишково, и каждый раз на обратном пути заглядывали в пристанционную пивную, где пили портвейн, и возвращались ночью. После одной из таких рыбалок Ольга вспылила и сказала брату:

— Знаешь что! Не смей спаивать моего мужа! Если не можешь обойтись без выпивок, лучше не приезжай! — сказала твердо, и Алексей понял: в борьбе за свою семью се-стра не остановится ни перед чем.

С того дня рыбаки брали с собой только по бутылке пива и возвращались сразу же после захода солнца.

Станция Правда представляла собой нечто среднее между деревней и дачным поселком: деревянные срубы, источенные короедом, соседствовали с кирпичными домами, в палисадниках росли розы, а на улицах — полевые цветы. Около платформы высились сосны, под ними ютились обычные станционные постройки, а на пятаке, откуда ходил автобус в Тишково, находились керосинная лавка, пивная, магазин и газетный киоск.

Лето прожили как дачники, а осенью начались затяжные дожди и в доме появилась сырость. Немецким Ольга так и не занималась — не было времени. За хлебом и керосином приходилось ходить на станцию, за молоком — в Тишково, за остальными продуктами — ездить в Пушки-

но. С утра до вечера Ольга готовила, стирала, подшивала, выкапывала овощи с грядок, играла с детьми; Анатолий уставал ездить в электричках на работу и с работы; но они были молоды, сильно любили друг друга и трудности загородной жизни рассматривали как временные барьеры на пути, которые Ольге помогал преодолевать ее природный оптимизм, а Анатолию — чувство юмора.

Зимой завьюжило, поселок засыпало снегом, и до приезда мужей поселковые женщины вместе с детьми коротали время у Ольги; к ней тянулись, с ней никогда не было скучно. Жизнестойкая, активная, она умела приободрить, придумать интересное занятие, развлечь. Случалось, потрескивают дрова в печи, на полу играют дети, женщины вяжут свитера и носки, обсуждают будничные дела, вдруг Ольга встряхнется:

— Да что мы в самом деле, как старухи, говорим о пустяках. Давайте споем что-нибудь, — она брала гитару и громко затягивала «Катюшу», а потом, непоседливая, откладывала инструмент, вскакивала:

— Смотрите, за окном-то сказка! Одеваемся быстренько и идем встречать наших муженьков.

Шумной ватагой они направлялись к станции, а завидев Анатолия, Ольга лепила снежок и бросала его навстречу мужу.

Тот год был самым счастливым. На следующее лето началось война.

После объявления о мобилизации Анатолий пришел в военкомат, но его в армию не взяли по зрению; военком заявил:

— Как инженер вы нужнее в оборонке.

Его завод эвакуировался в Казань. В поселок прибыли грузовики; Анатолий перекидал в кузов саквояж, ящик из оцинкованного железа, наспех связанные узлы. Ольга с детьми забралась в кабину, и машина покатила в сторону Москвы.

На вокзале была паника и давка; плакали дети, кричали женщины; Анатолий отыскал заводской состав, помог Ольге с детьми забраться в телятник на сколоченные из досок нары. Их провожал отец Ольги.

— Знаешь что, папа! Уговорил бы ты маму, и поехали бы с нами, — с тревогой сказала Ольга.

— Ну что ты, Оленька. До Москвы немцы не дойдут, и вообще война быстро кончится. И куда на старости лет ехать? Мы с матерью уж как-нибудь здесь. Вам-то, понятно, надо ехать, у вас дети...

Локомотив дал сиплый сигнал, залязгали сцепы, состав тронулся, покотил с привокзального полотна; Ольгин отец стоял на платформе и долго махал старой шляпой. Тогда еще Ольга не знала, что видит отца в последний раз, — таким и запомнила его: сидящим, с добрым взглядом и какой-то виноватой улыбкой, со старой фетровой шляпой в руке.

Когда выехали за город, Ольга повернулась к Анатолию:

— Что же теперь будет?

В понурой задумчивости Анатолий пожал плечами, и Ольге стало еще тревожней; она-то думала, что он все знает, — где ей было понять, что он еще, в сущности, сам мальчишка. Как и большинство женщин, она видела в мужчине не только защитника, но и более мудрого человека... Обняв детей и точно окаменев, Ольга смотрела в окно — в ее голове не укладывалось, как могло так случиться. Казалось, земной шар стал вращаться в обратную сторону, все перевернулось, было столько планов, и вдруг... И как Германия, страна, которая дала миру столько поэтов, музыкантов, могла совершить такое?! Она вспомнила бухгалтера Шидлера, дачника Рудольфа Берговича... Эти немцы никак не вписывались в образ «вероломных захватчиков». И вот теперь родные остались в городе, а они с детьми куда-то едут, и что их ждет впереди?!

Не успел состав проехать и пяти километров, как началась бомбежка; заскрежетали тормоза, вагон задергался и встал; послышалась команда — «Выгружаться!». Спрыгнув на землю, Анатолий увидел, что два головных вагона горят, и вместе с другими мужчинами побежал на помощь. Огонь тушили долго, потом локомотив оттащил тлеющие вагоны в тупик, «погорельцев» распределили по другим вагонам, и состав покатил дальше; он тянулся медленно, подолгу стоял на запасных путях, пропуская воинские эшелоны, спешившие на запад, — из тех вагонов солдаты весело махали руками и кричали, что вернутся с победой. Молодые пареньки, почти подростки, смеялись и пели песни.

Во время стоянок мужчины собирали грибы в лесополосе вдоль путей, ловили раков в прудах и речушках; женщины ходили в близлежащие деревни за продуктами; детям «для разминки» разрешали играть у вагонов. Однажды на одном из полустанков не успел Анатолий набрать в чайник кипятка, как состав тронулся, а путь к нему перегородил встречный товарняк; когда товарняк пронесся, состав уже набирал скорость. Анатолий побежал к своему вагону; крышка чайника упала, и горячие брызги обжигали руку. Высунувшись из проема двери, Ольга закричала:

— Брось чайник!

Но Анатолий упорно пытался догнать свой вагон и, только когда состав покатил быстрее, бросил чайник и вскочил на подножку одного из последних вагонов.

Около месяца состав тянулся до Казани и наконец встал на разъезде Аметьево. На разъезде было тихо; за поворот убегали ржавые рельсы и сгнившие шпалы, на бугре стояла будка стрелочника, за ней виднелись овраги с красной глиной и деревня, за которой темнел город. Выгружались прямо на траву; через несколько часов за вещами пришли грузовики, а людей построили в колонны и повели за пять километров на территорию небольшого завода. Семьи раз-



мещали в подвалах и под тентами, одинокие приступили к постройке барачков.

Анатолию с Ольгой достался сарай, но спустя неделю, когда организовали бюро для расселения по частным квартирам, они переехали в деревянный дом на улице Малая Красная.

В доме царило запустение: поломанная мебель, пыльные полки, надбитая посуда. Хозяйка, больная женщина, Евгения Петровна занимала две дальние каморки, в проходной комнате поселились Анатолий с Ольгой. Комната продувалась насквозь, и на ночь поверх одеял накрывались ватными телогрейками и обкладывались бутылками с горячей водой; дети спали на старой железной кровати, Анатолий с Ольгой — на настиле, сколоченном из досок.

Евгения Петровна перебралась в Казань задолго до войны. Когда-то, по ее словам, она жила в Москве и работала массажисткой; не раз рассказывала Ольге о «чудодейственных кремах», а показывая свои руки, восклицала:

— Эти руки массировали Ермолову!

Вместе с Евгенией Петровной жили ее мать, совсем дряхлая полунемка, и тощая собака Кэт. У старухи было синее, бескровное лицо и скрюченные пальцы, она еле передвигалась и постоянно бормотала какую-то молитву. Когда Евгения Петровна обедала, старуха, как затворница, сидела в стороне и голодными глазами смотрела на стол. Время от времени Евгения Петровна выдавала матери и Кэт кусок хлеба, хвосты селедок и беспощадно ворчала:

— Ты меня не воспитывала. Сама жила весело, припеваючи, а я росла беспризорницей.

Старуха молча сносила упреки, только мелко тряслась и кивала, как бы соглашаясь с дочерью и благодаря за подачки; порой, всплакнув, шепелявила, что «очень переживает войну», и просила прощения — непонятно, у кого и за что: то ли у дочери за свое прошлое, то ли у всех россиян за немецкую нацию.

— Мать — эгоистка! — объясняла Евгения Петровна Ольге. — Меня никогда не любила. Когда у меня появился жених, прогнала его... Она и Кэт не любит. Если бы не я, давно продала бы ее на мясо. Ведь здесь всех собак поели.

— Все равно вы очень жестоки к матери, — говорила Ольга и втайне совала старухе вареные картофелины.

В Казань прибыли станки Московского авиационного завода, и на местном предприятии началось переоборудование; вскоре часть эвакуированного предприятия уже выпускала продукцию. Ольга отдала детей в детсад и устроилась на завод контролером ОТК; по двенадцать часов в сутки проверяла детали, а потом еще стирала грязное солдатское белье, выдаваемое каждой работнице, кроме жен начальников.

Анатолий не выходил из отдела по четырнадцать часов. Случалось, его вызывали на завод и ночью — оборонные предприятия работали круглосуточно; в цехах у станков стояли женщины и подростки. Анатолий был специалистом по формам, придумывал и рассчитывал формы, в которых под давлением отливались различные детали; он внес множество рационализаторских предложений, на его столе всегда стоял красный флажок передовика. В отделе он слыл «скромником»; когда его хвалили на собрании, старался незаметно ускользнуть из зала, но, если немного выпивал, хорохорился перед женой:

— Честное слово, Олечка, все, что делают инженеры нашего отдела, я тоже могу, но еще могу и то, чего они не могут.

— Я уверена в этом, — улыбалась Ольга. — Только ты ведешь себя чересчур скромно. Не обязательно выпячиваться, бить себя в грудь и говорить, какой ты талантливый, но все-таки надо держаться с достоинством, поуверенней, потверже.

Приближалась осень. Продуктов, выдаваемых по карточкам, не хватало, и перед зарплатой в доме совсем

не было еды; тогда варили похлебку из лебеды, жарили «чертиков» из картофельных очистков, которые собирали у столовой госпиталя, но даже в эти дни Ольгу не покидало мужество. Это мужество непроизвольно передавалось другим, и в первую очередь ее мужу, теперь часто впадавшему в уныние. По совету жены Анатолий купил на барахолке старый бредень, и несколько раз они вдвоем ночью ловили рыбу на Казанке; раздевались догола и, поживаясь, брели в темной воде, среди осоки, по топкому, вязкому дну, то и дело выволакивая тяжелый бредень на мелководе, и в плотной темноте среди трав отыскивали бьющихся скользких рыбешек.

После рыбалок варили уху, а на работе подробно рассказывали о своих уловах. По цехам пошли разговоры, что Ольга по ночам таскает бредень, и над Анатолием стали подшучивать, к тому же у него от холодной воды опухли ноги, и рыбалки пришлось прекратить.

Как-то Ольга сказала мужу, что одна женщина из их отдела ездила за город, нарвала колосьев ржи и сварила кашу.

— Нам тоже надо съездить, — заключила она. — Детей в саду кормят плохо, и у нас ничего нет.

Анатолий сразу заявил, что он против поездки.

— Как мы будем смотреть людям в глаза? — недоуменно спросил у жены. — Нас считают безупречно честными. Да и самому себе этого не прощу. Лучше одолжу деньги у кого-нибудь.

Он пытался занять деньги у всех знакомых, но у него ничего не вышло, большинство семей было в таком же положении.

— Собирайся! — решительно сказала Ольга. — Здоровье детей дороже всего.

Они взяли рюкзак и ночным поездом приехали на станцию Дербышки. Сойдя с платформы, прошли сумрачные заросли и очутились на краю поля ржи; осмотревшись,

вошли в посадки и начали обрывать тяжелые литые колосья. Когда рюкзак наполнился до половины, послышались лошадиный храп, голоса. Приподнявшись, Анатолий увидел прыгающие пятна фонарей.

— Обьездчики, — прохрипел он. — Бежим к станции.

— Уже рассвет, заметят. Лучше спрятаться, — спокойно прошептала Ольга.

Анатолий поразился смелости и находчивости жены в минуту опасности. Они забрались в спутанную гущу колосьев и замерли. Топот и говор усилились, потом начали стихать.

— Ты такая счастливая, Олечка! — пробормотал Анатолий, когда объездчики скрылись. — Тебе так во всем везет. И ты такая бесстрашная, мужественная.

— Никакая не мужественная! — усмехнулась Ольга. — Просто у меня есть чувство долга перед детьми. А мужество — не что иное, как преодоление страха.

Хлебного клейстера хватило на несколько дней, и все эти дни доверчивая Ольга рассказывала сослуживцам, какие они с мужем удачливые. Но однажды в заводской многотиражке появилась статья, где говорилось о некоторых работниках завода, которые крадут колхозное зерно. Статья заканчивалась предупреждением, что к таким людям будут применять крутые меры. В тот же день вечером Анатолий с тревогой сказал Ольге:

— Я узнал, за колосья могут посадить. Скажи в отделе, что ты все придумала.

— Вот еще! И не подумаю! Меня не посадят, у меня двое детей.

— О чем ты говоришь, Олечка?! На соседнем заводе арестовали инженера только за то, что он хвалил немецкую технику.

— Меня не посадят, — твердо повторила Ольга. — А если это случится, я на суде все скажу. И про то, как многие получили теплые квартиры в центре, и приобрели допол-

нительные карточки, и спекулируют ими. Думаешь, я это не знаю?! И про то, как мы, рядовые работницы, по ночам стираем солдатское белье, а жены начальников от этого освобождены. Почему? И про то, как в нашем ОТК здоровые мужики получили бронь, увильнули от армии, как бы по болезни. Я все скажу! И кое-кому не поздоровится... На моей стороне правда. А правда многим не нравится, потому что она жестокая... А то, что я своим голодным детям сорвала несколько колосьев, это разве преступление?! Дирекция завода и городские власти должны были в первую очередь позаботиться о детях, а они позаботились о себе...

Зима наступила внезапно, суровая, мгlistая, с ледяными морозами. Трещали деревянные дома, лопались провода и трубы, замерзшие птицы падали с деревьев. И вдруг однажды, когда Ольге и Евгении Петровне удалось раздобыть охапку поленьев и они растопили печь, Анатолий сообщил, что на чердаке их дома... летают бабочки. Ольга с детьми залезли на чердак и увидели, что вокруг печной трубы кружат желтые бабочки.

— Какое чудо! — воскликнула Ольга. — Они отогрелись и решили, что наступила весна. Надо же, какая сила у природы! Уж если бабочки переносят холода, то мы и подавно должны. Сейчас нам нелегко, но знаете что? Спартанская обстановка закаляет организм. Судьба посылает нам трудности, проверяет нас на прочность, но мы крепкие, не сдадимся, верно, ребята?!

Валенки на рынке стоили дорого, и в морозы ноги обматывали газетами и тряпками. От безденежья Ольга продала саквояж, ящик из оцинкованного железа, одну из своих сумок, а потом и эмалированные кастрюли — взамен купила алюминиевые и, для экономной чистки картошки, самодельный вогнутый нож, но чаще клубни просто отмывали и варили в мундире. Кроме картошки изредка варили чечевичные похлебки, еще реже — супы из воблы.

Кое-как перезимовали, а весной пришли несчастья. Вначале получили телеграмму о смерти отца Ольги, потом заболела воспалением почек дочь, и ее, распухшую, положили в больницу. В больнице детей кормили перловыми кашами без масла, молоко давали по пятьдесят граммов в день. Для выздоровления дочери требовалось хорошее питание, и Ольга поехала в татарские деревни обменивать на масло и крупы единственную ценность в семье — кобальтовую посуду.

Тогдашние пригородные поезда представляли собой грохочущие, лязгающие составы, скопище оборванных людей с мешками и чемоданами. Люди набивались на лавки и в проходы, стояли в тамбурах, на буферах, висели на подножках, лежали на крышах. По вагонам шныряли карманники; на станциях хулиганы кидали на крыши вагонов «кошки» — веревки с крюками; зацепят мешок — стаскивают; случалось, цепляли и людей.

Ольга поехала после работы, и, когда вышла из вагона на станции Бирюли, уже начало смеркаться. Она направилась к ветряной мельнице, махавшей лопастями на бугре, за которым виднелись крытые соломой дома. Впереди Ольги вышагивала рыжеволосая девушка с чемоданом. Поравнявшись, Ольга спросила, куда она идет. Рыжеволосая насторожилась, насупилась.

— Менять вещи.

— Я тоже. Пошли вместе. Вдвоем веселее.

Пугливо озираясь, девушка осмотрела Ольгу.

— Нет. Я пойду в дальнюю деревню, — и свернула на тропу.

Из первой избы к Ольге вышла полная женщина в ярком платке: заговорила по-татарски, жестами попросила развязать мешок. Подошли другие женщины; одна покачала головой.

— И кому теперь такой тарелка нужно?

Совсем стемнело, и хозяйка пригласила Ольгу к себе, в пропитанную дымом избу, усадила за стол, пододвинула

картофелины, горячее молоко, а когда гостья поела, показала на лавку и протянула лоскутное одеяло.

Ольга проснулась рано утром от солнца — оно светило прямо в глаза; хозяйка разливала чай, смотрела на Ольгу, улыбалась, кивала на стул и тараторила:

— Твой садись, пей чай.

Пока Ольга пила чай, хозяйка достала из погреба шарообразный кусок масла, кулек гречи и ведро картошки.

От неожиданной удачи всю обратную дорогу Ольга почти бежала. Когда до станции оставалось меньше километра, из-за поворота вынырнул поезд; подкатил к платформе и начал тормозить. Ольга знала, что поезда ходят всего два раза в сутки, и припустилась быстрее; пот заливал ее лицо, в горле пересохло, мешок бил по худой спине, болели стертые ноги... А состав поскрипел тормозами, погромел сцепами и замер. Из вагонов вышли лесорубы с топорами и пилами, обернутыми рогожей, спустились с платформы, зашагали навстречу бежавшей Ольге.

— Нажми еще немного! — крикнули. — Должна успеть.

Но локомотив дал сигнал, пустил пары, бешено на одном месте прокрутил колеса, как бы разминаясь, и тронулся... Спотыкаясь, увязая в гальке, Ольга бежала по насыпи из последних сил, а поезд медленно покидал границы станции. Ольга бежала, а из будки на нее смотрел машинист и не прибавлял скорости. Догнав вагон, Ольга ухватилась за поручень и плюхнулась на подножку; отдышавшись, вползла в тамбур и так и ехала до следующей станции, и ветер обдувал ее горячее обмякшее тело.

На остановке вошла в вагон, и следом за ней... контролер. Идет с каменным лицом и щелкает компостером.

— Ваш билет? — буркнул, подходя к Ольге.

Ольга машинально вынула из кармана вчерашний билет. Контролер поднял глаза. Увидел худую женщину, старое платье, грязное от пота и пыли лицо, запекшиеся,

потрескавшиеся губы, сбитые волосы, вздохнул, пробил билет и отвернулся.

Только перед самым городом Ольга пришла в себя и прислушалась к разговорам:

— Нашли в лесу мертвую... рыжеволосая, молодая... видно, шла в деревню менять... а в чемодане-то оказались детские игрушки!..

«Господи! — подумала Ольга. — Неужели та девушка?! И какой негодяй посмел?! И за что?!»

Дочь проболела до лета, и все это время каждый вечер Ольга проводила в больнице, с разрешения врачей работала сиделкой и, как говорила позднее, «ежедневно сражалась с болезнью дочери». Больница была переполнена, дети лежали даже в коридорах; лекарств и перевязочных средств не хватало. Ежедневно умирал то один, то другой ребенок. Женщины уже не плакали, только крестились:

— Слава богу, отмучился, бедняжка. Избавился от голодной смерти!

Но Ольга твердо решила не сдаваться: сходила в военный госпиталь, достала лекарства, уложила в мешок кое-что из своей одежды, снова поехала в деревню за продуктами.

Спустя месяц дочь выписали, но она была слишком слаба — с кровати не вставала, во сне все время плакала, но главное — у нее резко ухудшилось зрение. Это испугало Ольгу, и, завернув дочь в одеяло, она пошла к врачу, который жил на соседней улице.

Осмотрев дочь, врач сказал:

— Ее недолечили. В больницах не хватает мест, и всех выписывают раньше времени. Она сейчас плохо видит, но это пройдет.

За визит Ольга отдала врачу последние деньги, а по дороге к дому вспомнила доктора Персианинова, который никогда не брал денег у тех, кто находился в бедственном положении.



На окраине города построили казармы, в которых собирали курсантов из военных училищ волжских городов для прохождения ускоренной подготовки. При казармах открыли столовую и на столбах расклеили объявления: «Требуются официантки, поварахи, посудомойки и уборщицы». В столовую приходили женщины из города и близлежащих деревень, приходили и девчонки-подростки, и старухи.

— Я тоже пойду работать в столовую, — сказала Ольга Анатолию. — И сама буду сыта, и домой смогу что-то принести.

Она уволилась с завода и пришла во временный отдел кадров столовой. За столом сидели два майора; тщательно просмотрев документы Ольги, один из них спросил:

— Сможете ли работать, вы такая хрупкая? Работа будет тяжелой, придется ежедневно мыть полы и лестницы, оставаться на ночь, чтобы приводить помещение в порядок.

— Я сильная и работы не боюсь, — твердо заявила Ольга.

— Ну хорошо, посмотрим. Действия выразительнее слов. Пока примем вас, а там посмотрим.

На следующий день в шесть часов утра Ольга надела заштопанные юбку с кофтой и направилась в столовую.

Работниц встретил старший лейтенант с нашивкой ранения.

— Моя фамилия Стурлис, — возвестил он пронзительным голосом. — Я буду вашим начальником, иначе говоря, директором столовой. Вы должны беспрекословно подчиняться мне. Завтра мы открываем столовую. Это ответственная работа. Мы будем кормить будущих офицеров, которые в скором времени отправятся на фронт.

Женщины переоделись в халаты, начали мыть полы, окна, столы и лавки. Потом чистили плиту, котлы, чаны, кастрюли — приводили в порядок кухонную утварь. Весь день работали, к вечеру, измученные и голодные, вали-

лись с ног от усталости, но продолжали мыть и скоблить. Некоторых тошнило, две девушки упали в обморок. Их и еще трех женщин Стурлис отправил домой. Несколько раз он подходил к Ольге и с проникновенной вкрадчивостью спрашивал:

— Не устали?

Мокрые волосы прилипали к щекам Ольги, ручьи пота текли по шее и худым плечам, но она понимала, что лейтенант спрашивал с определенной целью: проверял ее выносливость.

— Еще могу работать.

— Посмотрим, посмотрим, — едко усмехался Стурлис и, заложив руки за спину, размашисто шагал к выходу.

«Утонченный садист», — думала Ольга.

Поздно вечером на кухню вступили повара, Стурлис отобрал нескольких женщин им на подмогу, остальных отправил убирать соседние помещения. Снова Ольга скоблила, натирала полы... Время от времени Стурлис появлялся в дверях и делал резкие замечания. Когда он уходил, многие женщины усаживались на мокрые доски и отдыхали, а Ольга, стиснув губы, продолжала работать; окна и двери были распахнуты, но ей казалось — в столовой стоит плотная духота.

В полночь работу закончили. Повара принесли миски, в которых оказалось всего несколько ложек супа; работницы ждали второго, но пришел Стурлис и отчеканил:

— Больше ничего не будет. Надеюсь, утром вы завтракали. Сейчас отправляйтесь по домам, а к семи утра извольте прибыть чистыми, умытыми и в хорошем настроении.

Домой Ольга пришла в два часа ночи и тут же свалилась от усталости.

Утром ее разбудил Анатолий, поставил на стол кружку чая, хлеб, две печеные картофелины. Ольга чувствовала себя разбитой: болела голова, ломило руки и ноги; не от-

крывая глаз, поплескала на лицо водой, оделась, позавтракала и, пошатываясь, побрела на работу.

На столах работниц ждал завтрак: каша, хлеб, маленький кусочек масла и кофе с молоком. Женщины набросились на еду, масло прятали для детей и родных. Узнали, что ночью две поварихи объелись и их отправили в больницу.

— Теперь вы понимаете, почему вчера не было второго? — дружелюбно спросил Стурлис.

Через несколько дней Ольга поняла, что Стурлис не столько жестокий, сколько требовательный, и перестала злиться на его хлесткие замечания; позднее она узнала, что он и к себе беспощаден: написал рапорт, что после ранения поправился и дальнейшее пребывание в тылу рассматривает как дезертирство.

Столовые заполнились курсантами. Совсем юные, красивые, в форме с нашивками и значками, они шумно рассаживались, перекидывались шутками, с работницами были приветливы, доброжелательны. Когда Ольга смотрела на курсантов, ей становилось тревожно и за этих парней, и за своего младшего брата Виктора, который целый год находился на фронте и от которого не было вестей.

Во время раздачи еды Ольга работала официанткой, в перерывах — посудомойкой, вечером — уборщицей; она сильно уставала, но от хорошего питания даже немного поправилась и каждый день приносила домой кусочки масла, хлеб, сахарин.

Некоторые курсанты приходили в столовую до открытия, помогали работницам принимать хлеб у возниц, резать буханки на ломти, разносить подносы по столам. Чаще других появлялся скромный паренек с грустными темными глазами. Он входил бесшумно, с виноватой улыбкой. Его звали Николай. Однажды, когда Ольга закончила работу, Николай подошел к ней.

— Знаете, Оля, я сегодня назначен патрулем. Пожалуйста, погуляйте вместе со мной.

Ольга и раньше замечала, что Николай к ней неравнодушен. И когда она накрывала скатертями столы, и когда разносила еду — он все время за ней наблюдал. Даже поздно вечером, уходя из столовой, Ольга чувствовала на себе его взгляд. С одной стороны, ей было приятно, что из многих молодых женщин Николай обратил внимание именно на нее, с другой — это ее пугало. Ольге казалось, что в такие минуты между ней и Николаем возникают какие-то невидимые нити; она опускала голову, убыстряла шаг. По ночам ей снилось, что эти нити уже многие видят и даже судачат о чем-то более серьезном, связывающем ее с Николаем. Ольга оправдывалась, защищалась, а проснувшись, злилась на свои выдумки.

Она слишком любила Анатолия и была ему безоглядно предана (хозяйка Евгения Петровна за преданность называла ее «собакой»), остальные мужчины для нее просто не существовали, она смотрела на них как на сослуживцев, знакомых и приятелей мужа, и все они были для нее чужими, посторонними, а Толя своим, родным. «Но как это объяснить застенчивому пареньку? — подумала Ольга, когда он предложил ей прогуляться. — Конечно, через несколько дней он уйдет на фронт, и нехорошо обижать его отказом, к тому же нет ничего страшного в том, что они погуляют пять минут». Рассуждая об этом, Ольга и не заметила, как пошла рядом с Николаем; она спохватилась, когда они пересекли улицу, и сразу вздрогнула, ей показалось, что в эту минуту Анатолий почувствовал ее предательство. Ей захотелось побежать домой, но Николай рассказывал о себе, и Ольга не решилась оборвать его на полуслове. Она слушала рассеянно, то и дело оборачивалась: боялась, что их увидят знакомые.

Он рассказал ей всю свою девятнадцатилетнюю жизнь: зеленый город Саратов, дом на берегу Волги, яблоневоый сад, отец на фронте, живет с матерью, два года в училище... Они прошли почти до центра города, и Николай остановился.

— Вообще-то дальше мне нельзя. Черта. Зона патрулирования кончается. А, ладно. Провожу вас.

— Нет, нет. Возвращайтесь. И мне пора...

Что-то вроде жалости к влюбленному парню сковало Ольгу, и у нее не повернулся язык сказать о муже. На другой день она узнала, что Николая посадили на гауптвахту; она догадалась, что это случилось из-за нее, и подошла к полуподвалу, около которого вышагивал часовой.

— Николай здесь? — спросила у часового.

— Здесь, но подходить нельзя, — часовой подмигнул, и Ольга поняла, что он все знает.

Покраснев, она хотела отойти, но услышала, что кто-то барабанит по стеклу, и, обернувшись, увидела в окне Николая — он махал ей рукой и улыбался. Часовой тактично отошел в сторону, и Ольга, наклонившись, спросила:

— За что вы здесь?

— За вас.

— Потому что перешли ту черту?

— Ага. Но это ничего... Вот только... вас видеть хочется.

А на другой день Николай сообщил, что их отправляют на передовую. Он сбегал в казарму и принес открытку с видом Саратова и адресом матери.

— Это вам, Оля... Я не успел вам сказать... Очень прошу вас, ждите меня... Вы будете ждать, Оля?

Ольга только опустила голову.

...Прощальный парад состоялся на центральной площади города. Под духовой оркестр маршировали вчерашние курсанты в новеньких гимнастерках, в начищенных сапогах; красивые, юные, они отправлялись на фронт. Ольга стояла среди провожающих и махала рукой. Поравнявшись с ней, Николай улыбнулся и что-то проговорил одними губами. Ольга не поняла, что — то ли «ждите меня», то ли «люблю тебя».

Из столовой Ольга приходила в одиннадцать вечера, а то и за полночь, ставила на стол банку какого-нибудь рассоль-

ника и тут же укладывалась спать. Анатолию приходилось после работы стоять в очередях, готовить ужин да еще чертить за доской — выполнять срочный заказ. В конце концов решили, что Ольге лучше подыскать другое место.

Уволившись из столовой, она несколько дней обивала пороги разных учреждений; кто-то посоветовал сходить на хлебозавод.

— Туда не возьмут, — безнадежно махнул рукой Анатолий. — Наши мужчины там нанимаются грузчиками в ночную смену, но берут только двух-трех. Работа там тяжелая, а чуть ошибся — выгоняют. За воротами всегда толпа желающих.

Но Ольга настойчиво заявила:

— Я буду сыта, и моя хлебная карточка останется в семье.

На следующее утро почти босиком — туфли развалились и хозяйка дала драные тапочки — Ольга пришла на хлебозавод и вошла в проходную, где мужчины ожидали поденной работы.

— Знаете что?! Мне нужно в отдел кадров, — сказала охраннику. Сказала так убедительно, что охранник показал на дверь.

В отделе кадров сидели две женщины.

— Кто вас пропустил? — спросила старшая. — Нам никто не требуется. Весь штат укомплектован... Постоянных-то не знаем, куда ставить.

— Ваш завод — единственная моя надежда, — сказала Ольга. — Я согласна работать кем угодно, на любых условиях.

Женщины посмотрели на старое платье, на тапочки...

— Сейчас пойдем в цех, — вышла из-за стола старшая. — Если сдвинешь вагонетку с хлебом, возьмем разнорабочей.

— Я обязательно сдвину, — просияла Ольга.

В огромном цехе было жарко и пахло свежеспеченным хлебом; повсюду стояли вагонетки, набитые буханками

хлеба, от которых шел пар. В горле у Ольги запершило, на глазах появились слезы.

— Вот тебе хлеб, отойди в сторонку, поешь, потом будешь двигать, — женщина протянула Ольге полбуханки.

Ольга стала есть горячий мякиш и вдруг простодушно спросила:

— А можно половину спрятать? Я хочу отнести детям.

— Выносить хлеб нельзя. За это отдают под суд! — Женщина кивнула на вагонетку, стоящую около печи: — Откати ее в угол.

Ольга ухватилась за поручень и напряглась изо всех сил, но вагонетка не сдвинулась. Ольга уперлась ногами в пол, навалилась на вагонетку всем телом, но та даже не качнулась. Подошли рабочие, заулыбались, женщина тоже улыбнулась, встала рядом с Ольгой, толкнула поручень, и вагонетка покатила.

— Ну ладно, молодец. Старание налицо. Пойдем, оформлю тебя разнорабочей в сухарный цех. Завтра выходи на работу.

— Все-таки ты, Олечка, удивительно счастливая, — сказал вечером Анатолий. — Ты как-то действуешь на людей, тебе никто не может отказать.

— Да никак я не действую, — рассмеялась Ольга. — Просто я энергичная.

— Да, действительно, ты не динамо-машина, ты шаровая молния.

Утром Ольге выдали рабочую карточку — шестьсот граммов хлеба в день.

— Целое состояние! — воскликнула Ольга дома. — И все это для семьи, а в цехе я буду есть сколько влезет.

Через неделю Ольга заметно поправилась и возила вагонетки без особых усилий. Но работа была и опасной. Как-то Ольга везла хлебные формы, и вдруг сбоку вынырнула виляющая из стороны в сторону вагонетка — на ее подножке стоял рабочий и спал, вцепившись в железный

каркас. Ольга вскрикнула, застыв на месте, но в ту же секунду рабочий-электрик дернул ее за руку, Ольга плюхнулась на пол, а вагонетки с грохотом врезались друг в друга.

Ольга работала усердно, к тому же она была одной из самых грамотных женщин на заводе, и вскоре ее перевели в учетчицы. Теперь кроме учета продукции в ее обязанности входило набирать людей для ночной погрузки и подвозки хлеба... Когда Ольга выходила за ворота, ее окружала толпа небритых, усталых мужчин, отработавших смену на других предприятиях. Требовалось десять человек, а тянули руки две сотни, и каждый протискивался поближе к Ольге. Первыми она брала самых истощенных, записывала их в тетрадь, а остальных просила прийти на следующий день. Таким образом, в конце концов каждый побывал в цеху.

...Осенью сорок второго года все было затянуто дождевой сеткой. Временами переставало лить, но воздух оставался пузырчатым, и водяная пыль проникала даже в дома. В ту осень получили известие о гибели друзей Анатолия — Ивана и Михаила; об этом сообщила сестра Ксения. Анатолий был на работе, когда принесли письмо. Ольга хотела подготовить мужа к известию: вначале сказать, что Иван и Михаил ранены, а уж потом показать письмо, но у нее ничего не получилось: она не умела играть, прятаться за спасительную ложь — и сбивчиво выпалила ужасную правду.

Потрясенный Анатолий долго не мог прийти в себя; он осунулся, ссутулился, с работы возвращался поздно, выпивши; усаживался на кухне в углу, поминутно снимал очки, тер глаза, говорил Ольге, что ему стыдно — его друзья погибли, а он отсиживается в тылу. Втайне от жены он снова ходил в военкомат, просился на фронт, но его не отпускали с оборонного завода, да и зрение подводило.

Гибель друзей для Анатолия стала вторым, после смерти родных, страшным ударом, от которого он так и не смог



полностью оправиться. Стоило ему хотя бы ненадолго остаться наедине с самим собой, как в него, и без того слабавольного, вселялись бессилие и хандра.

— Я всех потерял, — бормотал он, — у меня остались только Ольга и дети.

С каждым годом его все сильнее охватывали неуверенность и малодушие. В семейной драме и в гибели друзей он видел предначертание судьбы, определенный рок. Только постоянная поддержка, самоотверженность и преданность жизнестойкой жены выводили его из состояния подавленности.

Через год часть работников завода переселили в общежитие Казанского университета на окраине, в четырехэтажное строение из жухлого кирпича со сгнившими водостоками. Рядом в овраге пролежала железнодорожная колея, с одной стороны уходившая в тоннель, с другой — упиравшаяся в стрелку станции Аметьево. Перед общежитием склоны оврага связывал деревянный мост.

Анатолию с Ольгой достались на втором этаже две крохотные комнаты, переделанные из туалета; в них был холодный, выложенный плиткой пол, между стеной и расшатанной дверью зияла щель, которую приходилось занавешивать. Несколько дней из досок и ящиков Анатолий сколачивал стол, табуретки и козлы под матрацы. Он не признавал работу на скорую руку и все делал неторопливо, основательно, с поразительной тщательностью.

— К вещам, сделанным своими руками, и отношение особое, — говорил.

— Отличная мебель, — сказала Ольга, поглаживая самоделки мужа. — Прямо стиль «Людовик», — она еще пыталась шутить, взбодрить свое сникшее семейство.

Через общежитие тянулся сумрачный коридор, по обеим сторонам которого были комнаты с пыльными лампочками; заканчивался коридор умывальной и кухней

с железными печурками-буржуйками; единственный туалет находился на третьем этаже. Электричество давали только на два часа, и вечером сидели при коптилках. То и дело в общежитии появлялись клопы, и тогда мебель ошпаривали кипятком. А однажды обнаружили вши, и, поскольку мыло выдавали редко, вместо него использовали глину с золой, но эта смесь была малоэффективна, и многим женщинам пришлось остричь косы.

Вечерами по коридору стелился едкий дым — на печурках готовили скудную еду, сушили обувь, кипятили баки с бельем, плавил стеарин и лепили из него свечи. После ужина все снова собирались на кухне, слушали по радио последние известия. Кухня была неким клубом, где каждый мог высказаться, найти понимание, поддержку — и в первую очередь у Ольги. Как и всюду, в общежитии неутомимая Ольга была главным действующим лицом; она объединяла самых разных людей, примиряла самых непримиримых противников. Несколько минут, проведенные с ней, поднимали настроение на целый день. Все в один голос называли ее «сердечной, отзывчивой, душевной».

Общежитие почти не отапливали; крайне редко в батареях слышалось бульканье и в комнатах становилось теплее; тогда грелись у радиаторов, сушили на них сухари из черного хлеба; в такие дни Ольга в кругу семьи непременно восклицала:

— Давайте-ка вот что! Постелим матрацы у батареи и выспимся на полу по-царски. А перед сном тихонько споем прекрасные русские песни, — и она вполголоса затягивала «Степь да степь кругом...», затем «В низенькой светелке огонек горит...».

Комнату рядом с кухней занимала Тоня Бровкина, которая до войны жила на Правде. Ее муж был на фронте, а она, имея двоих малолетних сыновей, работала в литейном цехе. «Фигуристая», с каштановыми волосами, Тоня, после увольнения Ольги, считалась «первой красоткой» на заводе; муж-

чины засматривались на нее, но она не замечала их — была полностью поглощена заботой о детях и беспокойством за мужа. Однажды один молодой литейщик попытался ее обнять — то, что за этим последовало, позднее пересказывали как невероятный случай: Тоня так вспыхнула, с такой яростью оттолкнула парня и стала наносить ему пощечины, что рабочие подумали, она сошла с ума. Ее еле оттащили от обалдевшего несчастного литейщика.

Рядом с Тоней жила еще одна работница завода — Катя Синькова. У Кати была обычная внешность, но звали ее «шикарная женщина», потому что она носила модное крепдешинное платье и всегда резко пахла духами. Как и Тоня, Катя была женой фронтовика, но вела себя вызывающе; к ней наведывался комендант общежития, всемогущий Маркович, здоровенный, с двойным подбородком мужчина, который каким-то образом избежал мобилизации. Женщины в общежитии звали его «тыловой крысой», а мужчины — «упитанным от сытной жизни» и «маленькой сошкой с большими амбициями». Появляясь в общежитии, Маркович быстро, «для порядка», обходил умывальни и кухни, потом надолго исчезал в Катиной комнате, причем всегда входил со свертком впечатляющих размеров, а уходил без него — женщины шушукались, что «крыса приносит Катьке крупы и сало».

— Война войной, а молодость проходит, — цинично, без всякого смущения говорила Катя на кухне. — Я вообще в любовь не верю. Жизнь-то проще. У нас с муженьком и не было никакой любви. Так... сожителем стали... Он там небось уже какую кралю завел, связисточку или сестричку милосердия. У них ведь там не только бои, есть и передых.

— И как она может так рассуждать, — возмущалась Ольга. — Она в любовь не верит. Во что же тогда верить?!

— Катька просто дура! — резко говорила Тоня. — У нее ни стыда ни совести нет. Все строит из себя кого-то. Счи-

тает, что у нас все бабье, а у нее бабочка. Тоже мне целлюлоидная красotka!

С наступлением зимы, после «специального разрешения» коменданта, буржуйки из кухни перенесли в комнаты, а трубы выставили в форточки, и общежитие окутала дымовая завеса. Для печурок по всей окрестности собирали щепки, ветки; на поиски топлива отправлялись целыми семьями, и случалось, некоторым везло — находили куски торфа и угля. Готовили на печурках баланды из всего, что можно было достать, — «супы-фантазии», как их называла Ольга.

На продуктовые карточки выдавали хлеб и перловку; суточная норма была ничтожно мала, и все обитатели общежития, кроме Кати, сильно похудели. Но то суровое время спланивало людей; в общежитии жили по-родственному, всем делились друг с другом: обувью, одеждой, вареной картошкой, сухарями, и что особенно дорого и примечательно — радовались, что могут поделиться.

В свободные от работы вечера женщины собирались у Ольги, «коротали время за чаем у огонька» — совсем как когда-то на Правде. Каждая женщина приносила полено или обрезок доски — поддерживать огонь в печурке. Чай заваривали горелой коркой хлеба и растворяли в нем сахарин.

— Мы, девчата, все выдержим, — говорила Ольга. — Конечно, кое-кто и сейчас живет неплохо. Некоторые пользуются бедственным положением людей, за бесценок скупают одежду, вещи. Ну да ничего, после войны разберемся с этими зажиточными... Представляете, у нас на хлебозаводе у одной женщины живет кот. Так он таскает колбасу у зажиточных соседей и приносит хозяйке, — Ольга пыталась шутить, прекрасно понимая, что шутки снимают напряжение, отвлекают от мрачных мыслей.

— Мы все выдержим, — уверенно повторила она. — Ведь мы, русские женщины, двужилые...

Анатолий с работы шел медленно, устало, по дороге отыскивал в снегу обледенелые палки для буржуйки. Входил в комнату, протирал запотевшие очки, снимал старое демисезонное пальто, калоши, пиджак с тонко очиненными карандашами в верхнем кармане и дюралевыми обрезками в боковых. Обрезки собирал на заводской свалке — из них они с сыном делали электроплитки. После ужина сын крутил дрель с зажатым в головке железным прутом, Анатолий направлял проволоку — делал спираль. Потом Анатолий нарезал из дюраля полосы, загибал их на болванке, сын сверлил дырки. Все части склепывали — получался каркас плитки. В воскресенье приходили на барахолку, покупали изоляторы, прилаживали их к каркасу и готовое изделие отдавали спекулянтам. За неделю делали две плитки.

Сам Анатолий никогда не занялся бы подобным приработком — настояла Ольга. Предприимчивая, волевая, она сшила на руках одеяло из лоскутов и продала его на барахолке. Там же, на барахолке, она и узнала о ходовых товарах и способах их изготовления.

Вскоре на вырученные от продажи плиток деньги Анатолий с Ольгой купили на толкучке швейную машинку, собранную неизвестно из чего, — она напоминала модель паровоза с вывернутыми наружу внутренностями. Но уж очень понравился Анатолию ее владелец. Среди колготящейся толпы он спокойно стоял, прислонившись к забору в промасленном комбинезоне, с ящиком инструмента через плечо. Стоял и смолил козью ножку, рядом красовался продаваемый агрегат.

— Вы не смотрите, из чего она сделана, — хрипловато сказал мужчина. — Работать будет, как вечный двигатель. Я вообще-то механик. Эту штуковину сделал жене, да вот она померла нынче.

И машинка действительно работала пятнадцать лет безотказно, после чего Ольге купили другую, которая вы-

полняла множество операций, но старую верную помощницу она помнила всегда. Ольга подарила ее Тоне Бровкиной, и новой хозяйке машинка прослужила без поломок много лет.

Ольга начала шить платья для продажи. Еще в юности от матери она переняла основы швейного ремесла и теперь быстро стала отличной портнихой. Ей помогали дети: дочь обметывала швы, сын бегал на кухню — набивал утюг углями. По воскресеньям Ольга ходила на толкучку. Вначале, будучи неопытным продавцом, она часто отдавала платья дешевле, чем они обходились, но потом научилась торговаться, расхваливала свои вещи.

Семейное предпринимательство принесло ощутимый доход: стали вылезать из долгов, лучше питаться, даже отправили посылку родным в Москву с патокой-мальтозой и лярдом, а спустя некоторое время на барахолке купили поношенные валенки, которые время от времени Анатолий подшивал кожей.

— В те годы все заводчане подрабатывали, — вспомнила Ольга. — Бухаровы (тоже правдинские) всей семьей шили стеганые ватные одеяла. Чистовский с сыновьями делал буржуйки, а сразу после войны собирал радиоприемники. Его старший сын учился в техникуме связи и однажды нелепо пошутил: залез под кровать, дождался, когда мать войдет в комнату, и по самодельному радиоприемнику сообщил, будто на их облигации пал крупный выигрыш. С его матерью стало плохо...

Ольга устроила детей в школу, которая находилась недалеко от общежития и представляла собой большую избу с двумя русскими печками (в настоящей школе располагался госпиталь). Ребята занимались в две смены, вечерами при коптилках писали на оберточной бумаге, один учебник выдавался на троих. Ольга понимала, что в начальных классах дети особенно восприимчивы, и старалась расширить их образование: придумывала задачи

и рассказы, в которых предоставляла детям возможность самим изменять концовки. Точно прирожденный педагог, она стремилась развить воображение детей, научить их самостоятельно мыслить. Эти домашние уроки детям нравились больше, чем занятия в школе, и впоследствии принесли им неоценимую пользу.

Часто, собрав всех детей общежития, Ольга устраивала спектакли: ставила «Золотой ключик», «Хижину дяди Тома». Из обрезков фанеры с детьми сколачивала декорации, разрисовывала их акварелью, делала костюмы из разного тряпья, гримировала «актеров» помадой и сажей, осуществляла общую режиссуру. Дети с величайшей серьезностью выслушивали все, что она говорила, все ее наставления, и старательно выучивали роли — репетиции для них были праздником. А само представление давали на кухне; зрителей набивался полный коридор, приходили даже жильцы из соседних домов.

— Делать Ольге нечего, — ворчали одни.

— Неугомонная чудачка! Ребячество! — усмехались другие.

Но большинство по достоинству ценили ее «стихийное искусство», талантливость в общении с детьми.

Весной сорок третьего года в общежитие пришла первая похоронка. На имя Бровкиной. В безумном отчаянии Тоня металась по комнате и выла, а стихнув, впадала в глубокую апатию ко всему происходящему. За несколько дней Тоня постарела: ее красивые глаза потухли, а роскошные каштановые волосы поседели и стали выпадать.

— Как жестоко устроен мир, — жаловалась она Ольге. — Вот так мгновенно может все оборваться... Силы покинули меня, Олька. Не могу ходить на работу, общаться с людьми. Одно желание — забиться в свою нору и никого не видеть.

— Крепись, Антонина, — Ольга обнимала подругу. — Не забывай — ты нужна детям. Я уверена: ты возьмешь себя в руки, не раскиснешь, не распустишься. Ты сильная.

...Позднее годы, прожитые в общежитии, Ольга вспоминала как что-то тусклое, безрадостное: полутемные комнаты, буржуйки, холодный пол, свист ветра за окном, хлопающие двери и тени, прыгающие на стенах от пламени печурок. Эти тени, точно призраки нищеты и голода, еще долго преследовали Ольгу. И все, что происходило в общежитии, она никак не могла выстроить в последовательную цепь — только и остались в памяти два-три события, но и те еле различимые... Но что Ольга запомнила, так это свои «спектакли» и хоровое пение, когда она, накормив детей и мужа ужином «чем бог послал», предлагала что-нибудь спеть; когда всей семьей усаживались вокруг буржуйки и вполголоса пели довоенные песни.

— ...Эти песни несли душевный свет, они помогали нам не падать духом, — говорила впоследствии Ольга. — Они и теперь омолаживают таких, как я, возвращают нас в юность. И эти замечательные песни никогда не устареют, потому что они несут добро, потому что люди всегда будут ценить настоящую дружбу, порядочность, любовь. Я всегда, когда мне особенно тяжело, запеваю песню. Как Карузо. Он говорил: «Все неудачи в жизни, все самые тяжелые минуты я встречаю только песней. И чем больше неудач, тем звонче моя песня». Именно с военного времени я знаю, как бороться за выживание. Я вывела для себя рецепт: когда неприятности наваливаются кучей, чтобы не впасть в отчаяние, надо вспомнить что-нибудь хорошее или спеть веселую песню.

...Известия с фронта становились менее тревожными, в войне наступил перелом — уже освободили несколько городов, и Ольга все чаще подумывала о возвращении в Москву, тем более что ждала третьего ребенка.

— Уж терпеть лишения — так на родине, а не в захолустье, — говорила она Анатолию. — У матери мне будет намного легче... Война скоро кончится, ты уловишься с завода и приедешь тоже.



— Выкинь ты, Олечка, эти мысли из головы, — хмурился Анатолий. — Бесплезная затея. Сейчас Москва — закрытая зона, попасть в нее невозможно.

Но Ольга была не из тех, кто отказывается от своих планов. Осенью взяла расчет на хлебозаводе и однажды, когда Анатолий вернулся с работы, сказала:

— Проводи меня с детьми на станцию и помоги сесть в поезд.

Анатолий лишь тяжело вздохнул.

Билеты на московский поезд Ольге не продали — требовалось специальное разрешение, но на перроне стоял воинский эшелон; в ожидании отправки солдаты покуривали у вагонов-теплушек. Ольга подошла, окликнула одного солдата.

— Очень вас прошу, возьмите меня с детьми хотя бы до следующей станции.

— В вагон никого брать нельзя. Да и на каждой станции делает обход начальник поезда. Зайцев сдает в комендантуру.

— Но ведь я только до следующей станции... Возьмите. Солдат посоветовался с кем-то в вагоне.

— Ладно, забирайтесь.

Анатолий поцеловал жену и детей.

— Береги себя, Олечка. И детей береги. Если на первой станции высадят, поезжайте назад на пригородном.

Ольга с детьми залезла на нары, солдаты прикрыли их шинелью. Когда состав тронулся, Ольга вылезла из укрытия.

— А вообще-то куда собираешься, милая?

— В Москву.

— У-у! — загудели солдаты.

Вагон трясся, раскачивался, стучали колеса на стыках рельсов — Ольга рассказывала солдатам о себе, о Москве, говорила о том, что с родными ей будет легче пережить войну. Солдаты повторили, что на станциях ходит начальник поезда и патрули и посторонних немедленно

ссаживают, но Ольга с такой мольбой просила оставить ее в поезде, что солдаты сжалились. На остановках детей укладывали под лавку и заставляли вещмешками, на Ольгу накидывали шинель с поднятым воротником, нахлобучивали пилотку и усаживали вместе со всеми в полукруг за ящиком — делали вид, что играют в карты. Начальник поезда забирался в теплушку, высвечивал фонарем закутки.

— Все в порядке, товарищ начальник! — весело кричали солдаты и хлестко лупили картами.

Солдаты делились с Ольгой и детьми пайками, на ночь для «зайцев» стелили шинели поближе к печурке... Днем в приоткрытую дверь вагона влетали клубы паровозного дыма, хлопья гари, дождевые капли. Назад убегали унылые леса, размытые проселочные дороги, черные от дождей деревни и полустанки.

В Раменском солдаты посоветовали Ольге пересесть в электричку, а с окраины добираться трамваями. На электричке Ольга с детьми доехала до Москвы-Товарной, но и там стоял кордон патрулей. У Ольги потребовали пропуск.

— Я к матери. Ездил за город к тетке.

Она назвала адрес матери, и ее пропустили.

Когда сели в трамвай, дочь снова полезла под лавку. Ольга улыбнулась, вытащила девчущку, прижала к себе и с горечью подумала: «Эта война не только взрослых, но и детей изуродовала, вселила в них страх».

Когда мать открыла дверь, с ней стало плохо.

— Ой, Оленька, ты ли?! А дети-то — прям скелетики!

...Мать работала истопником.

— Сижу себе в подвале, кидаю в топку уголь, штопаю носки на лампе да пою, — говорила она Ольге, когда они поужинали и уложили детей. — Но сейчас уже несколько месяцев угля нет. Просто посменно дежурю... сижу и думаю о Вите. Так и не получила от него ни одной весточки.

Говорят, пропадают без вести, а я не верю... Ну а как вы-то там жили?

Всю ночь они проговорили на кухне, растапливая плиту последним паркетом, вынутым из пола.

— Зря приехала, — сказал Ольге утром старший брат Алексей. — Здесь тебя не пропишут, да и Анатолия одного оставила. Такого человека! Дуреха! Тебе за него обеими руками держаться надо, а ты его там бросила.

Алексея освободили от мобилизации как контуженного в финской кампании. Он по-прежнему служил на телефонном узле и каждый вечер «буйствовал»: напившись, рвал продовольственные карточки — «проклятые бумажки», усаживался на кухне с гитарой, брал прежние прекрасные аккорды, пел какой-нибудь куплет, отплясывал чечетку, играл все громче, пел на всю квартиру. Его пыталась остановить жена Лариса — то уговорами, то угрозами; сбегались соседи с лестничной клетки. Алексей медленно поднимал глаза, зловеще осматривал собравшихся и гремел:

— А ну все к чертям собачьим! — и продолжал плясать.

Заканчивалось его буйство тем, что, обливаясь потом, он валился на пол, хватался за сердце и хрипел, вдрызг разбитый и опустошенный...

А по ночам во сне он кричал. Это был страшный крик. Вначале слышались только стоны и скрежет зубов, потом раздавался низкий протяжный вой — он нарастал, переходил в сиплый вопль, и внезапно ночную тишину разрывал неистовый долгий крик. От этого крика шатались люстры, падала посуда в шкафах; весь дом приходил в движение: люди испуганно вскакивали с постелей и в панике выбегали на лестницу. Пытаясь разбудить мужа, Лариса толкала его и била, стаскивала с кровати, но он продолжал кричать и на полу; кричал и дергался, точно раненый зверь.

По утрам, отдуваясь и сопя, Алексей просил прощения у жены, извинялся перед соседями, склеивал разорванные

карточки и на работу являлся в более-менее пристойном виде, но уже к концу рабочего дня становился раздраженным, взвинченным — то его мучила контузия, то он злился на «буквоедов» в военкомате, не пускавших его на фронт, то переживал за младшего брата, от которого по-прежнему не было вестей. На людях он еще держался, но среди родных расходился. Особенно доставалось жене, она расплачивалась за его «загубленную жизнь». На нервной почве у Ларисы ухудшилось зрение.

Ольга недолюбливала брата за его необузданный нрав, агрессивность, хотя и понимала, что он тоже жертва войны, по-своему погибший человек, сгорающий изнутри.

Сестра Ксения находилась на трудовом фронте, а ее муж после ранения лежал в госпитале.

— У него пустячная рана, — сообщила Ольге мать. — Говорят, сам пальнул себе в ногу, чтоб увезли с передовой. Но люди много чего болтают. Говорят, он в госпитале спутался с какой-то санитаркой... Но Ксюша все равно его навещала. Она ведь добрая. Мне подарила шерстяной платок, а Лешкиной Люське отдала свою посуду... Ксюша теперь красивая, статная, ты ее и не узнаешь. А ведь помнишь, она с девичества была дурнушкой. Говорили, лицом не вышла. Но вот все время делает добро, и Бог ее вознаградил, она стала красивой. Сейчас на Ксюшу все заглядываются... Там, на трудовом фронте, они шпалы под рельсы кладут. А раньше окопы копали вокруг Москвы. Она рассказывала: стояли в воде — змеи плавали и ползали, целые клубки... А вот Анютка совсем меня забыла. Как уехала в эвакуацию в Омск, так ни одной весточки и не прислала... Неужто трудно написать матери? Ну да Бог ее простит!.. А вот от Вити почему нет вестей, никак не пойму. Не мог он мне не написать.

Ольга успокаивала мать, но самой ей было тревожно. Уже около трех лет младший брат находился на фронте, и чтоб не написать ни одного письма!.. Ольга ходила в во-

енкомат и даже в Министерство обороны, но ничего толком не выяснила; единственно, что ей сообщили, — воинская часть брата была в окружении.

В Москве по Садовому кольцу вели пленных немцев. Они брели медленно, грязные, оборванные, совсем не похожие на тех, которых изображали на плакатах. У Крымского моста стоял зенитный расчет и висели воздушные заграждения; ежедневно по квартирам ходил домоуправ, смотрел, нет ли бреши в маскировке окон, заклеены ли стекла на случай бомбежки. К магазинам тянулись длинные очереди — по карточкам выдавали суфле и пивные дрожжи, а однажды дали продукты из Америки: сгущенное молоко, яичный порошок и тушеное мясо в жестяных коробках с приваренными ключами-открывалками. Первый раз за всю войну Ольга с детьми попробовала белого хлеба и мяса; но выпадали дни, когда питались одним «кулешом» — кашей из черного хлеба, запивая ее кипятком с сахарином.

Москва была полна слухов; по одному из них — в яичный порошок вредители подсыпают битое стекло, а пирожки, которые продают на площадях, делают из собак и кошек, и даже из покойников; по другому слуху, город наводнили «попрыгунчики» — воры с пружинами на подошвах; будто бы эти воры перепрыгивают через заборы и даже грузовики. Каждый вечер мать рассказывала Ольге о трагических происшествиях: то про женщину из отряда ПВО, которая не успела отцепиться от аэростата-колбасы и улетела в небо, то про шпиона, который намеревался затопить метро водами Москвы-реки.

Целый месяц Ольга ходила по милицейским управлениям, пока не добилась разрешения на прописку.

— Ты такая счастливая, — удивились родные. — Тебе так во всем везет. Надо же, прописаться в военное время!

— Знаете что?! — мгновенно сказала Ольга. — Везение сопутствует упорным, отважным, а не сваливается

с неба! Когда плохо, нужно не ныть, а добиваться своего. А неприятности всегда можно так сгустить, что и жить не захочется.

Спали на кухонной плите, благо пупынинская плита имела внушительные размеры — во всю стену; стелили телогрейки на горячее железо и укладывались; умещались все: Ольгина мать, если не работала, Ольга, Лариса и четверо детей. Алексей спал в комнате. Однажды ночью завывала сирена воздушной тревоги, все вскочили и с одеялами побежали в станцию метро «Парк культуры». На платформе, прямо на полу, вповалку досыпали. Мать в метро не пошла:

— Мне все равно, где умирать, днем раньше, днем позже. Мне уже давно к отцу пора, царство ему небесное!

У Ольги родился сын. Теперь целыми днями она занималась ребенком; из дома выходила только в магазины и донорский пункт, где за продуктовую карточку кормила молоком сирот (позднее, опять же за продуктовую карточку, несколько раз сдавала кровь). Как только новорожденный засыпал, Ольга готовила к школе старших детей. В то тяжелое время она не забывала давать детям «уроки прекрасного»: по вечерам читала им книги, учила писать и считать на грифельной доске, на последние деньги покупала цветные карандаши, альбомы для раскрашивания, настольные игры и два раза доставала билеты в детский театр.

Однажды во дворе Ольга встретила Михаила, друга детства и юности; он был в военной форме. Михаил обнял Ольгу.

— Бедная моя подружка! Держись, Олька, и помни — ты еще будешь на высоте. Надо только пережить все это... А я работаю в НКВД. Прямо из армии призвали. Помнишь, в детстве я все хотел ловить подонков? Вот и осуществилась мечта. Ловлю рецидивистов и спекулянтов и этим искусством владею как надо, имею награду. Ведь для кого

война, а для них нажива. Распоясались! Ходят разъевшиеся, с сытым брюхом. Но я всех пересажаю, так и знай!

Михаил сообщил Ольге, что в первый год войны погиб «скромник» Володя, а «дылда» Борис пропал без вести. Позднее Ольга узнала, что и красавца Сергея убили в Берлине из-за угла уже после капитуляции. О них и о друзьях Анатолия — Иване и Михаиле — Ольга всегда вспоминала как-то по-особенному, с щемящей грустью.

— ...Как обидно, несправедливо, что они ушли из жизни совсем мальчишками, — говорила она. — Недоучившись, недолюбив, не узнав семейного счастья. Мать говорила, им сполна воздастся на том свете, но я сомневаюсь в этом. Если у многих так обрывается жизнь и они не успели испытать счастья, думаю, что Бога нет!

С Анатолием Ольга постоянно переписывалась, но все равно сильно скучала по нему. Издалека ее непрактичный муж казался совсем беспомощным. Она представляла, как он там, в Казани, много работает, спит урывками и ест кое-как, а по вечерам много курит в тягостном одиночестве. Ольга видела усталое, небритое лицо мужа, и смутная тревога охватывала ее. Она вспоминала, как по утрам он всегда говорил ей «доброе утро, Олечка», а перед сном целовал ее в щеку и желал спокойной ночи. «Какой он нежный, заботливый, — думала Ольга. — И ни разу не повысил на меня голос, не то что брат Алексей». Временами от этих нахлынувших воспоминаний Ольгу начинала мучить бессонница, а если она и засыпала, то слышала голос мужа, чувствовала прикосновение его рук. Она вскакивала с постели и была готова тут же ехать в Казань, но, увидев спящих детей, брала себя в руки. «Война скоро кончится, — говорила самой себе, — Толя приедет, и мы снова будем вместе».

Но Ольгина мать считала иначе: чуть ли не ежедневно она уговаривала дочь вернуться к мужу.

— Где муж, там должна быть и жена, — бурчала.

Она говорила это из лучших побуждений, побаиваясь, как бы Анатолий не разлюбил ее дочь и не оставил одну с детьми.

— О чем ты говоришь?! Мы с Толей как две половинки ореха, — усмехалась Ольга, цитируя мужа. — Я даже не хочу говорить на эту тему.

Подобные разговоры Ольга считала оскорбительными для себя — была беспредельно уверена в своем муже.

К Новому году Анатолий прислал посылку с плитками шоколада и письмо с цветными рисунками для детей. Ольга достала елку, нарядила ее самодельными игрушками из ваты и бумаги; утром под подушками детей ждали конфеты, а у кровати — тряпичный слон.

— Слоны приносят счастье, — сказала Ольга, поздравляя детей. — Я уверена: вы будете счастливыми.

...В середине зимы из госпиталя вернулся Федор, муж Ксении. Он всегда был здоровяком, а теперь весь высох. Когда домашние пытались с ним заговорить, он хрипло выдавливал из себя пару слов и спешно уходил в свою комнату. Только с Ольгой становился более-менее разговорчивым, но и то ненадолго — ссылался на головную боль:

— ...Давай в следующий раз побалакаем.

Федор вновь пошел работать в метрополитен, а по вечерам грузил буханки хлеба на хлебозаводе. В дни, когда в доме не было еды, он приходил с хлебозавода облепленный под рубашкой мякишем; приходил ночью, и, пока расстегивал рубашку, на него набрасывались голодные дети Ольги и Ларисы и отщипывали еще горячий хлеб от потного тела.

— Пойдите, дайте раздеться, стручки, — хрипло бормотал Федор. — И тише. Если кто узнает, что выношу продукцию, посадят меня.

До войны Федор был замкнутым, угрюмым, но, общаясь с детьми, преобразался, становился весельчаком-шутни-



ком. Ольга вспомнила, как он приезжал на Правду и играл с ее детьми; они его дразнили:

— Дядя Федя съел медведя, хотел гуся, да сказал «боюсь»!

А он надувался, рычал — пугал детей, изображая ненасытного обжору. Дети бросались наутек, а он хлопал в ладони и топал — делал вид, что вот-вот их догонит.

— Эх, стручки! — смеялся. — Сейчас догоню и съем!

Ольга вспоминала, как перед эвакуацией Федор сказал ей:

— Ты, свояченица, смекалистая и крепкая — и в Казани не пропадешь.

А детям, как всегда, отпустил шуточку:

— В Казани грибы с глазами. Когда их режут, они из-под ножа лезут!

И вот теперь Ольга видела другого Федора — искалеченного войной.

Наступила весна, по всему городу потекли ослепительно сверкающие ручьи... Анатолий прислал письмо, в котором писал, что его перевели на должность старшего инженера и в общежитии дали светлую восемнадцатиметровую комнату. Письмо заканчивалось словами: «Приезжай, Олечка, теперь нам будет легче, да и сильно скучаю я без вас».

Но не для того Ольга столько мучилась, ходила по учреждениям, хлопотала о прописке, чтобы отказаться от Москвы. Она написала, что война скоро кончится и завод или вернут в столицу, или нужно устроить ему, Анатолию, перевод по работе. «Нереально, несерьезно, маловероятно», — отвечал Анатолий. И вдруг анонимное письмо из Казани: какая-то «доброжелательница» сообщала, что к Анатолию ходит молочница, что раньше она приносила молоко, а теперь «ходит для любви». В глазах у Ольги потемнело, она чуть не задохнулась от ревности; тут же собрала детей и отправилась на вокзал.

...Ольга не вошла, а ворвалась в комнату, но ее тревога сразу исчезла, как только она увидела мужа, — с такой безудержной радостью он бросился к ней. В комнате у Анато-

ля стояли бесценные вещи — две трехлитровые бутылки: одна с медом, другая с топленным маслом.

— Для вас копил, — сказал он, крепко обнимая жену и детей.

Некоторое время Ольга держалась настороженно, но потом пришла Тоня Бровкина.

— Ты, Олька, такая счастливая: Анатолий — замечательный муж, — сказала. — Только о вас и думал.

Ольга облегченно вздохнула, и ее взгляд потеплел, но все же позднее на кухне рассказала подруге про письмо «доброжелательницы».

— Глупости! — быстро заявила Тоня. — В общаге все как на ладони, ничего не скроешь. А завистников и клеветников, сама знаешь, у нас всегда хватало.

...Теперь жили впятером в комнате на четвертом этаже общежития, под самой крышей. В окно виднелись синий квадрат неба, корзинки ласточек и труба водостока; пониже — крытая дранкой крыша сарая, метелки берез и скворечни; еще ниже — двор, и тропы, стекающие к мосту через овраг, и, если там шел пригородный поезд, белые клубы дыма. Кровля проржавела, и в дождь потолок протекал, лились целые струи, под которые ставили разные склянки; но в солнечные дни вся комната наполнялась ярким светом.

Анатолий работал по пятнадцать часов в сутки: и на заводе, и дома — брал заказы других предприятий. Ольга подрабатывала рукоделием: летом шила платья, зимой — муфты, шапки; и по-прежнему много времени уделяла детям, всячески старалась скрасить, разнообразить их унылое детство. Так прожили еще один год, и наконец наступила весна сорок пятого года. В ту весну только и говорили о скорой победе, по радио голос диктора, сообщавшего об освобождении все новых городов, звучал приподнято; приближение конца войны чувствовалось во всем, даже в воздухе, — весна была необычайно бурная, звонкая.

В самом конце войны получила похоронку Катя; с ней случилась истерика.

— Так мне и надо!.. Меня покарал Бог! — кричала на все общежитие. — Он меня любил, а я вела себя как последняя шлюха!

Вечером Ольга сказала Анатолию:

— Бог здесь ни при чем. Если бы он был, он наказал бы именно ее, Катю, а не ее мужа. Он-то ничего не знал и погиб в полной уверенности, что она его преданно ждет. А она предала его. Его любовь. Предательство — самое омерзительное, что есть на свете. Хорошо хоть, Катю осознала, что так себя вела, и теперь раскаивается. Может быть, теперь она изменится и, если встретит хорошего человека, будет дорожить им. Хотелось бы в это верить.

В День Победы в общежитии одни веселились, радовались, что пришел конец страданиям, другие еще острее чувствовали горечь потерь... Анатолий принес флягу со спиртом, и вечером, уложив детей спать, они с Ольгой помянули Ольгиного отца и погибших Михаила и Ивана. Закурив, Анатолий тихо проговорил:

— Представляешь, Олечка, мне никак не верится, что Мишка с Ванюшкой никогда не вернуться... Кажется, что это какая-то ошибка, что они просто где-то задерживаются... Ведь мы были друзьями с подросткового возраста, знали друг о друге абсолютно все... С ними столько связано... Столько хорошего... А теперь в душе пустота.

— Для меня их гибель тоже огромная потеря, — вздохнула Ольга. — Мне их будет сильно не хватать. Но жизнь продолжается, и мы не имеем права расклеиваться. Мы обязаны теперь с удвоенной силой всего добиваться, и за моего отца, и за Ивана с Михаилом. Добиваться своего и того, чего они недополучили. Я думаю, они очень огорчились бы, узнав, что мы раскисли и все пустили на самотек — как будет, так будет. И мы докажем им, и себе, и жиз-

ни вообще, что мы не из робкого десятка. Прежде всего мы должны вернуться в Москву.

Чтобы развеять угнетенное состояние, Ольга предложила Анатолию погулять на свежем воздухе.

Некоторое время они бродили в окрестностях общежития, потом сидели на склоне оврага, сидели одни в огромном ночном пространстве; Ольга продолжала планировать будущую жизнь, Анатолий угрюмо курил. Внезапно со стороны Аметьево показался железнодорожный состав; когда он подъехал к туннелю, Анатолий с Ольгой увидели зарешеченные окна и прильнувшие лица солдат, небритые, хмурые.

— Наши военнопленные, — осведомленно сказал Анатолий. — Есть приказ: кто был в плену, отправить в Сибирь на десять лет.

— Этого не может быть! — ужаснулась Ольга. — Что за чудовищный приказ?! Уму непостижимо! Ведь не все сдавались в плен. Наверняка многих взяли ранеными, без сознания!.. А если и сдавались, что ж здесь позорного?! Допустим, наших горстка, а немцев сотни. Зачем глупо умирать?! Во всех войнах были пленные, потом их обменивали... Господи, а как же Виктор?! Что с ним?!

Война закончилась, но трудностей не убавилось, предстояло наладить семейный быт, ставить детей на ноги...

Анатолий получил от завода клочок земли около Волги, и по воскресеньям всей семьей ездили сажать картошку. Ездили на трамвае до конечной остановки на противоположной окраине города и дальше шли по тропам через огороды к тополям, за которыми угадывалось открытое пространство; оттуда тянул ветер, пахло водорослями, мокрой древесиной, смолой; слышался глухой рокот буксиров. За тополями открывалась прямо-таки необъятная ширь; полноводная река, высоченные красноглинистые склоны и дальние деревни на зеленых холмах. А по Волге сновали моторные лодки и проходили

пароходы — на их палубах среди мешков и бочек впопалку лежали люди.

Поработав на участке, спускались к реке, сбрасывали одежду, намыливались серым вязким илом, отмывались в воде и, если был теплый день, делали заплыв по течению. Будучи отличной пловчихой с юности, Ольга учила детей плавать разными стилями, а после этих уроков собирала на берегу раковины, отшлифованные водой камни и коренья и дома устраивала выставку «речных драгоценностей». Несмотря ни на что, в ней сохранилось восторженное восприятие мира, свойственное детям, чудачкам и мудрецам.

Жизнь на окраине приобретала спокойный, размеренный уклад: долгими летними вечерами по мосту и склонам оврага гуляли парочки, перед сараем на ящиках забивали козла любители домино, на «пятак» перед общежитием выбивали одежду, перетягивали матрацы, в нижних этажах студенты запускали музыку, а над общежитием носились ласточки.

Однажды получили письмо от Ксении: объявился брат Виктор. Он был в концлагере, а после освобождения отличился в боях. Ксения сообщила, что «брат весь седой и вообще какой-то другой, как будто его подменили... Его постоянно куда-то вызывают, допрашивают... Наконец прислала письмо Анна. У нее все хорошо, а о нашей жизни и не спрашивает. Даже обратный адрес не написала».

Потом принесли срочную телеграмму о смерти Ольгиной матери. Ольга пыталась вылететь самолетом на похороны, но самолет с полпути вернулся из-за нелетной погоды в Москве.

— Видимо, не судьба мне хоронить родителей, — с досадой сказала Ольга мужу. — Бедные трудяги, они всю жизнь только и знали, что работали и заботились о нас. И так и не увидели настоящей жизни... Знаешь, какой я запомнила маму? Сидящей на лавке в котельной: волосы густые, со

множеством гребней, штопает носки на лампе, тихо поет... Хорошо еще, что она дождалась Витю... Но ничего, все равно они со мной. Ты не поверишь, но я всегда мысленно советуюсь с ними.

— Олечка, твои родители все-таки умерли в возрасте, а мои-то и вовсе молодыми, — поправляя очки, сказал Анатолий.

— Это верно. И потом, что я говорю?! Как это они не видели настоящей жизни?! Отец из простых почтальонов стал начальником почты, уважаемым человеком, а мать носила значок почетной ткачихи. За свою жизнь она наткала столько полотна, что им можно одеть всю Москву. У них пятеро детей, и все вышли в люди. Это ли не настоящая жизнь!

Анатолий кивнул:

— В конечном счете иметь любимую работу и добросовестно ее выполнять и воспитывать детей — есть уже счастье. Да что там говорить! Твои старики прожили хорошую жизнь. Ты подумай о тех стариках, у которых никого нет. Они точно отвергнутые, о них никто не заботится.

К осени опустели гнезда ласточек, склоны оврагов пожухли, мост от дождей потемнел, огни станции Аметьево еле угадывались в тумане... Всей семьей ездили на участок выкапывать картошку, привозили ее домой в мешках, складывали у батареи отопления сушиться.

В общежитии появились новшества: в холле повесили зеркало, поставили ящик с щетками для обуви, на лестничную площадку постелили ковер. На кухне буржуйки уступили место керосинкам и керогазам, и теперь «клуб» расцветчивали желтые и синие огоньки. Особенно красочным общежитие выглядело во время праздников и выборов, когда в одной стороне холла устраивали агитпункт, а в другой — буфет-рюмочную, и устанавливали столы с шахматами и шашками, и с утра до вечера по «колоколу» запускали музыку.

Вскоре в общежитии появились студенты-китайцы; они часто приходили к Ольге, просили что-нибудь пере-лицевать, подшить и за работу давали миску риса, при этом называли «москвичкой портнихой» и «современной» и приглашали к себе на чаепития.

Прошедшие мучительные годы оставили рубцы на сердце Ольги, но не притупили ее восприятия окружающего мира, не погасили ее природного жизнелюбия. Она по-прежнему излучала притягательную теплоту и бодрость, и к ней по-прежнему тянулись люди. Одни — чтобы просто пообщаться, заразиться ее энергией, поднять настроение после физических и душевных перегрузок.

— Ольга отдает нам свою доброту, наполняет душу светом, — говорила Тоня Бровкина. — Она так внимательна к людям.

Другие тянулись к Ольге, чтобы легче перенести всякие неурядицы, зная, что участливая Ольга не только горячо сопереживает, но и всегда найдет выход из трудного положения. Что особенно важно — рядом с Ольгой никто не озлобился, не совершил отвратительного поступка, не употреблял нецензурных слов; наоборот, многие подобрали, стали вежливей; у некоторых даже прорезались таланты, о которых они и не подозревали. Каким-то неведомым чутьем Ольга угадывала в людях скрытые, неразбуженные возможности, выявляла «дарования» и всячески стремилась их развить.

Как всегда, Ольга много времени уделяла детям: читала с ними и рисовала, делала аппликации из лоскутов материи и коллажи из засушенных цветов и листьев — «приучала к чувству красоты»; и участвовала в дворовых играх, будь то лапта или «штандер»; и по-прежнему ставила домашние спектакли, только теперь более сложные — с пением и танцами, некие мюзиклы.

— Воспитание детей — основной смысл жизни женщины, — говорила она. — Воспитание начинается с первых

шагов. Книжки, которые нам читают, музыка, которую мы слышим, картины, которые видим, — сильные впечатления детства, они остаются с нами на всю жизнь.

Анатолий тоже изредка занимался детьми: подсказывал, как сделать декорации к спектаклям, старшему сыну помог смастерить самокат на подшипниках и шахматные фигуры из швейных катушек, дочери склеил пяльцы для вышивания, младшему сыну из деревянных брусков выточил игрушки. Но на игры с детьми у него не было ни времени, ни сил — он слишком уставал на работе.

Весна сорок шестого года была для Анатолия с Ольгой особенно знаменательной — исполнилось десять лет их супружеской жизни. Событие отметили скромно, в семейном кругу за бутылкой портвейна. Анатолий подарил Ольге букетик ландышей и ткань на платье, она ему — портсигар.

— Досталось же нам с тобой, Олечка, — произнес Анатолий во время застолья. — Так хорошо началась наша жизнь на Правде, и вдруг война, и все рухнуло. Не знаю, когда теперь все наладится.

— Скоро! — торопливо откликнулась Ольга. — Если у нашего народа хватило сил победить в этой жуткой войне, то все восстановит и подавно хватит. Мы вернемся в Москву и, я уверена, сразу получим комнату. У нас трое детей, и мы все коренные москвичи. Мы с тобой будем работать и быстро купим все необходимое. Всего можно добиться, если упорно идти к цели и не опускать руки от всяких неудач.

Вскоре из Москвы в дирекцию завода пришел приказ: часть инженеров вернуть на прежнее местожительство для работы на новом авиазаводе. В список «ценных работников» попали начальники цехов, секретари профкома, те, кто достал ходатайства и справки, разные лизоблюды, вечно крутившиеся около начальства. Поговаривали, что некоторые из списка никогда и не жили в Москве, а по-



просту дали взятки. Анатолия в списках не было. Узнав об этом, Ольга пришла к директору завода и попросила объяснить, почему в списках нет фамилии мужа. Она говорила с директором вежливо, но твердо. Она со всеми говорила как с равными, невзирая на положение и титулы. Директор ее обнадежил, сказал, что скоро весь завод вернется в Москву. Через несколько лет Ольга узнала, что это было ложью; вторая часть приказа гласила: эвакуированные предприятия оставить на местах.

— Ты сам виноват, — говорила Ольга мужу. — Ведущий инженер, столько грамот имеешь! Нужно было требовать, чтобы тебя включили в список. Ты же палец о палец не ударил, а под лежащий камень вода не бежит. Как можно быть таким нерасторопным! Я бы на твоём месте...

— Да, пожалуй, ты права, Олечка, — вздыхал Анатолий. — Надо ж, обо мне и не вспомнили. За такой стаж работы... А ведь я кое-что сделал для завода. Побольше тех, кто уезжает. Обидно. Но такая несправедливость сплошь и рядом. У нас ведь ценятся не специалисты, а подхалимы, горлопаны... Но ничего, не огорчайся, еще неизвестно, где лучше — здесь или в Москве...

— Хм, как можно сравнивать несравнимые вещи! Ты же прекрасно знаешь, что мое сердце там, я не представляю свою жизнь без Москвы. А ты — как ветка, которую где ни ткни, приживется...

...Когда младшему сыну исполнилось три года, Ольга отдала его в детсад и снова пошла работать на завод — вначале в светокопировальный цех, а через несколько месяцев, после окончания курсов чертежниц, ее перевели в отдел главного технолога, где работал Анатолий. Их кульманы стояли рядом.

Как-то, разбирая тумбочку, Ольга нашла открытку с адресом Николая, курсанта из Саратова, с которым познакомилась, когда работала в столовой. Раньше она испугалась бы и почувствовала себя негодяйкой перед мужем,

но после всех похоронок и всеобщего горя этот адрес был для нее всего лишь нитью к еще одной судьбе. Она написала письмо в Саратов, чтобы узнать, вернулся ли Николай с фронта. Ей ответила мать Николая: «Мой сын погиб в сорок третьем году. Благодарю вас, милая девушка, за то, что вы любили моего сына. Желаю вам счастья!».

### 3

Через три года после войны в центре Казани заводу выделили новый дом, в него перебрались разные предприимчивые люди и несколько многодетных семей. Остальным предложили ехать на остров Сахалин, заселяемый в срочном порядке, или же переехать в небольшой поселок, достраиваемый в Аметьево на окраине Казани. О Сахалине Ольга и слышать не хотела, выбрали поселок.

— Учти, — сказала она мужу, — это моя временная уступка обстоятельствам. Просто с заводом мы попали в трудное положение, но оставаться здесь навсегда я не собираюсь. Еще чего! И наши дети москвичи. Их корни там, а не здесь, на чужбине.

Поселок представлял собой шесть одноэтажных белокаменных домов в двух километрах от города. С одной стороны к поселку подступал разъезд Аметьево, где когда-то выгружались из эвакуированного эшелона, овраги с сырой глухоманью и домами на склонах — все это вместе называлось Арское поле. С другой стороны примыкали карьеры, где добывали глину, а за карьерами виднелись кирпичные заводы, над которыми постоянно висела красная пыль. Но поселок окружал широкий ромашковый луг — он-то и понравился Ольге больше всего, ведь ромашки были ее любимыми цветами.

В каждом доме было две квартиры: крыльцо, чулан, крохотная кухня с русской печкой и две маленькие ком-

наты. Деньги за жилплощадь предстояло выплачивать десять лет, после чего дом переходил в собственность. Переехавшим семьям завод выделил кредит, и к домам начали завозить строительные материалы; сколачивали дворовые постройки, вскапывали участки, закладывали сады, заводили кур и поросят — обстоятельно приживались на новом месте, а для общего дела от Арского поля тянули линию электропередачи и водопровод — каждая семья должна была поставить три столба и выкопать двадцатиметровую траншею. Дворовые постройки возводили по четко разработанному плану: сарай надлежало ставить напротив окон, туалет — в углу участка. Анатолий назвал план «нелепым» и все сделал по-своему: сарай поставил напротив крыльца, а туалет за сараем. Посельчане оценили «весомое преимущество» плана Анатолия и последовали его примеру; даже те, кто вначале придерживался официального плана, впоследствии, убедившись в его «нелепости», переставили свои строения.

Переехав в поселок, Ольга первым делом посадила перед домом шиповник, ромашки и дельфиниум. Анатолий принес щенка — оценилась собака при заводской пожарной. Беспородный пес оказался незлобивым и сообразительным, с явно врожденным чутьем на пожары: чуть где мальчишки разводили костер, начинал предупредительно гавкать. Его называли Челкашом. Вскоре Ольга подобрала бездомного котенка.

— В каждой семье должны быть животные, — заявила поселчанам. — Животные не способны на коварство, предательство. Они возвышают нас, вызывают доброту, а где доброта, там и дети вырастают хорошими, настоящими людьми.

«Земледелием» занимались всей семьей; по периметру участка посадили вишню, смородину, крыжовник, остальную землю использовали под грядки. Анатолий со старшим сыном выполняли в огороде только тяжелую работу,

а когда дело доходило до ухода за овощами, переключались на «плотничество».

— Олечка, ты уж, пожалуйста, уволь нас от грядок, — говорил Анатолий. — Я от одной прополки, от этого нудного занятия, устаю больше, чем на заводе. Да и нам с сыном надо еще кое-что доделать в сарае.

— А я люблю полоть, — невозмутимо откликнулась Ольга. — Пока рвешь сорняки, размышляешь обо всем, наблюдаешь за насекомыми, правда, ребята? — она обращалась к дочери и младшему сыну. Она прекрасно знала, что такое однообразный, «неинтересный» труд, и брала его на себя, чтобы родные не переутомлялись.

Из москвичей кроме Анатолия и Ольги в поселок переехали Дуровы и Сладковы. Дуров работал слесарем, имел золотые руки, любил и знал металл — на глаз определял прочность любой железной чурки. С полочки Дуров выпивал, покупал детям конфеты и печенье, но половину рассыпал по дороге, подходя к поселку и горланя песни. Дурова целыми днями молчаливо работала по хозяйству, и ее несокрушимое спокойствие раздражало мужа. Он звал ее «мымрой», пытался вывести из себя, скандалил, подбирая слова пообидней, чтоб больней было, а она все начищала, подшивала — только обвяжет голову полотенцем, надует губы и терпеливо отмалчивается. Но иногда она выходила из равновесия, и тогда надвигалось землетрясение: дуровские дети вылетали из комнат, точно их стеганули крапивой, и, подгоняемые страхом, неслись через сады и огороды подальше от дома; в мужа летела кухонная утварь, с окон срывались занавески, дом шатался от истощенного вопля. Казалось, разорвало бочку с перебродившим вином.

— Хватит! Надоело! — кричала Дурова. — Уеду отсюда! В Москву!

Вся накопившаяся боль выплескивалась наружу, из окон и двери эта боль вырывалась в сад, разливалась по

всему поселку и, отражаясь от домов и построек, возвращалась многоголосым эхом. От этой боли сникали цветы и травы, обмякали чучела; прижав хвосты и уши, уползали в закутки собаки, затихали в домах люди. Постепенно крик становился неясным, сбивчивым, потом стихал, и его приглушенный отзвук оседал в садовых зарослях. Грозу пронесило; вновь распускались цветы, в огородах распрямлялись тряпичные идолы; виляя хвостами, появлялись собаки, люди облегченно вздыхали и улыбались.

Поведение Дуровых было своего рода защитной реакцией от ностальгии, своеобразным протестом отчаявшихся людей, и все их семейные раздоры происходили от замкнутой безотрадной жизни; они срывали друг на друге злость, словно кто-то из них был повинен в том, что они застряли в глухомани. Заслышав отчаянные вопли Дуровой, Ольга вспоминала ночные крики брата и думала: «Сколько же людей искалечила война, сколько сломала судьбы, оставила вдов и сирот!»

Супруги Сладковы работали на заводе химиками; тихие, вежливые, они жили замкнуто, ни с кем близко не сходились.

— У меня принцип, — доверительно объяснял Сладков Анатолию, — не навязываться в друзья, не вмешиваться в чужую жизнь... И я стараюсь упреждать ситуацию. Ну то есть, если чувствую, человек лезет ко мне в душу, стараюсь держаться от него подальше. По опыту знаю, лучшие отношения — на расстоянии. Да и, честно говоря, здесь, в поселке, особенно ни с кем и общаться не хочется, и чего зря разбрасываться словами. Вы с Олей другое дело. Вы наши земляки. А москвичи, сами знаете, видны издалека.

В момент особого душевного расположения Сладковы приглашали Анатолия с Ольгой на чаепитие с ликером, причем для ликера ставили крохотные рюмочки и, когда

его пили, каждый глоток запивали чаем — «демонстрировали искусство интеллигентной выпивки», как говорил Анатолий жене, на что Ольга замечала:

— Вот именно! Не то что твои дружки-приятели, которые пьют стаканами.

Во время чаепития Сладковы вспоминали Москву, свою любимую Полянку, оставшихся в столице родственников и знакомых, спрашивали у Анатолия с Ольгой, планируют ли они возвращаться на родину.

— Хм, планируете! — удивлялась Ольга. — Не только планируем — мы безоговорочно, при первой же возможности вернемся! Как можно жить вне родины?! Даже если бы мне предложили замок с парком где-нибудь во Франции, я променяла бы его на простую избу под Москвой. Не случайно же все наши великие эмигранты тосковали по родине: Шаляпин, Рахманинов, Бунин, Куприн...

У Сладковых было двое детей: сын учился в строительном техникуме, дочь — в одном классе с дочерью Анатолия и Ольги. Свою часть дома Сладковы побелили, ставни расписали узорами, в палисаднике посадили маки; посельчане называли их обитель «пряничным домиком», а самих хозяев «сусликами».

Но обосновались в поселке и не заводские семьи. Они воздвигали высокие заборы, заводили «злых» собак, торговали на рынках овощами, выкапывали гигантские погребки, скупали соль, спички, продукты, занимались накопительством на случай новой войны.

— Чудаки! — смеялась Ольга. — Забаррикадировались в своем мирке и ничего не видят вокруг, а между тем вокруг столько прекрасного! А мы сделаем чисто декоративный забор — просто посадим красивый кустарник. Только перед палисадником можно сделать небольшую загородку из штакетника с калиткой. Не возражаете, Анатолий Владимирович? — она обращалась к мужу и запевала романс «Калитка».

Ольга не терпела рамок и границ, они стесняли ее во-  
ображение, угнетали свободолюбивый дух. Кипучая, энер-  
гичная, общительная, она тянулась ко всему широкому,  
просторному, яркому.

Конечно, провинциалами Анатолий с Ольгой стали по-  
неволе, война поломала их судьбу, обрекла на жизнь в за-  
холустье. Они еще вспоминали прошлое:

— А до войны в театрах... А раньше в Москве...

Но повседневность все больше заземляла их до быто-  
вых забот, постоянных приработков.

...В долгие летние вечера поселчане трудились в са-  
дах и огородах, часто работали до глубокой темноты. Для  
полива участков от колонки, стоявшей в центре поселка,  
провели канавы для стока воды, а в садах выкопали ямы,  
чтобы за день вода отстаивалась и нагревалась. Канавы  
называли «каналами», а водоемы на участках — «озера-  
ми». С потугами на прежний юмор Анатолий говорил:

— Наш поселок — как маленькая Венеция, только гон-  
дольеров не хватает.

— В самом деле, чем не Италия?! — откликнулась Ольга.  
— То же солнце, те же овощи и фрукты!

Они во всем пытались видеть красоту; в действитель-  
ности поселок выглядел заурядным поселением, но эти  
фантазии помогали им жить.

...Позднее Ольга вспоминала:

— Детям в поселке было раздолье... Посреди поселка  
играли в волейбол, на участках купались в ямах-озерах...  
С ребятами купались и собаки. Наш Челкашка очень лю-  
бил воду, в жару прямо не вылезал из ямы. Однажды по-  
чтальонша подошла к калитке, а он выскочил из воды, как  
крокодил. Бедная женщина чуть не упала в обморок.

За кирпичными заводами находился небольшой лес  
и два озера. Иногда по воскресеньям ходили за грибами  
и ягодами и непременно купались на озерах; Ольга и дети  
разбегались и влетали в воду, поднимая веер брызг.

— Водичка прелесть! — крикнет Ольга. — Анатолий Владимирович, бросьте нам мяч! Мы поиграем в воде!

Анатолий кинет мяч, не спеша разденется, положит очки на одежду, протрет ладонью вспотевшее лицо, спустится к озеру и бесшумно войдет в воду.

Накупавшись, загорали, вдыхая запахи озера и трав, песка и ракушечника; рассматривали серебристые ивы и птиц среди ветвей и... вспоминали Правду.

С озера Ольга приносила охапки цветов... В их комнатах всегда стояли цветы: летом Ольга составляла букеты из полевых цветов (в основном из ромашек), весной ставила в банки ветки вербы, которая цвела в лесопосадках у железнодорожной колеи, осенью собирала опавшие листья.

— Есть поверье, что осенние букеты приносят несчастье, — говорила она. — Но красота не может приносить несчастье... Я вообще не верю ни в какие приметы и суеверия. Чепуха это все. В них верят только слабые люди с неуравновешенной психикой.

После вылазок на природу обедали в саду среди вишен; затем занимались домашним хозяйством; ближе к вечеру Анатолий с сыновьями отправлялся на стадион «Трудовые резервы» смотреть матч заводской команды, а после матча покупал сыновьям газировку, а себе сто грамм водки и кружку пива.

В будние дни, вернувшись с завода и поужинав, Анатолий обычно работал за чертежной доской, но случалось, закуривал и читал книги из заводской библиотеки. Иногда Ольга обращалась к нему:

— Анатолий Владимирович, отложите, пожалуйста, книгу! Вы и так ходячая энциклопедия. вспомните о нас. Пойдемте-ка на волейбольную площадку, поиграем с поселковой молодежью. Собирайтесь, ребята!

Всей семьей выбегали из дома и присоединялись к играющим в волейбол.



Дети Анатолия и Ольги подросли. Старшему сыну Леониду исполнилось двенадцать лет, дочери Нине — десять, младшему сыну Толе — четыре. Ольга всегда была хорошим товарищем своим детям, с неподдельной готовностью поддерживала любое их увлечение. С Толей запускала змея, выжигала лупой на деревяшках, играла в разбойников и проявляла в этих играх недюжинную фантазию и прекрасные чудачества. С Ниной изучала английский язык, слушала музыкальные концерты по радио, вышивала гладью и болгарским крестом. С Леонидом занималась фотографией и была «моделью» на его «уроках рисования», а позднее, когда подростку купили ружье, однажды выступила в роли загонщика — подогнала диких голубей к засидке сына; правда, после той охоты сказала:

— Все-таки это занятие не для меня. Охота слишком жестока — я не могу смотреть, как убивают животных... Мы и поросенка, и кур держим по необходимости. Вот их растишь, они становятся друзьями, а потом их приходится убивать. Если бы у нас было побольше денег, мы покупали бы фрукты, соки... Еще сыры, мед и стали бы вегетарианцами. Фрукты и мед содержат все необходимые витамины.

Летом Ольга с детьми плавала наперегонки на озерах, играла в волейбол в центре поселка, зимой каталась на лыжах в аметьевских оврагах и всем этим загоралась по-настоящему — и потому что сама в юности была отличной спортсменкой и знала, как необходимы детям занятия спортом, и потому что была увлекающейся натурой и ничего не делала вполсилы. Она постоянно жила интересами детей и разговаривала с ними как с равными, точно они были одного возраста и имели одинаковый запас знаний. Здесь проявлялись ее лучшие черты, вся ее подлинная суть.

Анатолий тоже время от времени участвовал в воспитании детей — чаще всего в форме нравоучительных уроков: на примерах из жизни выдающихся людей объяснял, что

такое трудолюбие, честность, порядочность, — ему, много читавшему, это было несложно. Иногда, чтобы возбудить у детей интерес к чтению, пересказывал сюжет того или иного произведения классиков или описывал необычного литературного героя, после чего ребята непременно брали книгу в школьной библиотеке. Но к увлечению Леонида живописью Анатолий относился со всей серьезностью, особенно после того, как подросток начал писать масляными красками. Анатолий приносил ему репродукции с картин великих мастеров, которые продавались в канцтоварах и стоили недорого. Однажды Анатолий принес «Омут» Левитана и сказал сыну:

— Попробуй написать копию. Мой приятель, инженер нашего отдела, большой любитель живописи. Я пообещал, что ты непременно напишешь.

Когда Леонид написал копию, она ему показалась чуть ли не равной оригиналу, и он заявил отцу:

— Жалко ее отдавать. Это моя лучшая работа. Твоему приятелю напишу что-нибудь другое.

— Но я обещал ему именно «Омут», — сказал Анатолий. — Получится неудобно. И вот что — думаю, он за нее заплатит.

На следующий день, вернувшись с работы, он торжественно вручил сыну десять рублей, отчего подросток немало возгордился, ведь это был его первый заработок. Только спустя несколько лет парень узнал, что отец, конечно же, просто подарил картину.

Летом Анатолий брился наголо, ходил в белом полотняном костюме и парусиновых ботинках; галстуки не носил, брюки гладил редко, вообще одежде большого значения не придавал. А Ольга просто-напросто царственно пренебрегала своим внешним видом. Само собой, основную роль играли деньги, которых постоянно не хватало, и перед каждой получкой влезали в долги, а то и сидели на хлебе и овощах. Тем не менее после получки Ольга покупала не

новую одежду, а игрушки младшему сыну, книги дочери, краски старшему сыну.

— Новая одежда подождет, я старую починю, — говорила мужу. — А дети должны иметь все необходимое. Второго детства у них не будет.

Как все нуждающиеся люди, Ольга мечтала выиграть по облигации. «Много нам не надо, — рассуждала она. — Хотя бы простыни и пододеяльники, ведь спим под колючими верблюжьими одеялами. И хорошую посуду вместо алюминиевых мисок...» Только спустя четыре года после войны они смогли купить кровати, ватные одеяла, простыни, а фарфоровую посуду еще позднее. Тот день Ольге всегда было приятно вспоминать. Анатолий пришел с работы радостно возбужденным, с бутылкой вина, печеньем, конфетами и большой коробкой.

— Это тебе, Олечка, — сказал.

Ольга развязала коробку, и ее лицо засветилось: в коробке лежал переложенный ватой фарфоровый сервиз.

По-прежнему, как и до войны, Ольга просыпалась с улыбкой и всегда по утрам пела, правда, ее улыбка уже стала менее лучезарной и пела она вполголоса, но, взглянув в окно, восклицала:

— Сегодня погодка — красота!

Даже в дождь и слякоть ей все было «красота» и «чудо». Овощи на грядках были «такие красивые, что жалко их есть», а ягоды на кустах — «просто изумительные» и «просто чудесные». Змей, склеенный Толей, был «настоящее чудо, а не змей», Нина вышивала «чудесней всех», радиоприемник с наушниками у Леонида был «необыкновенное чудо». Неуемная собирательница чудес, она умела видеть радостное и не сгущать неприятности, ей хватало немногого для счастья, потому что она, в отличие от большинства людей, умела быть счастливой.

— У тебя, Ольга, все так хорошо: хороший дом, сад, хорошие дети, хороший муж, — говорили сослуживцы. — Ты такая счастливая...

В эти минуты Ольге было трудно удержать свою радость, сдержать слезы, готовые вот-вот брызнуть.

— Я и правда счастливая. Дети, слава богу, не болеют, и все у нас чудесно. Светлые комнаты, мебели особой нет, но все равно уютно. Дешевые вещи, а дороги, потому что нажиты трудом... Сад прекрасный — крыжовника полно, вишни, смородины — приходите, рвите, сколько захочется... А через восемь лет продадим дом и уедем в Москву. Время быстро летит. Как раз ребята окончат школу... Может быть, и пораньше удастся переехать. Может, Толе дадут перевод, и тогда обменяем дом на квартиру в Москве, пусть самую захудалую, — все родина... А сюда многие с радостью поедут. Прекрасный дом, сад, огород, и от города недалеко. Говорят, проложат дорогу и пустят автобус... А зелени здесь — хоть отбавляй! А воздух, какой воздух! Чудо, а не воздух!

В Ольге была непоколебимая убежденность в благополучном исходе всего происходящего. Она на все смотрела как бы отстраненно; неприятности и трудности были для нее всего лишь препятствиями на жизненном пути, как некие прелюдии, предшествующие удачам. Она была радостным человеком и даже о бедах говорила улыбаясь, давая понять, что все они — преходящие мелочи в огромном прекрасном мире.

Случалось, к ней зайдет Дурова, глубоко вздохнет:

— Если бы ты знала, Ольга, как все надоело. С утра до вечера стираю, не отхожу от плиты, совсем стала кухаркой. В Москве хоть ходила в театр, в кино, а здесь... Всю жизнь загубила...

— Клава, милая, ну кто ж знал, что будет война. Ты подумай о вдовах, у которых мужья погибли. Мы-то с тобой счастливые, а им каково?! А в Москву мы обязательно вернемся, вот увидишь... А то, что мы много времени проводим у плиты и в огороде... Ну что ж поделаешь... Такова наша женская доля — ждать мужей, растить детей. Но все,

что мы делаем, мы делаем-то для своих любимых: мужа, детей. И потом, почему это ты всю жизнь сгубила?! Вот еще! Молодая, интересная женщина. У нас с тобой жизнь-то только начинается... Вот знаешь, о чем я подумала? Что многие сами себя делают несчастными. Жалуются на судьбу, жалеют себя, а ведь нытиков не любят. Я так их терпеть не могу. Когда кажется, что все плохо и жизнь неведомо, надо посмотреть на себя другими глазами, и получится, что все не так уж и плохо... А у тебя просто все замечательно: внешность, возраст, четверо детей, муж отличный мастер и тебя любит. Да что там говорить!.. Знаешь что! У нас есть сборник рассказов Джека Лондона. Я дам тебе, непременно почитай. Вот у кого надо учиться бороться с трудностями и не отчаиваться в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. Чудесная книга! Джек Лондон — мой любимый писатель. Обязательно почитай!

Ольга всегда жила в особом свете духовности, неисконной внутренней культуры, она была выше будничной суеты, мелочных обид. Неспроста поселчане считали, что Ольга среди них временно, по нелепой случайности, что такие люди, как она, должны жить в другом месте, что она достойна лучшей участи.

Но среди соседей встречались и завистники, которым не давали покоя Ольгин оптимизм, ее жизненная стойкость, умение держать себя в руках, ее приветливость и даже ее внешность. Такие люди за глаза называли ее «интеллигенткой» и «барыней, много из себя строящей». Они завидовали Ольге только потому, что никогда не смогли бы стать такими, как она, подняться над житейскими неурядицами; не были способны на возвышенные чувства, на благородство. А то, что Ольга кого-то «строит из себя», выглядело по меньшей мере несправедливым; ее отличительной чертой как раз была естественность. Она со всеми держалась непринужденно, свободно и просто. Случалось, в своих рассуждениях Ольга допускала некоторые преуве-

личения, что свойственно творческим натурам; случалось, она выражалась несколько декларативно, но в этом проявлялись ее склонность к обобщениям, умение видеть жизнь объемно и, наконец, ее победоносный дух. Но и в тех случаях она никого не играла, а была сама собой.

Ближе к осени в поселке пилили дрова; чурбаки раскальвали, поленья складывали в поленницы и сверху накрывали толем от дождя. В листопадную пору из садов тянуло гарью — жгли палую листву, сухие стебли, ботву. Выкапывали и сушили картошку, морковь; жали серпами, молотили и просеивали просо. Запасы опускали в погреб, складывали в чуланах. И снова проявлялась Ольгина жертвенность: она выполняла самую черную работу, чтобы другим было полегче, при этом все делала с улыбкой, как бы не замечая трудностей.

— Работать на свежем воздухе — одно удовольствие, — говорила. — Надо сочетать приятное с полезным!

О себе Ольга не думала и часто работала дольше всех, и не было случая, чтобы она жаловалась на усталость. Она вообще все отдавала другим и никогда ничего не требовала взамен; отдавала лучшую одежду, лучшую еду, проявляла постоянную заинтересованность делами других. Она как бы одновременно проживала несколько жизней: свою, жизнь мужа, детей, родных, близких и просто знакомых. И что особенно важно — жизнь окружающих ей была на много дороже своей собственной.

Наступила полоса относительного благополучия, только Ольга просто разрывалась между работой, семьей и хозяйством; ей постоянно не хватало времени, а еще хотелось почитать книги, послушать музыку. Пришлось уволиться с завода, но и после этого забот не убавилось. Ближайший магазин находился за два километра, рынок — за три, аптека, телефон и почта еще дальше. Ежедневно в семь утра Ольга отправлялась на рынок и обратно несла полные сумки: молоко, хлеб, керосин для керогаза; дети уходили

в школу, а она шла за водой, кормила поросенка, кур, прибирала в комнатах, готовила обед, полола огород. Потом садилась за чертежи мужа, ставила форматки (Анатолий по-прежнему дома выполнял заказы для других заводов); вечером перелицовывала, штопала, подшивала — и все время негромко пела. Ольга работала, не давая себе передышки, без скидок на усталость и плохое самочувствие, и все делала легко, на одном дыхании. Она не умела отдыхать, не могла сидеть без дела и спать ложилась позже всех, а вставала первой и всегда в хорошем настроении.

— Олечка, отдохни, пожалуйста. Всех дел не переделаешь, — говорил Анатолий. — И как ты не устаешь, поражаюсь! Ты пламенный борец за наше семейное счастье, твоей энергии может позавидовать десяток мужчин. Ты не шаровая молния, ты целая электростанция.

— А для меня отдых — это смена занятий, — улыбалась Ольга. — И я считаю, нет неинтересной работы. В каждой можно найти радость и смысл.

Ко всему, работа помогала Ольге не думать о Москве.

Но если летом ей было некогда грустить о родине — еле успевала поворачиваться, — то зимой становилось тоскливо. Особенно когда завьюживало и от натиска снега в поселке замирала всякая жизнь, когда во время пурги рвались провода и сидели при свечах; Ольга слушала завывание ветра и чувствовала себя оторванной от внешнего мира — где-то шумные улицы, театры, интересные люди, а вокруг нее унылое однообразие, безрадостная монотонность.

Зима в поселке угнетала Ольгу; тоска по родине, словно оседающий песок, заполняла все ее существование. Снова и снова она подумывала о переезде в Москву, даже для будущей работы в столице поступила на заочные курсы стенографии и по вечерам для практики записывала радиопередачи.

Иногда Ольга заходила к Тоне Бровкиной, живущей в центре города.

— Ты, Оля, как всегда, выглядишь отлично, — говорила Тоня. — Модное пальтишко отгрохала, шляпа — прямо дамочка-иностраночка.

— Это я-то дамочка! — возмущалась Ольга. — Вот еще! Да я труженица, вот я кто. Посмотри на мои руки, посмотри, как они загрубели... А пальто сама сшила. Ничего особенного. Как говорится, элегантная простота. И тебе могу такое сшить, если хочешь.

За чаем заводили разговор о Москве, вспоминали Правду — поселок, окруженный лесом, поляны колокольчиков... Ольга запевала песни времен их молодости, и на глазах Тони появлялись слезы; она жаловалась на свою незавидную участь, сетовала, что живет беспокойно и безрадостно. На минуту и Ольга начинала грустить, но потом, встряхнувшись, снова говорила твердым голосом:

— Знаешь что?! Нельзя жить прошлым, все время оглядываться, поворачивать голову назад. Надо смотреть вперед. У нас с тобой впереди огромное будущее, целая жизнь. Я совершенно уверена, рано или поздно мы все равно вернемся на родину. Нужно только добиваться этого.

Ольга ходила в дирекцию завода, просила перевести мужа в Москву, но в то время с оборонных заводов отпускали в редчайших случаях. Ольге дали малоутешительное обещание — рассмотреть вопрос о переводе не раньше чем через три года.

— Они не хотят слушать мои доводы, — возмущалась Ольга дома. — Раздраженно отмахиваются от меня; сейчас, мол, преждевременно говорить о переводе. Я наталкиваюсь на несправедливость, равнодушие.

Разочарованная, но не ожесточенная, она все равно не теряла надежды вернуться на родину.

— Пусть через три года, но мы все равно будем жить в Москве, вот увидите!

Анатолий недоверчиво улыбался, ему переезд в Москву казался чем-то недостижимым, несбыточным замыслом,



и если Ольга всегда смотрела на Аметьево как на временное местожительство, то он смирился с положением. Нерешительный и безынициативный, он все больше подчинялся обстоятельствам и все чаще после работы заходил в пивную, а дома говорил о погибших друзьях, вспоминал Правду, рыбалки. И эти воспоминания были для него самыми приятными, единственно счастливыми минутами, проблесками светлого, дорогого, потерянного в хаосе войны, от этих воспоминаний ему становилось не по себе.

— Смешно, у меня неплохой оклад, но я получаю меньше шофера, — уже без всякого юмора говорил он жене. — Для чего я учился, для чего мои знания? Все насмарку! Вот к чему привела уравниловка! Умственный труд приравнивали к физическому.

— Все это отчасти так, но твоя работа приносит тебе удовлетворение, — возражала она. — Твои детали — на многих самолетах и на машинах компрессорного завода, где ты подрабатываешь, и в других местах... Ты создал ценные вещи.

— Только что! — хмыкал Анатолий. — Все равно уравниловка приняла уродливые формы... И система окладов порочна. Я работаю больше и лучше многих, но получаю столько же, сколько и те, кто просто просиживает часы... Вообще идея равенства против природы. Она порочна в основе. В природе нет одинаковых существ — ни внешне, ни способностями. И почему талантливый, трудолюбивый должен получать столько же, сколько бездарный и ленивый?! Равенство убивает инициативу. Но главное, тем, кто на собраниях кричит «ура!», им и почет, и награды, и привилегии... И что я заметил: тупица начальник выбирает себе в помощники еще более тупых, разных подхалимов, чтобы ему во всем безропотно подчинялись.

— Что же ты об этом не скажешь на собрании?

— Попробуй скажи, сразу упекут куда следует.

— Не упекут! Ты честный человек, и тебе нечего бояться... Надо уметь отстаивать свое. И не прав наш великий Толстой со своим «непротивлением злу». И религия чему учит? Терпению, смирению, возлюбить врагов своих! Тебя оскорбили, ударили по лицу, а ты подставляй другую щеку! Вот еще! Что за чушь?! Надо уметь постоять за себя. Я все больше прихожу к выводу, что православное христианство — рабская религия. Не зря мой отец отрекся от Бога.

— Что и говорить, Олечка, мы живем под страхом. нас приучили молчать; чтобы выжить, надо уметь молчать...

— Надо уметь видеть хорошее, — настаивала Ольга. — Многие не видят того, чего не хотят видеть. И потом, зло всегда будет, оно составная часть природы. Это даже хорошо, что все люди разные. Зато на фоне негодяев особенно видны порядочные люди, на фоне дураков — умные. Не отчаивайся! Вот переберемся в Москву — и жизнь снова покажется прекрасной.

Беспокойная Ольга во всем любила перемены, не выносила оседлости, не могла долго ни жить, ни работать на одном месте, ей везде было тесно. Даже входя в дом, она первым делом распахивала окна (зимой форточки) — «чтобы свежий воздух бодрил». И в огороде постоянно сажала что-нибудь «экзотическое»: фасоль, баклажаны. И каждый год меняла занавески на окнах, выбрасывала старую кухонную утварь и покупала новую; и без конца переставляла мебель в комнатах — разнообразие приносило ей радость. В своем стремлении к переменам Ольга не знала покоя; она была наполнена неисчерпаемой энергией, и — вот насмешка судьбы! — вся эта энергия уходила в кухню и огород; казалось, ее, «целую электростанцию», использовали всего-навсего для работы захудалого ветряка.

Ольга начала курить. Все чаще брала папиросы, усаживалась у окна и погружалась в свои мысли.

«Хорошо бы иметь комнату в Москве, — рассуждала она. — А домик на окраине еще лучше. Какой-никакой...

Можно было бы снова жить на Правде, все ближе к родине».

Но наступала весна, и повседневные заботы отодвигали мечты Ольги о доме в Подмосковье. Дни расширялись, становились светлее, солнце буравило снежные корки, двор превращался в мокрое месиво, вдоль железной дороги убирали противоснежные щиты, начинали бушевать аметьевские водопады. Вскоре запах талого снега уступал место запаху сохнувшей земли, на пригорках вылезала острая яркая трава, на ветвях набухали почки, все тише бормотали задыхающиеся водопады, а облака становились высокими и неподвижными.

Однажды, когда Анатолий пришел выпивши, Ольга, повисив голос, спросила:

— Когда это кончится? Вчера того встретил, сегодня этого... У одного — счастье, у другого — несчастье...

Анатолий попытался отшутиться:

— Не преувеличивайте, Ольга Федоровна! Не так уж часто я встречаюсь с приятелями.

Но Ольге было не до шуток:

— Знаешь что?! Мне надоели твои заветные компании. Ты неплохо устроился. На работе — общество, после работы — приятели. А я погрязла в огороде, на кухне. Очень надо! Я тоже хочу общаться с людьми, слушать музыку, танцевать. Ведь я женщина. Ты забыл об этом... И не разводи руками, не строй из себя глупца! Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю...

В другой раз Анатолий пропил треть получки, пришел поздно и с собой привел знакомого завсегда пивной.

— Олечка... Познакомься, мой новый друг Володя.

Они еле держались на ногах, и собутыльника мужа Ольга сразу выпроводила:

— Как вам не стыдно! Являетесь в таком виде в чужой дом. А вас наверняка ждут жена, дети!..

Потом досталось и Анатолию. Ольга отчитывала его, а он смиренно стоял перед ней, улыбался и бормотал:

— Не сердись, Олечка. Действительно, как-то так получилось, что мы с Володей потратили изрядное количество денег, но я заработаю, все устроится.

Это еще больше распалило Ольгу:

— И так здесь прозябаю, да еще нянчиться с пьяницей! Вот еще! Только этого не хватало. Подумал бы своими умными мозгами, каково мне и детям постоянно видеть тебя пьяным?! До чего ты докатился?! И на что мы теперь будем жить, ты подумал?! Эгоист несчастный!

Анатолий устал. Пятнадцать с лишним лет работал на заводе (часто сверхурочно), и постоянно по вечерам чертил дома за доской, и ни разу за все эти годы не брал отпуск — только получал отпускные деньги и продолжал работать. Накопленная усталость, постоянные недосыпания сказались на его здоровье — у него появился гастрит желудка. Ко всему, от порядков на заводе, при которых ценились не столько талант, сколько угодничество, от всяких летучек и собраний, где партийные деятели давали «ценные указания», он испытывал не только физическое истощение, но и нравственное.

— Вот нелепость — у нас человек в обществе единица, винтик... Не ценится личность, — говорил он Ольге. — А интеллигент — вообще презрительная кличка. Любой подсобный рабочий может тебе нахамить. Но все ценное в мире создано как раз интеллигентами. Они носители культуры, лицо нации, без них общество загниет.

Если бы все это Анатолий говорил трезвым, Ольга нашла бы что сказать, но он философствовал пьяным, и она особенно не вникала в его слова, ее больше беспокоили его участвовавшие выпивки.

Как-то от соседей Ольга узнала, что Анатолий сидит в пивной у завода. Она влетела в пивную, выхватила стакан у мужа и кокнула об пол.

— Знаешь что?! Ты совсем потерял совесть! Сколько можно! И вы хороши! — она набросилась на собутыльников Анатолия. — Знаете, что ему пить нельзя. У него больной желудок. И подумайте о своих семьях. Ведь вас ждут жены, дети.

И буфетчику досталось:

— А вы так и знайте! Еще раз нальете Анатолию Владимировичу хотя бы сто граммов, я подам на вас в суд за то, что вы его спаиваете, разрушаете семью.

Она вывела Анатолия на улицу.

— Глава семьи, называется! В дом ничего не приносит, а на своих приятелей десятки тратит. Куда это годится?! Это последняя стадия падения!.. И очень надо с тобой нянчиться!..

Дома накипевшая горечь вылилась в пощечину мужу; его очки слетели, и он сразу стал беззащитным. Ольга испугалась, торопливо подняла очки, положила на стол, закурила и, подавленная, ушла в другую комнату.

От водки и непрерывного курения гастрит Анатолия перешел в язву желудка. Ночами он корчился от боли, стонал, потом прямо на работе у него случилось прободение язвы, и сотрудники еле успели вызвать скорую помощь.

После операции Анатолий две недели находился в больнице; Ольга приносила ему овсяные каши и варенье из лепестков розы, которое, как она узнала, заживляет рубцы и которое достала с огромным трудом. Из больницы Анатолий вернулся сильно похудевший, с потухшим взглядом.

— Ну и посмотрелся я там всякого, — сказал. — Как будто вернулся с того света.

Ольга была уверена, что после операции муж перестанет выпивать, но уже через месяц он наведалься в пивную. Потом еще, и еще, и вскоре стал выпивать больше прежнего.

Сыновья Ольги унаследовали от матери жизнестойкость, росли общительными, хорошо учились; Леонид

по-прежнему занимался живописью и готовился после школы поступать в художественное училище, Толя участвовал в школьной самодеятельности. Ольга всячески поддерживала увлечения сыновей: старшему ставила натюрморты, в свободное время позировала; младшему выкраивала и шила костюмы, отдавала под реквизит стулья и посуду, а на представлениях была самым восторженным зрителем. Это приобщение к искусству Ольга всегда расцвечивала радостным взглядом на мир, старалась обратить внимание сыновей на самые красивые вещи, умные лица, «чудесное» состояние природы, но больше всего на вечные ценности — классические примеры в мировой культуре. Позднее сыновья не раз вспоминали эти наставления матери; именно тогда она посеяла в них зерна искусства, расширила их воображение, дала точные ориентиры, помогла осознать самих себя.

За будущее сыновей Ольга была спокойна, но дочь огорчала ее. Нина росла слабым ребенком. После тяжелой болезни во время войны она так и не смогла полностью восстановить силы. Ей часто нездоровилось, во сне она плакала, со сверстниками не дружила и потому для поселковых ребят была предметом насмешек — ее замкнутость они рассматривали как зазнайство, даже окрестили «воображалой» и «цыпочкой». Нина чувствовала антипатию и жаловалась матери:

— Они надо мной смеются, потому что я ничего не умею, у меня ничего не получается.

— Хм, что ты говоришь?! Как это не умеешь, не получается?! — удивлялась Ольга. — Ты все умеешь. По хозяйству мне замечательно помогаешь и в огороде все делаешь лучше, аккуратней и добросовестней всех нас... А чего не умеешь, тому научись. Главное — захотеть.

— Да нет, мамочка! — безнадежно вздохнула Нина. — Я родилась в плохом созвездии. Это плохая примета.

— Чепуха все эти приметы. Я в них никогда не верила. Главное — уверенность в себе. Вот чем надо обладать. Уверенность в себе надо воспитывать, развивать, постоянно говорить себе: это я могу сделать! И делать. Не получается — еще раз попробовать. В конце концов получится. Без уверенности в себе ничего не добьешься.

Сыновья Ольги имели некоторые способности, это признавали все учителя, но до сестры им было далеко; одаренность дочери Ольга заметила еще в общежитии, когда устраивала «спектакли». Нина выступала лучше всех детей: пластичная, легкая, она отлично танцевала и пела, свободно делала кольцо и шпагат, мгновенно перевоплощалась из одного образа в другой, а главное, так искренне входила в роль, что и после «спектакля» подолгу не выходила из нее: идет, пританцовывая, по общежитию, напевает, разговаривает с невидимыми героями. Случалось, неделями не возвращалась в реальность. В такие дни рассказывала Ольге про какие-то красочные, фантастические видения, или ходила съезжившись, с ускользящим взглядом, чтобы быть «неприметной мышкой», или убегала за общежитие, втыкала палки в землю и танцевала среди «деревьев» — за общежитием был пустырь, но она превращала его в станцию Правда, поселок с палисадниками, — во все то, что ей запомнилось из раннего детства.

— Странная девочка, — качали головами местные старухи.

— Что они говорят! — возмущалась Ольга. — Странная! А кто сейчас не странный?! Вся жизнь после такой чудовищной войны странная!

Ольга все чаще заставляла дочь у окна отрешенно смотревшую вдаль. И во сне Нина по-прежнему плакала; иногда только всхлипывала, а иногда содрогалась от горьких рыданий; Ольга подбегала к ее постели, будила, успокаивала и никак не могла понять, что видится девчужке по ночам, какие обиды переполняют ее маленькое сердце.

В Ольгу вселялась тревога за будущее дочери — в ночных плачах просматривалось определенное предзнаменование, отголоски уготованной судьбы.

Однажды Ольга около часа звала дочь ужинать, потом отыскала ее у оврага: она пряталась в зарослях лебеды — ее зрачки то расширялись, то сужались.

— Что ты здесь делаешь? — обеспокоенно спросила Ольга.

— Прячусь от плохих людей!.. И почему они все как-то смотрят на меня?.. Иди, мамочка, сюда, спрячемся вместе, и нас никто не увидит!.. О боже мой, какие люди неискренние, мамочка... Все играют в жизни... И все говорят неправду... Но мне правду говорят сны.

— Нинуся, какие сны, что ты говоришь?! — Ольга взяла дочь за руку. — Посмотри, как много в жизни прекрасного! Эти травы, и цветы, и бабочки, и стрекозы!.. И сколько в вашем классе замечательных девочек! Разве они все говорят неправду? Этого не может быть!.. И в нашей семье никто не говорит неправды. Я не потерпела бы этого. И не нужно ничего выдумывать. Пойдем домой, я приготовила вкусный ужин, мы тебя уже заждались...

Нередко Нина выбегала в сад, танцевала среди деревьев или вставала на носки и отчаянно махала руками, пытаясь «взлететь». То она говорила, что «нельзя наступать на тени животных — они могут умереть», то писала письмо бабушке, которой давно не было в живых; и все вечера напролет просиживала у старого «Рекорда» — прислонится щекой к радиоприемнику, слушает, улыбается своим красочным фантазиям, неотвязным плавающим мыслям. Музыка околдовывала, парализовывала ее чувство реальности. Иногда Нина представляла себя пианисткой, играющей в светлом зале, где танцевали принцы с принцессами; в такие минуты ее глаза стекленели, а пальцы бегали по невидимым клавишам. Эти воображаемые картины делали Нину и счастливой, и несчастной. Счастливой — потому



что она жила в выдуманном мире, а несчастной — потому что она не находила контакта с окружающей действительностью, никак не могла связать свой маленький мир с остальным огромным миром.

И поселковые женщины не раз говорили Ольге, что у Нины «какие-то странности».

— Она немного необычная девочка, — защищала Ольга дочь. — Впечатлительная, хрупкая... Потом, знаете, переломный возраст.

Ольга делала все возможное, чтобы «заземлить» Нину, «закалить» ее характер: по утрам поднимала делать гимнастику, вечерами звала играть в волейбол с поселковой молодежью, часто каталась с ней в аметьевских оврагах на лыжах. Несколько раз ездила с Ниной в город на каток, где брала напрокат коньки и просила молодых людей покататься с ее дочерью. Чтобы оградить дочь от насмешек, Ольга посылала Леонида встречать ее из школы, а однажды собрала всех ребят в поселке и строго отчитала:

— ...Я все ждала, когда у вас пробудится совесть и вы перестанете называть Нину всякими словами, но вижу, вы бесчувственные. Запомните: никакая она не «цыпочка» и не «воображала»! Она хорошая девочка. А если она чего не умеет, так научите. Вы же должны быть ее друзьями... А она научит вас тому, чего не умеете вы. Например, танцевать и петь... И Нина прекрасно бежит на лыжах. Я уверена, она вас всех перегонит. Попробуйте соревноваться!..

В школе Нина была отличницей; учителя говорили о ее способностях, примерном поведении, прилежании, но и отмечали «необычность, некоторое отклонение от нормы» — «задумчиво-сосредоточенный взгляд», «витаение в облаках», «забывчивость». Зато в районной библиотеке, где Нина брала книги, ее хваливали без всяких оговорок; библиотекарьши называли «самой вежливой, образцовой читательницей»; по воскресеньям ей даже доверяли принимать и выдавать книги. Одно время Нина ре-

шила организовать детскую библиотеку в поселке, собрала книги, завела картотеку на ребят, но читателями стали только дети Сладковых, остальные посмеялись над затеей «цыпочки».

Все свободное время Нина читала классику, писала альбомные стихи, слушала по радио музыку. Она постоянно просила родителей записать ее в музыкальную школу, но музыкальная школа находилась слишком далеко, в центре города, а на инструмент не было денег. Ольга решила найти репетитора и по объявлению познакомилась с пианисткой Чигариной.

Галина Петровна Чигарина, эвакуированная ленинградка, была нервной женщиной с болезненным воображением, но с доброжелательной улыбкой и мягким плавучим голосом. Она жила недалеко от Нининой школы на пятом этаже в коммунальной квартире, и соседи постоянно жаловались на ее музицирование домоуправу. Галина Петровна носила старомодные платья и широкополую шляпу; она была некрасивой женщиной, но ходила как королева, с балетной осанкой и, когда шла, не смотрела по сторонам; за ней тянулся шлейф резкого запаха духов. Когда она шла по улице, девчонки показывали ей язык, а мальчишки свистели, засунув в рот пальцы.

Еще более гнусно вели себя соседи пианистки: они безжалостно подтрунивали над ней, без всяких границ дозволенного; смеиваясь, говорили, что заходил, мол, ее Петр Иванович и обещал заглянуть попозже. Галина Петровна опускала голову, «не говорите глупостей» — бормотала и спешила в свою комнату. Но в комнате все же подходила к зеркалу, надевала вечернее платье, пудрилась, прихорашивалась, то и дело поглядывая в окно.

Хромоногий Петр Иванович никогда и не замечал Галину Петровну, и вообще не знал о ее существовании; с утра все его мысли были направлены на свалку, где он выискивал «стоящие вещи», которые потом продавал на

барахолке, а вечером, демонстрируя праздную лень, потягивал пиво в пивной.

Вначале только жильцы дома злословили над «чокнутой пианисткой», но со временем ей не давала прохода уже вся улица. Особенно изощрялись мальчишки, они неосознанно отпускали зловещие шуточки:

— Теть Галь! Он все спрашивает о тебе. Сказал, что ждет в пивной.

Одинокой больной женщине было нетрудно внушить несуществующую любовь; она стала рассказывать своим ученикам о любви Петра Ивановича, о его благородной душе...

Галина Петровна нашла у Нины «исключительные способности» и взяла ее в ученицы.

Несколько дней спустя, направляясь к пианистке на урок, Ольга с дочерью внезапно услышали истошный крик и увидели женщину на противоположной стороне улицы; она кричала и смотрела в сторону дома Чигариной. Вскинув глаза, Ольга оторопела: от подоконника пятого этажа, как-то легко и невесомо, точно в замедленной съемке, отделялась Галина Петровна. Босая, в розовой блузе и длинной темной юбке, она летела вниз, и ее длинные волосы вились, как нераскрывшийся парашют. Она падала и придерживала рукой вздувшуюся юбку.

После этой трагедии Нина потеряла всякий интерес к занятиям в школе, дома перестала делать домашние задания и только и ждала, когда по радиоприемнику начнут передавать классическую музыку, чтобы перенестись в прошлый век. Нина все больше замыкалась в себе; ей казалось, что ее никто не понимает и она никому не нужна, что все в мире несправедливо и жестоко.

В семье постоянно не хватало самого необходимого: еды и одежды, керосина и дров; часто перед зарплатой приходилось занимать деньги у соседей и сослуживцев. Анатолий всегда вовремя отдавал долги и потому имел не-

сколько постоянных кредиторов. Чтобы как-то поправить бедственное положение, на лето Ольга сдала одну из комнат летчику с женой. Другого летчика приютили Дуровы.

Летчики — красавцы в фуражках и кожаных куртках, всегда гладко выбритые, благоухающие одеколоном — три дня жили в казарме при аэродроме, на четвертый приходили ночевать; иногда заглядывали только на пару часов — рассыпая шуточки, чмокали жен в щеки и снова уходили на работу. Их молодые жены, пышнотелые украинки, были беременны; мучились от безделья и переживали небрежное отношение мужей. Вечерами они собирались у Ольги, и «сердечная, умная и добрая женщина» читала им прекрасные житейские лекции. Ей, почти сорокалетней, много пережившей, но сумевшей сохранить веру в себя и людей, все любовные обиды казались мало-значущими. К Ольге по-прежнему тянулись — так тянется все живое к доброму и чуткому. Как истинно хороший человек, она создавала вокруг себя атмосферу теплоты, доброжелательности, и каждый, общаясь с ней, стремился не только стать лучше, но и сделать что-то полезное для других.

Ольга все еще выглядела отлично; жизненный опыт прибавил дополнительную привлекательность ее красоте, всему ее облику. На людях Ольга никогда не падала духом, и никто не знал, каково ей было, когда она оставалась одна, какая тоска порой находила на нее. Оторванность от родины и выпивки мужа не давали ей покоя; она все чаще нервничала, все хуже спала. А тут еще заболела Нина, учителя в школе уже настоятельно советовали Ольге обратить внимание на странное поведение дочери: на уроках рассеянна, рисует принцесс, отвечает невпопад, ни с кем не общается, сама с собой разговаривает, ни с того ни с сего смеется и плачет и «все делает не как все, постоянно оригинальничает»... Врачи порекомендовали временно оставить занятия.

Тоска Ольги сменилась ощущением безысходности. Временами ей казалось, что тревоги и опасности поджидают ее повсюду, и обязательное десятилетнее проживание в Аметьево уже представлялось чуть ли не принудительной ссылкой, а невыплаченная ссуда за дом — кабалой. Выдержка покидала Ольгу. Осенью у нее произошел нервный срыв и ее положили в больницу. А спустя несколько дней резко ухудшилось самочувствие Нины.

Однажды Анатолий пришел с работы раньше обычного, выпивши, и, войдя в комнату, заметил, что дочь, прислонив ухо к радиоприемнику, улыбается, хихикает и... разговаривает сама с собой. Когда из школы вернулись сыновья, Анатолий сидел на кухне и курил одну папиросу за другой; его рот был перекошен, взгляд выражал невероятный страх.

— Идите посмотрите, что с Ниной творится, — дрожащим голосом проговорил он. — Она совсем помешалась. Какие-то выдумки, бред... Давайте отведем ее в больницу.

Нина с нервной поспешностью согласилась пойти в больницу, по дороге рассеянно и неопределенно улыбалась, чмокала губами, запутывалась в разнонаправленности своих мыслей:

— ...Я гуляла, встретила Татьяну Ларину. На ней было черное платье! Одежда ведь часть души женщины... У каждой вещи есть душа: у расчески, у чашки. О боже! Их нельзя обижать...

Врачи «Красных домов» — больницы для душевнобольных — обнаружили у Нины «запущенную депрессию» и предписали немедленное лечение в стационаре.

В выходной день Анатолий с сыновьями навестили Нину, принесли ей вишню, крыжовник... Нина просилась домой, но Анатолий уговорил ее «немного подлечиться».

После «Красных домов» зашли в больницу к Ольге. На вопрос: «Где Нинуся?» — Анатолий сказал, что она читает дома, но сыновья отвели глаза, и Ольга заподозрила не-

ладное. На следующий день она выписалась и, узнав, где дочь, в смятении начала глотать воздух, потом прошла по комнате.

— Нину нужно немедленно забрать. Там она действительно может сойти с ума... Я представляю, какое там окружение... Таких, как она, полно. Любого можно брать с улицы и лечить. В определенные моменты у каждого бывают заскоки.

В тот же вечер она взяла дочь под расписку.

...День шел за днем, в жизни Анатолия и Ольги на смену неприятностям приходили удачи, огорчения чередовались радостями. Анатолий по-прежнему после работы заходил в пивную, но сильно выпивал только с получки. Нина урывками, но все же посещала школу. Леонид, закончив десятилетку, решил уехать в Москву поступать в художественное училище. Ольга не раздумывая поддержала его:

— Как только устроишься, подыскивай для нас дом на окраине. Мы здесь не задержимся, вот увидишь. Все должны жить там, где родились. Даже птицы возвращаются к местам родных гнездовий...

Но пришлось задержаться еще на четыре года.

Все эти годы Ольга переписывалась с сыном. Леонид не поступил в училище, но устроился бутафором в театр; жил в общежитии и «усиленно занимался живописью». О родственниках сообщил, что был у них только один раз. «Все они — ужасно ограниченные люди и постоянно скандалят». Сообщил, что в квартире новые жильцы, а родственникам на три семьи оставили две комнаты... Потом Леонид служил в армии, а демобилизовавшись, приехал в Казань всего на два дня; повидал родных и вновь отправился «завоевывать Москву». Через месяц Ольга получила от него письмо: «Снял комнату, временно прописался, снова устроился в театр, но уже декоратором...» Вскоре он женился, прислал фотографию жены и сообщил, что, как

только заработает на кооперативную квартиру, поступит в художественный институт.

Чтобы не расстраивать старшего сына, Ольга писала, что в семье все хорошо, скоро они продадут дом и приедут. На самом деле все обстояло иначе. У Анатолия из-за постоянных выпивок вновь разболелся желудок, и Нина еще дважды побывала в больнице — оба раза врачи чуть ли не насильно отрывали ее у Ольги. Эта непонятная болезнь дочери стоила Ольге мучительных переживаний, ее нервы расшатались настолько, что она потеряла сон; временами ей казалось, что она идет по шаткому подвесному мосту, с которого вот-вот упадет в пропасть, но все-таки она находила в себе силы, чтобы не впасть в отчаяние.

...Позднее Ольга вспоминала:

— В те годы бывали очень трудные минуты, но я не опускала руки, не теряла контроль над собой и верила, что смогу победить обстоятельства. Как герои Джека Лондона. Мои любимые герои. Сильные, решительные, которые никогда не сдаются...

В какой-то момент Ольга решила устроить дочь на работу.

— Новые люди, новая обстановка немного встряхнут ее, — сказала Анатолию и устроила дочь на автобазу выписывать наряды.

Но вскоре Нина заявила, что «на работе все люди грубые и ругаются», что там «жуткие запахи, от которых болит голова».

Теперь Ольга много курила, а ее волосы седели прямо на глазах. Закурив, она представляла свою семью в квартире где-нибудь у Чистых прудов. «Пусть маленькую, однокомнатную квартирку, — думала она. — Для счастья много не надо...»

В Анатолии Ольга уже не видела поддержки и всю хозяйственную работу приняла на себя: носила воду, уби-

рала урожай, договаривалась о дровах на зиму. Анатолий теперь еле вставал по утрам; случалось, опаздывал на работу, но ему все прощали за былые заслуги, за двадцать лет безупречной работы. Ольга отвела мужа к врачу-психиатру.

— Немедленно бросьте пить, — сказал врач Анатолию. — Вы же умный, интеллигентный человек. Страдают ваши жена, дети. Подумайте о них.

— Я не могу, доктор, — безнадежно, с усталым упорством твердил Анатолий.

— Знаешь что! Ты мужчина или тряпка?! — отчитывала Ольга мужа по дороге домой. — Мало мне больной дочери, еще нянчиться с тобой! Вот еще! Очень надо!.. Господи, прямо земля уходит из-под ног! И все война проклятая! Исковеркала нашу жизнь... Нужно немедленно перебраться в Москву, иначе все это плохо кончится...

— Бесполезно, Олечка, — тяжело вздыхал Анатолий. — Да и кому мы в Москве нужны? И вообще, по-моему, глупо нам с тобой начинать новую жизнь в сорок с лишним лет.

— Чепуха! — возмутилась Ольга. — Начинать все заново никогда не поздно. И в сорок, и в шестьдесят лет.

Анатолий только качал головой.

— И с завода меня не отпустят, и прожили мы здесь мало — продать дом сможем только через пять лет. Удастся пораньше — тем лучше. Но всегда надо настраиваться на худшее, тогда будет легче переносить неудачи.

— Какой дом, какая работа! — почти вскричала Ольга. — Здоровье ребенка дороже всего... Господи! Неужели каждому отпущен лимит счастья и мы свой исчерпали?! Но нет, я просто так не сдамся!

Решительная, уверенная в своей правоте, она снова пришла в дирекцию завода и целый час страстно и жестко рассказывала о своей семье, и ей наконец подписали разрешение на продажу дома раньше срока и об увольнении мужа «по собственному желанию».



Начались хлопоты: расклейка объявлений о продаже дома, подписывание бумаг у нотариуса, при этом требовали справки на тес, купленный много лет назад, на каждое дерево, каждый лист шифера. Если справок не было, просили привести свидетелей; но и справкам, и свидетелям не очень-то верили — из райжилотдела приезжал инспектор и собственноручно обмерял участок, подсчитывал деревья, все прикидывал, взвешивал; два месяца длилась волокита с куплей-продажей — бюрократическая машина делала все, чтобы потрепать человеку нервы.

Дом купили молодожены, приехавшие с Севера. Часть мебели Ольга раздарила поселъчанам, часть оставила новым жильцам; несколько дней с младшим сыном связывала тюки, заказывала грузовик, отправляла контейнер с вещами в Москву; и еще носила передачи дочери, которая снова была в больнице, разыскивала по пивным мужа и с последними отчаянными усилиями тащила его домой... Анатолий так и отправился на вокзал нетрезвым, придерживая за поводок собаку; Ольга несла чемодан, Толя — сумку с продуктами. Молодожены просили оставить собаку «охранять дом», но Ольга порывисто заявила:

— Как можно?! Об этом и слышать не хочу! Что вы говорите?! Об этом не может быть и речи. Челкаш — член семьи. Он поедет с нами, я взяла на него билет.

— Эх, Анатолий! Зря уезжаете, — говорили поселъчане, когда Анатолий обходил их с прощальными визитами.

— Что я могу сделать? Ольга хочет, — натянута улыбаясь, отзывался Анатолий; ему уже было все равно, где жить.

Поезд отходил вечером. За последние дни Ольге особенно досталось, и, как только сели в вагон, она прямо за столом уснула, а когда поезд тронулся, начала во сне разговаривать вслух:

— О господи, за что на нас свалились такие суровые испытания?! За что?!

4

На Казанском вокзале их встретил Леонид. Они стояли на перроне, загорелые «провинциалы», усталые, ошеломленные гулом большого города; Ольга нервно листала записную книжку, Анатолий, опухший, с тусклым взглядом, держал волновавшуюся собаку, Толя растерянно смотрел по сторонам. Был август, но солнце пекло, как в середине лета.

Ольга позвонила сестре, попросила приютить на два-три дня, пока они не купят дом в Подмосковье.

— Что ты, Ольга! — заявила Ксения. — Где вас разместить, сами еле поворачиваемся. Виктор с женой и я с Тюфяком живем в комнате, перегороженной шкафом, а у Алексея слепая Люська и двое детей...

— Я и знал, что мы не нужны твоей родне, — хмыкнул Анатолий.

— Тетка Ксения еще ничего, — сказал Леонид, — на первое время приютила меня, а вот дядька Алексей делал все, чтобы меня не прописали, даже временно. Он негодяй!

Ольга решила поехать на станцию Фирсановка, разыскать тетку Лукерью, сестру матери, и временно остановиться у нее. Вчетвером с собакой они перешли на Ленинградский вокзал, сели в электричку и через полчаса приехали в красивый лесистый поселок...

Раньше у Лукерьи была большая семья — семь сыновей, но ее муж умер, а четверо старших сыновей погибли на фронте; правда, Лукерья не верила в их гибель и не теряла надежды на их возвращение. Еще один сын работал на Севере, двое подростков жили с матерью. У Лукерьи был большой, добротный дом.

— Подождите меня здесь! — Ольга показала родным на лужайку и постучала в дверь.

Лукерья топила печь; узнав племянницу, всплеснула руками, заохала, усадила Ольгу за стол.

— Вот, приехали из Казани, — проговорила Ольга. — Хотим купить дом где-нибудь в Подмоскowie... Пустишь нас, тетя, на несколько дней к себе, пока я не найду жилье?

— Не могу, Ольга, — покачала головой Лукерья. — Сыновья у меня, да и милиция что скажет?! Щас ведь не прописывают... Так что не обессудь...

— Эх ты! — возмутилась Ольга. — Ты забыла, как до войны приезжала к моей матери и всегда останавливалась у нас?! А нам не хочешь помочь! У тебя такие хоромы!

Ольга порывисто встала и хлопнула дверью. «В конце концов за деньги любой пустит», — подумала она и пошла по поселку; и уже отошла довольно далеко, как вдруг ее остановил крик. Обернувшись, она увидела, что к ней бежит Лукерья — платок спал, волосы растрепались.

— Оля! Что же я, дура!.. Совсем спятила на старости лет. Родную племянницу не пустила. Зови скоренько своих...

Подойдя к дому, они увидели, что из открытой двери вырывается пламя.

— О-о! — застонала Лукерья. — Господь-то меня покарал!

Анатолий с сыновьями бросились к колодцу и вскоре сбили пламя водой, только обгорелые стены дымили. В дом вошли чумазые, мокрые.

— Дальше вам надо ехать, в конец области, — сказала за чаем Лукерья. — Здесь не пропишут... Тут все перенаселено.

Утром Лукерья попросила оставить ей собаку.

— Моя-то очумилась и убежала... А этот — хороший пес, сразу видать... Сад сторожить будет.

Ольга покачала головой:

— Что ты, тетя! Как можно такое говорить?! Челкаш ведь член нашей семьи. Самый преданный из всех на свете. Мы его сильно любим.

Ольга купила четвертую часть большого деревянного дома на станции Ашукинская за пятьдесят километров от города. Поселок располагался по обеим сторонам желез-

нодорожного полотна: станция, рынок с крытыми прилавками, магазин повседневного быта, продовольственная палатка, почта, медпункт, отделение милиции, клуб с «пятак» для танцев и одноэтажные дома с палисадниками и огородами. Жилье состояло из двух маленьких комнат; к ним примыкал крохотный участок в одну сотку и срубсарай; удобства были те же, что и под Казанью: отопление печное, вода в колодце на улице через два дома, туалет на участке... В доме жили еще три семьи. Все было намного хуже, чем в Аметьево, зато недалеко от Москвы, всего в часе езды на электричке.

С одной стороны к Ашукино примыкала станция Софрино с кирпичным заводом и старой веткой к карьерам, с другой — полустанок в лесу Калистово. Теперь, отправляясь в Пушкино оформлять покупку, проезжали мимо станции Правда, на которой когда-то жили. За время войны там ничего не изменилось: все так же к поселку подступал лес, все те же станционные постройки — все было как прежде, только раньше на Правде было множество цветов, а теперь они исчезли.

Жилье оформляли на Леонида, имевшего московскую прописку. Каждого начальника Ольга упрасивала, каждой секретарше делала подарки. Раньше Ольге всегда везло — ее обаяние обезоруживало, располагало к ней людей, но теперь она изменилась и редко улыбалась; нотариусам, паспортисткам, домоуправам просто протягивала подарки, и ее справки подписывали гораздо быстрее, чем когда она только упрасивала. «Надо же, до чего я дошла! — рассуждала Ольга. — Раньше никогда не унижалась и вообще за себя не просила, только за других. А теперь... Но ничего, это временная уступка. Дело стоит того».

Несмотря на подарки, оформление затянулось на три недели, и постоянно прописали только Ольгу с младшим сыном. Анатолию предстояло получить прописку по ли-

миту — на стройке... Он устроился разнорабочим в городе Клине: старший инженер-конструктор копал канавы, прокладывал трубы и кабель; домой приезжал только на выходные дни, всегда нетрезвым, подолгу сидел у печки, склонив голову, ко всему безучастный.

— Вот идиотизм, — бормотал. — Я со своим опытом и знаниями работаю лопатой. Питаюсь бульонными кубиками. Вот только в выходные и ем домашний суп... Но семью-то навещаю нелегально. В любой момент придут и схватят меня. Я ж без прописки... Живу под страхом. Боюсь милиционеров, контролеров в электричках, домоуправа в Клину, всех начальников — прямо чувствую себя преступником. Отвратительно все это... И что происходит?! Раньше усадьбы громили, а теперь новые дворяне... Там, в Клину, у начальства такие особняки! На «Волгах» катаются, охотятся в заповедниках... Но те, прежние дворяне, были в высшей степени образованными людьми, были интеллигентами, а эти... Им главное — обогатиться... И как такие люди могут строить светлое будущее! Зло не делает добро...

Постоянная нервотрепка, и боль за погибших друзей, память о которых с переездом в Подмоскovie всколыхнулась с новой силой, и тревога за дочь, которая осталась в казанской больнице, и раздражение от дурацких законов и несправедливости, с которыми они столкнулись в Московской области, — все это неотвратимо подкашивало здоровье Анатолия. Настоящее он не понимал и не принимал, прошедшие годы считал сплошной борьбой за выживание с редкими мирными передышками и только недолгое довоенное время на Правде — по-настоящему светлым мигом, но давно похороненным под пеплом войны.

Ольга наскоро купила кое-какую мебель в Пушкино, привезла ее на грузовике, через неделю пришел контейнер с вещами из Казани, и комнаты приняли жилой вид.

Спустя месяц Ольга выхлопотала разрешение на перевод дочери из казанской клиники в районную больницу

Лотошино под Волоколамском и послала деньги в Казань, чтобы Нину привезла медсестра.

Ольга встретила их на вокзале. Нина выглядела плохо: лицо желтое, руки мелко дрожат, она постоянно что-то бормотала и, точно слепая, все трогала на ощупь.

— Такая спокойная девушка, — сказала о Нине медсестра. — Все время смотрела в окно, никому не мешала.

В Ашукино Нина вяло поздоровалась с родными, села на стул и обхватила голову руками, как бы огораживаясь от всего мира. Дома она пробыла всего три дня: лежала на тахте, уставившись в потолок, или замкнуто сидела перед окном, вздыхала и что-то бессвязно бормотала. На все попытки Ольги вывести ее из угнетенного состояния Нина недовольно морщилась:

— О, боже мой, мамочка, оставьте меня в покое! Разве вы не понимаете, что я тороплюсь на бал... меня давно там ждут, там уже играет музыка...

Ее болезненное воображение уже далеко оторвалось от реальности.

В Лотошино Нину поместили в палату тяжелобольных. Врачебная комиссия предложила Ольге оформить инвалидность первой группы и пенсию — пятьдесят рублей, с условием, что больную время от времени будут брать домой. Но Ольга настояла, чтобы дали вторую группу, пусть и с меньшей пенсией, — она была уверена, что рано или поздно дочь будет работать, и вообще рассматривала инвалидность дочери как временную.

Узнав, что работникам железной дороги через три-четыре года дают жилплощадь в черте города, Ольга устроилась на курсы проводников и через месяц получила железнодорожную форму и стала ездить на скорых поездах до Буя и обратно; трое суток в пути, двое — дома. Половину недели младший сын, уже семиклассник, жил один, и Ольга постоянно тревожилась за него; то и дело звонила старшему сыну, просила в ее отсутствие почаще приез-

жать в Ашукино. Леонид приезжал. Братья пилили и кололи дрова, топили печь, готовили еду. Леонид рассказывал о работе в театре, о новых постановках. Толя с завистью слушал брата, жаловался, что в школе нет драмкружка; его детское увлечение оказалось живучим — он мечтал стать актером.

— Не думай, что в театре все прекрасно, — говорил Леонид. — Здесь мало таланта, надо заявить о себе. Надо, чтобы тебя заметили, дали роль. Многое зависит от знакомств, а то и от случая... Знаешь, сколько оканчивает театральные училища? Сотни! А в театры берут единицы.

— Все равно буду актером, — упрямо твердил Толя.

Несколько раз он приезжал в Москву и смотрел спектакли в театре брата, а по возвращении из поездки матери восторженно рассказывал ей обо всем увиденном.

— Я верю, из тебя выйдет хороший актер, — говорила Ольга. — В искусстве главное — искренность. А уж это в моих детях есть. Вы все способные, слава богу. Вот только чрезмерно скромные. А кто хочет добиться успеха, должен обладать честолюбием, стремиться к признанию и славе.

...Проводницей-напарницей Ольги была Анна Станиславовна, бывшая учительница, которая пошла на железную дорогу, чтобы иметь «сносный заработок».

— Я проработала в школе семнадцать лет и получала сто рублей. Можно на них прожить? А у меня взрослая дочь, то одно надо, то другое. Не будет же девушка одеваться хуже всех...

Анна Станиславовна объяснила Ольге, каким образом в рейсах можно зарабатывать деньги: разглаживать под матрацем использованные простыни, экономить на сахаре, сдавать бутылки, оставшиеся от пассажиров.

— Ну и подарки, — говорила Анна Станиславовна. — Бывает, что-нибудь дарят. Но главное — левые пассажиры. Желающих сесть на поезд всегда много. Но у нас такая система: в кассах билетов нет, а в составе всегда есть свобод-

ные места — бронь не возьмут, или еще что. Этих левых мы и сажаем. Ревизоры все знают, заходят и спрашивают: «Сколько?» Я говорю: «Двое». А у меня четверо. Даю им десять рублей, и они не проверяют.

— Извините, Анна Станиславовна, но я этим заниматься не буду, — решительно заявила Ольга. — Вы — пожалуйста, а я нет. У меня есть определенные принципы. Знаете, мой муж всегда говорит: «Главное, Олечка, чистая совесть». Я пошла на железную дорогу только ради жилплощади. Как только получу, сразу уйду. Подарки — дело другое.

Закончив рейс, проводницы пылесосили вагон, сдавали белье в прачечную и разъезжались «на отдых». Но у Ольги отдыха не было. С вокзала, позвонив Леониду и узнав, как у него дела, заезжала в Ашукино проведать младшего сына и тут же спешила в Лотошино к дочери. Добиралась долго: два часа на электричке, потом еще на попутных машинах; в дороге рассуждала: «Я все время в пути, на ногах, на колесах. Все несусь в какой-то колеснице, вся издергалась, и нет у меня ни дня покоя... И семью всю разбросало. Толя в Клину, Нинуся в Лотошино, один сын в Москве, другой в Ашукино. Господи, что ж это такое?! За что нам такие мытарства? И когда мы снова соберемся вместе?.. А люди живут спокойно. Днем работают, вечера проводят в семье, у телевизора... Обещают квартиру через три года. Это ж целая вечность!.. Впрочем, главное мы сделали — выбрались из Казани. Главное — начать. И у нас есть собственное жилье... Толю все равно пропишут. Никуда не денутся. Я добьюсь! Обязательно пропишут! Это чудовищная нелепость — лишать его возможности жить в семье! Какая-то дикость! Посмотреть бы в глаза тем бездушным людям, которые придумывают подобные дикие законы!»

Освоившись на новом месте, Ольга навестила родных. Москва сильно изменилась: появились новые станции метро и высотные здания, машин на улицах стало намного



больше; Чудовку переименовали в Комсомольский проспект, в Лужниках построили стадион, а на месте храма Христа Спасителя — бассейн, но, как сообщила Ольге Ксения, «в нем люди тонут». Родные разочаровали Ольгу: как Леонид и сообщал, они действительно стали «ограниченными людьми», серыми личностями: только и жили от зарплаты до зарплаты и ссорились из-за пустяков между собой и с новыми жильцами. Ольга выслушивала их мелкие претензии друг к другу и думала: «Они остановились в своем развитии, и все их таланты заглохли. У них нет никаких интересов, и, что особенно возмутительно, — живут в столице, но ни в театры, ни в кино не ходят».

— Ты такая счастливая, — сказала сестра Ксения. — Бывает же: так человеку везет!

— Ты, сестричка, мягкая, улыбчивая только внешне, для блезира, — усмехнулись братья, — а внутри-то, оказалось, твердая, у тебя железная воля. Надо же, не успела приехать — купила дом, прописалась, устроилась работать. Тебе явно кто-то помог.

Не обращая внимания на сарказм братьев, Ольга вздохнула с легким подобием улыбки.

— Слава богу, пока все обошлось. Скоро Толю пропишут, и совсем будет хорошо, вот только бы Нинусю поставить на ноги... И никто мне не помогает. Глупости! Я всегда рассчитываю только на свои силы.

А по ночам Ольге снились сны: они все еще живут в Аметьево и никак не могут уехать в Москву. Ей снились поселок, занесенный снегом, глубокие сугробы, морозы, ветры... Она просыпалась, закуривала, смотрела на спящего сына, думала о дочери и муже, ее сердце щемило, покалывало... Наутро Ольга выбрасывала разные мелкие вещи, привезенные из Казани, — обрывала нити, связывающие с прошлым.

Весной Ольга посадила на участке две вишни и ромашки. Весной же поехала в Пушкино и добилась разрешения

на временную прописку мужа, но паспортистка ашукинской милиции поставила штамп «постоянно».

— Что они там дурака валяют?! — недовольно сказала, заполняя бланки. — Ведь не ссыльные, да и за пятьдесят километров от Москвы. (О том, что отцу и мужу надо жить в семье, она не сказала.)

Анатолий удивился неожиданной прописке и с неделю праздновал «маленькую победу».

— Надо же, от одного росчерка паспортистки зависит наша судьба! Но, Олечка, ты действительно везучая... Твоей энергии хватит не только на простую электростанцию, но и на атомную.

Это было точное определение, но опять-таки энергия «атомной станции» шла всего лишь на движение маленького парома, а Ольге, с ее природным обаянием и даром убеждения, деловыми качествами и организаторскими способностями, вполне по силам были масштабные дела.

— Сейчас и надо быть пробивной, — продолжал Анатолий.

— Именно, а не слабовольным слюнтяем, как ты.

Ольга все еще считала пьянство мужа распущенностью, не верила, что это болезнь.

С пропиской Анатолия сразу взяли инженером на радиозавод на станции Зеленоградская. В первый же выходной он отправился в Москву, решил навестить родственников жены. По просьбе Ольги его сопровождал Леонид, который по воскресеньям приезжал в Ашукино.

— Проследи, чтобы отец не выпил лишнего, — сказала Ольга сыну. — И привези его обратно, а то еще зайдет в пивную на станции.

По пути к родственникам Леонид сказал отцу:

— Только не разговаривай с дядькой Алексеем. Он негодяй. Я уже говорил: он сделал все, чтобы меня не прописали у тетки. Боялся, буду претендовать на жилплощадь. Идиот! Из-за него мне приходилось ночевать черт-те где — на

вокзалах, в подъездах... Теперь он мой враг, я с ним даже не здороваюсь. Если начнешь с ним разговаривать, оскорбишь меня. Поздоровайся холодно — и все, договорились?

— Ладно, — пообещал Анатолий, но не сдержал слово.

С Алексеем они встретились на лестничной клетке, когда подходили к квартире, а он из нее выходил.

— О, кого вижу! Толька, дорогой! — вскричал Алексей, бросаясь к Анатолию.

Они обнялись.

— Пойдем отметим встречу! — Алексей потянул Анатолия к выходу на улицу.

— Пап, пошли, — Леонид кивнул на дверь.

Анатолий шмыгнул носом, поправил очки.

— Иди, Ленька, иди. Я подойду попозже...

Он вернулся через час, выпивши.

— Понимаешь, Ленька, — начал оправдываться, — ведь мы были друзья в молодости... И столько лет не виделись... И он жалеет, что так поступал с тобой...

Леонид так и не понял, правда это или выдумка для оправдания своего поступка.

Вскоре Ольга привезла из больницы дочь, и в воскресенье, когда Леонид приехал в очередной раз, вся семья наконец была в сборе. Сходили в лес за грибами, искупались в озере близ Калистово.

— Знаете что! Все наладится, вот увидите! — воодушевилась Ольга по пути домой. — Наш глава семьи перестанет увлекаться спиртным, Нинуся поправится, — она обняла дочь. — Мальчики поступят в институты. Это мое самое горячее желание... Все устроится, вот увидите. Знаете, что такое счастье? Это любовь в семье, это прочность среди родных. Хорошая, дружная семья — лучшее, что может быть у человека.

Вечером за ужином Ольга вспомнила книгу, которую читала в поездке, и пересказала истории, где показывались только привлекательные, светлые стороны жизни.

— Конечно, можно изображать красоты, но главное — судьбы героев, — сказал Анатолий. — Только тревога за судьбу героя способна зацепить наше сердце, — вооруженный классикой, он привел примеры из Бунина, Куприна.

Его поддержал Леонид:

— наших писателей, которых сейчас возносят, противно читать. Молодежь читает тех, кто показывает подлинную жизнь, а не лакированные картинки. То же самое в театре: то, что хвалят, спокойно можно не смотреть, — это фальшивое искусство.

— И все же, я думаю, искусство должно вселять в нас уверенность, заражать оптимизмом, — не сдавалась Ольга. — Жизнь такая жестокая, и надо поддерживать людей... Возьмите довоенные комедии. Конечно, там много было надуманного, но они помогли нам жить. А песни! Какие замечательные были песни! — Ольга вполголоса запела.

Вздохнув, Анатолий поправил очки и, смущенно улыбувшись, стал подпевать. Потом и дочь, и сыновья присоединились. Снова пели всей семьей, как когда-то в общежитии у буржуйки. Их соседи жили в добротных домах с мансардами, забивали комнаты современной мебелью, разводили в парниках овощи на продажу, а в полутемных, пропитанных дымом комнатах «казанцев» (так прозвали семейство Ольги поселковые) стояла дешевая мебель, на столе — скудный ужин, но их жильё было островком духовности в поселке.

— Все устроится, вот увидите, — в очередной раз повторила Ольга. — Неужели мы, пятеро способных людей, не пробьемся, не докажем ей, жизни, что мы чего-то стоим?! Правда, Челкаш?!

Пес завертелся, выражая полное согласие с хозяйкой.

Но через две недели у Нины начались головные боли; подавленная, потерянная, она ходила по комнате из угла в угол, время от времени издавала нервный смешок и плакала. А по ночам испуганно вздрагивала и вскри-

кивала. Ее уже ничто не интересовало; на вопросы от-вечала односложно, раздраженно — даже от родных она оберегала свой внутренний мир. Нину пришлось вернуть в больницу.

А потом погиб Челкаш. В то воскресенье Ольга была в поездке, Анатолий с утра направился в пристанционную пивную, а Толя пошел с собакой в лес за грибами. На опушке леса Челкаш учуял суслика и помчался за ним, и вдруг из-за кустов выкатил грузовик. Там никогда не ездили машины, и дороги-то не было, но внезапно среди листвы возникла грохочущая трехтонка и медленно покатила по цветам. Пес ударился о бампер и отлетел в сторону... Толя пришел в себя, только когда Челкаш затих. На его крик подошли какие-то грибники, отнесли собаку в тень, прикрыли ветвями.

Когда зареванный подросток вернулся домой, Анатолий лежал на диване, от него разило вином.

— Погиб Челкашка?! — переспросил он, привстав с дивана. — Что ты говоришь?! Где погиб?.. Как же так?! Что ж это?! Столько с нами пережил, и вот на тебе! Так нелепо погибнуть!.. Вот чертова жизнь!..

Толя съездил в Москву за братом, и они похоронили собаку на опушке леса среди берез. Из рейса вернулась Ольга и, узнав о гибели «члена семьи», со стоном выдохнула:

— О господи! Бедный наш Челкашка! Мне ужасно жалко его. И надо же! Я в поездке почувствовала, что с ним что-то случилось, он приснился мне во сне больным... Ужасно жалко Челкашку! Он был такой верный, исполнительный! Преданный долгу и семье. Эти качества я ценю больше всего. Наверно, в прошлой жизни я была собакой, и не зря Евгения Петровна в Казани звала меня «собакой»... Не хотелось бы, чтобы Анатолий Владимирович выпивал, но ладно уж... Сходите, ребята, в магазин, купите вино, надо помянуть Челкашку.

Когда разлили вино, Ольга сказала:

— Челкашка был лучше нас всех. Никогда на нас не злился, всегда приветливо вилял хвостом, был таким ласковым! Он единственный, кто никогда меня не огорчал. Как говорится, пусть земля ему будет пухом!

Выпив вино, Ольга продолжила:

— Одно хоть немного успокаивает — что Челкашка прожил долгую жизнь. Если перевести его возраст на человеческий, он был старше нас всех... И мы его горячо любили, заботились о нем... И, конечно, мы всегда будем помнить о нем... Но что я хочу сказать. Теперь мы должны особенно сплотиться. В несчастьях надо держаться друг за друга, вместе легче все пережить... И ни в коем случае нельзя раскисать, опускать руки. Жизнь продолжается, и надо идти вперед.

В середине лета Анатолий поехал в Москву разыскивать мать своего друга Ивана; вернувшись, сказал жене:

— Знаешь, кого я застал в квартире? Кого бы ты думала?.. Ванюшкиного отца! Представляешь?! Его реабилитировали... Мать Ванюшки умерла, а отец, отсидев десять лет, вернулся. Он порассказал такое! На многое открыл мне глаза. С ним сидели ученые, генералы. Многие сидели по делу, но немало пострадало и невинных. Что говорить, если даже наш авиаконструктор Туполев сидел. Сталин был тираном, теперь это яснее ясного. Ванюшкин отец уверен, что Ленин, и особенно Троцкий, были еще хуже. Они ненавидели русский народ, были просто палачами... В самом деле, они устроили гражданскую войну, натравили русских друг на друга, уничтожили миллионы людей. А кто такие были кулаки? Самые трудолюбивые крестьяне... Сталин хотя бы укреплял страну, а эти только все разрушали. Не случайно столько лучших русских уехало после революции. Кто не успел уехать, тех посадили.

— Когда-нибудь их всех вспомнят, — твердо сказала Ольга, — и напишут о них, как о декабристах. Как ни замалчивай, а правда через все пробьется.

Отец Ивана предложил Анатолию перейти в ОКБ автомастики в пригороде Москвы; посоветовавшись с женой, Анатолий сменил работу... Его оформили старшим инженером и обещали в ближайшем будущем предоставить жилье в черте города.

Некоторое время Анатолий добросовестно относился к работе, но потом сорвался. Он уже был серьезно болен — по утрам, если не опохмелялся, его руки дрожали, глаза слезились, а губы нервно подергивались. Случалось, он опаздывал на работу, устраивал затяжные перекуры, но, войдя в форму, за несколько дней выдавал чертежей больше, чем многие инженеры отдела, причем сослуживцев поражало его умение чертить некоторые детали без рейшины, от руки. Его чертежи не раз брали на проверку, но все оказывалось предельно точным. «Мастерство от небольшого количества выпивки не теряется», — усмехался про себя Анатолий.

Но «небольшое количество» все чаще переходило в большое, и тогда уже «мастеру чертежей от руки» было не до работы. Раза два начальник отдела тактично, незаметно для всех приглашал Анатолия в свой кабинет и крайне вежливо просил побереечь свое здоровье, подумать «если не о себе, то хотя бы о коллективе», которому он «нужен решительно и безоговорочно». Но болезнь Анатолия уже зашла слишком далеко. В ОКБ он шел, словно по принуждению, в отделе был замкнутым, ни с кем не общался, а во время собраний то и дело отпускал насмешливые, едкие словечки.

— Все отвратительно, — говорил дома жене. — И на новой работе тоже. На собраниях сплошное единогласие. Люди забыли про честь, совесть. Слушают ложь и молчат. Ясно, молчат, потому что запуганы, ведь такая коса прошла по стране. Мы обманутое поколение, вот что я скажу тебе, Олечка.

— Неправда! — возмущалась Ольга. — Мы не обманутые. От нас многое скрывали, но мы догадывались. И по-

том, было много хорошего, ты забыл. Вспомни довоенное время и энтузиазм молодежи. Как комсомольцы уезжали на стройки... А то, что сейчас все голосуют единогласно, так сами виноваты. Я, например, никогда не молчу перед лицом несправедливости... Ты никогда мне не докажешь, что все плохо. И я убеждена, что справедливость рано или поздно восторжествует.

— Это все, Олечка, слова. Ты всегда смотрела на мир сквозь розовые очки. Конечно, это неплохо — во всем находить прекрасное, но реальная жизнь далеко не прекрасна. Скорее, наоборот — жестока и несправедлива. О каком братстве может идти речь, когда в электричках хамство, ругань. А здесь, в Ашукино, убожество. Смешно: двадцатый век, а мы живем как в каменном. Топим печку, носим воду...

— Топить печку — одно удовольствие, — встала Ольга.  
— Русская печка — самое надежное отопление.

— И участки с курятник, — продолжал Анатолий. — В Аметьево хотя бы был простор, полно знакомых. Зря мы оттуда уехали.

— Нет, не зря, — упорствовала Ольга. — Об этом и говорить нечего. Там мы все зачали бы. И не забывай, Ашукино это всего лишь временное пристанище, в скором времени мы обязательно переедем в Москву.

— Вот и получается, что мы тратим лучшие годы на всякие переезды, поиски жилья, прописки... И работаем только ради денег... Да и вообще жизнь далеко не прекрасна, сплошная борьба за выживание.

— Нет, прекрасна! И ты это знаешь не хуже меня. Посмотри, сколько в электричках замечательных людей. И почти все читают... Студенты готовятся к лекциям, изучают языки... Разве не так?! Некоторые, конечно, ругаются. Но их можно понять: люди устают и дорога утомительная... Знаешь, сколько людей живет в пригороде? Тысячи! А электричек мало. Но ведь это не вина людей... Это вина



министерства железных дорог... И потом, хорошо, скажи мне, пожалуйста, а наше прошлое, а наши дети — разве это не прекрасно?! О чем ты говоришь?! И у нас еще впереди будет много хорошего, я в этом абсолютно уверена. Просто сейчас мы еще не устроились, поэтому у тебя такое настроение, но все наладится, вот увидишь!

Ольгу назначили кондуктором поездов дальнего следования, затем перевели в проводники пассажирских поездов Москва — Владивосток. Неделю она ехала на Дальний Восток, неделю — обратно, неделю отдыхала. Пассажиры любили Ольгу, не раз писали ей благодарности, дарили подарки. За неделю дороги попутчики в купе становились друзьями, при расставании обменивались адресами, договаривались приехать друг к другу в гости, но, как правило, большинство таких знакомств продолжения не имели. Среди пассажиров случались и ссоры и драки, но даже в самых безнадежных ситуациях Ольга всегда оставалась спокойной, со всеми находила общий язык, слова, которые гасили вспышки гнева. Часто возникали раздоры на национальной почве, но Ольга быстро всех примиряла всего лишь одним доводом:

— ...Есть огромная разница в любви к своему народу и любви к другим народам. Вот говорят, татары злые, а я долго жила в Татарии и знаю, какие это прекрасные люди... Или возьмите немцев. Я до войны была знакома с немцами, это были чудесные люди, я знала их только с лучшей стороны. А негодяи есть в каждом народе, но по ним нельзя судить обо всех...

Зимой работать стало намного тяжелее. В любую погоду — в мороз и метель — на глухих полустанках приходилось таскать уголь в мешках для отопления вагона и титана. Бывали и аварии, а однажды в вагоне ехали амнистированные уголовники, и, после того как Ольга попросила их не сорить, они подкараулили ее в тамбуре и пригрозили ножом.

Кто-то из пассажиров рассказал Ольге про китайскую медицину и иглоукалывание, которое вылечивает от всех болезней. Ольга решила перейти на поезд Москва — Пекин, чтобы свозить дочь в Китай, но в управлении сказали:

— На международные рейсы оформляют только проводников с большим стажем.

Ольга ездила по всей Сибири до Дальнего Востока и позднее с улыбкой рассказывала, что во время стоянок купалась во всех сибирских реках, и в Байкале, и в Японском море. Несколько раз, останавливаясь в Омске, Ольга пыталась разыскать сестру Анну, но это ей не удалось. «Поразительно, — думала Ольга. — Похоже, Анна забыла, что у нее есть родня. Все оттого, что ей, как младшей в семье, досталось больше всех внимания, и вот результат — она стала законченной эгоисткой».

По две недели дом оставался без хозяйки, на пятнадцатый день Анатолий с сыном подходили к железнодорожному полотну, по расписанию проносился поезд, и Ольга кидала тюк со своими вещами и продуктами. С конечной станции состав отгоняли на запасные пути, и еще сутки проводники наводили порядок в купе, сдавали вагоны техническому персоналу и только потом разъезжались по домам.

По возвращении Ольга первым делом бегала по магазинам, покупала фрукты для дочери и спешила в больницу. Затем несколько дней стирала, убиралась, встречала Анатолия с работы и отводила домой... Неделя пролетала быстро; так и не отдохнув толком, Ольга уезжала снова, а со следующего дня после ее отъезда Анатолий начинал пить и по утрам еле вставал на работу; опухший, с красными веками, разыскивал в палисаднике запрятанную накануне четвертинку водки или бутылку вина и, опохмелившись, немного придя в себя, нехотя брел к электричке.

Как-то утром приехал Леонид и, застав отца за поисками заначки спиртного, грубо осадил его:

— Перестань! Лучше иди на работу!

— Неужели ты не понимаешь... Я не могу, — пробормотал Анатолий. — Знаю, что мешаю вам, тяну семью назад, но ничего не могу с собой поделаться, пойми это. Да и все надоело, я устал ото всего.

Однажды во время запоя Анатолий отдал соседям за бутылку водки настенные часы, в другой раз — свой костюм... Толя съездил в Пушкино и позвонил старшему брату...

Когда Леонид приехал, Анатолий лежал на диване, прикрытый одеялом; заметив сына, что-то спрятал под подушку. Леонид откинул край одеяла и увидел у отца в руке... бритву, рядом лежал пустой флакон из-под одеколона.

— Ты что, совсем сошел с ума?! — содрогнувшись, крикнул Леонид, отнял у отца бритву, спрятал его очки, убрал из дома все острое. Потом подумал, что оставлять отца одного в таком состоянии нельзя, и сказал:

— Давай отвезем тебя в абрамцевскую больницу.

— Давай... поедем, — покорно согласился Анатолий и как предпрощанье добавил: — Прости меня за все.

Дорога от станции к больнице шла через сосновый лес. Стоял жаркий августовский день, в листве не смолкая кричали птицы, пахло земляникой, клевером, смолой. По дороге Леонид говорил с отцом запальчиво и резко. Анатолий угрюмо молчал, только изредка, безнадежно усмехаясь, оправдывался:

— Понимаешь, у меня нет воли, я не могу бросить пить. На мгновение Леониду стало жаль отца.

— Завязал бы ты с выпивками, снова ездили бы рыбачить, попутешествовали бы. Сколько мест, где хочется побывать...

— Может, и правда попробовать? Последний раз, — тусклый взгляд Анатолия потеплел, на губах появилась робкая улыбка. — В самом деле, мы давно не рыбачили... Так не хочется в больницу.

— Ну уж раз решили, надо. С недельку полежи, мама придет — заберем тебя. Пока подлечишься.

— Ладно, — обреченно кивнул Анатолий.

— Сам ты не можешь бросить. Ты слабак.

Леонид хотел подхлестнуть самолюбие отца, напомнить ему про великий удел главы семьи. Выпивки отца ему казались какими-то затянувшимися помрачениями, идиотской привычкой, которую отец вполне может, но не хочет бросать; парень не мог поверить, что отец серьезно болен, утратил веру в себя и вообще во все хорошее и стал уязвимым, обидчивым, слабонервным.

Вернувшись из поездки, Ольга забрала мужа из больницы и обошла соседей, которым Анатолий продал часы и костюм. Заплатив за бутылки водки, Ольга потребовала вернуть вещи.

— Как вам не стыдно так гнусно поступать?! — бросала она презрительный укор. — Где ваше сострадание к больному человеку?! У вас есть совесть или вы не знаете, что это такое?!

А дома на мужа разразилась уничижительными упреками:

— Ты опускаешься на глазах! Это последняя степень падения — отдавать за водку вещи! Где твоя гордость, интеллигентность?! Как можно так себя не уважать! И ставить меня, свою жену, в унижительное положение. Чтобы это было в первый и последний раз! Только этого еще не хватало! Вот еще!.. И возьми себя в руки. Сколько можно?! Мы наконец перебрались совсем близко к родине, и все уже налаживается... Да, пока еще у нас трудный период, но надо его пережить достойно, не раскисать и уж тем более не опускаться. Были у нас периоды и похуже — ничего, пережили. И этот переживем, я уверена.

Недели две Анатолий ходил на работу мрачный, сосредоточенный, дома после ужина смиренно лежал на диване и читал. Временами в него вселялась беспричинная тревога, страх, и он, шмыгая носом, жаловался жене:

— Скучно мне здесь, Олечка.

— Возьми себя в руки, что за беспомощность?! — внятно и ровно повторяла Ольга. — Ну не нанимать же тебе няньку. Очень надо с тобой нянчиться! Сейчас, в переломный момент, когда у нас появилась возможность получить квартиру в Москве, ты должен, просто обязан ради семьи набраться терпения, мужества.

Ольга пришла в станционную столовую, где Анатолий выпивал, и пригрозила буфетчику:

— Знаете что! Не смейте продавать вино моему мужу! Вы подталкиваете человека в пропасть!

Ненадолго в семье восстановились порядок и спокойствие.

...Однажды Анатолий неожиданно пришел домой раньше времени, взял ключ от пристройки к сараю, сказал, что устал и поспит на воздухе. Утром Ольга пошла будить его на работу, но дверь оказалась запертой изнутри, и на стук Анатолий не отозвался. У Ольги тревожно забилося сердце — в ней росло предчувствие беды. Еле сдерживая волнение, она позвала сына, и Толя, выставив раму, влез в сруб через окно.

Анатолий лежал на кровати в одежде, запрокинув голову назад, на полу темнела лужа крови и валялась бритва.

— Мама! — услышала Ольга ужасающий крик. — У папы из горла кровь идет!

Ольга побежала в медпункт, Толя остался с отцом, сидел рядом на табурете и ревел.

— У меня больше нет сил... бороться, — бормотал Анатолий. — Хорошо, что умираю... Все равно только мешаю, тяну вниз...

В медпункте Ольга застала одну медсестру, оба врача были выходными и уехали в Москву.

— Дикость! — вскричала Ольга. — На огромный поселок нет врача! И это, называется, государственное учреждение!

Прихватив бинты и вату, медсестра пошла с Ольгой и, осмотрев Анатолия, заключила:

— Большая потеря крови. Нужно доставить в Пушкино.

— Ничего не нужно, доктор, — безжизненно прохрипел Анатолий. — Я не хочу жить... Прости меня, Олечка. Я только мешаю вам... А ты сильная... Ты всего добьешься...

— У нас в медпункте только одна лошадь, и на той уехали за дровами, — сказала медсестра, обращаясь к Ольге. — Попробуйте дозвониться до Пушкино с почты, может, пришлют скорую, или везите на электричке.

По расписанию ближайший электропоезд на Пушкино шел только через час, и Ольга побежала на почту; минут двадцать телефонистка пробивалась до райцентра, а когда наконец дозвонилась, прибежал Толя и, задышавшись, проговорил:

— Папа умер...

...Анатолия похоронили на окраине сельского кладбища при деревне Рахманово. После похорон Ольга никогда не навещала могилу мужа, так же как никогда не ходила на Даниловское кладбище, где под двумя дубами лежали ее отец и мать.

— Ценить и любить людей надо при жизни, — непоколебимо говорила она. — Теперь им наши слезы не нужны. Я не хочу думать о близких, будто они мертвые. Они для меня живы и всегда со мной. Жизнь продолжается, и надо находить в себе силы жить дальше...

И на поминках мужа Ольга держалась стойко, никто не увидел ее слез, и только потом, проводив родственников, она почувствовала: сразу исчез воздух, ей стало трудно дышать — казалось, она очутилась в разряженном пространстве. Вбежав в сарай, она впервые за всю свою жизнь беззвучно разрыдалась.

Смерть мужа потрясла Ольгу, обожгла долгой, непроходящей болью... От Анатолия остались чертежная доска, готовальня, очки с перевязанной дужкой и старый прибор для бритья. Ему было сорок четыре года.

Оставшись наедине с собой, Ольга бормотала:

— Зачем, Толя, ты это сделал?! Как мог оставить меня одну в таком тяжелом положении? С тремя детьми?! Мы вместе столько пережили! И хорошего и плохого, но я никогда даже не представляла свою жизнь без тебя... Ужасно горько... Считал меня сильной! Какая я сильная? Да и чем сильнее человек, тем в большей поддержке нуждается. Как раз жалеть надо не слабых, а сильных. Слабые не способны на большие дела, а сильные способны. И не только на большие дела, но и на подвиги. У сильных и чувства сильные, а у слабых — так себе...

Позднее Ольга сказала сыновьям:

— Помогать надо тем, кто идет к цели, а не бездельникам разным. Поддерживать надо бесстрашных, нетерпеливых, первооткрывателей, идущих впереди. Им уготованы удары судьбы, и зависть, и непонимание...

Почему-то теперь, после смерти мужа, Ольга видела его совсем не таким, каким он был последние годы, — не беспомощным, апатичным, подавленным, а энергичным, веселым, совершенно непьющим... Он являлся на фоне ненастной погоды: то в дождь — спешил домой и издали махал ей рукой, как когда-то в давние годы, то одиноко стоял под снегопадом, и улыбался, и звал ее, и внимательно выслушивал, когда она подходила, и жалел, и приободрял — не она его, как было всегда, а он ее!

В середине зимы Ольга перевелась со скорых поездов в проводники пригородных электричек, добилась перевода дочери в больницу на соседней станции Абрамцево и решила обменять жилплощадь на меньшую, но ближе к городу; два месяца давала объявления, но Ашукино не считалось дачным местом и забираться в полупоселок-полудеревню никто не хотел. Однажды Ольга даже нашла пожилую пару, которая была не прочь обменяться, но, когда уже приготовили документы, в нотариальной конторе сказали:

— Вам не разрешат, не утвердят обмен. Из пригорода выезжают два человека, а въезжают из области четыре.

— Так ведь меняются семьи! — возмутилась Ольга. — И обе семьи устраивает обмен. Что вы выдумываете разные трудности людям, делаете все, чтобы они помучились, треплете им нервы?! Что это за закон такой?! Безобразия!

Летом Ольга просто продала комнаты за полцены от той суммы, за которую купила, но предварительно сняла комнату в Ховрино — пригороде Москвы, четвертой станции от Ленинградского вокзала.

От платформы к Ховрино дорога шла по низине среди тополей, по деревянному мосту через заросшую речушку и дальше в гору вдоль построек и заборов. В Ховрино можно было приехать и с другой стороны, от конечной станции метро «Сокол» на троллейбусе до конца и дальше пешком через поле, где пролегала узкоколейка, по которой кукушка возила вагонетки с глиной от карьера к кирпичному заводу. Опять железные дороги, кирпичные заводы, деревянный дом, печь, дрова, колодец, но близость города чувствовалась — вдоль заборов тянулись асфальтированные тропы. Чтобы совсем ощущать себя москвичкой, теперь в город Ольга ездила не на электричке, а на троллейбусе.

Снова Ольга занялась пропиской, ездила в областную милицию, доказывала начальнику управления, что они «коренные москвичи», но в ответ слышала:

— Вы давно потеряли право на проживание в столице.

— Что значит «потеряла право на проживание»?! — негодовала Ольга. — Что за довод?! Это я-то, коренная москвичка?! Да я уверена: сейчас в Москве больше половины приезжих. Разных изворотливых, которые первыми успели приехать. Но как быть эвакуированным?! Им так и остаться на чужбине до конца своих дней?! Что за чушь!

— В Москву въезд ограничен, — твердил начальник. — И скажите спасибо, что вас еще прописали в Подмосковье.



— Как вы смеете так со мной говорить?! Я коренная москвичка! Мои предки лежат на московских кладбищах, и меня вы обязаны прописать! А в таком тоне разговаривайте со своей женой, если она у вас есть!

— Разговор окончен, — начальник махнул рукой. — Попросите следующего!

— Я буду на вас жаловаться! Такое впечатление, что вы здесь сидите только для того, чтобы отравлять людям жизнь! — Ольга хлопнула дверью.

«Говорят-то со мной — прямо отмахиваются, как от назойливой мухи! Говорят пренебрежительно, казенно, ни одного живого человеческого слова, любезной улыбки. И прямо упиваются властью. У них ни жалости, ни сострадания. Да и откуда? Сострадание есть у тех, кто знает, что такое страдание. А эти живут припеваючи... И почему вообще: как начальник, так невежественный, полуграмотный?! И надо же, от росчерка такой тупой рожи зависит моя судьба! — впервые несвойственная ей злость охватила Ольгу. — У власти должны стоять самые талантливые, самые честные и добрые люди. А то, что всякие бездушные типы занимают ответственные посты, — это против природы... Даже у животных вожаки самые умные и сильные... Прав был мой муж: какой-то нелепый у нас строй. Но я не отступлю!»

Ольга пришла в приемную к министру внутренних дел и добилась своего: ее с сыном прописали.

Хозяин, у которого Ольга сняла комнату, был старый холостяк, крохобор и скряга: весь день торчал на крыльце и осматривал сад — как бы кто не влез, не сорвал цветы. Ему всюду мерещились грабители, он постоянно озирался, на знакомых и незнакомых посматривал с подозрительным прищуром; он напоминал камбалу, которая сверху темная от одних врагов, а снизу белая — от других. Круглый год хозяин продавал цветы: зимой — в горшках, ранней весной — выращенные в теплице, летом и осенью

— садовые. Он неплохо зарабатывал на цветах и квартирантах, но ему не давала покоя мечта о доме на Кавказе.

— Весной один тюльпанчик стоит рубль, — доверительно сообщил он Ольге. — Представляешь, сколько можно заработать, если продать миллион тюльпанов?

Этот зануда каждый вечер заходил к Ольге и изводил ее болтовней о своих прикидках и выкладках, вкрадчиво говорил о том, что сидит на диете, пьет соки, дышит по системе индийских врачей... «Удивительно, — думала Ольга, — о своем здоровье особенно печется тот, кто живет только для себя, разные посредственности, которые никому не приносят пользы, чья жизнь не представляет никакой ценности для общества. Ведь у него ни жены, ни детей нет. И даже никакого живого существа. Хотя бы кошку завел... И зачем ему много денег?! Взять с собой в гроб? И вот такие, как правило, долго живут. А тот, кто живет для других, быстро сгорает. Как все-таки это несправедливо!..»

Несмотря на возраст, Ольга была еще довольно красивой женщиной, но ни в то время, ни позднее ее не посещали мысли о новом замужестве.

— Все равно я никогда не встречу такого человека, как мой муж, — говорила она сестре Ксении. — Сейчас меня окружают интересные люди, начальники поездов, управлений, они ухаживают за мной, но я никого из них не могу даже рядом поставить со своим мужем. Он был необыкновенным человеком. Немного слабым... Ведь в нашей жизни нужно быть сильным, упорным, а он не умел пробиваться, расталкивая других локтями, как это делают многие. Он был застенчивым, интеллигентным... И таким умным, порядочным... Он не сумел одолеть несправедливость, тяготы жизни и отчаялся. Ему не хватило последнего усилия, ведь мы уже почти выкарабкались из тяжелого положения, остался последний шаг... Ужасно обидно!.. Ну да бог с ним!.. И я, конечно, кое в чем виновата. Хотела, чтобы он изменился, стал настойчивым, пробивным, но

ведь это невозможно, нельзя идти против природы... Мне бы бросить к черту эту железную дорогу, помочь ему, быть с ним рядом... Но, с другой стороны, я хотела получить квартиру в Москве, и у меня на руках были больная дочь и младший сын, не могла же я разорваться?

— Анатолий не хотел уезжать из Казани, — говорила Ксения. — Переезд для него стал стрессом... Там, на заводе, у него были старые знакомые, общество. И у вас был собственный дом, налаженный быт — чего еще надо? А здесь вы скитаетесь по чужим домам, и неизвестно, когда ты получишь комнату. Может, и вообще не получишь, здесь за жилье люди дерутся.

— Получу, вот посмотришь!.. Хм, остаться в Казани! Что ты говоришь?! Там мы все постепенно зачахли бы от тоски и безысходности. Этого я не простила бы себе никогда. Тебе здесь хорошо рассуждать, ты не представляешь, каково жить в захолустье, быть оторванным от родины, от культуры. А теперь хотя бы мои дети будут жить достойной жизнью. Именно там, в Казани, Толя и сломался и сюда приехал уже больным. Я абсолютно уверена: если бы мы жили здесь, этого не произошло бы.

Ольга работала на электропоездах то проводницей, то кондуктором, часто ночевала в Пушкино, Мытищах — первые составы выходили на линию в четыре утра... Больше всего она любила работу кондуктора — на перегонах было время помечтать. Дав сигнал отправления, она закуривала и представляла семью в уютной квартире где-нибудь у Чистых прудов; представляла Анатолия трезвого, улыбающегося; он приходил усталый с работы, ужинал, перелистывал вечерку и журнал «Техника — молодежи», потом работал за чертежной доской, а перед сном читал книги из заводской библиотеки... «Бог с ним, с Толей, пусть выпивал бы, лишь бы был жив», — бормотала Ольга... Она видела здоровую дочь; девчушка прибежала из школы, кидала на диван портфель, объявляла об очередной пя-

терке, снимала школьную форму, обедала, рассказывала о занятиях в вокальном кружке... Видела старшего сына с дипломом художника, а младшего — с аттестатом зрелости... Каждому из родных Ольга уготовливала счастливую судьбу, и каждую из них проживала отдельно, неторопливо, придумывая множество подробностей, и, только когда уже ничего не могла добавить к тому или иному эпизоду, бережно откладывала его в тайник памяти. С каждым днем эти мечты все больше распяляли воображение Ольги, она уже мечтала по пути на работу, в магазин и во время поездок к дочери; с ней случилась великолепная несуразность — такая жизнелюбивая, она вдруг стала жить вне реальности, в мире иллюзий и была от этого счастлива, только ее улыбка, когда-то широкая и лучезарная, уступила место горькой полуусмешке, и она все больше становилась рассеянной. Житейские заботы то и дело возвращали Ольгу в реальность, но в дальнейшем она так и не смогла отказаться от этих представлений и до конца своих дней жила на грани фантазий и реальностей, как бы двойной жизнью, и та, вторая — ее настоящая жизнь, — была чем-то вроде хорошо отснятой цветной пленки, которую отдали проявить неумелому мастеру, и потому на ней все вышло мрачным, черно-белым, а местами и вовсе не вышло ничего.

Случалось, Леонид ехал в Ховрино и внезапно во встречной электричке замечал мать: она стояла с зеленым флажком в руке у двери последнего вагона, стояла и задумчиво смотрела на рельсы. Не раз в электричке он неожиданно слышал ее голос — она объявляла остановки, — и сразу направлялся в хвостовой вагон, и они встречались: мать и сын. Ольга выпрашивала у Леонида, как он живет с женой, думает ли иметь детей, собирается ли поступать в институт... О своей семейной жизни Леонид говорил с неохотой, и Ольга догадывалась, что в том браке что-то не ладится. К тому же она только однажды видела невест-

ку — красивую самоуверенную блондинку, работавшую манекенщицей; всего с полчаса поговорила с ней и поняла: для такой женщины главное не семья, а интересное времяпрепровождение. Да и встретились они в сквере, поскольку невестка не захотела ехать «куда-то в деревню». И все же, при знакомстве, Ольга сказала ей:

— Конечно, вы обрели себя на сложную жизнь. У моего сына неважный характер. Он способный, но вспыльчивый, невыдержанный. Постарайтесь быть снисходительной. Ведь вы такая красивая! Что вам стоит?! Красивая женщина должна быть великодушной, ведь все у ее ног... А с годами Леонид станет помягче, вот увидите.

Несмотря на раздоры в семье, Леонид продолжал готовиться к экзаменам в институт, и Ольга поддерживала его устремления.

— Я в тебя верю, — говорила она. — Ты своего добьешься, ты в меня. Меня жизнь постоянно сгибала, но я не сгнулась... А ваш отец был слишком слабым для нашего жестокого времени. Ну да бог с ним!

Толе исполнилось шестнадцать лет, он подружился с ребятами, работающими учениками на заводах; они увлекались техникой и мотогонками и этим отличались от многих сверстников, одни из которых сколачивали картежные компании, играли в тотализатор на ипподроме, другие становились стилистами. Новые друзья уговорили Толю бросить школу и устроиться на завод учеником токаря, чтобы «иметь собственные деньги и купить мотоцикл». Ольга была не против работы сына, но с условием, что он окончит десятилетку в вечерней школе.

— Не забывай, твой отец хотел, чтобы вы имели высшее образование, — сказала она сыну. — Не для того мы столько мучились, чтобы и вы жили кое-как. Без высшего образования далеко не пойдешь... Мы не смогли его получить, помешала война. А вы должны... Дети должны идти дальше родителей.

В первую получку Толя прибежал домой радостный, отдал матери деньги и сообщил, что в конце месяца еще получит премиальные.

— Вы, мои сыновья, молодцы, — улыбнулась Ольга. — Но мне очень хотелось бы, чтобы вы получили высшее образование, окончили институты. Это ваша главная цель. Вы должны, просто обязаны наперекор всему ее достичь. Хотя бы ради нас, родителей, за все рассчитаться с судьбой.

Через год Толя резко изменился — вытянулся, повзрослел, и в нем вновь вспыхнуло увлечение сценой; деньги, отложенные на мотоцикл, он поделил на две части — одну часть отдал матери, вторую потратил на театральные билеты. А потом, уволившись с завода, устроился в театр «Современник» писать афиши. Вскоре он поступил в драматическую студию при театре; благодаря способностям быстро выделился среди сокурсников, и его ввели в спектакли. Ольга присутствовала на всех его премьерях — сидела в первых рядах и гордилась сыном.

...В отпуск Ольга взяла дочь из больницы (ее отдали под расписку, снабдив большим пакетом таблеток), хотела поехать с ней на юг, к морю, но на второй день Нина убежала из дома. Ольга пошла в магазин за продуктами, а когда вернулась, увидела на столе записку: «Мамочка, не ищи меня!». Обежав ближайшие улицы, Ольга с троллейбусной остановки позвонила Леониду — он примчался на такси. Вернулся из студии Толя, и втроем они всю ночь ходили по Ховрино, выспрашивали о Нине у прохожих... Под утро Ольга заявила в милицию.

Несколько дней Нину разыскивала областная милиция, затем в поиск включилась и городская. Ее обнаружили через несколько дней на станции Правда, где она бродила «среди красивых деревьев». Милиционер отвел Нину в дежурную часть — ее приняли за пьяную девицу легкого поведения и грубо втолкнули в комнату, где находились задержанные карманники.

— Что же вы делаете?! — сказал один из парней. — Она же больная, не видите, что ли?

Нину хотели отправить в Белые Столбы, но она назвала своих врачей, и ее водворили в прежнюю больницу.

Ольга была в отчаянии: болезнь дочери все явственнее переходила в хроническую форму. От лекарств и постоянной неподвижности из тонкой восприимчивой девушки Нина превратилась в расплывшуюся, безучастную ко всему женщину с одутловатым лицом и отсутствующим тусклым взглядом.

— Но я все равно поставлю Нинусю на ноги, — твердила Ольга. — Как только получу квартиру, возьму ее домой навсегда. И непременно куплю пианино — девочка так давно мечтает заниматься музыкой. Я окружу ее вниманием, заботой, и она поправится, я уверена.

— Вряд ли Нина поправится, — сказал однажды Леонид. — И брать ее из больницы не стоит. Она опять убежит и еще может попасть под машину. А там, в больнице, у нее свой мир, свои подруги. В больнице ей лучше, чем дома.

— Замолчи! — резко бросила Ольга. — Тебя бы туда упечь на полгода, я посмотрела бы, как ты запел!..

...Через два года давали жилплощадь работникам Ярославской железной дороги; квартиры и комнаты получили члены профкома и те, кто имел стаж работы пятнадцать лет. Ольга стояла в списке остро нуждающихся как не имеющая жилплощади вообще, но ей заявили, что она проработала всего четыре года, а этого слишком мало.

— Знаете что! — заявила Ольга членам жилкомиссии. — Вы-то наверняка все неплохо устроены, и вам не понять, что такое снимать комнату с двумя детьми, один из которых тяжело болен. Люди, которые решают судьбу других, должны знать, что это такое. Вы этого не знаете и знать не хотите. Я больше не буду у вас работать ни минуты, — она вышла в соседнюю комнату и написала заявление об уходе.

...Был теплый мартовский день, Ольга шла по лужам в старых ботах, в железнодорожной шинели, с потертой сумкой, шла по Каланчевке и читала объявления об устройстве на работу. На одной доске заметила: «Требуются инспекторы в отдел социального обеспечения. Образование не ниже среднего. Оклад — шестьдесят четыре рубля». Выбирать не приходилось, и Ольга направилась в собес Ленинградского района... Ее оформили сразу — корпеть над бумагами за небольшой оклад желающих не находилось.

Она приходила на работу раньше всех, распахивала окно и, облокотившись на подоконник, рассматривала окна соседних домов. «Сколько окон, — думала Ольга, — и за каждым своя жизнь, свой мир, любимые вещи, привязанности... Только у меня нет своего угла... Если бы у меня была своя комната! Пусть самая маленькая, какая-никакая, хоть полуподвальная или под чердаком в большой коммуналке. Я сделала бы ее уютной, оклеила бы красивыми обоями, сшила бы красивые занавески...».

Ольге исполнилось сорок семь лет, но ни несчастья в семье, ни годы лишений не сломили ее дух. Ее мужество не имело предела; казалось, она наделена неиссякаемым запасом прочности, особыми защитными свойствами от любых ударов судьбы. На людях у нее всегда было прекрасное настроение, и никто не видел ее в унынии, не услышал от нее ни одной жалобы, только пристальный взгляд замечал угрюмо сжатые губы. А про себя Ольга твердила: «Ничего, я еще многое могу сделать и ни перед чем не отступлюсь».

Что удивительно — никакие несправедливости, никакое зло, с которыми Ольга столкнулась в Москве, не убили в ней доброту; потому, как и всюду прежде, на новой работе у нее появилось много друзей, и среди них — Женя и Цилия, тоже инспекторы по назначению пенсий, которые работали в собесе исключительно ради жилья.



Женя была женщиной с броской внешностью — с огромными глазами, большим ртом и светлой копной волос. Ей было тридцать четыре года. Муж ее бросил, как только у них родился ребенок. Женя приехала из деревни, жила за городом и вначале работала официанткой в ресторане.

— Это был кошмар, а не жизнь, — делилась она с Ольгой. — Утром бежала на электричку, на работе все орут, мужики пристают... Все хотела выйти замуж за москвича и вышла, дура, за негодяя.

Женя жила в десятиметровой комнате с ребенком и разведенным мужем. В собесе она работала вначале курьером, потом секретарем и, наконец, инспектором.

— Женька выросла в семье, где не было любви, — поясняла Цилия Ольге. — Она нуждается в теплоте и свою накопившуюся нежность изливает первому попавшемуся мужчине... Все хочет в себя влюбить, но делает это чересчур неумело и откровенно... С ней знакомятся многие мужчины, но через две-три встречи ее бросают. Известное дело, мужчины не ценят доступных женщин.

— Господи! Иметь бы свою комнату! — говорила Женя подругам. — Надоело видеть эту рожу. Здоровый мужик не может снять комнату! Не мне же с ребенком ухаживать?! А десять метров не разменяешь... Не знаю, куда податься... Хоть бы заболеть туберкулезом. Говорят, туберкулезникам сразу дают жилье.

Цилия приехала из Воронежа, где окончила педагогический институт и проработала несколько лет в школе. Ее не устраивала жизнь в провинции, она считала, что там «неумные, невоспитанные мужики», недостойные ее, тонкой женщины. Она была уверена, что оценить ее может только столичный мужчина. Из-за прописки Цилия пыталась устроиться в ЖЭК дворником или техником-смотрителем, но с высшим образованием на эти должности не брали... Два года Цилия работала по лимиту маляром на стройке, жила в общежитии, потом перешла в райсобес

и поселилась на окраине у дальней родственницы. Цилия покупала дорогие платья для своей будущей жизни (ей помогали родители), но никогда не наряжалась в них и даже на праздники приходила в скромном костюме, чтобы не выделяться и не ставить бедных подруг в неловкое положение. Цилии было тридцать два года, но она все еще мечтала о принце.

— Раньше я хотела встретить порядочного и доброго мужчину без вредных привычек, — откровенно говорила подругам. — Чтобы он был увлечен работой, любил домашний уют, ценил искренность и дружбу и имел бы широкий круг интересов. Но там, в провинции, меня окружали дураки и бабники... А другим везет. Посмотришь: и внешности у нее нет, и делать ничего не умеет — а мужчину отхватила отличного. Столько женщин пользуется незаслуженным счастьем! Так обидно!.. Конечно, я не очень современная, но внешне привлекательная, стройная, умею шить, вязать, вести домашнее хозяйство...

Цилии все время казалось, что у них в собесе мужчины «слишком циничные», а женщины — «рискованного поведения» и это «создает нездоровую атмосферу». Грубоватая Женя не раз говорила Ольге:

— Цилька бесится, готова стол съесть, оттого что у нее нет мужика.

Цилия мечтала иметь свое жилье еще и потому, что «с собственностью проще найти мужа».

Новые подруги привязались к Ольге, и она к ним: втроем они ходили обедать в столовую соседнего завода, после обеда некоторое время покуривали в сквере, после работы вместе шли к метро. Прощаясь, Женя говорила:

— Позвоните мне в воскресенье. Куда-нибудь ходим или просто погуляем.

— Почему мы тебе, а не ты нам? — как-то спросила Цилия.

— Потому что я люблю вас больше, чем вы меня, — просто и откровенно объяснила Женя.

Зимой хозяин Ольги топил мало — сэкономил дрова; в комнате появлялся пар от дыхания, на стенах проступала изморозь, а на окне намерзал такой толстый слой льда, что еле проникал дневной свет.

В собесе Ольга работала как одержимая, открыто и безбоязненно отстаивала справедливость, защищала тех, кто не мог постоять за себя, писала за них жалобы, прошения, требования. Она никого не боялась и, выступая на собраниях, говорила то, что думала, говорила о вещах, выходящих за рамки будничных дел собеса, точно стремилась исправить весь мир, сделать его лучше.

Случалось, в отдел приходила заплаканная старуха:

— Дочка, милая, помоги! Дети мне не платят, а я всего-то и работала пять лет, больше не могла, болела.

Ольга делала запрос во врачебную комиссию, добивалась назначения старухе инвалидности третьей группы и пенсии. Каждый вечер после работы Ольгу поджидала какая-нибудь старуха.

— Милая, спасибо тебе. И не думала, что на старости лет получу такую пенсию. Пойду в церковь, помолюсь за тебя.

Вскоре по всему району пронесся слух о «доброй, участливой женщине», и к Ольге потянулись пожилые люди. Она никому не отказывала: уставшая, оставалась в собесе после рабочего дня и все пересчитывала, писала. Начальник собеса Юрий Алексеевич не раз говорил:

— Ольга Федоровна — скромный и прекрасный работник. До нее на участке был кавардак, она за короткий срок все разобрала, навела порядок. Я ей безмерно благодарен. Инспектор так инспектор, работает с душой, всегда уходит с цветами.

Юрий Алексеевич, тучный, розовощекий, с большими, вечно потными ладонями, имел немалый жизненный опыт — прошел войну, но был застенчив, как мальчишка, говорил тихим, робким голосом, и вечно не знал, куда деть свои ручищи, то прятал их в карманы, то под стол, и, точно

орхидея, увядал от каждого неосторожного слова сотрудниц. Шутки ради женщины позволяли себе нарочитую вольность — отпускали смелые словечки, и великан краснел, терял дар речи, склонялся к столу или вообще выходил «проветриться».

Юрий Алексеевич с первых дней оказывал Ольге повышенное внимание, а когда она взяла дочь из больницы, разрешил уходить с работы пораньше.

— Мир не без добрых людей, — говорила Ольга подругам. — Юрий Алексеевич такой добросердечный, отзывчивый человек, очень похож на моего мужа.

Когда Юрий Алексеевич узнал, что Ольга снимает комнату за городом, а две другие сотрудницы живут на птичьих правах, он посоветовал женщинам обратиться в райисполком, попросить опекунство над какими-нибудь старухами и в конце концов остаться с жилплощадью.

— Или выходите замуж, — заключил он, — за мужчин любимых и богатых.

— Где ж их взять? — отшучивались женщины. — Сейчас ведь мужчины не спешат жениться. Зачем взваливать обузу? А безотказных девчонок и так полно.

Председатель райисполкома выслушал женщин:

— Ну что ж, работницы вы наши. Поможем. Я дам команду.

Жене подыскали девяностолетнюю старуху. Старуха занимала две комнаты на первом этаже деревянного особняка, который до революции принадлежал ей целиком. Женя готовила старухе завтрак, а по вечерам писала под диктовку письма ее родственникам во Францию. Через полгода старуха умерла, и Женя стала владелицей двух комнат. Она щедро отметила событие, пригласив всех сотрудников собеса, а позднее перетащила на эту площадь чуть ли не половину своей деревни.

Цилии нашли больную женщину, но в тот момент, когда оформляли опекунство, женщину положили в боль-

ницу, и вскоре она умерла. Цилия только и успела к ней сходить в больницу два раза; передачу приняли, а в палату не пустили; так и не увидела Цилия свою опекаемую, а комнату получила — исполком оформил задним числом. Соседи заворчали:

— Ишь, ни разу старуху не видела, теперь заимела площадь! Мы всю жизнь на жилье положили, а ей, свистушке, просто даром дали!

Где им было знать, сколько Цилия натерпелась до этого.

Ольге досталась семидесятивосьмилетняя Елена Глебовна, проживающая в маленькой комнате коммунальной квартиры, заставленной ящиками и коробками. Квартира находилась на первом этаже, в ней кроме старухи проживали еще две семьи; в квартире не было ни горячей воды, ни телефона, но все-таки имелись водопровод и туалет, а Ольга уже забыла, что это такое, — и в Аметьево, и в Ашукино, и в Ховрино за водой ходили на колонку, а туалетом служила пристройка за сараем. Елена Глебовна была частично парализованной и большую часть времени лежала на кровати, нередко ходила под себя, случались с ней и припадки.

Прописавшись у опекаемой, Ольга привезла свои вещи, купила две раскладушки для себя и сына и поставила их у окна. Наконец, через двадцать с лишним лет, она снова оказалась в Москве.

Елена Глебовна встретила Ольгу приветливо:

— Вот теперь у меня есть дочка и внук. Тебе много хлопотать обо мне не придется. Я скоро Богу душу отдам, комната тебе останется. Всю жизнь будешь меня благодарить...

Теперь во время обеденного перерыва Ольга прибегала с работы и кормила Елену Глебовну из ложки, меняла ей простыни, выводила на улицу, усаживала на стул перед окном и пела ее любимую украинскую песню.

— Молодец, заботится о Глебовне, работящая, все умеет, — шептали старухи из соседних подъездов.

— Ольга душевная, — бормотала Елена Глебовна. — Ничего не скажу, ухаживает за мной лучше родной дочери.

По вечерам Ольга спешила домой готовить старухе ужин, выводить ее на прогулку, менять простыни из-под больной и стирать их, нагревая воду в баке.

Зимой Елене Глебовне стало хуже: то «черные птицы клевали ее руки», то «на груди росли грибы»; по ночам ей мерещилась «нечистая сила», она кричала на всю квартиру, «отгоняла от кровати Смерть». Ольга пыталась ее успокоить, развеять бредовые кошмары, давала таблетки, приносила воды, повязывала голову старухи полотенцем.

— Ты ненавидишь меня! — кричала старуха. — Я знаю, только и ждешь моей смерти. Отравить меня хочешь, подсыпала что-то в воду! Ну-ка, глотни сама! Хочешь завладеть моей комнатой. Вот тебе, видишь?! — она обнажала ягодицы. — Я назло тебе не умру. Всех вас переживу!

Ольга терялась, в отчаянии, едва справляясь с собой, начинала собирать вещи.

— Все брошу, — бормотала, — ничего мне не надо, никаких комнат. Лучше буду снимать, как раньше.

Толя одевался и уезжал ночевать к приятелям... В комнату в ночной рубашке врывалась соседка Кира и, размахивая кулаком перед лицом старухи, цедила сквозь зубы:

— Замолчи, ведьма!

Эти слова действовали магически: конечности старухи начинали двигаться, она затихала, съеживалась и становилась маленькой. И Ольге сразу становилось жалко ее. Она уже относилась к ней почти как к родной и стыдилась мысли, что ждет ее смерти. Ольга искренне жалела старуху, испытывала привязанность к ней и отвращение и от этих чувств чуть не сходила с ума.

В комнате стояли жуткие запахи — Ольга не успевала убирать постель больной. Каждое утро из поликлиники приходила медсестра, делала старухе уколы, но они помогали мало.

— Я совершенно измучена, — говорила Ольга подругам в беседе. — Сил больше нет. Настоящая домашняя каторга. Чего только не приходится терпеть! Это бесчеловечно, унижительно. Я откажусь от опекуинства. Лучше снова снимать комнату за городом, но спать спокойно... И что у меня за жизнь?! Все какие-то устроенные, а у меня... Сын уже несколько дней не приходит ночевать, говорит, будет жить у приятеля...

Женя с Цилией подбадривали Ольгу, приводили к себе, оставляли на ночь «отдохнуть от старухи», а утром, забыв о вчерашней слабости, Ольга снова спешила к опекаемой, и все начиналось сначала. Но в один весенний день Елена Глебовна умерла. Все то утро по радио передавали украинские песни, точно специально для умирающей; под любимые песни она и испустила дух. И сразу Ольга стала вспоминать только хорошее: как по вечерам вслух читала Елене Глебовне, как однажды вывела гулять, усадила на стул перед домом, а сама пошла готовить на кухне обед и время от времени посматривала в окно и спрашивала:

— Елена Глебовна, вам не холодно?

И как старуха мотала головой и по-детски счастливо улыбалась. Вспомнила, как Елена Глебовна радовалась, когда она вывела ей повышенную пенсию, предварительно разыскав людей, подтвердивших ее стаж. И вспомнила, что у Елены Глебовны были сын и дочь, но за последние десять лет ни разу не навестили мать. Ольге стало по-настоящему жаль старуху. Удрученная, она пришла на работу, и, не слыша своих слов, объявила подругам о случившемся, и искренне всплакнула.

— Ура! — закричали подруги.

— Перестаньте! — взмолилась Ольга. — Я сама не знаю, чего во мне больше: радости или горечи. Получается, что мы строим счастье на несчастье других.

— Брось говорить глупости! — махнула рукой Женя. — Они свое отжили. Дай бог нам столько прожить. Наше поколение еще раньше загнется, вон мы все какие издерганные.

После похорон Ольга несколько дней наводила в комнате чистоту, отбивала зловонный запах, потом купила краску для полов, новые обои, посадила перед окном ромашки. Обновив комнату, уставшая, бросилась на раскладушку и выдохнула:

— Господи, неужели я снова москвичка?! Даже не верится!

Настрадавшись, изведав всего, Ольга думала, что теперь ее ожидает покой, но неожиданно по вечерам ее стали мучить кошмары: все мерещилась умирающая старуха, и страх и жалость к старому беспомощному человеку овладевали ею. По ночам ей снились безлюдные улицы без солнца и ветра, непроточные водоемы, деревья без листьев, комнаты за глухими стенами с забитыми окнами, где было нечем дышать...

Из трех подруг больше всего повезло Жене — она стала не только хозяйкой двух комнат в особняке, но и собственницей антиквариата (картин, статуэток); у нее появился очередной поклонник, но она по-прежнему крепко дружила с Ольгой и Цилией и каждую субботу устраивала у себя «девичники-посиделки».

Получив постоянную прописку, Цилия обставила свою комнату модной мебелью, купила «стильную» посуду. Потом уволилась из собеса и устроилась преподавателем в медицинское училище и там неожиданно влюбилась в преподавателя физкультуры. Они расписались, но Цилия сразу обрушила на мужа такую страсть и ревность, что он испугался; она так безрассудно любила своего мужа — даже забыла подруг, — что в конце концов стала его раздражать. Тогда Цилия попыталась стать нетребовательной, покорной, но у нее ничего не получилось.

После развода Цилия снова потянулась к подругам: по вечерам приходила к Жене, жаловалась на судьбу, оставалась с ребенком Жени, когда та встречалась со своим ухажером. С Ольгой Цилия гуляла в скверах, посещала кино-



театры; несколько раз они заглядывали в кафе «на рюмку ликера».

— Видимо, у меня никогда не будет семьи, — говорила Цилия подругам. — Конечно, я наделала массу ошибок, но ведь я его любила. Сейчас мужчины ценят в женщинах самостоятельность, современные взгляды, рискованное поведение... Да и не надо мне никакого мужа, и одна проживу. Комната теперь у меня есть, и есть все для душевного комфорта. Жаль, ребенка не успела завести. Но ничего, возьму малыша из приюта.

— Надо же, — усмехалась Женя, — заимели жилье, вроде обеспеченные стали; как говорится, имеем условия для совместного проживания, а бабьего счастья нет. Этот мой новый ухажер ходит, ходит, а как я намекну про загс, сразу в кусты. Сейчас мужики нерешительные, безответственные, их устраивают временные отношения. Но я все равно за своего держусь. На меня ведь мужики не бросаются.

— Знаете что! По-настоящему счастливых семей вообще мало, — говорила Ольга. — Это дело случая, чтобы встретились два человека, во всем подходящие друг другу. И вообще хорошего человека встретить нелегко. Раньше было проще, люди были куда приличнее. Вот мой муж, например, был необыкновенным человеком. Он был необыкновенен во всем: в словах, во взглядах... И такой талантливый был... Рядом с ним и я проявляла свои лучшие качества, ведь талант заразителен. Общаюсь с посредственностями, мы чахнем, а с талантливыми расцветаем. А я жила с очень талантливым человеком. Он был лучшим инженером на заводе и в высшей степени порядочным, примерным семьянином. Таких, как мой муж, сейчас нет...

На минуту Ольга впадала в задумчивость, потом вспоминала станцию Правда; эти воспоминания согревали ее душу, и она уже говорила в умиленно-размягченном тоне, рассказывала о довоенном времени, своих детях... Но по-

том снова брала себя в руки и, встряхнувшись, повышала голос:

— Что я, в самом деле! Вот еще! Воспоминания делают людей слабыми и несчастливыми. А мне нельзя расслабляться. Мне еще есть чем жить... Надо еще поставить на ноги дочь, помочь сыновьям добиться успеха... Главное, мы теперь владельцы собственных комнат. Ведь такое счастье — жить в Москве, ходить в кино, в театры...

Ольга говорила о том, что теперь они могут пожить в свое удовольствие, что впереди их ожидает много хорошего, говорила убежденно, но с угасающим запалом, точно уже не очень верила в это и просто уговаривала подруг. Оставаясь наедине с собой, она понимала, что комната не принесла ей счастья, что заплатила за нее слишком дорогую цену.

## 5

Квартира находилась на Светлом проезде, в трех трамвайных остановках от станции метро «Сокол». Проезд представлял собой несколько четырехэтажных домов, стоящих среди железнодорожных путей. От грохота поездов дребезжали стекла, двигалась мебель, дрожали стены, и казалось, дома вот-вот развалятся. Заслышав гул приближающегося поезда, Ольга вздрагивала, точно этот гул был предвестником новых несчастий. «Как все зыбко, ненадежно в моей жизни, — думала она. — И никуда не деться от этих железных дорог. Прямо опоясали, заковали мою жизнь. И этот гул, и запахи мазута и жженого железа постоянно преследуют меня!» К домам вела только одна дорога, перегороженная шлагбаумом; она охранялась стрелочницей, сидящей в зеленой избушке, перед которой толченым кирпичом были выложены слова: «Счастливого пути!». Кому они предназначались, никто не знал — по окружной дороге ходили одни товарняки.

За железнодорожной насыпью начинались озера и лесопарк, тянувшийся до канала Москва — Волга. «Здесь есть где гулять с Нинусей», — подумала Ольга. До отпуска еще было несколько месяцев, но она давно не брала дочь из больницы и решила попросить на работе две недели за свой счет.

Когда Ольга привезла Нину, соседи заворчали:

— Вот еще и дочь объявилась, не хватало еще здесь сумасшедшей.

— Знаете что! Это моя дочь, и она будет жить со мной, — повысив голос, сказала Ольга. — Да, она немного больна, но это ничего не значит, она умнее и душевно чище многих здоровых.

Ольга прописала Нину, но по настоянию врачей оформила ей инвалидность первой группы. «Ничего страшного, — рассудила она. — Какая разница: первая или вторая группа?! Да и лишние деньги не помешают. А когда Нина сможет работать, я все переоформлю. Я еще поборюсь с ее болезнью».

Получив справку об инвалидности дочери, Ольга встала на учет в райжилотделе, где ей пообещали через три года предоставить отдельную квартиру. Потом по объявлению купила старый кабинетный рояль и хотела нанять дочери учителя музыки, но больше нескольких минут Нина за инструментом не сидела — начинались головные боли. И в кинотеатре она не могла досмотреть ни один фильм — ей трудно было сосредоточить внимание на чем-то одном. Вялая, апатичная, она оживала, только когда вспоминала свою больницу — там ей нравилось больше, чем дома. Она уже отвыкла жить в семье, все вещи ей казались «некрасивыми», братья «слишком взрослыми», а мать «слишком старой». Она так и осталась в девичьем возрасте и жила в прошлом времени.

В конце концов Нина вновь убежала из дома. Снова Ольга заявила в милицию, снова объявили розыск, но нашли больную только в конце второй недели. Где все это время нахо-

дилась она, никто не знал. Стояла середина мая, всюду были топкие лужи, земля еще не прогрелась, а Нина могла спокойно полдня просидеть на какой-нибудь лужайке (с ее больными почками!). Все те дни Ольгу не покидало чувство тревоги. «А какво сейчас Нинусе?! — думала она. — И куда она убегает? Неужели ищет прошлый век, тургеневские времена?!»

Нину нашел дворник в Коломенском, на окраине Москвы. Ночью выбежал на крик, увидел, какие-то парни отбегают от женщины, подошел — она без платья, в одной туфле, вся трясется от холода.

— Небось хотели изнасиловать, — заявил дворник в милиции.

Нина ничего о себе не сказала, и ее как «неопознанную» отправили в больницу на Матросской Тишине... Ольга ежедневно обзванивала все больницы, обещали сообщить, если придут «неопознанные», но о Нине сообщили только через пять дней: «Привезли здесь одну больную, но вряд ли это ваша дочь».

Ольга добилась разрешения перевести дочь в городскую больницу имени Кащенко и стала к ней ездить не только по воскресеньям, но иногда и в будние дни после работы — давала врачам и нянькам деньги «на цветы», и те разрешали свидание «в виде исключения».

Всю неделю Ольга копила продукты: закупала печенье, пирожные, конфитюры; кто бы чем ни угостил, сама не ела — все несла в больницу. И каждое воскресенье поднималась в гору к больничным корпусам, шла в цепочке людей с коробками и сумками, мимо старух, продающих цветы, шитье и карамели; старухи непрерывно крестились и всем проходящим желали «божьей помощи».

При больнице имелись мастерские, где больные делали бумажные цветы; некоторые из легкобольных помогали обслуге в котельной и на кухне — работали все, кроме шизофреников-хроников из двенадцатого отделения, где лежала Нина. Их только выводили на прогулку.

— Бедная наша Нинуся, — говорила Ольга сыновьям. — Мечтательница, романтичная девушка. Она тянулась к возвышенному, хотела, чтобы все было как в романах Тургенева, но, столкнувшись с жестокой реальностью, не выдержала напряжения и сломалась... Конечно, все у нее началось во время войны, но теперь я думаю, дело не только в войне. Ведь Нинусе хотелось ходить в театры, заниматься музыкой, а что мы видели в Аметьево?! В этом затерянном мирке?! Невежество и убожество, которые отупляли. Мы были лишены элементарной культуры, изолированы от внешнего мира, не имели духовного общения. И непонятно, во имя чего мы там находились. А несчастья, как правило, выбирают самых незащищенных. В нашей семье они выбрали Нинусю. Чувствительная, ранимая, она быстро истлела... И почему Бог, если он есть, посылает трудности тем, кто с ними не может справиться?.. Конечно, я очень надеюсь, что Нина поправится. Говорят, в Германии изобрели какое-то лекарство...

Раз в месяц приезжал Леонид, привозил матери деньги. О жене он уже не говорил, только отмахивался:

— О чем говорить? Из-за нее отложил поступление в вуз, набрал левой работы, а она завалила квартиру шмотками. Я называю ее «барахольщицей», она меня «непризнанным художником», «маляром».

— Подумаешь, непризнанный! — возмущалась Ольга. — Да ты еще только жить начинаешь. Признание придет, ведь ты способный и трудолюбивый... И вообще, к успеху идут постепенно. Это только в кино в одночасье становятся знаменитыми... И не слушай ее. Глупости она говорит... Жена должна быть помощницей мужу, а она тебя унижает. Это никуда не годится. Я вашему отцу всегда помогала, ставила форматки на чертежах...

— Не хочу о ней говорить, — морщился Леонид. — Нам давно пора разводиться.

— Как разводиться?! Что ты говоришь?! Это не выход. Несмотря ни на что надо сохранить семью. Это святое... Ты

должен объяснить ей, убедить, ведь ты же сильный... Мужчина сам себе делает жену...

— Никто никого не переделает. Да и ребенка она не хочет, а какая семья без детей?!

Сын уезжал, а Ольга все мучительно переживала. «Что ж это за браки такие?! — думала. — И у Жени с Цилией все как-то не складывается... Что ж получается, мне просто необычайно повезло, что я встретила своего мужа? Такого необыкновенного человека. И мы были как две половинки ореха?.. А может быть, люди стали менее терпимыми друг к другу и отступают при первых же трудностях?»

...Окончив студию, Толя поступил в театральный институт на режиссерский факультет и там на своем курсе ставил лучшие учебные спектакли; ему пророчили завидное будущее. Он приходил из института в остром возбуждении, подробно рассказывал матери о спектаклях, сокурсниках, театральных новостях... Ольге было приятно сознавать, что она остается для сына другом, что он спрашивает ее мнение, советуется с ней. Они во многом были единомышленниками, вот только о Нине ни Толя, ни Леонид не заговаривали никогда, и Ольга делала грустный вывод, что для них сестра безвозвратно потеряна.

Толя получал стипендию, половину которой отдавал матери. Ольга в собесе имела маленький оклад, но вместе с пенсией дочери и деньгами сыновей кое-как перебивалась. «Ничего, — рассуждала она. — Как только получу квартиру, сразу устроюсь работать стенографисткой, и у нас будет достаточно денег». Для осуществления своего плана Ольга устроилась на вечерние трехмесячные курсы машинописи, а в свободное время, чтобы поупражняться, вновь, как в Аметьево, начала стенографировать радиопередачи.

Однажды Толя пришел из института и увидел, что рояля в комнате нет.

— Я подарила его, — объявила Ольга. — У нас на работе такой хороший начальник. У него две дочери, очень музы-

кальные. Да и рояль был расстроенный и места много занимал. А завтра я возьму пианино в кредит. И мы все будем играть.

На следующий день привезли новый инструмент, и Ольга целый год выплачивала треть зарплаты, но зато каждый вечер подбирала мелодии по слуху. Временами Толя тоже загорался, «осваивал инструмент», но через месяц-другой забрасывал музыкальные занятия. Ольга ничего не бросала на полпути, купила ноты и разучила пьесы Шопена и Чайковского. Одновременно записалась в районную библиотеку и читала современную литературу; позднее попросила Толю принести учебник немецкого языка и восстановила полузабытый запас слов «для самообразования».

Через два года Леонид разошелся с женой и переехал к матери. Ольга встретила его тревожно, на мгновение ее охватила растерянность, замешательство, но, поразмыслив, она согласилась, что в семье должна быть любовь и дружба, а если этого нет, то нет и семьи. И все же она сделала попытку примирить супругов. Втайне от Леонида встретилась с невесткой и только после того, как та заявила, что «мы с Леонидом не подходим по созвездиям, и он жаворонок, а я сова, и вообще у нас абсолютно разные взгляды на жизнь», окончательно смирилась с разводом.

Теперь они жили втроем в тринадцатиметровой комнате. Леонид с Толей поочередно спали то на раскладушке, то на полу. Из-за тесноты постоянно испытывали неудобства, много курили, случалось, и ссорились. Ольга ложилась спать рано, и по вечерам сыновья говорили шепотом, телевизор смотрели без звука. По ночам у Ольги болело сердце, она стонала; сыновья просыпались от сбивчивых причитаний, будили мать, успокаивали. Рано утром Ольга ходила в магазин, готовила завтрак, потом оставляла сыновьям деньги на разъезды и сигареты и спешила в собес.

...Однажды летом Леонид, подработав деньги в нескольких театрах, повез родных к морю, в Крым. Впервые за свою

жизнь, не считая далекого детства, Ольга ехала отдыхать и, рассматривая пейзажи за окном, радовалась, как ребенок:

— Как жаль, — говорила она, — что ваш отец не дожил до этих дней, не побывал у моря! И жаль, что Нинуся больна. Вот было бы замечательно пожить всем вместе у моря. Давайте купим шампанское и отметим начало нашего отдыха. И давайте выпьем вот за что! За то, что цветок тянется к цветку, птица к птице, все животные друг к другу, а человек к человеку! Давайте выпьем за любовь, ведь в жизни все построено на любви... Мы с вашим отцом очень сильно любили друг друга. Я восхищалась им. А любовь женщины — это восхищение. Восхищение личностью... Ваш отец был настоящей личностью, только немного слабый духом...

Они сняли комнату в Судаче на улочке, заросшей шелковицей. Дни стояли жаркие, но в их постройке из пористого туфа всегда было прохладно. По утрам покупали молоко, помидоры, фрукты и сразу же после завтрака отправлялись на пляж. Полдня проводили у моря, плавали к буйкам, загорали... Обедали в «лягушатнике» — круглой столовой, где выдавались комплексные обеды, по вечерам ходили в кино или братья играли в волейбол на площадке санатория, а Ольга закуривала и садилась на скамейку к зрителям. Домой возвращались поздно, когда вершины гор золотило заходящее солнце, а с ложбин на поселок напозвала дымка.

— Какое здесь благолепие! — восклицала Ольга, пронизанная восторгом. — Настоящий рай! На будущий год непременно Нинусю привезу сюда!

В свои пятьдесят два года Ольга отлично плавала, вместе с местными мальчишками ныряла с камней, делала в воде стойки; только когда она читала и курила на террасе, была заметна сетка морщин на ее красивом лице, потускневший взгляд и усталость в движениях. Раньше она не знала, что такое усталость, а теперь днем часто ложилась отдыхать, но по утрам, как и раньше, пела — правда, уже вполголоса.



В Москве в полосу разных напастей, безденежья и плохого состояния дочери, случилось, Ольга думала, что в жизни много несправедливости и черствых людей; измученная от вечного поиска приюта и спокойствия, она украдкой вытирала набегающие слезы, но на отдыхе у моря вновь проявился ее несломленный дух; казалось, она черпает силы из какого-то запредельного запаса.

— Я добьюсь своего, у меня будет квартира, — говорила она сыновьям. — И куплю «москвич», чтобы ездить к вам в гости, и напишу книгу о своей жизни. Правдивую. Она будет трогать людей, потому что в жизни всех людей много общего. Я опишу не только свою жизнь, но и жизнь знакомых... Странно и смешно, но сейчас, на шестом десятке, я чувствую себя девчонкой! Этого никто не видит, кроме меня... Вот смотрю на отдыхающих здесь стариков и вижу что-то жалкое в старости, вижу, что в сущности они дети. Да-да, не смейтесь. Когда мне было двадцать лет, а подруге двадцать пять, я думала: «Она уже совсем взрослая, мне до этого далеко». Потом мне становилось двадцать пять, и тех, кому перевалило за тридцать, я считала пожилыми. «У меня-то вся жизнь впереди», — рассуждала я. В тридцать лет сорокалетних я считала стариками, а вот теперь приглядываюсь к людям своего возраста и вижу в них больших мальчишек и девчонок. Особенно когда эти старички чем-нибудь увлекаются — ну прямо как дети! Говорят, они впали в детство, а по-моему, они и не выходили из него.

Как-то в полдень Ольга зашла в пустынный зал дома отдыха, увидела на сцене рояль, села за инструмент и, незаметно увлекшись, переиграла весь свой репертуар, а когда закончила, услышала аплодисменты — в зале появились слушатели. После этого «концерта» на улицах поселка к ней не раз подходили незнакомые люди и просили «поиграть еще раз».

Но временами Ольга начинала грустить, мысли о дочери не давали ей покоя.

— Я мать-преступница, — бормотала она. — Отдыхаю здесь, а она, бедняжка, там мучается.

После отдыха с деньгами стало туго, и Ольге пришлось заложить некоторые вещи в ломбард. Несмотря на жизненный опыт, Ольга так и не стала практичной в быту. В семейных делах она руководствовалась эмоциями и интуицией, а не трезвым расчетом. Она не распределяла деньги до полочки: накупит сыновьям нужных и не совсем нужных вещей, потом занимает деньги у знакомых. А иногда и в магазине брала продукты в долг, благо одна из продавщиц узнала о «доброй работнице собеса». Эти «покупки» Ольга долгое время скрывала от сыновей, а когда тайна открылась, сказала:

— Это не унизительно. Берут же на Западе в долг в частных магазинах, и ничего. Я всегда вовремя отдаю долг и еще покупаю продавщицам шоколадки, — но тут же перевела разговор: — Я поражаюсь нашим женщинам. Стоят в очереди за яйцами по девяносто копеек, а рядом никакой очереди — по рублю. Стоят за дешевым мылом. Даже на себе экономят. Вот еще! Я всегда беру самое дорогое мыло, импортное, душистое... И в очередях толкаются, ругаются. Увидят какого-нибудь начальника — подобострастно здороваются, заискивают; слышат иностранную речь — трепещут. А тем, кто ниже их — дворникам, уборщицам, — грубят. Какое плебейство! Не могут вести себя с достоинством. Все от отсутствия внутренней культуры. Говорят, в наших домах живут те, чьи деревни снесли, когда расширили Москву. Чего же от них ожидать?! И еще ноют: жизнь плохая. Да они и не достойны лучшей жизни. Ваш отец был прав, когда говорил, что в нашей стране уничтожено много интеллигенции. А чтобы сделать этих дикарей культурными, надо еще сто лет, два-три поколения, не меньше.

Часто во многих семейных бедах Леонид обвинял мать, обвинял ее за непрактичность, неэкономность, необдуманные поступки. Переполненная горечью, Ольга защищалась:

— Неужели ты не понимаешь, что все невыносимо дорого. Смотри, мы трое взрослых людей, работаем, и нам не хватает денег. Постоянно считаем их от полочки до полочки... Конечно, ты много пережил и это безденежье кого угодно выведет из себя, но разве можно так ругать мать?! Жизнь такая тяжелая, надо беречь друг друга, а мы уничтожаем.

С соседями по квартире жили более-менее дружно, но когда Ольга объявила, что снова возьмет дочь из больницы, те сразу напустились.

— Вот еще! Почему я у всех должна спрашивать разрешения, жить мне с дочерью или не жить?! — негодовала Ольга. — Почему я постоянно должна унижаться?! Соседей упрашивать, чтобы не возражали... таксиста, чтобы довез больную! Каждый год подтверждать инвалидность дочери! Как будто за год она может поправиться, после стольких лет болезни! Хватит с меня! Я уже поунижалась ради того, чтобы вернуться на родину. И ради прописки и работы поунижалась. Но больше никто не увидит моих унижений! Мое право — жить так, как я хочу и с кем хочу!

Однажды соседка Кира сказала Ольге:

— В одной строительной конторе требуется секретарь-машинистка, переходите туда. Строителям дают квартиру в первую очередь, а в собесе вам больше ничего не светит. Что вы теряете? Оклад тот же самый.

Ольга долго не раздумывала и перешла на новую работу.

Управление находилось на улице Герцена, и теперь Ольга по утрам доезжала до площади Маяковского, а дальше добиралась пешком. Она любила ходить по улицам — пока шла, мечтала об отдельной квартире и о прекрасной семье, которая могла бы у нее быть, какой она хотела ее видеть... С каждым днем она все больше отрывалась от земли. Ее, много выстрадавшую, не досыпавшую ночами, потерявшую многие надежды и ожидания, эти мечты согревали, как светлый, радостный сон... В конторе было много работы, и днем Ольге было не до мечтаний, но после работы, по пути к дому, она

снова переходила незримый рубеж, только уже не вызывала мечты — они преследовали ее сами.

В конторе, как и всюду, Ольгу полюбили и рядовые сотрудники, и главный инженер, который однажды сказал:

— Ольга Федоровна — гордость нашей конторы, и это нечестно, что самый усердный, трудолюбивый сотрудник получает шестьдесят четыре рубля. По штату мне положена машинистка, но ее работу выполняет Ольга Федоровна. Предлагаю к ее окладу прибавить хотя бы половину оклада машинистки.

Половину не половину, а десять рублей прибавили.

В строительной конторе получить жилье оказалось так же трудно, как и всюду, — обещали только через семь лет.

— Видимо, от райисполкома получу квартиру быстрее, — сказала Ольга сыновьям. — Я в очереди первая, у меня больная дочь. И работать в конторе за мизерный оклад не имеет смысла. Вот еще! Устроюсь куда-нибудь зарабатывать побольше.

Она попыталась устроиться стенографисткой в НИИ, но предложили только работу по вызову. В отделе кадров НИИ Ольге подсказали, что в соседней театральной кассе требуются кассиры и что там заработки не меньше ста рублей в месяц.

...В театральных кассах сидели искушенные люди: они продавали ценные билеты «с нагрузкой», заводили знакомых среди культурных предприятий, и те устраивали коллективные просмотры; заработок кассира зависел от количества проданных билетов. Но Ольга не умела ловчить и в первый месяц работы получила около семидесяти рублей, во второй — еще меньше.

Ольга металась от одной работы к другой, все хотела устроиться по специальности — стенографисткой, или найти другое интересное дело, или хотя бы иметь побольше оклад. Наконец однажды прочитала объявление: «На завод нестандартного оборудования требуется стенографистка».

Предприятие находилось в получасе езды от Светлого проезда, что устраивало Ольгу вдвойне. Она пришла к директору завода и сказала, что стенографирует около ста слов в минуту. Директор продиктовал текст и, когда Ольга записала и расшифровала его, улыбнулся:

— Буду рад, если вы оформитесь к нам на работу.

Теперь Ольга сидела в большой приемной за столом с телефоном и имела просто «астрономический» оклад — сто двадцать рублей. По совместительству (бесплатно) она стала работать диктором — во время обеденного перерыва перед микрофоном читала новости о делах в отделах и цехах.

— У вас, Ольга Федоровна, приятный голос, — ежедневно повторяли работники завода. — Чувствуется, говорит душевный человек.

И снова Ольга все полюбили, снова она всем стремилась помочь, ходатайствовала перед директором — кому об отпуске, кому о премиальных. Как-то директор сказал:

— Ольга Федоровна, вы добрая фея, так спешите всех облагодетельствовать. Я вообще восхищаюсь вами. Знаю о вашей трудной жизни... Но как вам удастся сохранить молодость, оптимизм?

— А мне кажется, у большинства русских это в крови — не вешать нос от неудач, — улыбнулась Ольга. — Ну и еще дружелюбие помогает. Когда все плохо, я думаю, какие все неотзывчивые, каждый сам по себе, всем наплевать на мою судьбу. А потом вспоминаю тех добросердечных людей, которых встречала в жизни, и думаю — нет, все-таки много замечательных людей! Несравненно больше, чем плохих.

— Ну раз вы — добрая фея, выручайте и меня. Для звонков — я поехал в министерство, а на самом деле, извините... на футбольный матч.

Однажды Ольга сказала сыновьям:

— Давайте-ка вот что сделаем — купим лыжи и по воскресеньям будем устраивать на пустыре за домами лыжные прогулки. Лыжи — самое лучшее, что может вытащить че-

ловека из душной квартиры на свежий воздух. Вспомните Аметьево! Ведь мы все были отличными лыжниками...

В получку купили три пары лыж и ботинки, Ольга сшила себе спортивный костюм и по воскресеньям, перед тем как идти в больницу к дочери, бегала на лыжах за домом вдоль железной дороги. Вначале сыновья редко надевали лыжи, но в конце концов Ольга все же заразила их своей одержимостью, и они стали ходить на лыжах не только по воскресеньям, но и в будни, и не за домом, а вокруг озер и по лесопарку.

Через год Леонид заработал приличную сумму денег и решил купить комиссионный «москвич». Ольга сразу поддержала сына, поехала в магазин на Бакунинскую, записалась в очередь на машины и каждое воскресенье, после больницы, в течение двух месяцев, ездила отмечаться. Машины «на ходу» стоили дорого, и Ольга выкраивала деньги из зарплаты, экономила на питании и к моменту, когда очередь подошла, добавила сыну триста рублей... Чуть позднее она взяла в кредит у сослуживца разборный гараж, привезла его на грузовике, поставила за домом около железной дороги и добилась разрешения на его установку. С тех пор Леонид по воскресеньям подвозил Ольгу к больнице Кашенко на собственной машине.

Толя защитил диплом, и ему дали постановку в театре имени Маяковского. Когда отмечали это событие, Ольга сказала:

— Я горжусь вами, своими сыновьями. Вы пробились, вышли в люди. Жаль, отец не дожил до этих дней... Но не забывайте, что в вашем успехе есть и его, и моя частицы. Это наши гены передались вам. Я ведь тоже могла бы быть и художницей, и актрисой, но жизнь так сложилась, да и война помешала... Но что я хочу вам сказать: вы работаете в театрах, среди культурных людей, а одеваетесь как босяки. Знаете что? Давайте завтра же купим вам по хорошему костюму в кредит.

Сыновья запротестовали, но Ольга настояла на своем.

В театре у Толи появилась возлюбленная, помощник режиссера; когда он привел ее в дом, Ольга взяла девушку за руки, усадила рядом с собой и полушутя-полусерьезно сказала:

— А вы знаете, дорогая, что мой сын — ужасный эгоист? Он младший в семье и больше всех получал внимания. Так что крепко подумайте, прежде чем связать свою жизнь с ним... Мои сыновья способные, но характеры у них — хуже нельзя придумать. Это я вам как мать говорю. Им далеко до их отца. Вот был человек!

За чаепитием Толя затеял выяснение отношений с возлюбленной, но Ольга сразу встала на сторону девушки, а сына отчитала:

— Как тебе не стыдно на нее кричать?! Ты же мужчина! Ты должен во всем уступить женщине!

Она любила своих сыновей, но родственные чувства никогда не ослепляли ее: в своих суждениях и поступках она руководствовалась высшей справедливостью, некими неписанными правилами, обязательными для всех. Она умела видеть мир глазами других людей, в любой ситуации ставила себя на место другого человека и размышляла, как поступила бы на его месте. Ольга прекрасно понимала состояние девушки, оказавшейся в новой обстановке, и всячески давала ей понять, что здесь она найдет понимание и поддержку.

Спустя некоторое время Толя с девушкой расписались и сняли комнату недалеко от театра, но часто приезжали к Ольге «на обеды». Молодоженам постоянно не хватало денег, и Ольга помогала им по мере возможности, а с наступлением холодов отдала невестке свою козью шубу.

— Я же спортсменка, мне и в демисезонном пальто жарко, — сказала.

Вскоре Леонид купил матери швейную машинку, и в свободное время Ольга шила сыновьям рубашки, невестке пла-

тья и юбки, но все чаще она чувствовала усталость; к тому же от постоянного писания и расшифровок у нее появились боли в руках, ухудшилось зрение — теперь она работала в очках... Она всегда жила на износ, на пределе возможностей, и ее организм, от природы невероятно крепкий, не выдержав перегрузок, стал разрушаться.

— Не знаю, как дотянуть до пенсии, — говорила она сыновьям. — Выйду на пенсию — ни дня больше работать не стану. Хватит с меня! Куплю пишущую машинку, буду брать работу на дом... И вы хороши! Подкидываете мне домашнюю работу, думаете, мне скучно, пытаетесь меня чем-то занять. Ошибаетесь, если думаете, что у меня нет других интересов. Но приходится шить на вас, стоять у плиты. Я как прислуга, вы совсем закабалили меня. И главное, этой работы никогда не видно.

Бывало, в полосу неудач на работе и безденежья Леонид вымещал свое раздражение на матери. Несдержанный, вспыльчивый, он обвинял ее в легкомыслии и непрактичности, в том, что она половину жизни потратила на жилплощадь — то, чего можно было вполне избежать, если бы она не уехала в свое время из Москвы. Ольга видела причину неустроенности и семейных несчастий в войне; поджимая губы, она защищалась твердым голосом:

— Посмотрела бы я на тебя на моем месте. Война, у меня трое детей, живу у матери впроголодь, а муж один в Казани. А ведь я его любила. Разве тебе это понять! Может, во мне есть доля легкомыслия, но я делала в жизни смелые шаги, пыталась изменить наше существование и не раскаивалась в своих поступках. Уж такой я родилась, со страстью к переменам, к новой обстановке, новой работе, новым людям. Однообразие угнетает меня, разнообразие доставляет радость. Это мой способ жить... Конечно, я ошибалась, но кто не совершает ошибок? Без ошибок нет опыта. Пока не обожжешь руку, не разобьешь носа, всего не поймешь... И кстати, как бы человек ни ошибся, у него должна быть



возможность исправить ошибку. Я свои исправила. Мы живем в Москве, имеем свою жилплощадь... И ты за многое хватался, пока не нашел себя... И не осуждай мать. Этого еще не хватало! Уж в чем в чем, а в этом ваш отец был намного выше вас — никогда меня ни в чем не обвинял и никогда не повышал на меня голос.

— Отец был слишком мягкий, да и мучился с тобой, взбалмошной. А твой оптимизм — от незнания жизни. Вот ухлопала годы и здоровье на какие-то прописки, а не знаешь, что есть страны, где люди вообще живут без паспортов, и живут, где хотят. И за работу, которую ты выполняешь, получают в десять раз больше. Ты счастлива оттого, что не знаешь, как несчастна, как человек может и должен жить.

— Неправда! — вскричала Ольга. — Не такая я дура, как ты думаешь! Я умнее вас обоих. А счастье для меня — это когда живешь для других, другим доставляешь радость. Ты это поймешь, когда станешь постарше. Думаешь, ты уже все знаешь. Ошибаешься! И вообще, обвинять легче всего. Пережил бы с мое, у тебя бы волосы встали дыбом!

— Безумная семья, — говорили соседи. — Все чудаковатые.

Весна следующего года началась счастливо, как никогда. Одни из соседей получили квартиру в Тушино, и Ольга сразу заняла их комнату. В райисполкоме не возражали, но с учета сняли.

— Ну и пусть, — усмехнулась Ольга. — Лучше держать синицу в руках, чем журавля в небе.

В новую комнату переехали Толя с женой, Ольга с Леонидом остались в старой... Сыновья купили в комиссионном магазине мебель, Ольга сшила занавески — в комнатах стало уютней.

— Ну вот, теперь у нас попросторней, — с улыбкой вздохнула Ольга. — Но это еще не все, наша конечная цель — занять отдельную квартиру. Я непременно ее добьюсь. Я еще сохранила немного сил, мне их хватит для победы.

Ольге исполнилось пятьдесят пять лет, дирекция завода и сослуживцы уговаривали ее не уходить на пенсию, но она миролюбиво все объяснила:

— Поверьте, мне тоже очень не хотелось бы расставаться с вами, но, честное слово, возраст дает о себе знать. Время ведь летит с ужасающей, беспощадной быстротой. Я сама чувствую, что уже устаю.

Ольге назначили пенсию чуть ниже средней — шестьдесят семь рублей.

— Ты такая счастливая, — сказали родственники.

— В самом деле счастливая, — согласилась Ольга. — У меня есть все: комнаты, мебель, пианино, телевизор, швейная машинка, я вполне прилично одета, и мне не так уж много лет.

А дома она задумалась: «Как же несправедливо получается. Я вырастила троих детей, заработала двадцать лет стажа, а у меня не пенсия, а гроши. Работая в себе, я оформляла женщинам пенсии по сто двадцать рублей, женщинам из всяких райкомов, которые только отдавали распоряжения. И как можно на мою пенсию прожить, если почти половина уходит на квартплату?! Хорошо, у меня сыновья, а если бы их не было?! И неужели то, что говорит сын, правда — есть страны, где люди живут без прописок и получают за свой труд гораздо больше, чем мы? В это трудно поверить... Хотелось бы совершить путешествие за границу, посмотреть, как там люди живут...»

В очередной раз Ольга взяла из больницы дочь, купила ей новое платье, туфли, но Нина и не взглянула на покупки, а потом не захотела идти в кино и ехать в гости к родным; даже от фруктов, которые ей Ольга покупала на рынке, отказывалась. Нина находилась в глубокой депрессии, часами неподвижно сидела, уставившись в одну точку остекленным взглядом, изредка усмехалась своим тайным мыслям. Единственно, что ей доставляло удовольствие, — это прогулки в парке, где они с Ольгой кормили бездомных собак

и кошек, но вскоре она сказала, что у них в парке «более славно», и сама попросилась в больницу.

— Соседи виноваты, — сказала Ольга сыновьям, когда Нину снова увезли в больницу. — Нинуся почувствовала их неприязнь и сразу сникла. Я уверена: когда у меня будет отдельная квартира, она оживет. Я окружу ее заботой и вниманием, а хорошее отношение чудеса творит... И не такая уж она больная, как все думают. Вон по улицам ходят в десятки раз более больные, чем она, и ничего. — Ольга закуривала и продолжала сникшим голосом: — Как ужасно, уже столько лет Нинуся в больницах! Лучшие годы. Так и не стала она пианисткой, не искупалась в море, не испытала любви... Так и осталась прекрасной старой девой с нерастраченными, заглохшими чувствами... И главное, я для нее всегда была опорой, она думала, что я все могу, и вот, оказывается... я бессильна.

— Неужели ты не понимаешь, что Нина стала невменяемой?! — убеждал Леонид мать. — Пойми, есть непоправимые вещи. Она не контролирует свои поступки, не соображает, что делает. Она может натворить что угодно...

— Не убивай мою мечту! — взмолилась Ольга. — Столько лет я не теряю надежды поставить ее на ноги... Старший сын, надежда матери, называется!.. И учти: после моей смерти к Нинусе будешь ходить ты, так и знай! Это твой долг. У тебя должно быть чувство долга...

На следующий день Ольга надела лучшее платье, сделала новую прическу и объявила сыновьям:

— Когда мне особенно плохо, когда на меня обрушиваются всякие удары, я привожу себя в порядок, бросаю вызов судьбе. «Мы еще поборемся, — говорю ей. — Ты меня так, а я не сдаюсь, я еще держусь». Вот увидите, я поставлю Нину на ноги. Только обидно — в вас не вижу поддержки, для вас сестра умерла. Эх вы! Братья, называется!

Леонид купил пишущую машинку, и Ольга стала брать работу на дом, но печатала мало: последние годы болели

руки и беспокоили бронхи и ревматизм. Она скрывала недомогания, по утрам делала гимнастику, обливалась холодной водой, но тут же натошак курила папиросу и задыхалась от кашля, а по ночам стонала от болей в сердце.

Со стороны Ольга выглядела беспокойной пожилой женщиной, которая не жаловалась на болезни и не ходила по поликлиникам, не судачила в очередях, не осуждала молодежь и оскорблялась, когда в транспорте ей уступали место. По утрам она делала «спортивные пробежки» вокруг дома, вызывая недоумение и ухмылки соседей; днем играла на пианино, читала книги, которые брала в районной библиотеке, несколько раз ходила в бассейн.

— Старая чудачка, все молодится, у нее не все дома, — говорили соседи, но Ольга только пожимала плечами:

— Вот еще! Мне все равно, что они болтают. У каждого есть завистники. Просто они не могут жить так, как живу я. Вот и злорадствуют.

И на пенсии Ольга не сидела без дела: перевозимая боль в руках, подшивала одежду сыновей и невестки, убиралась в обеих комнатах и в квартире, когда наступала ее очередь, ходила по магазинам и готовила обед, печатала пьесы Толи — он с друзьями написал несколько «разговоров в диалогах». Перепечатывая «диалоги», Ольга изменяла концовки и что-то добавляла от себя: «...и она прожила долгую счастливую жизнь и об одном только жалела, что у нее было мало детей» — о положительной героине. Или об отрицательном герое: «...но его наказала жизнь. От него все отвернулись, и он так и не был счастливым».

Работой Ольга пыталась заглушить боль о дочери, но у нее это плохо получалось. Временами она себя бичевала: «Может быть, я виновата, что Нинуся такая? Может, я окружала ее чрезмерным вниманием, излишней заботой, нежностью?.. Нет, все-таки нет! Нинуся не парниковый цветок, мы с мужем никому из детей не создавали тепличных условий. Все работали в огороде, пилили дрова, носили воду,

ходили в магазины... Нинуся всегда помогала мне... Здесь другое: и болезнь во время войны, и условия жизни в Аметьево. Но я все делала, чтобы Нина не заболела. Сколько раз, заметив, что она уткнулась в радиоприемник, прогоняла во двор, на жизненный сквозняк... Пыталась увлечь спортом, играла с ней в волейбол, ходила на каток — делала все, чтобы она не отрывалась от реальности...»

Теперь у Ольги появилось свободное время, и она уже могла мечтать не урывками, как раньше, а целыми часами. Случалось, по вечерам сыновья задерживались, и расплавленное воображение уводило Ольгу так далеко за пределы реальности, что время в ее видениях смещалось и перед ней вставали совершенно невозможные, взаимоисключающие картины, где прошлое встречалось с настоящим. Вначале что-то из воспоминаний детства наслаивалось на проезд, где они теперь жили, и она, уже пожилая Ольга, играла с маленькой Ольгой, светловолосой, голубоглазой девчонкой из далеких двадцатых годов. Потом она переносилась в дом на Крымской набережной и заставляла живыми своих родителей и все вещи в квартире на тех же местах, где они когда-то стояли. Ольга выбегала во двор, встречалась со своими погибшими на войне друзьями юности, и эти запоздалые встречи были не чем иным, как продолжением того прекрасного довоенного общения, только каждый испытывал некоторую неловкость за столь долгое отсутствие, за превратности судьбы, которые их разлучили... Здесь время растекалось, и Ольга видела дочь веселой, красивой девушкой, видела ее жениха — скромного, трудолюбивого парня, чем-то напоминавшего Анатолия; взявшись за руки, молодые люди шли по улице и беззаботно смеялись, раскачиваясь в такт шагам, — совсем как когда-то шли они с Анатолием по бульвару, и так же, как те далекие влюбленные, эти ничего не видели вокруг, даже не замечали ее, Ольгу... Потом являлся Анатолий, и они уже жили вдвоем в отдельной уютной квартире. Ольга представляла их новую, паху-

чую мебель вишневого цвета, кобальтовую посуду, которую они продали в эвакуации во время голода; она с такой любовью обставляла деталями этот маленький огороженный мирок, что несуществующая квартира принимала совершенно зримые очертания, вполне осязаемые вещи. Дом на небе становился конкретней, чем коммунальная квартира на земле. Но главное, внутри тот дом был озарен светом счастья, и Анатолий по-прежнему сильно любил ее, Ольгу, несмотря на то, что между ними пролегли уже многие годы, несмотря на то, что она уже стала старой, а он, умерший в сорок четыре года, навсегда остался молодым... Ольга представляла себе, как по воскресеньям к ним приезжают сыновья с женами, молодыми, приветливыми женщинами, своих внуков...

— Я самая счастливая женщина на свете, — бормотала она, и слезы бежали по ее щекам...

Всего три месяца Ольга пробыла на пенсии, затем устроилась контролером в сберкассах — она уже привыкла работать, привыкла иметь упорядоченный рабочий день, быть в коллективе. На работе Ольге подсказали, что с учета на жилплощадь ее сняли незаконно (инвалиды первой группы имеют право на отдельное жилье), и она добилась восстановления в списках, но квартиры ждала еще несколько лет... Только к шестидесяти годам она получила маленькую квартиру около «Речного вокзала».

Дом стоял в низине, после дождя от парадного до дороги приходилось идти по кирпичам, зато прямо в окна лезли ветви рябины. Квартира была на третьем этаже: комната семнадцать метров, крохотная кухня, совмещенный санузел, но квартира своя, без соседей! И главное — горячая вода и даже маленький балкон, а вскоре поставили и телефон, который полагался Нине как инвалиду. Ольга ходила по квартире, гладила обои, переставляла, протирала мебель... Теперь она просыпалась не от грохота поездов, а от гомона птиц и голосов мальчишек, которые трясли рябины. Иногда

ей не верилось, что она живет в отдельной квартире; казалось, она получила ее случайно, в результате чьей-то ошибки, что ее вот-вот отнимут. Она даже вносила квартплату заранее, все боялась: не будет денег и ее выселят за неуплату... Ольга посадила перед домом сирень и ромашки, сыновья купили ей холодильник... Наконец-то Ольга получила все и сыновьям оставила по комнате в Светлом проезде.

— Я добилась своего, я победила, — похвасталась она сыновьям. — Правда, заплатила дорогую цену за победу. Конечно, у меня здоровье не то и сил осталось немного, но лет пять-семь наверняка проживу. Может, и больше. Я еще поставлю на ноги Нинусю, вот увидите! И напишу книгу для молодежи, чтобы они, молодые люди, никогда не падали духом, не сдавались, не поднимали руки вверх, а упорно шли к цели... Теперь у вас есть жилплощадь, и у меня есть все, и этого я добилась сама, без всяких знакомств и связей.

— Стоило ли ради этого жить? — горько вставил Толя.

— А по-твоему, не стоило? Ты хочешь сказать, что я прожила жизнь зря? — с дрожью в голосе спросила Ольга.

— Зря ничего не бывает, — поправил дело Леонид. — Конечно, все надо получать вовремя, а не так поздно...

— Хм, зря! — усмехнулась Ольга. — Сказанул тоже! Я вырастила вас, сделала все от меня зависящее, чтобы вы стали настоящими людьми... И пусть я сама никаких высот не добилась, пусть ничего такого не создала, но я всю жизнь делала людям добро и была счастлива от этого... Когда я умру, кое-кому будет грустновато, вот увидите. А вы так просто будете плакать.

Как большинство творческих натур, сыновья Ольги были неуравновешенными молодыми людьми; их настроение часто зависело от успехов или неудач в работе. Толя, когда у него случались неприятности, начинал сильно нервничать, много курить и, к большому огорчению жены и Ольги, выпивать. Приезжая к матери, он жаловался, что в театре все делается по блату, что его «зажимают».

Ольга, как могла, ободряла сына:

— Не отчаивайся! Все это не стоит, чтобы так переживать. Ты расклеился, как кисейная барышня. Что за слабохарактерность?! Мне стыдно за тебя. Пройдет немного времени, и тебе самому будет смешно, что все так близко принял к сердцу, поверь мне. И потом, у тебя было столько прекрасных постановок и ролей. И еще будут, я уверена...

Леонид в полосу неприятностей становился раздражительным и грубым, но Ольга быстро гасила его настрой:

— Что за невыдержанность?! Возьми себя в руки!.. Не забывай, ты мужчина! На тебя равняется твой брат, какой пример ты ему подаешь?! В злости, прежде чем сказать что-то, сосчитай про себя до десяти и тогда, может, и не захочешь говорить грубость. И потом не будешь терзаться, что наговорил всякого, не подумав, в пылу. Я всегда так поступаю... А неприятности... Они у всех есть. У кого это дорога усыпана розами? Только у каких-нибудь сынков членов правительства да знаменитостей. Но из них, как правило, и получается неизвестно кто... Не настоящие люди, не мужественные герои Джека Лондона... Сам знаешь, неприятности приходят и уходят, и их надо встречать достойно... Не забывай, у тебя еще все впереди, тебе всего-то каких-то сорок лет. Ты только жить начинаешь, ты еще можешь горы свернуть!..

Ольгиными соседями по дому были в основном иногородние, обосновавшиеся в Москве по лимиту. Они забивали квартиры коврами и хрусталем, говорили о сбережениях и парниках на дачах, насмехались над молодежью за современные одежды и «так называемую музыку», вызывали собаколовов, чтобы те отлавливали бездомных собак... Новая жиличка сразу вызвала у них неприязнь. Услышав стук машинки и звуки фортепьяно, они свербели:

— В квартире ничего нет, не мебель, а срам один, а она веселится, на инструменте играет, книжки почитывает...

Ольга, казалось, не замечала косых взглядов, со всеми приветливо здоровалась, но дружбу заводить ни с кем



не собиралась — по опыту знала, как встретят ее больную дочь. «Низкие, желчные людишки, — думала Ольга о соседях. — И лица у них тупые... В наше время вообще редкость встретить одухотворенное лицо, интеллигентного человека. И дело не в образовании. Можно иметь высшее образование и быть неинтеллигентным. Интеллигентность — это внутренняя культура... Это не только духовные интересы, но и гуманное отношение к другим, совесть... И умение выслушивать чужое мнение и понять других, и умение не доставлять другим неудобств, и не быть завистниками, не травить тех, кто выше тебя... И уж конечно, не измываться над животными, над теми, чей разум слабее нашего...»

Как только установилась теплая погода, Ольга взяла дочь из больницы с твердой решимостью больше ее туда не возвращать.

Нина выглядела плохо: стала тучной и рыхлой, ее глаза помутнели, она на все смотрела отстраненно, как на что-то далекое и нереальное; обойдя вдоль стен комнату, она заглянула в ванную, потрогала полотенце, вышла на балкон, безразлично осмотрела деревья и кусты, вернулась в комнату и замерла, уставившись на обои. Обедала она нехотя, все время вздыхала и разговаривала с какими-то невидимыми собеседниками.

Первое время, как обычно, Ольга с Ниной ходили в магазин, готовили еду, гуляли. Иногда Нина садилась за пианино, пыталась вспомнить пьесы, которые когда-то разучивала с Чигариной, или рисовала принцесс и клеила бумажные замки...

Леонид и Толя звонили каждый день. Случалось, к телефону подходила Нина, и тогда в трубке слышались невнятное бормотание и вздохи, потом раздавался голос Ольги:

— У нас все хорошо. Нинуся немного нервничает, но это у нее пройдет, я в этом абсолютно уверена. Просто она еще не освоилась в новой обстановке. Еще бы! Столько времени прожить вне дома. Все будет хорошо.

Но однажды поздно вечером Ольга позвонила Леониду сама:

— Приезжай! Нинуся хочет убежать.

Машина Леонида была не на ходу, но он поймал такси. Когда подъезжал к дому, Нина босиком, в ночной рубашке перебежала Ленинградское шоссе. Машины резко тормозили, шарахались в стороны. За Ниной семенила Ольга, стояла и кричала:

— Нинуся, вернись!

Перебежав шоссе, Нина повернула к водохранилищу. Леонид догнал ее у самой воды. Она была невменяемой: глаза вытаращены, рот открыт, дышит тяжело, хриловато. Он схватил ее за руки, она начала вырываться, вцепилась зубами в его локоть. Леонид знал, что в такие минуты такие больные становятся очень сильными, и, схватив сестру за плечи, тряхнул ее, но это не помогло, она продолжала кусать его руку. И тогда он ударил ее по щеке. Нина сморщилась от боли и сразу обмякла.

— Поедем в больницу! — громко сказал Леонид. — Слышишь, что я говорю?! Поедем в больницу!

— Поедем... в больницу, — сдалась Нина, в уголке ее рта показалась тонкая струйка крови.

Запыхавшись, подбежала Ольга, стала ловить такси. Двое таксистов наотрез отказались везти «сумасшедшую». Третий за двойную плату согласился.

В машине, успокоившись, Нина стиснула руку Ольги и зашептала:

— Ты знаешь, в моем созвездии упала звезда... Наверное, я скоро умру.

— Что ты говоришь?! — Ольга обняла дочь. — Что ты говоришь, Нинуся?! Что за чепуха!.. Нельзя быть такой безвольной. Надо перебороть свое состояние... Ведь если человек сам не хочет поправиться, ему никто не поможет.

...Около года Ольга не брала дочь; чтобы отвлечься, постоянно не думать о ней, некоторое время работала на

почте в Речном порту, а на лето устроилась киоскером — продавала газеты, журналы. Ей было тяжело работать, она уставала, и зрение ухудшалось с каждым месяцем, и с переменной погодой ломило суставы и мучил радикулит; с одной работы она уходила на другую, все хотела найти что-нибудь полегче.

Теперь, когда к ней приезжали сыновья, она спешила выговориться, пыталась поделиться своей тревогой за здоровье Нины, а если сыновья слушали невнимательно, обидчиво поджимала губы:

— Конечно, вы мать не слушаете. Вы умней, все знаете лучше. Только скажите, в кого же вы такие умники, как не в отца и мать?! К тому же на моей стороне опыт, я знаю жизнь... Мы, старики, обидчивые. Конечно, есть что-то жалкое в старости, но что бы вы делали без нас? Вот до сих пор приезжаете, то подшить вам нужно, то перепечатать, до сих пор нуждаетесь в моей помощи...

У Ольги все сильнее болело сердце, дыхание стало прерывистым, сбивчивым; потом началась бессонница: просыпаясь среди ночи, Ольга закуривала, яростно, раздражающе кашляла, собирала в пучок седые волосы, подходила к окну и смотрела в ночную темноту. Она перебирала в памяти всю свою жизнь, раскручивала назад прожитые годы, делила их на отдельные вехи.

— Как же так получилось? — вслух размышляла она. — Ведь я всю жизнь делала людям добро... Я способная, не какая-нибудь безголовая чурка, и в моей порядочности никто не сомневался, но почему же столько бед на меня свалилось? Почему жизнь ко мне так немилосердна? Что за ужасная участь?.. Похоже, нашу семью все время преследовал какой-то рок, какое-то ненасытное пламя, в котором сгорали все наши стремления. Похоже, кто-то сурово и безжалостно мстил нам... Какой-то жестокий, незримый враг, но за что?

Раньше она об этом не задумывалась, все ее мысли были направлены на то, как бы устроить быт, наладить достаток

в семье. А теперь ей некуда было спешить, и наконец она могла посмотреть на свою жизнь со стороны. Перед ней проходили все люди, с которыми свела жизнь. Одни из них, проходя мимо, приветливо махали рукой, другие только смутно улыбались. Но были в этом молчаливом шествии и те, кто смотрел на нее завистливо и злобно. «И как я раньше их не замечала?» — с горечью думала Ольга и с расстояния многих лет, через огромное временное пространство, видела всю трагичность своей судьбы. Она вспоминала, что многие, очень многие ей всю жизнь завидовали. В юности — за красоту и легкий характер, в довоенное время — за счастливую семью, в войну — за то, что не ныла, не опускала руки, позднее — за то, что вернулась на родину и добилась комнаты, под старость — за то, что занималась спортом, играла на фортепьяно, ходила в библиотеку...

— И сейчас соседи меня ненавидят, — бормотала Ольга. — Слепо ненавидят за то, что у меня другие интересы. У них какая-то врожденная ненависть к интеллигенции. Их злость от неполноценности, ущербности. Они несчастные люди — у них нет доброты, а доброта — особый дар. Ведь чтобы самому быть счастливым, надо любить других. А они не могут, потому и мучаются, злопахают. Если бы к другим относились лучше, им и самим жилось бы легче.

Это было прозрение. Перед Ольгой отчетливо вырисовывалось все то, что раньше выглядело расплывчатым. Раньше она точно блуждала на ощупь в потемках, только чувствовала — вокруг что-то не то, а теперь поняла, что именно. Получалось, что опыт — это не только шрамы в душе, но и умение проникать в суть происходящего или вот такое внезапное прозрение. На лице Ольги появлялась гримаса душевного страдания, из груди вырывался отчаянный стон. Тяжелая, гнетущая тоска, словно река, разлившаяся в половодье, заполняла все ее существо. Ольга вытирала слезящиеся глаза и некоторое время сидела в глубокой задумчивости, но даже тогда ее лицо, со следами страданий,

выражало нестигаемость и выдержку, силу духа, стойкость особого рода. И былое величие. Это было лицо человека с внутренней свободой и чувством собственного достоинства, который все выдержал, все преодолел и сохранил свою совесть чистой.

— Они думают, я белоручка, — снова вслух рассуждала Ольга. — Еще чего! Я труженица. Всю жизнь работала не покладая рук, потому и добилась многого... Они же ждали, когда все свалится с неба. Посредственные люди всегда ленивы. И у нас много этих самых посредственностей. Поэтому и позорно быть интеллигенткой. У нас интеллигенты — белые вороны...

Внезапно лицо Ольги озарялось теплым светом; казалось, в тягучей стоячей воде появились донные живительные ключи, и разлившаяся река вновь вошла в свое русло, обнажив светлую равнину.

— Но я все равно не сдамся... Еще поборюсь, — неумолимо взбадривала себя Ольга. — Мне еще рано умирать... Мне еще нужно кое-что сделать и прежде всего поставить дочь на ноги, мою Нинусю... В прошлый раз я слишком быстро сдалась, проявила минутную слабость. Но ничего... еще немного поработаю, подкоплю денег, дождусь теплых весенних дней и возьму ее. И больше никогда не верну ее в больницу, как бы она себя ни чувствовала. Теперь-то она будет со мной всегда.

...Ей не удалось осуществить свою мечту. Весной Нина прожила у нее всего два дня, а на третий решила взлететь, а может быть, потянулась за цветами с балкона... Она разбилась насмерть. После этого у Ольги случился инсульт, она потеряла зрение и чувствительность левой стороны тела... Временами ей казалось, что жизнь потеряла всякий смысл, что теперь она на земле не имеет опоры, и вот-вот шагнет за край пропасти, и с неимоверной высоты сорвется в бездонную тьму, но она тут же отгоняла мрачные мысли, через силу заставляла себя подняться, пыталась что-то делать по

дому — в ней, беспомощной, но несломленной, проявлялась всегдашняя жажда деятельности, и, когда что-либо не получалось, она злилась на себя:

— Черт возьми! Надо же, в кого я превратилась!.. Но я поборюсь... Еще сделаю что-то полезное.

Леонид переехал к матери, Толя приезжал по несколько раз в неделю. Как и прежде, Ольга встречала их с улыбкой, уже угасающей улыбкой, и, обращаясь к сыновьям, говорила слабеющим голосом:

— Вы уж извините, что вам приходится возиться со мной... Что доставляю вам столько хлопот... Но я еще поправлюсь... Выкарабкаюсь из своего состояния, вот увидите... Я уверена в этом... Уверена...

Слепая, парализованная, скрученная болезнью Ольга не сдавалась и перед лицом смерти особенно горячо ощущала жизнь, особенно сильно радовалась жизни:

— Я слышу, как замечательно поют птицы... Сегодня чудесный день... Я чувствую тепло солнца на лице... Какая досада, что не могу встать и выйти на улицу... Вот старое чучело!.. Это надо ж стать такой развалиной!.. Но, может быть, я еще поправлюсь... Я почти уверена в этом.

Иногда Ольга заговаривалась:

— Я слышу голос Анны... Ходит около дома и не зайдет... Неужели так трудно навестить сестру?.. Неблагодарная!..

В такие минуты Леонид не выдерживал, кричал на мать, грубил ей. Эти окрики возвращали Ольгу в реальность, и она оправдывалась:

— Прости меня... Я ведь не всегда была такой... И много хорошего сделала в жизни... Ради этого не злись на меня... Не дай бог, но вдруг и ты будешь таким... и тебе будут говорить такое же...

И Леониду сразу становилось не по себе. Он вспоминал, как всего два-три года назад мать была жизнедеятельной, с живым, острым умом. Чтобы загладить свою грубость, он покупал матери цветы, апельсиновый сок, пирожные.

И Ольга искренне радовалась этим проявлениям внимания:

— Какие мягкие, пахучие цветы! Это ромашки, да? И сок прелесть! И где ты такой купил? Никогда такого не пила! Какой ты хороший, сын мой!

...Она не осуществила своей основной мечты, и многое другое не осуществила: не дождалась внуков, не попутешествовала, не написала книгу для молодежи... Но ее жизненная энергия и после нее продолжала жить в ее сыновьях и тех людях, которые общались с ней. Как святое наследство она передала им свой язык — свойственные только ей выражения, свои песни, свой щедрый, открытый характер. Они учились у нее стойкости и самообладанию, ведь она доказала, что даже среди невзгод и лишений бесценен сам дар жизни.

Она стоит особняком ото всех, в силу особой симпатии к ней, в силу ее человеческих достоинств — таланта доброты, благородства и жертвенности. И ее дерзкой мятежности — борьбы за справедливость. Она никогда не отрекалась от своих убеждений и даже во времена всеобщего страха поднимала голос за правду.

Она ушла из жизни тихо, незаметно, без цветов и прощальных речей, но тем, кто ее любил, стало не просто грустно, для них потускнел окружающий мир...

1986 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

Утренние трамваи . . . . .	3
Белый лист бумаги . . . . .	128
Радость величиной с небо. . . . .	255
Ветер нам в спину! . . . . .	332
Оглянись . . . . .	477
Самая счастливая, или Дом на небе . . . . .	571